



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

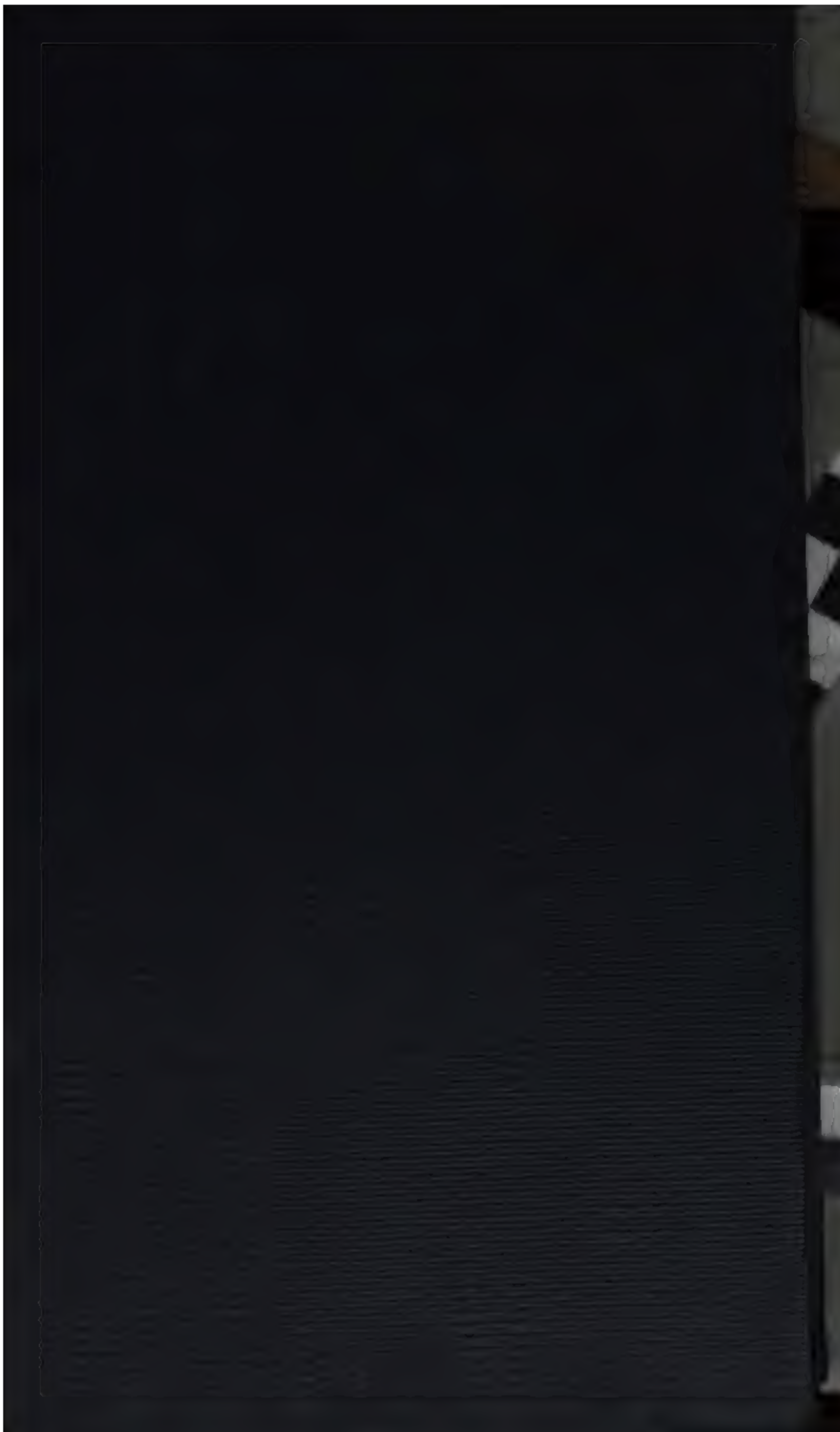
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

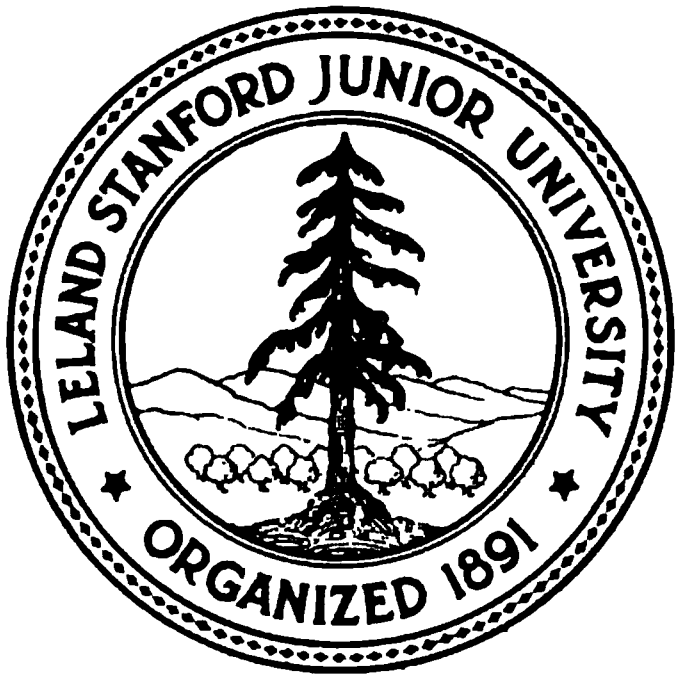
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



1

B90885



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

1

1









**This "O-P Book" is an Authorized Reprint of the  
Original Edition, Produced by Microfilm-Xerography  
by University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1967**





Иванов, И. И.  
//

Ив. Ивановъ.

# ИСТОРИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ.

Издание журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.

Х 84118  
СР 9360



И.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).

1898.

PG2949

I86

1898a

v. 1







THE NEW YORK  
PUBLIC LIBRARY  
**249702B**

ASTOR, LENOX AND  
TILDEN FOUNDATIONS

R

1943

L

# СОДЕРЖАНІЕ.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

	СТР.
I.	
Современное положеніе художественной литературы и критики на Западѣ. . . . .	1
II.	
Новѣйшая французская критика. . . . .	7
III.	
Задача историка русской критики.—Вопросъ о самобытности русской литературы . . . . .	12
IV.	
Сравнительный обзоръ историческаго развитія литературы на Западѣ и въ Россіи.—Литературныя школы во Франціи.—Классицизмъ. . . . .	18
V.	
Романтизмъ и натурализмъ во французской литературѣ XVIII-го вѣка . . . . .	24
VI.	
Французскій романтизмъ XIX-го вѣка . . . . .	31
VII.	
Натурализмъ, его теорія и практика.—Топъ и Золя. . . . .	36
VIII.	
Оппозиція натуральной школы.—Символисты.—Непрестанная сѣна школъ и системъ—сущность литературнаго прогресса Франціи . . . . .	42
IX.	
Западные вліянія на русскую литературу, ихъ отрицательные результаты.—Русскій классицизмъ . . . . .	51
X.	
Русская чувствительная школа и ея отличіе отъ западнаго септи-мизма. . . . .	56

Колчанъ, July 26, 1943

## XI.

Карамзинское направление и его идейное содержание. . . . . 60

## XII.

Русский романтизм сравнительно съ западнымъ.—Вопросъ о разочарованіи. . . . . 68

## XIII.

Школа Жуковского.—Русский байронизмъ . . . . . 73

## XIV.

Появленіе самостоятельнаго творчества въ русской литературѣ.—Первая распря отцовъ и дѣтей. . . . . 80

## XV.

Поколѣніе двадцатыхъ годовъ и его отношенія къ современному обществу.—Вопросъ о новой литературной публикѣ. . . . . 85

## XVI.

*Горе отъ ума* въ развитіи новой русской литературы и критики.—Идеи свободы и національности творчества . . . . . 89

## XVII.

Роль Пушкина въ исторіи литературныхъ идей.—Реализмъ и народность . . . . . 94

## XVIII.

Эстетика Пушкина . . . . . 98

## XIX.

Вліяніе русской художественной литературы на критику . . . . . 103

## XX.

Преобразование русской критики одновременно съ развитіемъ независимаго національнаго творчества.—Публицистическіе мотивы русской эстетики. . . . . 110

## XXI.

Стилистическо-схоластическій періодъ русской критики.—*Ломоносовъ* 115

## XXII.

Сумароковъ и Тродьяковскій, какъ критики и публицисты . . . 120

## XXIII.

Общественное положеніе русскихъ писателей-классиковъ. . . . . 125

## XXIV.

Взаимныя литературныя и личныя отношенія писателей классическаго періода.—Полемическіе приемы классической литературы на Западѣ. . . . . 130

## XXV.

Полемика Сумарокова, Тродьяковскаго и Ломоносова.—Общій характеръ русской критики XVIII-го вѣка . . . . .	136
---	-----

## XXVI.

Юридическій элементъ въ старой литературной критикѣ на Западѣ и въ Россіи . . . . .	142
---	-----

## XXVII.

Исторія Ломоносова съ академиками-иностранцами, Тродьяковскаго съ Ломоносовыми и Сумароковыми . . . . .	146
---	-----

## XXVIII.

Ежемесячный элементъ . . . . .	Вѣдомости.—Словарь	152
--------------------------------	--------------------	-----

Преобразовательное . . . . .	тры и критики. — Лу-	157
------------------------------	----------------------	-----

Идеи национальности г . . . . .	162
---------------------------------	-----

Единомыслиицики Лу . . . . .	идѣи и въ повѣи .	167
------------------------------	-------------------	-----

## XI.

Крыловъ—публицистъ и критикъ . . . . .	171
--	-----

## XXXIII.

Критическіе взгляды крыловскаго журнала—Зрѣніе . . . . .	174
--	-----

## XXXIV.

Карамзинъ. — Смыслъ его литературнаго направленія съ его личнымъ характеромъ. . . . .	179
---	-----

## XXXV.

Развитіе эстетическихъ идей Карамзина.—Его стиль . . . . .	183
--	-----

## XXXVI.

Задачи и дѣятельность Карамзина-журналиста . . . . .	189
--	-----

## XXXVII.

Возрожденіе стилистической критики. — Вопросъ о старомъ и новомъ слоgѣ.—Шинковисты и карамзинисты. . . . .	191
--	-----

## XXXVIII.

Литературныя общества и періодическія изданія шинковистовъ и карамзинистовъ. . . . .	197
--	-----



## XXXIX.

стр.

Оппозиція противъ чувствительнаго направленія . . . . . 203

## XL.

Разложіе карамзинской школы и начало паціонально-философскаго направленія русской критики . . . . . 209

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

## I.

Оппозиція противъ французской философіи XVIII-го вѣка во Франціи . . . . . 215

## II.

Литературная реформа въ произведеніяхъ г-жи Сталь . . . . . 222

## III.

Возникновеніе новаго философскаго міросозерцанія . . . . . 226

## IV.

Вопросъ о всеобъемлющемъ философскомъ и нравственномъ принципѣ . . . . . 231

## V.

Сенсимонизмъ и его вліяніе на русскую молодежь . . . . . 235

## VI.

Научныя идеи сенсимонизма.—Вопросъ о *оболгошеніи* и *открыве-ніи*.—Внутренняя связь сенсимонизма съ французскимъ мистицизмомъ и германской философіей . . . . . 239

## VII.

Германская философія въ началѣ XIX-го вѣка.—Ея политическое и нравственное содержаніе . . . . . 246

## VIII.

Принципы философіи Фихте . . . . . 251

## IX.

Культурные выводы фихтианства.—Идейный первоисточникъ русскаго славянофильства . . . . . 254

## X.

Философская и практическая несостоятельность системы Фихте.—Элементы новой школы . . . . . 260

## XI.

Шеллингъ.—Роль романтизма и естествознанія въ развитіи шеллингианства. . . . .	263
--	-----

## XII.

Гёте и Шеллингъ.—Основныя положенія шеллингианства . . . .	266
--	-----

## XIII.

Культурное и научное значеніе шеллингианства.—Эстетика Шеллинга . . . . .	270
---	-----

Судьбы западной фи. . . . .	275
-----------------------------	-----

Философскія направле- . эпоху двадцатыхъ и трид- натыхъ годовъ.—Професси- ская философія.—Вестни- скій . . . . .	280
--	-----

Галичъ. . . . .	286
-----------------	-----

Судьба философии въ . университетъ . . . . .	291
--	-----

## XVIII.

Шеллингианство въ московскомъ университетъ . . . . .	295
--	-----

## XIX.

Значеніе русскаго академическаго шеллингианства въ литератур- ной критикѣ . . . . .	298
--	-----

## XX.

Мерзляковъ.—Возникновеніе литературныхъ кружковъ . . . . .	304
--	-----

## XXI.

Дружеское литературное общество.—Его вліяніе на Мерзлякова.— Прогрессивныя идеи Мерзлякова. . . . .	309
--	-----

## XXII.

Теоретическая эстетика въ критикѣ Мерзлякова . . . . .	314
--	-----

## XXIII.

Каченовскій и Вестникъ Европы . . . . .	319
---	-----

## XXIV.

Появленіе романтизма. — Надеждинъ — сотрудникъ Вестника Европы. . . . .	322
--	-----

	стр.
XXV.	
Надеждинъ, какъ писатель и критикъ. — Вопросъ объ его вліяніи на Гѣлпскаго . . . . .	328
XXVI.	
Надеждинъ. — Его подготовительная педагогическая дѣятельность и сотрудничество у Качеповскаго . . . . .	334
XXVII.	
Статья Никодима Надоумко . . . . .	338
XXVIII.	
Диссертація Надеждина. — Его эстетическія и общественныя идеи. — Его понятіе о народности и національности . . . . .	344
XXIX.	
Надеждинъ-педителъ. — <i>Телескопъ</i> . — Переписка по взглядахъ Надеждина . . . . .	351
XXX.	
Общій выводъ о вліяніи Надеждина — профессора, критика и журналиста . . . . .	356
XXXI.	
Шеллингянство среди университетской молодежи. — Павловъ. — профессоръ и редакторъ. — Общій смыслъ его дѣятельности . . . . .	363
XXXII.	
Нравственное вліяніе новой философіи на русское общество. — Вопросъ о русскомъ <i>среднемъ сословіи</i> . — Ученость разночинцевъ и просвѣщеніе высшаго класса . . . . .	370
XXXIII.	
Чего искала русская молодежь въ германской философіи . . . . .	378
XXXIV.	
«Любомудріе» въ Москвѣ. — Университетскій пансіонъ, литературныя кружки. — Идеализмъ и практика русскихъ шеллингянцевъ . . . . .	383
XXXV.	
Отраженіе шеллингянской эстетики въ русской литературѣ. Мотивы символизма въ шеллингянствѣ . . . . .	388

	1.
	стр
XXXVI.	
Германскія філософія і русскій націоналізм . . . . .	39
XXXVII.	
Філософія русскої історіі у рускихъ шеляпигіанцевъ . . . . .	39
XXXVIII.	
Русская молодая школа шеляпигіанства . . . . .	40
XXXIX.	
Изученіе народнаго . . . . .	41
Веневитиновъ.—Періодическія критикъ-філософовъ.— Кюхельбекеръ.—Общій характеръ журна- листическія . . . . .	417
Критическія статьи В . . . . .	421
Критическія статьи Е . . . . .	426
Обзоръ русской словесности за 7 годъ . . . . .	430
XI.IV.	
Критики-поэты . . . . .	435
XI.V.	
Полярная звезда.—Рыжовъ, какъ критикъ . . . . .	440
XI.VI.	
Критическія статьи Востужева-Марлинскаго . . . . .	445
XI.VII.	
Полярная звезда и Московскій Телеграфъ . . . . .	453
XI.VIII.	
Судьба Полевого, какъ писателя . . . . .	460
XLIX.	
Исторія умышленнаго развитія Полевого.—Возникновеніе Москов- скаго Телеграфа.—Роль кн. Вяземскаго.—Общій характеръ журнала . . . . .	465
исторія русской критики.	II

	СТР.
L.	
Полемика въ <i>Телеграфѣ</i> .—Гоненія на Полевого. . . . .	471
LI.	
Критическія новарѣнія <i>Телеграфа</i> : . . . . .	480
LII.	
Поленой и Карамзинъ.—Судьба <i>Исторіи государства руссiйского</i> въ критикѣ тридцатыхъ годовъ . . . . .	488
LIII.	
Общественныя и культурно-историческія идеи <i>Телеграфа</i> . . . . .	494
LIV.	
Издательскіе планы Полевого.—Запрещеніе <i>Телеграфа</i> . . . . .	501
LV.	
Общественное мнѣніе современниковъ о Поленомъ и общій исто- рическій смыслъ его дѣятельности . . . . .	505

# ИСТОРИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

## I.

Въ наше время всѣмъ состояній» литературѣ не самая печальная доля: ственнаго слова оскудѣла, давняя тонкость въ глазахъ можетъ быть, но. Имена французскихъ поэтовъ, такихъ же примѣровъ, дѣятельности, родъ Вольтера и его сына, таланта у такихъ поэтовъ, даже поэзия, творческихъ сборниковъ. Словидному, вполнѣ краснорѣчиво опровергается ходячее мнѣніе, будто нашъ языкъ отличается исключительной прозаичностью и зараженъ неизлечимымъ матеріализмомъ. Напротивъ, очень энергичная и пылкая поэтическая школа твердо намѣрена подпортить на землѣ до сихъ поръ невиданную красоту, и раскрыть предъ нами небывало-свѣтлыя безграничныя перспективы чистѣйшаго вдохновенія...

То же самое и въ критикѣ. На каждомъ шагѣ произносятся авторитетнѣйшія имена литературныхъ судей, настоящихъ философовъ въ области искусства. Русскіе читатели не перестаютъ до послѣднихъ дней въ тѣхъ же иноземныхъ книгахъ искать окончательныхъ отвѣтовъ на исконные вопросы эстетики, какъ науки, и непогрѣшимыхъ приговоровъ надъ отдѣльными писателями и произведеніями. Противъ именъ Золя и Мопассана съ полными основаніемъ можно поставить имена Тэна и Брандеса и логически заключить о такомъ же процвѣтаніи критики, какому пользуется ея предметъ—художественная литература.

«Все обстоит благополучно!» могъ бы воскликнуть наблюдатель, окинувъ общимъ взглядомъ современныхъ авторовъ и читателей.

И между тѣмъ, немедленно противъ этого утѣшительнаго вывода послышится протестъ и именно съ той стороны, гдѣ, по только что указаннымъ фактамъ, ему, кажется, совсѣмъ нѣтъ мѣста.

Вы говорите, литература да еще художественная процвѣтаетъ? Жестоко заблуждаетесь. Ея дни сочтены. Если вамъ и попадаются еще страницы, проникнутыя священнымъ огнемъ, это послѣднія сказанія, недопѣтыя пѣсни. Еще, можетъ быть, вы сами услышите ихъ послѣдніе отзвуки и будете присутствовать при безнадежномъ умираніи истиннаго искусства.

Трагическій конецъ неизбеженъ. Посмотрите, кто въ концѣ нашего вѣка заправляетъ жизнью и является господиномъ во всѣхъ ея областяхъ? Люди, по самой природѣ и особенно по условіямъ своего существованія менѣе всего расположенные къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ». Это—демократія, провозгласившая неукротимую и безконечную *борьбу интересовъ*, призывавшая всѣ человѣческія силы и способности на попрание политики, исключительно практическихъ стремленій даннаго времени. Это — чернь, горящая жаждой завоевать себѣ первенствующее мѣсто въ государствѣ и обществѣ, и уже на самомъ дѣлѣ занимающая вершины современной цивилизаціи... Развѣ ей нужны поэты, художники, романисты, годами, вдали отъ людской суеты, дѣлющіе чудныя грезы своего творческаго духа и являющіе ихъ міру—будто отдѣланные брилліанты чистой воды?

Нѣтъ. Широкій путь дѣльцамъ, ораторамъ и особенно журналистамъ, и какой-нибудь заброшенный закоулокъ для горсти чудаковъ, снѣющихъ еще ропотъ лиры предпочитать уличному шуму.

Древній философъ предлагалъ изгнать изъ идеальнаго государства поэтовъ, новѣйшій философъ, блестящій ученый и самъ поэтъ, убѣжденъ, что поэты просто перестанутъ родиться въ грядущемъ царствѣ демократіи. Вопросъ о хлѣбѣ убьетъ слово, и полудикій матеріалистъ Калибанъ до послѣдней пылинки развѣетъ чары благороднаго артиста Просперо.

Таковы идеи Ренана, превосходно развитыя въ одной изъ его философскихъ драмъ.

Идеи не умерли. Ими могли воспользоваться люди совершенно другого характера и направленія, и, пожалуй, еще логичнѣе доказать неминуемую гибель творчества.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ оно можетъ устоять не противъ де-

мократіи, а вообще, противъ поразительно-быстрыхъ успѣховъ положительнаго знанія въ наукѣ и здраваго смысла въ жизни? Искусство живетъ чувствомъ и воображеніемъ. Разсудокъ и простой реальный фактъ—его смертельные враги. Правда, поэтическихъ силъ въ настоящее время еще большой запасъ у всѣхъ культурныхъ народовъ. Человѣчество еще не пережило даже юношескаго возраста, какъ бы подчасъ ни были прозаичны и жестоко-разсудительны отдѣльныя личности. Въ общемъ у людей еще много восторженности и снѣжести, сколько бы ни казалась дѣйствительная жизнь дѣломъ грубымъ и труднымъ, и для поэтовъ—этихъ вѣчныхъ дѣтей—интивно впечатлительныхъ любителей *пересозданной*

Но все это не исключаетъ и чувствомъ, и покажутся имъ такой даже нынѣшніе юноши

Издѣ когда то чудесъ  
Въ нихъ вѣщалась всѣхъ  
поръ множество племенъ  
пѣснь, басни, фантастическихъ не осталось и т

Можно изъять въ при  
тическія представленія,

цивилизованныхъ народовъ и въ эпохи высшаго ихъ развитія, эти удовольствія считались гражданской и религіозной обязанностью. Танцами сопровождались торжественнѣйшія празднества въ честь боговъ и великихъ людей, и театральныя зрѣлища составляли необходимую часть культа. Теперь танцы и даже драматическое искусство утратили свой нравственный смыслъ, сохранились ради услажденія женщинъ, молодыхъ людей и, можетъ быть, скоро превратятся просто въ дѣтское развлеченіе.

Не произойдетъ ли того же самаго и съ литературой? Не станутъ ли искусство и поэзія *атавизмами*, признаками ископаемаго быта? Стихи, напримѣръ, несомнѣнно близки къ полному исчезновенію изъ области серьезной литературы, стихотворецъ въ современной печати почти то же самое, что дѣйствующее лицо интермедіи въ старинной драмѣ: если бы не надо было чѣмъ-нибудь занять публику въ антрактѣ, подобнаго артиста можно бы и не выпускать на сцену... А что же романъ, безраздѣльно владѣющій попой *художественной* публикой,—вы думаете, онъ спасется отъ общаго крушенія?

тѣсно выростутъ, созрѣютъ  
ныне, самые трезвые романы  
и снѣжной забавой, какою  
примѣръ, сказки и легенды.  
ы были общимъ достояніемъ.  
ѣ познанія человѣка. До сихъ  
ышей духовной нищизни, кромѣ  
за. Въ культурныхъ общес-  
оности.

я искусства—танцы, драма-  
ику. Когда-то, даже среди



Врядъ-ли. Присмотритесь къ знаменитѣйшимъ современнымъ романистамъ, ко всей модной и, повидимому, сильнѣйшей литературной школѣ. Вождь ея Золя.

Спросите у него, кто онъ, т. е. какого жанра писатель, онъ не назоветъ себя ни беллетристомъ, ни поэтомъ; онъ—*естествоиспытатель*. Да, и въ самомъ прямомъ буквальномъ смыслѣ слова. Онъ стыдится *искусства*, какъ простой *реторики*, *словеснаго шума* или *игры на флейтѣ*. Онъ—*экспериментаторъ*, совершенно такой же, какъ Клодъ Бернаръ, только въ другой области. Тотъ изслѣдуетъ физическіе организмы, писатель—нравственные и общественные. Любимыя выраженія Золя о себѣ и о своихъ послѣдователяхъ: анатомы, физиологи, отнюдь не художники и даже не литераторы. Клодъ Бернаръ говоритъ: «экспериментаторъ—судебный слѣдователь природы». «Мы романисты,—снѣшить прибавитъ Золя,—судебные слѣдователи людей и ихъ страстей».

Есть еще нѣсколько опредѣленій писателя повѣйнаго типа: онъ—собираатель документовъ для законодателей и криминалистовъ, т. е. онъ статистикъ, если угодно, прокуроръ, полицейскій чиновникъ или другое должностное лицо, только не наблюдатель въ старомъ смыслѣ слова. Онъ вѣрнѣе исключительно въ анализъ и не стѣсняется догматами религіи добра и зла. Такъ открыто заявляетъ глава школы и пускаетъ въ ходъ всю энергію стиля и храбрость вождя всякій разъ, когда на пути встрѣчается отголосокъ отжившаго свой вѣкъ искусства, малѣйшій намекъ на вдохновеніе или просто авторское участіе душой и сердцемъ въ изображаемой дѣйствительности.

Вы видите, сами литераторы отрекшиваются отъ литературнаго званія и бросаются во все области человѣческой дѣятельности за поисками новыхъ, не литераторскихъ—правъ на существованіе. Развѣ это не краснорѣчивое свидѣтельство въ высшей степени оригинальнаго поворота? Развѣ романистъ, во что бы то ни стало желающій *прикрыть* свое дѣло естествознаніемъ или юриспруденціей, не доказываетъ шаткости чисто литературныхъ основъ для болѣе или менѣе достойнаго положенія писателя? Вѣдь Золя совершенно искренно отождествляетъ свои романы съ протоколами и документами, т. е. съ чисто фактическими данными. Онъ счелъ бы себя оскорбленнымъ, если бы вы похвалили его за силу творчества, за *выдумку*, какъ выражался Тургеневъ, высоко цѣнившій даръ художника—наблюдаемую жизнь претворять въ фактъ своего творческаго духа.

И такъ, уже въ наше время литературѣ, какъ самостоятельному искусству, нѣтъ мѣста. Оно только *форма* для занимательнаго воспроизведенія точныхъ явленій жизни и писатель—лицо страдательное, своего рода одушевленный аппаратъ для воспріятія дѣйствительности и передачи ея публикѣ.

Судьба литературной критики еще печальнѣе, и здѣсь положеніе дѣла даже опредѣленнѣе, чѣмъ въ искусствѣ.

Если демократическій строй современной и особенно грядущей жизни такъ враждебенъ поэзии, онъ рѣшительно не допускаетъ тщательнаго изученія поэтическихъ произведеній, фатально устраняетъ съ литературно-историко-литературнаго вида литературы—журналисты не только критикуютъ, но и уничтожаютъ эстетическаго и просто художественнаго. Новое время создало особый и вотъ она-то жесточайшій—вдумчивой безпристрастной мысли.

Власть журналиста одновременно съ расписаніемъ жестокости-прекраснаго. Съ тѣхъ поръ, въ те- ниваться съ страшной ридей публики. Ея жи- непрежѣнно новый, по- во имя только новизны факта. Печать — это громадная хроника, безконечная переписка *faits divers*, по возможности полное отраженіе чрезвычайно сложной и суетливой современной жизни.

Очевидно, въ этомъ океанѣ все спускается до уровня *факта*, все—предметъ «разныхъ сообщеній»—и парламентская рѣчь, и уличный скандалъ, и театральная пьеса, и книга знаменитаго романиста. И послѣдняя новость, пожалуй, самая незначительная въ ряду другихъ, потому что практическое вліяніе литературныхъ произведеній въ средѣ, дающей тонъ новой жизни, совершенно ничтожно. Здѣсь просто ихъ не читаютъ, за обиліемъ насущныхъ дѣлъ. Преданіе о блестящихъ салонныхъ обществахъ, тратившихъ ежедневно цѣлыя часы на восторги и толки по поводу какой-нибудь брошюры Вольтера или пьесы Бомарше, живутъ для насъ едва ли не въ сѣдой старинѣ.

Можетъ ли при такихъ условіяхъ журналистика заниматься критикой? Видъ критика непрѣменно выясненіе извѣстныхъ идей, пропаганда ихъ, съ цѣлью прямого воздѣйствія на воззрѣнія и

практическую жизнь читателя. Для этого писатели должны стоять во главѣ умственного движенія. Ничего подобнаго нѣтъ въ нашемъ столѣтіи. Политическая, рѣчь и финансовый бюллетень гораздо важнѣе для публики, чѣмъ основательнѣйшій разборъ хотя бы даже романа Золя.

Въ результатѣ журналистика свела критику къ нулю, замѣнила ее новостями книжнаго рынка, самое большее выписками изъ выходящихъ книгъ, т. е. на мѣсто эстетики водворился *репортажъ*.

Во Франціи, со смерти Сентъ-Бёва, съ конца шестидесятыхъ годовъ непрестанно раздаются жалобы на безнадежный упадокъ критики: жалуются, конечно, идеалисты, которымъ трудно примириться съ исчезновеніемъ когда-то столь великой общественной силы. Какой-нибудь академикъ, философъ или профессоръ, въ родѣ Ренана, Карю, Лансона, сдѣлаетъ отчаянную вылазку противъ современной литературной язвы, выставитъ съ большимъ эффектомъ изълишны журналистики, ея растравляющее вліяніе на писателей и публику, — статья, можетъ быть, прочтется съ интересомъ, — но жизнь не внесетъ даже самымъ благороднымъ воплямъ! Она тяжелой вѣковой стопой давитъ послѣдніе отпрыски стараго культа и на мѣсто Аполлона неумолимо воздвигаетъ какую-то темную, безформенную массу, именуемую «политикой», «соціальными вопросами» и просто «интересами дня».

И, что особенно любопытно, эта замѣна стихійно подчиняется даже тѣмъ, кто негодуетъ на врага критическаго искусства.

Тотъ же Золя не уступитъ ни одному академику негодованіемъ на журналистику, похвалитъ критику, на *репортеровъ*, устранившихъ всякій литературный трибуналъ. Но что же такое собственная дѣятельность Золя, какъ не репортажъ, хотя и болѣе высокаго стили? Вѣдь онъ, въ качествѣ естествоиспытателя, судебного слѣдователя и добросовѣстнаго протоколиста, обязанъ вѣчно гоняться за тѣми же *faits divers*, романъ превращать въ хронику. Брюнетьеръ, можетъ быть, и не правъ, когда вотъ уже нѣсколько лѣтъ всю натуральную школу упорно отождествляетъ съ репортерствомъ и порнографіей, но большая доля истины здѣсь несомнѣнна. Золя съ своими знаменитыми записными книжками, собраніемъ газетныхъ вырѣзокъ, и особенно изъ отдѣла судебныхъ отчетовъ, самый настоящій представитель не литературы, а журналистики. Она — первоисточникъ искусства Золя и питательный нервъ его таланта. Не даромъ же онъ самъ

рекомендуетъ ученымъ и юристамъ изучать его рюшаны, какъ подлинные фактическіе документы.

Можно ли послѣ этого жаловаться на упадокъ критики, если само искусство такъ покорно приспособляется къ всемогущей современной стихіи? Критикѣ оставалось до конца совершить намѣченный путь, и она это сдѣлала, повидимому, окончательно.

## II.

Параллельно съ художественнымъ репортажемъ натуральной школы, возникъ еще болѣе откровенный критическій репортажъ: критиковъ импрессионизма — извѣстно и у насъ, и за границею изъ нихъ — де-

Онъ неоднократно тики въ старой формѣ дами. Ни сужденій, ствуютъ, одни лишь вѣнцій, вообще не отъ какихъ силъ, а исключи совпаденія разныхъ с опредѣленной цѣли сои Это—просто аниматора ваяющая. Принимать чужд и начинаетъ сообщать, быть, онъ совѣтъ иначе разскажетъ все это... Что же дѣлать! Это будетъ вина его памяти или состоянія его желудка, и вовсе не какихъ-либо нравственныхъ или умственныхъ недочетовъ. О нихъ не можетъ быть даже и вопроса иисно въ литературной критикѣ.

казывать невозможность кри- вленными принципами и взгля- въ искусствѣ. Итъ, суще- двисятъ, они не отъ убѣжде- ни было постоянныхъ и проч- строенія духа, отъ случайнаго

Ни руководящей идеи, ни уется для критической статьи. ни къ чему никого не обязы- вство, садится въ кружокъ, и слышать. Завтра, можетъ

быть, онъ совѣтъ иначе разскажетъ все это... Что же дѣлать! Это будетъ вина его памяти или состоянія его желудка, и вовсе не какихъ-либо нравственныхъ или умственныхъ недочетовъ. О нихъ не можетъ быть даже и вопроса иисно въ литературной критикѣ.

Отсюда самая подходящая форма — газетный фельетонъ. Онъ не составляетъ дисгармоніи съ прочими *faits divers*, онъ вполне терпимъ въ самой бойкой журнальной лапочкѣ, потому что ни по содержанию, ни по существу ничѣмъ не отличается отъ репортажа. Разница только въ словесной формѣ: репортажъ о явленіяхъ литературы *virtuosque*, чѣмъ о городскихъ происшествіяхъ.

И хотите знать настоящую мораль современной эстетики, высказанную знатокомъ дѣла, все тѣмъ же пезамѣнимымъ Золя? Его рѣчь, какъ всегда, ясная и откровенная, вполне примѣнима и къ критикѣ.

«Для меня вопросъ таланта является рѣшающимъ въ литера- турѣ. Я не знаю, что понимаютъ подъ словомъ писатель нравствен-

ный и писатель безправственный. Но я очень хорошо знаю, что такое писатель талантливый и писатель бездарный. А разъ у писателя есть талантъ, я считаю, что ему все дозволено. Страница, хорошо написанная, имѣетъ свою собственную правственность, которая заключается въ красотѣ, въ методѣ, въ энергіи... По моему, непристойными слѣдуетъ считать только тѣ произведенія, которыя дурно задуманы и плохо выполнены».

Ясно до ослѣпительности, *La frase bien tournée* стоитъ какой угодно хорошей мысли. Съ этой точки зрѣнія и излагаются «впечатлѣнія» новыми критиками. Лемэтръ нисколько не задумывается бойкій водевиль предпочесть всей «славянищинѣ», т. е. Достоевскому и гр. Толстому. Для полнаго торжества школы онъ однажды устроилъ своей публикѣ такое зрѣлище.

Ему хотѣлось доказать, что въ литературѣ вовсе нѣтъ ни великаго, ни ничтожнаго въ нравственномъ смыслѣ, а есть только матеріалъ для хорошо отдѣланныхъ фразъ впечатлительнаго фельетониста.

Лемэтръ взялъ нѣсколько пьесъ Ожье и Дюма съ особенно популярными и, казалось, вполне опредѣленными героями, и послѣ впечатлѣній критика злодѣи оказались довольно близкими къ добродѣтели, а хорошие люди очень недалеко отъ порока. Вышло, — не изъ чего было публикѣ волноваться гнѣвомъ или сочувствіемъ, вообще не имѣлось ни малѣйшихъ основаній точно опредѣлять нравственную цѣнность дѣйствующихъ лицъ и смыслъ всего произведенія.

Тотъ же самый результатъ, что и у Золя, и вообще у всякаго корректнаго репортера. Какое ему дѣло до внутренняго характера происшествія, было бы оно интересно, какъ новость, а ужъ онъ его распишетъ самыми отборными красками!

Намъ припоминается одно не критическое, а художественное произведеніе Лемэтра, трехактная комедія *Le pardon*. Она чрезвычайно типична для новѣйшихъ направленій и въ искусствѣ, и въ идеяхъ, если только это понятіе уместно въ импрессионизмѣ.

Дѣло идетъ, конечно, о супружеской измѣнѣ. Это роковая тема господствующей школы, но выводы, извлекаемые изъ нея Лемэтромъ, не лишены оригинальности. Мужъ узналъ о преступленіи жены; вопросъ, какъ устроиться дальше? Простить ее немислимо: грѣхъ не подлежитъ забвенію, разстаться съ ней логичнѣе всего, но автору это кажется слишкомъ избитымъ мотивомъ. Онъ заставляетъ мужа, въ свою очередь, согрѣшнить, и тогда, по убѣж-

авторовъ и модъ, они вполне оправдываются и нашими общественными науками, и нашей литературой—искусствомъ и публицистикой.

Мы не имѣемъ права равнодушно смотрѣть на судьбу несожигиной самой блестящей и вліятельной европейской критики. У насъ является совершенно естественная мысль: а что же ждетъ наше художественное творчество и нашу критику? Вѣдь мы—*gratia singulare*, какъ выражался Тургеневъ, и обязаны по силу законовъ природы пройти европейскій путь цивилизаціи. Мы его начали и продолжаемъ. Мало того. На каждомъ нашемъ шагѣ можно указать самые подлинные порты заботимся о преуспѣваясь клястись имен знаменитостей.

Спросите у русскаго «восьмистоклассной» безсонда даже Сарезъ? Онъ такъ подражающій имъ или въ устахъ публики не звучало бы заявленіе: децъ сжмается отъ : сить подобныхъ сравне

онизма и мы еще до сихъ слѣдовъ, немедленно приехъ возникающихъ на Западѣ

не мечтали ли мы въ часы «секунтъ» Тэнотъ, Брандесотъ, оподданнической покорности» трующій ихъ произведенія? И въ похвалѣ русскому критику Сентъ-Бёвотъ! И сколько сердецъ не слышать и не произно-

И вотъ въ отечествѣ Сентъ-Бёвотъ и Тэнотъ совершается полный разгромъ критическаго искусства и литературнаго творчества. Бѣдные скны не останавливаются и предъ этой перспективой. «Репортажъ и порнографія» быстро водворяются на русской почвѣ, въ еще болѣе грубыхъ формахъ, чѣмъ на Западѣ, потому что Золя все-таки крупный литературный талантъ, а Мопассанъ, можетъ быть, даровитѣйшій писатель всѣхъ новѣйшихъ западныхъ литературъ. Скны ичятся и дальше: будто по психопатическому воздействию они усердствуютъ на поприщѣ декаданса и символизма... Короче, нѣтъ ни одной прихоти міровой столицы, ни одного даже временнаго припадка среди парижскихъ скучающихъ липедѣевъ или просто литературныхъ промышленниковъ, ничего, что бы немедленно не пріѣхало къ намъ на пароходѣ.

И мы, слѣдовательно, должны ждать импрессионизма? Сойдутъ со сцены писатели стараго типа, и на сцену ихъ придетъ поколѣніе репортеровъ всевозможныхъ специальностей. Ихъ грядущее царство уже чувствуется,—даже болѣе: къ нимъ пристають старики, трусливо и угодливо поддѣлываясь подъ тонъ новаго слова..

Не выходить ли въ результатъ, — писать при такихъ условіяхъ исторію русской критики, значить становиться въ положеніе римскихъ историковъ и моралистовъ эпохи упадка. Въ сущности, пожалуй, хуже.

### III.

У старыхъ писателей, приходившихъ въ отчаяніе отъ современныхъ пороковъ и забвенія античной доблести, была искренняя вѣра въ дунеспасительное слово. Когда Ливійъ рассказывалъ о древнихъ республиканцахъ, а Тацитъ изображалъ идеальные нравы дикихъ германцевъ, оба историка рассчитывали подѣйствовать своими повѣствованіями на растлѣнныхъ современниковъ, вызвать у нихъ соревнованіе, пробудить совѣсть и снова на классической почвѣ великихъ подвиговъ создать Муціевъ и Цинцинатовъ.

Да, такъ думали и даже откровенно заявляли историки. Съ ними была согласна и публика. Исторія всеми считалась благодарнѣйшимъ источникомъ примѣровъ и нравственно-просвѣщающаго краснорѣчія. Мы не знаемъ, на сколько практически оказалась плодотворной эта идея; вѣроятно, весьма недостаточно. Но для насъ любопытны чувства писателей, ихъ завидная вѣра въ великую силу своего труда.

У насъ не мыслимо ничего подобнаго. Иному читателю показалось бы прямо забавнымъ, если бы мы пригласили его брать примѣры съ какого-нибудь Надеждина, Полевого, Бѣлинскаго и стали рассказывать объ ихъ дѣятельности, въ надеждѣ исправить литературные нравы и вкусы публики. Что было, того не будетъ вновь, — могли бы отвѣтить намъ. И совершенно справедливо. Плохъ тотъ народъ и безпомощна его литература, если приходится искать спасенія и руководства въ прошломъ, если въ лицѣ Бѣлинскихъ, какъ бы они талантливы ни были, національная мысль сказала свое послѣднее слово—ума и энергіи.

Итъ. Мы не имѣемъ въ виду никакихъ поученій. Наша цѣль неизмѣримо серьезнѣе и труднѣе. Мы стремимся не къ внушенію, а логикѣ, желаемъ въ прошломъ отыскать не мораль, а законъ историческаго развитія нашей литературы. Мы прослѣдимъ его безъ всякаго вмѣнательства гражданскихъ чувствъ и публицистическихъ настроеній.

Это заявленіе можетъ показаться чрезвычайно притязательнымъ и даже, пожалуй, двусмысленнымъ. Именно русская критика—это извѣстно рѣшительно всякому читателю—до такой сте-



пери переполнена публицистикой и гражданскими мотивами, что рассказывать ее историю и остаться свободным как раз от ее самых сильных и жизненных стихий — задача неразрешимая. Голос партии, личного сочувствия заговорит непременно, и особенно у историка, начавшего свою работу как раз гражданскими суждениями и явным критическим недопольствием.

Да, конечно, сочувствие и противоположное настроение неизбежны вообще во всяком историческом рассказе. Мы твердо убеждены, — объективная, будто чистое искусство — идеализированная история, вряд ли осуществима. До сих пор, по крайней мере, все громкогласные призраки и безличия не только полной противоположной призрачности и даровитости «погасить свое я», что неслучившейся формой, и историка. Именно, на первых условиях ленина А потому, такое само только у повествователей есть какое-либо с интересом, хотя бы то прогрессу вообще.

историков достигнуть без в научной работе кончинами даже к совершенно брз, у лена. Желание больше исторической науки Ранке и в их чистой, ничем из с основными качествами, и отзывчивости личности, понимания действительности. логически невозможно, если в мыслях и делах существующее мирозерцание и живой изации и к человеческому

Мы, следовательно, даже и помышлять не можем об оценке русских критиков «по методу натуралистов». Мы сознаемся в полной своей неспособности рассматривать даже самых великих деятелей общественной мысли, будто растения и организмы. Нам, как и всякого историка, связывает неразрывная нравственная связь со всеми существами нашей породы, и древний писатель прав, видя самый прочный залог славы великих благодетелей человечества в существовании этой связи. Люди отдаленнейших поколений могут протянуть руку Сократу, как ближнему другу, и если бы они не почувствовали желания сделать это, их с полным правом можно было бы обвинить в одном из самых отвратительных пороков. Таких Сократов знает и наша история и мы не надеемся избежать в великий грех неблагодарности.

Но в начале работы нас занимает не отношение к отдельным личностям, не та или другая оценка фактов и людей.



а самый смысл нашей истории. Онъ, конечно, также лишенъ платоническаго характера, не представляется намъ въ формѣ чисто-литературнаго упражненія. Напротивъ, желаніе открыть его показано самыми повелительными, на нашъ взглядъ, интересами русскаго художественнаго творчества и русской критической мысли въ настоящемъ и будущемъ. Наблюдая новѣйшій поворотъ въ развитіи западной литературы, русскій читатель какъ нельзя болѣе естественно можетъ задаться вопросомъ: какое же положеніе займетъ русское искусство среди явныхъ признаковъ упадка и разложенія одной изъ самыхъ блестящихъ европейскихъ литературъ? Не дѣйствуютъ ли и въ его исторіи тѣ самыя силы, какія привели французскихъ писателей къ натурализму, импрессионизму и символизму? Вопросы эти тѣмъ настоятельнѣе, что отголоски названныхъ теченій нашли у насъ сочувственный пріемъ и съ новой силой пробудили неконный недугъ русскаго человѣка—проявить возможно точную перемчивость и безупречную раздражительность. Что это—неизбѣжный симптомъ въ поступательномъ движеніи нашей литературы, такая же исторически необходимая форма, какъ и на Западѣ, или мимолетное и болѣзненное отклоненіе съ истиннаго прямого пути?

Отвѣтъ, повидимому, съ самаго начала возможенъ вполне определенный: наша литература—растеніе пересадочное. Изъ этой идеи Бѣлинскаго прямое слѣдствіе: законность совпаденія нашихъ литературныхъ явленій съ европейскими, т. е. водвореніе натурализма и символизма въ творчествѣ, импрессионизма въ критикѣ. А если не импрессионизма, по крайней мѣрѣ системъ Тона, Сентъ-Бѣва или эклектической критики въ лицѣ Брандеса.

Но именно этотъ логическій и даже въ дѣйствительности осуществляющійся выводъ, по нашему убѣжденію, является величайшимъ недоразумѣніемъ, какое только возможно въ обобщеніяхъ историческаго и культурнаго содержанія. Мы—*genius europaeus*, мы—ученики Европы и въ наукѣ, и въ искусствѣ; эти положенія вполне правильны. Но мы не даромъ прожили около семи вѣковъ въ западной цивилизаціи. При самыхъ неблагоприятныхъ условіяхъ культурнаго развитія, народъ, обладающій запасомъ нравственныхъ силъ, непременно выработаетъ извѣстный оригинальный складъ натуры, создастъ свою почву для будущихъ общечеловѣческихъ сѣмянъ.

Что такая натура и почва существуютъ у русскаго народа—это простой трюизмъ. Иностранцы, напримѣръ, даже увѣрены, будто

Одновременно съ распространіемъ въ публикѣ сочиненій Тургенева, Толстого, Достоевскаго, и др., явился огульный вольный крикъ: «*Di voleur! Di voleur!*» — «Воры! Воры!» — и начался плагиатъ. Не только не плагиатъ, то сплошь и исключительно скучная, или пестрая, или Сарса, Вогюэ (и др.) слабой русской литературой, но и честными людьми такихъ дѣлъ и наказаніе, и приговоръ. Тургеневъ — ученикъ своего отъказа и изъясненіе, что это только изъясненіе, и даже еще сегодняшнихъ варваровъ было что-нибудь свое въ мысляхъ или въ воображеніи! Русская оригинальность или пережитки средневековаго варварства, или излюбія читателей, слишкомъ падки на модныя увлеченія чужихъ, не-французскихъ.

И припомните презрительные отзывы Золя о г-р. Толстомъ, вліятельнѣйшихъ современныхъ критиковъ объ Островскомъ, негодующія страницы Гонкура о денационализациі и одичаніи французовъ подъ вліяніемъ «московитскихъ» сочувствій, познакомьтесь съ высокомерными снисходительными настроеніями «друзей» Тургенева, вы, при извѣстной впечатлительности и обычной русской довѣрчивости къ западнымъ авторитетамъ, невольно задумаетесь надъ участію нашихъ бѣдныхъ великихъ людей! Если первостепенные писатели являются у насъ только популяризаторами Флобера, Жоржъ Зандъ, Бальзака, чего же ждать отъ менше сильныхъ.—вообще отъ настоящаго и будущаго нашей литературы?..

Мы рѣшаемся утверждать, что совершенно обратное неиз-

бѣжному отвѣту на этотъ вопросъ. Мы намѣрены доказать, что русская и французская литература *два совершенно различныхъ типа* въ исторіи мірового творчества, и здѣсь французская должна быть понимаема какъ *представительница* вообще западно-европейскихъ литературъ.

Въ культурной основѣ русскаго истинно-художественнаго слова и въ психологическомъ складѣ русскаго писателя выразился совершенно своеобразный характеръ творческаго генія, столь же мало похожій по своей *внутренней сущности* на французскій, какъ, напримѣръ, русская народная пѣсня на испанскую серенаду или провансальскій романсъ.

У Достоевскаго или Тургенева, несомнѣнно, можно встрѣтить не мало идей и мотивовъ, напоминающихъ романы Гюго и Жоржъ Зандъ, но здѣсь столько же французскаго, сколько у всякаго культурнаго человека—общечеловѣческой цивилизаціи, будь онъ парижанинъ или японецъ. Въ области общихъ идей терпимости, свободы, демократизма все человѣчество *genus citharacum* точно такъ же, какъ въ общихъ законахъ логическаго мышленія вся зоологическая порода, *homo sapiens*—нѣчто цѣльное и единое. Но общіе принципы мысли и основныя цѣли нравственнаго и общественнаго развитія не мѣняютъ великому разнообразію *выводовъ* и *путей*. И именно въ этомъ разнообразіи и заключается высшее достоинство человѣческой природы и залогъ наиболѣе полнаго и гармоническаго развитія цивилизаціи.

Гюго раньше Достоевскаго написалъ *Les Misérables*, слѣдовательно, былъ предшественникомъ русскаго писателя въ защитѣ униженныхъ и оскорбленныхъ; онъ также раньше его восхвѣлъ душу и даже нравственныя совершенства «падшихъ ангеловъ», слѣдовательно, предвосхитилъ драму и идиллію Сою. Такъ именно и полагаютъ французскіе критики, и—трудно рѣшить, чего больше здѣсь, прискорбною наивности или снѣннаго національнаго самообольщенія?

Поставьте рядомъ хотя бы Маріонъ Делормъ и ту же Сою, Рюи Блаза и Мармеладова, вамъ немедленно самая мысль о какомъ бы то ни было заимствованіи покажется нестерпимо дикою, невѣроятной. До такой степени одна и та же общая нравственная идея можетъ быть выражена въ совершенно различныхъ художественныхъ образахъ и такъ могутъ расходиться пути, ведущіе къ одной и той же цѣли!

Подобныя сопоставленія можно бы распространить до беско-

нечности, и вездѣ насъ поразитъ ослѣпительная разница художественныхъ приѣмовъ у русскихъ и западныхъ писателей, разница именно тамъ, гдѣ культурная и нравственная основа образа или мотива тождественна. Очевидно, предъ нами двѣ необычайно глубокихъ разнovidности творческой психологiи, приведшія не только къ несходнымъ результатамъ, но создавшія для себя почти противоположные пути историческаго развитiя. Исторiя русской литературы тамъ, гдѣ предъ нами дѣйствительно національная литература не имѣетъ ничего общаго съ исторiей европейскихъ литературъ, ни по фактамъ, ни по внутреннему смыслу.

Можетъ показаться общезвѣстнымъ фактъ, что основная черта именно сихъ поръ не раскрыта литература своего родившаго творчества—скрытая самое передовое и мысли именуется *западничествомъ*, доказывали, какъ, въ скомъ западничествѣ, и бодительныхъ влияній полнѣй выставить на истину: русская художественная критика—явленіе совершенно самобытное въ кругу другихъ литературъ и неизмѣнно болѣе оригинальныя, чѣмъ, напримѣръ, та же французская литература по сравненію съ итальянской и англійской, нѣмецкая параллельно съ французской, и, въ свою очередь, англійская литература XIX-го вѣка рядомъ съ французскими романтизмомъ и натурализмомъ.

Понятіемъ самобытности мы пользуемся безъ всякихъ нарочитыхъ чувствъ. Мы не намерены проникаться никакими «национальными» настроеніями: подобныя настроенія не имѣютъ ни малѣйшей цѣны, если они только лиризмъ и чувство. Если же культурные результаты русскаго творчества дѣйствительно исторически оригинальны и сильны своей собственной силой, тогда нѣтъ необходимости ни въ какихъ восклицательныхъ знакахъ. А если этой силы на самомъ дѣлѣ не имѣется, тогда ничего не можетъ быть жалче и недостойнѣе взвнченнаго національнаго самолюбія и самохвальства. Мы думаемъ, въ области художественной и критической литературы мы совершенно спокойно имѣемъ право раз-

считывать на краснорѣчію *фактовъ*, а не *словъ*, и предоставить исторіи и логикѣ защищать нашу «любовь къ отечеству» и даже «національную гордость». Весь нашъ интересъ сосредоточенъ исключительно на культурномъ вопросѣ, и мы представимъ общую картину литературнаго прогресса—европейскаго и русскаго, съ единственной цѣлью—утвердить исходныя точки нашего изслѣдованія историческихъ судебъ русской критики и возможныхъ заключеній на счетъ ея будущаго. Мы возьмемъ французскую литературу, какъ самую типичную и самую вліятельную до послѣднихъ дней. Нашъ обзоръ приведетъ насъ къ вѣрному пониманію современнаго положенія искусства и критики на родинѣ нашихъ исконныхъ учителей, безъ всякихъ усиленныхъ освѣщеній отгнать все, что заключается оригинальнаго въ сравнительно кратковременномъ развитіи нашей литературы и намѣтитъ исторически-убѣдительную цѣль ея дальнѣйшихъ путей.

#### IV.

Надъ Франціей пронеслось множество политическихъ бурь, на литературной сценѣ смѣнились ряды героевъ и вереница самыхъ разнообразныхъ зрѣлищъ, но одинъ герой остается до сихъ поръ незамѣнимымъ и одно зрѣлище продолжаетъ блистать вѣковой неувядаемой красотой. Этотъ герой—*классицизмъ* съ его поэтами, просто писателями и даже религіозными проповѣдниками. Расинъ—это «французская религія», по выраженію современнаго критика. Боссюэ,—совершеннѣйшій артистъ классическаго стиля, того «благороднаго» эффекта звучныхъ фразъ, предъ которымъ французская нація будетъ замирать, вѣроятно, до конца своихъ дней. Даже импрессионизмъ, ловя лишь летящій часъ и изнывая по пестротѣ и возможно быстрой смѣнѣ впечатлѣній, отдалъ честь классицизму,—Леметръ пріостановилъ головокружительный полетъ своего пера ради геніальности того же Расина. Очевидно, классицизмъ—высоко-національное дѣтище французскаго генія, и «классическій вкусъ» исполненъ такого же обаянія для современнаго республиканскаго партера, какое повергало въ восторгъ «ученыхъ дамъ» время Мольера.

Это фактъ въ высшей степени поучительный въ психологическомъ и культурномъ смыслѣ. Онъ показываетъ, до какой степени классическій духъ, *l'esprit classique*, утвердился въ сознаніи французовъ и какъ глубоко проникъ въ ихъ художественные инстинкты. Дѣйствительно, вся литература французовъ отъ эпохи

Римское до наших дней классицизм, т. е. различается неизменно в пределах заранее определенной школы, системы, подчиняется твердо установленным формулам. Каждый влиятельный и даровитый французский писатель или член официальной академии или основатель своей собственной, или подданный уже сложившейся «литературной республики», или законодатель новой. Без кодекса нет искусства, без формулы невозможно гениальное произведение, без авторитета незаконна авторская слава. Вот эти положенія съ неуклонной последовательностью оправдываются всеми периодами французской литературы.

Появление классицизма знаменами. Первая изобъявляла, что хороши условия: без влиятельного ученого и без правителя и принца, любители искусства своим подданным не чинят никакого препятствия, и редакция ученого

Эти слова оказались восторгом. В них, как в правительственных во-

на литературу и писателей. Книга Дюбелле относится къ началу XVI-го вѣка. За ней слѣдовалъ длинный рядъ эстетическихъ законодательныхъ уложеній. Французы съ необычайнымъ усердіемъ принялись изобрѣтать и отыскивать въ древней и средневѣковой литературѣ принципы для «редакціи» поэтическихъ произведеній. Въ интересахъ системы и формулъ были перетолкованы и распространены Аристотель, создана знаменитая теорія трехъ единствъ, совершенно невѣдомая античному философу, и къ началу XVII-го вѣка окончательно установилась классическая школа, а немного спустя возникъ и всушыный стражъ эстетическаго законодательства—академія.

Это центральные факты не только французской литературы, а вообще національной психологіи и культурнаго прогресса одной изъ важнѣйшихъ міровыхъ націй. Художественное творчество по заранее даннымъ формуламъ и съ одобренія руководящаго авторитета,—въ этомъ положеніи вся сущность французскаго генія поэзіи и критики.

дось самыми краснорѣчивыми на основании безсмертной теоріи, искусство невозможно безъ двухъ друзей и творчество писателя. Авторъ книги Дюбелле, хотѣлъ бы, чтобы всѣ короли, запретили строгимъ указомъ писать, а типографщикамъ печатать, не выдержавшее предва-

о и программой, и пророчествомъ будущей академіи и посредствъ ученыхъ мужей,

До какой степени она близка національному духу, существуетъ въ вѣрени и случайныхъ вліяніяхъ какой бы то ни было эпохи, доказываетъ изумительная готовность даровитѣйшихъ писателей войти въ извѣстную, строго опредѣленную колею и вложить свой талантъ въ общепризнанныя рамки.

Академія съ первыхъ же лѣтъ становится настоящимъ инквизиціоннымъ судилищемъ въ вопросахъ литературы. Она возникла изъ частнаго кружка писателей, конечно, друзей между собой и естественныхъ враговъ всякаго, кто не желалъ признавать «совѣщаній» этого трибунала. Ринсье оставалось только воспользо-ваться уже готовымъ началомъ и создать своего рода верховную литературную комиссію.

Ея неограниченная власть немедленно была признана и даже поспѣла въ стихахъ и прозѣ бездарными педантами-романсетами, подручными кардинала, и такими талантами, какъ Расинъ и Корнель. Авторъ *Сиды* издумалъ сначала сыграть въ оппозицію, правда, очень скромную, въ сущности даже не въ оппозицію, а въ легкую фронду молодого и уже знаменитаго писателя. Корнель оказался слишкомъ французомъ, чтобы пойти противъ классической пѣсенки, напротивъ, постарался оправдать ее на совершенно неподходящемъ сюжетѣ. Вотъ этотъ-то сюжетъ, испанская драма, и явился оппозиціей кардиналу, какъ министру, ненавидѣвшему всякое напоминаніе объ Испаніи немедленно послѣ жестокой борьбы съ этой страной. Все остальное обстояло благополучно, и академія всею однимъ распоряженіемъ привела къ порядку безпокойнаго поэта. Воцарился истинный деспотизмъ сорока «безсмертныхъ» надъ французской поэзіей и, слѣдовательно, надъ всей европейской литературой, по крайней мѣрѣ, на два вѣка. Въ нашихъ отечествахъ еще Грибоедову и Пушкину придется считаться съ отголосками французскаго академическаго педантизма, еще *Горе отъ ума* будетъ подвергаться уничтожающей критикѣ со стороны просвѣщеннѣйшихъ друзей поэта, на основаніи *Поэтическаго искусства* Буало, и даже въ автора *Ревизора* время отъ времени будутъ летѣть камни классическаго происхожденія.

Трудно оцѣнить все культурное вліяніе французской академіи на искусство и даже на нравственный міръ писателей. Оно отнюдь не менѣе значительно и національно, чѣмъ французская монархія. Одинъ изъ даровитѣйшихъ политическихъ писателей и историковъ начала XIX-го вѣка, обзрѣвая многообразную смѣну государственныхъ формъ во Франціи, высказалъ мысль: наши республики—



монархія, въ которыхъ пременно спободенъ тронъ. Остроумный публицистъ безъ особенныхъ затрудненій могъ прослѣдить живучесть монархическаго духа въ самыя, повидимому, «свободныя» эпохи. То же самое еще легче можно бы сдѣлать и относительно классическаго духа. Формы будутъ мѣняться, иногда даже безпощадно отрицать одна другую, но самая сущность литературныхъ направленій тождественна отъ Буало до Золя.

Теоретикъ XVII-го вѣка въ стихахъ изложилъ законы классическаго искусства. Основной принципъ его въ высшей степени любопытенъ: Буало разъ навсегда оригинальное поэтическое вдохновеніе объявилъ *folie humaine* и потребовалъ отъ авторовъ точнаго повиновенія «естественности, правды, истиннымъ понятіямъ, по ряду совершенно условнымъ вкусомъ. Главнѣйшая благопристойности» — *l'écarter de la licence* — чуждости стилю, въ жестовъ, въ безукоризн для Буало совершенно чуждыми построениями и ничѣмъ не отличается Федры, одержимой, на любовью, могъ гордиться, что на сценѣ показавъ ничто въ высшей степени разумное, *raisonnable*.

Классикъ не могъ и думать увлечься свободной, прихотливой игрой воображенія, прислушаться къ голосу сердца и дать мѣсто вдохновеннымъ образамъ и прочувствованнымъ рѣчамъ въ поэзіи или на драматической сценѣ.

Это было невозможно не только подъ давленіемъ литературной теоріи: публика XVII-го вѣка, т. е. высшее аристократическое общество не допускало ни свободы, ни сердца. Античные герои наравнѣ съ Оронтами и Акастами воплещали непрестанно салонъ, дворъ, со всею ихъ красивой ложью и поддѣльной красотой. Та же расиновская Федра, щеголяющая самой разумной страстью, не могла, по образцу своей древней предшественницы, эврипидовской героини, лично оклеветать Ипполита предъ его отцомъ и своимъ мужемъ. Эту обязанность выполнять служанка и наперсница Энона, и поэтъ вполне основательно объясняетъ, почему.

«Клевета, — разсуждаетъ онъ, — заключаетъ въ себѣ ничто



слишкомъ темное и низкое, чтобы вложить ее въ уста принцессы». Подобная низость «богѣе свойственна кормилицѣ, которая могла питать богѣе рабскія inclinности».

Это значитъ, человѣкъ высшаго сословія благороденъ и нравствененъ въ силу своего происхожденія. Корнель только за принципами и вельможами признаетъ способность «обладать добродѣтелью съ ея желѣзѣйшими практически результатами». Для классиковъ народъ—*la racaille*, «животное, неспособное распознавать хорошія произведенія», «низкая толпа», и судьба литературы была бы «очень странной», если бы писатели вздумали нравиться «животному, неспособному ни на что хорошее».

Это слишкомъ рѣзкій, мало классическій стиль, но и самые величественные поэты, изъ рода Корнеля, выражаются не иначе, какъ *le peuple stupide*—безмысленный народъ.

Даже Мольеръ, остроумно издѣвавшійся надъ педантами и «сѣдлыми маркизами», не одинъ разъ принимался защищать исключительную чистоту и литературность придворнаго вкуса. Очевидно, автору комедій можно было усомниться въ «разумѣ» трагической схоластики, но аристократическій принципъ изящнаго оставался недосягаемымъ.

Таково первое дѣтище французскаго художественнаго гевія, самый ранній плодъ академическаго надзора за Парнассомъ. Можно не придавать рѣшающаго значенія аристократизму классиковъ и считать его общественнымъ и политическимъ признакомъ времени. Слѣдуетъ только помнить какое воздѣйствіе обнаружилъ этотъ принципъ на искусство, на художественные и психологическіе приемы поэтовъ, на идеи и формулы критиковъ.

Такъ какъ все человѣчество, кромѣ высокорожденнаго меньшинства было признано недостойнымъ предметомъ для господствующаго поэтическаго жанра, немишуемо, конечно, опредѣлился въ извѣстномъ направленіи драматическій строй пьесъ и характеристики дѣйствующихъ лицъ. И то, и другое одинаково безпопачно было вдвинуто въ рамки салонныхъ приличій, и подчинено эстетической формулѣ. Оба принципа шли рядомъ и какъ нельзя богѣе совпадали. Бѣдность, безличіе, удручающее однообразіе аристократическихъ будней и аристократическаго нравственнаго міра воплоти могли довольствоваться чистой риторикой монологовъ и сценами, лишенными всякаго дѣйствія. Неронъ, Цезарь, Александръ низведены до уровня галантныхъ любовниковъ, ихъ исторіи и эпохи подогнаны подъ мѣрку салоннаго этикета, и всѣ герои

могли въ теченіе всѣхъ пяти актовъ упражняться въ тожественныхъ краснорѣчивыхъ изліяніяхъ и ни на одну минуту не проявить своей подлинной индивидуальности.

Отсюда, едва ли не величайшіе два изъяна классицизма — полное пренебреженіе къ исторической перспективѣ и крайнее упрощеніе человеческой психологіи. Французская трагедія, перебравшая почти всѣ эпохи и всѣхъ героев древности и среднихъ вѣковъ, воспроизводящая самыя отчаянныя коллизіи любовной страсти, въ родѣ противоестественныхъ увлеченій и потрясающихъ семейныхъ злодѣйствъ, не представила ни одного дѣйствительно историческаго лица и не раскрыла ни одной тайны нашей души. Это совершенно фантастическая дѣйствительность подъ покровомъ извѣстныхъ именъ и с крикливо-эффектны противоположности шепальныхъ мѣстовъ и вой на изученіи истинныхъ вкусовъ и нравовъ элитнаго общества одной

атный анализъ въ уборѣ, однимъ словомъ, полна и, неистощимой въ оригинальностяхъ, всецѣло востроенная не приспособленной ко обществу, хотя и блестя-

Всѣ эти идеи и факты, не достояніе французской литературы. И блюдать два по существу вновь приобретають въ ихъ подлинныхъ формахъ, или писатели усиливается создать отрицательный моментъ для классицизма, найти ему совершенный контрастъ и установить господство этого контраста исконными классическими средствами, т. е. путемъ формулъ, системы, литературной школы и, слѣдовательно, неофициальной академіи. Но непременно какой-нибудь академіи, все того же вѣчнаго «кружка друзей» и «редакціи ученыхъ».

А отнюдь не жеманствы и духъ и плоть всей французской вѣковъ мы будемъ вѣтченія: или классицизмъ званіи и публикой, въ сво-

Ясно, сущность культурная и психологическая нисколько не мѣняется, царитъ ли извѣстная система съ ея точными принципами, или на мѣсто ея становится другая съ совершенно обратными идеями. Творчество по прежнему ничего не приобретаетъ ни въ правдѣ, ни въ свободѣ. Петеримая формула вызываетъ столь же петеримую оппозицію и находитъ себѣ пресмычку въ не менѣе рѣшительной такой же формулѣ. Классицизмъ требовалъ строгой, узкой благопристойности, во что бы то ни стало втискивалъ въ три единства и въ правила хорошаго вкуса какую угодно

«не благопристойную» исторію, т. е. отъ начала до конца оставался совершенно равнодушнымъ къ дѣйствительности и къ оригинальнымъ стремленіямъ творческаго таланта.

Контрастъ этому деспотизму будетъ проповѣдь крайняго художественнаго реализма, непремѣнно крайняго, потому что борьба всегда пропорціональна силѣ сопротивленія. Если классикъ не признаетъ никого, кромѣ принцевъ, романтикъ на такой же пьедесталъ возведетъ какъ разъ «безсмысленное стадо», низшіе слои народа. Классикъ говоритъ и ходитъ, будто произноситъ привѣтствіе на королевской аудіенціи и танцуетъ на балу у ея величества; романтикъ потребуетъ не свободы, а разнузданности въ рѣчахъ, вплоть до нарушенія правилъ грамматики, и заставитъ своихъ героевъ уже не ходить, а прыгать, бѣгать «опрометью», говорить «съ пламенѣющими щеками», стоять «будто пораженнымъ громомъ» и вообще походить на «сумасшедшихъ». Таковы подлинныя ремарки самыхъ искреннихъ враговъ классицизма.

Очевидно, это будетъ тоже система и, если угодно, въ своемъ родѣ также классическая, по своей прирожденной ненависти къ простотѣ, къ жизненному реализму, къ глубокой разносторонней психологій. Классицизмъ Расина и Буало въ полномъ смыслѣ явленіе роковое. Оно, конечно, не могло бы возникнуть, если бы не коренилось въ самыхъ нѣдрахъ французскаго національнаго духа, не могло бы создать геніальнѣйшихъ произведеній искусства—на взглядъ даже современныхъ французовъ. И мы должны логически придти къ заключенію: *классическій духъ* — подлинный выразитель французскаго творческаго генія, и онъ въ теченіе вѣковъ не измѣнилъ ни своей сущности, ни своего вліянія на литературу: онъ по прежнему система и школа, и менѣе всего — жизнь и вдохновеніе.

Это немедленно обнаружилось въ первую же эпоху протеста. Подъ ударами просвѣтительной мысли пали главнѣйшія основы стараго общественнаго строя — феодализмъ, католичество, даже вѣковая королевская власть, но классицизмъ только подновилъ свой внѣшній обликъ, и то далеко не во всѣхъ главнѣйшихъ произведеніяхъ вѣка.

## V.

Зданіе классицизма, какъ искусства, начинало колебаться въ эпоху, повидимому, самаго пышнаго разцвѣта. Насмѣшки Мольера надъ трагической напыщенностью и отвлеченнымъ ге-

роизмомъ являлись зловѣщимъ признакомъ. Крайне бѣдный запасъ драматическихъ эффектовъ и художочная психологія классической трагедіи быстро истощились. Уже ближайшимъ преемникамъ Расина пришлось прибѣгать къ самымъ неправдоподобнымъ вымысламъ и хитросплетеннымъ романтическимъ интригамъ. Кребильонъ, признанный наслѣдникъ великихъ классиковъ равняго поколѣнія, переполнилъ свою сцену всевозможными ужасами и противоестественными преступленіями. Трагедія снизошла до школьнаго упражненія въ реторикѣ, и даже Вольтеръ, считавшійся самымъ свѣдущимъ историкомъ въ теченіе XVIII-го вѣка, способствовалъ разложенію классицизма какъ разъ своими «историческими пьесами». Онѣ еще болѣе, чѣмъ трагедіи Расина, лишены реального историческаго содержанія и представляютъ сцену для необузданной игры воображенія въ характерахъ и фактахъ.

Естественно, живой мертвецъ вызвалъ не мало охотниковъ докончить агонію. Возникла такъ-называемая *мѣщанская драма*, совершенно порвавшая съ аристократизмомъ трагедіи, ея стихотворной формой и даже съ единствами. Не всѣмъ было легко отказаться отъ этого наслѣдства «великаго вѣка» Людовика XIV, и именно Вольтеръ оказался самымъ упорнымъ консерваторомъ въ области художественной критики. Онъ сдѣлалъ нѣсколько уступокъ вкусамъ новой общественной и политической силы — буржуазіи, но это не мѣшало ему колебаться между старымъ и новымъ направленіемъ до конца дней.

Намнлись болѣе отважные преобразователи, и первое мѣсто среди нихъ принадлежитъ Мерсье, краснорѣчивому критику, плодовитому драматургу, позже мужественному дѣятелю революціи.

Идеи Мерсье необычайно богаты и разносторонни. Онъ можетъ быть названъ предшественникомъ двухъ главнѣйшихъ литературныхъ школъ XIX-го вѣка — романтизма и натурализма. Намъ не должны смущать воспоминанія о жестокой междоусобной войнѣ этихъ направленій. Мы увидимъ, война, при всемъ шумѣ, касалась отнюдь не существенныхъ вопросовъ, не имѣла въ виду и даже не могла — создать новыхъ основъ искусства и критики. Въ романтизмѣ таилось множество сѣмянъ натурального романа, и впоследствии натурализмъ буквально повторилъ теоретическія и художественныя увлеченія своего врага. Снова повторяемъ, это общая судьба всѣхъ французскихъ литературныхъ теченій, какъ бы они на первый взглядъ ни разнились по цвѣту и направленію. Это своего рода круговое движеніе въ фатально ограниченныхъ предѣлахъ.

Мерсье воплощает искреннѣйшую и послѣдовательную оппозицію классицизму, какъ теоріи и какъ искусству. На этомъ пути онъ во многомъ расходится съ энциклопедистами. Онъ совершенно не способенъ идти на какія бы то ни было сдѣлки съ основами стараго порядка, онъ исповѣдуетъ демократическій символъ вѣры безъ всякихъ оговорокъ въ идеяхъ и безъ малѣйшей уступчивости на практикѣ. Онъ не посѣщаетъ философскихъ салоновъ, но стремится просвѣщать знатныхъ дамъ и угождать ихъ утопченному вкусу и малому развитію, приспособляя новыя идеи къ старымъ формамъ трагедіи, посланія, или просто легкой болтовни. У него свой кружокъ писателей, исключительно занятыхъ вопросомъ о народѣ и о чисто-демократической литературѣ. Естественно, Мерсье представляетъ самый полный и энергическій протестъ противъ идейнаго и художественнаго содержанія старой литературы.

Прежде всего Мерсье романтикъ по своимъ эстетическимъ восторгамъ и по своему представленію о роли поэта. Онъ первый изъ французскихъ писателей классическимъ трагикамъ противопоставилъ Шекспира,—пріемъ, усвоенный впоследствии нѣмецкими и французскими романтиками. Мерсье восхваляетъ народность и реализмъ шекспировскаго творчества, французскіе классики въ его глазахъ ничтожные рѣмачи, *petits rimailleurs*, поглощенные одной лишь заботой о «благопристойности». И нѣтъ сомнѣнія, Мерсье понималъ Шекспира неизмѣримо лучше, чѣмъ современныя французскіе критики, и не могъ, конечно, допустить мысли о грубѣйшихъ выходкахъ Вольтера противъ «пьянаго дикаря».

Столь же романтическая идея—и характеристика поэта-трибуны, политическаго и даже соціальнаго дѣятеля въ прямомъ смыслѣ слова. Поэтъ-классикъ—забавникъ богачей и знатныхъ, теперь онъ явится защитникомъ несчастныхъ, ораторомъ угнетенныхъ, точнымъ воспроизводителемъ не красивыхъ пустяковъ тускалаго салоннаго общества, а подлинной дѣйствительности народнаго быта. Ни одна сцена у новаго драматическаго писателя не будетъ сочинена ради празднаго времяпрепровожденія: все будетъ проповѣдью и воплощеніемъ жизненной правды.

Но именно изъ демократическаго принципа и вытекаетъ вполне послѣдовательно другая, не романтическая теорія искусства. Если вы хотите дѣйствовать на публику правдивымъ воспроизведеніемъ народной жизни, вы неминуемо придете къ реализму, и вопросъ, гдѣ вы съумѣете остановиться на этомъ пути. Судьба угнетенныхъ и несчастныхъ часто принимаетъ такія въ дѣйствительности воплоти:

реальныя формы, что на сценѣ или въ романѣ она окажется самымъ натуралистическимъ мотивомъ, можетъ произвести впечатлѣніе преднамѣренно мрачнаго вымысла.

Основатели вѣщанской драмы съ Дидро во главѣ впервые пронесли низкое слово *реализмъ*, но оно, по неотвратимымъ условіямъ эпохи, сейчасъ же стало орудіемъ борьбы и, притомъ, самой безпощадной и нетерпимой. Классическая ложь въ искусствѣ и рабскіе инстинкты изъ идеалахъ естественно должны были вызывать не менѣе революціонныя чувства, чѣмъ злоупотребленія въ области политики, наприимѣръ, феодализмъ и католичество. И такъ какъ старая школа художественную красоту превратила въ жеманство и искусственна- лась искать на проч красоты. У Мерсье вѣченіе романтиковъ: «о впервые полагается о правленія. Въ результа повидимому, уничтожак воспроизводящія его і натурализма можно и только и помышлявшиа иачей. Подчасъ Мерсье художественнаго фанат протестъ.

новая ту же красоту бѣ осипуюсь, въ отрицаніи самой ть звучать знаменитое изре- прекрасно», и, слѣдовательно, ализму самаго крайняго на- формула и составится система, кій духъ, но на самомъ дѣлѣ. только на изнанку. Теснѣю въ разсужденіяхъ Мерсье, наслѣдіе классическихъ риво- змине Золя, потому что, кроме, оводитъ еще и общественный

Мерсье, конечно, требуетъ этнографически точнаго воспроизведенія на сценѣ народной жизни; герои-крестьяне должны являться въ своемъ будничномъ платьѣ, говорить своимъ грубымъ языкомъ, не щадя ни вкуса, ни взоровъ культурной публики. Всѣ подробности ихъ бѣдственнаго существованія будутъ раскрыты въ живыхъ драматическихъ сценахъ. Писатель примется искать сюжетовъ всюду, гдѣ особенно много фактовъ человѣческой несправедливости и всевозможнаго извращенія нравственныхъ законовъ. Онъ особенно внимательно воспользуется судебной хроникой, и безъ всякаго смягченія выведетъ на всеобщій позоръ людей-чудовищъ. Онъ пойдетъ дальше, проникнетъ въ тюрьмы, въ дома умалишенныхъ, и свои наблюденія также добросовѣстно сообщитъ публикѣ. Правда, картины эти могутъ вызвать у зрителей чувство ужаса, но именно такіа впечатлѣнія и должны испытывать счастливыя и богачи, не знающіе темныхъ сторонъ жизни. Мерсье готовъ на дилемму—или приводить читателей въ содроганіе, или заставить ихъ не читать его произведеній.

Критикъ не ограничивался теоріей. Его драмы—тѣ же протоколы и документы, обстоятельное изложеніе судебного процесса чередуется съ подробнымъ докладомъ о положеніи, напимѣръ, рабочаго класса, о качествѣ продуктовъ, спускаемыхъ торговцами бѣднякамъ за дешовую цѣну. Декоративная обстановка сценъ у Мерсье несколько не уступаетъ натуральнымъ драмамъ новѣйшаго происхожденія по основательности и откровенности.

Увлеченія Мерсье вызвали въ свое время насмѣшки, и, замѣчательно, сатиру на теоріи стараго драматурга можно безъ всякихъ поправокъ отнести на счетъ современныхъ золотостовъ. Тотъ же «репортажъ» съ заранѣе опредѣленной цѣлью набрать возможно больше исключительно мрачныхъ происшествій и героевъ, тотъ же фанатизмъ въ мелочахъ и разныхъ спеціальныхъ данныхъ, то же, наконецъ, забвеніе правды и жизни ради отвлеченно поставленной задачи.

И не слѣдуетъ думать, будто Мерсье единственный въ своемъ родѣ ослѣпленный гонителемъ классицизма. Дидро, болѣе укрѣпленный и художественно чуткій, впадаетъ въ такія же крайности. Также возмущенный классической благопристойностью, онъ заставляетъ своихъ героевъ волноваться самыми глубокими чувствами и проявлять ихъ на сценѣ. Всѣ они изливаютъ «потокъ чувствъ», или *torrent des sentiments*. Такъ выражается одинъ изъ нихъ; авторъ, съ своей стороны, употребляетъ чисто романтическія ремарки, въ родѣ *en sanglotant, en pleurant*, рядомъ, одновременно, и исполнителю, пожалуй, трудно было выполнить въ точности подобное указаніе—*рыдать и плакать*.

Восемнадцатый вѣкъ только первый опытъ борьбы противъ классицизма, и мы уже видимъ почти всѣ главныя идеи будущихъ школъ. Не достаетъ только рѣзкихъ словесныхъ формулъ для этихъ идей, но системы несомнѣнно намѣчены вполне точно. Классическимъ законамъ противопоставлены романтическіе и натуральные, и новый кодексъ, подобно своему предшественнику, налагаетъ руку одинаково и на талантъ писателя, и на предметъ искусства. Поэту нѣтъ безусловной свободы вдохновенія, а дѣйствительности нѣтъ безконтрольнаго доступа въ литературу. Новый поэтъ не долженъ упускать изъ виду основной задачи покончить съ классицизмомъ и съ его «благопристойностью». Цѣли этой можно бы достигнуть, просто отбросивъ въ сторону старыя предантія и искренне и свободно приблизившись къ самой жизни. Но французскій геній не можетъ допустить подобнаго беззаконія, надъ



Естественно, возникновение новых титуловъ, изобрѣтеніе новаго хитрѣйшаго придворнаго этикета, вообще необыкновенно точное воспроизведеніе *политической* комедіи мѣщанина во дворянствѣ, повлекло и обновленіе классицизма. Со сцены снова зазвучали имена античныхъ героевъ, напыщенные, трескучіе монологи, пустопорожностью содержанія далеко осталявшіе за собой даже

еніе «законовъ». Такъ именно  
геній французскаго роман-  
са кансенизмомъ и оппози-  
тъ сущности, всѣхъ рукоподя-  
ваннаго времени.



Послѣдніе отголоски просвѣтительной мысли и романтизма XVIII-го вѣка пріютились въ сочиненіяхъ г-жи Сталь, и здѣсь яростно преслѣдовались новѣйшими академическими блюстителями литературнаго порядка, усердными соребнователями Платэновъ и Буало.

Но все равно, какъ полицейскому и казарменному правленію Наполеона далеко до историческихъ основъ старой монархіи, и никакому бонапартизму немыслимо было сравняться съ послѣдственной, хотя и выродившейся властью Бурбоновъ, такъ и новоявленнымъ классикамъ пришлось сыграть только интермедію въ вѣковомъ спектаклѣ французской литературы, на время занять мѣсто настоящихъ артистовъ. Все равно, какъ природа, одаривъ Бонапарта большими военными талантами, до послѣдней степени обидѣла его по части истинно-человѣческаго благородства и царственнаго великодушія, такъ и его «собственные» литераторы при самомъ мучительномъ усердіи проявляли удручающую бездарность и старались взятъ отвагой и совершеннымъ забвеніемъ литературности въ литературѣ.

Реставрація, смѣлившая имперію, легла, по остроумному выраженію современниковъ, на бонапартовское ложе, т. е. старалась сохранить монархическое наследіе Наполеона, и, по возможности, вернуться къ временамъ «красныхъ каблуковъ». Разсчеты—самые легкомысленные и дерзкіе, и они даже въ теоріи грозили неминуемой гибелью ископаемымъ политикамъ и философамъ.

Вся исторія реставраціи наполнена неукротимой борьбой либерализма съ «замогильными выходцами», какъ именovali злые языки вернувшихся въ Парижъ эмигрантовъ, спутниковъ и подданныхъ Бурбоновъ въ дореволюціонномъ смыслѣ. Борьба привела къ рѣшительному низверженію династіи, іюльская революція покончила въ политикѣ со всеми вождями феодаловъ и правотѣрныхъ католиковъ.

Этому перевороту на общественной сценѣ соответствовало появленіе необыкновенно шумной и запалячивой литературной школы—романтизма. Глава ея прямо отождествлялъ свою роль въ искусствѣ съ переменами въ области политики: романтизмъ, говорилъ онъ, то же самое въ поэзіи, что либерализмъ въ парламентѣ. Онъ могъ бы сказать еще яснѣе: именно политическій либерализмъ, окончательная, повидимому, побѣда конституціонныхъ порядковъ надъ пережитками старой монархіи, и превратили Гюго, бывшаго монархиста, въ демократа—и вполнѣ послѣдовательно—въ литературнаго

революціонера. Судьба искусства и теперь, какъ въ эпоху классицизма и просвѣщенія, неразрывно примыкала къ политической исторіи и новая теорія будетъ такъ же строго сообразоваться съ цѣлями новаго оппозиціоннаго теченія въ обществѣ, какъ раннее мѣщанская драма знаменовала наступающее торжество третьего сословія. Мы можемъ сказать больше: романтизмъ Гюго былъ ни болѣе, ни менѣе, какъ той самой истиной, чьи разсѣянные лучи давно блистали въ страстныхъ рѣчахъ Мерсье.

## VI.

Гюго приступилъ къ мѣрнымъ эффектамъ въ теченіе нѣсколькихъ шукъ приближающейся гдѣ на горизонтѣ мель происходитъ еще при ея, наканунѣ революціи предисловіе къ драмѣ

Гюго къ этому пред основалась истоящая кружокъ поэтовъ и кр цемъ на жизнь и на безъ салона, безъ акад

равно, будетъ это гостинная титулованнаго мецената и официаль- ный храмъ безсмертія, или мансарда демократическаго трибуна, и сборнище студентовъ и художниковъ. Гюго даетъ новое эстетическое уложеніе, его единомышленники стануть защищать его искусство и его теорію совершенно тѣми же средствами, какъ это дѣлалось принципами и учеными дамами во времена Расина. Только защита будетъ гораздо шумнѣе и запальчивѣе, какъ и подобаетъ демократическому вѣку.

Что же такое романтизмъ Гюго?

Поэтъ и его друзья провозглашали свободу, либерализмъ, заявляли принципъ самаго неограниченнаго художественнаго творчества: «что существуетъ въ природѣ, то и въ искусствѣ». На сцену снова выступилъ Шекспиръ, какъ богъ-покровитель новой литературы. Классическая схоластика втаптывалась въ грязь и классиковъ даже не удостоивали сколько-нибудь приличнаго надгробнаго слова: до такой степени они казались презрѣнными! Объя академіи, нечего и говорить. Она сама почувствовала своего врага

наго направленія съ безпри- сцену романтизма готовится ся сначала будто отдаленный духъ пахнетъ порохомъ, кое ые застрѣльщики... Все это и только въ самомъ концѣ рисионажный манифестъ—

и пождь. Въ его квартирѣ академія. тѣсно сплоченный пойдутъ за своимъ полковод- вѣдь нельзя. Безъ кружка,

на литературная школа,—все

и такіе либеральныя политики, какъ Тьеръ, не могли отыскать у Гюго всего четырехъ стиховъ хотя бы только посредственныхъ. Очевидно, сраженіе происходило вполне серьезное и противъ академіи съ исторической давностью выросла другая съ самыми необузданными надеждами на будущее.

Пылъ борьбы еще ярче сказывался въ публикѣ и критикѣ. Даже парламентъ послѣднихъ лѣтъ реставраціи не видѣлъ такихъ схватокъ, какія происходили на представленіяхъ драмъ Гюго. Это своего рода *Иліада* и *Одиссея* вмѣстѣ: столько романтикамъ потребовалось битвъ и столько всевозможныхъ приключеній по пути къ торжеству литературнаго либерализма! Въ театрѣ отряжались цѣлыя полчища молодежи, изобрѣтались особые костюмы—по возможности эксцентричнѣе, часто партіи достигали совершенно воинственнаго азарта и въ публикѣ ходили слухи даже о готовящихся насиліяхъ и преступленіяхъ противъ личностей. Гюго могъ впоследствии съ гордостью вспоминать объ этомъ періодѣ: еще ни одинъ поэтъ не приблизился до такой степени поприще искусства къ полю сраженія и не умѣлъ поднять столько страстей въ честь литературныхъ вопросовъ—и притомъ въ одну изъ самыхъ живыхъ политическихъ эпохъ. И все-таки,—въ результатѣ трагическій спектакль выходилъ по существу старой комедіей «много шума изъ ничего».

*Манифестъ* Гюго, повидимому, самый основательный трактатъ о поэзіи новаго времени. Авторъ начинаетъ съ исторіи,—затѣмъ, чтобы придти къ теоріи,—разбираетъ факты прошлаго, чтобы построить зданіе будущаго. Путь — совершенно логическій. Но посмотрите, какъ его совершаетъ французскій эстетикъ!

Мы знаемъ, классики стремились привязать къ античной драмѣ неизвѣстную даже Аристотелю теорію единства, т. е. по своему формулировали одно изъ самыхъ свободныхъ произведеній поэтическаго генія и живое эллинское творчество захватили педантическими фокусами. То же самое совершаетъ и Гюго въ историческомъ обзорѣ литературы. Для него, какъ и для классиковъ, подлога и подлинность фактовъ не имѣютъ никакого значенія. Онъ стремится къ заранее намѣченной системѣ, и не обзрѣваетъ фактовъ, а подбираетъ ихъ, не объясняетъ, а перетолковываетъ. Тогда истинно-классическій, теперь романтическій пріемъ, позже станетъ научнымъ, натуралистическимъ въ рукахъ Тэна и этотъ послѣдній представитель классическаго духа даже откровенно признаетъ, что иначе нельзя и поступать съ критикою.

Исторія поэзіи, какъ она изложена у Гюго, удивительно напоминаетъ пресловутую классификацію фактовъ у Тэна. Оба автора безъ всякой пощады уродуютъ действительность, преспокойно вычеркивая изъ нея все для себя неудобное. Такъ, Гюго—первобытную поэзію считаетъ *лирической*, хотя библейскій рассказъ не подходитъ подъ этотъ жанръ. Дальше, новая поэзія непременно будто бы *драматическая*, между тѣмъ какъ Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ имѣютъ, вѣроятно, нѣкоторыя права считаться драматургами. Автору требовалась стройная лѣстница формулъ и онъ быстро поднялся до вершины, не принявъ самыхъ краснорѣчивыхъ препятствій.

Тоже и въ характерѣ ввести въ искусство с. типъ красоты, будто (по представленію Гюго, нымъ, героическимъ пр

Опять некому дѣл изъ *Одиссеи*—дѣйстви составляющихъ несомн подобнымъ» и «богорап

Гюго могъ бы по удивительное разнообра которые кажутся особен

одѣлнить способность Ахиллеса—первостепеннаго поителя грековъ—тосковать, проливать слезы и музыкой лиры заглушать боль оскорбленнаго сердца. Другой—такой же доблестный витязь—Гекторъ вдохновляетъ поэта на одну изъ трогательнѣйшихъ сценъ во всей европейской поэзіи—прощанія съ женой и сыномъ.

Греки жили слишкомъ полною и свободной жизнью, были одарены слишкомъ глубокимъ и естественнымъ даромъ творчества, чтобы ихъ поэзію можно было заключить въ какую-нибудь отвлеченную схему. Умъ французскаго критика, воспитанный на фанатической систематизаціи искусства, внесъ тотъ же духъ и въ чужую литературу, и въ свою собственную школу.

Онъ могъ быть правъ, возмущался психологической безпомощностью французскихъ классиковъ. Расины и Корнели умѣли возлюбить только одну страсть, т. е. и человеческую природу сводили къ единообразію и строжайшему формализму. Гюго имѣлъ всѣ основанія протестовать и, какъ истый французскій преобразователь, немедленно плалъ въ противоположную крайность.

втизма. Новая школа должна *romanesque*. Оно должно создать древнимъ. Античные поэты, любили только возвышенности и не знали контраста. Терсита изъ *Иліады*. Иrameнѣе всего героическихъ и юдожностью настоящимъ «бого» въ родѣ Ахиллеса и Гектора. изучить по тому же Гомеру и именно въ тѣхъ образахъ, и *одноцветными*. Онъ могъ бы

Герои классиковъ — простые отвлеченія, герои романтиковъ будутъ соединеніе непримиримыхъ контрастовъ, Крохвель явится и шутомъ, и злодѣемъ, въ другихъ драмахъ станутъ чередоваться мотивы гротеска съ самыми грандіозными рѣчами и сценами. Но такъ какъ все это будетъ взято не изъ дѣйствительности, создано не на основаніи наблюденій и свободнаго творческаго процесса, а путемъ разсудка, съ цѣлью удовлетворить теоріи, въ результатѣ и романтикъ не больше классиковъ приблизится къ дѣйствительно-человѣческой жизни и психологіи.

Всѣ эти Крохвели, Рюи Блазы такія же выдуманныя фигуры и странныя явленія, какъ и прежніе Пероны и Александры. Пожалуй, даже въ новыхъ герояхъ еще меньше индивидуальности, чѣмъ въ старыхъ: романтикъ задается извѣстными политическими принципами и олицетворяетъ ихъ дѣйствующими лицами тѣ или другія общественныя идеи. Такъ, Рюи Блазъ долженъ представлять націю, донъ-Салюсти и донъ-Цезарь — дворянство въ эпоху государственнаго упадка. У романтика быстро сложатся такія же психологическія формулы, какъ и у классиковъ. Марионъ Делормъ — чисто идеальное понятіе въ поэзіи Гюго, такое же, каковыя для Расина была вообще принцесса, дама знатной породы. О развитіи характеровъ не можетъ быть и рѣчи. Они появляются готовыми на сцену, опять-таки по классическому обычаю, и весь драматизмъ заключается въ эпизодахъ и сценическихъ положеніяхъ. Контрасты чередуются совершенно механически, распределены по извѣстному надуманному плану.

Въ результатѣ, мы сколько угодно можемъ умищаться благородными идеями поэта и необыкновенно доблестными героями; его драмы столь же далеки отъ художественной жизненной правды и столь же мало имѣютъ общаго съ анализомъ человѣческой души, какъ и всякія риторическія упражненія на заранее поставленныя темы.

А между тѣмъ, Гюго для своей теоріи требовалъ безусловнаго господства въ литературѣ и на сценѣ. Онъ искренно считалъ себя обладателемъ непогрѣшимой окончательной истины, т. е. всеобъемлющей формулы. Въ искусствѣ, говорилъ онъ, не должно быть ни этикета, ни анархіи, а законы. Но поэтъ забылъ, что слово этикетъ само по себѣ вовсе не такое тѣлстворное, и законы могутъ создать условія, не менѣе сгѣснительныя, чѣмъ какой угодно этикетъ. У классиковъ былъ аристократическій тонъ, у романтиковъ могутъ явиться не менѣе обязательныя правила демократическаго

поведенія. Это не въ направленіи поэзіи, а именно въ томъ фактѣ, что сами поэты не могутъ представить искусство безъ спеціальнаго надзора—не за общественными идеалами литературы, а за *пріемами* творчества. Они никакъ не могутъ довести до мысли: пусть всякій, кто одаренъ художественнымъ талантомъ, по свѣдѣнію воспроизводитъ жизнь и изучаетъ душу. Нѣтъ. Если ты хочешь быть передовымъ авторомъ, ты обязанъ непрежѣнно въ самыхъ яркихъ краскахъ изображать *протестъ*, потому что ты протестуешь этимъ противъ классическаго этикета. Потомъ, въ человѣческомъ правствѣнномъ мірѣ ты долженъ открыть страшную смуту страстей, настоящій хаосъ настроеній и отнѣтитъ ихъ такими *ремарками*: *идеалъ или не идеалъ, или погрѣшенъ въ ангельское созерцаніе (abstraction angélique)*... И все это опять затѣмъ, чтобы сразить благопристойное однообразіе противника.

Естественно, романъ вѣка, прямымъ путемъ природа, грубая и дикіи Гюго, и романти въ искусствѣ цѣликомъ.

Зоя въ теченіе шумную войну съ риториками Гюго. Но по сѣ отлично могли бы при

безъ принципиальныхъ задачъ политическаго сдержанія: натурализмъ—безъидейный, негражданскій романтизмъ, а романтизмъ—общественно-тенденціозный натурализмъ. Эти опредѣленія будутъ самыми вѣрными.

Правда, Зоя прибавитъ нѣчто уже сошедшее въ смыслѣ современнаго прогресса: онъ введетъ *научность* въ свою грубую и дикую природу. Съ нимъ рядомъ явится критикъ и даже психологъ съ той же идеей относительно художественной литературы, и они вмѣстѣ создадутъ новую школу, пока послѣднюю, съ такой точной, чисто-французской системой, съ такими математически-простыми формулами. Но именно эта школа и докажетъ все безсиліе французскаго гевія вступить на единственно-законный, естественный путь литературнаго развитія, отдѣлить вдохновеніе отъ разсудка, т. е. творческое воспроизведеніе явленій действительности не замыкать въ преднамѣренно изобрѣтенныя отвлеченныя рамки. Поэтъ не ораторъ, художникъ—не диалектикъ: такіа про-

онія учителя прошлаго разума. «Да здравствуетъ *rage!*» — воскликнуть ученичѣн *отвратительнаго* прогниположенный лагеръ, етъ вести необыкновенно тайн, т. е. съ послѣдовательны на почвѣ искусства

н. Зоя такой же романтикъ, только

стыя понятія! А между тѣмъ, три вѣка французская критика бьется надъ сѣшесіемъ и даже отождествленіемъ двухъ различныхъ способностей человѣческаго духа.

Никто не станетъ доказывать совершенную независимость творчества отъ разума: это другая крайность, — распушенность такъ-называемыхъ бурныхъ геніевъ. Истина одинаково далека и отъ «геніальнаго безумія», и отъ деспотическихъ формулъ, она въ личной свободѣ художника, предоставленнаго контролю своего же личного разума, она въ гармоническомъ единеніи образовъ и идей, и отнюдь не въ рабствѣ тѣхъ и другихъ предъ какимъ бы то ни было эстетическимъ уставомъ, будь то салонный этикетъ или «законы» литературнаго либерализма.

Золя и Тэнъ не только не овладѣли этой истиной, а произвели надъ ней гораздо болѣе жестокое насиліе, чѣмъ всѣ ихъ предшественники.

## VII.

Идеи натуральной школы, одно изъ любопытнѣйшихъ явленій вообще въ исторіи человѣческой мысли. Самымъ отважнымъ романтикамъ врядъ-ли удалось бы измыслить два такихъ изумительныхъ контраста рядомъ, какъ *научная критика* и *экспериментальный романъ*. Нашему столь положительному и скептическому вѣку суждено было присутствовать при союзѣ умиленнѣйшей въ мірѣ наивности съ небывалыми философскими претензіями. Будто малолѣтній школьникъ, легкомысленный и беззаботный, нарядился въ величественный уборъ какого-нибудь средне-вѣковаго изобрѣтателя философскаго камня!

Прежде всего, что такое *экспериментальный романъ*?

Отвѣчаетъ Золя:

«Экспериментальный романъ есть слѣдствіе научнаго развитія нашего вѣка; онъ захватываетъ и дополняетъ физиологію, которая сама опирается на физику и химію; замѣняетъ изученіе абстрактнаго, метафизическаго человѣка изученіемъ человѣка естественнаго, подчиненнаго физико-химическимъ законамъ и опредѣляемаго вліяніемъ среды; однимъ словомъ, онъ — литература нашего научнаго вѣка, подобно тому, какъ классическая и романтическая литература соотвѣтствуютъ вѣку схоластики и теологін».

Коротко и ясно, и, главное, очень энергично. Осуждены, повидному, безнадежно всѣ заблужденія прошлыхъ временъ — «Долой всѣ теоріи!», «Опаснымъ мечтаніямъ нѣтъ мѣста!» посклипаетъ



глава новой школы, раздавая удары по адресу академического педантизма и романтической идеологии.

На основаніи фізіологическихъ разсужденій Клода Бернара, Золя разъ навсегда причисляетъ романистовъ къ сонму ученыхъ, фізіологовъ и химиковъ. Разницы никакой. «Для всѣхъ человѣческихъ явленій существуетъ безусловный детерминизмъ», и литераторъ имѣетъ право анализировать личности и общества отождествлять съ опытами знаменитого естествоиспытателя. Получается совершенно «новая формула». Непремѣнная формула, иначе не будетъ порядка въ развитіи новаго искусства.

Въ чемъ же заключается эта формула?

Золя слѣдуетъ точности своихъ романамъ, т. е. его авторитета читающимъ опытамъ химика отождествляетъ компилятивному представить уже пастораль.

Исходная точка также его нравственный міръ—опредѣленными законами міръ, пищевареніе.

И Тэнъ проведетъ и психологіей, приёмами черты неуклонную, съ естественнаго и критическаго. Напримѣръ, «совокупность 20 тысячъ фразъ», составляющихъ *Пантагрюэль*, равносильна «превращенію пшеницы» въ желудкѣ, и философія Раблэ, его личный характеръ столь же опредѣленные данныя, какъ составъ желудочнаго сока—ферментъ, пепсинъ, кислота.

Правда, вы можете замѣтить, пепсинъ подлежитъ непосредственному нашему анализу и анализъ даетъ всегда тождественные результаты относительно одного и того же химическаго тѣла, между тѣмъ какъ душа человѣка можетъ быть только наблюдаема по внѣшнимъ проявленіямъ ея силъ и свойствъ и выводы изъ наблюденій, у разныхъ наблюдателей, получаются часто совершенно противоположные.

Ничего не значить. «Психологическій анализъ—родъ химіи», безчисленное число разъ повторяетъ авторъ и доходитъ до отождествленія наблюденій психіатровъ съ «видоизмѣненіями» элементовъ, какія химики могутъ производить при своихъ опытахъ.

Бернара приспособить къ о литература тамъ, гдѣ у безъ всякихъ затрудненій дѣлами писателя. На поруду Золя явится Тэнъ и этому научной критики.

ака. Человѣкъ—автоматъ, ссы совершаются по строго такимъ же, какъ, напри-

и химическимъ анализомъ какъ, параллель, до послѣдней твующую о совпаденіи методовъ



Это только первый шагъ. Дальше Тэнъ постарается человека низвести къ продукту, столь же простому, какъ, напримеръ, сахарный сиропъ. Какой угодно талантъ, исключительная личность — произведеніе опредѣленныхъ естественныхъ силъ, и въ результатѣ гениіи и весь нравственный міръ не болѣе, какъ одна какая-либо *преобладающая способность*. Поэтому, достаточно изучить расу, среду, эпоху, и можно заранее предсказать психологію писателя и, слѣдовательно, содержаніе его произведеній.

Обратите вниманіе на эту удивительную идею о *преобладающей способности* и *механизмъ* душевнаго развитія. Развѣ вамъ не слышатся отголоски самаго подлиннаго классицизма съ его слѣплымъ стремленіемъ низвести человека къ одной страсти и драматизировать только эту страсть? А эта математическая формула, такъ выражается самъ критикъ, развѣ не идеальное проявленіе классическаго духа, созданнаго геометрически-правильные сады Ленотра и безукоризненно-разумныя трагедіи Расина? Идея научности всоружила руку критика на такое *уродованіе действительности* — такъ выражается другъ и поклонникъ Тэна, — что даже классическая психологія и эстетика въ сравненіи съ тэновскими характеристиками Шекспира, Байрона и многихъ другихъ поэтовъ и государственныхъ людей кажется либеральной и разносторонней.

Классики просто не признавали Шекспира, Тэнъ его возвеличилъ, но предварительно до неузнаваемости исказилъ и душу, и гениіи англійскаго драматурга. Въ бѣсноватомъ, отрѣшившемся отъ преградъ разсудка и морали, никто, конечно, не узнаетъ автора *Гамлета*, *Дона*, *Макбета*. Никому также неизвѣстенъ и Байронъ, невмѣняемый маньякъ, до послѣдняго нерва одержимый противообщественными страстями. Таковы плоды психологической химіи въ критикѣ!

Но для насъ не столько важны выводы Тэна, сколько сущность его критическаго направленія. Оно самое деспотическое, бездушно-формальное изъ всѣхъ системъ, существовавшихъ во Франціи. Оно идеей автоматизма убило всякое представленіе даже о нравственной свободѣ личности. Что же касается таланта, вдохновенія, они утратили всякое самостоятельное значеніе, разъ весь духовный міръ человека являлся неотразимымъ выводомъ изъ вѣншихъ посылокъ.

Никто безпомянувъ Тэна не обращался съ фактами исторіи и психологіи. Операции классиковъ съ античными героями простительны: Расинъ не выдавалъ себя за химика и натуралиста, но

что сказать о психологѣ и историкѣ, почерпнувшимъ свои принципы въ естественныхъ наукахъ, и своей дѣятельностью вызвавшимъ у благосклоннѣйшаго критика-историка такой отзывъ:

«Для Тэна все сводится къ задачѣ, по динамикѣ: видимая вселенная направилъ съ человѣческой личностью, произведеніе искусства и историческое событіе. Каждая изъ этихъ задачъ составляется изъ самыхъ простыхъ элементовъ. Рисуя даже некачественную дѣйствительность, Тэнтъ добивается рѣшенія съ непоколебимой строгостью математики, доказывающаго теорему, логика, составляющаго силлогизмъ. Если предъ нимъ писатель или артистъ онъ *выводитъ* то, чѣмъ каждый изъ нихъ долженъ быть благодаря расѣ, средѣ и эпохѣ (моменту); потомъ, когда онъ уловилъ господствующую способностъ, *выводитъ* изъ нея все его дѣйствіе и все его вѣдѣніе».

Богѣе вѣрнаго пути — для подлиннаго даннаго. И это называю психологіей и исторіей.

и критика, безъ и восбужденнѣйшихъ фактически научныхъ анализомъ, научнымъ»).

Тэнтъ не только съ фантастическіе опыты но внесъ не малую лепту въ то, что историки дѣлаютъ романы и драматурги дѣлаютъ романы. И это явление вполне совпадаетъ съ научными претензіями Золя и, естественно, глава натурализма послѣ тэновскихъ натуралистическихъ изслѣдованій въ области искусства еще болѣе утвердился на пьедесталѣ «экспериментатора» и «физиолога».

и совершалъ безпримѣрно-историческими событіями, полетъ натурализма: «то, что, изъ послѣднихъ, великіе романы — но настоящаго». Это за-вѣдливо научными претензіями Золя и, естественно, глава натурализма послѣ тэновскихъ натуралистическихъ изслѣдованій въ области искусства еще болѣе утвердился на пьедесталѣ «экспериментатора» и «физиолога».

Въ результатѣ — экзекуція научной критики вполне достойно дополнялись натуральнымъ творчествомъ. И тамъ, и здѣсь водворялся репортажъ, фанатическая погоня за отдѣльными фактами, съ мучительнымъ стремленіемъ во что бы то ни стало воинать ихъ въ извѣстныя группы и создать систему. И критики, и романисты на своихъ попрощахъ договорятся до истинно-гомерическихъ откровенностей. Оба — ученые и натуралисты — они представляютъ единственные въ своемъ родѣ образцы кохическаго ослѣпленія и несовершеннѣйшей наивности.

Тэнтъ прямо заявить: «историкъ стремится (court) къ общей

\*) Подробная оцѣнка ученой и критической дѣятельности Тэна — см. наши статьи, «Русское Богатство», январь — апрѣль 1896 года.

идеѣ путемъ фактовъ, *которые доказываютъ ее*, и рассказъ историка становится занимательнымъ именно потому, что «факты выбраны» и «расположены въ известномъ порядкѣ». Выборъ и расположение фактовъ—единственный цѣли историка, полнота свѣдѣній и вдумчивость въ дѣйствительность *ради нея самой, ради жизненной правды*—все это понятія, совершенно невѣдомыя критикѣ. Онъ искренне пишетъ слова *choisir parmi les faits*, гордится «модіями» своего «воображенія», способными «резюмировать теоріи» и «въ шести строкахъ» изображать портреты, и ни на минуту не задумывается надъ убійственными смысломъ своего краснорѣчія,—убійственнымъ не только для какой бы то ни было научности, а просто для сколько-нибудь добросовѣстнаго историческаго труда.

Зоя, конечно, нечего отставать отъ критика, и его формула ничѣмъ не уступаетъ тэновской. У него тоже бездна записныхъ книжекъ, цитаты изъ газетъ, личныхъ репортерскихъ записей: все это документы общественной физиологіи. Чтобы написать романъ, надо ихъ распределить по группамъ и произвести *выбора между фактами*.

Цѣль выбора подсказана давно положеніемъ натурализма въ современной литературѣ. Онъ явился протестомъ противъ романтиковъ-идеалистовъ, противъ ихъ громкой и восторженной реторики, противъ культа героизма. На сторонѣ романтиковъ были *идеи*, политическіе и нравственные принципы, натурализмъ долженъ заняться одной *правдой*, жизнью какъ она есть, безъ всякихъ красивыхъ освѣщеній. Но *правда* натурализма будетъ своеобразной правдой, полюсомъ для романтическихъ образовъ. И такъ какъ въ этихъ образахъ можно открыть все, что угодно, только не реальную психологію живыхъ людей, натурализмъ создастъ *контрастъ*, возьметъ тѣ же романтическіе образы, только наизнанку. Небывало-благороднымъ героямъ и на рѣдкость величественнымъ происшествіямъ будутъ противопоставлены столь же исключительно-отвратительныя порожденія зла и рассказаны исторіи безпросвѣтно-темныхъ инстинктовъ.

Такое нравственное и психологическое содержаніе натурализма вполне подойдетъ подъ общее культурное настроеніе эпохи. Она—вся разочарованіе въ идеяхъ и идеалахъ, она, устами того же Тэна, произноситъ смертный приговоръ нашимъ надеждамъ видѣть когда-нибудь человѣка свободнымъ отъ звѣрскихъ наклонностей уничтожать ближняго. Царство силы вѣчно и «охота за дичью» не прекратится въ той или другой формѣ до послѣднихъ

дней нашей планеты. Тэнъ даже возмущался воспитателями, внушающими юношамъ идею совѣстной общественной работы и заставляющими преступниковъ считать явленіемъ отрицательнымъ и ненормальнымъ. Напротивъ. Преступники только выраженіе исконаго порядка въ людскомъ обществѣ—звѣрской борьбы за личный интересъ.

Эта философія цѣликомъ вошла въ историческіе труды Тэна о революціи и легла въ основу научнаго романа Золя.

«Опаснымъ мечтаніямъ нѣтъ въ немъ мѣста,—говоритъ авторъ;—зло изображается во всемъ его ужасѣ, паденіе обставлено всей грязью и всѣми муками, являющимися его послѣдствіемъ, и всегда приходишь неизмѣнно къ тому выводу, что добродѣтель и счастье заключаются въ логикѣ, въ признаніи правды, въ равновѣсіи человека съ природой, его окружающей».

Слова, на первый взглядъ, вполне основательныя. Но вопросъ, что признавать логикой и правдой и съ какой природой находится въ равновѣсіи? А потомъ, какъ отдѣлать мечтанія отъ логики и согласоваться съ природой не значитъ ли подчиняться ей?

Тэнъ и Золя, принципиальные праги идеализма и романтической школы, предвосхитили правду и логику даже раньше фактовъ: это—правда разочарованія или равнодушія и логика зла. А природа—сплошная сцена борьбы за существованіе, торжества стихійной силы надъ слабостью. Таковъ, по мнѣнію нашихъ «натуралистовъ», выводъ современной науки.

Въ результатѣ, человекъ Золя будетъ *человѣкъ-звѣрь*, а логика—*ужасъ, грязь и муки*. И все это овладѣетъ литературой вовсе не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ жизнь представляла неистощимую сокровищницу только золанческихъ документовъ—нѣтъ, а потому, что у писателя *новая формула*. И на этотъ разъ она гораздо повелительнѣе, чѣмъ раннія формулы классицизма и романтизма: она—выводъ изъ опытныхъ наукъ, она—въ художественномъ и психологическомъ смыслѣ та же *химія* и тотъ же *анализъ*, какими живетъ современное естествознаніе.

Кромѣ столь эффектнаго научнаго капитала, натурализмъ въ томъ же естествознаніи почерпнулъ и еще одну, въ высшей степени удобную и вполне современную идею. Ученые производятъ опыты, не задаваясь никакими нравственными цѣлями, не влияя ни политическіе, ни общественные интересы въ свои изслѣдованія. Такъ же должны держать себя и писатели. Золя чувствуетъ непреодолимое отвращеніе къ политикѣ, не находитъ до-

статочно презрительныхъ выраженій заклепъжить политическую борьбу и парламентскія пошлости — *les misères parlementaires*, какъ чужаился Сентъ-Бёвъ. Это общес настроеніе новѣйшихъ французскихъ знаменитостей. Тэнъ также не зналъ, куда скрыться отъ шумнаго политическаго свѣта, и даже превратился въ драматурга съ цѣлью написать памфлетъ на современную демократію. Еще ужаснѣе, конечно, идейное безразличіе у экспериментатора.

Но опять фразы одно, а результаты совершенно другое. Золя жестоко возмущался, когда Тэнъ безпрестанно завѣрялъ своихъ читателей въ своемъ безпристрастіи натуралиста и въ способности изслѣдовать историческія событія будто растенія и животныя организмы, а на самомъ дѣлѣ сочинилъ единственный въ своемъ родѣ пасквиль на цѣлую историческую эпоху и ея дѣятелей. Это, дѣйствительно, бревно въ глазу ученаго, но не мѣшало бы Золя оглянуться и на самого себя.

Правда, въ немъ ничего нѣтъ политическаго, это гражданинъ, по закону Солона, вполне заслуживающій изгнанія изъ своего отечества, но моралистъ очень яркій и опредѣленный, до такой степени, что именно морали Золя болѣе обязанъ популярностью, чѣмъ таланту. Онъ усиленно старается защитить себя отъ упрековъ въ порнографіи и содержаніе своихъ романовъ пристегиваетъ къ научной системѣ. Но въ то же время онъ литературный талантъ ставитъ вышѣ какихъ бы то ни было нравственныхъ обязательствъ. Соедините эту мысль съ «трезвымъ» философскимъ міросозерцаніемъ Тэна и того же Золя, и совершенно логически получится именно нравственная формула: чѣмъ больше грязи, тѣмъ больше правды.

А потомъ судьба натурализма еще при жизни самого учителя ясно обнаружила внутреннія язвы экспериментальнаго романа. Онъ вызвалъ оппозицію, не менѣе рѣшительную, чѣмъ его собственная война съ риториками и идеалистами.

### VIII.

Въ противовѣстъ натуралистическому культу звѣрской природы и отвратительной дѣйствительности, возникли давно забытые восторги чистые предъ таинственнымъ и прекраснымъ. Это единственное оправданіе символизма. Онъ знаменовалъ пресмыщеніе грязью и ужасами, и обнаружилъ стремленіе спастись въ область того самаго *l'inconnu*, о которомъ съ невыразимымъ презрѣніемъ

отзывался Золя. Утомленные словами и оргіями, омутами и за-  
стѣнками, люди возжаждали сладкихъ звуковъ и небеснаго далека.

Даже больше. По несконному обычаю французовъ клинъ выбивать  
такимъ же клиномъ, символисты однимъ вымахомъ крыльевъ улетѣли  
не только отъ зодической грязи, а вообще отъ бревной земли. Золя  
подборомъ документовъ умѣлъ создать ультра-дѣйствительность,  
если такъ можно выразиться,—его оппоненты устранили вообще  
дѣйствительность и стали воздѣлывать до такой степени уточня-  
ное, неуловимое содержание, что поэзія превратилась въ звуки  
безъ всякаго общедо- фленнаго смысла, не только  
идейнаго, а даже гра- для разчитывалъ на публику  
съ самымъ первобыти- нимъ пониманіемъ, можно ска-  
зять, съ однимъ физі- чутьемъ, новая школа объ-  
явила своей славой и прить только для вешнихъ  
посвященныхъ и досто- денія соразмѣрять степенью  
сто невразумительности

Однимъ словомъ, си- е же напряженное и разсчи-  
танное отрицаніе нату- тъ была романтическая «сво-  
рода» относительно эти- ственно, при всей небесной  
воздушности формъ и мысла, символисты неминуемо  
выработали также сво- —фигу. Даже и не требовалось, ей вы-  
работывать: она логич- и подсказывалась положеніемъ, какое  
заняла символизмъ ряд- съ натуральнымъ романомъ, такъ же,  
какъ и романтическіе юны» непосредственно вытекали изъ  
воплевшаго натиска итиковъ на «красные каблучки».

Символизмъ не засл- аетъ самъ по себѣ серьезнаго вниманія:  
онъ лишь временный отрицательный моментъ. Но въ общей исто- оріи французскаго творчества онъ краснорѣчивое знаменіе. Онъ возникъ  
одновременно и рядомъ съ импрессионистской критикой и явился дѣтищемъ одного и того же культурнаго процесса. Импрессио-  
низмъ—критика впечатлѣній—антиподъ критикѣ теорій и прин- циповъ, т. е. критическому догматизму.

Если мы выикнемъ въ психологическую суть новѣйшаго на- правления, мы непременно придемъ къ ясному чувству разочаро-  
ванія въ какихъ бы то ни было разсудочныхъ правилахъ худо- жественнаго творчества и къ проблескамъ сознанія великаго зна-  
ченія свободы. Въ этомъ чувствѣ и сознаніи положительная черта импрессионизма.

Онъ правъ, пока отрицаетъ и классическую схоластику, и мнимонаучный формализмъ. Онъ правъ даже, выдвигая на пер-

вый планъ впечатлѣній въ области искусства и отдавая имъ предпочтеніе предъ «этикетомъ» и «законами». До этихъ предѣловъ импрессионизмъ имѣетъ извѣстный историческій смыслъ, такъ же какъ и оппозиція символистовъ обладаетъ долей истины. Но дальше начинается чисто французскій оборотъ дѣла: разъ, ни схоластическій, ни политическій, ни научный догматизмъ въ искусствѣ и въ критикѣ не нашелъ почвы, пусть не будетъ не только догматизма, а вообще ничего сколько-нибудь похожаго на *определенный взглядъ*.

Были и были, теперь политическая свобода, на каждомъ шагу навзойливо бросались въ глаза неотразимо проводимая теорія, школа, теперь прочь даже простую последовательность впечатлѣній, и чѣмъ сужденія объ одномъ и томъ же предметѣ будутъ чаще и рѣшительнѣе противорѣчить другъ другу, тѣмъ критика вѣрнѣе приблизится къ идеалу.

Древніе софисты, отвергая безусловную истину, говорили: «человѣкъ—мѣра вещамъ». Импрессионисты идутъ гораздо дальше: не человѣкъ, а его минутное настроеніе, часто едва уловимое ощущеніе—мѣра и истинѣ, и красотѣ. Объ искусствѣ нельзя *поучать*, можно только рассказывать о своихъ волненіяхъ. И Лемэтръ чувствуетъ такое же отвращеніе къ Золя и натурализму, какъ и символисты. Въ натурализмѣ очень много *формулъ, школъ и системъ*: Лемэтръ хочетъ быть свободнымъ, какъ вѣтеръ пустыни...

Но, снова повторяемъ, пусть слово свобода не чаруетъ нашего слуха: помните, оно произносится не во имя божества, а съ цѣлью искоренить его враговъ. Следовательно, съ самаго начала сторонники свободы не свободны, они во власти страсти, одушевлены гораздо больше ненавистью къ своимъ противникамъ, чѣмъ любовью къ истинѣ, дѣйствуютъ скорѣе подъ вліяніемъ запылчивости, чѣмъ вдумчивой мысли и внутренняго влеченія къ правдѣ.

Въ результатѣ, нравственная цѣна провозглашенной свободы крайне невысока. Изъ страха упасть въ догматизмъ и идейность, импрессионистъ спускается до уровня самаго банальнаго, такъ называемаго здраваго смысла. Принципы его художественныхъ впечатлѣній—умѣренность и аккуратность. Все, что сколько-нибудь выше буржуазнаго, будничнаго опыта, Лемэтръ считаетъ чудовищнымъ и мистическимъ. Отсюда его презрѣніе къ русской литературѣ, переполненной сликкомъ, на его взглядъ, фантастическими и туманными мотивами. Здѣсь же отчасти и причина его ненависти къ романтизму, дѣйствительно весьма грѣшному въ пре-



увеличеніяхъ по части героизма. Лемэтръ признаетъ только мудрость—практическую и вполнѣ осязательную—*une sagesse à la portée de la main*. Онъ прирожденный врагъ умственныхъ усилій и слишкомъ глубокихъ волненій: это—натура эпикурейская, чувственная и пассивная. Она, очевидно, какъ нельзя болѣе приспособлена къ смѣлѣ совершенно безцѣльныхъ впечатлѣній и ни къ чему не обязывающихъ сужденій.

Понятно, симпатичнѣе всѣхъ писателей Лемэтру долженъ казаться классикъ въ родѣ Расина. Въ сущности, классическая трагедія тоже игра, салонное красивое развлеченіе, а идеалы Расина самые кроткіе и благонамѣренные, и Лемэтръ провозгласитъ его образцовымъ французомъ!

Дѣйствительно, трудно еще отыскать болѣе вѣнныи и усадительно-спокойный спектакль, чѣмъ танцующія фигуры и музыкальнѣйшіе въ мірѣ монологи классическаго трагика!

И онъ—*le français de France*. французъ Франціи, типъ французскаго іенія! Это выраженія импрессиониста, и поучительнѣе ихъ трудно и представить. Новый критикъ не хочетъ ни теорій, ни классификаціи, ни особенно «поученій юношеству». Онъ поэтому отвергаетъ академическую шитику и романтическій либерализмъ, но спасетъ Расина ради его безобидности и умѣренности, ради его духовнаго родства съ современными мѣщанскими идеалами—*se laisser aller et se laisser vivre*, жить потихоньку день за день, пользуясь, по возможности, пріятными впечатлѣніями. Лемэтръ, напирѣ, даже вообразить не можетъ ничего очаровательнѣе Парижа и парижскихъ бульваровъ, ничего благороднѣе и разумнѣе *парижскаго духа*—*l'esprit parisien*. Во имя этихъ прелестей онъ и ополчился на «славянщину» и вообще на «варваровъ» — гр. Тостого, Ибсена, Достоевскаго. Эти дикари грозили разрушить зачарованный кругъ эпикурействующаго Жоржа Дандэна.

Таковъ эстетическій и нравственный полетъ современной литературной философіи во Франціи! Мы видимъ, при всемъ отвращеніи импрессионистовъ къ поученіямъ и системамъ, у нихъ неизбежно составилось свое маленькое законодательство: не выше бульвара и не дальше Булонскаго лѣса!

Какого содержанія можетъ быть искусство, вдохновляемое подобной критикой? Въ натурализмѣ есть извѣстная сила, смѣлость, мало всесторонней правды, творческаго воспроизведенія дѣйствительности, но сколько угодно драматизма. Что же можетъ внушить импрессионистское томленіе по слегка раздражающимъ чувствен-



нынѣ ощущеніямъ, по сразу усваиваемой давно всѣми пережеванной умственной пищѣ?

Отвѣтъ не труденъ. Литература должна вернуться вспять, до классицизма, и снова превратиться въ одну изъ принадлежностей комфорта въ жизни господъ, имѣющихъ возможность предаваться «чувственной глѣни» и смаковать собственные впечатлѣнія безъ малѣйшаго душевнаго безпокойства и умственнаго напряженія. Критика уже снизошла до чрезвычайно милой, какой-то порхающей болтовни. Еще Сентъ-Бѣвъ находилъ, что «хорошая критика» можетъ излагаться только въ формѣ болтовни—*en causant*. Теперь это искусственно усовершенствовано, и Лемэтру, безъ всякихъ церемоній, будетъ «критиковать» автора или актера буквально по слѣдующему методу: *As tu fini, es-tu d'eschauffé?.. Eh! va donc...* Вообще, какъ водится на бульварѣ въ дружескомъ разговорѣ. Что же дѣлать литературѣ?

Если такъ забавенъ и легокъ критикъ, каково положеніе беллетриста! Ему уже прямо остается лѣзть изъ кожи, лишь бы все было легко и пріятно. А такъ какъ его не стѣсняютъ болѣе никакія теоріи и идеи, и менѣе всего «поученія», естественно въ какомъ жанрѣ будетъ осуществляться пріятность и легкость.

И вы думаете, наконецъ, въ этой литературѣ явится и правда, и жизнь, такъ какъ навсегда, повидимому, покончено съ формулами и этикетами? Отнюдь нѣтъ.

Трудно и пересчитать, сколько важнѣйшихъ благороднѣйшихъ культурныхъ силъ лежатъ внѣ импрессионистскаго міросозерцанія. Оно эгоистическое и консервативное въ смыслѣ полного равнодушія къ общему прогрессу, инертное даже въ вопросахъ личнаго совершенствованія, отмежевало себѣ самый узкій кругъ чувствъ и идей, какой только можно представить въ цивилизованномъ обществѣ.

Въ глубинѣ импрессионизма лежитъ органическая усталость, сближающая нашихъ современниковъ съ жертвами «эпохи упадка». Даже сами критики новаго направленія и безусловно передовые философы, въ родѣ, напримѣръ, Ренана, испытываютъ какую-то своеобразную гордость, сравнивая свое время съ послѣдними вѣками римской имперіи. И Лемэтру, повидимому, доступны всѣ настроенія, свойственныя безнадежно одряблѣвшей природѣ вырождающагося общества.

Онъ крайне низко цѣнитъ дѣятельность мысли и профессію писателя считаетъ послѣдней, заслуживающей разумнаго выбора.

«Что значать», восклицаетъ онъ, «ваши мезкія, ничтожныя умственныя удовольствія предъ великими животными радостями физической жизни!» И критикъ тоскуетъ по кожѣ, обросшей волосами, по лѣсной берлогѣ, по свободному царству инстинктовъ...

Есть, конечно, доля кокетства и фиглярства въ этой тоскѣ, какъ вообще во всей «болтовнѣ» подобныхъ людей. Но не мало и подлинной правды: писатель, откалавшійся отъ какого бы то ни было идейнаго смысла литературы и сбросившій съ себя всякія логическія и нравственныя обязательства, дѣйствительно можетъ тяготиться даже умственнымъ процессомъ и самыми ничтожными вѣбшательствомъ сознанія въ буржуазный комфортъ и пріятныя ощущенія.

Очевидно, въ искусствовѣдствѣ останется только сама тѣлѣность и выборъ : окажется еще болѣе вѣбшшая школа знаменитѣйшаго не политическаго оппозиціоннаго, а бѣгства отъ руками отъ идей розцѣлые вѣбшя деспотичнаго конца измочалили ху «Института» Риншеле

куроръ» — искусство и въ и мѣхъ одной сѣти законовъ, и нравовъ попадали въ другую, еще болѣе цѣпкую и сложную. Это — даинная смѣна «литературныхъ республикъ» съ очень большими полномочіями президента и министерскаго совѣта.

Расинъ, Гюго, Золя обозначаютъ своими именами три великихъ школы, и замѣтите, художники въ то же время всегда критики. Едва почувствовавъ творческія силы и раскрывъ глаза на свѣтъ Божій, они уже спѣшатъ заручиться ружьемъ и вооружиться очками. У нихъ нѣтъ даже представленія о двухъ основныхъ принципахъ всякаго художественнаго таланта: *личная свобода вдохновенія и непосредственное сближеніе писателя съ жизнью*. Нѣтъ. Французъ непременно прицѣпится помочи къ какому угодно поэтическому генію и изобрѣтетъ средостѣніе между поэтомъ и дѣйствительностью.

Въ результатѣ необыкновенно блестящее и всемірно-вліятельное развитіе французской литературы представляется въ видѣ однообразно вознующагося моря: волна то падаетъ, то поднимается,

источникомъ вдохновенія и въ современной дѣйствительности. Вся поѣ и равнодушіе. Это уже въ литературному направленію, безсильное отмахиваніе коі натуральной правды. рныхъ системъ будто въ шій Франціи. Начиная съ пропанной «Академіи Гон-

не мѣняя сущности своего состава. Чѣмъ глубже паденіе, тѣмъ будетъ выше подъемъ, чѣмъ потерпѣе система одной школы, тѣмъ азартнѣе будетъ оппозиція, столь же систематическая и строго формулированная.

Эта исторія національна до послѣдней черты. Самый типъ французскаго ума ничего не могъ создать, кромѣ вѣчнаго неистребимаго *классическаго духа*, т. е. такихъ же формулъ въ искусствѣ, какими питается математическій гений, столь свойственный французамъ. Ни одинъ народъ не обладаетъ такой способностью упростить идею, подыскать для нея идеально точную и прозрачную словесную форму, низвести её до послѣдняго предѣла элементарности и общедоступности. И поэтому никто не можетъ сравняться съ французами въ искусствѣ популяризаціи и Франція искони была призванной *распространительницей идей*, самой благодарной прозелиткой и проповѣдницей философскихъ системъ и научныхъ теорій. Это въ полномъ смыслѣ провиденціальное назначеніе французскаго гения. Онъ сумѣлъ выработать и языкъ, какъ нельзя болѣе подходящий для ясныхъ и популярныхъ опредѣленій, классически стройный и точный.

Но тотъ же благодѣтельный гений распространилъ свой *резонирующий разумъ*—*la raison raisonnée*, свою стихійную склонность къ формуламъ и классификаціямъ на область, менѣе всего подлежащую строго логическимъ процессамъ. Въ творчествѣ всегда останется нѣчто *невыдуманное* и *произвольное*, неуправляемое и неуловимое ни въ какіе законы и формулы. Здѣсь самому основательному критику и вліятельнѣйшему писателю слѣдуетъ помнить отвѣтъ германскаго императора прѣдцу: «не мнѣ управлять вдохновеніемъ поэта»... Пусть его *личность* и окружающая его *жизнь* будутъ его руководителями и наставниками. Если личность дѣйствительно даровита, нравственно богата и благородна, она непременно сама подойдетъ къ правдѣ жизни и сама откроетъ и идеи и принципы. Даже болѣе. Пусть самъ художникъ не подозреваетъ на своемъ пути никакихъ тенденцій, даже пусть разсудочно бѣжитъ отъ нихъ, онѣ все-таки проникнутъ въ его творчество, если только оно *жизненно* и *искренне*. Еще опрометчивѣе стараться вложить въ извѣстныя рамки самый процессъ творческой работы. Онъ такое же органическое явленіе, какъ всякое живое созданіе природы, и подчиненъ только своимъ внутреннимъ законамъ. Если это созданіе *естественно* сильно и въ самомъ себѣ таитъ сімена красоты, оно принесетъ свои плоды, все равно, какъ

роза непрежѣнно дастъ роскошныя цвѣты, и шиповникъ при самомъ тщательномъ уходѣ все-таки выйдетъ лишь отдаленнымъ намекомъ на розу.

Французскій ужъ пошелъ другимъ путемъ. Онъ почти уничтожилъ грань между поэтомъ и ораторомъ и употреблялъ всѣ силы, при помощи законовъ и академій, если не создавать поэтическія таланты, то уже созданныя ровнять, обстригать и привязывать къ подпоркамъ. Провозглашая даже правду и природу, онъ безсознательно урѣзывалъ и ту, и другую. Возмущаясь классическимъ отождествленіемъ свободнаго вдохновенія съ безуміемъ, онъ и въ самомъ безуміи отыщетъ формулу и Полоній съ одинаковымъ основаніемъ и о Гамлетѣ, ахъ могъ бы сказать: это безуміе систематическое.

*Школы*, непрерывна турпой исторіи Французскихъ странъ. Сама дѣлаетъ Шекспиромъ, не идѣтъ. Эта огорка і дѣи цѣликомъ входятъ ту самую, гдѣ научилъ Шекспира тянется для рода академиковъ въ французскихъ кафтанѣхъ, и даже неукротимѣйшій геній новой англійской поэзіи Байронъ пишетъ драмы «по правиламъ» въ духѣ французскаго института и осмѣливается заявить о преимуществахъ Поэа передъ Шекспиромъ.

Германія съ самаго начала покорно воспринимаетъ его классицизма, потому что лицъ Лессинга учится у Дидро и въ драмѣ Шиллера создаетъ бурный романтизмъ и литературную либеральную партію. Но психологическія и реальныя таланты шиллеровской драмы тождественны съ «природой» французскаго романтизма: у него она также оглушительно кричитъ и съ такимъ же пристрастіемъ дѣлаетъ бѣшеные прыжки вѣсто человеческого разговора и обыкновенныхъ движеній.

Дальше натурализмъ. Это уже настоящая эпидемія для всѣхъ европейскихъ литературъ, и сама побѣдоносная, объединенная Германія принесли едва ли не обильнѣйшую дань и въ романахъ, и въ пьесахъ на алтарь золанческой школы.

Можно, конечно, и во французской, и въ другихъ критикахъ услышать голоса, протестующіе противъ той или другой системы, — голоса умѣренности и независимости. Можно насчитать также и

сколько талантливых писателей, не подчинявшихся игу официального литературного кодекса. Но это *дикіе*, если здѣсь уместенъ языкъ парламентскихъ партій. Еще за предѣлами Франціи они имѣли и могутъ имѣть свое *независимое* значеніе, по крайней мѣрѣ, въ искусствѣ, въ самой Франціи они своего рода «естественные» люди. Въ критикѣ они способны на многія дѣльные замѣчанія въ смыслѣ отрицанія, но окончательно освободить искусство они безсильны. Сентъ-Бёвъ, наприимѣръ, лично романтикъ, далеко ушелъ отъ «законовъ» Гюго, но это движеніе отнюдь не было прогрессомъ собственно критической мысли.

Сентъ-Бёвъ такая же ничтожная, въ сущности, даже неопредѣлимая величина въ положительной критикѣ, какой нестрѣй и презрѣнный паразитъ въ политикѣ. Ему ничего не стоило перейти въ какой угодно лагерь, лишь бы остаться на сторонѣ торжествующихъ и располагающихъ наградами и всякими земными благами. Въ *психологическомъ* отношеніи это прямой предшественникъ импрессионизма, въ *нравственномъ* — совершенный представитель оппортюнизма. Критика у него преобразилась въ остроумную, часто блестящую, но чисто увеселительную болтовню. Его страсть писать біографіи и составлять психологическія характеристики въ результатѣ приводила къ погонѣ за разными *bêtes noires* сплетническаго и пикантнаго содержанія. Ничего прочнаго и цѣльнаго не могли дать эти упражненія, не одушевленные никакой нравственной вѣрой, никакимъ общественнымъ символомъ. Тѣмъ быстро затмилъ Сентъ-Бёва, выдвинувъ снова *формулы и системы*...

Теченіе русской литературы на раннихъ порахъ неизбѣжно впало въ общее море, и на русскомъ языкѣ литература заговорила по французски еще усерднѣе, чѣмъ нѣмецкіе Готшеды и англійскіе Драйдены. Но это была не національная литература; она столь же далека отъ народнаго духа, какъ и ея публика, она не менѣе противостественна, чѣмъ крѣпостникъ-энциклопедистъ и недоросль-вольтерьянецъ. Но именно она и была родоначальницей до сихъ поръ существующаго взгляда, будто русское искусство только одна изъ вѣтвей европейскаго творческаго генія, можетъ быть, даже одно и то же растеніе только на другой почвѣ.

На самомъ дѣлѣ врядъ ли еще въ какой области раскрылось съ такой силой и яркостью культурное отличіе русской національности отъ общеевропейскаго типа, какъ именно въ содержаніи и процессѣ художественнаго творчества.

При самомъ поверхностномъ взглядѣ на исторію русской литературы бросается въ глаза въ высшей степени оригинальный фактъ. Вся исторія съ XVIII-го вѣка до нашего времени рѣзко дѣлится на два періода, будто на двѣ главы совершенно разнаго характера и содержания. Одну можно бы назвать руссѣйско-европейская словесность, другую—русская литература. Одна—развитіе западныхъ литературныхъ школъ на русской почвѣ, другая—вся система литературы національной и независимой, что рядомъ сѣ исчезаютъ всякія соображенія о вѣковыхъ вліяніяхъ.

ровской реформы до ин-  
тисатели говорили на рус-  
ции, все равно, какъ фран-  
лю на французскомъ языкѣ;  
начало родное слово вкля-  
служить темамъ и мотив-  
народной жизнью и буд-  
Такое оранжочейное иск-  
творны, но нигдѣ оно не  
й судьбы, какъ у насъ.

Всюду оно встрѣчало необыкновенно сильнымъ отпоромъ появленіе новыхъ художественныхъ направленій, вступало съ ними въ шумный бой, и то исчезало со сцены, то снова раздвѣтало, хотя бы и блѣднымъ цвѣтомъ. Такъ, напримеръ, было во Франціи. Классицизмъ, разбитый мѣщанскою драмою и сентиментализмомъ, воскресъ при первой имперіи и разсчитывалъ заложить литературу при реставраціи. Ничего подобнаго нѣтъ въ насъ и нашихъ глупостяхъ. Не только классицизмъ, но все другія, даже божіе жизненные школы, завяли и умерли какъ-то внезапно, будто отъ дуновенія какого-то смертельнаго для нихъ вѣтра. Стоило появиться Грибоедову, классицизмъ оказался навсегда похороненнымъ, явился Пушкинъ—все счеты покончены съ романтизмомъ, началъ писать Гоголь—быстро и навсегда установился русскій національный реализмъ, ни по происхожденію, ни по художественнымъ задачамъ не прикосновенный къ европейскому направленію.

ваніе не закрѣпило за ними никакихъ правъ на историческую прочность и даже не создало въ нихъ силъ для сколько-нибудь замѣтной борьбы. Достаточно одного произведенія, единоличнаго протеста даровитаго поэта, чтобы цѣлая школа мгновенно распалась, переняла въ область преданій или, самое большее, стала предметомъ педантическаго культа архивныхъ аристарховъ.

Чѣмъ объясняется такое совершенно исключительное явленіе во всей европейской литературной исторіи?

Вопросъ непосредственно приводитъ насъ къ общей оцѣнкѣ такъ-называемыхъ западныхъ вліяній на литературное развитіе русскаго общества.

Самый пышный разцвѣтъ этихъ вліяній падаетъ на скатертининскую эпоху. На Западѣ въ это время происходила ожесточенная борьба классицизма съ новыми художественными и общественными идеями. На смѣну салонной аристократической публикишло третье сословіе и требовало болѣе реального и свободнаго искусства. Удары старымъ теоріямъ наносились со всѣхъ сторонъ.—въ философіи, въ политикѣ, въ эстетикѣ, и на столько успѣшно, что къ сторонникамъ новшества постепенно приставали убѣжденнѣйшіе классики, въ родѣ Вольтера, и, скрѣпя сердце, принимались писать чувствительныя драмы и жѣланскія трагедіи.

Борьба не могла ограничиться Франціей, быстро переняла границы и вызвала талантливѣйшаго критика даже въ самой скромной и спокойной литературѣ—въ нѣмецкой. Лессингъ превратился въ усерднаго ученика Дидро и сталъ во главѣ блестящаго періода германскаго творчества. Именно въ этотъ моментъ и наши авторы съ особеннымъ усердіемъ стали учиться у Вольтера и энциклопедистовъ. Въ первомъ ряду учениковъ числилась сама императрица.

Но посмотрите, въ чемъ заключалось это ученье и какіе плоды выросли на русской почвѣ отъ западныхъ сѣмянъ?

Въ то время, когда во Франціи искусство Расина подвергается сплошному осмѣянію, даже Вольтеръ поднимаетъ руку на классическія трагедіи и издѣвается надъ набожностью и пустотой ихъ содержанія, у насъ именно классицизмъ въ самой уродливой формѣ находитъ преданнѣйшихъ послѣдователей. Какимъ-то чудомъ русскіе писатели минуютъ дѣйствительно современныя теченія западной литературы, и сосредоточиваютъ всѣ свои сочувствія на отжившихъ формахъ и развѣчанныхъ идеяхъ. Ни Дидро, ни Мерсье, ни Бомарше, ни Лессингъ не удостоиваются чести понасть въ число нашихъ учителей; мѣсто это занимаютъ Буало и другіе, еще



богѣ ископаемые охранители классическаго Парнасса. Даже Гримъ, официальный корреспондентъ Екатерины, авторитѣнѣйшій собиратель литературныхъ новостей и признанный судья, не производитъ на русскихъ читателей никакого впечатлѣнія идовѣнѣйшими замѣчаніями о «пелѣной любви» расиновскихъ трагедій. Освободительное движеніе проходитъ мимо нашихъ соотечественниковъ и они ухитряются наложить на себя оковы испровергнутого педантизма какъ разъ въ самую живую и свободную эпоху западнаго искусства.

И вспомните, какими курьезами, по истинѣ достопамятными противорѣчіями и странностями сопровождается первое сколько-нибудь значительное *вліяніе* европейской литературы на русскую!

Во главѣ отечественнаго классицизма стоитъ Сумароковъ.

Самъ по себѣ это отнюдь не жалкій, забитый стихокропатель, въ родѣ Тредьяковскаго. Напротивъ, у него есть и характеръ, и чувство личнаго достоинства, и «любленіе къ стихотворству», для своего времени довольно безкорыстное, даже похожее на сознаніе писательскаго значенія. Сумароковъ не способенъ, подобно автору *Телемахиды*, взять *безчестье* за кровную обиду и состоять на роли шута у знатнаго мецената. Онъ даже не прочь вступить въ пререканія съ московскимъ градоначальникомъ за независимость своей музы, открыто заявить, что не домогается его милостей и на поприщѣ поэзіи ставить себя выше вельмож...

Для екатерининской эпохи это своего рода гражданскій подвигъ. тѣмъ болѣе, что раздражительный драматургъ у самой государыни вызвалъ заявленію видѣть лучше представленіе страстей въ его драмахъ, чѣмъ въ его письмахъ... Такой черты нѣтъ въ біографіи ни Расина, ни Корнея.

Но именно жесточайшая буря поднята Сумароковымъ какъ разъ во славу Расина—противъ новѣйшей литературной школы, въ лицѣ Бомарше. Сумароковъ не вынесъ представленія мѣщанской драмы *Евгенія*, и вздумалъ искать защиты у самого престола. Противниками русскаго Вольтера оказывалась не только московская администрація, но вся *публика* старой столицы. Это—фактъ достопамятный. Впоследствии мы оцѣнимъ его историческій смыслъ.

Сумароковъ незадолго до своего московскаго пораженія обратился съ посланіемъ къ «фернейскому патріарху», по его мнѣнію, надежнѣйшему столпу классицизма. Вольтеръ находился въ усерднѣйшей перепискѣ съ Екатериной, обмѣнивался съ ней



самыми отважными комплиментами, часто ничѣмъ не уступающими образцовому придворному тону, и письмомъ Сумарокова воспользовался для лирическихъ царедворческихъ изліяній по адресу своей высокой поклонницы.

Естественно, къ Фернэ написалъ полное сочувствіе восторгая Сумарокова предъ Расиномъ, раздалось энергичнѣйшее поощреніе на новую драму, на *мицанскія* имена ея героевъ. Драматурги объявлялись бездарными аферистами, оставившими писать трагедіи по неспособности, и ихъ произведенія давались остроумное прозвище «незаконнорожденныхъ пьесъ» — *ces pièces bâtardes* ..

Легко представить восторгъ Сумарокова. Самъ всеобщій учитель царей и вельможъ считалъ честью соглашаться «во всемъ» съ русскими писателями!.. Естественно послѣ такого по истинѣ королевскаго посвященія, Сумароковъ уже безповоротно вообразилъ себя Юпитеромъ русскаго литературнаго Олимпа и совершенно потерялъ мѣру въ самохвальствѣ и авторской гордости.

А между тѣмъ, и письмо Вольтера, и чувства его ученика выходили силовымъ обморочиваніемъ и недоразумѣніемъ. Весь эпизодъ изумительно краснорѣчивъ и поучителенъ вообще для точнаго представленія о томъ, какъ и чему наши литераторы учились у Европы.

Сумароковъ безукоризненно зналъ французскій языкъ, — Вольтеръ и въ этомъ отношеніи не преминулъ ему сказать очень эффектную любезность, — но никакія силы, очевидно, не могли внушить современнику Расина *понимать* какъ слѣдуетъ французскія книги, отнюдь не головоломныя, а тѣ же вольтеровскія пьесы.

Правда, опредѣлить точно эстетическую теорію Вольтера не особенно легко: здѣсь постоянно прирожденный классикъ борется съ современникомъ Дидро и Бомарше, т. е. писателей, стяжавшихъ славу не трагедіей, а драмой. Но, во всякомъ случаѣ, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію лицемѣріе Вольтера, когда онъ Расина именуетъ превосходнѣйшимъ писателемъ и возмущается мѣщанствомъ новыхъ пьесъ.

Письмо къ Сумарокову написано въ февралѣ 1769 года, но еще въ пятидесятыхъ годахъ Вольтеръ настоятельно доказывалъ необходимость сліянія трагическаго съ комическимъ, сцены «трогательныя до слезъ» признавались особенно цѣнными и умѣстными, такъ какъ и сама жизнь переполнена контрастами. Вольтеръ не желалъ только силовитой слезливости и требовалъ смѣха рядомъ съ чувствами. Это и значило защищать новый жанръ, тѣмъ болѣе, что тотъ же Вольтеръ одобрялъ драму Дидро.

Мало этого. Въ томъ же году, когда Сумароковъ получилъ письмо изъ Фернэ, авторъ письма въ предисловіи къ трагедіи *Гебры* высказывалъ слѣдующія истины, повидимому, не оставившія камня на камнѣ въ классическомъ снѣтизницѣ:

«Чтобы легче внушить людямъ доблести, необходимыя для всякаго общества, авторъ выбралъ героевъ изъ низшаго класса. Онъ не побоялся вынести на сцену сидовника, молодую дѣвушку, поносящую своему отцу въ сельскихъ работахъ, офицеровъ, изъ которыхъ одинъ командуетъ небольшою пограничною крѣпостью, другой служить подъ его командой: наконецъ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ простой солдатъ. Такіе герои, стоящіе ближе другихъ къ природѣ, говоряши сильнымъ впечатлѣніемъ и принци и мучимыя стѣснѣнны трагическими прѣдѣлами и совершенно

языкомъ, произведутъ болѣе гнѣтъ цѣли, чѣмъ любимые вѣссы. Достаточно театры грѣвозможными только среди мо- для остальныхъ людей».

Вотъ до какихъ пы- татель Расина и его ис- какъ выразилось фернэ

аривался поговоренный почи- брахати. любви трагически, ле!

II Вольтеръ практы- ніямъ уже потому, что- жатурга у публики всеми

цятъ своимъ пономъ убѣжде- и и могли спасти его славу дра- го тѣка.

Ничего этого не знаетъ. чскіе классикъ и до конца своей дѣятельности изнываетъ мучительнымъ желаніемъ «явить Россіи театръ Расиновъ».

II просвѣщенные современники отдають должное этой мукѣ. Для нихъ авторъ *Хорса*, *Семиры* и прочихъ унизительныхъ и столь же утомительныхъ школьныхъ упражненій на риторическія темы—«напереникъ Буазонъ, російскій наипъ Расинъ...» И самъ этотъ напереникъ не знаетъ, какими аршиномъ и измѣрить свои заслуги предъ отечествомъ, и выраженіе Ломоносова о немъ «бѣдное свое рюмачество выше всего человѣческаго знанія ставитъ», несколько не преувеличиваетъ дѣйствительности.

II все это происходило у насъ именно въ то самое время, когда Вольтеръ велъ слѣдующую поучительную бесѣду съ Мармонтелемъ.

Начинающій писатель явился къ патріарху за совѣтомъ на счетъ своихъ первыхъ литературныхъ шаговъ. Вольтеръ указалъ ему на театръ, какъ на самый вѣрный путь къ славѣ. Мармонтель откровенно объяснилъ свое полное незнаваніе жизни, незнакомство съ обществомъ, неумѣнье создавать характеры.

— Ну, такъ сочиняйте трагедію,—былъ отвѣтъ.

Юноша послѣдовалъ совѣту, и оказался не хуже другихъ.

Однимъ словомъ, жанръ Расина отживалъ свои дни и утрачивалъ послѣдній кредитъ, и будто отъ смертной агоніи на родинѣ искалъ спасенія въ странѣ скивоновъ. Никакіе современные уроки не могли увлечь первенствующаго писателя дѣйствительно новыми художественными задачами. Онъ фатально, будто потерявъ глаза и смыслъ, устремлялся въ дебри стараго педантизма и угощалъ своихъ современниковъ давно испортившимися продуктами классической кухни. Даже пребываніе въ Петербургѣ главы новой драмы, Дидро, не образумило «наперсниковъ Буаловыхъ», и они, въ глухотѣ и слѣпотѣ къ литературному прогрессу, остаются до конца достойными соперниками своихъ соотечественниковъ-крѣпостниковъ, пожалуй, еще лучше Сумарокова владѣвшихъ французскимъ діалектомъ, но не французскими идеями.

Именно идеями. Не было бы особенной бѣды, если бы Сумароковъ проглядѣлъ *форму* литературы, и вообще если бы наши писатели совсѣмъ миновали слезливую и мѣщанскую драму, какъ жанръ.

Но юнрость получалъ совершенно другое значеніе въ связи съ *содержаніемъ* новой формы.

## Х.

Вольтеръ, мы видѣли, въ трагедіи считалъ необходимымъ дать мѣсто простому солдату, въ другихъ пьесахъ онъ выводилъ крестьянъ и крестьянокъ: это логическое слѣдствіе измѣны Расину. Драма—демократическое явленіе, точнѣе буржуазное, по изъ нея не исключался и народъ въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Она въ литературѣ то же самое, чѣмъ впоследствии явились принципы 1789 года въ политикѣ. И заимствовать форму драмы, значило сбросить съ себя обязанность писать о привилегированныхъ и только ради нихъ приблизиться къ національной дѣйствительной жизни и, насколько доступно литературному таланту и слову, открыть пути общественному развитію, идеямъ личной и народной свободы.

Можно подумать, мы слишкомъ многого требуемъ отъ русскаго ученика французскихъ писателей XVIII вѣка. Несколько. Предъ нами прошли годы, когда опаснѣйшая изъ названныхъ нами идей, народная свобода, могла получить доступъ въ ихъ произведенія. Положимъ, эти годы промелькнули будто предразсвѣтный сонъ и притомъ не общая утра даже въ отдаленномъ будущемъ, все-

такимъ съ подлинными питомцами европейскихъ вліяній немислимы были бы такія, напимѣръ, сцены.

Авторъ *Наказа* въ либерализмѣ устремляется даже дальше тѣхъ писателей, чьи книги перенисываетъ, вопреки Монтескье безусловно возмущается пытками и религіозными преслѣдованіями и достигаетъ поразительнаго эффекта: сочиненіе государыни и правительницы громадной, на европейскій взглядъ, совершенно варварской страны осуждается на сожженіе во Франціи... И что же? Дровъ въ этотъ костеръ могли бы подложить самые усердные поклонники Вольтера, и одинъ изъ первыхъ—его корреспондентъ.

Сумароковъ рѣшительно возсталъ въ защиту крѣпостнаго права, и не по какимъ-либо разноречивымъ соображеніямъ; это было бы еще извинительно для жакго подданныго. Итъ. Въ отзывѣ Сумарокова и моя идеи императрицы чуждыхъ благородныхъ чувствій не таковы: «Нашъ низкій нѣтъ».

И дальше слѣдуемъ Освободить крестьянъ, слугамъ. Да и неужъ крестьянъ царствуетъ.

Когда это говорится, то еще болѣе «національное», иначе пришлось бы угрождать свобода: среди похвалокъ и итъ. Когда это говорится, то еще болѣе «національное», иначе пришлось бы угрождать свобода: среди похвалокъ и итъ.

Изображеніе въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело».

Очень зло и жѣтко, но не на всегда. Скоро придетъ время, и сама Екатерина будетъ разсуждать о крѣпостныхъ порядкахъ буквально по «изображенію» своего поэта. Все-таки ея замѣчаніе не теряетъ своего значенія для характеристики сумароковского и вообще русскаго европеизма.

Сумароковъ и его соотечественники ужьли даже у способнѣйшихъ мыслителей прошлаго вѣка извлекать непременно тѣневую сторону, предразсудки—личныя или національныя и пропускать самую сущность авторскаго міросозерцанія. Напимѣръ, Сумароковъ очень точно вычиталъ у Вольтера—*Шекспира непростительнаго*, но совершенно проглядѣлъ прогрессивныя идеи своего учителя во всѣхъ направленіяхъ, даже въ художественной литературѣ, съ непоколебимой гордостью водворялъ на русской сценѣ расцвѣтъ гений, конечно, до послѣдней степени поблѣкшій и измелѣчавшій, съ легкимъ сердцемъ изрекалъ смертный приговоръ

ный приговоръ цѣлому народу даже при полномъ официальном поощреніи совершенно другихъ воззрѣній!

Писатель, слѣдовательно, являющій себя русскимъ Вольтеромъ въ литературѣ, въ дѣйствительности дѣйствительный русскій крѣпостникъ и на истинно-европейскій изгладъ XVIII-го вѣка всеосмысленнѣйшій скинъ и парваръ. Послѣдствія этого недоразумѣнія не ограничатся общими идеями. Писатель, защищающій рабство и отрицающій у громаднаго большинства своихъ соотечественниковъ человѣческій образъ, самъ лично получитъ возмездіе сторицей за свою же проповѣдь.

Онъ осуждаетъ себя на такое же рабство предъ всякой писанной силой. Онъ лишаетъ себя единственнаго условія, при какомъ осуществимо достоинство писателя, вообще уменнаго работника, не стремится создать для себя *публику* въ словѣ и привагій. Онъ остается лицомъ къ лицу съ знатымъ меценатствомъ и приговариваетъ себя къ участи паразита, вмѣсто высокаго назначенія народнаго просвѣтителя.

Именно къ этой цѣли стремились французская литература, современная Суварову, именно Вольтеръ напрягалъ всѣ усилія, пускался даже въ торговля и финансовыя предпріятія, лишь бы обезпечить свою независимость какъ писателя и аристократическое меценатство съ неизбѣжнымъ писательскимъ паразитствомъ замѣнить популярностью и широко-общественнымъ вліяніемъ ума и таланта.

Вольтеръ достигъ своего идеала. Въ Россіи, конечно, успѣхъ представлялъ несомнѣримыя трудности. но для насъ важно не практическое осуществленіе идеи, а сама идея. Бѣ-то и не разглядѣла наша «классическая» литература, и, соревнуя Расину на сценѣ, наши драматурги считали для себя вполне удовлетворительнымъ и общественную роль поэтовъ Людовика XIV. Даже больше. Все равно, какъ въ поэзіи Суварова, при всѣхъ стараніяхъ, не могъ достигнуть стихотворческаго искусства своего образца, такъ и въ дѣйствительности роль русскаго классика оказывалась тѣмъ ниже, чѣмъ русское крѣпостническое барство первобытнѣе и притязательнѣе аристократизма французскихъ маркизовъ.

Таковъ смыслъ и культурные плоды ранняго воздѣйствія Европы на русское общество. Выводы совершенно ясны. Прежде всего это воздѣйствіе, исторически и нравственно—реакція, сравнительно съ самой наглядной европейской современностью. Въ результатѣ, оно являлось тому, чтобы полагать первую существеннѣйшую основу вся-

Пока онъ умиляется предъ «счастливыми швейцарцами», погружается въ сладкую меланхолю у памятника Руссо, и убѣждается въ очень красивой и трогательной истинѣ: «Цвѣты граціи украшаютъ всякое состояніе». Это очевидно изъ блаженнѣйшаго состоянія «просвѣщеннаго земледѣльца», когда онъ сидитъ «на мягкой зелени съ нѣжной своей подругою» и не хочетъ командовать счастіемъ даже «роскошнѣйшаго сатрапа».

Сцена, дѣйствительно, очень поэтическая, тѣмъ болѣе, что просвѣщенный поселенецъ предполагается отдыхающимъ послѣ «трудоу и работы», следовательно, истинно образованный крестьянинъ, чутъ по — цюціи *Письма русского путешественника*.

И потѣ, такой-то — поэтъ очутился лицомъ къ лицу съ самыми громадными и «поселеніи», т.-е. французскаго народа. Одно изъ — имено: *Парижъ, 18 мая 1789 года*, т. е. написано въ — ме ди послѣ открытія генеральныхъ читателѣ. Путешественникъ — долго остался въ Парижѣ и имѣлъ полную возможность воспринять и оцѣнить какія угодно впечатлѣнія и въ какомъ угодно количествѣ.

Что же получилось въ результатѣ?

Мечтатель, способный приходить въ восторгъ отъ швейцарской свободы, впадать въ глубокомысліе по поводу женевскаго философа, въ Парижѣ оказывается Іереміей ренюэции. Всѣ его сочувствія — *по ту сторону*, т. е. къ старой французской монархіи. При ней «все блаженствовало», — таково убѣжденіе чувствительнаго русскаго странника. Онъ ухитрится отыскать какого-то аббата изъ очень распространенной породы салонныхъ паразитовъ и разгуливаетъ съ нимъ по парижскимъ улицамъ, описывая минувшее «благоденствіе».

Опять очень любопытное явленіе. Именно эти аббаты, имѣвшіе ничего общаго ни съ церковью, ни съ духовными обязанностями, патентованные сплетники аристократическихъ гостиныхъ и при счастливыхъ обстоятельствахъ — «друзья дома», еще при Людовикѣ XV вызывали глубочайшее отвращеніе у современниковъ. Напримѣръ, одинъ изъ министровъ, маркизъ Даржансонъ отнюдь не атеистъ и не радикалъ, въ своихъ запискахъ писалъ даже особую главу подъ такимъ названіемъ: «О скандалѣ. Уничтожить (éteindre) смѣшную породу свѣтскихъ людей, именуемыхъ аббатами...»

И просвѣщенный россиянинъ, полъ-пѣка спустя, не находитъ

въ Парижѣ ничего болѣе поучительнаго, чѣмъ бесѣда съ подобными обломкомъ навсегда похороненнаго прошлаго. Онъ съ упоеніемъ слушаетъ рассказы аббата о салонахъ, насмѣлки надъ энциклопедистами, а рѣчи Мирабо считаетъ пустой болтовней и не видитъ въ нихъ ничего, кромѣ грубой сварливой запальчивости.

Зачѣмъ французы перестали думать «о памятникахъ любви и нѣжности!»—вотъ самое настоящее сердечное горе русскаго наблюдателя. Зачѣмъ исчезли «цвѣты» изящныхъ обществъ и пало «священное дерево» подъ ударами «дерзкихъ»—такова политика нашего философа. А житейская мудрость еще проще. «Я не зналъ въ Парижѣ ничего, кромѣ удовольствій», признается авторъ, и дальше единственное въ своемъ родѣ изліяніе чувствъ:

«Я оставилъ тебя, любезный Парижъ, оставилъ съ сожалѣніемъ и благодарностью! Среди шумныхъ явленій твоихъ жилъ я спокойно и весело, какъ безпечный гражданинъ вселенной, смотрѣлъ на твои волненія съ чистою душою, какъ мирный пастырь смотритъ съ горы на бурное море...»

И вы напрасно стали бы искать болѣе или менѣе цѣнныхъ и просто фактическихъ свѣдѣній о необыкновенной эпохѣ и исключительныхъ людяхъ. Ничего меланхолическаго, скромно-эпикурействующаго пастырь не видалъ и не понималъ. Надъ его головою могли гремѣть какіе угодно грома, подъ ногами колебаться земля,—онъ ни на одну минуту не прерывалъ бы своихъ воздыханій о любви, о нѣжности, о граціяхъ, о цвѣтахъ. Имѣло ли послѣ этого смыслъ учиться иностраннымъ языкамъ, читать французскихъ писателей и нѣмецкихъ философовъ, если въ Парижѣ 89 года можно было не знать ничего, кромѣ удовольствій, а въ Германіи Лессинга и Канта считать «истиннымъ философомъ того, кто со всѣми можетъ ужиться въ мирѣ?»

Рѣшительно не вышло бы никакого изъясненія ни для удовольствій, ни для уживчивости, если бы ни Руссо, ни Гёте не были извѣстны даже по именамъ будущему россійскому исторіографу. Онъ научился единственному искусству у заграничныхъ учителей, и то какъ и для чего научился! Онъ умѣетъ безъ конца растекаться въ чувствительномъ лиризмѣ, поминутно обращаться къ сердцу, природѣ, человѣческому счастью и прочимъ, не менѣе опредѣленнымъ и трогательнымъ предметамъ, въ послѣдствіи онъ воспоетъ Лизу, непременно *бѣдную* во всѣхъ смыслахъ слова. Все это несомнѣнные отголоски чувствительности и народности новой французской литературы.



Но опять, будто по волшебству, исчезъ ея живой духъ, и Флоръ Силинъ ни единой чертой не напоминаетъ буржуазныхъ и демократическихъ героев западной драмы. Онъ, скорѣе, пейзажъ-г-жи Помпадуръ, на красныхъ каблучкахъ, въ разноцвѣтныхъ лентахъ и съ вѣчной любовной пѣсенкой на устахъ...

Опять про русскаго писателя можно съ полнымъ правомъ повторить рѣчь Екатерины: «изображеніе въ поэтѣ работаетъ, а связи въ мысляхъ понять ему тяжело».

Именно въ мысляхъ. Потому что, кто же, съ нѣкоторой связью въ мысляхъ, изъ всей революціонной бѣры могъ извлечь опереточнаго аббата и при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ французской исторіей, додуматься до идеи о всеобщемъ благоденствіи подъ властью Бурбоновъ! Кто, наконецъ, могъ проглядѣть великій культурный смыслъ философской и литературной борьбы въ Германіи, и какую угодно истину предпочесть молчалинской добродѣтели!..

Очевидно, требовалась незаурядная власть воображенія надъ самымъ, повидимому, убѣдительнымъ краснорѣчіемъ жизни и логики.

И что послѣ этого означали потоки слезъ, пролитыхъ русскимъ авторомъ и его читательницами надъ прудомъ Симонова монастыря! Какой смыслъ могла имѣть смѣхотворная идиллія о просвѣщенномъ поселянинѣ и доброй поселянкѣ!.. Ничего, кромѣ все той же лжи, какую вносили въ литературу и классицизмъ, того же рокового пренебреженія къ правдѣ и дѣйствительности. Все равно, какъ высокопросвѣщенный классическій пѣнта именно въ своемъ «просвѣщеніи» и своей школѣ черпалъ лишнія основанія отрипнуть у «нашего народа» благородныя чувства, точно также пѣвецъ сельскихъ нужностей считалъ свой гражданскій долгъ исполнѣть уплаченнымъ послѣ сентиментальныхъ воркованій о невѣданныхъ міромъ земледѣльцахъ и ихъ подругахъ. Непосредственно отъ бумаги, залитой риторическими слезами, можно было вполне свободно и съ сознаніемъ собственнаго достоинства перейти къ крутистической практикѣ, т. е. просто къ торговлѣ и жнѣ не-просвѣщенными поселянами и не столь нужными поселянками. Такой именно путь и совершалъ нашъ путешественникъ.

Это даже не противорѣчитъ вообще психологическимъ законамъ. Литературныя упражненія, эстетическія волненія и книжное краснорѣчіе отнюдь не влекутъ къ реальнымъ послѣдствіямъ въ жизни, если только не та же жизнь подсказала мотивы и идеи краснорѣчія. Напротивъ, работа надъ бумагой дѣлаетъ человека постепенно почти совершенно равнодушнымъ къ человѣческой



кожѣ, и онъ перестаетъ различать свои впечатлѣнія отъ своихъ поступковъ, игру своей фантазіи отъ дѣйствительности. Всѣ предметы преобразовываются и даже мѣняютъ свои подлинныя имена. Мужикъ замѣняется мужичкомъ, деревня — сельскимъ раемъ, помещикъ — добрымъ баринкомъ, бѣдствія однихъ и роскошь другихъ переводятся очень изящнымъ стилемъ — скромный хлѣбъ труженника и избытокъ богачей.

Все какъ слѣдуетъ, и чувствительный поэтъ, только что воспѣвшій Флора Силина, азартно будетъ защищать народное рабство, потому что, вѣдь, то поселянинъ, а эти — просто мужики. Сказка никогда не сойдется съ былью, и именно поэтому доставитъ не мало утѣхъ просвѣщеннымъ любителямъ цвѣтовъ и грацій.

Но исторія сентиментализма въ Россіи представила и еще другія, не менѣе любопытныя явленія.

Съ классицизма нечего было спрашивать *дѣятельной* мысли: онъ по самой сущности — литература застоя и «благоденствія». Не то чувствительная школа. На Западѣ она по происхожденію и по смыслу — *протестъ*. У самыхъ скромныхъ французскихъ чувствительныхъ драматурговъ, въ родѣ Лашоссэ — одного изъ родоначальниковъ новой драмы — уже обнаруживается ея основная задача.

Сначала вопросъ идетъ о правахъ чувства. Они выше сословныхъ предразсудковъ и случайностей фортуны. Они сами по себѣ источникъ счастья и основа человѣческаго достоинства. Даже если признать эту истину только къ любви и браку, старая семья — вся расчетъ и предразсудокъ — неминуемо рушится и, слѣдовательно, пробивается первая брешь въ вѣковомъ зданіи привилегій и родовыхъ преимуществъ.

Но, вполнѣ послѣдовательно, права чувства можно распространить и дальше, на какую угодно область общественныхъ явленій. Гдѣ несправедливость, гдѣ существуютъ униженные и оскорбленные, тамъ и поприще для чувства и для чувствительной литературы. И французскіе драматурги, а за ними Лессингъ и Шиллеръ, быстро перенесли на сцену рѣшительно всѣ современныя вопросы политики, церкви, сословныхъ отношеній. У немцевъ не всѣ эти мотивы развились съ одинаковой полнотой, но у французовъ XVIII-го вѣка сцена превратилась въ настоящую парламентскую трибуну, и партеръ въ теченіе десятилѣтій игралъ роль самаго отзывчиваго и добросовѣстнаго миттинга \*).

\*) См. нашу книгу: *Политическая роль французскаго театра въ связи съ философій XVIII-го вѣка*.

Для насъ собственно важенъ общій выводъ: чувство въ европейской литературѣ явилось необыкновенно живою нравственною и общественной силой и именно этими своими достоинствами стяжало новой литературѣ громадную популярность.

При старой французской монархіи всюду было сколько угодно жертвъ, и католическая церковь соперничала съ государствомъ и дворянствомъ въ умноженіи ихъ числа и отягощеніи ихъ участи. Естественно, художественная литература, независимо отъ какихъ бы то ни было философскихъ воздѣйствій, неминуемо распространила свою власть на всю исторію и на все настоящее Франціи, просто потому, что была воодушевлена гуманностью, состраданіемъ и справедливостью. Она хотѣла стать политической, и распространеніемъ сво-

Въ какой же роли

Въ совершенно неу-  
роду, утратило нервы  
чувствъ. Съ ними со-  
испыталъ библейскій  
блудницы: онъ утратил  
игрушкой въ нечистыхъ

Въ самомъ дѣлѣ, и  
ніе величайшаго историческаго  
метаморфоза европейскихъ идей въ слѣдующемъ ученіи русскаго философа?

ство у насъ?

но будто измѣнило свою при-  
ипило въ всякой человѣческой  
же самое превращеніе, какое  
бывавъ въ рукахъ языческой  
стоинство и сталъ презрѣнной

на мирно-пастырское созерца-

ворота и развѣ не чудовищная

Всякое общество связано уже потому, что существуетъ. «Самое несовершеннѣйшее» должно вызывать у насъ изумленіе своей «чудесной гармоніей». «Вѣкъ золотой» возможенъ всюду, при всевозможныхъ условіяхъ, такъ какъ для счастья необходима только добродѣтель. Высшая мудрость—полнѣйшая тишина и покорность судьбѣ. Пусть все идетъ на свѣтъ по закону инерціи: человѣкъ обязанъ не покидать своего поста—мирнаго пастыря, смотрящаго съ горы на бурное море, или еще лучше, находившаго сибарита, умѣющаго вырывать цѣлты удовольствія изъ самой пасти Сциллы и Харибды.

И вы не думайте, будто это говоритъ юношеская неопытность, молодое, несмысленное, хотя, можетъ быть, и доброе сердце. Нѣтъ. Всѣ эти идеи и картины лягутъ въ основу окончательной исторической философіи Карамзина и будутъ вдохновлять его на всѣхъ поприщахъ ученаго, поэта, публициста.

Движеніе XVIII вѣка, повидимому, столь ему близкое и извѣстное лично, получить краткую и энергическую оцѣнку: всѣ эти философы и политики «скучали и жаловались отъ скуки». Не богѣе. Чего же хлопотать намъ о разныхъ «либералистахъ» и идеологахъ: у насъ все тихо и мирно, больше ничего не требуется и мы должны «благодарить небо за цѣлость крова нашего».

II чувствительный рыцарь «Бѣдной Лизы» и Флора Силина не остановится ни предъ какими средствами отстоять свои «святыни», т. е. крѣпостничество и бюрократію во всей ихъ патріархальной неприкосновенности. Онъ двинетъ всѣ ресурсы своего краснорѣчія и отнюдь не сентиментальныхъ передержекъ противъ Сперанскаго, относительно Александра I повторить исторію Сумарокова съ Екатериной, т. е. заявить себя непримиримымъ врагомъ реформаторскихъ мечтаній молодого государя и благородныхъ совѣтовъ его ближайшихъ друзей. Бывшій поклонникъ «счастливыхъ швейцарокъ» начнетъ теперь издѣваться надъ республиками и конституціями, хотя бы это были даже Англія и Америка, Бонапарта возвеличить въ ущербъ Вашингтону и свои чувствительные навыки пустить въ ходъ уже не затѣмъ, чтобы воспѣть «просвѣщеннаго земледѣльца», а изобразить російскаго дворянина по образѣ отца и патріарха.

Таковъ русскій представитель той самой литературной школы, какая во Франціи олицетворялась Дидро и Мерсье, въ Германіи зажгла гражданскимъ огнемъ юношеское сердце Шиллера и драмами поэта подняла всю молодежь до тѣхъ поръ будто политически-заснувшей страны.

Разъясненія излишни: слишкомъ краснорѣчивы факты! Они показываютъ, какъ мало внутренняго, нравственнаго прогресса въ смѣнѣ европейскихъ школъ на сценѣ русской литературы. Мы дальше оцѣнимъ заслуги Карамзина предъ русскимъ языкомъ—заслуги очень почтенныя, но мы теперь же должны запомнить, что собственно литературное направленіе здѣсь не при чемъ. Классики также не мало поработали для русскаго слога, но то исторія грамматики и стилистики, а не литературы.

Въ литературномъ смыслѣ сентиментализмъ остался такимъ же отрицательнымъ явленіемъ въ нашемъ отечествѣ, какъ и классицизмъ, еще даже въ сильнѣйшей степени.

Классицизмъ рѣзко и открыто, по уставу своего ордена, отвращалъ негодующіе или презрительные взоры отъ національной дѣйствительности и являлъ жестокосердіе и аристократизмъ убѣж-

деній въ силу своей художественной сущности, какъ привилегированной литературы. Это—искренній и честный врагъ правды, жизни и народа.

Не то сентиментализмъ.

Въ его репертуарѣ явились разные Силины и Лизы, поселяне и поселянки, зазвучали тожныя восторги предъ «бѣдностью» и «бездѣлностью», подчасъ даже предъ швейцарами-республиканцами.. Можно подумати, дѣло повернуло противъ «Августовъ» и «знатныхъ» на пользу «всякаго состоянія» и даже «земледѣльца»...

Ничуть не бывало, въ результатѣ одна феерическая декорация и праздная игра писательскаго «изображенія», въ сущности обманъ и лицемеріе. Да, иначе нельзя оцѣнить нравственные качества карамзинскаго художества, и не надо пространныхъ доказательствъ, чтобы подобное литературное явленіе признать болѣе тлетворнымъ и порочнымъ, чѣмъ первобытно-откровенный классицизмъ.

Сентиментализмъ російскихъ повѣстей и драмъ сослужилъ крайне печальную службу общественной нравственности нашихъ предковъ.

Онъ оказался для нихъ такимъ же удобнымъ, спасительнымъ средствомъ, какимъ искони пѣсковъ обряды и разное ханжество являются у людей, въ дѣйствительности невѣрующихъ и жестокихъ.

Поплакати надъ чувствительной пьесой, пережить легкую нервную встряску надъ «трогательной» книгой—то же самое, что для ханжи выполнить извѣстный обиходъ «святаго человека». И любопытно, какъ разъ строжайшее выполненіе внѣшнихъ предписаній религіи закаляетъ сердце лицемера и ожесточаетъ его природу. Даже въ русской комедіи пропалаго вѣка извѣстенъ типъ богомольной барыни, безпощадной именно во время молитвы, жестокой съ своими слугами непосредственно послѣ набожныхъ и будто бы проникновенныхъ настроеній.

То же самое съ театральной и книжной чувствительностью. Всплакнувъ надъ *Бѣдной Лизой*, иной «отецъ и патріархъ» считалъ свой долгъ человеколюбію снова заплаченнымъ и могъ, пожалуй, даже причислени на патріархальныя экзекуціи надъ подданными за то, что эти подданные такъ мало походили на героевъ сентиментальнаго автора и, слѣдовательно, не заслуживали «цвѣтовъ грацій», т. е. пощады своему человѣческому знанію.

Въ результатѣ, нравственное вліяніе сентиментализма отнюдь не можетъ считаться благотѣльнымъ въ нашей литературѣ и въ нашемъ обществѣ. Онъ по существу продолжалъ дѣло клас-

снцизма, т. е. еще больше углублять пропасть между литературнымъ слогомъ и культурнымъ прогрессомъ, чисто-художественными увлеченіями и долгомъ писателя предъ своимъ народомъ. Постепенно создавался особый классъ эстетиковъ, риторовъ, маскарадныхъ лицедейвъ на мотивы манерной граціи и слезливаго празднословія, и отчужденность между народомъ и тонко-просвѣщенными господами росла съ каждымъ новымъ шагомъ европеизма на русской почвѣ.

Въ крѣпостной практикѣ это явленіе отразилось разцвѣтомъ особаго класса аристократовъ.—изъ лакейской среды, бурмистровъ, управляющихъ, вообще посредниковъ между бариномъ-европейцемъ и дикаремъ-мужикомъ. Потому что баринъ сталъ слишкомъ иззященъ и цивилизованъ, чтобы лично имѣть дѣло съ своими «вас-салами», и французская образованность русскихъ «феодаловъ» возымѣла совершенно для Европы неожиданныя послѣдствія: отягчила гнетъ, лежавшій на закрѣпощенной массѣ, и еще глубже унизила народъ предъ первымъ единственно просвѣщеннымъ сословіемъ.

Мы, конечно, не намѣрены подобные результаты приписывать именно европейскимъ вліяніямъ: мы говоримъ о преобразованіи этихъ вліяній въ русской средѣ, точнѣе—о вырожденіи европейской культуры въ высшемъ русскомъ обществѣ. Снова повторяемъ, вырожденіе не безусловно, бывали и настоящіе, прямые ученики европейской цивилизаціи. Но предъ нами литература и ея даровитѣйшіе, по крайней мѣрѣ, самые видные дѣятели. И они-то оказываются достойными соотечественниками тургеневского энциклопедиста и англомана, не выносившаго даже одного вида мужика. Очевидно, русская европействующая литература сама по себѣ не заключала никакихъ сѣмянъ просвѣщенія и гуманности, оставалась однимъ изъ украшеній барскаго комфорта и еще ярче отбѣняла помѣщичью теплицу отъ мужицкой избы, привилегированное тунеядство и эгоизмъ отъ крестьянскаго труда и неисчислимыя жертвы.

Сентиментализмъ смѣнился третьей и послѣдней школой—романтической. Плоды ея въ нашемъ климатѣ еще оригинальнѣе: это одна изъ самыхъ своеобразныхъ комедій вообще въ исторіи человечества.

## XII.

Мы видѣли, чѣмъ романтизмъ былъ на Западѣ,—ожесточенной войной противъ старыхъ преданій аристократической литературы. Но этого мало. Романтизмъ не ограничился искусствомъ, его юно-

шеская страсть борьбы захватила вопросы истории, какъ науки и идеалы отхлынувшей личности, какъ члена общества. Все эти задачи неразрывно связаны и вытекали изъ общаго неукротимаго стремленія къ свободѣ и оригинальности въ творчествѣ и въ жизни.

Мы знаемъ, эту свободу скоро подчинили законамъ, заключили въ теорію и формулу, но самая идея не могла остаться совершенно безплодной. Послѣ классиковъ, пустословившихъ по гречески хотя и на родномъ языкѣ, романтизмъ потребовалъ національности въ искусствѣ, на мѣсто античныхъ героевъ и ископаемой исторіи выдвинулъ на сцену прошлое новыхъ европейскихъ народовъ, не отступая предъ самыми первобытными источниками, предъ средними вѣками. Новые поэты народными. Современники ствовали этому желанію своимъ національнаго бытія именно націи и народъ борьбы всей Европы съ мѣстами, предъ которыми не было больше благоприятныхъ войны подняли глубочайшіе доводы, признали на сцену исторіи и отдали рѣшеніе грандіозной мѣцезаремъ.

Въ результатѣ совѣтъ поэзии и исторіи. рину, собирать народы центръ тяжести принесъ и выясненію роли массы въ исторіи. Наука и поэзія здѣсь шли рука объ руку, вдохновляя другъ друга снабжая взаимно идеями и матеріалами. Напримѣръ, изъ самаго ранняго французскаго романтизма извѣстенъ любопытнѣйшій фактъ воздѣйствія поэта на ученаго.

Поэтъ — Шатобрианъ, ученый — Огюстенъ Тьерри. Историкъ впоследствии рассказывалъ, какъ онъ рѣшилъ свое признаніе.

Ему было всего пятнадцать лѣтъ. Онъ учился въ школѣ и хуже всего зналъ исторію по крайне плохимъ и бездарнымъ учебникамъ. Однажды вечеромъ, уединившись въ школьной залѣ, Огюстенъ читалъ поэму Шатобриана *Мученики*. Здѣсь, по обычаю автора, до чрезвычайности много треска и блеска и неисчерпаемое море пустошавонной мнимо-религіозной реторики. Но рядомъ встрѣчались картины, свидѣтельствовавшія о несомнѣнной чуткости романтическаго поэта къ средневѣковой народной старинѣ.

Между прочимъ, описывались франки. Для юнаго читателя этотъ таинственный народъ былъ извѣстенъ только по имени ничего отчетливаго ни въ нравахъ, ни въ національномъ характерѣ: записателей Галліи учебники не сообщали. И вдругъ,

поэма рисуется дикій, но величественный и грозный строй неукротимыхъ воиновъ, покрытыхъ зѣриными шкурами, лѣсомъ копій и съ громовой бранной пѣсней на устахъ. Пѣсня приводилась здѣсь же дословно...

Тьерри не выдержалъ впечатлѣнія, вскочилъ съ мѣста и, ходя изъ угла въ уголъ, принялся повторять громкимъ, восторженнымъ голосомъ военный гимнъ варваровъ.

Красота и своеобразная сила картины съ этихъ поръ навсегда завоевали будущій великій талантъ ученаго и писателя. И уже достаточно этой заслуги, чтобы обезсмертить романтизмъ и въ поблещихъ—для насъ искони фальшивыхъ—лаврахъ Шатобріана оставить хотя бы одинъ зеленѣющій цвѣтокъ.

До послѣднихъ дней западными историками не забыты романтическія національныя увлеченія и ихъ великое значеніе для новой науки. Въ увлеченіяхъ часто обнаруживалось не мало уродливаго сѣмшного и жалкаго. Иные фанатики мечтали о самомъ подлинномъ воскрешеніи старыхъ бардовъ и давно погребенной дѣйствительности. Но хористы неизбежны при всякомъ зрѣлищѣ, и чѣмъ оно грандіознѣе, тѣмъ ихъ больше. Они не помѣшали первымъ нѣмецкимъ романтикамъ, въ родѣ Шиллера, стать первыми трибунами народа, его свободы и достоинства, и новѣйшимъ нѣмецкимъ историкамъ именно съ этой эпохой связывать освобожденіе своей науки изъ тьмы филологическихъ кабинетовъ и дипломатическихъ канцелярій для широкаго поприща общенациональнаго просвѣщенія и блага.

Впослѣдствіи французскій романтизмъ XIX вѣка остался вѣренъ своимъ началамъ и Гюго требовалъ безусловно національныхъ, мѣстныхъ и историческихъ красокъ въ драмѣ. Результаты не соответствовали энергіи принципа, и мы знаемъ почему, но смыслъ романтической школы съ того самаго момента, когда впервые было произнесено и опредѣлено г-жей Сталь самое слово *романтизмъ* и до послѣднихъ его отголосковъ въ нашемъ столѣтіи оставался неизмѣннымъ: *l'esprit de la liberté*, по выраженію той же писательницы, т.-е. самобытность, оригинальность, національная и личная борьба противъ всего нивелирующаго, банальнаго и безличнаго.

Въ нравственномъ мірѣ отдѣльнаго человека романтическая стихія выразилась въ высшей степени любопытнымъ мотивомъ — *разочарованіемъ*. До сихъ поръ не написана ни культурная, ни психологическая исторія этого явленія, а между тѣмъ врядъ ли еще какимъ нравственнымъ фактомъ такъ краснорѣчиво характеризуется новое время, какъ разочарованіемъ.



Съ самаго начала и особенно съ теченіемъ времени къ этому па-  
строеноію новаго человѣка пристало неисчислимое множество всевоз-  
можной мелочи и пошлости. Въ обществѣ рѣшительно всѣхъ евро-  
пейскихъ народовъ протекали цѣлыя десятилѣтія, сплошь заполо-  
ненныя разочарованными и равнодушными. Трудно и вообразить  
сколько литературныхъ произведеній всевозможныхъ жанровъ посвя-  
щено этой изумительной эпидеміи, не поддававшейся, повидимому, ни  
какому цѣлебному средству, даже самому вѣрному и сильному—смѣху.  
И до сихъ поръ кое-гдѣ, въ укромномъ и затхломъ захолустьѣ все  
еще поблескиваетъ старая мишура и смущаетъ простодупные взоры.

Въ чемъ же тайна такого единственнаго успѣха?

Отвѣтъ очень простой. Разочарованіе—это вѣдь удовлетво-  
ренность, вообще недовольство окружающею жизнью, критика на-  
нее, хотя бы молчаливая, страданія за ея уродства и презрѣн-  
ность, хотя бы и никому невѣдомыя и непонятныя. А кто недо-  
воленъ и критикуетъ, тотъ, предполагается, стоитъ выше пред-  
мета критики, и разочарованіе, слѣдовательно, ничто иное, какъ  
тоска по идеалу, жажда чего-то исключительнаго, благороднаго и  
сильнаго. Разочарованный—своего рода искупительная жертва  
пошлаго и бездушнаго міра.

И это справедливо.

Возьмите разочарованіе въ жизни и поэзіи его подлинныхъ  
искреннихъ исповѣдниковъ, вы непременно откроете именно эти  
страданія избранной натуры, съ органической протестъ во имя  
личной свободы и человѣческаго достоинства противъ обществен-  
ной косности и стадности.

Совершеннѣйшее воплощеніе разочарованія—байронизмъ. Этого  
и слѣдовало ожидать. Самая яркая протестующая личность должна  
была явиться на почвѣ исконной политической свободы и прав-  
ственной независимости. Байронъ—великобританецъ до послѣдняго  
нерва своего вѣчно-возмущеннаго организма, хотя именно на немъ  
съ небывалой послѣдовательностью оправдалась истина: никто  
не бываетъ пророкомъ въ своемъ отечествѣ.

О Байронѣ точнѣе будетъ сказать не въ отечествѣ, а въ родномъ  
обществѣ, т.-е. въ англійской аристократіи. Она никогда не по-  
ступалась и не поступится ни своими правами, ни своимъ достоин-  
ствомъ, но поведетъ борьбу съ соблюденіемъ традицій и преце-  
дентовъ. Это капитальный фактъ всей англійской политической  
и общественной исторіи, и его-то нарушилъ Байронъ съ безпри-  
мѣрной отвагой и запальчивостью.



Трудно было наследнику «бѣшеннаго Джэка» и цѣлаго ряда другихъ, не болѣе смиренныхъ предковъ, дѣйствовать «въ границахъ» и съ соблюденіемъ всѣхъ обрядностей самой сложной въ мірѣ британской внутренней политики. Но это не значило, будто лютый лордъ порвалъ всѣ національныя связи въ своей революціонной дѣятельности. Напротивъ. Онъ остался лордомъ со всѣми его даже предвзѣтами и со всѣми традиціоннымъ комизмомъ.

Онъ, подобно какому-нибудь самому заурядному, всю жизнь безмолвному наследственному законодателю, кичится своей знатностью и весьма часто заставляетъ насъ подозрѣвать, ужъ не защищаетъ ли онъ личную независимость во имя своей власти. Онъ изнываетъ по славѣ Наполеона и носитъ съ нею особенно зрѣлой идеей, что его имя и бонапартовское оказываются съ тождественными инициалами. Это стоитъ гордости Шатобріана, когда тому донелось нѣтъ квартиру въ той самой мѣстности, гдѣ когда то обиталъ Бонапартъ.

Все это жалкая суэта суетъ, тѣмъ болѣе мелкая, чѣмъ серьезнѣе сущность байронизма.

А она—полная противоположность бонапартовской славѣ.

Байронъ единственный въ первой четверти нашего вѣка вѣрный преемникъ просвѣтительныхъ идей. Онъ подлинный ученикъ Руссо, но не фанатическій. Съ женеvскимъ философомъ у него общаго только дѣйствительно положительные и разумные идеалы человѣчества: благородная, независимая личность, преисполненная ненависти ко всякому лицемерію и стаднымъ инстинктамъ, личность, жертвующая счастьемъ своему достоинству.

Въ этомъ мотивѣ настоящій культурный смыслъ байроновской поэзіи. Предъ нами разочарованіе не во имя отрицанія, а извѣстнаго идеала, правда, не вполне опредѣленнаго въ подробностяхъ, но яснаго и увлекательнаго въ цѣломъ.

Подаромъ нашимъ поэтамъ, Пушкинъ и Лермонтовъ, нашли въ поэзіи и даже личности Байрона нравственную опору для себя въ некультурной, заносчивой средѣ такъ называемаго «свѣта». Пушкинъ въ біографіи англійскаго поэта почерпнулъ не малое ободреніе для своей поэтической дѣятельности, непонятной и даже униженной въ глазахъ окружающаго общества. И это нравственное вліяніе байронизма на лучшихъ русскихъ людей неизмѣримо важнѣе и глубже, чѣмъ литературное, до сихъ поръ совершенно незаслуженно занимающее столько мѣста въ русскихъ представленіяхъ о творчествѣ Пушкина и особенно Лермонтова.

Таковы основныя стихіи западнаго романтизма. Всѣ названныя нами поэты и множество другихъ быстро стяжали обширную извѣстность среди нашихъ писателей и даже читателей. Мы увидимъ, романтизмъ сильно занималъ русскую критику и одно время волиновалъ журналистовъ сильнѣе, чѣмъ всѣ политическіе вопросы. Что же вышло въ результатѣ этой популярности и этихъ волненій?

### XIII.

При одномъ звукѣ приходитъ прежде все знаніе даровитѣйшимъ тикомъ и у современн тикомъ—говорить о і кія прирожденныя нах. души Жуковского все тонецъ нѣмецкаго ром. Шиллера и германскія

всѣмъ на память непрежѣнно скаго. Онъ единогласно при- гвѣняимъ идеальнымъ роман- омства. Онъ «родился роман- .. И это справедливо, во вся- ують пици и поощренія, для гь нѣмецкой поэзіи. Онъ пи- еимущество, т. е. творчества охи Наполеона.

Мы знаемъ, ихъ вдовъ неудержимо, часто слѣпо стреми- лось воскресить вѣковую национальную старину своей родины, они именно жили себя пожеланными наследниками средневѣковыхъ бар- довъ и рыцарей и свой историческій патріотизмъ часто доводили до театральной тавтономаніи.

Но старина блистае не одной національностью и народностью. Въ глубинѣ столѣтій, не отличавшихся умственными свѣтомъ, жило много темныхъ преданій и неразгаданныхъ, запутанныхъ происшествій. Темнота здѣсь означала буквально темноту мысли, неразгаданность создавала легковѣріе и самымъ обра- жениемъ...

Но развѣ для восторженныхъ читателей старины во имя ея «священныхъ сѣдинъ» и національной страсти, допустимы такіа прозаическія объясненія? Нѣтъ, темнота—это таинственность, не- разгаданность, высшая недоступность, нѣчто, пропывающее силы обыкновеннаго человѣческаго разсудка и требующее роман- тической фантазіи и спеціальнаго чувства.

Въ результатѣ одновременно съ положительнымъ и жизненнымъ ядромъ романтизмъ приобрѣлъ также свой хвостъ.—изъ «туманно- сти» и «неопредѣленности» основныхъ недостатковъ романтизма, по мнѣнію Гёте.

Теперь поспѣваемъ романтиковъ пролетая и не огляды-

читься національными и историческими задачами, т. е. ясною, оригинальною поэзіею или дать волю мечтамъ и снамъ и погрузиться въ міръ призраковъ и чудесъ.

Жуковскій выбралъ послѣдній путь.

Національность иъ его поэзіи ограничилась весьма сомнительными созданіями въ родѣ Свѣтланы, Людмилы, если и русскихъ, то съ крѣпкой примѣсью космополитическаго «вѣчно женственнаго» элемента. Герои нашего романтика гораздо ближе походятъ на просвѣщенныхъ земледѣльцевъ и иѣжныхъ подругъ Карамзина, чѣмъ на подлинныхъ русскихъ людей. Въ сущности, Жуковскій поэтъ карамзинскаго сентиментализма, только съ примѣсью разной международной чертовщины.

Вотъ въ ней-то и выразился русскій романтизмъ, какъ плодъ нѣмецкихъ вліяній. Жуковскій могъ вполне серьезно рассказывать о привидѣніяхъ, будто лично ему знакомыхъ, и мы не знаемъ до какихъ предѣловъ могла доходить любимая идея поэта: *«мы, не должны смущаться сердцемъ... мы должны вѣрить, вѣрить и вѣрить»*. Такъ подчеркиваетъ самъ Жуковскій, очевидно особенно настаивая на покоѣ и вѣрѣ.

Да, *покоѣ*. Это всеобъемлющая черта въ характерѣ нашего романтика. На Западѣ именно романтики поднимали особенно много шума подчасъ ради даже самого шума, это они по преимуществу бурные геніи, герои «стремленія и натиска»... А у насъ с романтическимъ поэтѣмъ Гоголемъ могъ написать такіа строки:

«Благоговѣйная задумчивость, которая проносится сквозь всѣ его картины, истекаетъ изъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ и какою-то тайною замыкаются твои собственные уста».

Замѣчательно, сентиментализмъ изъ дѣятельной общественной силы превратился у насъ въ идиллическое усладительное лганье, романтизмъ изъ школы реформы и борьбы сталъ меланхолическимъ сибаритскимъ созерцаніемъ. Духъ жизни и энергіи, будто по какому-то роковому закону, отлеталъ отъ европейскихъ литературныхъ ученій, и русскіе ученики умѣли заимствовать въ болшинствѣ случаевъ *отстой* каждаго движенія, а не его цвѣтъ и силу. Они часто предпочитали становиться подъ знамя второстепенныхъ иноземныхъ учителей, даже не различая звѣздъ разныхъ величинъ и не проникая въ смыслъ дѣятельности самихъ вождей.

Сумароковъ, Карамзинъ, Жуковскій—по содержанію, а первые

два и по формѣ своихъ произведеній. несомнѣнно, стояли ближе къ Мармонтелямъ, Жанлисамъ, Тикамъ, чѣмъ къ Вольтерамъ, Дидро, Шиллерамъ. Пушкинъ такъ оцѣнивалъ русскій классицизмъ:

«Французская обаятельная словесность, еlvaht tout. Знаменитые писатели не имѣютъ ни одного послѣдователя въ Россіи, но бездарные писатели—грибы, выросшіе у корней дубовъ»...

Это не во всемъ объяснимо къ русско-нѣмецкому романтизму, и притомъ Жуковский не мечталъ быть оригинальнымъ поэтомъ, славу свою о чужихъ произведеній.

Клонности къ творчеству, по выраженію I привидѣніямъ нѣмецкимъ.

И что особенно любима на русской почвѣ Жуковский сидитъ и зѣркаютъ и духъ иносемъ пропитаться мотивами чуждыми, походящими переводимыхъ и языка, но муза остается даровитѣйшій романтикъ.—только переводчикъ.

своимъ русской литературѣ: сказывались его личные наклонности романтизма оставались и вкусъ къ призракамъ и

локальные стремленія романтически неожиданные плоды, и способностью переложить на русскій языкъ, т. е. ивенту, Жуковский часто пренебрежалъ и поэтичностью и зарубежной богиней и нашей

О другихъ идеяхъ романтизма нечего и говорить. Они цѣлкомъ покрываются изреченіями идилическаго героя, грека Эсхила:

Все небо намъ дано, мой другъ, съ бытіемъ;  
Все въ жизни къ великому средству—  
И горестъ, и радость—все къ цѣли одной.  
Хвала живаедавцу—Зевесу!

Что это значитъ, подробно объяснено въ швейцарскомъ письмѣ, путемъ такъ-называемой «горной философіи».

Философъ созерцаетъ страну, гдѣ когда-то совершались великіе физическіе перевороты, и приходитъ почти къ карамзинскому идеалу: сидѣть спокойно на горѣ и глубокомысленно взирать на волнующееся внизу море... Мы говоримъ почти, потому что личная природа Жуковскаго гораздо гуманнѣе и благороднѣе, чѣмъ сердце и умъ сентиментальнаго ритора, и онъ готовъ признать извѣстныя права за прогрессомъ. Но только пусть они осуществятся сами собой, а человекъ долженъ неуклонно работать и благодушно пользоваться жизнью «на своемъ мѣстѣ, въ своемъ кругѣ»... Повѣрьте, убѣждаетъ нашъ оптимистъ, при какихъ угодно условіяхъ всякому можно быть счастливымъ и «ит. этотъ

его «человѣческая свобода». Очевидно, это карамзинская *добродѣтель*, совершенно будто бы довлѣющая для человѣческаго счастья и всевозможныхъ идеаловъ.

У Жуковскаго въ теченіи всей жизни не поднималась рука на защиту крѣпостного права, какъ его мыслилъ авторъ *Бѣдной Лизы*; напротивъ, трудно отыскать среди современниковъ болѣе искренне-сердечнаго и дѣйствительно *хорошаго чловѣка*, чѣмъ нашъ романтикъ. Но съ высоты «горной философіи» онъ судить объ европейской исторіи и жизни совершенно въ духѣ своего лице-дѣйствующаго современника. Для него событія сорокъ восьмого года не болѣе, какъ буйство черни, хотя онъ лично можетъ наблюдать германское движеніе, и послѣдній выводъ его буквально московитскій, патріотическій въ смыслѣ *Исторіи государства Россійскаго*.

А между тѣмъ, еще въ 1822 году, подъ вліяніемъ пребыванія въ Европѣ, Жуковскій освобождаетъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ, въ то же время ведетъ войну съ цензурой за слѣдующіе стихи Шиллера:

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,  
Und wäre er in Ketten geboren—

«человѣкъ созданъ свободнымъ, и свободенъ, даже если бы родился въ цѣпяхъ». Цензура не пропускаетъ этихъ строкъ, и поэтъ не печатаетъ всего перевода.

И смыслъ шиллеровскихъ словъ — подлинный романтизмъ въ области общественныхъ вопросовъ. Сорокъ восьмой годъ также одна изъ страницъ романтической исторіи, при всѣхъ его увлеченіяхъ и крайностяхъ. Можно было не признавать его во всѣхъ подробностяхъ, но зачеркивать однимъ взмахомъ пера — значило краснорѣчивѣйшую дѣйствительность Германіи приносить въ жертву призракамъ и туманамъ ея юродствовавшихъ бардовъ.

Легко представить, что должно было произойти въ русскомъ обществѣ съ другимъ романтическимъ мотивомъ — разочарованіемъ. нравственная сущность его даже не коснулась русскаго сознанія, но за то съ необыкновенной переимчивостью и поэты, и ихъ публика усвоили хвостъ байронизма, т. е. все каррикатурное, лубочно-эффектное и эгонетическое. И вполнѣ естественно.

Высшее общество объявило «якобинцемъ» Жуковскаго за только что приведенные стихи Шиллера, какъ же оно послѣ этого могло *понять* байронизмъ?

На помощь пришелъ самъ же Байронъ съ его аристократи-

ческими причудами, съ маскарадными жистификаціями, съ головокружительными любовными приключеніями, и со всевозможныхъ психопатизмовъ его героинь—то искреннихъ въ своемъ «безуміи», то еще чаще позировавшихъ изъ интригующей роли жертвъ знаменитаго и «фатальнаго» человѣка.

Всей этой пустяковиной и фокусничествомъ отнюдь не исчерпывался байронизмъ, но русскимъ ли недорослямъ было отдѣлять грязь отъ золота? Что ярче бросалось въ глаза, и особенно что являлось доступнѣе и не налагало никакихъ умственныхъ усилій и нравственныхъ обязательствъ, то и хваталось обѣими руками.

Въ результатѣ лит-повой формѣ жизни и личностивительному пыткумно выразился о стихромантиковъ — Языкоуценный».

чество приваисъ щеголять въмъ не уступавшей праздномуы. Жуковский очень остроо самыхъ бойкихъ русскихъ—«восторгъ, нигуда не обра-

То же самое можно сказать, и о противоположныхъ настроеніяхъ: тоска, ни на чемъ не основанная и ни къ чему не стремящаяся.

Москвичъ такъ же удобно щеголялъ въ гарольдовомъ плащѣ, какъ и во французскомъ кафтанѣ. Даже еще удобнѣе. Мрачный, меланхолическій видъ, «загнѣвавшаяся», многозначительно горькая улыбка окончательно освобождали его отъ всякой практической дѣятельности, кромѣ уловленія женскихъ сердецъ. Въдъ онъ презируетъ окружающій міръ и людей, чего же ему дѣлать здѣсь? Достаточно, если онъ будетъ удостаивать «людовое стадо» созерцанія своей особы!

И съ какими усердіемъ русская литература въ теченіе десятилѣтій живописуетъ блѣдныхъ поручиковъ разныхъ, преимущественно декоративныхъ войскъ! Сколько тратится изобрѣтательности, чтобы выдумать фамилію поиможно болѣе зловѣщую въ родѣ Тамарина, Анчарова! Сколько надо изворотливости описать все ту же трафаретную фигуру «интересными» красками и заставлять «говорить молчаніе», такъ какъ герою вообще не полагается разговорчивости, а только въ торжественныхъ случаяхъ «открывать душу».

А сколько изведено стиховъ и римохъ на слова *тоска, отчаяніе, презрѣніе!* И до послѣднихъ дней все еще русскіе юнцы время отъ времени бряцаютъ по ржавымъ струнамъ и рассчитываютъ собрать публику на пошлый, давно заигранный фарсъ.

Но въ извѣстной средѣ понятіе о пошлости совсѣмъ другое, и тамъ, гдѣ театральныя слезы раньше сходили за истинное чувство, гусарское разочарованіе являлось несомнѣннымъ героизмомъ, исключительностью натуры. Геронзмъ рѣшительно никого не беспокоилъ. Два стиха Шиллера, сравнительно съ сонетомъ Тамириныхъ и Грушницкихъ, цѣлая революція, «странный либерализмъ», по мнѣнію «скѣта». И этихъ стиховъ не терпятъ, не допускаютъ всего *десятки словъ*, но превосходно уживаются съ самыми «фатальными» гарольдами.

Очевидно, и въ романтизмѣ среди русскаго общества разыгралась только новая комедія на старую тему—лицемѣрія, безсилія и неразумія. Русскіе читатели западныхъ поэтовъ умѣли совершенно обезвредить и облагодѣлать самыхъ, повидимому, неукротимыхъ романтиковъ. Нужна была по истинѣ на рѣдкость затхлая и мертвая атмосфера, чтобы байронизмъ низвести до уровня перваго встрѣчнаго недоросля! Но требовался также и не совсѣмъ обычный строй души, чтобы изъ цѣлой литературной школы извлечь какъ разъ ея отрицательныя стороны и даже, на мѣстѣ талантливейшаго и серьезнѣйшаго поэта, того же Жуковскаго, весь романтизмъ свести къ идиллическимъ картинамъ и разной «чертовщинѣ».

«Онъ святой, хотя родился романтикомъ», выражался Пупкинъ о пѣвцѣ Свѣтланы. Это *хотя* достойно вниманія. Его можно приставить ко всякому русскому поэту, пересаживавшему иноземныя цвѣты въ свое отечество. Сумароковъ — крѣпостникъ, хотя считалъ себя ученикомъ Вольтера, Фонвизинъ — типичный московскій баринъ и россійскій дворянинъ, хотя преслѣдовалъ злонаравіе и создалъ мудраго и любвеобильнаго Стародума, Карамзинъ—сладкопѣвецъ—благонадежнѣйшій рыцарь «старой» Россіи, пожалуй, даже Московіи...

Мы называемъ только генераловъ нашей западной литературы, о рядовыхъ нечего и говорить, насколько они зависѣли отъ того или другого литературнаго направленія. Всѣ неизбежно попадали въ общее теченіе вмѣстѣ съ самой публикой. Она была не менѣ писателей «просвѣщенна», но не могла допустить и мысли, чтобы просвѣщеніе нанесло какую-нибудь поруку чину, званію и состоянію человека голубой крови и бѣлой кости. О русскіхъ меценатахъ даже съ гораздо большимъ основаніемъ можно повторить рѣчь, сказанную Вольтеромъ по поводу философскихъ увлеченій знатныхъ господъ.—европейцевъ.



Эти господа, принимая у себя литераторовъ и болтая съ ними о разныхъ опасныхъ вещахъ, по словамъ Вольтера вообще отнюдь не противника благородныхъ покровителей, такъ думали про себя:

«У васъ сто тысячъ экю ренты, и, кромѣ того, почести. Мы не желаемъ всего этого лишиться ради нашего удовольствія. Мы раздѣляемъ ваши взгляды, но мы заставимъ васъ съечь при переломѣ же случаѣ, чтобъ научить васъ, какъ высказывать свои мнѣнія».

И подобная угроза въ устахъ русскихъ филологовъ являлась еще менѣе шуточной, чѣмъ во Франціи. Радищевъ и Новиковъ доказали, что значило гартъ западныхъ вліяній на русскую литературу. Русское общество не умѣло высказывать своихъ мнѣй

Державинъ, наприхъ

Онъ отлично зналъ, вѣрно роль играетъ поэзія въ глазахъ современной публики: не болѣе, какъ роль лимонада, напитокъ очень пріятнаго и даже сладостнаго въ лѣтнюю жару. Но кто же станетъ ради этого оказывать особый почетъ или просто цѣнить производителей прохладительныхъ напитковъ!

Они вислозько не ваяжѣе и не почтениѣе, чѣмъ всякій другой поставщикъ житейскаго комфорта: поваръ, обойщикъ, даже просто лакей.

И Тредьяковскій можетъ быть вполнѣ свободно побить, Сумароковъ — спеціально натравленъ на другого писателя, Фонвизинъ съ удовольствіемъ будетъ потѣшать петербургскіе салоны шутовскимъ изображеніемъ своихъ собратьевъ—литераторовъ.

И вдругъ такіе-то господа посмѣютъ обезпечить «законныя права» своихъ читателей и поощрителей! Вышло бы нѣчто совершенно противоположное, «революціонерное», какъ выражались просвѣщенные бригады и чувствительныя совѣтницы.

Въ результатѣ, всѣ литературныя школы у насъ оказывались просто *школьничаньемъ*, потому что надъ ними тяготѣла одна неизмѣримо болѣе существенная и вліятельная школа. — школа современной общественной жизни. Чего стоили какой-нибудь сентиментализмъ или романтизмъ, когда баринъ писалъ и баринъ же читалъ? Баринъ не въ смыслѣ происхожденія, а строго-опредѣленной психологіи. И ко всѣмъ періодамъ нашей *школьной литературы* одинаково примѣнимо мѣткое сужденіе Гоголя о началѣ XIX-го вѣка:

«Поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія на-



шей поэзии: одно общесвѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свѣтскаго человѣка, когда онъ сидитъ въ гостиной и ведетъ разговоръ совсѣмъ незатѣмъ, чтобы повѣдать душевную исповѣдь свою или подвинуть другихъ на какое-нибудь важное дѣло, но затѣмъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умѣньемъ вести его обо всѣхъ предметахъ».

Это необыкновенно проникательно и вѣрно: «не затѣмъ, чтобы повѣдать *душевную исповѣдь*» и не для какихъ-либо жизненныхъ цѣлей, а просто ради нервнаго возбужденія, ради разговорнаго процесса.

«Я воспую Флора Силина»<sup>\*)</sup> «я разсѣю въ монологихъ своихъ трагедій множество прапоучительныхъ истинъ и меня за это похвалитъ даже французскій журналъ» \*), «я изображу съ негодованіемъ жестокою помѣщицу», «я воспую русскаго молодца и русскую красавицу», но все это «не ведетъ къ послѣдствіямъ».

Въ салонѣ примутъ всѣ эти шалости пера и произойдетъ точь-въ-точь сцена изъ гоголевской повѣсти.

Свѣтская барыня въ мастерской художника замѣчаетъ этюдъ мужика, приходитъ въ экстазъ и взываетъ къ дочери:

— Ахъ, мужичокъ! Lise, Lise! мужичокъ въ русской рубашкѣ! смотри! мужичокъ!..

Совершенно такъ же она закричитъ, отыскавши въ лѣсу грибокъ, въ модномъ журналѣ—интересную прическу, въ веселой газетѣ—новый рецензъ притираніи...

Очевидно, русской литературѣ никогда бы не стать ни литературой, ни русской, если бы она осталась на пути европейскихъ школъ и отечественнаго аристократизма. Предстояла настоящая необходимость порвать и со школами, и съ обществомъ: это одинъ и тотъ же актъ прогресса и онъ въ дѣйствительности совершился одновременно, въ жизни и дѣятельности однихъ и тѣхъ же людей.

#### XIV.

Сорокъ лѣтъ тому назадъ, въ нашей литературѣ поднялъ много шуму вопросъ о поколѣніяхъ. *Отцы и дѣти* надолго, можно ска-

<sup>\*)</sup> Въ парижскомъ «*Journal étranger*», въ 1755 году помѣщена сочувственная статья о «*Синахъ и Трусорахъ*», переведенной на французскій языкъ кн. Долгоруковымъ. Трагедія восхвалялась особенно за нравственные сен-

затѣ, до послѣднихъ дней, стали на очередь дня и заняли первое мѣсто въ высшей публицистикѣ. Два даровитѣйшихъ писателя отозвались на злобу цѣлымъ рядомъ произведеній, одно изъ нихъ навсегда дало кличку самому явленію, въ другомъ авторъ, Писемскій, обобщалъ его въ слѣдующихъ яркихъ, но правдивыхъ словахъ:

«Ни одна, вѣроятно, страна не представляетъ такого разнообразнаго столкновенія въ одной и той же общественной средѣ, какъ Россія. Не говоря ужъ объ общественныхъ собраніяхъ, какъ, напримѣръ, театральная публика или общественныя собранія, на одномъ и томъ же балѣ, составленномъ изъ извѣстнаго кружка, въ одной и той же гостиной, въ одной и той же, наконецъ, семьѣ, вы постоянно можете встрѣтить двухъ, трехъ человѣкъ, которые имѣютъ только нѣко- въ хлѣбахъ и уже, говоря между собою, не пони руга».

Эта картина стала мѣ жанромъ, но она не особенна и общественная гармонія еніе долгихъ вѣковъ, и только чельно, въ концѣ первой четверти, съ трудомъ понимающіе другъ друга.

Фактъ воплотилъ опредѣленъ современникомъ и привыченъ къ эпохѣ, отечественныя пришлось свести (ны. Русскимъ войскамъ въпервое съ Европой не по книгамъ только, а по личнымъ продолжительнымъ наблюденіямъ. Раньше вся Европа для русскаго человѣка начиналась и кончалась въ Парижѣ. Это своего рода Мекка для тонко просвѣщенныхъ подданныхъ Екатерины, и въ то же время патентованное царство всевозможныхъ удовольствій. Именно они-то и заставляли даже «семипудовыхъ» скинговъ совершать довольно сложное путешествіе. Но за то цѣль достигалась всегда и всенепремѣнно. Мы видѣли, Карамзинъ съужалъ взять съ Парижа обычную дань даже во время революціи.

Теперь, по слѣдамъ Наполеона, отправилось въ Европу не мало людей совершенно другого сорта. Ихъ, еще молодыхъ и сильныхъ, не успѣло растлить отечественное воспитаніе на рабскихъ хлѣбахъ. Общеввропейская смута сблизила съ Россіей нѣсколькихъ иностранцевъ иной породы, чѣмъ Вральманы и Гильоме, изъ Германіи—Штейна, изъ Франціи—Сталь и множество простыхъ офицеровъ наполеоновской арміи изъ третьяго сословія, не имѣвшихъ ничего общаго съ авантюристами и космополитическими паразитами.

Любопытно было прислушаться къ впечатлѣніямъ этихъ людей, не имѣвшихъ основаній ни ненавидѣть Россію, какъ націю, ни льстить ей. Впечатлѣнія у всѣхъ оказались почти тождественны.

Цѣлныя франгузы смѣялись надъ русскими, не умѣвшими ни говорить, ни писать на родномъ языкѣ. Штейнъ подражательности иностранцамъ считалъ одной изъ глѣтворнѣйшихъ язвъ русской жизни, а г-жа Сталь, довольно неожиданно для петербургскихъ и московскихъ европейцевъ, не находила, повидимому, словъ достойно изобразить пустоту, малообразованность и низкій умственный уровень высшаго русскаго общества. Вѣковая погоня за тонкимъ просвѣщеніемъ, екатериненскіи либерализмъ привели къ самому удивительному результату: г-жа Сталь убѣждена, что въ атмосферѣ русскихъ салоновъ «нельзя ничему научиться, нельзя развивать своихъ способностей, и люди здѣсь не пріобрѣтаютъ никакой охоты ни къ умственному труду, ни къ практической дѣятельности».

Отъ взоровъ иностранцевъ не скрылся основной недугъ нашего отечества — крѣпостное рабство, и Штейнъ находилъ неизбежнымъ освобожденіе крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ. Вообще, въ эпоху народнаго возбужденія по всѣмъ странамъ Европы и у насъ слышались рѣчи, на повадъ бывшія чувствительное прекраснодушіе московскихъ патріотовъ и петербургскихъ лицедѣевъ.

И нашлись слушатели для этихъ рѣчей.

Это не были особенно знатные господа: тѣ, напротивъ и теперь остались вѣрны себѣ, Бонапарта отождествили съ революціей, а революцію вообще со всякой дѣятельной общественной мыслью. Здравый смыслъ пріютился у людей, менѣе чиновныхъ и взысканныхъ фортуной, чѣмъ фамусовскій Максимъ Петровичъ, — у своего рода разночинцевъ среди знати.

Впоследствии изъ ихъ среды выйдутъ геніальные писатели. Они своей карьерой, нерѣдко даже трагической участью докажутъ свою оторванность отъ «столбового» дворянства, хотя все они будутъ носить благородныя фамиліи, даже болѣе благородныя, чѣмъ князья Тугоуховскіе, полковники Скалозубы, семьи Хлестовыхъ и Фамусовыхъ. Только благородство на этотъ разъ осуществится не въ ловкомъ прислуживаніи на родинѣ и не въ увеселительныхъ поѣздкахъ за иноземнымъ просвѣщеніемъ, а въ уничтоженіи ветхаго человека во имя независимой мысли и дѣятельнаго гуманнаго чувства.

Эти опасные мотивы ворвались въ вихрь салонныхъ сплетенъ и пошлостей какъ-то сразу, будто новое нашествіе.

Современникъ рассказываетъ:

«Я видѣлъ лицъ, возвращающихся въ Петербургъ послѣ отсутствія въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ и выражавшихъ величайшее изумленіе при видѣ перемены, происшедшей въ разговорѣ и поступкахъ столичной молодежи. Казалось, она пробудилась для новой жизни и вдохновляясь всѣмъ, что было благороднаго, чистаго въ нравственной и политической атмосферѣ. Гвардейскіе офицеры въ особенности привлекали вниманіе свободой и смѣлостью, съ которой они высказывали свои мнѣнія, весьма мало заботясь, — говорили они въ общественномъ мѣстѣ, или въ салонѣ, были слушателями — сторонниками

ихъ ученій» \*).

Эти ученія заключаютъ въ себѣ національное сознаніе и народное чувство, дворяне чувствовали и

вѣра въ пробужденіе національности. До сихъ поръ русскіе думали о себѣ только, если можно такъ сказать. Они гордились побѣдами

надъ турками и прочими народами, обширными завоеваніями, знаменитыми полководцами, но по вопросамъ внутренней политики это было сословіе, а не нація. И французскій дипломатъ при Екатеринѣ даже и мысли не могъ допустить, чтобы въ нашихъ отечествахъ когда либо образовалась цѣльная единая нація, какъ государственное тѣло.

Официальный исторіографъ и публицистъ подтверждали эту мысль, освящая нѣконныя пропасты между русскими классами и сословіями.

Но борьба съ Наполеономъ силою вещей оказалась не сословной, а національной, и въ Россіи даже болѣе, чѣмъ на Западѣ. Крепостному мужику требовалось, несомнѣнно, больше нравственныхъ усилій возстать на иноземнаго врага, чѣмъ нѣмецкому бюргеру, и недаромъ г-жа Сталь была поражена именно движеніемъ русскаго народа.

Нашлись и соотечественники, способные воспринять великій историческій смыслъ эпохи и гвардейскіе офицеры, столь смущавшіе «очаковскихъ» старичковъ, были первыми русскими по чувству, по духу, по идеаламъ и даже по языку. Восклиданіе Чацкого — «умный, добрый нашъ народъ» не имѣло ничего общаго съ небывшими о просвѣщенномъ земледѣльцѣ и его нѣжной подружкѣ. Тамъ свѣтскій праздный разговоръ, здѣсь «душевная неволя», настоящее живое чувство. Тамъ самодовольство

\*) *Les Russes et les Russes*, par N. Tourgueneff. Bruxelles, 1847, I, 66.

чистаго господина, самолюбваніе чувствительной ханжи, здѣсь искренняя страстная любовь къ родинѣ и жгучая тоска объ ея несовершенствахъ.

Сравните карамзинское патріотическое самохвальство, эту изумительную, по истинѣ варварскую мысль, будто «Европа годъ отъ году насъ болѣе уважаетъ» — съ фактами сплошныхъ или злобныхъ, или презрительныхъ чувствъ иностранцевъ къ русскимъ, вы оцѣните всю громадность шага, сдѣланнаго молодежью послѣ наполеоновскихъ войнъ.

«Европа уважаетъ»... и это въ то время, когда искренніе доброжелатели Россіи, въ родѣ Сталь и Штейна, находили доброе слово какъ разъ о предметѣ, невѣдомомъ гордому патріоту Московіи и совершенно не входившемъ въ расчеты европейскихъ критиковъ нашего отечества.

Народъ, — вотъ слово, котораго одного было бы достаточно для увѣковѣченія пераго русскаго молодого поколѣнія, оставившаго пути своихъ отцовъ.

Всякое уклоненіе съ торной дороги ведетъ къ жертвамъ, и жертвы приносились. Онѣ, на современный взглядъ, можетъ быть не особенно героичны, но для всей дореформенной эпохи онѣ — истинные гражданскіе подвиги.

Вспомните, еще товарищъ Лермонтова объясняли военную карьеру поэта крайне низкимъ общественнымъ положеніемъ гражданскихъ чиновниковъ. Для нихъ иного названія и не существовало, кромѣ «подъячіе». Пренебречь военнымъ мундиромъ значило бросить въ лицо современному «свѣту» жестокой вызовъ и собрать надъ своей головой бурю насмѣшекъ, презрѣнія и даже ненависти. Могло быть и хуже. Дворянинъ, съ минуты появленія на свѣтъ предназначенный для выпушекъ и петличекъ, становится политически неблагонадежнымъ, разъ онъ пренебрегаетъ скалозубовскою философіей.

И такіе смѣльчаки являются.

Одинъ поступаетъ на службу въ уголовную палату, другой — въ надворный судъ, третій уѣзжаетъ въ деревню, читаетъ книги и даже берется учить грамотѣ крестьянъ, а кто остается въ столицахъ, тотъ не пропускаетъ случая поднять на смѣхъ психопатическихъ барышень, поклонницъ военной формы, и, что ужаснѣе всего, самихъ героев!

Очевидно, отцы не понимаютъ своихъ дѣтей и это взаимное отчужденіе гораздо глубже и напряженнѣе, чѣмъ впоследствии

междоусобица старенькихъ романтиковъ съ молодыми позитивистами. Здѣсь приходилось разрывать гораздо болѣе многочисленныя и крѣпкія связи съ прошлымъ, на каждомъ шагѣ подвергать риску свое личное счастье въ тѣснѣйшемъ смыслѣ. Вѣдь еще не народилась повал дѣвушка. Маріанны принадлежали отдавленному будущему, и над орныи судья одновременно подвергался обвиненію со стороны отцовъ въ неблагонадежности и даже якобинствѣ, а у дочерей встрѣчалъ или недоумѣніе, или просто отращеніе.

А это многого стоило. Общественный протестъ безпрестанно превращался въ біографическую драму для непокорнаго сына, усложнялъ и безъ того не легкую задачу благороднаго поколѣнія.

Разрывъ не излѣч. въ послѣдствіи, если бы ограничился единичными и исключительными подвигами въ деревнѣ. Возникновеніи быстро вылезался и упрочился въ полномъ и литературы.

Новой молодежи, отловыя и свѣтскія преданія общества, естественно и рѣшительно измѣнить старыя отклоненія къ «искусствамъ», прекраснымъ».

Уже эти слова въ улацкаго звучатъ знаменательнымъ чувствомъ—все равно, какъ и его рѣчь о народѣ. Такъ не будетъ выражаться читатель, поглощающій страницы стиховъ, будто прохладительный напитокъ, на досугѣ, между другими, болѣе существенными развлеченіями. Очевидно и здѣсь исчезаетъ старое энциклопедическое бездуніе, свѣтскій формализмъ, и литература становится словомъ живымъ, пасущимъ хлѣбомъ дѣйствительно просвѣщенной мысли.

Но вѣдь это еще болѣе странное новшество, чѣмъ чиновничья служба! И главное, болѣе опасное, потому что книгу могутъ прочесть многіе и заразиться тѣмъ же недугомъ уваженія къ умственному труду и писательскому таланту.

Въ результатѣ, эпоха протестующихъ надворныхъ судей увидѣла едва ли не самый жестокой и продолжительный расколъ между исконной публикой, аристократическимъ обществомъ и литературой. Не только расколъ, а непримиримую, новшествовую ненависть, не заглушную въ теченіе десятилѣтій.

Раньше писатель жилъ въ самомъ глубокомъ и трогательномъ мирѣ съ высшимъ «свѣтомъ». Его здѣсь не особенно уважали, но именно поэтому онъ и велъ себя тише воды, ниже травы. Готовясь писать какое-нибудь новое твореніе, онъ всякій разъ или открыто, или безмолвно обращался къ своей публикѣ съ умильнымъ запросомъ: *чего изволите?*..

И немедленно появлялась или трагедія на тему «громъ побѣды раздавался», или жанровая картинка съ мужичкомъ...

Вдругъ такой порядокъ радикально измѣнился. Прежде писательство доставляло одно наслажденіе, во всякомъ случаѣ, никто не думалъ тѣснить ни Карамзина, ни Жуковского только за то, что они занимаются литературой; напротивъ, даже поощряли и часто одобряли. Теперь ничего подобнаго.

Прочтите біографіи Грибоѣдова, Пушкина, Лермонтова—трехъ поэтовъ, создавшихъ новую литературу, вы будете поражены однимъ и тѣмъ же фактомъ. Всѣ они будто прирожденные враги окружающаго общества, для двухъ изъ нихъ война начинается въ нѣдрахъ семьи, для всѣхъ троихъ идетъ всю жизнь на свѣтскомъ поприщѣ и заканчивается трагической развязкой.

Грибоѣдову приходится совершить своего рода мытарство изъ за литературныхъ влеченій. Семья требуетъ карьеры, службы и даже прислуживанья, будущій авторъ *Горя отъ ума* весь поглощенъ мечтами о писательствѣ, т. е. о совершенно презрѣнномъ занятіи, въ глазахъ матери. Междоусобица достигаетъ такихъ предѣловъ, что поэтъ рѣшается завидовать пріятелю: у того нѣтъ матери, которой онъ долженъ казаться неосновательнымъ! Даже больше. Грибоѣдовъ приходитъ къ убѣжденію, что «истиннымъ художникомъ можетъ быть только человекъ безродный».

Урче трудно выразить разладъ отцовъ и дѣтей на зарѣ нашей національной литературы.

Подобная исторія съ Пушкинымъ, пожалуй, даже еще болѣе оскорбительная. Ему приходится отвоевывать свое достоинство поэта, званіе литератора предъ начальствомъ, предъ товарищами по службѣ. О семьѣ нечего и говорить: здѣсь просто не признаютъ даже умственного развитія у будущаго гениальнаго поэта и не интересуются ни нравственной ни даже внѣшней его жизнью.

И послушайте, какъ осмѣливается говорить Пушкинъ о своихъ литературныхъ занятіяхъ въ письмѣ къ начальнику. Мы рядомъ слышимъ отголоски стараго, но далеко не отжившаго общественнаго взгляда на литературу, и возникновеніе новаго, въ полномъ смыслѣ революціоннаго.



«Ради Бога, не думайте, чтобъ я смотрѣлъ на стихотворство съ дѣтскимъ тщеславіемъ ризача или какъ на отдохновеніе чувствительнаго человѣка. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мнѣ пропитаніе и домашнюю независимость».

Тотъ, кому было адресовано письмо, сослуживцы поэта и его свѣтскіе пріятели ничего подобнаго не могли представить.

И не только они.

Пройдетъ вся славная дѣятельность поэта, онъ погибнетъ кровавой смертью, и все-таки о немъ нельзя будетъ говорить въ печати. Появится одно краткое извѣстіе, но и за него редакторъ получитъ жестокій выговоръ... Стоитъ ли говорить о человѣкѣ, не бывшемъ ни генераломъ, ни министромъ? «Писать стихи не значитъ еще проходить великое поприще»...

Это будетъ сказано по поводу литератора, покровительствуемаго верховной властью, поэта, съ громадной популярностью во всей странѣ, камеръ-юнкера и аристократа!

Чего же ждать другимъ, менѣе блестящимъ и сильнымъ!

Естественно, начало новой литературы своего рода драматическая хроника и не по обыкновенной воли: понятной причинѣ: не по цензурнымъ строгостямъ, а по общественному варварству, стихійной враждѣ «свѣта» къ нравственно-отвѣтственному, идейно-осмысленному слову.

Цензура сравнительно капля горечи въ испытаніяхъ, претерпѣнныхъ нашими поэтами отъ окружавшаго ихъ общества. Но даже и эта капля въ сильнѣйшей степени общественнаго происхожденія. Яростнѣйшими врагами грибоѣдовской комедіи явились московскіе тузы и сплетницы, первыми гонителями Лермонтова за стихотвореніе на смерть Пушкина и первыми виновниками его изгнанія были именно «надменные потомки»; исторія знаетъ ихъ даже по именамъ. Наконецъ, не цензура приковала Грибоѣдова къ карьерѣ ненавистными цѣнями съ послѣднимъ звеномъ — насильственной смертью, не цензура отравила семейное счастье Пушкина, а у Лермонтова о цензурѣ рѣдко даже упоминается, но зато ни у одного поэта въ мірѣ нельзя найти столь обидныхъ и безпощадныхъ издѣвательствъ надъ «свѣтомъ»...

Да, величайшимъ врагомъ русской національной литературы оказалась публика, точнѣе, новой литературѣ пришлось создавать и новую публику. Подобно Чацкому, бѣгущему изъ фамусовскаго салона, писателямъ также необходимо было окончательно выйти



изъ старой теплицы и кликнуть ключъ къ другимъ читателямъ и зрителямъ, къ иному міру, гдѣ въковое сибаритство, жеманная игра въ бутафорскій героизмъ и дѣтскую маниловщину не опустошили еще душъ и сердецъ, гдѣ можно было говорить искреннимъ, роднымъ языкомъ о родныхъ людяхъ и дѣлахъ.

Этотъ міръ пока представлялся еще очень тѣснымъ, немногочисленнымъ, но ему суждено расти и шириться со дня на день! Стоило только великимъ національнымъ талантамъ обратиться къ націи и среди нея неминуемо должны послышаться отвѣтныя, сочувственныя, скорѣе восторженные отголоски.

И когда у русскаго писателя образовалась, наконецъ, публика, вопросъ объ его человѣческомъ достоинствѣ и независимости рѣшился окончательно. Изъ наемника и забавника *господъ*, онъ сталъ учителемъ и пождемъ *друзей*. Не всегда осуществлялась и даже могла осуществиться эта дружба, но по временамъ чувство нравственнаго единенія литературы и публики будетъ сказываться такъ ярко, такъ вдохновенно, что одинъ подобный моментъ, по культурному и общественному значенію, стоить всѣхъ почестей и поощреній меценатскаго царства.

Мы видимъ, сколько исключительно трудныхъ задачъ предстояло преобразователямъ литературы. Можно сказать, нигдѣ и никогда писатель не находился лицомъ къ лицу съ такой тучей техныхъ силъ. Нигдѣ ему одновременно не приходилось сѣять и обрабатывать почву для посѣва.

На Западѣ задолго до борьбы мѣщанскихъ драматурговъ съ классицизмомъ существовала вполне готовая публика, съ нетерпѣніемъ ждавшая увидѣть себя на сценѣ и въ романѣ. Писатели только рѣшились промѣнять однихъ поклонниковъ на другихъ.

То же самое и съ романтизмомъ.

Гюго изъ монархиста и бонапартиста превратился въ либерала подъ самымъ повелительнымъ давленіемъ современныхъ политическихъ событій, и принялся сочинять законы литературнаго либерализма, настоятельно поощряемый многочисленными сочувственниками.

Ничего подобнаго у насъ въ первой четверти вѣка.

Писатель обращался будто въ пространство съ новыми идеями и новымъ творчествомъ. Въ личную жизнь, со всѣхъ сторонъ неслись къ нему почти исключительно неодобренія и насмѣшки. Сочувствующая публика, если она и существовала, не принадлежала къ средѣ поэта и только въ рѣдкихъ случаяхъ, на первомъ

представленіи грибоѣдовской комедіи, можно было различить поваго читателя. Впослѣдствіи его Гоголь изобразилъ въ лицѣ «очень скромно одѣтаго человека»...

И этотъ читатель отличался скромностью не только по платью, но и по способу и возможности высказывать свои мнѣнія. Господа *comme il faut*, чиновники разныхъ лѣтъ и ранговъ, даже «неизвѣстно какіе люди» могли кричать несравненно громче и внушительнѣе, потому что за нихъ стояла привычка, патентованная критика въ лицѣ ученыхъ эстетиковъ и боікихъ журналистовъ. Писателю самому предстояло и творить, и оправдывать свои творенія.

Задача въ высшей степени рискованная. Всѣ авторитеты на сторонѣ школы, критикъ и вообще теорій. За отважнаго нововводителя только здравый смыслъ и художественная талантливость. Противъ него буквально вѣками выработанныя правила вкуса, точныя формулы, оправданныя общепризнанными образцовыми произведеніями непогрѣшимой французской словесности. За него—свобода и простота творчества, національность его содержанія.

Но вѣдь давно извѣстно, простота дается людямъ несравненно труднѣе, чѣмъ самая хитрая искусственность, вездѣ и въ жизни, и въ искусствѣ. А національность,—это совершенно новый міръ, нѣчто дикое для патріотовъ съ «народной гордостью» въ карамзинскомъ стилѣ и для младенствующихъ мечтателей «святого» романтизма. Национальность,—подлинная русская дѣйствительность, освѣщенная русскимъ народнымъ юморомъ и разумомъ... Развѣ все это снилось даже въ самыхъ романтическихъ видѣніяхъ пѣвцамъ подмосковныхъ Клариссъ?

Борьба являлась неизбежной, и счастье русскаго искусства, что во главѣ нападающихъ стали сильнѣйшіе таланты не только нашей, а вообще всей новой европейской литературы.

## XVI.

Поэты родятся—это старая истина, ее слѣдуетъ дополнить: родятся и критики, потому что создавать художественныя произведенія и цѣнить ихъ—таланты родственные, однаково не внушаемые учебниками и диссертациями.

Это правило, хотя и не во всей полнотѣ, понималъ еще Жуковский. Въ статьѣ *О критикѣ* онъ очень краснорѣчиво изображалъ и оправдывалъ критиковъ, какъ художниковъ-психологовъ, какъ лю-

дей чуткихъ и къ «дѣйствіямъ страстей и тайнамъ характеровъ», и къ красотамъ природы.

Нашъ романтикъ только не закончилъ своего изображенія, не дерзнулъ окончательно установить права чуткости, личной художественной свободы поэта и критика. Онъ все еще толкуетъ о «правилахъ образованнаго вкуса», восхищается лагарповской теоріей драматическаго искусства, хотя и обмолвливается очень знаменательной мыслью.

«Онъ, т. е. истинный критикъ, знаетъ всѣ правила искусства, знакомъ съ превосходнѣйшими образцами изящнаго, но въ сужденіяхъ своихъ не подчиняется рабски ни образцамъ, ни правиламъ; въ душѣ его существуетъ собственный идеалъ совершенства»...

Распространите это замѣчаніе на всю литературу, все равно, классическую и посредственную, предоставьте художественно одаренной натурѣ выбирать свои пути и стремиться къ своему совершенству, вы немедленно введете искусство въ исключительную зависимость отъ творческаго таланта, жизненности и значительности его созданій. Вы покончите съ правилами и теоріями, и поставите судьями правду и свободу.

Не Жуковскому, лишенному оригинальнаго поэтическаго генія, было вступить на эту дорогу, хотя его статья возникла очень рано, въ 1809 году, среди познаго торжества чувствительности и накупившаго романтизма. Этотъ фактъ въ высшей степени любопытенъ. Онъ показываетъ, какъ непрочно было у насъ господство европейскихъ школъ. Въ статьѣ Жуковскаго будто борется заря новаго дня съ тѣнями ночи, правила искусства съ личнымъ художественнымъ инстинктомъ... Представьте, этотъ инстинктъ воплотится въ сильной, цѣльной поэтической личности, сильной настолько, чтобы увлечь за собою публику, и по своей цѣльности неспособной на сдѣлки:—правиламъ конецъ!

Такъ и произошло сначала благодаря одной комедіи Грибоедова.

Прежде всего замѣчательны юношескія наклонности будущаго грознаго врага классицизма. Какъ истый сынъ своего поколѣнія, Грибоедовъ еще школьникомъ обнаруживаетъ любопытнѣйшія національныя влеченія. Онъ составляетъ программу научныхъ занятій, и на первомъ планѣ этихъ *Desiderata* стоитъ изученіе русской исторіи по источникамъ, по лѣтописямъ, запискамъ Герберштейна. Дальше слѣдуетъ даже филологія, грамматическія занятія русскимъ языкомъ. Первые литературные опыты—сатиры и эпиграммы...

Это опять достойно вниманія. Всѣ три основателя русской національной литературы начнутъ и должны будутъ начать крайне западчивыми насмѣшками надъ окружающею средою. Эпиграммы, а не лирическіе гимны, столь обычные у юныхъ поэтовъ, отмѣтятъ первое пробужденіе творчества у Грибоѣдова, Пушкина и Лермонтова. Они, конечно, не единственные напѣвы юношеской музыки, но уже самое появленіе ихъ внушительно. Они вызывались не столько прирожденными сатирическими вкусами поэтовъ, сколько обиліемъ лжи, всевозможныхъ уродствъ на каждомъ шагу въ современномъ свѣтскомъ обществѣ.

Фактъ, отлично понятый Гоголемъ. Геніальный поэтъ говоритъ рядомъ о комедіяхъ Фонвизина и Грибоѣдова и имѣетъ въ виду только ихъ *возникновеніе*, не касается ни авторскихъ настроеній, ни практическаго значенія сатиры того и другого автора. Мы знаемъ, какая громадная разница между смѣхомъ Фонвизина и Грибоѣдова и изъ какихъ совершенно несходныхъ общихъ идеаловъ исходило негодование у екатерининскаго комика и у человека первой четверти XIX-го вѣка.

Но основа, создавшая обѣ комедіи, дѣйствительно одинакова.

«Наши комики, — пишетъ Гоголь, — двинулись общественною причиною, а не собственною, возстали не противъ одного лица, но противъ цѣлаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сдѣлали они какъ бы собственнымъ своимъ тѣломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ насмѣшки. Это — продолженіе той же брани свѣта со тьмою, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго благороднаго русскаго дѣлаетъ уже невольнаго ратникомъ свѣта. Обѣ комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дразгъ внутри земли нашей, чтобы явились онѣ почти сами собою, въ видѣ какого-то грознаго очищенія».

Столь же непосредственное, стихійно-необходимое очищеніе произошло и въ самомъ искусствѣ, въ силу не надуманной тенденціи, а личнаго невольнаго отвращенія къ фальши и рабству литературы. Все равно, какъ дѣйствительность вызвала сатиру только въ силу *благородства* новыхъ наблюдателей жизни, такъ старое искусство подверглось нападенію въ силу *поэтической природы* молодыхъ писателей.

И Грибоѣдовъ одновременно съ эпиграммами общественнаго содержанія предпринимаетъ пародію *Дмитрій Дрянской* на клас-

сическую трагедію Озерова. Это первая стычка нарождающейся національной критики съ европейскими школами. Генеральное сраженіе—*Горе отъ ума*.

Трудно сказать, въ какомъ отношеніи грибоѣдовская комедія вызвала болыше протестовъ.—или какъ сатира на общество, или какъ оскорбленіе *правиль*.

Противъ сатиры возмущались ея жертвы Фамусовы, Хлестовы: этого и слѣдовало ожидать и поэтъ не имѣлъ права ни изумляться, ни особенно огорчаться. Онъ вполне откровенно списывалъ своихъ героевъ съ реальныхъ лицъ. Но врядъ ли онъ могъ отнестись съ такимъ же настроеніемъ къ литературной критикѣ, притомъ исходившей отъ его ближайшихъ друзей.

Одинъ изъ нихъ, Катенинъ, усердный почитатель французскаго классицизма, затянулъ обычную пѣсню на счетъ правилъ и авторитетовъ, укоряя автора за то, что въ его пьесѣ «дарованія болыше, нежели искусства». Въ болѣе точномъ переводѣ это означало: болѣе жизни, чѣмъ теоріи, правды, чѣмъ искусственности.

Отвѣтъ Грибоѣдова по истинѣ заслуживаетъ безсмертія. Съ него слѣдуетъ считать начало русской національной критики. Поэтъ явился предшественникомъ всѣхъ позднѣйшихъ литературныхъ идей, не исключая Бѣлинскаго и публицистовъ шестидесятыхъ годовъ.

«Дарованія болѣе, нежели искусства»—самая лестная похвала, которую ты могъ мнѣ сказать,—отвѣчалъ Грибоѣдовъ классику,—«не знаю, стою ли ея? Искусство въ томъ только и состоитъ, чтобъ поддѣлываться подъ дарованіе; въ комъ болѣе вытверженнаго, пріобрѣтениаго попомъ и мученіемъ искусства угождать теоретикамъ, т. е. дѣлать глупости, въ комъ, говорю я, болѣе способности удовлетворять школьнымъ требованіямъ, условіямъ, привычкамъ, бабушкинымъ преданіямъ, нежели собственной творческой силы, тотъ, если художникъ, разбей свою палитру и кисть, рѣзецъ или перо свое брось за окошко. Знаю, что всякое ремесло имѣетъ свои хитрости, но чѣмъ ихъ менѣе, тѣмъ скорѣе дѣло, и не лучше ли вовсе безъ хитростей? *Nugae difficilius*. Я какъ живу, такъ и пишу: свободно и свободно».

Это заявленіе, до конца осуществленное на практикѣ, должно быть поставлено во главѣ нашей литературы... И оцѣните всю разницу подобнаго авторскаго рѣшенія съ поведеніемъ французскихъ самыхъ отважныхъ поэтовъ!

Тамъ непремѣнно поднималась рѣчь о новыхъ *правилахъ* въ

замѣну старыхъ. Писатель, одновременно съ своимъ оригинальнымъ творчествомъ, стремится образовать школу и написать для нея законы. Если онъ и говорилъ о свободѣ, то разумѣлъ не личную творческую свободу художника, а свободу отъ чужого подданничества и подчиненность новому главу школы, *chef de l'école*, и новому регламенту искусства.

Совершенно обратное у насъ.

Первый дѣйствительно, сильный и оригинальный поэтъ своей силой пользуется для провозглашенія принципа свободы, безъ всякихъ оговорокъ; напротивъ, онъ желалъ бы безусловно устранить хитрости и глупости, именно все то, безъ чего, по возрѣніямъ школьнаго искусства, немислимо настоящее искусство.

Это рѣшительный разрывъ съ иноземными литературными вліяніями и онъ съ каждымъ годомъ будетъ становиться ярче и безповоротнѣе. Преемники Грибоедова по освобожденію русской литературы отъ европейскаго школьнаго ига быстро дойдутъ до глубочайшей основы національнаго творчества, откроютъ поэзію въ народныхъ сказкахъ и пѣсняхъ.

Откуда придетъ это вдохновеніе?

Вопросъ—исключительный по своему интересу во всей литературной европейской исторіи.

Пушкинъ съ дѣтства поглощаетъ французскія книги, окруженъ французскими учителями, обиходный языкъ—французскій и будущій поэтъ старается даже сочинять по французски... Но здѣсь же рядомъ приснопамятная няня Родіоновна. Ея поэтъ писалъ такія, напримѣръ, обращенія:

Подруга дней моихъ суровыхъ,  
Голубка дряхлая моя!..

За что?.. Не за одно любящее сердце, а за науку также, самую неожиданную въ старомъ барскомъ доктѣ, за народныя сказки и были, за истинно художественное наслажденіе, подчинявшее себѣ умъ и душу будущаго великаго поэта.

Дальше, его достойный наследникъ, юноша страстной, неукротимой натуры, повидимому, самой природой созданный для эффекта, ослѣпительнаго трагизма, оглушительнаго краснорѣчія иноземнаго, особенно французскаго романтизма. И онъ дѣйствительно увлечется поэтомъ бурныхъ желаній и воинственнаго гнѣва.

Но опять, будто нѣкимъ внушеніемъ, пѣвецъ Демона поднимается на защиту русскихъ сказокъ, даже не зная ихъ съ такой основательностью, какъ Пушкинъ.

Съ тринадцать лѣтъ онъ принимается переписывать произведенія русскихъ поэтовъ, два года спустя онъ жалуется, что не слыхалъ въ дѣтствѣ русскихъ народныхъ сказокъ: «въ нихъ,—думасть Лермонтовъ,—вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности».

А вотъ письмо, написанное Лермонтовымъ изъ Москвы по поводу шекспировскаго *Гамлета*. Автору въ это время шестнадцать лѣтъ и онъ защищаетъ и драматурга, и пьесу противъ любительницы французскаго театра.

«Начну съ того, что имѣете переводы не съ Шекспира, а переводъ перековерканной пьесы Дюсиса, который, чтобы удовлетворить приторному вкусу французовъ, не умилющихъ обнять высокое, и глухимъ ихъ правиламъ, перемѣнилъ родъ трагедіи и выпустилъ множество характеристическихъ сценъ: эти переводы, къ сожалѣнію, играютъ у насъ на театрѣ».

Мы оцѣнимъ впоследствии весь практическій смыслъ впечатлѣній Пушкина и Лермонтова, когда познакоимся съ отчаянными усиліями университетскихъ профессоровъ литературы во что бы то ни стало поддержать въ сердцахъ своихъ слушателей пламя классицизма и культа французскаго художественнаго генія.

Но трудно было даже съ самымъ блестящимъ учительскимъ краснорѣчіемъ бороться противъ непродолимой власти генія, питаемаго могучими соками національности.

Грибоѣдовская комедія совершила безпримѣрное завоеваніе публики: задолго до представленія на сценѣ и до появленія въ печати, по Россіи, говорятъ, разошлось до сорока тысячъ списковъ пьесы и на первомъ представленіи, по словамъ очевидца, не было зрителя, не знавшаго комедіи наизусть...

Что могла сдѣлать какая угодно школа противъ подобныхъ фактовъ? А между тѣмъ, на помощь Грибоѣдову возставала новая, еще болѣе грозная творческая сила. Ей предстояло нанести послѣдній ударъ россійско-европейскимъ направленіямъ и обезпечить будущее русскому искусству.

## XVII.

Можетъ быть, ни на одномъ русскомъ писателѣ не отразилось до такой степени хаотическое состояніе исторіи нашей литературы, какъ на Пушкинѣ. Поэту давно воздвигнутъ всероссійскій памятникъ, а между тѣмъ образъ его до сихъ поръ является со-



отечественникамъ въ какомъ-то смутномъ, едва проницаемомъ туманѣ.

До послѣднихъ дней еще возможенъ судъ надъ авторомъ *Евгенія Онегина*, какъ надъ чистымъ художникомъ въ новѣйшемъ смыслѣ, какъ надъ брезгливымъ аристократически-гордымъ жрецомъ «святого искусства», и до сего дня извѣстная отвѣдь толпѣ, вырвавшаяся у поэта въ одну изъ столь многочисленныхъ минутъ его праведнаго негодованія, ставится во главу его изображенія, какъ писателя и какъ человѣка своего времени.

Даже образованность и широкое умственное развитіе поэта до послѣдняго времени оставались сомнительными вопросами въ біографіи Пушкина. А между тѣмъ, если и усомниться въ точности и правдивости сообщеній современниковъ, напримѣръ, записокъ Смирновой, восторженныхъ воспоминаній Гоголя, достаточно совершенно подлинныхъ произведеній самого поэта, для вполне опредѣленной оцѣнки его—не поэтического гения: онъ имѣетъ сомнѣній, а критическаго ума и изумительной культурности всей его природы.

Было бы въ высшей степени любопытной психологической задачей написать подробную исторію литературнаго развитія Пушкина. Врядъ ли можно назвать еще другого поэта въ какой бы то ни было литературѣ, пропеднаго такой быстрой и въ то же время содержательной путь критической мысли. Ея постепенный ростъ у Пушкина, пожалуй, даже поразительнѣе его творческихъ успѣховъ.

Сначала это не болѣе, какъ очень талантливый школьникъ, виртуозъ римъ, повидимому, безнадежно легкомысленный, «французъ» по прозвищу товарищей. Онъ не внушаетъ довѣрія даже ближайшимъ и благосклоннѣйшимъ своимъ знакомымъ. По крайней мѣрѣ, члены современныхъ тайныхъ обществъ не посвящаютъ его въ свои собранія: онъ не надеженъ, недостаточно серьезенъ для такого дѣла!

Поэта постигаетъ изгнаніе за вольные стихи, но и оно не создастъ ему особенно почетной репутаціи. Тѣмъ болѣе, что и жизнь, и поэзія Пушкина на югѣ не давали никакого основанія уважать въ немъ дѣйствительно-страдающаго писателя и гражданина. Блестящія произведенія слѣдуютъ одно за другимъ, кружатъ головы читателямъ и читательницамъ, но никому и на умъ не приходитъ, какой душевный процессъ совершается съ авторомъ *Руслана*, *Пльнника*, *Алеко* и другихъ эффективейшихъ романтическихъ созданій.



А между тѣмъ, въ самый разгаръ славы, поэтъ рѣшается на истинно-геройскій, самоотверженный шагъ: онъ идетъ прямымъ путемъ къ разрыву съ публикой, упоенной его поэмами. Онъ въ теченіе четырехъ лѣтъ перерастаетъ просвѣщеннѣйшихъ читателей, своихъ личныхъ друзей и еще вчерашнихъ учителей, у него слагается своя критика и теорія словесности, совершенно не допустимая на взглядъ современныхъ любителей и знатоковъ литературы.

Революція начинается съ Байрона.

Пушкинъ такъ много обязанъ англійскому поэту! Вѣдь всѣ его герои демонической складки и ихъ героини—прямые потомки байроновской музыки. А *Кавказскій пленникъ*, напримѣръ, можетъ считаться даже весьма точнымъ подражаніемъ *Корсару*. Самъ авторъ это признаетъ: вѣдь онъ «съ ума сходитъ» отъ Байрона!..

Года два спустя по выходѣ въ свѣтъ этого самаго *Пленника*, Пушкину приходится высказать свое общее мнѣніе о Байронѣ по поводу его смерти. Онъ не согласенъ съ чувствами кн. Вяземскаго, оплакивающаго безвременную, по его мнѣнію, кончину «властителя думъ» русской молодежи.

«Тебѣ грустно по Байронѣ, — пишетъ Пушкинъ, — а я такъ радъ его смерти, какъ высокому предмету для поэзіи... Геній Байрона блѣднѣлъ съ его молодостью... Постепенности въ немъ не было. Онъ вдругъ созрѣлъ и возмужалъ, прогнѣлъ и замолчалъ, и первые звуки его уже ему не возвратились».

Эта идея *своевременной* смерти Байрона была высказана и Гёте, четыремя годами позже, въ бесѣдахъ съ Эккерманомъ. Ни о какомъ заимствованіи русскаго поэта не можетъ быть, конечно, и рѣчи.

Любопытны и дальнѣйшія совпаденія литературныхъ сужденій молодого Пушкина съ нѣкоторыми идеями старца Гёте. Геніальное художественное чувство, очевидно, не знаетъ возрастовъ.

Одновременно съ байронизмомъ, Пушкина очень занимаетъ вопросъ вообще о романтической школѣ. Поэтъ усиливается объяснить себѣ сущность русскаго романтизма, безпрестанно касается этой темы въ письмахъ къ друзьямъ, даже въ романѣ *Евгеній Онегинъ* и, повидимому, никакъ не можетъ придти къ удовлетворительному отвѣту.

Но теоретическій отвѣтъ и невозможенъ былъ. Жуковскій считался представителемъ романтической школы, но Пушкинъ отлично понималъ, что отъ «святости» и «чертовщины» пѣвца Свѣтланы

одинаково далеко до подлиннаго романтизма. О поэзі Ленскаго дается, между прочихъ, такой отзывъ:

Такъ онъ писалъ темно и вяло,—  
(Что романтизмомъ мы зовемъ,  
Хоть романтизма тутъ ни мало  
Не вижу я;—да что намъ въ томъ)?

О стихахъ Жуковскаго нельзя сказать вяло, но темнота и особенно сентиментальность претили Пушкину не менѣе вялости. Въ отзывѣ о Жуковскомъ онъ настаиваетъ преимущественно на его «образцовомъ переводномъ слогѣ». Буквально то же самое повторить впоследствии и Гоголь.

Очевидно, Пушкинъ романтизмомъ русской съ демонаическимъ напавшая поэма ему «надоелъ». Онъ будто истинно-художественную струю.

Развѣликая поэма, онъ и ея очень доволенъ, написъ не стерпитъ истинно-художественную струю.

Рѣчь шла о Борисе першнемъ уничтоженіи собой разумѣлось, хотя замѣтокъ нарочито противъ старой школы. Гораздо важнѣе дальнѣйшіе выводы.

Авторъ сосредоточилъ все свое вниманіе на историческомъ духѣ эпохи и національных чертахъ героев и событій. Онъ изучаетъ летописи, сочиненіе Карамзина, добивается житія какого-нибудь юродиваго, вообще работаетъ скорѣе какъ изслѣдователь, чѣмъ вдохновенный поэтъ.

И это называется романтизмомъ! Наименованіе слишкомъ лестное и не всегда заслуженное даже для европейской школы.

Пушкинъ всѣми силами избѣгалъ эффектовъ, приподнятаго драматизма, искусственно-подчеркнутыхъ характеровъ... Развѣ все это входило въ обычную практику даже талантливейшихъ романтиковъ? Кто изъ нихъ рѣшился исторической правдѣ и будничной простотѣ принести въ жертву сценичность и показную яркость трагедій? Кто съ талантомъ автора *Цыганъ* и *Бахчисарайскаго фонтана* рѣшился бы подчинить полетъ своего воображенія первобытному повѣствованію темнаго летописца?

Очевидно, если это и былъ романтизмъ, то весьма своеобразный, не похожій ни на романтизмъ Шиллера, ни на «либеральную» школу Гюго, ни на байронизмъ Ламартина, и менѣе всего на поэзію самого Байрона. Ближе всего русскій поэтъ сталъ къ Шекспиру.

Трагедіи Байрона рѣзко осуждены за монотонность, лаконическую аффектацію, вообще за *несициственность*. Пушкинъ смѣется надъ романтическими злодѣями, даже фразу «дайте мнѣ пить» произносящими по злодѣйски, ставитъ въ примѣръ Шекспира: онъ предоставляетъ герою говорить какъ ему угодно, сообразно съ его драматическимъ характеромъ.

Но Пушкинъ видѣлъ въ Шекспирѣ только *принципіальнаго* учителя, а не руководителя во всѣхъ частностяхъ творчества. Шекспиръ вѣренъ природѣ и исторіи: это общее правило, и Шекспиру будетъ вѣренъ не тотъ, кто подражаетъ его отдѣльными произведеніямъ, а кто вообще стремится воспроизводить правду и исторію.

Въ Англіи прошлое—*свое* англійское, ничѣмъ не похожее на русское, и русскій послѣдователь Шекспира долженъ возсоздавать въ искусствѣ *русскую* дѣйствительность. А эта дѣйствительность сама по себѣ лишена всякаго романтизма, въ ней нельзя найти ни лицъ, ни событій, переполняющихъ драматизмомъ и сильными эффектами шекспировскую сцену. Въ русской исторіи нѣтъ ни Ричардовъ, ни Норфольковъ, ни Маргаритъ. Здѣсь все неизмѣримо скромнѣе, зауряднѣе, проще. Слѣдовательно, и русская *романтическая* трагедія выйдетъ по существу вовсе не романтической даже въ шекспировскомъ смыслѣ. Это будетъ скорѣе *реальная* историческая хроника въ прямой зависимости *отъ предмета*, избраннаго поэтомъ. И такимъ путемъ романтизмъ *логически* исчезаетъ съ русской сцены, разъ признаны основы національности и жизненности.

Пушкинъ, слѣдовательно, толкуя о романтизмѣ, увлекаясь Шекспиромъ, стоялъ на пути къ самому настоящему реализму, къ той самой литературѣ, какую онъ первый привѣтствовалъ въ произведеніяхъ Гоголя.

## XVIII.

Пушкинъ слишкомъ хорошо зналъ современныхъ цѣнителей искусства, чтобы не предвидѣть участи своихъ критическихъ вы-

водовъ. Онъ «размышлялъ о трагедіи», создавая Годунова, но не написалъ къ ней предисловія: «И бы произвелъ скандалъ» — *je ferais du scandale*, — писалъ Пушкинъ своему другу Раевскому.

И поэтъ объяснялъ почему. «Это жанръ, можетъ быть, менѣе всего признанный». И дальше онъ пускался въ ядовитѣйшія насмѣшки надъ классицизмомъ, писалъ, въ сущности, предисловіе къ своей трагедіи.

И Пушкинъ долженъ былъ написать его въ какой бы то ни было формѣ.

Ему предстояло безпрестанно защищать свою трагедію и свой романъ отъ друзей; о критикахъ нечего и говорить.

Стоило Пушкину оронъ послышались со души поэта угасъ», и голь много лѣтъ спустя бы скорѣе простилъ, е но пошлости не прости. Испытывалъ Пушкинъ, ному искусству.

Евгеній Онегинъ полой разницей: тамъ см

Раевскій, одинъ изъ демонизма, не признавалъ ослепительнаго блеска кавказской природы въ скромномъ бытописателѣ. Ему хотѣлось романтизма въ общепринятомъ смыслѣ, и не входила въ душу простая русская жизнь и совершенно не героическій отечественный герой: такъ же смотрѣлъ на романъ и другой, не менѣе просвѣщенный пріятель автора, Бестужевъ.

Онъ предъявлялъ самыя высуреннія требованія къ поэзіи. Пушкинъ доказывалъ ей права и на «легкое и веселое»; картина свѣтской жизни также входитъ въ область поэзіи.

Все это трудно понять самимъ свѣтскимъ людямъ; еще труднѣе оказалось для профессоровъ и журналистовъ.

Мы впоследствии ближе познакомимся съ критическими взглядами двухъ даровитѣйшихъ представителей науки и публицистики въ эпоху появленія новой пушкинской поэзіи — Надеждина и Полевого. Исходные принципы критиковъ различны, но они сошлись въ своихъ приговорахъ надъ романомъ Пушкина. Для того и для другого Евгеній Онегинъ оказывался пустяковиннымъ бумагома-раніемъ, *capriccio*, нигилизмомъ, «поэтической бездѣлкой», самое

большое—«блестящей игрушкой»! А профессоръ даже все творчество Пушкина называлъ только «пародіей».

А между тѣмъ, Надеждинъ отнюдь не былъ педантомъ, а левый—случайнымъ ремесленникомъ: оба стояли въ первомъ ряду современныхъ эстетиковъ и вообще писателей. Легко представьте, сколько поэту пришлось испортить крови ради рецензентовъ и критиковъ! Вся его надежда могла основываться исключительно на публикѣ въ возможно широкомъ смыслѣ, на торжествѣ правды таланта въ общественномъ мнѣніи.

И вотъ къ этой-то публикѣ поэтъ обратился съ своей теоріей словесности, сообразно съ цѣлями изложилъ ее стихами и ввелъ въ самый романъ.

Прежде всего еще въ третьей главѣ остроумно изобразилъ сентиментализмъ и романтизмъ, часто сливавшіеся въ одну творческую пародію на действительность.

Свой слогъ на важный ладъ настроя,  
Бывало пламенный творецъ  
Являлъ вамъ своего героя,  
Какъ совершенства образецъ.  
Онъ одарялъ предметъ любимый,  
Всегда несправедливо гонимый,—  
Душой чувствительной, ужомъ  
И прелекательнымъ лицомъ.  
Питая жаръ чистѣйшей страсти,  
Всегда восторженный герой  
Готовъ былъ жертвовать собой,  
И при концѣ послѣдней части  
Всегда наказанъ былъ порокъ,  
Добру достойный былъ вѣнокъ.

Вы видите, эти стихи—прямые предшественники знаменитой гоголевской насмѣшки надъ пристрастіемъ писателей къ «добродѣтельному человѣку». Такъ писалъ Пушкинъ, приблизительно въ 1824 году, т. е. въ періодъ своего охлажденія къ байронизму.

Но вѣдь Гоголь—признанный живописатель пошлости, сатиры, мелкихъ и непозитическихъ явленій. Всѣмъ извѣстно его сопоставленіе *двухъ* поэтовъ—лирика и сатирика, писателя, мнущагося возвышеннаго строя своей лиры, вообще витающаго надъ бреннаго земного праха, и писателя, выставляющаго типичнейшихъ мелочей и повседневные характеры.

Давно принято въ этомъ сопоставленіи видѣть Пушкина и Гоголя. Это заблужденіе, и прежде всего несправедливое въ пользу Гоголя.

Стоило ему прочесть пятую главу Онѣгина и Родословную моего героя, чтобы отказаться видѣть пропасть между своимъ учителемъ и самимъ собою, именно какъ изобразителемъ «пошлости».

Вотъ любопытнѣйшее послѣдовательное развитіе реальной теоріи искусства въ пушкинскихъ стихахъ.

Сначала идетъ вопросъ только о національности и будничности мотивовъ и героевъ:

Быть можетъ, волею небесъ  
Я перестану быть поэтомъ,  
Въ меня вселится новый бѣсъ,  
И Фебовы презрѣвъ угрозы,  
Унижусь до смиренной прозы.  
Тогда романъ на старыи ладъ  
Займетъ веселый мой закатъ.  
Но муки тайныя яздѣйства  
Я грозно въ немъ изобразю.  
Но просто всѣмъ перескажу  
Преданья русскаго семейства,  
Любви плѣнительныя сны,  
Да правды нашей старины.

Поэту самому будто странны такіе вкусы у него, байрониста и романтика—и онъ юмористически сравниваетъ себя—прежде и теперь.

Порой дождливою намедни  
Я завернулъ на скотный дворъ...  
Тыфу! прозаическія бредни,  
Фламандской школы пестрый соръ!  
Таковъ ли былъ я, разцвѣтая!  
Скажи, фонтанъ Бахчисарая!  
Такія ль мысли мнѣ на умъ  
Навелъ твой безконечный шумъ,  
Когда безмолвно предъ тобою  
Зарему я изобразалъ...

Теперь далеко до Заремы, до Гиреевъ и прочихъ сновъ юности. На смѣну имъ явятся не только не романтическія фигуры, а даже не допустимыя въ простомъ свѣтскомъ обществѣ. Мы видѣли, поэтъ защищалъ свѣтскую жизнь, какъ предметъ поэзіи, теперь онъ устремляется гораздо глубже въ «фламандскій соръ» требуетъ мѣста среди литературныхъ героевъ «коллежскому регистратору», «станціонному смотрителю» и даже пьяному мужику.

О коллежскомъ регистраторѣ рѣчь ведется совершенно въ гоголевскомъ духѣ: «малыи онъ обыкновенный», не Донжуанъ, не Демонъ, даже не цыганъ,

А просто гражданинъ столичный,  
Какихъ встрѣчаемъ всюду тьму,  
Ни по лицу, ни по уму  
Отъ нашей братьи не отличный...

И, наконецъ, политическое задушеніе всякимъ чинамъ въ искусствѣ  
и всевозможному шуму и блеску всякихъ эстетическихъ измовъ.

Иныя нужны мнѣ картины;  
Люблю песчаный косогоръ,  
Передъ избушкой двѣ рябины,  
Калитку, сломанный заборъ...  
Теперь мила мнѣ балалайка,  
Да пьяный топотъ трепака  
Передъ порогомъ кабака.  
Мой идеалъ теперь хозяйка,  
Да шей горшокъ, да самъ большой...

Теорія шла къ быстрому осуществленію на практикѣ. Всѣ  
прозаическіе романы Пушкина—искусство фламандской школы, и  
со временемъ изъ подъ пера гениальнаго лирика, можетъ быть,  
явились бы первые образцы народнической литературы. Пушкинъ,  
весь одушевленный національными инстинктами и горячимъ стре-  
мленіемъ къ жизни и простотѣ, сошелъ съ поприща русской ли-  
тературы истиннымъ творцомъ ея національнаго великаго бу-  
дущаго.

И помните, творцомъ-художникомъ вопреки современной наукѣ  
и критикѣ. Одинъ только всевластный талантъ былъ одновре-  
менно учителемъ и соратникомъ поэта. Это—въ полномъ смыслѣ  
вдохновеніе гениальной натуры, органическое влеченіе къ твор-  
ческой свободѣ и къ вѣчнымъ идеаламъ искусства.

Пушкинъ высказывалъ въ высшей степени серьезную мысль,  
будто иронически оправдывая себя за выборъ «ничтожнаго» героя.  
«Вы правы,—говорилъ онъ рыцарямъ школы, — но и я совѣмъ  
не виноватъ», и, предоставляя читателямъ воскликнуть или «экой  
взоръ» или «браво», онъ, поэтъ, своего пути не измѣнитъ: онъ  
убѣжденъ въ своемъ правѣ.

И мы увидимъ, на какой высотѣ должно было стоять это  
убѣжденіе, чтобы и себя оборонять отъ оглушительныхъ воплей  
«экой вздоръ», и ободрять другихъ, столь же одинокихъ на своей  
писательской дорогѣ. Мы впоследствии оцѣнимъ всю важность  
пушкинскаго вліянія на Гоголя, разберемъ, что означало привѣт-  
ствіе гениальнаго прославленнаго поэта для начинающаго невѣдо-  
маго литератора. Мы поймемъ также, почему Тургеневъ и Писем-

скій, столь, повидимому, несходные люди талантами и личностями, одинаково признавали Пушкина своимъ учителемъ и открытіе ему памятника—своимъ торжествомъ...

А теперь намъ остается сдѣлать общіе выводы изъ нашего обзора историческихъ судебъ русской литературы до вступленія ея на путь прогрессивнаго національнаго движенія.

Эти выводы, при всей своей значительности, подсказываются простой логикой фактовъ, въ сущности даже самыми чистыми фактами.

Пушкинъ окончательнѣе ратуры. Гоголю, въ цѣль къ наслѣдству своего него единственнымъ художественныхъ задачъ нія. Гоголь, по его слѣдствію другой приговоръ, надъ каждой написаннѣе какому угодно успѣху.

Гоголь, слѣдовательно, и своими нѣтями привязать всю свою дѣятельность къ пушкинскому гению. Это будетъ началомъ новыхъ неумирающихъ традицій.

Авторъ *Мертвыхъ душъ*, въ свою очередь, станетъ образцомъ для другихъ художниковъ и, подобно Пушкину, увлечетъ за собой и критику. Гоги писателей, по смыслу и результатамъ, окажутся поразительно сходными.

Пушкинъ своей «романтической» драмой и фламандскимъ искусствомъ нанесъ смертельный ударъ всѣмъ школамъ россійско-европейской словесности, на мѣсто хитростей литературнаго ремесла, утвердиль права личнаго таланта, и заставиль критику считаться не съ *правильностью* художественныхъ произведеній, а съ ихъ *правдой*.

То же самое назначеніе выполнилъ реализмъ Гоголя.

Соперникомъ поэта въ критикѣ на этотъ разъ явилась сила несравненно болѣе зрѣлая и авторитетная, чѣмъ пѣнники классиковъ и прочихъ школяровъ. Искреннія философскія увлеченія русской молодежи пытались создать новый кодексъ литературнаго уложенія. Они всецѣло захватили первенствующаго современнаго кри-

въ пути художественной литературы не оставалось прибавить жинъ до конца остался для критикомъ, внушителемъ ху-тъ цѣлителей ихъ выполне-имѣлъ предъ глазами тотъ я мысленно отгадать его судъ его одобреніе предпочиталъ



тика, налегли тяжелымъ деспотическимъ гнетомъ на его умъ даровитѣйшаго публициста и душу прирожденнаго художника.

Снова узы теорій грозили опутать и таланты, и жизнь, и безпощадно утѣчь вдохновеніе и свободу. Съ какими идеально-возвышенными намѣреніями присуждались къ смерти лучшія достоянія творчества, если не цѣликомъ, то въ своихъ нерѣдко наиболѣе блестящихъ частностяхъ! Съ какой стремительностью обрушивались громы философскаго доктринерства не только на факты литературы, но и дѣйствительной жизни, если они не вкладывались въ непогрѣшимыя отвлеченныя формулы!

Мы увидимъ далыне результаты этого новаго школьничества, отнюдь не послѣдняго въ исторіи нашего идейнаго развитія, вѣнчаннаго услуги, вновь оказанныя критической мысли творческимъ геніемъ. Мы прослѣдимъ постепенныя столкновенія философскаго идеализма тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ съ литературнымъ направленіемъ Гоголя и опредѣлимъ смыслъ борьбы.

Въ общемъ онъ останется тотъ же, какимъ былъ при Грибоедовѣ и Пушкинѣ: школа съ своимъ духомъ систематизаціи и властительскими притязаніями на искусство снова отступитъ предъ искусствомъ — по существу свободнымъ и сильнымъ только своею внутренней правдой и громаднымъ общественнымъ значеніемъ. Бѣлинскій въ повѣстяхъ Гоголя почерпнетъ неизмѣримо болѣе цѣлесообразныя и прочныя свѣдѣнія, чѣмъ въ гегельянствѣ, и именно съ этими повѣстями въ рукахъ съ мѣ же возстанетъ на абстрактный фанатизмъ своей молодости.

Въ слѣдующую эпоху повторится та же исторія, хотя и не въ столь рѣзкой опредѣленной формѣ.

Опять подъ вліяніемъ европейскихъ внушеній, не всегда точно понятыхъ и еще рѣже по достоинству оцѣненныхъ, начнется разрушеніе эстетики. Въ самое короткое время воинственный азартъ достигнетъ наивысшей температуры, эстетика будетъ отождествлена не только съ «чистымъ» поэтическимъ вдохновеніемъ, а вообще съ художественными явленіями, съ творческой даровитостью.

Запальчивость нападокъ не уступитъ смѣлости обобщенія, и самыя отчаянныя вылазки новыхъ теорій устремятся — и совершенно естественно — на сильнѣйшаго родоначальника русскаго искусства — на Пушкина.

И это произойдетъ во имя самыхъ, повидимому, жизненныхъ и реалистическихъ задачъ литературы!

Въ дѣйствительности, и здѣсь нападающими будетъ управлять

школы, известное априорное воззрѣніе, почерпнутое въ «последнихъ словахъ» мнимо-положительной исторической науки. Это она подскажетъ идею объ исключительномъ значеніи для человѣческой культуры опытныхъ знаній и о бесплодности, даже чужеродности искусства. Она вооружитъ юныхъ рыцарей біологіи и химіи и придастъ внушительную научную окраску ихъ на самомъ дѣлѣ совершенно ненаучному и исторически неосмысленному предпріятію.

Опять противъ доктринерства станетъ неистощимо-жизненное творчество. Оно и безъ открытой полемики изобличитъ всю призрачность и безцѣльность «разрушенія», изобличитъ ископной своей способностью художественными образами и фактами будить общественное сознаніе и воспитывать въ смутной средѣ современниковъ идеалы гражданственности съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ этого могли бы достигнуть всѣ естественныя науки въстѣ.

Первое мѣсто среди этихъ изобличителей займетъ, какъ и слѣдовало ожидать, преданнѣйшій ученикъ Пушкина. Тургеневу придется не разъ вступить въ открытое сраженіе съ «дѣтьми», и, помимо многихъ второстепенныхъ и временныхъ счетовъ, судьба сраженія всякій разъ будетъ рѣшеніемъ того или иного будущаго литературы и критики.

Тургеневъ снова повторитъ ученіе Пушкина о процессѣ и смыслѣ художественнаго творчества, придастъ этому ученію еще болѣе ясную и полную внѣшнюю форму, оправдывая его въ то же время собственными краснорѣчивѣйшими произведеніями.

Впоследствии мы познакомимся съ подробностями этого когда-то столь шумнаго и до сихъ поръ еще не замолкшаго вопроса о тенденціи и о чистомъ художествѣ. Мы увидимъ, — въ сущности отвѣтъ не подлежалъ сомнѣнію съ самаго начала. Борьба вызвана вовсе не заблужденіями художниковъ, а новымъ наплывомъ европейскихъ формулъ въ русскую критику. Тургеневъ и писатели равной съ нимъ силы по существу не могли быть эстетическими празднословьями и неосмысленными служителями чистой красоты. Авторъ *Отцовъ и дѣтей* не нуждался въ напоминаніяхъ на счетъ значительнаго содержанія литературныхъ произведеній, гражданского долга писателей и вообще просвѣтительнаго и цивилизующаго назначенія искусства.

Всѣ эти вопросы рѣшались личнымъ геніемъ художника. Критикъ здѣсь нечего было дѣлать, и своими антиэстетическими строеніями она могла только затормозить благотворное движеніе въ пол-

номъ смыслѣ; идейной, хотя и художественной литературы, вызвать недоразумѣнія между писателемъ и малосознательными читателями.

Это дѣйствительно отчасти и произошло, но только отчасти, на время.

Художникъ опять остался побѣдителемъ. Волна самаго, повидимому, солиднаго европейскаго повѣтрія схлынула даже скорѣе, чѣмъ можно было ожидать. Она едва пережила своихъ творцовъ и до слѣдующихъ поколѣній долетѣлъ только невнятный гулъ еще недавно столь шумной битвы.

Въ наше время снова воскресаетъ старый спектакль. Но уже и пьеса и дѣйствующія лица не представляютъ ни малѣйшей опасности. Русскій символизмъ до сихъ поръ не встрѣтилъ врага въ лицѣ первостепенной художественной силы, какъ это было при раннихъ европейскихъ нашествіяхъ на русскую литературу. Но, повидимому, новѣйшая школа, ея формула до такой степени тщедушна и даже противолитературна, такъ явно противорѣчитъ нагляднѣйшему историческому развитію искусства и особенно его современнымъ естественнымъ задачамъ, что доктрина умретъ сама собою, отъ внутренняго недуга. И, можетъ быть, этотъ исходъ будетъ началомъ излѣченія русской критической мысли отъ болѣзненной стремительности къ паролямъ и лозунгамъ западно-европейскаго происхожденія.

А между тѣмъ, цѣли и содержаніе русской критики вполне опредѣлены ся кратковременной, но необычайно богатой и краснорѣчивѣйшей исторіей.

Никакихъ школъ, никакихъ отвлеченно-формулированныхъ направленій, никакихъ ни чисто-эстетическихъ, ни научно-общественныхъ системъ: совершенная свобода личнаго творчества и искреннее, любовно-вдумчивое отношеніе къ родной дѣйствительности.

Для таланта нѣтъ другихъ ограниченій, кромѣ свойствъ самого этого таланта и голоса кругомъ развивающейся жизни.

Послѣднее въ высшей степени существенное условіе. Личную свободу художника можно понять въ самомъ превратномъ смыслѣ, и декаденты эту свободу кладутъ во главу угла своего формально обязательнаго «безумія».

Но абсолютной свободы нѣтъ ни для художника, ни вообще для смертнаго. Не проходитъ мгновенія, когда бы мы не чувствовали своей ничѣмъ неустранимой связи съ внѣшнимъ міромъ. Нельзя представить ни единой мысли, ни единого мимолетнаго на-

строения свободныхъ отъ всепроникающаго «духа земли». Самые фантастическіе образы подсказаны дѣйствительностью — грубой и непосредственной. Самые идеальныя построенія отвлеченнаго ума созданы изъ того же матеріала, только иначе размѣщеннаго и связаннаго.

И недаромъ легенды объ отшельникахъ и подвизникахъ съ такимъ постоянствомъ рассказываютъ объ «искушеніяхъ»... Нѣтъ, очевидно, спасенія отъ міра даже тамъ, гдѣ, повидному, ближе всего небо!

Въ этомъ законѣ весь смыслъ мірового процесса.

Если бы наша нравственная жизнь могла питаться исключительно своимъ содержаніемъ, немаленно исчезъ бы всякій интересъ существованія. Сосредоточивается на способности воспріятія и возможно четъ жизнь, потому что инстинктивно утѣрены изъ своей хотя бы и очень относительной надъ ней. А всякая разумная и успѣшная власть мыслима только при тщательномъ изученіи предмета, подлежащаго ей. Въ результатѣ, мы воспринимаемъ впечатлѣнія и часто страданія отъ внѣшняго міра съ тѣмъ, чтобы, въ свою очередь, его заставить воспринять наши идеи, его явленія, насколько возможно, подчинить нашей личности.

Отсюда логическій выводъ: чѣмъ совершеннѣе и глубже воспримчивость, чѣмъ, слѣдовательно, обширнѣе область воспринимаемаго міра, тѣмъ достигимѣе возможность идейныхъ вліяній на дѣйствительность.

Само собой разумѣется, вліянія могутъ осуществляться только при участіи опредѣленно-направленной воли, но именно эта опредѣленность и обуславливается количествомъ и качествомъ изученныхъ явленій жизни.

Примѣните эти соображенія къ художественному таланту, и вы совершенно послѣдовательно получите точную мѣрку его идеальной и практической цѣнности.

Она прямо и непосредственно зависитъ не отъ какихъ бы то ни было нарочитыхъ усилій автора сказать публикѣ непременно что-нибудь значительное и поучительное, не отъ благороднѣйшихъ въ мірѣ тенденцій, а отъ прирожденной воспримчивости и чуткости творческаго духа.

Тургеневъ выразилъ эту истину по поводу частнаго случая, защищая свое собственное произведеніе. Онъ не формулировалъ никакой теоріи творчества—ни психологической, ни художествен-

ной, но простая искренняя исповѣдь художника важнѣе всякихъ обобщеній и системъ.

Во время полемики, вызванной *Отцами и дѣтьми*, Тургеневу пришлось, между прочимъ, выслушать жестокія укоризны за *тенденцію* и *рефлексію*, т. е. за недостатокъ свободнаго творчества и чисто-поэтическаго вдохновенія.

Авторъ, въ общемъ, крайне добродушно и сдержанно отвѣчалъ своимъ критикамъ, но малѣйшій намекъ на тенденцію, очевидно, особенно болѣзненно отзывался на его писательской совѣсти.

Онъ готовъ признать какіе угодно недостатки въ своемъ романѣ, готовъ согласиться, что ему «мастерства не хватило», но *тенденція!*.. Ничего не можетъ быть несообразнѣе съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣла!.. Онъ просто не знаетъ, какъ и почему извѣстнымъ образомъ сгруппировались у него лица и вышли именно такими, столь неудобными критикамъ.

«Я всѣ эти лица рисовалъ, какъ бы я рисовалъ грибы, листья, деревья; намозолили мнѣ глаза, я и принялся чертить. А освободиться отъ собственныхъ впечатлѣній потому только, что они похожи на тенденціи, было бы странно и смѣшно».

Слѣдовательно, — впечатлѣнія, замѣтите — *только отраженія* внѣшняго міра въ чувствѣ и сознаніи наблюдателя могутъ походить ужс на тенденціи... Таковъ вѣдь выводъ изъ словъ Тургенева, и онъ подтверждается ежедневнымъ опытомъ — не писателей и художниковъ, а самыхъ обыкновенныхъ смертныхъ.

Но когда же впечатлѣнія граничатъ съ тенденціей, т. е. *сами по себѣ*, независимо отъ преднамѣренной окраски и искусственнаго подбора, преисполнены нравственнаго и общественнаго смысла?

Очевидно, когда они производятся предметами и явленіями, занимающими первое или, по крайней мѣрѣ, безусловно значительное мѣсто въ современной жизни. Въ иныхъ случаяхъ достаточно только назвать эти предметы, или описать самыми элементарными и даже небрежными чертами, чтобы рѣчь для весьма многихъ слушателей получила тенденціозный смыслъ и вызвала беспокойныя и мучительныя чувства.

Именно въ такомъ положеніи очутился Пушкинъ, когда вздумалъ отъ байронизма и романтическихъ эффектовъ перейти къ зауряднымъ «неинтереснымъ» героямъ «свѣта», потомъ къ «просто гражданину столичному» и, наконецъ, къ мужику.

Это тоже выходило *тенденціей*. «Коллежскій регистраторъ» допущенный въ область художественной литературы, производилъ

на современных изящных читателей и официальных блюстителей словесности не меньше дикое впечатление, чѣмъ нигилистъ Базаровъ на Фета.

И какъ было Пушкину отражать это впечатлѣніе?

Защищать права «фламандскаго сора», доказывать человѣческое достоинство и извѣстное общественное значеніе «обыкновенныхъ малыхъ» — не дѣло художника. Эта задача предстояла критикѣ. Пушкинъ просто заявлялъ, что онъ чувствуетъ себя въ своемъ правѣ писать о томъ, къ чему его влечетъ личный творческій талантъ.

О тенденціи здѣсь, чатлѣнія дѣйствитель извѣстной публики.

можетъ быть и рѣчи, но впе- ги за тенденціи въ глазахъ

Въ дѣйствительное этой публики. Она трс

оставалась именно на сторонѣ художникъ направлялъ свое

вниманіе на предметы, не вызывая ціе безпокойства въ мысляхъ и чувствахъ просвѣщеннаго читателя, тщательно сортировала свои впечатлѣнія и отказывалась отъ нѣкоторыхъ совершенно.

Во имя чего?

Откѣты могутъ быть очень разнообразны, но общій ихъ смыслъ насилье надъ талантомъ писателя, властный контроль надъ его нравственнымъ міромъ и чисто инквизиціонное внимательство даже въ его ощущенія и настроенія.

Ученые критики могли поставить предъ лицомъ поэта авторитетъ науки объ изящномъ, т. е. эстетику, школу, свѣтскіе франты—сослаться на хорошій тонъ и утонченный вкусъ, чистоту поэтамъ естественно напасть на ужъ и рефлексію.

Всѣ эти идолы и выдвигались неоднократно, выдвигаются и теперь противъ художественнаго творчества, неизмѣримо менѣе тенденціознаго, чѣмъ наука, этикетъ и культъ красоты.

Тотъ же Тургеневъ очень остроумно направилъ обвиненіе въ тенденціи противъ чистѣйшаго изъ эстетиковъ Фета. И вполне справедливо, и фактически-основательно.

Фетъ съ необыкновеннымъ азартомъ нападалъ на ужъ и разсудокъ, не хотѣлъ видѣть и слѣда ихъ въ произведеніяхъ искусства, т. е. насильственно кагѣчилъ и личность художника, и процессъ его творчества... Что можетъ быть тенденціознѣе? И съ Фетомъ могутъ успѣшно соперничать, именно по рассчитанной преднамѣренности писательства, современные мечтатели о сверхъ земли художествѣ. Имъ также приходится зорко слѣдить за

своимъ умомъ, если онъ у нихъ имѣется, и не допускать его разстраивать гармонію звуковъ.

Очевидно, Пушкинъ—родоначальникъ «впечатлѣній, похожихъ на тенденціи», и въ то же время разрушитель тенденцій въ искусствѣ, какъ разъ съ момента вступленія на путь «тенденціозныхъ» впечатлѣній. Всякая литературная школа, вооруженная теоріями и формулами, и есть самое грубое воплощеніе тенденцій. Протестъ противъ школы, ея хитростей и ремесленническихъ уставовъ—самый подлинный разрывъ съ тенденціей, начало свободы и правды творчества.

Это начало, мы видѣли, положено тремя великими поэтами, и одновременно навсегда опредѣлились пути новой критики, соответствующіе полному преобразованію искусства.

На развалинахъ европейскихъ школъ должна была вырасти національная критическая мысль, столь же независимая и жизненно-содержательная, какъ и ставшее во главѣ ея художественное творчество.

## XX.

Творчество стало во главѣ критики—это оригинальнѣйшая черта русской литературы; вдохновеніе поэтовъ предшествовало идеямъ эстетиковъ, впечатлѣнія явились первоисточниками тенденцій.

Подобное явленіе знала античная Греція. Тамъ поэтика Аристотеля возникла послѣ блестящаго развитія искусства и составила изъ обобщеній уже готовыхъ фактовъ. Творчество эллинскихъ трагиковъ выросло на свободѣ и естественныхъ національных силахъ. Никакой теоретикъ не вмѣшивался въ этотъ ростъ и, впрочемъ, вся заслуга Аристотеля состояла въ точномъ осмысленіи *дѣйствительности*, а не въ стремленіи передѣлать ее путемъ отвлеченныхъ эстетическихъ предписаній. Скромная, но добросовѣстно выполненная задача и сохранила до сихъ поръ за критикой Аристотеля право на существованіе.

Трактаты позднѣйшихъ классиковъ, много толковавшіе объ Аристотелѣ, на самомъ дѣлѣ не имѣли съ нимъ ничего общаго,—прежде всего по своимъ цѣлямъ.

Они разсчитывали создать искусство и неограниченно управлять имъ. Они и достигли своего идеала, но столь же мертворожденного и скоропреходящаго. Ложноклассическая критика погибла



даже раньше своего дѣтища, и погибла въ силу своего противоестественнаго положенія. Критика—спутникъ и сотрудникъ искусства, а не господинъ и садоводящій указчикъ.

Этот. принципъ достигъ осуществленія въ русской литературѣ съ паденіемъ школъ предъ національнымъ творчествомъ.

У критики немедленно исчезли мотивы и вопросы, до сих пор переполнявшие статьи журналистов и лекции профессоров. Если она хотѣла сохранить старыя сокровища, ей оставалось пребывать въ области литературы, явно приговоренной къ смерти. О «правилахъ» и «хорошемъ вкусѣ» можно было толковать только по поводу трагедій Сумарокова, окончателъно заслоненныхъ новою комедіей, сентиментализмъ и романтическое направленіе приходилось пояснять повѣстями Карамзина, балладами Жуковского, софизмами Шлегеля, произведеніями Шлегеля, мыслями мертвецовъ приходить бороться съ непреодолимой властью талантовъ и ихъ славы.

Конечно, охотники даже до таких подвигов не могли перевестись въ нѣсколько лѣтъ. Но самый естественный врагъ всего осужденнаго жизнью—ничѣмъ неотвратимый процессъ вырожденія и выпранія—шелъ своимъ чередомъ, и новая критика не замедлила стать рядомъ съ новымъ искусствомъ.

Какая же судьба ей предстояла?

Вопросъ отнюдь не рѣшался съ перваго же шага. Мы увидимъ, сколько заблужденій, колебаній, сдѣлокъ съ мертвой стариной отмѣтили раннія движенія критики. Но основныя задачи ея опредѣлились очень скоро, въ силу фактической необходимости.

Если искусство разорвало съ отвлеченной эстетикой и обратилось къ свободѣ и дѣйствительности, критикѣ оставалось идти тѣмъ же путемъ, изъять изъ своего обихода вопросъ о правилахъ творчества и заняться оцѣнкой его смысла и содержанія.

А мы знаем, въ чемъ заключалось это содержаніе: воспроизведеніе русской будничной жизни, вплоть до народнаго быта. Художественная литература брала на себя обязанность изучать только землю, и навсегда покинуть эфирныя высоты мечтательной красоты и идеальнаго величія. Поэтъ рѣшался рыться въ житейскомъ «сорѣ» и обыкновенными, часто даже совершенно невзрачными и отнюдь не героическими «малыми» замѣнить эффектиппыхъ витязей. А для этой цѣли ему приходилось возможно ближе подойти къ самой неприглядной дѣйствительности, гдѣ и помину



нѣтъ о небесной красотѣ, сказочномъ счастіѣ, гдѣ немощи и лишения до послѣдней степени обездоливаютъ человѣка и уродуютъ его «божественный образъ».

Перенесите изъ этого міра самыя спокойныя, непосредственныя впечатлѣнія, только искренне и честно перенесите въ свой рассказъ или на свою картину, и вы тотчасъ же у публики затронете чувства, у критика вызовете идеи,—совершенно невѣдомыя ни классическимъ, ни романтическимъ читателямъ и эстетикамъ.

О чемъ будетъ говорить критикъ по поводу вашего произведенія?

Раньше онъ могъ наполнить всю свою статью разсужденіями о стилѣ, о законахъ искусства, потому что самъ авторъ полагалъ всѣ свои силы именно на эти основы своихъ писательскихъ правъ. Теперь вы тоже можете многое сказать о моемъ слогѣ, о чисто-художественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ моего произведенія, но помимо всего этого останется нѣчто, самое существенное—смыслъ моей работы.

И какой смыслъ!

Чтобы выяснить его, вы не можете ограничиться критикуемой книгой, вы должны знать многое помимо нея. отнодь не менѣе автора, знать не книги также, а тотъ самый «фламандскій сортъ», откуда авторъ взялъ героевъ и факты для своего произведенія.

Вы, слѣдовательно, отъ книги неизбѣжно обращаетесь къ жизни и совершенно логически становитесь одновременно и критикомъ литературнаго явленія, и судьей надъ извѣстной дѣйствительностью. А это значитъ—изъ критика искусства вы превращаетесь въ публициста, т. е. моралиста, политика, соціолога.

И превращеніе произошло съ вами вовсе не потому, что вы взялись за критику нарочито съ публицистическими намѣреніями. Все равно, какъ художникъ не рассчитываетъ на тенденціозныя общественныя воздѣйствія, воспроизводя свои *впечатлѣнія*, такъ и его критикъ можетъ быть неповиненъ въ результатъ своихъ *идей*.

Впечатлѣнія художника pochodили на *тенденціи* въ силу самого своего источника, и идеи критика, безъ вмѣшательства его воли, могутъ приблизиться къ *принципу* опредѣленнаго смысла въ силу своего предмета. Здѣсь переходъ часто незамѣтенъ для самого писателя, все равно какъ *впечатлѣнія* привели Пушкина и Гоголя къ самымъ краснорѣчивымъ поучительнымъ результатамъ, безусловно независимо отъ какихъ бы то ни было публицистическихъ инстинктовъ того и другого поэта.

Давно известна истина, жизнь—самый могущественный учитель, и она неуклонно выполняет это назначение и въ практическихъ опытахъ незамѣтныхъ людей, и въ произведеніяхъ гениальныхъ художниковъ и мыслителей. Въ этомъ фактѣ великое значеніе литературнаго реализма. Онъ, въ силу своей сущности, превалтъ всевозможными нравственными результатами. Въ искусствѣ онъ то же, что солнце въ природѣ.

Оно одинаково щедро изливаетъ свои лучи и на каменную пустыню, и на благословеннѣйшій въ мірѣ край. Оно совершаетъ свое дѣло стихійно, по закону природы, но всюду, гдѣ только есть малѣйшая возможность, развивается живому организму, подъ его лучами возни- зарожденія и развитія.

Таково дѣйствіе и : ро произведенія, изображающаго правдивую подлинн

Эту простую логику и неразрывное снмленіе причинъ съ послѣдствіями трудно понять эстетикамъ и читателямъ старой искусственной, отъ начала до конца фантастической литературы. Чистые вымыслы воображенія — пустоцвѣты творчества, можетъ быть, очень красивые и ароматные, но безплодные и тусклые.

До какой степени несомнѣнна разница между идеальнымъ искусствомъ и реализмомъ, разница органическая, фатальная, понималъ даже писатель классической эпохи. Стоило ему подойти къ дѣйствительности и сравнить ее съ современной трагической школой, чтобы немедленно опредѣлилась могучая внутренняя сила жизненнаго вдохновенія.

«Я думаю,—писалъ Мольеръ,—гораздо легче витать въ области высшихъ чувствъ, бросать въ стихахъ вызовъ счастью, осмыслать обвиненіями судьбу, поносить боговъ, чѣмъ проникать въ смѣшныя стороны человѣческой природы и заинтересовывать публику несообразностями повседневной жизни. Когда вы изображаете героевъ, вы дѣлаете это, какъ вамъ вздумается. Это совершенно произвольные образы, въ нихъ нечего искать какого-либо сходства съ какой бы то ни было дѣйствительностью. Вы слѣдуете только порывамъ вашего личнаго воображенія, которое часто естественность и правду приносить въ жертву чудесному. Но когда вы беретесь изображать дѣйствительныхъ людей, вы должны ихъ брать, какими они являются въ жизни. Необходимо, чтобы ваши созданія походили на дѣйствительность, и ваша работа утратить всякое значеніе, если въ ней не узнаютъ типовъ современниковъ».

Очевидно, при такомъ процессѣ творчества неизбежно участіе

*ума и разсудка.* Изображать восходъ солнца, цвѣты, трели соловья можно безъ этихъ благороднѣйшихъ силъ человѣческой природы. Но когда художественному воспроизведенію подлежитъ человѣкъ и общество, художникъ обязанъ *понимать*, слѣдовательно, мыслить. А критику предстоитъ при первомъ же взглядѣ на трудъ художника прибѣгнуть къ *сравненію*, опредѣлить соотвѣтствіе литературныхъ образовъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Опять—на сценѣ *личный умъ* и *личный общественный и культурный кругозоръ*.

Такимъ путемъ реализмъ искусства совершенно преобразовываетъ критику.

Это преобразование совершалось и совершается всегда и вездѣ, но въ русской литературѣ оно приняло своеобразное направленіе, отличное отъ западно-европейскаго.

И мы знаемъ, почему.

На Западѣ реализмъ и даже натурализмъ сохранилъ существенныя преданія старой словесности, т. е. употребилъ всѣ усилія сложиться въ школу, въ эстетическую формулу. Русский реализмъ, національно не связанный ни съ какими школьными преданіями, явился именно *противошкольнымъ* и *внѣсистемнымъ* художественнымъ фактомъ. Результаты въ критикѣ очевидны.

Ей оставалось только судить о правдивости и реальности литературныхъ произведеній, т. е. сопоставлять жизнь и искусство. Даже въ простѣйшей формѣ эта задача непосредственно приводила критика къ *разбору* жизненныхъ явленій и *оцѣнкѣ* уровня пониманія и анализа у художника. Только въ этихъ предѣлахъ и должна была вращаться критическая мысль русскаго эстетика.

Его французскій собратъ, взявшій въ руки, положимъ, драму или романъ изъ школы Гюго, имѣетъ предъ собой рѣшительное заявленіе основателя школы воспроизводить дѣйствительность съ фактической вѣрностью—самымъ уродливымъ явленіямъ. Но это не все. Критикъ, помимо этихъ *реальныхъ* принциповъ, слышитъ изъ тѣхъ же устъ еще цѣлый *эстетическій* уставъ. Очевидно, его критика, разъ она хочетъ быть полной и соотвѣтствовать художественному факту, должна разбиться, по крайней мѣрѣ, на двѣ струи: нравственно-общественную и школьно-теоретическую.

Ничего подобнаго у русскаго критика.

Его авторъ не признаетъ никакихъ *хитростей*, и было бы совершенно безцѣльно судить человѣка по законамъ ему невѣдомымъ. Но тотъ же авторъ заявляетъ притязанія на вѣрное изо-

браженіе жизни, и этимъ самымъ указываетъ цѣль критическаго анализа.

Естественно, анализъ выйдетъ не трактатомъ по эстетикѣ, а публицистической статьей.

Мы не должны понимать слово *публицистика* непремѣнно въ смыслѣ какой-нибудь партійной, нахѣренно-односторонней проповѣди. Публицистика можетъ быть и не быть такою проповѣдью, все равно, какъ и художникъ можетъ совершенно произвольно скомбинировать свои впечатлѣнія, внести своего рода школу въ свои наблюденія и свои  
 чтобы впечатлѣнія не  
 въ практическомъ смъ  
 вызывающаго впечатлѣ.

Все это отнюдь не требуется, поучительны и дѣлительны достаточно самого предмета,

Точно также и критику нѣтъ необходимости слѣпо непогрѣдывать какой-либо нравственный и общественный символъ, чтобы его анализъ вышелъ значительнымъ по содержанію и просвѣтительнымъ по смыслу.

Опять предметъ анализа неминуемо превратитъ критика въ философа и учителя. Дѣлность философіи и высота учительства будутъ обусловлены способностью понимать предметъ, т. е. искренностью и культурностью личной мысли критика. Но вѣдь и достоинство реального художественнаго произведенія зависятъ отъ глубины и той же искренности поэтическихъ впечатлѣній. Идеалъ и безусловная истина ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ недостижимы, все равно, какъ они—вѣчно искомые предѣлы даже въ опытныхъ наукахъ. Высшая цѣль нравственныхъ усилій чело- вѣчества—вѣрный путь къ истинѣ, и, несомнѣнно, на такой путь одновременно пступили и русское искусство, свободное и реальное, и русская критика, идейная и публицистическая.

## XXI.

Принято думать, будто произведенія русскихъ критиковъ переполнены всевозможными вопросами, только не художественными, потому что литературная критика, по разнымъ условіямъ, явилась для русскихъ писателей единственнымъ доступнымъ орудіемъ общественной мысли.

Это справедливо только отчасти и касается только внѣшней исторіи вопроса. Публицистическая сущность нашей критики создана историческимъ развитіемъ художественнаго творчества. Оно—

первый и самый могущественный источник постепенного наплыва публицистики въ эстетику и, наконецъ, окончательнаго исчезновенія эстетики.

Оригинальное явленіе обнаружилось на первыхъ же порахъ, въ самый ранній періодъ критики. Въ сущности, вся ея исторія сводится, во-первыхъ, къ борьбѣ публицистическихъ мотивовъ съ эстетическими теоріями, а потомъ къ преобразованію публицистическихъ темъ.

Непосредственно послѣ петровской реформы, съ возникновеніемъ свѣтской литературы, должна возникнуть критика. Работа ея во всѣхъ отношеніяхъ предстояла громадная.

Первый основной вопросъ, поглотившій мысли и таланты новыхъ писателей, заключался въ точномъ опредѣленіи языка, какимъ слѣдовало пользоваться новой литературѣ. Вопросъ усложнялся до крайней степени именно условіями реформы.

Съ одной стороны трудно было разграничить *два языка* такъ же просто, какъ установлены *два алфавита*, точнѣе, даже *не установлены*, а намѣчены и далеко не сразу разграничены. Установленіе гражданской азбуки совершалось въ теченіе довольно продолжительнаго времени и Тредьяковскому пришлось перенести жестокія нравственныя муки и въ высшей степени запальчивую полемику изъ-за нѣкоторыхъ буквъ. Славянскій языкъ не могъ безъ самой упорной борьбы свѣтскую литературу предоставить исключительной власти русскаго.

Съ другой стороны та же реформа наводнила книжную литературу множествомъ иностранныхъ словъ.

Не имѣя ни времени, ни силъ создавать русскія выраженія для европейскихъ понятій, реформа завѣщала ближайшимъ поколѣніямъ настоящій словесный хаосъ.

Онъ представлялъ не только смѣсь различныхъ языковъ въ отдельныхъ словахъ, но подчинялъ иноземнымъ вліяніямъ самый характеръ родного языка, его слогъ и грамматическій строй.

У нарождающейся литературы, слѣдовательно, оказалось два врага—внутренній и внѣшній. Борьба съ ними наполняетъ первый періодъ русской критики.

Его можно назвать *стилистическимъ*.

Но какъ бы ни былъ настоятеленъ вопросъ о самомъ языкѣ, самая ранняя критика не могла уклониться и отъ другихъ задачъ, господствовавшихъ одновременно въ европейской литературѣ. Широко прорубленное «окно» одинаково давало доступъ и чужому искусству, и чужимъ идеямъ объ искусствѣ.

Иноземнымъ военнымъ инструкторамъ, обучавшимъ русскую армию, соответствовали такіе же инструкторы молодой словесности. Очевидно, попросту о теоріи и школѣ неизбежно долженъ чередоваться съ поисками за литературнымъ языкомъ и сло-гомъ, и въ критикѣ рядомъ съ *стилистикой*, развивалась *схоластика*.

Таково содержаніе перваго періода русской критики—*стили-стическо-схоластическое*.

Но оно не единственное. Литературными и эстетическими те-мами не ограничились первые критики — Ломоносовъ, Тредья-ковскій, Сумароковъ—  
представили образцы и  
культурной и личной,  
ной и публицистики —  
бумагъ». Не всѣ три і  
грѣхахъ, но вопросъ не въ отдѣльныхъ именахъ, а въ общемъ направленіи критической литературы.

Высшая публицистика широкихъ общихъ идей вызывалась неизбежно той же самой причиной, какая стояла во главѣ новой словесности — подражательностью. Предъ русскими писателями единственный источникъ проясненія—европейская наука и ци-визація. Этого факта они не могли отвергать, разъ желали про-должать дѣло великаго преобразователя. Но изъ того же источ-ника возстали силы, грозившія поглотить все національно-русское, начиная съ платья и кончая языкомъ и мыслями. Многимъ и здѣсь можно было пожертвовать, но ни одному сколько-нибудь созна-тельному литературному дѣятелю не могло и на умъ придти соз-дать изъ своей личности и дѣятельности безусловно подвластные удѣлы европейскихъ вліяній.

Отсюда одновременно съ усвоеніемъ европейскихъ знаній и обычаевъ—стремленіе отстоять національную стихію, прежде всего языкъ, исторію, нѣкоторые обычаи, а потомъ вообще національную индивидуальность, нравственную и умственную независимость.

Ясно, патріотическія чувства должны проникнуть во всѣ разсужденія критиковъ, даже если вопросъ шелъ объ языкѣ, истинѣ. И Ломоносову принадлежитъ идея о блестящемъ буду-щемъ русскаго языка сравнительно даже съ самыми сильными и богатыми языками. «Бодростью и героическимъ звономъ» рус-скій не уступаетъ, по мнѣнію Ломоносова, ни греческому, ни ла-тинскому, ни нѣмецкому. И если нѣтъ на немъ превосходныхъ

литературныхъ образцовъ, виновать не языкъ, а неумѣлость и неопытность писателей.

«Ежели чего точно изобразить не можемъ, не языку нашему, но недовольному своему въ немъ искусству приписывать долженствуемъ. Кто отчасти даѣе въ немъ углубляется, употребляя предводителемъ общае философское понятіе о человѣческомъ словѣ, тотъ увидитъ безмѣрно широкое поле или, лучше сказать, сдва предѣлы имѣющее море».

Легко представить, какъ съ подобными чувствами къ родному языку Ломоносовъ могъ встрѣчать рѣчи съ такими рѣченіями: *дисперсія, трактаментъ, штиль-штандъ, адіерентъ, пленипотенціаръ, преферативы*.

Отдѣльными словамъ соотвѣтствовали и цѣлыя произведенія, причемъ часто въ нѣсколькихъ строкахъ осуществлялось истинное столпотвореніе вавилонское изъ языковъ простонароднаго русскаго, польскаго, малоросійскаго и нѣсколькихъ иностранныхъ. Никакая самая важная тема не могла уберечь автора отъ подобнаго смѣшенія.

За пять лѣтъ до ломоносовской характеристики русскаго языка сравнительно съ античными вышла поэма необычайно торжественнаго содержанія. Называлась она *Умозрительство душевное описанное стихами о переселеніи въ вѣчную жизнь превосходительной баронессы Маріи Яковлевны Строгоновой*.

Здѣсь находятся такія, напримѣръ, строфы:

Трость, копье и гвозди, страстей инструменты;  
Отъ чего трепетали свѣта элементы.

Или:

Первые жъ Господь вьнде съ матерью своею  
Пріяты Маріи душу со святою всею.

Или, наконецъ, такія сочетанія: «на небесномъ театрѣ тріумфъ отправляти».

Послѣ этого понятны усилія Ломоносова опредѣлить *слои* литературной рѣчи,—вопросъ въ высшей степени важный по времени.

Ломоносовъ ясно сознавалъ самостоятельность русскаго *слои*, т. е. языка рядомъ съ церковно-славянскимъ. Новъ самомъ словѣ *слои* заключалось существенное ограниченіе самой роли русскаго языка. Ломоносовъ положилъ основаніе многолѣтнему спору о совмѣстномъ существованіи въ свѣтской литературѣ двухъ языковъ, пріурочивъ ихъ къ *содержанію* произведеній.

Употребленіе русскаго языка ставилось въ зависимость отъ



наміреній писателя или свойствъ его таланта. Онъ могъ пользо-  
ваться этимъ языкомъ—для пѣсни, комедіи, дружескаго письма,  
для «описанія обыкновенныхъ дѣлъ». Если же его мысль подни-  
малась надъ будничной дѣйствительностью, ему рекомендовался  
«высокій слогъ», т.-е. смѣсь русскаго языка съ церковно-славян-  
скимъ. Такая идея естественна въ началѣ борьбы двухъ языковъ.

Не только Ломоносовъ, представитель академической критики,  
не могъ изречь окончательнаго приговора славянскому языку.—но  
долго спустя послѣ него писатели съ большими талантами и, ве-  
соиѣнно, жизненными задачами не могли отрѣшиться отъ той же  
идеи и слѣдовали насти

Фонвизинъ пишетъ  
объ «обыкновенныхъ  
нимается объяснять  
становится «высокимъ

омъ и въ сценѣ, гдѣ дѣло идетъ  
лишь только Стародумъ при-  
и нравственности, его рѣчь  
а. смѣшеніемъ языковъ.

Ломоносовъ былъ слѣдующимъ талантомъ, чтобы практически  
решить свою теорію дикимъ разноязычіемъ, въ родѣ стиля только-  
что упомянутой поэмы. Мы будемъ имѣть случай познакомиться съ  
изумительнымъ искусствомъ пылкаго патріота владѣть простымъ  
русскимъ языкомъ, сообщать ему даже легкость и игривость.

Но и теоретически Ломоносовъ указалъ на такіе источники раз-  
витія чисто-русскаго слога, что заранее опредѣлилъ будущій  
исходъ борьбы. Языкъ народный, по мнѣнію Ломоносова, долженъ  
привести новому литературному языку обильные питательные соки.  
Опредѣляя въ народномъ языкѣ три діалекта—московскій, сѣ-  
верный или поморскій, украинскій или малороссійскій—критикъ  
отдавалъ преимущество «отмѣнной красотѣ» перваго, но не исклю-  
чалъ изъ литературы и двухъ другихъ.

Нѣтъ нужды повторять, что всѣми этими соображеніями руко-  
водило прежде всего страстное національное чувство. Если бы мы  
и не знали безчисленныхъ сраженій Ломоносова съ нѣмецкими  
учеными по исключительно патріотическимъ мотивамъ, мы вполне  
опредѣленно могли бы прослѣдить господствующую нравственную  
струю ломоносовской критики—по его теоретическимъ разсужде-  
ніямъ. Ученый безпрестанно впадаетъ въ лирическій, будто въ  
любвиный тонъ, говоря о языкѣ, часто о мелкихъ подробностяхъ  
и свойствахъ родной рѣчи. Онъ первый русскій публицистъ на  
почвѣ, повидимому, менѣе всего подходящей для публицистики—  
на почвѣ грамматики и слога.

И именно здѣсь дѣятельность ранней русскаго критики безусловно



плодотворна. Установленіе языка являлось дѣйствительною потребностью первой словесности и, слѣдовательно, знаменовало *прогрессивную* дѣятельность первыхъ критиковъ.

Совершенно иной смыслъ *схоластической* работы.

Мы видели, споры о теоріяхъ и формальныхъ правилахъ—одинъ изъ отрицательныхъ результатовъ европейскаго вліянія на русскую литературу. Они удаляли искусство отъ его истиннаго назначенія быть органомъ родной дѣйствительности, свободнымъ и національнымъ. Здѣсь значительно участіе и Ломоносова, вывезнаго изъ Германіи ложноклассическое ученіе нѣмецкаго теоретика—Готшеда. «Изученіе правилъ и подражаніе знатныхъ авторовъ»—принципъ ломоносовской піитики.

Русскій ученый, самъ усердный поэтъ, унизилъ вдохновенный поэтическій талантъ, какъ вѣрный послѣдователь классиковъ поэзію отождествилъ съ краснорѣчіемъ, Пиндара и Мазерба признавалъ одинаково почтенными образцами для оды и вообще не отличалъ античнаго классицизма отъ французскаго.

Личная сильная натура увлекала Ломоносова въ сторону отъ чиннаго этикета авторитетовъ и онъ весьма часто поддавался искушеніямъ вольносатирической и просто эниграмматической музыки, сочинялъ *Гимны бородамъ* и всегда былъ готовъ засыпать врага ядовитѣйшими строфами особаго сорта *poésie legère*—откровенной, грубой, но неподдѣльно-остроумной и національно-юмористической...

Все это дѣйствительно будто невольная фронда прирожденнаго оригинальнаго таланта противъ ученаго педантизма. Въ общемъ она не поколебала развѣ усвоенныхъ принциповъ.

О *схоластической* критикѣ Сумарокова мы знаемъ: здѣсь онъ въ полномъ смыслѣ «слабое дитя чужихъ уроковъ», но въ *стилистической* области онъ такой же положительный и самостоятельный дѣятель, какъ и Ломоносовъ. Тредьяковскій, безприхвально осмѣянный авторъ *Телемахида*, имѣетъ также полное право на почетное мѣсто въ публицистикѣ о языкѣ. До такой степени вопросъ былъ жизненнымъ и значительнымъ!

## XXII.

Пушкинъ очень презрительно отзывался о Сумароковѣ и старался возстановить литературную честь Тредьяковскаго. Это возстановленіе вполне основательно, но уничтоженіе Сумарокова, несомнѣнно, пристрастно.

На великаго поэта, вѣроятно, оказали сильное вліяніе историческія свѣдѣнія о личностяхъ и судьбѣ двухъ старыхъ пѣтъ. Исторія Тредьяковскаго съ Волинскимъ, подробно донедшая до потошства, одинъ изъ самыхъ возмутительныхъ эпизодовъ общественнаго варварства добраго стараго времени. Она, при какихъ угодно условіяхъ, могла вызвать сочувствіе къ пострадавшему писателю и покрыть собой всѣ нравственныя недочеты въ личности Тредьяковскаго.

Сумароковъ, напротивъ, самъ могъ обидѣть кого угодно, открыто—печатно и устно—станилъ себя и свой талантъ на недостижимую высоту, не тѣ... юпулярности рядомъ съ своей славой, и Пушкинъ имѣлъ право назвать его «завистливый гордецъ»... Въ ре... долженъ столько же потешать въ глазахъ позднѣе... сколько выигрываетъ у со-временниковъ своимъ пр... удачливостью.

Но и у Сумарокова есть свои заслуги, и даже очень опредѣленные.

Старая критика не знаетъ болѣе горячаго защитника русскаго языка и болѣе безпощаднаго врага русскіхъ французовъ. Въ восторгахъ онъ доходитъ до полнаго старокірїя, очевидно, по своей стремительности, даже цѣло отдавая себѣ отчетъ въ своемъ идеалѣ.

Прекрасенъ нашъ языкъ единой стариной,  
Но глушостью явцовъ онъ нынѣ сталъ пиней.  
И ежели отъ нхъ онъ узъ не освободится,  
Такъ скоро никуда онъ болѣе не годится.

Общественная сатира идетъ у Сумарокова рядомъ съ стилистической критикой. Въ *Притчѣ о подъяческой дочери* говорится:

По благородному она всю рѣчь варила —  
Новоманерными словами говорила...

Личный врагъ автора псякїй, кто

Французскимъ языкомъ въ рѣчь русскую плыветъ.

Или.

Кто русско золото французской мѣдью мѣдитъ,  
Ругаетъ свой языкъ и по-французски бредитъ.

Сумароковъ не забываетъ бросить камень и въ родителей, не обучающихъ дѣтей родному языку.

Страсть къ чистотѣ русскоі рѣчи доходитъ у Сумарокова до фанатизма. Онъ готовъ возставать вообще противъ введенія «чужихъ» словъ въ русскій языкъ, напримѣръ, даже такихъ, какъ *лама*, *принцъ*, *толкъ*, *сунъ*, *фруктъ*. Слова изобрѣтенныя

Тредьяковскимъ и навсегда оставшіяся въ языкѣ въ родѣ *обна-родовать, преслѣдовать, предметъ*, отвергаются Сумароковымъ просто изъ-за новизны.

Подобная прямолинейность, конечно, нецѣлесообразна, но въ высшей степени поучительная мучительнѣйшая забота современника Расина и Вольтера объ отечественномъ языкѣ. Въ зависимости отъ личнаго характера, у Сумарокова эта забота выразилась въ самыхъ публицистическихъ формахъ—сатиры и притчи.

Критика Тредьяковскаго обширнѣе и оригинальнѣе патристическаго гнѣва Сумарокова. Она даже въ *схоластической* области сказала свое слово, очень неумѣлое и невразумительное по формѣ, но дѣльное и поучительное по смыслу.

У Тредьяковскаго, конечно, не могло быть достаточно ни смѣлости, ни художественнаго чувства, чтобы возстать противъ классической теоріи, но ему удалось высказать нѣсколько весьма любопытныхъ общихъ соображеній по эстетикѣ. Они, вмѣстѣ съ драматической личной исторіей Тредьяковскаго, должны были произвести впечатлѣніе на Пушкина.

Поэтъ счелъ нужнымъ вступить за память автора *Телмандиды* предъ Лажечниковымъ, не пощадившимъ Тредьяковскаго въ романѣ *Ледяной домъ*. «Въ дѣлѣ Волинскаго,—писалъ Пушкинъ,—играетъ онъ лицо мученика...» «Вы оскорбляете человека, достойнаго во многихъ отношеніяхъ уваженія и благодарности нашей». Естественно, Пушкинъ съ особенной готовностью заявилъ, что Тредьяковскій—«однимъ понимающій свое дѣло».

И у поэта, помимо чувствительныхъ побужденій, были и совершенно положительныя основанія для такого отзыва.

Нельзя, конечно, искать у Тредьяковскаго безусловно ясныхъ представленій о процессѣ творчества и о смыслѣ творческой работы. Классицизмъ и его держалъ въ такомъ же вѣрномъ подданствѣ, какъ и его богѣ даровитыхъ современниковъ. Но иногда сквозь запутанную и крайне неуклюжую рѣчь профессора элоквиенціи мелькаютъ искры настоящей эстетической правды.

Напримѣръ, его понятіе о комедіи для своего времени—новость и образецъ критической принципиальности. Если бы идею Тредьяковскаго примѣнить на практикѣ, комическому таланту Сумарокова не осталось бы и минуты жизни.

Тредьяковскій пишетъ:

«Осмѣхаемые cadaго вѣка правы и худая сторона дѣйствій народныхъ есть самое внутреннее и составляющее комедію. Смѣхъ

ное есть самое существо комедіи. Впрочемъ, есть смѣшное въ словахъ и есть смѣшное въ вещахъ. Смѣшное искусство, кое желается на театрѣ, долженствуетъ быть копіею съ онаго смѣшнаго, которое есть въ натурѣ. И комедія будетъ ни къ чему годная, ежели въ ней не можно узнаться и не видно тѣхъ поступковъ, кои показываютъ люди, живущіе совокупно. Она всегда должна держаться натуры и не отходить отъ нея никогда».

Положимъ, это разсужденіе сильно напоминаетъ извѣстныя намъ молюеровскія идеи о комедіи и могло, слѣдовательно, попасть на страницы Тредьяковскаго. Но для русскаго разумный наборъ чужихъ ученій и притязательности, не пальчиковости и притязательности, не

*Критика на школу жеманнаго вѣка высшій идеалъ—вмостительное отношеніе жокъ, при всей своей заставлятъ носить съ авторитетомъ Вольтера, плохо понятымъ и не провереннымъ. У Тредьяковского нѣтъ этого безусловнаго рабства, по крайней мѣрѣ, критической мысли предъ однимъ какимъ-либо иноземнымъ вдохновителемъ.*

Предъ нами очень рѣдкій примѣръ. Тредьяковскій, разумеется, не посягаетъ на поэтическіе таланты Буало и откровенно признаетъ себя неискуснымъ подражателемъ французскаго автора. Сравнивая оду Буало съ своею собственною, Тредьяковскій мирится на очень скромномъ успѣхѣ: «довольно съ меня и того, что я нѣсколько возмогъ оной послѣдовать».

Но столь почтительныя и робкія чувства къ учителю и образцу не помѣшали Тредьяковскому повторить идею Платона о «маніи, которая внушается поэтамъ музами» и точно установить разницу между поэтическимъ вдохновеннымъ талантомъ и ремесленническимъ искусствомъ: «иное быть пѣнтомъ, а иное стихи слагать».

«Манія» врядъ ли заслужила бы одобреніе французскаго автора пѣтики, отождествлявшаго свободное вдохновеніе поэта съ безуміемъ—отнюдь не въ поэтическомъ смыслѣ слова.

Но едва ли не самое сильное право Тредьяковскаго на пушкинскую защиту заключается въ стилистической критикѣ.

Идея о тоническомъ стихосложеніи не исключительное достояніе Тредьяковскаго. Что же касается осуществленія теоріи, то нечего и разсуждать о правахъ на первенство Ломоносова и Тредьяковскаго. Достаточно одного примѣра. Въ 1734 году Тредьяковскій сочинилъ оду на взятіе Гданска. Здѣсь, между прочимъ, такое обращеніе къ лири:

Воспѣвай же лира пѣснь сладку  
Анну то-есть благополучну  
Къ нищему всѣхъ враговъ упадку,  
Къ несчастію въ вѣки тѣмъ скучну.

Всего пять лѣтъ спустя появилась первая ода Ломоносова. Она начиналась такими стихами:

Восторгъ внезапный умъ плѣнилъ.  
Ведеть на верхъ горы высокой,  
Гдѣ вѣтръ въ лѣсахъ шумѣть явилъ,  
Въ долину тишины глубокой...

Всѣмъ, даже современникамъ было очевидно, на чьей сторонѣ побѣда. Но теорія Тредьяковскаго отъ его практическихъ неудачъ не теряетъ значенія, и особенно — основанія этой теоріи.

Профессоръ самой неконаемой науки, примѣрнѣйшій кабинетный книгоѣдъ, сумѣлъ почувствовать красоту и силу народной поэзіи. Правда, это чувство, повидимому, не проникало слишкомъ глубоко и Тредьяковскій воспользовался только внѣшней стороною народного творчества. Но послушайте его отзывъ о ней, и не забудьте, въ какую эпоху восхвалялась поэзія простого народа:

«Сладчайшее, пріятнѣйшее и правильнѣйшее разнообразныхъ ея стопъ, нежели иногда греческихъ и латинскихъ, паденіе подало мнѣ непогрѣшительное руководство къ введенію тоническихъ стопъ».

Очевидно, не отъ недостатка добрыхъ намѣреній и правильныхъ идей зависѣла жалкая участь Тредьяковскаго и единственная въ исторіи смѣхотворная роль ученаго и поэта. *По существу*—Тредьяковскій ясно представлялъ значеніе прирожденнаго поэтического чувства, цѣнилъ по достоинству свободное художественное творчество, *по формѣ*—призналъ руководствомъ чисто-національную поэзію, т. е. дѣйствительно живой источникъ всего позднѣйшаго литературнаго развитія: всѣ данныя для прочной и усѣбной дѣятельности! Но у столь основательнаго теоретика и помину не было не только о «маніи», т. е. творческомъ геніи, а просто о литературныхъ способностяхъ. И въ силу исконнаго закона человеческого самолюбія, у Тредьяковскаго, кажется, даже пропадалъ и здравый смыслъ, когда ему приходилось судить свои собственные поэтическія созданія.

Напримѣръ, теоретически Тредьяковскій не переставалъ возставать противъ малѣйшей порчи русской рѣчи, противъ барбаризмовъ, солецизмовъ, противъ насилія надъ смысломъ во имя рифмы, требовалъ, «чтобы рифма звенѣла безъ малѣйшаго повреж-

денія смыслу». Во имя того же принципа и, что еще замѣчательнѣе, во имя естественности Тредьяковскій высказывалъ въ полномъ смыслѣ революціонное правило для нашего XVIII-го вѣка: «драматическому стихотворенію надлежитъ быть въ теченіи слова всеконечно сходственну съ естествомъ». И на этомъ основаніи въ драмѣ не должно быть примѣ: предвосхищеніе пушкинской реформы!...

Но практически всѣ истины превращались въ поэзію, послужившую впоследствии въ рукахъ Екатерины однимъ изъ наказаній для провинившихся придворныхъ. Судьба, действительно, трагическая: знать и не уметь сдѣлать, понимать и не уметь доказать!..

Мы до сихъ поръ плахиали положительные результаты ранней критики и оставалъ въ области идей и теорій. Но критика всѣмъ эти ограничилась. Публицистическій характеръ даже снциповъ, развернулся неудержимо рѣзко въ личной а составляетъ неотъемлемую и во многихъ отношеніяхъ занималъ ную часть въ исторіи русской критической мысли. Именно она особенно ярко отразила общественное положеніе литературы и ея идейную силу. Это настоящая война, съ полной откровенностью обнаружившая таланты и характеры полководцевъ.

### XXIII.

Изъ всѣхъ литературныхъ произведеній Ломоносова для современныхъ читателей одна ли не самое поучительное одно изъ его писемъ къ Шувалову. Одъ Ломоносова въ настоящее время никто не станетъ читать для эстетическаго удовольствія, въ критическихъ трактатахъ также нельзя искать непосредственной практической пользы.

Совершенно иное значеніе письма. Въ нѣсколькихъ десяткахъ строкъ трудно представить болѣе краснорѣчивую жанровую картину изъ исторіи литературы и вообще правопъ и просвѣщенія извѣстной эпохи, и при этомъ бросать въ высшей степени яркій свѣтъ на самихъ героевъ.

Мы позволимъ себѣ напомнить этотъ удивительный документъ читателямъ.

Письмо вызвано происшествіемъ, достаточно яснымъ изъ разсказа Ломоносова.

«Никто въ жизни меня больше не изобидѣлъ,—писалъ онъ

Шувалову,—какъ ваше высокопревосходительство. Призвали меня сегодня къ себѣ:—я думалъ, можетъ быть, какое-нибудь обрадованіе будетъ по моимъ справедливымъ прошеніямъ. Вы меня отозвали и тѣмъ поманили. Вдругъ слышу: Помиришь съ Сумароковымъ! то-есть сдѣлай смѣхъ и позоръ; свяжись съ такимъ человекомъ, отъ коего всѣ бѣгаютъ, и вы сами нерады. Свяжись съ тѣмъ человекомъ, который ничего другаго не говоритъ, какъ только всѣхъ бранить, себя хвалить и бѣдное свое рюмачество выше всего человѣческаго знанія ставить; Тауберта и Миллера для того только бранить, что не печатаютъ его сочиненій, а не ради общей пользы. Я забываю всѣ его озлобленія, и мѣшать не хочу никому образомъ, и Богъ мнѣ не далъ злобнаго сердца. Только дружитья и обходиться съ нимъ никому образомъ не могу... Не хотя васъ оскорбить отказомъ при многихъ кавалерахъ, показалъ я вамъ послушаніе; только васъ увѣряю, что въ послѣдній разъ и ежели не смотря на мое усердіе будете гнѣваться, я полагаюсь на помощь Всевышняго, который мнѣ былъ въ жизни защитникъ, и никогда не оставилъ, когда я пролилъ передъ нимъ слезы моея справедливости. Ваше высокопревосходительство, имѣя нынѣ случай служить отечеству вспоможеніемъ въ наукахъ, можете лучшія дѣла производить, нежели меня мирить съ Сумароковымъ... Буде онъ человекъ знающій, искусной, пускай дѣлаетъ пользу отечеству, я по моему малому таланту также готовъ стараться. А съ такимъ человекомъ обхожденія имѣть не могу и не хочу, который всѣ прочія знанія позорилъ, которыхъ и духу не смыслить. И сіе есть истинное мое мнѣніе, кое безъ всякія страсти нынѣ вамъ предлагаю. Не токмо у стола знатныхъ господъ, или у какихъ земныхъ владѣтелей, дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мнѣ далъ смыслъ, пока развѣ выниметь».

Таковы личныя отношенія между двумя первенствующими писателями эпохи и таково ихъ положеніе предъ знатыми господами! Ломоносовъ не могъ не поступиться своимъ достоинствомъ, но и въ немъ, очевидно, заговорила кровь сердца: слишкомъ опредѣленный смыслъ имѣла сцена, устроенная Шуваловымъ!

Сводить литераторовъ для мира или для ссоры—это такое рѣдкое удовольствіе, не уступающее дракѣ шутовъ! Потѣха не утратитъ привлекательности для благородныхъ меценатовъ и много лѣтъ спустя послѣ Ломоносова и Сумарокова. Еще Державинъ, самъ пѣвецъ Фелицы, будетъ рассказывать, какъ фаворитъ Зубовъ

для веселаго зрѣлища старался натравливать на него Елагина и тотъ въ глаза издѣвался надъ его одами, находя ихъ грубыми и бессмысленными.

И эти сцены отнюдь не исключительное изобрѣтеніе русской жизни: онѣ перешли къ намъ изъ Европы одновременно съ искусствомъ Расина.

Верховный законодатель европейской и русской литературы могъ служить образцомъ по части увеселенія земныхъ владѣтелей. Буало, подобно нашему Фонвизину, умѣлъ превосходно изображать въ смѣхотворномъ видѣ своихъ знакомыхъ. Этотъ талантъ создалъ ему популярность въ хъ салонахъ и однажды Буало удостоился позавидѣть XIV. Король потребовалъ, чтобы и Мольеръ, здѣшній, былъ изображенъ ловкимъ артистомъ.

Правда, Буало скопировалъ много искусства и бросилъ его, но поучительнѣе запросъ на подобныя способности и готовность писателей удовлетворять ему.

Очевидно, французская дѣятельность безпрестанно могла давать Мольеру мотивы для его сценъ съ педантами. Трисотены и Вадіусы—живыя фигуры, онѣ даже и исторически соотвѣтствуютъ подлиннымъ личностямъ. На каждомъ шагѣ въ преціозномъ салонѣ можно было натолкнуться на оригинальную полемику. Вѣдѣвая судьба пѣнты зависѣла отъ благосклонности знатнаго господина и непростъ о побѣдѣ надъ соперникомъ становился вопросомъ жизни и смерти!

Знатные господа не пренебрегали выѣшиваться въ личные счета литераторовъ и весьма часто разжигали ихъ съ величайшимъ усердіемъ. Известно, наиримѣръ, генеральное сраженіе, устроенное салонными дамами между Расиномъ и Прадономъ.

Расинъ имѣлъ несчастье не угодить герцогу Неверу и герцогинѣ Бульонской и они рѣшили натравить на него довольно бездарнаго рюмоплета, въ литературномъ отношеніи безсильнаго, но за него стоялъ «свѣтъ»! Послѣ перваго представленія расиновской «Федры» Прадону поручили написать трагедію на ту же тему. Приказаніе исполнено, пьеса принята на сцену, требуется обезпечить успѣхъ. Это дѣлается очень просто: скупаются билеты на шесть первыхъ представленій, и прадоновская «Федра» торжествуетъ. Нѣкая знатная дама сочиняетъ даже сонетъ противъ Расина...

На поэта, истиннаго сына меценатской эпохи, приключеніе производить потрясающее впечатлѣніе: онъ рѣшается лучше со-



всѣмъ не писать для театра, чѣмъ вести борьбу съ коалиціей литераторовъ и герцоговъ.

Въ другой разъ роль герцоговъ и герцогинь играютъ самъ довикъ XIV. Громадный успѣхъ *Школы женщинъ* вызываетъ вистъ сатириковъ и драматурговъ. Одинъ изъ нихъ сочиняетъ памфлетъ, и король поручаетъ Мольеру отвѣчать на нападеніе соответствующимъ тономъ.

Этотъ порядокъ не прекращается вплоть до конца XVIII вѣка.

Именно этому вѣку приписываютъ искреннія увлеченія «свѣтской философіей» и либеральной литературой. Именно эта эпоха славы просвѣщенными салонами и, будто бы, необычайно цивилизованными хозяйками. Слава въ дѣйствительности страдаетъ болѣе изъязненными: и на солнцѣ дамскаго просвѣщенія и аристократическаго либерализма очень много безусловно темныхъ пятенъ.

Писателямъ очень часто говорили комплименты, ихъ портретами и бюстами украшали туалетные столики, брошюрами и книжками наполняли кабинеты и гостиныя, но всѣ эти Дидро, Даламберы, Вольтеры неизмѣнно оставались артистами, а ихъ дѣятельность—интереснымъ спектаклемъ. Такъ именно и называли блудливые читатели шумъ, поднимаемый Вольтеромъ и *Энциклопедіей*.

Но вѣдь во всякомъ спектаклѣ главный интересъ въ сценѣ, въ комизмѣ, въ живомъ ходѣ дѣйствія. Вольтеръ и его соратники, конечно, неизмѣримо талантливые Буало и Расина тѣмъ забавнѣе устроить схватку между философами и другими бойкими литераторами!

И схватка устраивается не одна, а цѣлый рядъ вплоть до самой революціи.

Во главѣ застрѣльщиковъ идутъ все тѣ же знатные господа и даже не совсѣмъ знатные, по происхожденію, по крайней мѣрѣ, но по своей меценатской роли въ современной литературѣ. Людеффанъ, напримѣръ, по отзывамъ современниковъ, едва ли не самая интересная и оригинальная салонная любительница философіи, остроумнѣйшая спорщица съ самими энциклопедистами, усерднѣйшая корреспондентка Вольтера...

Все это—культура, но дальше начинается барство. Переживаетъ Вольтеромъ не мѣшаетъ дамѣ оказывать вниманіе жестокому литературному и личному врагу фернейскаго патріарха Фрерону, читать его журналъ *Литературный годъ* и даже возмущаться его выходками противъ Вольтера... И въ результатѣ в

этого та же г-жа Дюдеффант сообщает Вольтеру о небывалых  
кознях энциклопедистов против него...

Разыт это не традиционная роль праздных меценатов в среде литераторов, — несомненно интересного класса развлекателей.

Но г-жа Дюдефанъ сравнительно невинное явленіе.

Тотъ же Даламбергъ, сообщающій продолженіи этой дамы, пишетъ Вольтеру: «Версаль кишитъ Палиссо мужскаго и женскаго пола».

Палисseo—одинъ изъ главнѣйшихъ враговъ энциклопедистовъ, авторъ многочисленныхъ сатиръ на философію и философовъ. И вотъ онъ-то находитъ при дворѣ покровителей и даже сотрудниковъ.

Загадомый другъ и  
подзадориваетъ сатири-  
ческыя пьесы на сцену, органи-  
зуетъ одновременно и подстре-  
каетъ литерата, министра Шуазэля  
Палиссо, проводить его  
и вообще играть роли  
инаяющаяся барина.

Такое же покровительство находить у Шуазёля и Фрероя.

Вольтеру становится трудно считаться съ этими фактами: нѣдь Шуазаль открыто состоитъ съ ними въ прекрасныхъ отношеніяхъ! Чѣмъ объяснить двусудніе министра?

Любопытно, какая мысль приходит на ум остроумнейшему и находчивейшему писателю. Пузель слинкомъ, большой баринъ—*trop grand seigneur*, а большіе господа на дѣла частныхъ лицъ смотрятъ, какъ на «грызню собакъ».

Чувствовалъ ли Вольтеръ, несъ горькій смыслъ своего объясненія или ему ничего не оставалось, какъ рѣзко охарактеризовать вѣковой фактъ, скрѣпя сердце опредѣлить культурную сущность барскихъ литературныхъ интересовъ?

Но многиямъ знатымъ господамъ мало казалось подстрекательства, они не гнушались принимать непосредственное участіе въ самой «грызни». Одинъ изъ плодовъ салонной сатирической фантазіи увѣковѣченъ исторіей: сцена изъ комедіи Палиссо—*Философия*.

Сцена любопытна не только для французской литературы, но и вообще для всякой—известного периода, и особенно для русской. Сцена показывает, къ какимъ пріемамъ прибѣгали знатные критики и на какой, слѣдовательно, путь толкали литературную полемику.

Происходить бесѣда между философомъ и его слугою. Философъ проповѣдуетъ полное презрѣніе къ законамъ. Слуга спрашиваетъ:

— Следовательно, все дозволено?

— За исключеніемъ дѣйствій, предныхъ вамъ и вашимъ друзьямъ... Все дѣло въ томъ, чтобы быть счастливымъ, а не какими путемъ.—это все равно.

Слуга, наслушавшись подобныхъ правилъ, собирается обобразовать своего господина. На гнѣвный окрикъ философа онъ откланивается.

— Личный интересъ—это скрытый принципъ, вдохновляющій насъ и управляющій всеми существами.

— Какъ, измѣнникъ, обокрасть меня!—воскликаетъ господинъ.

— Нѣтъ,—оправдывается его ученикъ.—Я пользуюсь своимъ правомъ. Всякая собственность—общее достояніе.

Вся эта бесѣда, имѣвшая въ виду уличить энциклопедическую партію въ самыхъ низменныхъ покушеніяхъ на личную и общественную нравственность, была внушена автору одной изъ литературныхъ дамъ, принцессой Робеккъ.

Глѣтворогѣйшимъ фактомъ по всѣхъ этихъ исторіяхъ оказалось поощреніе со стороны сильныхъ особъ—сатиры на личности. И вообще цензура въ теченіе всего XVIII вѣка крайне строга, болѣе чѣмъ частью безпощадна ко всѣмъ критическимъ поползновеніямъ литературы. Но она немедленно становится на сторону критиковъ, если она превращается въ пасквиль на кого-либо изъ новыхъ писателей.

Нравственное вліяніе такой политики на публику и писателей было очевидно. Она гораздо болѣе унижала и часто опозоряла литературу, чѣмъ какіе угодно рабскіе инстинкты каждаго литератора отдѣльно.

### XXIII.

Въ то время, когда русской критикѣ приходилось переживать самый трудный младенческій періодъ, когда она болѣе всего нуждалась въ добрыхъ внушеніяхъ и руководствахъ, во французской литературѣ совершались самая непоучительная зрѣлища.

Возьмемъ нѣсколько сообщеній современниковъ. Всѣ они относятся къ началу шестидесятыхъ годовъ, т. е. ко времени, когда западные отголоски становились у насъ особенно громкими и обильными.

«Въ настоящее время,—пишетъ одинъ очевидецъ,—Парижъ занятъ исключительно литературными распрями. Достаточно обладать заслугами въ наукѣ и искусствахъ, чтобы стать добычей

самой ядовитой сатиры. Личности, наиболее уважаемыя по талантам и безупречной жизни, оказываются первыми жертвами этой ненависти» \*).

Съ этого времени, прибавляетъ другой свидѣтель, сатиры на личности входятъ въ моду съ поразительной быстротой \*\*).

Фактъ, вызывающій глубокое сожалѣніе у всѣхъ, кому дорога честь французской литературы.

Они обращаются съ упресками къ писателямъ, истощающимъ силы въ междоусобной войнѣ, между тѣмъ какъ даже въ Китаѣ люди науки единодушно служатъ родинѣ. Слышатся жалобы на цензуру и правительство, допускающихъ позорить гражданъ на сценѣ Корнелей \*\*\*).

Но соображенія о Корнеляхъ, очевидно, направлялись не по адресу. Пьесы Палиссо приходилось давать въ театрѣ при усиленной стражѣ полиціи, публика часто производила настоящіе скандалы, подвергалась арестамъ, и литература такимъ путемъ все больше извращалась и унижалась совершенно нелитературными героями и подвигами. Такъ продолжалось въ теченіе всего философскаго вѣка.

Мы должны помнить, кто былъ ближайшей публикой писателей этой эпохи и на сколько писатель и его трудъ зависѣли отъ публики. Мы не должны также упускать изъ виду громадной силы правительственныхъ и цензурныхъ воздѣйствій на литературные нравы—именно въ то время, когда умственная дѣятельность менѣе всего могла похвалиться нравственной независимостью и достоинствомъ общественнаго положенія. Мы поймемъ тогда смыслъ изложенныхъ явленій и сумѣемъ безпристрастно оцѣнить презрѣнныя, часто позорныя страницы литературной исторіи во Франціи и у насъ.

Писателю требовалось великое напряженіе самосознанія, чтобы спокойно и достойно оцѣнить свое писательское дѣло. Эта оцѣнка дается только при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, когда личное самолюбіе и человѣческая личность не подвергаются униженіямъ ежечасно, при малѣйшемъ проявленіи чисто-авторскихъ притязаній.

Извѣстенъ психологическій законъ: чѣмъ больше человѣка несправедливо, насильственно оскорбляютъ, тѣмъ онъ мучительнѣе

\*) Favart. *Mémoires*. I, 37.

\*\*) Grimm. *Correspondance littéraire*. IV, 276.

\*\*\* ) Coyer. *Oeuvres*. Londres 1765, I, 90.—I. Grimm. *Ib.* IV, 240.

усиливается при всякомъ случаѣ приподнять себя, набавить цѣны именно тому, что менѣе всего цѣнится.

Великая истина заключена въ гоголевскихъ *Запискахъ сумасшедшаго*: именно одинъ изъ ничтожнѣйшихъ пасынковъ общества долженъ заботѣть *маніей величія*. Обиды, переполнившія его душу болью и горечью, разрываются страннымъ взрывомъ—въ противоположную сторону. Это—безуміе, но въ жизни безпрестанно возвращается тотъ же актъ только не въ такихъ рѣзкихъ формахъ. Забитые и истерзанные люди такъ часто отводятъ душу излюзіяхъ, для нихъ неизмѣримо болѣе цѣнныхъ, чѣмъ дѣйствительность,—въ вѣчномъ повтореніи ролей горе-богатыря и рыцаря чести!

На подобное положеніе осуждены и писатели варварскаго ментальскаго вѣка.

Психологія ихъ прекрасно выясняется изъ одного эпизода самымъ жалкимъ героемъ жестокихъ временъ, съ Тредьяковскимъ. Эпизодъ рассказанъ имъ самимъ, и здѣсь поучительна всякая подробность.

Академикъ Миллеръ, издатель журнала *Ежемесячныя сочиненія*, отказался напечатать нѣкоторыя произведенія Тредьяковскаго въ академическомъ изданіи. Обида—вопіющая! Вѣдь Тредьяковскій такой же членъ академіи, какъ и Миллеръ.

Обиженный обратился за объясненіями.

«По какой бы онъ власти», говоритъ Тредьяковскій, «и по чьей повелѣнію лишаетъ меня моего законнаго права тѣмъ, что мои стихи не принимаетъ отъ меня въ книжки, и апробованныхъ не печатаетъ? Но онъ мнѣ на то съ презрѣніемъ, какъ будто догадываемъ уже и заслуженнымъ, отвѣтствовалъ при всемъ же собраніи, что не долженъ мнѣ ничего сказать, сколько бѣ я его ни спрашивалъ. Гдѣ жъ то узаконено, чтобъ члену секретарь не долженъ былъ ничего сказывать? Трудно бѣ терпѣть и великодушному человеку, бывшему на моемъ мѣстѣ. Однако я извѣсть замолчалъ, внутри раздирался на части» \*).

Всего нѣсколько наивныхъ строкъ, и весь авторъ XVIII вѣка цѣликомъ! Необходимость молчать, личная приниженность, безысходныя муки самолюбія... Легко представить, съ какою стремительностью воспользуется этотъ человекъ случаемъ, когда

\*) П. Пекарскій. *Редакторъ, сотрудники и цензура въ русскомъ журнале 1755—1764 годовъ*. Приложение къ XII-му тому «Записокъ Императорской академіи наукъ». Спб. 1867.

наконецъ, можно не только «внутри» раздираться на части! А такіе случаи возможны съ такими же официально-безпраными людьми, какъ самъ оскорбленный, т. е. съ братьями-писателями. Здѣсь уже не будетъ ни удержу, ни пощады, тѣмъ болѣе, что и на другой сторонѣ окажется столько же накопленный желчи и мучительно-сдавленного самолюбія.

Отсюда, прѣжде всего, чисто болѣзненное, будто гипнотически-внушенное самохвальство. Тредьяковскій и Сумароковъ отнюдь люди не глупые, а между тѣмъ стоить имъ начать говорить о своихъ заслугахъ и принципахъ, немольно припоминается По-  
 о *Телемахидой*, но еще ори-  
 . поэтическихъ способностей,  
 я заявляя, что «въ прински-  
 нгзя ногтей и безъ пораженія  
 ладонью чела».

Извѣстна гордость  
 гивальнѣе его общія  
 Онъ «безъ вертопрашнаго тщеса»  
 ваніи риемъ приобрьтъ навикъ, не  
 ладонью чела».

И это говорилось о такихъ, напримѣръ, граціозныхъ стансахъ:

Плюнь на скуку  
 Морску скуку  
 Держись черней и знай штуку!

Или о такомъ лиризмѣ:

О лѣто, ты лѣто горяче  
 Мухами обильно паче:  
 Только тѣмъ ты, лѣто, не любовно,  
 Что не грибовно...

Но вѣдь это тотъ самый авторъ, который нещадно и публично былъ избитъ и рукопашно, и палками и молилъ власть о своемъ «безчестьи и увѣчьи!..» Надо же было дать исходъ наболѣвшей человѣческой душѣ!

Сумароковъ не только не отставалъ отъ Тредьяковского, а явилъ даже, пожалуй, единственный въ своемъ родѣ примѣръ маніи величія при полномъ, повидимому, здравомъ разсудкѣ и твердой памяти.

Мы уже слышали отъ Ложоносона, чего стоило послушать Сумарокова на счетъ его «приомачества». Печатныя изліянія писателя переполнены тѣмъ же нестерпимымъ охианомъ собственному гевію, и, разумѣется, пламя на этомъ алтарѣ разгоралось тѣмъ ярче, чѣмъ энергичнѣе вѣншвіи посягательства на талантъ и славу драматурга.

«Мнѣ хвалу сплететь Европа и потомки», безъ всякаго сму-

щенія возглашалъ творецъ *Дмитрія Самозванца* въ отвѣтъ на неблагодарность публики и оскорбленія властей. Если Россія не желала оказывать почета своему гениальному гражданину, онъ во всеуслышаніе заявитъ: «я Россіи сдѣлалъ честь своими сочиненіями». Если правительство допускаетъ великаго писателя терпѣть нужду, онъ именно по этому поводу поставитъ свое перо превыше всѣхъ матеріальныхъ наградъ.

Теперь представьте хотя бы даже легкую стычку между подобными самолюбіями, сведите на аренѣ Тредьяковскихъ, Сумароковыхъ и даже Ломоносовыхъ, какое зрѣлище представится вамъ?

Ломоносовъ прямо просилъ «у Господа», чтобы ему «не знаться съ Сумароковымъ», и все изъ-за пререканій, что выше и значительнѣе: «знанія» или «риномачество», т. е. дѣятельность драматурга или перваго русскаго ученаго! И какого! Ломоносовъ могъ разсказать о себѣ совершенно легендарную исторію, представить всѣмъ завистникамъ и врагамъ подлинное свое подвижничество ради науки и мысли!

Онъ не могъ не гордиться своими *дѣйствительными* заслугами и совершенно послѣдовательно не цѣнить въ себѣ русской исключительно даровитой натуры.

Естественно, всякое посягательство со стороны соотечественника на «знанія», а иностранца на русское имя поднимали всю кровь въ сердцѣ Ломоносова, и тогда горе и Сумарокову, и нѣмцамъ-академикамъ!..

И предъ нами развертывается рядъ изумительныхъ сценъ. На первый взглядъ онѣ могутъ произвести впечатлѣніе крайне жалкое и унижительное для памяти нашихъ первыхъ критиковъ. И впечатлѣніе будетъ законно. Но только мы должны помнить, что отнюдь не божье достойныя сцены разыгрывались и среди нашихъ учителей въ неизмѣримо болѣе культурномъ обществѣ, чѣмъ Волинскіе и Зубовы.

Мольеръ откровенно вывелъ аббата Котэна въ *Ученыхъ женщинахъ* и достигъ чрезвычайнаго эффекта на публику и свою жертву. Тотъ же Мольеръ въ *Версальскомъ экспромптѣ* назвалъ по имени своего литературнаго врага, Бурсо—«автора безъ репутаціи», т. е. полное ничтожество.

А Буало?

Прежде всего, онъ не выполнилъ своего публичнаго обѣщанія, безусловно обязательнаго для всякаго писателя и безъ торже-

ственныхъ заявленій,—не привлечь своихъ критиковъ къ иному суду, кромя «трибунала музъ». Относительно того же Бурсо оиъ не вытерпѣлъ: ходатайствовалъ предъ королею запретить представленіе сатирической комедіи своего врага на сценѣ.

Наковецъ, Вольтеръ.

«Патріархъ», выведенный изъ терниахъ нападокъ Фрерона, написалъ комедію *Шошланюка*. Одному изъ героевъ предназначена самая позорная роль: это—продажный критикъ, политическій доносчикъ, кругомъ ., пообще, по отзыву героини пьесы: «самый безстыднѣйшій подлый паутъ во всѣхъ трехъ королевствахъ» кусаютъ по инстинкту отваги,

И этот герон по *lon—lécà*, вместо подлинного *l'éron!*

11 комедія появилася на сцені!...

«Ни одно произведение Вольтера не было принято съ такимъ восторгомъ. Каждому слову аплодировали и ногами, и руками, въ особенности всему, что относилось къ Фрерону... Г-жа Фреронъ, занявшая мѣсто въ первомъ ряду амфитеатра, чтобы своей красивой фигурой поощрять сторонниковъ мужа, едва не упала въ обморокъ. Одинъ мой знакомый, сидѣвшій рядомъ съ ней, сказалъ: «Не безпокойтесь, сударыня, личность Вэсна несколько не похожа на нашего мужа. М-гъ Фреронъ не клеветникъ, и не доносчикъ». «Ахъ,—воскликнула она наивно,—что вы говорите, а его всегда признають»...

Въ какомъ направленіи произошла бы эта работа, показываетъ *Avertissement—Предупомлгніе*, написанное авторомъ къ изданію своего произведенія.

\*; *L'Erosaise*, Acte II, 1.



и приводилось письмо какого-то лорда, убеждавшее автора подвергнуть общественному суду всѣхъ «подлыхъ гонителей литературы» и «клеветниковъ добродѣтели», тайно интригующихъ противъ философовъ.

Вольтеръ не пощадилъ даже супруги Фрерона. Она, будто бы, послѣ перваго представленія *Шотландки* поцѣловала автора (онъ былъ запячканъ.—*garbouillé*—двумя поцѣлуями) и поблагодарила за сатиру на ея мужа.

Раздраженіе Вольтера не ослабѣвало до глубокой старости. Во время болѣзни онъ писалъ, что согласенъ идти въ чистилище, если только Фрерона пошлютъ въ адъ.

Такова одна изъ многихъ траги-комедій литературной французской исторіи XVIII-го вѣка!

Среди истинныхъ почитателей Вольтера нашлось, конечно, не мало противниковъ подобной полемики. Они сожалѣли, что Вольтеръ унизился до пасквиля на недостойнаго врага \*). Но патриархъ, очевидно, держался другого взгляда и, несомнѣнно, своимъ авторитетомъ и успѣхомъ помогалъ рости полемикѣ, оскорбительной для литературы.

Настъ послѣ этого не изумять отечественныя чернильныя битвы. Несомнѣнно, по формѣ онѣ должны быть нерѣдко грубѣе французскихъ образцовъ, по сущности одна и та же. И тамъ, и здѣсь писатели, въ силу извѣстныхъ культурныхъ условій, независимо отъ личныхъ самолюбій и воинственного азарта, окунаются въ бездну мелочей, путаются въ личныхъ счетахъ и по временамъ дѣйствительно изображаютъ битву шутовъ и педантовъ.

## XXIV.

Мы видѣли, какъ споры о языкѣ и грамматикѣ могли приводить нашихъ раннихъ критиковъ къ вопросамъ о національности и даже народности. Это—высшая публицистика, *templa serena*—ясныя небеса нашей ранней критики.

Но тѣ же самые споры неминуемо должны коснуться и другихъ мотивовъ, не столь широкихъ и возвышенныхъ. На новой нивѣ слишкомъ много дѣла, и каждый дѣлатель могъ претендовать на первенство и благодѣтельность именно своей обработки. При особенной психологіи критиковъ здѣсь почти не су-

\*) Grimm. IV, 276.

ществовало разницы между крупнымъ и мелкимъ фактомъ, между филологическою идеей и даже знакомъ препинанія. Все одинаково могло вызвать самый страстный бой.

И такой бой шелъ непрерывно между Сумароковымъ и Тредьяковскимъ.

Мы приведемъ нѣсколько образчиковъ во всей ихъ неприкосновенности: они безъ нашихъ поясненій введутъ читателя въ сущность дѣла.

Прежде всего о знакахъ препинанія,—пишетъ Сумароковъ. Сначала онъ, разгромивъ ударенія—силы, потомъ продолжаетъ:

«Мало сего педанти вѣжи, почитающіе не ставить новомодныя и во-ртъ, на-воду и проч были угодны г. Тредья	въ выдумали они то есть не- о полезнымъ утѣшаніемъ, сваредныя палочки: напри- мѣръ, таковыя палочки отлично
--	--

При такой страстности по поводу черточекъ, естественно не менѣе сильный гнѣвъ загорался изъ-за буквъ,—напримѣръ изъ-за буквы з; ее Тредьяковскій извергалъ и вводилъ с, а Сумароковъ защищалъ, изъ-за окончаній множественнаго числа, изъ-за ой и ій... Противники не пренебрегали описками и опечатками, напримѣръ, Тредьяковскій напалъ на Сумарокова за безграмотность изъ-за «двухъ типографическихъ небрежностей», написалъ полстраницы критики на невѣрно набранный стихъ—*хотѣи* вмѣсто *хотѣи*, и Сумароковъ принужденъ былъ даже «показывать многимъ трагедію вчернѣ» для доказательства, что «въ черномъ поправлено или скребено» не было. Въ другой разъ тотъ же Тредьяковскій «въ презрѣтую вступилъ ярость, дѣлаетъ протчія восклицанія и протчія неистовствы»—все потому, что не вѣрно поставлена запятая.

Но, кажется, самую жаркую распрю вызвала буква и.

Тредьяковскій упорно отстаивалъ и во множественномъ числѣ всюду въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ.

Сумароковъ не удовольствовался прозаическимъ опроверженіемъ негѣиш, по его мнѣнію, идеи и написалъ стихотворную сатиру съ такими заключеніемъ:

На что же Трессотипъ намъ твѣшь и лекстатъ?

Россійска языка небесна красота

Не будетъ никогда попрапа отъ скота!

И бредъ твой выплюнуть, повѣрь—тебя застануть:

Скончатъ твой скверный языкъ, стоишь не совм...

Трессотинъ, замѣняющій Тредьяковскаго, приобрѣлъ необыкновенную популярность въ современной литературной полемикѣ послѣ того, какъ Сумароковъ осмѣялъ Тредьяковскаго въ комедіи *Трессотиниусъ*. Герой споритъ о начертаніи буквы *твердо*, писать ли ее «объ одной ногѣ», или «о трехъ ногахъ». При всей каррикатурности комизма, онъ вполнѣ соответствовалъ дѣйствительности. Тредьяковскій постоянно прибѣгалъ къ самымъ неожиданнымъ филологическимъ соображеніямъ и сравненіямъ: напримеръ, *з* и *э* изгонялись изъ азбуки за то, что «не статны собою».

Тредьяковскій ни за что не соглашался уступить и и отвѣчалъ въ соответствующемъ тонѣ.

Его отповѣдь въ началѣ именуетъ противника «дуракомъ» и «вертопрахомъ негоднымъ», его разсужденія—«ямщицей вздоръ или мужицкой бредъ», и выставляется на видъ существенный фактъ: «святыхъ онъ книгъ отнюдь, какъ видно, не читаетъ»... Но постепенно отиѣтъ переходитъ въ крайне раздраженный тонъ, и авторъ совершенно забываетъ всякія филологическія и свѣтскія тонкости:

Ты жъ ядовитый змѣй, или какълюбишь—змѣй,  
Когда меня язвить престанешь ты злодѣй!  
Престань, прошу, престань,—къ тебѣ я не касаюсь;  
Злоправіемъ твоимъ, какъ демонскимъ, гнушаюсь.  
Тебѣ ль, Парнасска грязь, морали по-творецъ,  
Учить людей писать? ты истинно глупецъ.  
Повѣрь мнѣ, крокодѣль, повѣрь, клянусь я Богомъ!—  
Что знаніе твоо все въ родѣ есть убогомъ.  
Не штука стихъ слагать, да и того ты пустъ;  
Безплодепъ ты во всемъ, хоть и шумишь какъ кустъ... \*).

Дальше врагу напоминалось о смерти, о Богѣ и о правдѣ, не давалось покоя и вѣщности Сумарокова. Въ другой эпиграммѣ Тредьяковскій сумѣлъ въ двухъ строкахъ изобразить вѣщныя и нравственныя черты своего критика:

Кто рыжъ, плѣшивъ, мигунъ, заяка и картавъ  
Не можетъ быть въ томъ никакъ хорошій правъ!

Это изображеніе совпадаетъ съ портретомъ Сумарокова у Ломоносова:

Картавилъ в сопѣль, качался и мигалъ.

Любопытно, Тредьяковскій оказывался несравненно болѣе искуснымъ стихотворцемъ въ личной брани, чѣмъ въ торжествен-

\*) Образы литературной полемики прошлаго столѣтія. Библиографическія записки 1859, № 17.

ныхъ жанрахъ—въ поэмѣ и одѣ. Надо думать, въ первомъ случаѣ тема гораздо глубже захватывала пѣту, и онъ здѣсь былъ безусловно искрененъ и въ полномъ смыслѣ одержимъ *маніей*, т. е. вдохновеніемъ.

Искренность и сила полемическихъ возненій у Тредьяковскаго подтверждается удивительными документами, какой только возможенъ въ литературѣ. Если даже предположить извѣстную преднамѣренность, рассчитанную приподнятость рѣчи, и тогда останутся единственные въ своемъ родѣ факты писательской психологій прошлаго вѣка.

Продолжая свои же изведенія въ *Ежемесяч-*

«Послѣ сего, ненад-  
уничтожаемый въ дѣ-  
мый сатирическими ро-

нствахъ (что сего безсовѣстнѣе?) оглашаемый, все жъ то или по-  
злѣ, или по ухищренію, или по чаянію отъ того пользы, или  
наконецъ по собственной потребности, чтобъ употребляющаго меня  
праведно, и съ твердымъ основаніемъ и въ окончаніи призага-  
тельныхъ множественныхъ мужескихъ цѣлыхъ, всемѣрно извер-  
гнутъ въ прощсть беззачія, несконечно уже изнемогъ я въ  
силахъ къ бодрствованію» \*).

Но въ такое положеніе приходилось попадать каждому изъ трехъ соперниковъ. Мы знаемъ «антеральныя войны» при самыхъ разнообразныхъ комбинаціяхъ воюющихъ силъ: Сумароковъ и Тредьяковскій противъ Ломоносова, Ломоносовъ и Тредьяковскій противъ Сумарокова, и самый грозный союзъ Сумарокова и Ломоносова на Тредьяковскаго. Намъ неизвѣстно, по какимъ поводамъ заключались эти союзы, и неожиданнѣе всего единеніе Сумарокова съ Тредьяковскими послѣ драматической сатиры и такого, напримѣръ, повидимому, окончательнаго приговора творцу «Телемахида»:

«Что до склада сего иктора касается, такъ это и критики недостойно; ибо всѣхъ читателей слуху онъ противенъ только, что подобнаго писателя, никогда ни въ какомъ народѣ, отъ начала міра не бывало: а онъ еще и профессоръ краснорѣчія! Всѣ его и стихотворныя сочиненія, и прозаическія, и переводы таковы; такъ оставимъ его; ибо вѣтъ моего терпѣнія смотрѣть въ его сочиненія».

\*) Пекарскій. О. сн.

Эти сочинения всегда были одинаковыми, но они не мѣшали воинственному драматургу подавать руку «Грессотиніусу» и «Шти-веліусу» для общей атаки на искуснѣйшаго одонисца. Даже самого Ломоносова изумлялъ этотъ союзъ, и онъ написалъ сатиру *Злобное примиреніе*, называя враговъ Аколастомъ и Сотиномъ, а себя Пробиннымъ:

Съ Сотиномъ что за вздоръ? Аколастъ примирился;  
Конечно третій членъ къ нимъ лѣшій прилѣпился,  
Дабы три фурии втѣснившись на Парнасъ,  
Закрыли крикомъ музъ Россійскихъ чистый глазъ...

Дальше излагались прежнія взаимныя отношенія союзниковъ, и сатира заканчивалась въ чисто-ломоносовскомъ стилѣ гнѣва и страсти:

Кто быть желаетъ нѣмъ, и слышать наглыхъ вракъ,  
Межъ самохвалами съ умомъ прослыть дуракъ,  
Сдружись съ сей парочкой \*).

Но самую типичную полемику, несомнѣнно, пришлось выдержать Сумарокову отъ союза Ломоносова съ Тредьяковскимъ.

И поводъ полемики прямо заслуживаетъ безсмертія: до такой степени онъ краснорѣчиво характеризуетъ литературные нравы и самихъ писателей XVIII вѣка!

Вся исторія загорѣлась изъ-за нѣсколькихъ хвалебныхъ стиховъ второстепеннаго литератора Елагина по адресу Сумарокова. Въ сатирѣ *На петимистра и кокетокъ* Сумароковъ чествовался, какъ «нанереникъ Боаловъ», «россійскій панъ Расинъ», и даже «защитникъ истины» и «благій учитель»... Это значило забыть о славѣ и талантахъ всѣхъ знаменитыхъ современниковъ, и они должны были немедленно напомнить о себѣ.

Ломоносовъ безпощадно высмѣялъ и въ стихахъ, и въ прозѣ автора сатиры и его «благого учителя», а Тредьяковскій прямо выбранилъ Сумарокова:

Въ комъ глубость безъ конца, въ комъ самый мракъ живетъ...

Такъ легко литература переходила въ личные оскорбленія, критика въ пасквили и откровеннѣйшее поношеніе!

Недаромъ на современномъ языкѣ самыя понятія—*критикъ* и *критика* означаютъ все, что угодно, только не «трибуналъ музъ».

\*) Любопытные документы изъ портфелей Миллера. *Москвитянинъ*, январь 1854, стр. 2—3.

Въ *Покоющемся Трудолубиѣ* — журналѣ Новикова — авторъ статьи *Путешествіе на Парнасъ* такъ изображаетъ критиковъ: «Видъ ихъ былъ угрюмый и свирѣпый; глаза сверкали, какъ молнія, а языкомъ они никого не щадили».

Въ журналѣ *Смѣсь* еще вразумительнѣе опредѣляется критика: разсказывается о пріятелѣ, который «покритиковалъ другого доброю великороссійскою пощечиною» и «сія критика весь блзъ кончила». Издатель, съ своей стороны, объяснялъ читателямъ: «присылаемые ко мнѣ критическія письма часто соединяли въ себѣ и злословіе, и осмѣяніе».

Наши авторы отнюдь не были лишены ни истины, хотя сами болѣе всѣхъ были повинны и в критикѣ.

Дожоносцовъ, съ осужденіемъ бичевавшій своихъ соперниковъ, говорилъ: «въ тѣ времена писателей, когда болѣе критиковъ, нежели читателей, болѣе ругательства, чѣмъ доказательствъ».

Даже Тредьяковскій, не знавшій удержа своей ругательной маки, жаловался: «критика наша по большей части безъ узда туда скачетъ, куда ее влечетъ устремленіе».

И тѣмъ краснорѣчивѣе безпрестанное личное повиновеніе автора «устремленію»!

Писатель XVIII вѣка могъ основательно въ теоріи понимать и литературный вкусъ, и литературныя приличія, но у него самого не хватало нравственной уравновѣженности, истиннаго достоинства писателя и ничто извнѣ не могло внушить ему этихъ добродѣтелей. Выходило такое же противорѣчіе въ критикѣ, какое было въ искусствѣ. Поэтъ могъ отлично оцѣнивать тѣсноту подражательности, издѣваться надъ «новомалерными словами» и всякой другой галломаніей, но у него не хватало творческой силы и мужества возстать вообще противъ «чужихъ уроковъ», національное чувство изъ области словаря и грамматики распространить на искусство и художественныя идеи.

Въ результатѣ — Сумароковъ могъ сочинять сколько угодно притчей на Иванушекъ и подъяческихъ дочерей, онъ все-таки напывалъ отъ честолюбія «явить россамъ театръ расиновъ». Въ критикѣ онъ иронически отзывался о «помощномъ критическомъ духѣ», т. е. гдѣ «много бумаги да брани», и здѣсь же усиливался превзойти своего противника непремѣнно бранью.

Тредьяковскій выдавалъ въ еще горнія противорѣчія. Онъ глубоко негодовалъ, когда его оглашали въ нравахъ, но именно онъ

и представить самый равный и яркий образец подобных оглашателей. Даже гораздо хуже. Тредьяковскому по преимуществу наша юная критика обязана юридическимъ элементомъ.

Мы не можемъ миновать и этого предмета въ нашей исторіи это, несомнѣнно, самая *историческая* черта старой «униженной и оскорбленной» литературы.

И здѣсь русскіе критики не могли похвалиться оригинальностью: какъ въ личныхъ недантскихъ счѣтахъ, такъ и въ юридическихъ документахъ они могли взять не мало поучительныхъ уроковъ все у той же французской словесности, отчасти даже у своихъ почтеннѣйшихъ авторитетовъ.

## XXV.

Мы видѣли, съ какими усердіемъ французская власть стараго порядка поощряла враговъ новыхъ идей. Естественно, изъ этого поощренія вытекалъ и вполне опредѣленный способъ войны съ энциклопедистами. Его на первыхъ же порахъ въ совершенномъ блескѣ осуществилъ привилегированный застрѣльщикъ оффиціозной критики—Палиссо.

Палиссо, конечно, ничего не стоило составить списокъ преступленій философовъ—безъ различія направленій, талантовъ, литературной дѣятельности. На первомъ мѣстѣ значились: безбожіе, матеріализмъ, проповѣдь свободы.

Отнюдь не всѣ философы и даже не большинство повинны въ этихъ смертныхъ грѣхахъ: достаточно вспомнить, какъ горячо возставалъ Вольтеръ противъ матеріализма, какъ вѣстѣ съ Даламберомъ онъ отзывался объ «ужасной книгѣ» Гольбаха; о Руссо нечего и говорить: для него безбожіе звучало прямо личнымъ оскорбленіемъ.

Но Палиссо требовалось заклеить страшное слово—*философы*, и оно покрыло собой всѣ оттѣнки и даже контрасты.

Можно представить, сколько понадобилось лжи, передержекъ, фальшивыхъ цитатъ и явнаго шарлатанства! И Палиссо на все это идетъ.

Уничтожая *Энциклопедію*, какъ источникъ повальной нравственной заразы, пасквилянтъ цитируетъ слова изъ статьи Даламбера, какихъ тамъ нѣтъ, выписываетъ статью *Gouvernement*—*Правительство* и вставляетъ фразу собственного измышленія: «неравенство состояній—варварское право», ссылается на *кварту*

автора, совершенно посторонняго *Энциклопедіи*, и его идеи объявляетъ достояніемъ энциклопедистовъ.

Современникъ, наблюдавшій за этой полемикой, замѣчаетъ:

«Палиссо недостаетъ только храбрости на большія преступленія, чтобы сдѣлаться знаменитостью въ лѣтписяхъ Гревской площади. Когда вы видите, какъ человекъ извлекаетъ цитаты изъ сочиненій другого съ цѣлью возбудить неавиность къ нему, говорите смѣло: «это—мошенникъ»—ны не ошибетесь» \*).

Такъ судить о продолжкахъ Палиссо самый скромный и сдержанный сторонникъ энциклопедистовъ. Но какъ поступать съ подобнымъ противникомъ? Доказать, что онъ мошенничаетъ—не трудъ; но доказать, что онъ вреденъ только для публики, изъ доказательствъ, стоило на сторонѣ философовъ. Не имѣя другой силы—правды и истины. Она всемогуща, а между тѣмъ Палиссо могъ толкнуть ее на совершенно незаслуженную кару по адресу обогавныхъ писателей.

Вольтеръ, не въ примѣръ прочимъ философамъ, обогавный Палиссо, первый указалъ практическій результатъ его предпріятій:

«Ваше сообщеніе, — писалъ «патріархъ», — можетъ попасть въ руки принца, министра, чиновника, занятаго важными дѣлами. въ руки самой королевы, еще болѣе занятой судьбою бѣдныхъ и по своему положенію, имѣющей мало досуга. Прочтутъ одно ваше предисловіе разнѣромъ въ какой-нибудь листъ, не найдутъ времени справиться и сравнить ваши выдержки съ громадными произведеніями, которыми вы навязывали эти отвратительныя теоріи, не сообразятъ, что авторъ теорій Ламеттри, пойдя, что предметъ вашихъ нападокъ энциклопедистъ, и невинные могутъ пострадать вмѣсто преступника, теперь уже и не существующаго».

Въ заключеніе Вольтеръ совѣтовалъ Палиссо опровергнуть свои навіты, заявить публикѣ, что онъ былъ введенъ въ заблужденіе...

Легко совѣтовать, но если Палиссо не согласенъ послѣдовать совѣту, что именно и оказалось и должно было оказаться въ дѣйствительности—какъ же тогда поступить?

Единственный путь—просвѣтить принцевъ и чиновниковъ на счетъ истиннаго смысла памфлета, т. е. обратиться прямо по адресу самихъ читателей. Иного выхода нѣтъ.

\* ) Grimm. IV, 275



Разъ отъ принцевъ и чиновниковъ зависѣло съ необычайной легкостью и прстотою пріемовъ наказать преступниковъ, даже и мнимыхъ, писатели попадали въ отчаянное положеніе—или ждать кары съ святою покорностью праведника, или прибѣгнуть къ офиціальному документу, къ просьбѣ и разъясненію.

Одинъ изъ защитниковъ энциклопедистовъ оправдывалъ рѣзкость своихъ нападокъ ссылкой на злобу и козни «разнузданныйшихъ нахадовъ», явно поощряемыхъ людьми власти и силы. Если у Палиссо терпима клевета и доносъ, «рѣзкія краски» не должны изумлять публику у его жертвъ и противниковъ.

То же самое соображеніе примѣнимо и къ нашему вопросу.

Разъ власть вѣшалась въ литературныя дразги и поставила себя судьей писательскихъ распрей, энциклопедистамъ неминуемо придется искать защиты тамъ, гдѣ ихъ клеветники находятъ покровительство.

Это до такой степени ясно, что буквально эти соображенія невольно вырвались у одного, совсѣмъ теперь забытаго писателя маркиза Хименеса дѣйствительно ничѣмъ не замѣчательнаго, но на ряду съ Вольтеромъ появившаго въ журналъ Фрерона.

Писатель жаловался на журналиста—не публикѣ, какъ подобало бы писателю, а начальнику полиціи и откровенно указывалъ, что шатъ этотъ у него вынужденъ высокоофиціознымъ положеніемъ Фрерона.

Къ такому же оружію прибѣгли и энциклопедисты, Вольтеръ и Даламберъ. Правда, Дидро является исключеніемъ и, конечно, для славы первыхъ двухъ философовъ имъ было бы выгодно также остаться исключеніями. Но если мы, при всѣхъ смягчающихъ обстоятельствахъ, имѣемъ основаніе осудить личную запальчивость Вольтера, его часто открыто-памфлетическую публицистику, — его литературныя сношенія съ властями заслуживаютъ большей снисходительности.

Намъ, собственно, и незачѣмъ взвѣшивать вины на вѣсахъ Океиды, мы только должны опредѣлить внутреннюю связь историческихъ явленій, до сихъ поръ вызывающихъ нареканія на память идейныхъ вонтелей прошлаго.

И эти нареканія въ иныхъ случаяхъ неизбежны, если отдѣльные факты вырывать изъ общаго культурнаго теченія.

Разъ писателямъ вообще приходилось предъ властью искать защиты противъ литературныхъ враговъ, естественно не всегда, въ жару полемики, въ припадкѣ оскорбленнаго самолюбія, удавалось сбить ихъ и не переходить предѣловъ необходимаго и законнаго

Если, положимъ, Вольтеръ успѣлъ оборонить себя или своихъ друзей отъ «подлаго доноса» Палиссо, какъ онъ выражается,—въ другомъ случаѣ онъ, при своей горячности и щекотливости по части авторскаго достоинства, можетъ обратиться къ цензурѣ или къ министру съ жалобой уже не на доносъ, а просто на личную обиду.

А чувствительность къ ней у Вольтера должна быть развита больше, чѣмъ у другихъ писателей эпохи; именно онъ въ самыхъ жестокихъ формахъ выставлялъ жестокіе права своего вѣка. До тридцати двухъ лѣтъ Вольтеръ успѣваетъ два раза посидѣть въ Бастили, два раза быть изгнаннымъ, два раза побитымъ палками..

И все это для вѣщающаго разума его, какъ писателя!.. Очевидно, въ теченіе всей жизни вопросъ о писательскомъ достоинствѣ, о правахъ таланта и умственной дѣятельности для него останется своего рода нервнымъ недугомъ, и онъ не покидаетъ свѣта всякій разъ, когда продажный писакъ дерзнетъ покушаться на его—трудомъ и гениемъ—приобрѣтенную славу.

Въ сходномъ положеніи и Даламберъ, незаконный сынъ, подкидышъ, бѣднякъ, на взглядъ «хорошаго общества» — *canaille misérable*. Всѣ его общественныя права, все его человѣческое достоинство въ его талантахъ и его литературномъ имени. Это—единственная его собственность, и, разумеется, онъ будетъ стоять за нее, какъ истый собственникъ.

Въ результатѣ, Вольтеръ не довольствуется страшными литературными экзекуціями надъ Дефонтею—соратникомъ Фрерона; онъ примется вызывать на него къ властямъ, потребуетъ суда надъ нимъ за его пасквиль... Большого успѣха «патріарха» не будетъ имѣть, жалобы направлялись не по адресу, но достаточно факта: Вольтеръ, съ извѣстной точки зрѣнія, хотя бы съ фрероновской—доносчикъ.

То же самое съ Даламберомъ.

Фреронъ помѣстилъ въ своемъ журналѣ статью противъ *Энциклопедіи* въ духѣ Палиссо, т. е. нафабриковалъ фальшивыхъ цитатъ. Даламберъ требовалъ правосудія... Это, конечно, не доносъ, но все-таки и не литература.

Для насъ не менѣе поучительно и поведение французской академіи. Оно также найдетъ соперниковъ въ нашемъ отечествѣ.

Съ высоты педантическаго величія «безсмертные» взирали на писателей и критиковъ, какъ на нѣкій жалкій, хотя и крайне без-

покойный муравейникъ. Ученые въ расшитыхъ кафтанахъ и на казенномъ содержаніи считали долгомъ своего служебнаго достоинства презирать менѣе удачливыхъ литературныхъ тружениковъ и зорко оберегали цеховую честь своихъ сочленовъ.

Устраивая по временамъ демонстраціи противъ новой философіи, академія не пренебрегала и рѣшительными дипломатическими шагами для искорененія своевольнаго духа въ журналахъ. Она въ теченіе всего вѣка съ такимъ усиліемъ практикуетъ эту дѣятельность, что въ послѣдствіи въ генеральныя штаты явятся даже депутаты съ инструкціями избирателей—или измѣнить порядокъ выборовъ въ академію, или совсѣмъ уничтожить ее.

Вотъ какая галерея примѣровъ и образцовъ представлялась нашимъ европействовавшимъ писателямъ!

Менѣе всего она могла воспитать у русскихъ критиковъ чисто литературныя права. Напротивъ, ихъ вліяніе, неизбежное и неотразимое, могло только выразиться въ столь же грубыхъ и уродливыхъ формахъ, въ какія театръ расиновъ переродился у Сумарокова.

Главный принципъ—прибѣжище писателей. во взаимныхъ несогласіяхъ—у трибунала власти, а не музъ. Это фактъ французской философіи XVIII-го вѣка. Во что же ему суждено превратиться въ средѣ отнюдь не философовъ, въ средѣ, лишенной столь могущественнаго и непрестанно возрастающаго общественнаго мнѣнія, какимъ жили и весьма многое дерзали французскіе просвѣтители.

Вольтера били палками, но въ результатѣ онъ въ своей личности воплотилъ республику ума и таланта и въ граждане этой республики добивались чести попасть первые вѣнценосцы современной Европы.

А Тредьяковскій?

Ему вѣдь тоже нанесли безчестье, но только оно такъ и осталось съ нимъ на всю жизнь. Ему предоставлено сколько угодно внутри раздираться на части, а извнѣ... въ Парижѣ и Фернэ не могли и представить такого положенія.

Сообразно съ нимъ неминуемо преобразовались и литературскія сношенія съ властью.

## XXVI.

Ломоносовъ гнѣвался на Сумарокова за то, что драматургъ бранилъ Тауберта и Миллера изъ-за личной вражды, а «не ради

общей пользы». Слѣдовательно, бранить разрѣшалось, только съ выборомъ причинъ, и Ломоносовъ не пропускалъ случая дать волю своему сердцу во имя патріотическихъ чувствъ.

Этотъ, повидимому, совершенно благородный мотивъ проявляется у великаго ученаго весьма своеобразно, и его защита славы русскаго народа нерѣдко весьма походила на самый настоящій цензорскій судъ съ пристрастіемъ и дѣлала не много чести терпимости русскаго академика.

Ломоносовъ безпрестанно подвергался отъ *Ежемесячныхъ сочиненій* Миллера, не только его мнѣнію, патріотическихъ и часто даже оскорбитъ русскаго имени. Критикъ свои соображенія представ. трѣніе президента академіи наукъ, лицу, изгнвшему дѣтство на труды академиковъ въ какомъ угодно смыслѣ.

Вотъ образецъ ломоносовской полубаушной, полуофициальной критики, по адресу Миллера, неутомимо работавшаго надъ источниками русской исторіи:

«Не токмо въ *Ежемесячныхъ*, но и въ другихъ своихъ сочиненіяхъ вслѣдуетъ по обычаю своему занозливыя рѣчи. Напримѣръ, описывая чувашу, не могъ пройти, чтобы изъ чистоты въ домахъ не предпочесть россійскимъ жителямъ. Онъ больше всего высматриваетъ пятна на одеждѣ россійскаго тѣла, проходя многія истинныя ея украшенія. Ясное и весьма досадительное доказательство сего моего примѣчанія, что Миллеръ пишетъ и печатаетъ на нѣмецкомъ языкѣ смутныя времена Годунова и Разстригины, самую мрачную часть россійской исторіи, изъ чего иностранныя народы худыя будутъ выводить слѣдствія о нашей славѣ. Или нѣтъ другихъ изквѣстій и дѣлъ россійскихъ, гдѣ бы по послѣдней мѣрѣ и добро съ худомъ въ равнопѣсіи видѣть можно было?»

Неизвѣстно, этили ли путемъ, или инымъ, высшее правительство также обратило вниманіе на *Опытъ новѣйшей исторіи о Россіи* Миллера, и ученому былъ объявленъ «жестокій выговоръ съ приказаніемъ, чтобы впредь такія сумнѣнія отъ меня напечатаны не были»,—разсказываетъ самъ Миллеръ \*).

Приключеніе страшно перепугало историка, онъ поснѣнился оправдаться ссылкой на свое смиреніе и полную готовность подчиниться указаніямъ власти, весь свой трудъ поручилъ усмотрѣ-

\*) Пекавскій. *О. сѣ.* стр. 52—3

нію конференцъ-секретаря. Письмо заключалось краснорѣчивѣйшимъ заявленіемъ въ устахъ нѣмецкаго ученаго при русской академіи XVIII-го вѣка.

«А впрочемъ вашего высокородія проникательному разсужденію всѣ свои сочиненія охотно я подвергаю и покорнѣйше прошу, чтобъ вы соизволили принять на себя трудъ прочесть мои историческія пьесы прежде напечатанія, тогда я надеженъ буду о всеобщей апробаціи оныхъ, а я во всемъ буду слѣдовать вашимъ наставленіямъ».

Изъ письма къ другому лицу узнаемъ, что нѣкій человекъ, всегда желавшій гибели историка, добился прекращенія его русской исторіи.

Мы отдаемъ полную справедливость несомнѣнно искреннѣйшему и благороднѣйшему національному чувству Ломоносова и даже готовы допустить, что оно подвергалось сильному искушенію среди товарищей-иностранцевъ, на зарѣ русской науки и сколько-нибудь самостоятельной культурной мысли, но никакія оговорки не могутъ безусловно оправдать только что разсказанной исторіи съ Миллеромъ. Ломоносовъ, въ порывѣ патріотизма, не отступалъ предъ запретомъ цѣлыхъ историческихъ эпохъ для ученыхъ изслѣдованій и по самымъ ничтожнымъ поводамъ открывалъ въ книгахъ иностранцевъ «завозимыя рѣчи». Все это отнюдь не могло ободрить трудолюбивѣйшихъ изслѣдователей, въ родѣ того же Миллера, и добросовѣстности и научности ихъ трудовъ грозила несравненно сильнѣйшая опасность отъ разныхъ «апробацій» и вполнѣ естественнаго страха даже предъ конференцъ-секретарями, чѣмъ отъ того или другого отношенія къ быту чужаки и русскихъ.

Неудивительно, что иной разъ въ жалобахъ Ломоносова трудно разграничить патріотизмъ отъ чисто-личнаго чувства, все равно, какъ у Вольтера, философскіи азарты незаметно переходили въ писательское самолюбіе.

Напримѣръ, въ журналѣ Сумарокова *Трудолюбивая пчела* появилась статья Тредьяковскаго о мозаикѣ. Предметомъ очень интересовался Ломоносовъ и считалъ его однимъ изъ своихъ кровныхъ дѣтищъ. Тредьяковскій, въ сущности, и не наносилъ оскорбленія этому чувству, но для Ломоносова достаточно просто неодобрительнаго отзыва о мозаичномъ искусствѣ и онъ жаловался Шувалову:

«Въ Трудолюбивой такъ-называемой Пчелѣ напечатано о мозаикѣ весьма презрительно. Сочинитель того Тр. совокупилъ свое

грубое незнаніє съ подлою злостью, чтобы моему раченію сдѣлать помыслительство. Здѣсь видѣть можно цѣлый комплотъ: Тр. сочи- шизъ, Сумароковъ, принявъ въ *Иссу*, Т(аубертъ)... дажь напечатать безъ моего упѣдомленія въ той командѣ, гдѣ я присутствую»...

Слѣдовательно, даже авторъ *Телемахида* могъ погрѣшнить по части любви къ отечеству! Ломоносовъ прямо говорилъ, что его ругательства вредятъ «дѣлу, для отечества славному».

А между тѣмъ, Ломоносовъ за весь восемнадцатый вѣкъ един- ственный литераторъ и ученикъ — прислуживавшій истиннаго сознанія личнаго достоинства, бо- лѣе чѣмъ чуждый своимъ заслугами, неза- висимый и мужественный.

Какіе же прихѣры и каковыя афиценціальной критики могли представить другіе, напримѣръ, Тредьяковскій!

Прежде всего самому Ломоносову пришлось испытать горчайшіе плоды недилитературной полемики.

Дѣло возникло по поводу знаменитаго *Гимна бороде*, несомнѣнно самаго блестящаго образчика старой легкой поэзіи. Нѣкоторыя строфы гимна и до сихъ поръ неутратили своей остроумной мѣт- кости и даже литературнаго изящества.

Для Тредьяковскаго шутка оказалась настоящей находкой. Онъ немедленно сталъ на стражѣ благочестія и благонравія. Ломоно- совъ смѣялся надъ старовѣрческимъ культомъ бороды, профессоръ элоквенціи повернулъ вопросъ иначе, и за подписью Христофора Зубницкаго выпустилъ нѣсколько документовъ, письма къ неизвѣст- ному лицу, къ автору *Гимна* и, наконецъ, пародію *Передѣтая борода, или имнѣ нѣжной голова*.

Въ письмѣ къ неизвѣстному заявлялось:

«Уповаю довольно извѣстно вамъ, какииъ удаленными отъ всякія чести и совѣсти образомъ авторъ испотребнаго *Гимна бо- роды* явилъ безбожное свое намѣреніе и желаніе, чтобы обругать христіанское ученіе и таинства вѣры нашей къ немалому однимъ соблазну и развращенію, а другихъ сожалеію и ревности. Хотя, правда, къ отпращенію таковыхъ продерзостей наилучшее бѣ сред- ство быть могло, чтобы въ прихѣры другихъ удостоить сего ру- гателя публичнымъ наказаніемъ; однако пока то сдѣлается, не- худо безбожныя его мнѣнія и разглашенія отражать другими способами» \*).

Эти способы не противорѣчатъ и первому проекту. Въ письмѣ

\*) Библиогр. Записки. № 15.

къ Ломоносову Тредьяковскій пускаетъ въ ходъ богатѣйшій словарь ругательствъ: «безбожный сумасбродъ», «пьяница», «онъ столько подлѣ духомъ, столько высокоумренъ мыслями, столько хвастливъ на рѣчахъ, что нѣтъ такой низкости, которой бы не предпринялъ ради своего мажорнаго интереса, напримѣръ для чарки вина; однако я ошибся, это его наибольшій интересъ».

На этомъ «интересѣ», дѣйствительно весьма не чуждомъ Ломоносову, построенъ *Гимнъ пьяной головѣ*. И замѣчательно, нѣкоторые стихи этого *Гимна* въ стилистическомъ отношеніи едва ли не самые литературные, написанные нашимъ поэтомъ.

Напримѣръ, такія двѣ самыхъ энергичныхъ строфы:

Съ хмѣлю безобразенъ тѣломъ  
И всегда въ умѣ невѣдомъ,  
Ты преподло былъ рожденъ,  
Хоть чинами и почтенъ:  
Но безмѣрное піяство,  
Бѣшенство обманъ и чванство  
Всѣхъ когда лишатъ чиновъ,  
Будешь пьяный рыболовъ.

Голова о прехмѣльная,  
Голова ты препустая,  
Дурости, безчинства мать,  
Нечестивыхъ мнѣній кладъ,  
Корень изысканій ложныхъ,  
О забрало дѣлъ безбожныхъ,  
Чѣмъ могу тебя почитать,  
Чѣмъ заслуги заплатить? \*)

Ничѣмъ инымъ, договаривался авторъ, какъ сожженіемъ «въ струбахъ».

Такое усердіе, въ свою очередь, не могло остаться безъ награды и даже Сумароковъ откликнулся въ пользу Ломоносова. Самъ авторъ гимна написалъ уничтожающій отвѣтъ *Зубницкому*:

Безбожникъ я ханжа, подметныхъ писемъ врагъ!..

Тредьяковскій отвѣчалъ сатирой обоимъ противникамъ: относительно Ломоносова главную роль играла опять «вишняя бочка».

Относительно Сумарокова могъ оказаться болѣе дѣйствительнымъ тотъ же путь доноса. Его Тредьяковскій испробовалъ еще раньше войны изъ-за ломоносовской сатиры, года за полтора до гимна. Очевидно, это — цѣлая организованная атака на благонадежность соперниковъ.

\*) «Библ. зап.» 16., стр. 570.

«Читая октябрьскую книжку *Ежемесячныхъ сочиненій* сего 1756 года, нашелъ я, именованный—въ ней оды духовныя, сочиненныя г. полковникомъ Александромъ Петровымъ сыномъ Сумароковымъ, между которыми и одну, подписанную изъ числа 106; а въ ней увидѣлъ, что она съ осыя строкъ по первую на десять включительно говоритъ отъ себя, а не изъ впадения о безконечности вселенныя и действительномъ множествѣ міроваго, а не о возможности по всемогуществу „ „ — также *Ежемесячные книжки* обращаются многихъ чуждъ и въ соблазнъ претивному слову Божію такой поминутія оды .  
извѣщая» \*).

Синодъ не даналъ хода доношенію въ теченіе года, но, наконецъ, все-таки запросилъ отъ академической канцеляріи свѣдѣній объ имени автора и переводчика иностраннаго сочиненія *О величествѣ Божіи размысленіи*. Оно также было напечатано въ журналѣ Миллера. Синодъ немедленно требовалъ оригиналъ. Въ докладѣ, представленномъ императрицѣ Елизаветѣ, ученіе о безчисленныхъ мірахъ объявлялось крайне опаснымъ; оно «многимъ неутвержденнымъ дунамъ причину къ натурализму и безбожію подаетъ». Синодъ просилъ у императрицы запретить во всей Россіи писать и печатать о множествѣ міровъ, конфисковать *Еже-мѣсячныя сочиненія* и переводъ князя Кантемира книги Фонтенелля о множествѣ міровъ.

Докладъ остался безъ послѣдствій, и, несомнѣнно, такой результатъ долженъ былъ особенно огорчить профессора и литератора Тредьяковскаго.

Легко представить, каково жить и расти критической мысли при таких условиях!

Похвалы и порицания одинаково волновали страсти и доводили до личной перебранки. Современная литература выработала даже принципиальное оправдание подобной критики.

Събравшая критику съ сатирою, даже отождествляя ихъ, *Тру-*  
*темь* доказывалъ:

\* ) Пекарскіі. Іб., стр. 42.



«Я утверждаю, что критика, писанная на *лицо*, но такъ, чтобы не всѣмъ была открыта, больше можетъ исправить порочнаго... Всякая критика, писанная на *лицо*, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, обращается въ критику на общій порокъ».

Это отчасти справедливо относительно сатиры и комедій: портреты, списанные художникомъ, превращаются въ типы. Но никогда собственно критика, т. е. литературная полемика въ духѣ писателей XVIII-го вѣка, не могла утратить своего исключительно личнаго нелитературнаго характера.

Требовалось безусловное преобразование критическихъ приемовъ, это могло совершиться только при полномъ измѣненіи общественнаго положенія писателей и ихъ дѣятельности.

До тѣхъ поръ безсильны были всѣ старанія самыхъ благонамѣренныхъ писателей ввести культурные обычаи на руссѣйскомъ Парнасѣ.

И даже эти старанія характеризуютъ беспомощность критиковъ и крайнюю наивность ихъ задачи.

## XXVII.

Мы видѣли, сколько пришлось вытерпѣть официальныхъ и неофициальныхъ притѣсненій редактору перваго русскаго научно-литературнаго журнала. *Ежемесячныя сочиненія* издавались академикомъ, при академіи. Миллеръ былъ одинъ изъ первостепенныхъ ученыхъ своего времени, оказалъ незабвенныя услуги русской исторической наукѣ, до изданія журнала имѣлъ за собою редакторскій опытъ: въ теченіе двухъ лѣтъ онъ завѣдывалъ *С.-Петербургскими Вѣдомостями*.

*Вѣдомости* при редакторствѣ Миллера пользовались крупнымъ успѣхомъ, и этотъ успѣхъ внушилъ Миллеру и другимъ академикамъ, въ томъ числѣ Ломоносову, мысль завести особое періодическое изданіе при академіи.

Собственно Миллеру принадлежала удачная идея — издавать при «Вѣдомостяхъ» особое прибавленіе подъ заглавіемъ — *Историческія, генеалогическія и географическія примѣчанія*. Они и создали въ публикѣ успѣхъ академическому органу, и указали путь, какимъ надо вести новое изданіе.

Въ концѣ 1754 года академія обсудила планъ ученаго періодическаго журнала (*de ephemeride quadam erudita*), и для насъ въ высшей степени любопытно одно постановленіе ученаго собра-

нія: исключить изъ журнала статьи богословскія и вообще всѣ, касающіяся до вѣры, а равнымъ образомъ статьи критическія или такія, которыми могъ бы кто-нибудь оскорбится: *exilent, glasilz paragraph. quoque omnia scripta critica vel quae aliquo modo famam alicujus laedere aut contra aliquem scripta videri possunt.*

Изъ такого сопоставленія критики съ личнымъ оскорбленіемъ очевидны и популярнѣйшія свойства современной критики, и стараніе академиковъ избѣжать во что бы то ни стало недостойныхъ «интеральныхъ войнъ».

И дѣйствительно, вѣнча Миллеръ заявляетъ

«Для сохраненія бл. противныхъ. слѣдствій

споры, или чувствительныя возраженія на сочиненія другихъ, ниже иное что съ обидою написанное противъ кого бы то ни было».

Редактору пришлось многое потерпѣть, чтобы остаться вѣрнымъ этой программѣ. Съ такими сотрудниками, какъ Сумароковъ и Тредьяковскій, трудно было уберечься отъ «чувствительныхъ возраженій», и Миллеръ находился въ непрестанной войнѣ съ своими коллегами.

Но редакторъ оставался твердымъ, и не печаталъ даже вообще критическихъ статей. И отдѣла соотвѣтствующаго не существовало вовсе. За первыя восемь лѣтъ изданія изъ журналѣ появилась всего одна критическая статья, переводъ извѣстнаго намъ французскаго отзыва о трагедіи Сумарокова *Синиль и Труворъ*—безусловно хвалебнаго.

Въ 1768 году *Ежемесячныя сочиненія* переименовали названіе, прибавлено было «и Извѣстія о ученыхъ дѣлахъ». Это означало особый библиографическій отдѣлъ для иностранныхъ и русскихъ книгъ.

Но и теперь критики все-таки не оказывалось. Авторы рецензій придерживались однообразнаго метода: излагали содержаніе книгъ и рекомендовали ихъ русскимъ читателямъ. Разбора и оцѣнки не допускалось. Конечно, и книги для отзыва брались непремѣнно съ положительными достоинствами—на взглядъ редактора.

Но въ статьяхъ по философій, очень многочисленныхъ изъ журналѣ Миллера, встрѣчались часто общія идеи по эстетикѣ и даже по литературѣ въ практическомъ смыслѣ.

Мнѣнія журнала о существенномъ современномъ вопросѣ—о русскомъ языкѣ—не уступали патріотическимъ посторгамъ. Ломо-

носова. Въ статьѣ московскаго профессора философіи Поповскаго, ученика и друга Ломоносова, обсуждались надежды Россіи на успѣхи въ философіи.

Ее отъ грековъ заимствовали римляне, «не можемъ ли и мы,—спрашиваетъ авторъ,—ожидать подобнаго успѣха въ философіи, какой получили римляне?.. Что касается до изобилія руссійскаго языка, въ томъ передъ нами римляне похвалиться не могутъ. Итъ такой мысли, кою бы по-руссійски изъяснить было невозможно. Что жъ до особливыхъ надлежащихъ по философіи словъ, называемыхъ терминами, въ тѣхъ намъ нечего сомнѣваться. Римляне, по своей силѣ, слова греческія, у коихъ взяли философію, переводили по-римски, а какихъ не могли, тѣ просто оставляли. По примѣру ихъ такъ и мы учинить можемъ» \*).

Прекрасно также журналъ понималъ смыслъ поэтическаго творчества. Мысль не оригинальная даже въ эпоху Тредьяковскаго, но здѣсь она выражена ясно и распространена сравнительно съ понятіемъ о *маніи* у автора «Телемахиды».

«Чтобъ быть совершеннымъ стихотворцемъ, надобно обо всѣхъ наукахъ имѣть довольное понятіе и во многихъ совершенное знаніе и искусство... Правила одни стихотворца не дѣлаютъ, но мысль его рождается, какъ отъ глубокой эрудиціи, такъ и отъ присовокупленія къ ней высокаго духа и огня природнаго стихотворчества».

Журналъ даже рѣшается предложить русской публикѣ мысль, совершенно несовмѣстимую съ современнымъ значеніемъ писателя.

«Въ бездѣлицахъ я стихотворца не вижу, въ обществѣ гражданина видѣть его хочу, перстомъ измѣняющаго людскіе пороки».

Мы можемъ, слѣдовательно, судить объ основательности и здравомысліи общихъ литературныхъ идей *Ежемесячныхъ сочиненій*. Но все это чисто теоретическія разсужденія. Журналъ не касался *явленій* русской литературы и, слѣдовательно, никакого дѣйствительнаго вліянія на искусство и критику имѣть не могъ. А не касался мы видѣли по какой причинѣ: само слово критика звучало жупеломъ въ ушахъ всѣхъ, кто не рѣшался или былъ не въ состояніи пускаться въ ходъ «заношливыхъ рѣчей».

Помимо такого сорта рѣчей ничего и не оставалось. Самый бойкій полемистъ эпохи—Сумароковъ,—оказывается совершенно

\*) Объ *Ежемесячныхъ сочиненіяхъ*—статьи *Очерки русской журналистики, преимущественно старой. Современникъ* 1851, томы XXV—XXVI. Некажскій. Редакторъ, сотрудники и цензура.

безпомощнымъ, лишь только отъ полемики хочетъ перейти къ литературнымъ сужденіямъ объ отдѣльныхъ произведеніяхъ.

Пока можно изводить противника изъ-за пазухъ и *онимъ, имъ и ой*, Сумароковъ въ извѣстномъ смыслѣ даже интересенъ. Но стоитъ ему пачать эстетическій разборъ, и немедленно весь азартъ разрѣшается такими приговорами о стихахъ и дѣлахъ произведеніяхъ: «преславно», «скаредный», «преизящно», «подло и гнусно». Иногда критикъ съ удивительной наипишью обнаруживаетъ свою немощь. Напримеръ, объ одномъ явленіи трагедіи Вольтера *Меропя* (III, 4) говорится: «чего оно достойно—я чувствую, но словами изобъ-  
у».

II Сумароковъ повсе-  
и безспія. Съ драма-  
даровитый человекъ—  
свѣщеніа XVIII вѣка,

уныхъ воспитанниковъ европейск. культуры своей эпохи и въ то же время рѣдкостнѣйшій примѣръ.—на русской почвѣ—умственной энергіи, практической талантливости и благороднѣйшихъ стремленій.

Этотъ удивительный и разносторонній дѣлатель издумалъ ввести свою ленту и въ исторію русской литературы, составилъ *Опытъ историческаго словаря о русскихъ писателяхъ*... Можно подумать, — статьи здѣсь писалъ не Новиковъ, а Сумароковъ, вдругъ ко всѣмъ чрезвычайно подобрѣвшии, забывшии всѣ ссоры и пререканія и издумавшии всѣхъ простить и все забыть.

Словарь переполненъ панегириками или снисходительными отзывами о самыхъ мелкихъ дѣятеляхъ и фактахъ русской литературы. Въ предисловіи авторъ обѣщаль только «великую умѣренность», а на самомъ дѣлѣ почти всѣ статьи превратилъ въ сплошную хвалу писателямъ. Обычныя выраженія о произведеніяхъ: «довольно хороши», «песня изрядна», «слогъ чистъ, паженъ, изодовитъ и пріятенъ», или «слогъ чистъ и текущъ».

Восторгъ предъ Сумароковымъ уживается съ такимъ отзывомъ о Тредьяковскомъ: «первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству».

Эта слепота новиковскаго произведенія претиза даже современникамъ, во всякомъ случаѣ болѣе юному поколѣнію читателей. Предъ нами одно изъ интереснѣйшихъ изданій начала XIX вѣка—*Разсужденіе о Дельфинѣ, романъ 1-жи Сталь-Голстинъ, переводъ съ французскаго*. Книжка издана въ 1803 году, но предисло-

віе къ ней касається всей критики ранней эпохи. Между прочимъ, отзывъ о Словарѣ Новикова сопровождается чрезвычайно мѣткими замѣчаніями общаго характера: съ ними мы еще встрѣтимся.

Самый словарь уничтожается безусловно: «во всю мою жизнь не читывалъ я смѣшнѣе сей книги», говоритъ авторъ и выписываетъ рядъ дѣйствительно забавныхъ, ничего не говорящихъ отзывовъ Новикова. Авторъ хотѣлъ бы основательнаго разбора достоинствъ и недостатковъ поэтическихъ произведеній. Онъ видитъ большой вредъ въ «таковомъ снисхожденіи»: оно «послужитъ только къ болѣе порчѣ множества молодыхъ людей»: не удерживаемые критикой, юнны бросаются въ литературу вмѣсто болѣе полезныхъ занятій!..

Авторъ совершенно правъ относительно частныхъ сужденій Новикова, но въ Словарѣ встрѣчается нѣсколько достойныхъ вниманія общихъ замѣчаній: они знаменуютъ нѣчто новое сравнительно съ классической схоластикой.

Новиковъ по поводу нѣкоторыхъ пьесъ говоритъ о вѣрномъ изображеніи русскихъ нравовъ, выдержанности характеровъ, естественности дѣйствія.

Самое существенное здѣсь—замѣчаніе о нравахъ. Это—отголоски національнаго принципа критики,—отголоски очень смутные и неустойчивые, но они—непримиримое противорѣчіе прославленію сумароковскаго таланта.

Новиковъ, повидимому, не чувствовалъ диссонанса въ хвалебныхъ гимнахъ своей критики, или не хотѣлъ настаивать на общихъ истинахъ въ ущербъ личностямъ. Онъ такъ старался избѣжать злословія и осмѣянія, этихъ краеугольныхъ камней современныхъ критическихъ упражненій!

Но именно тѣмъ и любопытны и краснорѣчивы будто невольныя обмолвки автора въ пользу принциповъ, губительнѣйшихъ для всего зданія европейско-россійской словесности! Очевидно, были настоятельныя внѣшнія побужденія не нанести обиды и другой силѣ, не имѣвшей ничего общаго съ литературой Сумарокова и Тредьяковского.

Въ дѣйствительности эти побужденія являлись такими настоящими и особенно для ревностнѣйшаго поборника русскаго народнаго просвѣщенія, что трудно и оцѣнить по достоинству «великую умѣренность» Новикова въ литературной критикѣ.

Въ то самое время, когда возникалъ его Словарь, въ русской печати шла ожесточенная война. Участіе въ ней принималъ Новиковъ и вообще вся современная журналистика.

Для насъ теперь и стычки, и генеральныя сраженія этой борьбы просто литературныя преданія. имена героев звучать какими-то пикольными, ископаемыми звуками. А между тѣмъ, на сценѣ русской критики впервые разыгрывалась настоящая драма великаго идейнаго и психологическаго интереса. Противъ толпы старожлабовъ и просто враговъ стоялъ одинъ человекъ. Въ шестидесятыхъ годахъ русскаго восемнадцатаго вѣка онъ сумѣлъ покрутъ своей личности сосредоточить столько сильныхъ чувствъ собратьевъ-писателей, что намъ невольно вспоминаются другіе русскіе шестидесятые годы.

Конечно, не надо за что-то исключительное если до насъ дошли съ внутренней природы, съ журнальнымъ противникомъ слово *Стозлый*...

ктивы! Но, вѣроятно, было же борца, и въ его предпріятіи, изображенія его вѣнчаніи и личность и личность подсказали, на рѣдкость выразительное

Даромъ, такая привилегія не дается, да еще преподнесенная съ такимъ стремительнымъ единодушіемъ!..

### XXVIII.

До какой степени медленно и трудно усваиваются культурнымъ обществомъ простѣйшія и, повидимому, вполне естественныя идеи—краснорѣчивѣйшее доказательство исторія литературы.

У художественнаго творчества самая обширная публика, соприкосновеніе его съ дѣйствительною жизнью самое тѣсное и непосредственное. Писатели подлежатъ свободной и разносторонней оцѣнкѣ и болѣе, чѣмъ всѣ другіе умственные дѣятели, принуждены считаться съ условіями своей среды, съ ея постепеннымъ нравственнымъ и общественнымъ развитіемъ.

Можно сказать, сама жизнь въ ея многообразномъ движеніи первый художественный критикъ и неотразимый судья. Литература ли послѣ этого не быть правдивой, жизненной, въ полномъ смыслѣ реальной?

И между тѣмъ, ни философія, ни наука не завыщали исторіи болѣе многочисленныхъ и странныхъ заблужденій и насильственныхъ фантастическихъ вымысловъ, чѣмъ искусство.

Что, казалось бы, дальше могло отстоять отъ жизни и правды, чѣмъ ложно-классическая школа? Что могло до такой степени деспотически врываться въ душу самого писателя и налагать рабскія оковы на его талантъ и личные опыты?

И человеческая природа не всегда легко и радостно гнулась подъ ярмомъ. Бывали минуты возмущенія, и именно у самыхъ талантливыхъ, у самыхъ, слѣдовательно, способныхъ завоевать себѣ права и свободу.

Но это были только минуты... Негодующій голосъ умолкалъ, свѣтлое вдохновеніе отлетало отъ избранника, и онъ покорно вступалъ въ общее стадо и шелъ торнымъ путемъ правилъ и авторитетовъ.

Потребовалось два столѣтія богатѣйшимъ европейскимъ литературамъ, чтобы покончить съ игомъ классицизма. А въ исконномъ царствѣ школы рѣшительнаго конца не предвидится еще и въ наши дни!

Въ русской литературѣ не было такихъ прочныхъ школьныхъ преданій, какъ на Западѣ. Ей стоило только излѣчиться отъ основного недуга, — ученической подражательности, и идолы падали сами собой. Но именно это излѣченіе и совершалось съ большими затрудненіями и мучительными судорогами юнаго литературнаго организма. Правда, на помощь истинѣ скорѣ пришла мощная сила художественныхъ талантовъ, но до тѣхъ поръ каждый малѣйшій шагъ по пути реализма и свободы покупался нашей критикой цѣной усиленной и часто безплодной борьбы.

Мы знаемъ, ни у одного изъ самыхъ раннихъ критиковъ не было недостатка въ національныхъ инстинктахъ. О Ломоносовѣ нечего и говорить. Патриотическое чувство увлекало ученаго даже въ тѣ области, гдѣ спорные вопросы рѣшались оружіемъ не науки и литературы. Но самое искреннее усердіе не помѣшало Ломоносову свято вѣровать въ нѣмецкія пѣніи и поддерживать у себя искусственное пламя одописнаго восторга.

Отъ его современниковъ еще менѣе можно было ожидать смѣлости и независимости. Что означали ихъ національныя стремленія и всяческій патриотизмъ, доказалъ самый безпощадный гонитель словесной галломаніи, Сумароковъ. Повидимому, ничего не могло быть естественнѣе, какъ понятіе о чистотѣ національномъ языкѣ — перенести на *содержаніе* произведеній, возникающихъ на этомъ языкѣ.

Если дѣйствующія лица должны говорить по-русски, безъ новоманерныхъ словъ и безъ галлицизмовъ, они, конечно, обязаны и поступать также, быть не менѣе національными въ правахъ, чѣмъ въ рѣчахъ. Слова, вѣдь, только результатъ другого, болѣе важнаго и глубокаго порока — страсти модныхъ господъ перестран-



вать свою внешнюю и внутреннюю жизнь. по иноземнымъ образцамъ. Устраните подражательность въ привычкахъ и въ образѣ мыслей, она сама собой исчезнетъ въ разговорѣ и, следовательно, въ литературномъ языкѣ.

Эта столь очевидная логика оказывалась совершенно недоступной нашимъ критикамъ и они устроили грозный натискъ на писателя, позволившаго себѣ перенести національный протестъ изъ области *грамматики* на сцену жизни. Шагъ отнюдь не революціонный и менѣе всего безумно-смѣлый, но когда вы знакомитесь съ исторіей по современнымъ документамъ, скромный авторъ теперь совершенно произведеніи начинается какъ затыся чуть не преобри литературы, по крайней мѣрѣ, литературныхъ идей.

Авторъ, дѣйствительно степени скромнѣе. Въ эпоху болѣзненныхъ писатели бѣги и претензій, *Столбный*, т. е. Владиміръ Лукинъ, производитъ совсѣмъ неожиданное впечатлѣніе.

Вообразите, онъ самъ говоритъ о недостаткахъ своихъ сочиненій, самъ искренно упрашиваетъ критиковъ серьезно разобрать его комедіи и научить его искусству писать лучше. Онъ готовъ выслушать какія угодно наставленія, лишь бы вышла польза. Онъ подчинится авторитету стараго заслуженнаго писателя, но только пусть этотъ авторитетъ заявитъ свои права не на основаніи давности и славы, а по здравому смыслу и дѣйствительному литературному таланту.

Очевидно, со стороны подобнаго критика не могло быть ни преднамѣренной злобности, ни надоедливой запальчивости. Сравнительно съ Сумароковымъ, это голубинная душа и застѣнчивый пикольщикъ. И, между тѣмъ, именно Сумароковъ, по свидѣтельству современниковъ, выходилъ изъ себя при одномъ имени Лукина.

Бывало и хуже. Нашъ авторъ подвергался опасности получить такое же возмездіе за свое литераторство, какое переносилъ Тредьяковскій. Очевидно, не было удержу ненависти, послѣдней Лукиныхъ въ сердцахъ своихъ современниковъ, хотя онъ отнюдь не разчитывалъ быть непременно ихъ соперникомъ въ литературныхъ успѣхахъ.

Откуда же такая напряженная воинственность?

Лукинъ писалъ комедіи, точнѣе, передѣлывалъ ихъ съ французскихъ образцовъ и только единственную пьесу — *Мотъ, любовь и исправленіи* — можно считать сколько-нибудь оригинальнымъ про-



изведениемъ. Таланта, очевидно, большого не было, и, какъ драматургъ, Лукинъ не представлялъ опасности даже Сумарокову.

О Фонвизинѣ нечего и говорить. Даже *Мотъ*, имѣвшій успѣхъ на сценѣ, не могъ сравняться съ *Бригадиромъ* и *Недорослемъ*. И все-таки ихъ знаменитый авторъ присоединилъ свой голосъ къ нападкамъ на Лукина. Перебравъ весь репертуаръ предосудительныхъ нравственныхъ качествъ, Фонвизинъ напалъ на счастливую мысль: предки Лукина «никакихъ чиновъ не имѣли», и потому даже служить съ такимъ человекомъ зазорно! И вообще относительно Лукина не дѣлалось никакого различія между чисто-личными вопросами и литературной дѣятельностью.

*Адская Почта* рассказывала скандалъ, постигшій было дерзкаго критика. *Трутенъ*, издававшійся Новиковымъ, помѣстилъ слѣдующее письмо къ издателю. Оно довольно точно отражаетъ чувства, вызванныя у журналистики Лукинымъ, и знакомитъ насъ съ причинами общаго негодованія, конечно, въ извращенной формѣ.

Рѣчь ведется отъ лица самого ненавистнаго критика.

«Мнѣ и славныя русскія трагедіи кажутся ничего не значущими... Словомъ, какъ бы кто хорошо ни написалъ, только не добьется отъ меня, чтобы я вмѣсто худо сказалъ хорошо; и кто что ни говори, а я все-таки стану продолжать свое искусство, т.-е. шептать на ухо, что то-то и то-то худо, а такихъ людей много, которые, сами ничего не зная, мнѣ вѣрятъ...

«Нѣсколько тому миновало мѣсяцевъ, какъ вступилъ я на двадцать восьмой годъ отъ моего рожденія, и въ такое короткое время успѣлъ всѣхъ перекритиковать, перебранить, себя прославить, у другихъ убавить славы, многимъ женщинамъ вскружить головы, молодыхъ господчиковъ отъ ревности свести съ ума и вырасть безъ мала въ два аршина съ половиною. Лицо имѣлъ я очень смуглое, но съ того времени, какъ началъ притираться китайскимъ порошкомъ, сталъ гораздо бѣлѣе, а станомъ похожъ на астронома... Я опричь русской грамоты почти ничему не учился, но все знаю, исключая русской азбуки, которую тогда я не доучилъ, а послѣ не имѣлъ времени: ибо началъ упражняться въ письменахъ. А ради того и понынѣ не знаю, гдѣ ставятся ъ и е, гдѣ і и и, гдѣ а и ахъ!—и тому подобное и гдѣ какія препинанія; для чего вмѣсто занятой, часто ставлю удивительную и вопросительную, а двое-точіе при всякомъ словѣ, ибо мнѣ кажется, что всякое слово отъ другаго отдѣляется, и тѣмъ и разрѣзываетъ мысль: но это бездѣлица...»

Такого же тона или еще болѣе рѣзкаго держались относительно Луккина и другіе журналы—*Смѣсь*, *Полезное съ пріятнымъ*, *Пустомеля*.

Противники не оставляли въ покоѣ и официальную службу Луккина—секретаря при кабинетъ-министрѣ Елагинѣ, и открыто упоминали его въ искусствѣ, путемъ аисти, «приходить въ мизость у больныхъ баръ».

Можетъ быть, какъ чиновникъ, Луккинъ и могъ вдохновлять своихъ враговъ на злостныя выходки. Говорить же онъ о себѣ: «я родился въ свѣтъ къ принятію одолженій отъ сердецъ великодушныхъ». И онъ съ не мало этихъ одолженій, изъ бѣднаго состоянія некаго, дослужившись до дѣйствительнаго статскаго

Не особенно больш было критикать развѣчивать и драматическія упраж: онъ самъ очень неважного мнѣнія о своихъ пьесахъ.

Но мы должны не забывать,—мы въ XVIII-мъ вѣкѣ. Что это значило для писателя,—намъ извѣстно. Гораздо позже исторіи съ Луккинымъ, два первенствующія и впоследствии также пысокопоставленныхъ автора—Крыловъ и Карамзинъ—заслуживательно вали горькую участь современнаго писателя.

Крыловъ въ одной изъ остроумнѣйшихъ своихъ сказокъ—*Канѣ*, изображалъ матеріальное положеніе усерднѣйшаго одошника. Бѣднякъ успѣлъ прославить множество меценатовъ, но все-таки не нажилъ себѣ даже приличнаго кафтана...

И трудно было достигнуть даже такого благополучія въ томъ обществѣ, гдѣ «удачнѣе можно нескать щастія съ помощію портновна, парикмахера и каретника, нежели съ помощію профессора философіи» \*).

Карамзинъ еще ближе подходитъ къ вопросу.

«Мы начинаемъ только любить чтеніе,—пишетъ онъ,—имя хорошаго автора еще не имѣетъ у насъ такой цѣны, какъ въ другихъ земляхъ; надобно при случаѣ объявить другое право на улыбку пѣжливости и заски» \*\*).

И дальнѣе объясняется, какое право—чины.

Но даже и они не знавали писателямъ препираться другъ съ другомъ пречетъ происхожденія.

\*) *Зритель*, 1792 г., декабрь, стр. 282; май, 41.

\*\*) *Отчетъ въ Россіи мало авторскихъ талантовъ?*

Незнатная персона былъ Тредьяковскій, всего сынъ попа, а между тѣмъ и онъ торопился укорить Ломоносова въ «подломъ» рожденіи. Мы только-что слышали, какъ смотрѣлъ на дѣло самъ *Стародумъ*, благонамѣреннѣйшій проповѣдникъ души и сердца.

Естественно, Лукинъ пробирался въ люди со всею усердіемъ, какое ему доступно. Но успѣхи по службѣ не мѣшали его независимости на поприщѣ литературы.

Здѣсь онъ не признавалъ никакихъ чиновъ, и первый подиялъ руку на славу Сумарокова. Въ глазахъ *Трутня*, несомнѣнно, достойнѣйшаго «злослычника», именно это «дерзновеніе» являлось самымъ тяжкимъ грѣхомъ Лукина.

«Дерзновеніе» не возбуждало бы такого негодованія, если бы дѣйствительно выходило столь неосновательнымъ и комическимъ, какимъ его представляетъ журналъ. У Лукина оказывались *принципы*, настолько убѣдительные и здравые, что именно ихъ внутреннее достоинство невольно признавалось поклонниками русскаго Расина. А подобное сознаніе правоты врага, какъ извѣстно, сильнѣйшій мотивъ ожесточенія.

## XXIX.

Новиковъ совершенно неправъ, укоряя нашего критика въ малограмотности. Напротивъ, Лукинъ обладалъ, пожалуй, болѣе обширною *грамотой*, чѣмъ издатель *Трутня*.

Онъ зналъ два новыхъ языка—французскій и нѣмецкій, и одинъ древній—латинскій. И что особенно важно, эта ученость, очевидно, усвоена Лукинымъ самостоятельно, по глубокой склонности «къ словеснымъ наукамъ». Надъ нимъ не тяготѣла педагогическая учёба, въ литературѣ и въ эстетикѣ онъ дилеттантъ и стоитъ гораздо ближе къ жизни, чѣмъ къ книгамъ. Онъ прежде всего чиновникъ, т.-е. практическій дѣятель, членъ общества, и потомъ уже писатель.

Фактъ очень важный.

Въ нашей старой литературѣ безпрестанно можно встрѣтить разсужденія о необходимыхъ достоинствахъ настоящаго писателя, о способахъ развитія литературный талантъ. Самые свѣдущіе наблюдатели, напримѣръ, Карамзинъ и Жуковскій, даютъ одни и тѣ же отвѣты.

Писатель долженъ жить въ обществѣ, чтобы совершенствоваться своей вкусомъ и вырабатывать языкъ. Конечно, и Карамзину, и Жу-

ковскому извѣстно, какъ трудно русскому литератору выполнить эту программу. Прежде всего, его могутъ не пустить въ хорошее общество, а потомъ—ему и нечему научиться здѣсь по части языка: здѣсь говорятъ по-французски и не желаютъ знать родной рѣчи.

Такъ было въ прошломъ вѣкѣ и долго оставалось позже, до тѣхъ поръ, пока *просвѣщенное общество* перестало совпадать съ *карамзинскимъ большимъ свѣтомъ*.

Но сущность идеи совершенно правильная.

Наши классики—фанатическіе буквоѣды и копировальщики чужихъ мыслей и произведеній, прежде всего, благодаря полной оторванности отъ современной общественной жизни, все равно, какова бы она ни была. Литераторы прошлаго вѣка—своего рода цехъ, отчасти каста, осужденная на исключительно кабинетную работу, на производство разныхъ словесныхъ и книжныхъ хитростей. И чѣмъ писатель больше осуществляетъ свое отшельническое назначеніе, тѣмъ онъ педантичнѣе и неподвижнѣе въ своихъ профессиональныхъ взглядахъ, тѣмъ онъ покорнѣе книжному авторитету.

Напротивъ, чѣмъ писатель ближе къ живой дѣйствительности, чѣмъ онъ общественичѣе, тѣмъ свободнѣе его отношеніе къ искусству. И не случайно основатели новыхъ школъ въ старой русской литературѣ какъ разъ одновременно—и писатели, и «свѣтскіе люди».

Этого сліянія способностей и требовалъ Жуковскій, но далеко не всѣмъ оно было доступно. Ему самому и Карамзину посчастливилось больше другихъ, и въ результатѣ выиграла авторская свобода и даже внѣшняя красота произведеній.

Мы, конечно, не должны преувеличивать благотѣльныхъ вліяній свѣтской жизни на старую литературу. Мы знаемъ, большому свѣту отнюдь было не по силамъ вызвать, даже оцѣнить настоящее жизненное искусство. Свѣтъ до конца не выходилъ изъ заколдованнаго круга лжи и забавы, считая литературу чисто эстетическимъ и увеселительнымъ украшеніемъ своего безпечальнаго существованія.

Но мы и не говоримъ объ идейномъ внутреннемъ преобразованіи художественнаго творчества, а только о внѣшнихъ успѣхахъ словесности. Устраненіе педантизма и схоластики было несомнѣннымъ движеніемъ впередъ, и оно совершалось не профессорами элоквенціи, а людьми не столь глубокомысленнаго, но за то болѣе реальнаго міра.

Лукинъ одинъ изъ его питомцевъ.

Лучшую пьесу онъ написалъ по личнымъ опытамъ. Это—совершенная новостъ въ русской литературѣ, вплоть до Грибоедова. Правда, Крыловъ и особенно Фонвизинъ могли взять нѣсколько *подлинниковъ* изъ жизни въ свои произведенія, но это отдѣльныя черты и фигуры на ихъ картинахъ. Лукинъ, не обладая талантами своихъ современниковъ, стремится перенести на сцену цѣлую жизненную драму съ ея героями и эпизодами, лично ему извѣстными и подробно изученными.

Въ предисловіи къ *Моту* авторъ сознается, что онъ самъ «въ своемъ вредномъ ремеслѣ долго упражнялся», видѣлъ губительные плоды страсти и вознамѣрился воспользоваться своими наблюденіями для общей пользы. Лукинъ рисуетъ ползую картину игорной комнаты. Онъ не можетъ забыть многочисленныхъ фигуръ, немногихъ счастливицевъ и большинства несчастныхъ, истощенныхъ и разбитыхъ своими неудачами... Впечатлѣнія были до такой степени сильны, что авторъ навсегда бросилъ игру.

Слѣдовательно, предъ нами въ полномъ смыслѣ драма правовъ, но, къ сожалѣнію, только по замыслу. У Лукина несравненно больше добрыхъ намѣреній, чѣмъ силъ осуществить ихъ. И недостатокъ художественнаго таланта подорвалъ всѣ его усилія.

А между тѣмъ, они по существу направлены противъ всякой литературной школы, разсчитаны на полное преобразование языка и содержанія русской комедіи, совпадаютъ, слѣдовательно, съ позднѣйшей дѣятельностью Грибоедова. Но какая разница между *подлинниками Моты* и *портретами Гора отъ ума*.

Лукинъ также вывелъ на сцену дѣйствительныхъ лицъ, какъ и Грибоедовъ, но дѣйствительность воспроизводить оставалось почти исключительно актерамъ при помощи костюмовъ и внѣшней игры. Типа, души, цѣльнаго явленія не было въ самой драмѣ и только это обстоятельство помѣшало Лукину предвосхитить дѣло Грибоедова.

Послушайте разсужденія Лукина, обратите вниманіе на его желаніе найти доказательства не у Буало или иного книжнаго авторитета, а у публики. Онъ ссылается даже не на Вольтера, а на впечатлѣнія какихъ-то безвѣстныхъ зрителей. На сцену, слѣдовательно, выступаетъ та самая сила, которая впоследствии рѣшитъ будущее грибоедовской свободы и пушкинскаго права.

Лукинъ писалъ:

«Мнѣ всегда несвойственно казалось слышать чужестранныя рѣченія въ такихъ сочиненіяхъ, которыя должны изобража-

женіемъ *нашихъ нравовъ* исправлять не только общіе всего свѣта, но *богіе участіе нашего народа пороки*. И неоднократно слышалъ я отъ нѣкоторыхъ зрителей, что не только ихъ разсудку, но и слуху противно бываетъ, ежели лица хотя по нѣсколько на наши нравы походящія, показываются въ представленіи *Клитандромъ*, *Цитодиною* и *Клодиною*, и говорятъ рѣчи, не *наши поведенія* имѣющія. Негодованіе сихъ зрителей давно почитаю я правильнымъ».

Лукинъ указываетъ нѣкоторыя частности, прямо касающіяся Сумарокова, одного изъ усерднѣйшихъ «кратуновъ» французской комедіи.

У него слуги филоз  
заключались свадебные  
намъ и обычаиъ.

хуже господъ, при бракахъ  
евѣдомые по русскимъ зако-

Заключеніе выходило

оскорбительное для того же

россійскаго Вольтера: «Мы на се  
комедіи еще не видали».

ъ языкѣ свойственныхъ намъ

Лукинъ даже изумлялся, какъ русская публика, при всехъ ея невѣжествахъ, не чувствуетъ отвращенія къ современной комедіи.

Улики въ плагіатѣ особенно чувствительны. Ихъ не могъ выносить даже Вольтеръ, и именно онѣ были главной причиной его озлобленія на Фрерона.

Что же чувствовалъ Сумароковъ, когда читалъ въ предисловіи къ *Пустомелю*, что русскія классическія комедіи «на нашъ языкъ почти силою втащены»?—«Полю, ниятъ такой вѣкъ, что и во всемъ свѣтѣ тѣ лишь знатными писателями и называются, которые лучше прочихъ выкрадутъ и искусенько прикрывши выдадутъ за свое сочиненіе»...

Самъ Лукинъ не скрываетъ своихъ заимствованій.

Но вся бѣда и была въ необходимости этихъ заимствованій, хотя бы и совершенно откровенныхъ. Но крайне бѣдному драматическому дарованію Лукинъ могъ только «склонять на наши нравы» чужія пьесы, т. е. заниматься передѣлками, выбрасывать изъ французскихъ комедій специально французское и вставлять кое-гдѣ «свойственное намъ». Выходила тоже въ сущности «изъ вѣтоши перекропышь».

И естественно Сумарокову и его почитателямъ притязанія Лукина казались совершенно неосновательными, а критика—обидной.

Лукинъ открыто выражалъ пренебреженіе къ авторитету Сумарокова, вообще не считалъ нужнымъ считаться со вкусами ста-

рыхъ писателей, генераловъ отъ литературы. Онъ не желаетъ пресмыкаться въ ихъ переднихъ и домогаться ихъ руководства и исправленій въ литературной работѣ. Старовѣры ничему его не могли научить, а пьесы только исказить «шапегенскими стихами».

Это неслыханный либерализмъ! Преемственность педантического цеха отметалась, и во имя чего же? Зрителей, и не только почтенныхъ, а даже во имя презрѣнной черни.

Лукинъ, порвавши съ аристократическимъ классицизмомъ, неизбежно долженъ былъ придти къ вопросу о самой широкой демократизаціи литературы. Единственной опорой для него оставалась публика, и притомъ менѣе всего зараженная предразсудками, т. е. на языкѣ XVIII вѣка — совсѣмъ не просвѣщенная.

Отсюда — сочувствія Лукина къ народу, къ его судьбѣ и его языку.

Аристократъ Тредьяковскій съ презрѣніемъ выговаривалъ «ямщицей вздоръ» и «мужичкой бредъ», Лукинъ именно у ямщиковъ и мужиковъ будетъ учиться русскому языку. Онъ жалѣетъ, что мало живалъ и разговаривалъ съ мужиками. Для него — крепостные крестьяне — достойныя сожалѣнія жертвы знатныхъ тунеядцевъ, «невинные земледѣльцы», чья «кровь течетъ съ раззолоченныхъ каретъ». Онъ признаетъ этихъ «животныхъ для себя равнымъ созданіемъ»...

Достаточно этихъ идей, чтобы поставить Лукина на недостижимую высоту не только надъ классиками, но и надъ позднѣйшими самыми трогательными апостолами литературной чувствительности.

Лукинъ стремится оправдать свои мысли на практикѣ. Онъ ведетъ упорную войну противъ иностранныхъ словъ, онъ питаетъ къ нимъ «полное отвращеніе» и усиливается замѣнять ихъ русскими.

Замѣна эта далеко не всегда удачна и самъ авторъ сознается, что его изобрѣтенія иной разъ непонятны зрителямъ. Но они необходимы «для познанія силы, пространства, а иногда и красоты природнаго языка».

Лукинъ готовъ всѣ простыя сословія вывести на сцену съ ихъ рѣчью. У купцовъ онъ заимствуетъ слово *Щепетильникъ* для французскаго *Bijoutier*, и въ этой же пьесѣ заставляетъ дѣйствовать мужиковъ съ ихъ провинціальными говорами. Публикѣ приходилось вмѣсто новомодныхъ словъ по французскому образцу слышать врядъ ли болѣе для нея понятныя выраженія отечественнаго происхожденія, въ родѣ: *сарынь*, *галчить*, *вздынуть*, *галиться*...



Это очень смѣло со стороны драматурга XVIII вѣка. Но смѣлость Лукина—вполнѣ обдуманная и серьезная планъ. Для него народъ—дѣйствительно герой и публика. Когда въ Петербургѣ, въ 1765 году, открылся народный театръ и сразу приобрѣлъ большую популярность, Лукинъ торжествовалъ.

Онъ взглянулъ на новое учрежденіе, какъ на истинную школу нравственности и даже народнической литературы.

«Сія народная потѣха, — писалъ онъ, — можетъ произвести у насъ не только зрителей, но со временемъ и писцовъ, которые сперва хотя и неудачны будутъ, но въ послѣдствіи исправятся».

Мы можемъ судить по собственнымъ разсужденіямъ Лукина, въ какой степени «писцы» нуждались въ исправленіи, начиная съ самого критика.

Лукинъ не обладалъ даже хорошимъ литературнымъ стилемъ. Отъ его предисловія вѣетъ какимъ-то канцелярскимъ духомъ, будто подъячій составляетъ хитрую казенную бумагу, а не писатель доказываетъ столь благотворныя и прогрессивныя идеи.

### XXX.

О прогрессивности идей Лукина можно судить уже по чувствамъ, съ какими современные гении и аристархи встрѣтили и сопровождали ихъ автора. Но у него были и сторонники.

Они, конечно, не считали нужнымъ подчеркивать свою связь съ ненавистнымъ *Стозмьемъ*, осмѣяннымъ даже за свою вѣщность. Но въ журналахъ, современныхъ тому же *Трутню*, усердному защитнику Сумарокова, встрѣчаются иногда совершенно лужинскія мысли.

Напримѣръ, во *Всякой всячинѣ*, издаваемой Козпцкимъ, адъютантомъ академіи, очень дѣлательнымъ переводчикомъ и въ послѣдствіи сотрудникомъ Екатерины, повторялась любимая идея Лукина насчетъ *нравовъ* компилятивной комедіи.

«Я думаю», писалъ критикъ, «что не въ однѣхъ книгахъ должно держаться сего правила, чтобы русскимъ представлять русскія умоначертанія, но и въ позорищахъ. Ибо маркизь на русскомъ театрѣ упи деретъ, а къ свадебному контракту тетушка моя смысла не привязываетъ».

Еще любопытнѣе критика *С.-Петербургскаго Вѣстника*.

Журналъ издавался въ теченіе трехъ лѣтъ съ 1778 года вѣкинымъ Брайко.



Издатель понималъ значеніе литературной критики и серьезно поставилъ этотъ отдѣлъ въ своемъ журналѣ. Публикѣ обѣщались безпристрастныя сужденія объ авторахъ, «не смотря ни на чинъ, ни на свойства, ни на славу». Но не имѣлась въ виду рѣшительность приговоровъ.

Журналъ принималъ во вниманіе «трудности» молодой литературы, отсутствіе у русскихъ писателей образцовъ, «полныхъ словарей и хорошихъ первоначальныхъ произведеній». Въ силу этихъ соображеній журналъ имѣлъ «больше склонности хвалить, нежели порочить».

Но уже это заявленіе выходило нѣкоторымъ «порокомъ» хотя бы для того же всесторонняго образца Сумарокова. И дѣйствительно, въ самомъ началѣ *Вѣстникъ* обвинялъ знаменитаго драматурга, что онъ «не употребилъ достаточнаго старанія прилежнѣе разобратъ наши нравы».

Еще ближе стоялъ къ идеаламъ Лукина поэтъ Львовъ, его младшій современникъ.

Опять полная свобода отъ педантизма и официальной учености. Львовъ—членъ поэтического кружка, другъ Державина, Капниста, Хемницера. Это нѣчто въ родѣ домашней академіи, и трудно было, конечно, при участіи Державина поклоняться Буало. Здѣсь несравненно больше мѣста дѣйствительно поэтическому вдохновенію, свободному художественному чувству, и Львовъ является первымъ критикомъ-поэтомъ національнаго направленія.

Въ сущности опять только продолженіе ранняго теченія.

Тредьяковскій восхищался *размахомъ* русскихъ пѣсень, т. е. ихъ *формой*, Львовъ почувствовалъ красоту ихъ *содержанія* и прелесть ихъ *напѣва*, т. е. открылъ въ нихъ не правила пѣтики, а силу творчества.

Въ этомъ отношеніи Львовъ—предшественникъ всѣхъ ученыхъ и художественныхъ цѣнителей народной поэзіи. Фактъ, достойный полнаго вниманія, если мы вспомнимъ, съ какимъ трудомъ много лѣтъ спустя даже Бѣлинскій дошелъ до пониманія предмета.

Львовъ умѣлъ оцѣнить русскія пѣсни и съ бытовой, психологической стороны. Для него это не праздное упражненіе фантазіи и чувства, а въ высшей степени поучительный культурный матеріалъ.

Такая идея въ эпоху, когда все простонародное на самый либеральный взглядъ могло представлять развѣ только нѣкій курьезъ, въ родѣ достопримѣчательностей ирокезскаго быта, великій про-

Это очень смѣло со стороны драматурга XVIII вѣка. Но смѣлость Лукина—вполнѣ обдуманная и серьезная планъ. Для него народъ—дѣйствительно герой и публика. Когда въ Петербургѣ, въ 1765 году, открылся народный театръ и сразу приобрѣлъ большую популярность, Лукинъ торжествовалъ.

Онъ взглянулъ на новое учрежденіе, какъ на истинную школу нравственности и даже народнической литературы.

«Сія народная потѣха, — писалъ онъ, — можетъ произвести у насъ не только зрителей, но со временемъ и писцовъ, которые сперва хотя и неудачны будутъ, но въ послѣдствіи исправятся».

Мы можемъ судить изъ какихъ-то разсужденій Лукина, въ какой степени чисты и исправленіи, начиная съ самого критика.

Лукинъ не обладалъ литературнымъ стилемъ. Отъ его предисловія въ какомъ-то канцелярскомъ духомъ, будто подъячій составляетъ хитрую казенную бумагу, а не писатель доказываетъ столь благотворныя и прогрессивныя идеи.

### XXX.

О прогрессивности идей Лукина можно судить уже по чувствамъ, съ какими современные гении и аристархи встрѣтили и сопровождали ихъ автора. Но у него были и сторонники.

Они, конечно, не считали нужнымъ подчеркивать свою связь съ ненавистнымъ *Столыпинымъ*, осмѣяннымъ даже за свою вѣщность. Но въ журналахъ, современныхъ тому же *Трутину*, усердному защитнику Сумарокова, встрѣчаются иногда совершенно лукинскія мысли.

Напримѣръ, во *Всякой всячинѣ*, издаваемой Козницкимъ, адъюнктомъ академіи, очень дѣлательнымъ переводчикомъ и впоследствии сотрудникомъ Екатерины, повторялась любимая идея Лукина насчетъ *нравовъ* компилятивной комедіи.

«Я думаю», писалъ критикъ, «что не въ однихъ книгахъ должно держаться сего правила, чтобы русскіе представлять русскія умоначертанія, но и въ позорищахъ. Ибо маркизъ на русскомъ театрѣ уши деретъ, а къ свадебному контракту тетюшка моя смысла не привязывается».

Еще любопытнѣе критика *С.-Петербургскаго Вѣстника*.

Журналъ издавался въ теченіе трехъ лѣтъ съ 1778 года вѣжникомъ Брайко.

Издатель понималъ значеніе литературной критики и серьезно поставилъ этотъ отдѣлъ въ своемъ журналѣ. Публикѣ обѣщались безпристрастныя сужденія объ авторахъ, «не смотря ни на чинъ, ни на спосібъ, ни на славу». Но не имѣлась въ виду рѣшительности, готовящійся.

Журналъ принималъ во вниманіе «трудности» молодой литературы, отсутствіе у русскихъ писателей образцовъ, «полныхъ словарей и хорошихъ первоначальныхъ произведеній». Въ силу этихъ соображеній журналъ имѣлъ «больше склонности хвалить, нежели порочить».

Но уже это заявленіе выходило нѣкоторымъ «порокомъ» хотя бы для того же всесторонняго образца Сумарокова. И дѣйствительно, въ самомъ началѣ *Вѣстникъ* обвинялъ знаменитаго драматурга, что онъ «не употребилъ достаточнаго старанія прилежно разобратъ наши нравы».

Еще ближе стоялъ къ идеаламъ Лукина поэтъ Львовъ, его младшій современникъ.

Опять полная свобода отъ педантизма и официальной учености. Львовъ—членъ поэтическаго кружка, другъ Державина, Капниста, Хемницера. Это нѣчто въ родѣ домашней академіи, и трудно было, конечно, при участіи Державина поклоняться Буало. Здѣсь несравненно больше мѣста дѣйствительно поэтическому вдохновенію, свободному художественному чувству, и Львовъ является первымъ критикомъ-поэтомъ національнаго направленія.

Въ сущности опять только продолженіе ранняго теченія.

Тредьяковскій восхищался *размысломъ* русскихъ пѣсень, т. е. ихъ *формой*, Львовъ почувствовалъ красоту ихъ *содержанія* и прелесть ихъ *напѣва*, т. е. открылъ въ нихъ не правила поэтики, а силу творчества.

Въ этомъ отношеніи Львовъ—предшественникъ всѣхъ ученыхъ и художественныхъ цѣнителей народной поэзіи. Фактъ, достойный большаго вниманія, если мы вспомнимъ, съ какимъ трудомъ много лѣтъ спустя даже Бѣлинскій дошелъ до пониманія предмета.

Львовъ умѣлъ оцѣнить русскія пѣсни и съ бытовою, психологической стороны. Для него это не праздное упражненіе фантазіи и чувства, а въ высшей степени поучительный культурный матеріалъ.

Такая идея въ эпоху, когда все простонародное на самый либеральный взглядъ могло представлять развѣ только нѣкій курьезъ въ родѣ достопримѣчательностей прокескаго быта, вообщѣ

гресеть по единственно вѣрному пути національнаго развитія литературы и общественной мысли.

И Львовъ, дѣйствительно, своей поэзіей напоминаетъ отчасти позднѣйшее славянофильство. У него нѣтъ партійнаго фанатизма, но его гимны русскому духу не лишены наивности, нѣкотораго задора, свойственнаго пелякому молодому идеализму.

Тѣмъ болѣе, что у Львова были весьма основательныя побужденія внасть даже въ еще болѣе принудительный тонъ.

Галлозанія вышенаг — орнада его до бози сердца, и  
русскій духъ, изгнанны — го свѣта, такъ изображаетъ  
у нашего поэта свою

Поклонилъ... — никамъ  
Поселился жить въ чистомъ воздухѣ  
Посреди поля съ православными.  
И прижалъ къ сердцу землю русскую  
И нону ее припѣваячи;  
Позовутъ меня—я откликнуся,  
Оглянусь, но незнакомъ никто  
Ни одеждою, ни поступками.

Естественно, Львову не нравилась современная литература, жившая чужими указками. Онъ даже Ломоносова отказывается признавать поэтомъ, для него это «сытъ уснѣля», т. е. искусственный слагатель стиховъ и римовъ, не свойственныхъ русскому духу.

Въ поэмі: *Добрыйя Львова* представилъ цѣлую программу національной критики. Подробностей и точныхъ принциповъ здѣсь, конечно, нельзя искать, но основная мысль ляжетъ въ основу всей послѣдующей борьбы русской критики противъ иноземныхъ школъ.

Говоря о формѣ и размѣрахъ русской поэзіи, Львовъ находитъ:

Не аршиномъ нашихъ мѣряны,  
Не по свойству слова русскаго  
Были за моремъ заказаны;  
И глаголь славянъ обильнѣйшій  
Звучной, сильной, плавной, значущій,  
Чтобъ въ заморскую рамку втискаться  
Принужденъ ежомъ жаться, кучиться,  
И лилась красота, жаръ, воляности;  
Соразмѣрнаго силъ поприща,  
Гдѣ природою суждено ему  
Неподвижной путь течь со словою,  
Тамъ калѣкою онъ щетинится;  
Отъ уличнаго жъ еще троютъ  
Слова мѣрзота, нечистоты, болтовни

Рѣчь поэта не всегда такъ спокойна. Подчасъ онъ теряетъ терпѣніе и задаетъ энергическій вопросъ русскимъ литераторамъ:

Такъ зачѣмъ же намъ надѣяться такъ,—

Биться палицей съ ахилеею?

Это даже сильнѣе грибоѣдовской отповѣди «глупостямъ» классицизма!

Такъ постепенно пробивалась истина сквозь толстую кору подражательскаго фанатизма и рабскихъ инстинктовъ литературы и самихъ литераторовъ. И каждый проблескъ истины, мы видимъ, неизмѣнно стоитъ въ тѣснѣйшей связи не съ эстетикой, а съ публицистикой.

Сильнѣйшіе удары литературному школярству наносятъ писатели, возмущенные европейскими вліяніями на русскіе нравы. Прежде всего оскорбляется ихъ національное и патріотическое чувство, а потомъ уже гнѣвъ переносится и въ область искусства. Чисто-художественный вопросъ, слѣдовательно, на русской почвѣ превращается въ культурный и позже прямо политическій.

Сходное движеніе совершалось и на Западѣ. И тамъ борьба школъ сводилась къ борьбѣ сословіи, драма одолѣла классицизмъ на сценѣ, потому что она была *мищанская*, а классицизмъ — *аристократическій*.

У насъ о сословной борьбѣ не могло быть и рѣчи въ эпоху ранняго развитія литературы, но *національный* протестъ являлся совершенно естественнымъ. Онъ не миновалъ даже преданнѣйшихъ учениковъ западныхъ авторитетовъ, и въ результатѣ съ самаго начала интересъ эстетики, вообще, литературнаго развитія неразрывно слился съ идеей національности. И отъ роста и опредѣленія именно этой идеи зависѣли успѣхи нашей критики. Мы увидимъ, — рѣшительный моментъ ея освобожденія совпалъ съ великимъ національнымъ движеніемъ, съ эпохой отечественной войны. На помощь пришло не мало и другихъ стихій, но всѣ онѣ утверждались, создали совершенно новый кругъ идей и новую теоретическую почву для новой литературы, благодаря побѣдѣ національнаго принципа надъ чужебствомъ.

У Лукина и Львова эта связь идей несомнѣнна, но они раніе, передовые путники на широкой дорогѣ будущаго, и потому ихъ націонализмъ не производитъ цѣльнаго, безусловно внушительнаго впечатлѣнія. Рѣчи ихъ очень энергичны, но мысли дурно оформлены и смутно доказаны. У того и у другого слишкомъ много чувствъ и настроеній въ ущербъ разсужденію и доказательствамъ.

А потомъ у Лукина почти совсѣмъ не было сатирическаго таланта столь необходимаго для побѣдоносной борьбы за національную идею, а Львовъ не изъявлялъ притязаній играть роли критика.

Болѣе сильный союзъ сатиры и критики представилъ крыловскій журналъ *Зритель*. Онъ на своихъ страницахъ поднялъ въ высшей степени любопытную и серьезную полемику по вопросу національнаго и подражательнаго искусства. Это—первый примѣръ идейной борьбы между сотрудниками одного и того же журнала. Очевидно, ни въ обществѣ, ни въ самой редакціи не было еще рѣшительнаго отвѣта на жгучій вопросъ. Крыловъ предоставилъ современнымъ к сказаться иногда, сподобно,  
будто обращаясь за око применіемъ къ самой публикѣ.

Въ чемъ заключались критическія воззрѣнія знаменитаго баснописца,—вопросъ существенный при его художественной талантливости, и въ то же время очень трудный.

Что Крыловъ противникъ подражательности, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Въ томъ же *Зрителѣ* нанесено безчисленное множество жесточайшихъ ударовъ русскому модному обезьянству, и притомъ не ради только сатиры, а во имя гуманнаго общественнаго чувства. *Зритель* держался искренняго демократическаго направленія, и въ каждой книгѣ преслѣдовалъ дворянское тупеядство, рабское пристрастіе къ разорительному блеску, къ иноземнымъ модамъ, и особенно—полное отсутствіе умственныхъ интересовъ въ благородной средѣ.

Въ списокъ подписчиковъ на «Зритель» наименованъ, между прочимъ, хозмогорскій дворянскій крестьянинъ Степанъ Матвѣевичъ Негодяевъ. Этотъ рѣдкостный подписчикъ могъ съ большимъ удовольствіемъ читать сатирическія сказки и рѣчи издателя.

Въ августѣ, напримѣръ, напечатана статья *Мысли философа по модѣ или способъ казаться разумнымъ, не имѣя ни капли разума*. Здѣсь описанъ день благороднаго франта, изображены его учителя и руководители—французы, обучающіе русскихъ дворянъ «трудной наукѣ ничего не думать» и предварительно кончившіе курсъ на галерахъ. Все воспитаніе сводится къ такой морали:

«Съ самаго начала, какъ станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человѣкъ, что ты дворянинъ и, слѣдовательно, что ты родишься только поѣдать тотъ хлѣбъ, который пошлютъ

твои крестьяны; словомъ, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызаютъ крыльевъ, и что дѣды твои только для того думали, чтобы доставить твоей головѣ право ничего не думать».

И здѣсь, слѣдовательно, предъ нами то же самое отношеніе къ народу, какое мы знаемъ изъ произведеній Лукина. Очевидно, Крыловъ будетъ не менѣе убѣжденнымъ врагомъ современной аристократической живой литературы, чѣмъ авторъ *Щенильника*. У Крылова только насмѣшки выйдутъ несравненно острѣе и ядовитѣе. Это — прирожденный сатирическій талантъ, невозможно переходящій къ убѣдительной художественной критикѣ на меценатское развращеніе современной литературы..

Ничего не можетъ быть забавнѣе разговора калифа Наиба съ авторомъ одъ.

Калифъ начитанъ въ лирической поэзіи, простодушно вѣритъ ея чувствамъ, и теперь, во время путешествія по своему царству, на каждомъ шагу принужденъ испытывать жесточайшія разочарованія.

Оказывается, одописаніе просто ремесло, самое безопасное, хотя не всегда прибыльное. Героемъ оды можетъ быть кто угодно, лишь бы сочинитель могъ питать надежду на награду.

Калифъ пораженъ.

— Мнѣ удивительна способность ваша, — говоритъ онъ поэту, — хвалить такихъ, въ коихъ, по вашему признанію, весьма мало находятъ вы причинъ къ похваламъ.

— О, это ничего: повѣрьте, что это бездѣлица: мы даемъ нашему воображенію волю въ похвалахъ, съ тѣмъ только условіемъ, чтобъ послѣ всякое имя вставить можно было. Ода какъ шелковой чулокъ, которой всякой старается растягивать на свою ногу...

Поэтъ сравниваетъ ее съ сатирой и находитъ громадное преимущество оды. Въ сатирѣ нужно непременно изображать дѣйствительные пороки известнаго лица, а въ одѣ — сколь ни опиши добродѣтелей — никто не откажется признать ихъ своими.

Наивный калифъ видитъ важное затрудненіе: вѣдь могутъ узнать ложь, героевъ одописца счесть пустыми пузырями, имъ же надутыми.

Ничего не значитъ. У поэта имѣется самое солидное оправданіе, изъ классической пѣтики.

— Аристотель иногда очень премудро говоритъ, что дѣйствія и героевъ должно описывать не такими, каковыя они есть, но ка-

ковы быть должны. И мы подражаемъ сему благоразумному правилу въ нашихъ одахъ, иначе бы здѣсь оды превратились въ пасквили. И такъ вы видите, сколь нужно читать правила древнихъ.

Еще любовныя опыты казифа по поводу другого любимого жанра классическаго искусства—идилли и эклоги.

Начитавшись сихъ произведеній, казифъ давно уже горѣлъ желаніемъ насладиться золотымъ вѣкомъ, царствующимъ въ деревняхъ, воочію полюбоваться на нѣжности пастушковъ и пастушекъ. Казифъ искренно ихъ поселятъ и всегда радостно ихъ поселятъ. Государь даже забывъ, казифомъ, говаривалъ о нихъ: «что бы хотѣлъ быти казифомъ?».

И вотъ, онъ, наконецъ, тадо...

«Великой Магометъ», вскричалъ онъ, «я нашелъ то, чего давно искалъ», и сошелъ съ дороги въ поле искать счастливаго смертнаго, который наслаждается при своемъ стадѣ золотымъ вѣкомъ.

Прежде всего требовалось открыть ручеекъ: вѣдь пастушки всегда у чистаго источника наслаждаются любовнымъ блаженствомъ, все равно, какъ модные франты ищутъ счастья въ переднихъ знатныхъ господъ.

Потомъ неразлучный спутникъ идиллическаго счастливца свирѣль.

Казифъ идетъ по полю и на берегу рѣчки действительно находитъ... но кого? Какое-то «запачканное твореніе, загорѣлое отъ солнца, заметанное грязью».

Казифъ даже сначала усумнился, человѣкъ ли это. Но голыя ноги и борода доказывали человѣческое знаніе «творенія».

Все-таки оно не можетъ быть пастухомъ, казифъ спрашивается у грязнаго дикаря, гдѣ же истинный счастливчикъ?

«Это я», отвѣчало твореніе и въ то же время размачивало корку хлѣба, чтобы легче было ее разжевать».

Путешественникъ не можетъ опомниться отъ изумленія. Итъ прежде всего свирѣли: оказывается, пастухъ «голодный не охотникъ до пѣсень». Потомъ отсвѣтуетъ пастушка...

«Она поѣхала въ городъ съ возомъ дровъ и съ послѣднею курицею, чтобы, продавъ ихъ, было чѣмъ одѣться, и не замерзнуть зимою отъ холодныхъ утренниковъ».

Казифъ, наконецъ, догадывается въ чемъ дѣло.

— Но поэтому жизнь ваша очень незавидна?

*Пастухъ отбѣчаетъ ей истиннымъ «холоднымъ утренникомъ»*



— О, кто охотникъ умирать съ голоду и мерзнуть отъ стужи, тотъ можетъ лопнуть отъ зависти, глядя на насъ.

Калифъ жестоко раскаивается, что довѣрялъ идиотамъ и эклогамъ.

Выходить, стихотворцы обходятся съ людьми, какъ живописцы съ холстомъ: мажутъ все, что угодно ихъ воображенію, и безбожно закрашиваютъ правду.

Калифъ даетъ себѣ слово не судить по произведеніямъ поэтовъ о счастіи своихъ мусульманъ.

Трудно искусѣе и остроуміе поразить классическую литературу въ самое сердце. И не одну классическую. Авторъ сказки предвосхитилъ критику противъ русскаго сентиментализма. Разговоръ калифа съ пастухомъ можно съ полнымъ правомъ обратить на Карамзинскую школу, и даже съ бѣльшимъ основаніемъ, чѣмъ на ея предшественницу. Именно Карамзинъ ввелъ въ моду блаженнаго просвѣщеннаго земледѣльца и его нѣжную подругу, онъ создалъ повѣтріе чувствительныхъ вздоховъ и поселянскихъ фарсовъ, и на его литературѣ должна была развиться мечта у юнаго Александра I объ идиллическомъ отшельничествѣ и золотомъ вѣкѣ простого смертнаго.

Ясно, при такомъ проицательномъ взглядѣ на основной недугъ современной литературы, Крыловъ могъ менѣе всего защищать первоисточникъ этого недуга. Писатель являлся слишкомъ талантливымъ общественнымъ сатирикомъ, чтобы остаться эстетическимъ старомодомъ.

Онъ первый изъ русскихъ журналистовъ рискнулъ предложить читателямъ длинный рядъ статей по литературной критикѣ, безъ всякихъ предварительныхъ оповѣщеній о столь обширномъ отдѣлѣ. Въ глазахъ издателя художественные вопросы въ данномъ случаѣ играли роль настоящаго общаго интереса.

И вполнѣ естественно по той связи литературной жизни и общественныхъ представленій, какую раскрывалъ авторъ Каиба.

## XXXII.

Критическія статьи *Зрителя* принадлежатъ не Крылову, а его сотруднику Плавильникову и нѣкому корреспонденту изъ Орла.

Корреспондентъ ставитъ эпиграфомъ къ своимъ очень запальчивымъ разсужденіямъ правило: «Вода безъ теченія зарастаетъ, словесность безъ критики дремлетъ». Это очень смѣлая мысль.

Мы увидимъ, она не скоро получила право считаться правильной въ нашей журналистикѣ. Необходимость и даже пользу критики будутъ отвергать такіе популярныя писатели, какъ Карамзинъ.

Крыловъ, очевидно, держался совершенно противоположнаго взгляда.

Рядъ статей посвященъ театру и драмѣ. Основная идея не новая—послѣ предисловія Лукина. Русскіе не могутъ слѣпо подражать ни французамъ, ни англичанамъ: «мы имѣемъ свои права, свое свойство и, слѣдовательно, имѣемъ право быть свой вкусомъ».

Онъ вопиетъ возмужнѣе автора, у русскихъ не меньше хорошаго, чѣмъ у французскихъ драматурговъ.

Французскія пьесы, природа. Вся ихъ красота въ правдѣ и естественности. Французскія пьесы, природа. Вся ихъ красота въ правдѣ и естественности. Французскія пьесы, природа. Вся ихъ красота въ правдѣ и естественности.

«Есть ли дѣло идти о пожертвованіи единству жеста и времени истинными красотами, то тогда сочинитель погрѣшитъ самъ противъ себя и противу зрителей, представивъ имъ скуку по правиламъ». И авторъ знаетъ не мало пьесъ, написанныхъ безъ правилъ и «полнотой своею» «привлекательныхъ», а пьесы съ правилами «страдаютъ недугомъ сухости».

Критикъ идетъ гораздо дальше. Онъ будто предчувствуетъ грядущій русскій романтизмъ съ его чудовищными эффектами. Онъ предупреждаетъ писателей, что жестокая злодѣянія россиянамъ несвойственны, достаточно изображать порокъ «безъ усиленнаго начертанія» и впечатлѣніе будетъ достигнуто.

Драма защищается безусловно, потому что она ближе къ природѣ, чѣмъ трагедія. Авторъ возстаетъ на авторитетъ Вольтера и Сумарокова «по естеству вещей», т. е. на основаніи наблюдений надъ дѣйствительностью, гдѣ постоянно чередуются смѣхъ и слезы.

Всѣ эти соображенія пересыпаны крайне рѣзкими выходками, не имѣющими ничего общаго съ искусствомъ. А между тѣмъ они первоисточникъ и основной мотивъ всей критики.

Авторъ—прямолинейный патріотъ. Статьи онъ начинается съ тованіемъ на иностранные нравы, магазины, таланты, вызывающіе у русскихъ самыя пристрастныя посторженныя чувства. Посредственный чужой писатель кажется гениемъ, а свой отечественный

талантъ находится въ пренебреженіи. На русской сценѣ представлять скорѣе Чингисъ-хана, чѣмъ героя родной исторіи. У театра во время французскаго представленія вся площадь заставлена шестернями, а русскими интересуются только пѣшеходы.

Неужели разумно «гнушаться ощущеніями, внушенными природой»? И «неужели для всѣхъ народовъ на свѣтѣ природа мать, а для насъ однихъ мачиха, которая не дала намъ никакой собственности?»

Этотъ мучительный вопросъ, очевидно, и вдохновилъ автора на литературную критику. Подъ вліяніемъ оскорбленнаго національнаго чувства, онъ дошелъ до сомнѣній въ классической трагедіи и въ безусловной талантливости французскихъ авторовъ.

Предъ нами въ нѣкоторомъ родѣ психологія Чацкого. Начинаетъ авторъ съ уничтоженія *Судьбы Фигаровой* и прославленія Козьмы Минина, какъ трагическаго героя, а кончаетъ негодованіемъ на иностранныя гусиные чиненныя перья; они продаются дороже многихъ русскіихъ сочиненій!

Достается, конечно, и французскому языку—бѣдному и невыразительному.

Однимъ словомъ, патріотическое настроеніе разливается широкой волной и раздраженнаго публициста превращаетъ въ очень проинимательнаго критика. Но такъ какъ все дѣло именно въ публицистикѣ, а не въ художественномъ чувствѣ и не въ эстетической вдумчивости,—авторъ доводитъ свою критику только до извѣстныхъ предѣловъ, достаточныхъ для удовлетворенія его національнаго идеала.

Въ результатѣ остаются неприкосновенными многіе предразсудки того же французскаго происхожденія. Авторъ, напримѣръ, требуетъ въ драмѣ непремѣнно торжествующей добродѣтели; только тогда нравственный смыслъ будетъ извлеченъ изъ пьесы «во всемъ своемъ блистаніи». Не допускается и Шекспиръ со всеми оригинальными чертами его таланта. У него рядомъ съ «наиблагороднѣйшими трагическими красотами» имѣются такого сорта лица и дѣйствія, коихъ «просвѣщенный вкусъ» одобрить не можетъ.

Въ результатѣ — «Шексперовы красоты подобны молніи, блистающей въ темнотѣ ночи: всякъ видитъ, сколь далеки они отъ блеску солнечнаго въ срединѣ яснаго дня».

Въ послѣдствіи авторъ выразится еще энергичнѣе. Въ отвѣтъ на разсужденія противника онъ заявитъ совершенно въ духѣ только что раскритикованнаго Вольтера и его русскаго почитателя:

«Для героев вы хотите, чтобы родился у нас *Чексигр*... Вот изрядного нашли вы определителя вкуса и видно, что вы, начитавшись, заключаете вкусъ въ тѣсныя предѣлы площадей, рынковъ и кабаковъ».

И это понятно. Авторъ, ратуя за природу, не дерзаетъ признать ея безъ надлежащихъ операций надъ ея безобразіемъ—людей свѣдущихъ. «Белая природа въ своемъ обнаженіи мало привлекательна, авторъ въ украшеніи, кажется, обновляетъ ее».

Очевидно, авторъ не заинтересованъ собственно въ коренномъ преобразованіи искусства, онъ только желаетъ убѣдить соотечественниковъ признать своимъ и годнымъ для театральныя зрѣлища.

Такъ его идею и н корреспондентъ, потерявшій  
всякое терпѣніе отъ па глаголъствовавшій *Зрителя*:  
«нѣтъ мочи моей выдерживать того, что вы пишете»...

Въ Россіи нѣтъ писателей, равныхъ Расину, Корнелю и Вольтеру. нѣтъ и произведеній, способныхъ соперничать съ французскими. Что же смотреть русской публикѣ?

Не только нечего въ настоящее время, но, вѣроятно, и долго еще не будетъ созданъ русскій вкусъ по очень явнымъ причинамъ.

Русскимъ авторамъ негдѣ брать литературныхъ мотивовъ. Большой свѣтъ въ Россіи болѣе иностранный, чѣмъ русскій, сельскіе жители копятся въ дыму... Не захочетъ же авторъ-патріотъ видѣть въ оперѣ четырехъ пьяныхъ женщинъ съ ядовитомъ и съ площадными пѣснями. А это картины «въ самохъ природномъ видѣ, достойныя кисти какого-нибудь фламандскаго живописца».

Авторъ предупреждаетъ русскихъ патріотовъ отъ неразумнаго увлеченія отечественнымъ просвѣщеніемъ, художествами, науками. Пріѣхъ крайне ослѣпленный подобное самохвалство. Рѣчь автора въ высшей степени любопытна: она долго будетъ повторяться въ русской публицистикѣ. Мы будто присутствуемъ при зарожденіи междоусобицы западниковъ и славянофиловъ.

«Прекрасное средство», восклицаетъ авторъ, «ободрять науки, говоря, что намъ не нужно болѣе учиться! Не лучше ли изъ любви къ соотечественникамъ показывать ихъ недостатки и, устыжая ихъ томною сонливостью, воспламенить желаніе углубляться въ науки, дабы слава нашего непритворнаго просвѣщенія сравнилась со славою русскаго оружія».

Прекрасныя мысли! Подъ ними, несомнѣнно, подписался бы самъ Крыловъ. По крайней мѣрѣ, къ нему отнюдь не могъ относиться

упрекъ въ равнодушномъ отношеніи къ недостаткамъ соотечественниковъ. Всѣ статьи издателя преисполнены сатирическаго духа и каждая изъ нихъ безпощадный приговоръ надъ притворнымъ просвѣщеніемъ.

Упрекъ слѣдовало направить по адресу противника *Зрителя*, его московскаго конкурента, журнала по преимуществу восторженнаго, лирическаго и склоннаго ко всякаго рода самообольщенію личному и патріотическому.

И какъ велика оказывалась разница въ критическихъ возрѣніяхъ того и другаго изданія, прямо въ зависимости отъ того, что одинъ издатель—первостепенный сатирикъ своего времени, а другой всѣми силами открещивался отъ сатиры! «Расположеніе души моей», заявлялъ онъ публикѣ, «слава Богу, совсѣмъ противно сатирическому и бранному духу».

Для благодушнаго автора, очевидно, сатира и брань казались тождественными и одинаково предосудительными.

Мы заранее можемъ угадать результаты.

*Зритель* именно на почвѣ сатиры вооружился противъ фальшивыхъ направленій литературы. Сатирической, общественно-отрицательной духъ заставилъ его осмѣять оду и идиллію, негодованіе на модное воспитаніе вооружило его на классическую трагедію и ея теорію. Чтобы показать всю уродливость маніи подражанія, логически требовалось обнаружить несостоятельность того, чему подражали. И русскіе націоналисты невольно догадывались о сухости классическихъ пьесъ, о прозаичности французскихъ стиховъ, о посредственности многихъ иноземныхъ авторовъ. Собственно развивался не вкусъ самъ по себѣ, а здравый смыслъ направлялъ свою критику въ область вкуса.

Этого на первое время вполне достаточно.

Французскія теоріи до такой степени противорѣчили именно разсудку и логикѣ, независимо отъ ихъ художественныхъ изъяновъ, что стоило умному наблюдателю отважиться отрицать и противорѣчить, и священное зданіе начинало колебаться. Отвага же внушалась патріотическимъ гнѣвомъ, даже въ сильнѣйшей степени, чѣмъ это требовалось для чисто-литературнаго протеста.

Отсюда ясны заслуги русской сатиры въ критикѣ, т. е. *художественнаго* дарованія и *публицистическаго* направленія журналистовъ. И то, и другое были на столько существенными, рѣшающими силами, что сатирическія статьи крыловскаго журнала по части критики, по крайней мѣрѣ на десять лѣтъ опередили чисто-

художественныхъ суждей современной литературы и заранее указали путь борьбы съ новымъ россійско-европейскимъ пошлѣтїемъ, смѣнявшимъ классицизмъ,—съ карамзинской чувствительностью.

Зритель находился въ дѣятельной полемикѣ съ *Московскимъ журналомъ* Карамзина. Поводъ, какъ увидимъ, на первый взглядъ частный и незначительный, но причина полемики несравненно глубже. Предъ нами два совершенно различныхъ критика по направленію и даже по личной психологїи. Одинъ,—оптимистъ и чистый эстетикъ, другой—мрачнѣйшихъ и, слѣдовательно, цѣлителей дѣйствительности и нѣй чистому искусству и выпрепнаго сердца.

Въ исторїи русской литературы мало прихвронъ такого единодушнаго и безпошаднаго томства надъ когда-то знаменитымъ и безусловно даровитымъ писателемъ, какъ приговоръ надъ Карамзинымъ.

Трудно представить, на какой высотѣ стояло имя автора *Будной Лизы* въ послѣдніе годы его жизни. Это—настоящій культъ, религіозно-неприкосновенный и, повидимому, навсегда непоколебимый. «Исторїографъ Россійской имперїи»,—такъ оффиціально именовался Карамзинъ,—уже этимъ именованіемъ вселялъ въ сердца современниковъ нѣкоторый трепетъ и благоговѣніе. Никому столько не разсыпалось самыхъ лестныхъ эпитетовъ, въ родѣ *великій*. Поэты, дамы и государственные мужи на этотъ разъ сошлись въ единодушномъ преклоненїи...

Но еще не успѣла слава Россїи испустить послѣдній вздохъ, какъ откуда-то послышались довольно странныя и неожиданныя рѣчи. Оказалось, далеко не пѣхъ загинотизировало красноубѣе историка, даже больше,—какъ разъ краспорѣе оказалось злополучѣйшимъ наслѣдствомъ писателя.

И здѣсь также обнаружилось удивительное единодушіе. Бузгаринъ шелъ рядомъ съ Полсвымъ, и даже Погодинъ, позже Гомеръ исторїографа, печатаетъ въ своемъ журналѣ уничтожающую и жестокую критику на *Исторїю Государства Россійскаго*.

Все это происходитъ въ теченіе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, но до такой степени эвергично и цмассообразно, что капитальнѣйшїй трудъ Карамзина оказываетъ плодотворнѣйшую отрицательную критику русской истинѣ и вообще русскому искусству.

Статьи, посвященные таланту и работѣ историка, безусловно самыя дѣльныя и самыя значительныя по результатамъ изъ всего критическаго матеріала первыхъ десятилѣтій текущаго столѣтія. И какъ разъ потому, что статьи эти были вызваны многочисленными недостатками историческаго произведенія Карамзина. Именно выясненіе не достоинствъ, а пороковъ *Исторіи*—изоцирило перо критиковъ и установило основныя принципы будущей русской литературы.

Какъ это могло произойти по поводу столь знаменитаго и талантливаго писателя?

Таланты Карамзина не только велики, но и крайне разнообразны. Онъ—стихотворецъ, журналистъ, т. е. критикъ и политическій мыслитель, авторъ повѣстей, наконецъ, ученый. И во всѣхъ областяхъ онъ всю жизнь стоитъ чуть ли не на первомъ мѣстѣ среди современниковъ. Объ этомъ фактѣ свидѣлствуетъ всякое историческое сообщеніе и воспоминаніе его читателей. Мы, пересматривая журналы Карамзина, на поляхъ противъ его произведеній безпрестанно встрѣчали восторженные восклицанія давно сошедшихъ въ могилу поклонниковъ и, вѣроятно, болѣе всего поклонницъ «миллаго Карамзина». Его біографъ упоминаетъ о громадныхъ успѣхахъ писателя въ дамскомъ обществѣ, и мы можемъ судить, на сколько это справедливо, по многочисленнымъ посланіямъ: къ Фидлидѣ, къ Аглаѣ, къ Хлоѣ, къ Деліи, къ жестокой, къ невірной, къ вѣрной, къ графинѣ Р., къ госпожѣ П—ой, или просто къ Алинѣ... Это—цѣлый букетъ цвѣтовъ и грацій!

До Карамзина ничего подобнаго не испытывали русскіе литераторы. Очевидно, это—настоящій любимецъ публики, писатель дѣйствительно популярный и даже уважаемый.

Достаточно одного такого вывода, чтобы мы почувствовали себя въ совершенно новой эпохѣ русской литературы. Что общаго между шутковскими спектаклями пѣтъ и профессоровъ и блестящими свѣтскими побѣдами издателя *Аглаи*!

И вотъ здѣсь-то именно начинаются и—кончаются «безсмертныя» литературныя заслуги Карамзина. Онъ первый создалъ большую публику для книги и журнала. Онъ первый показалъ русскому обществу музъ не въ уродливомъ затрапезномъ костюмѣ педантическаго скрипучаго риомонлетства, а въ легкомъ изящномъ уборѣ поэтической чувствительности и музыкальнаго свободного прекраснословія.

Немногого, конечно, стоили Аглаи Хлои и Фидлиды, какъ и



пительницы литературы, но разъ онъ читалъ, писателю приходилось непременно пристально заботиться прежде всего о стилѣ, о языкѣ. Онъ неизбѣжно становился до послѣдней степени удобочитаемымъ, интереснымъ, по крайней мѣрѣ, по формѣ. Да, въ сущности, главнѣе всего по формѣ. Гдѣ же Филлидъ гоняться за особенно серьезнымъ и живучимъ содержаніемъ!

Держанинъ написалъ стихотвореніе въ честь Карамзина, еще юного писателя. Стихи заканчивались такими напутственнымъ патріарха екатерининско-

Но  
Ка

и въ прозѣ  
жизни!

Трудно точнѣе описать и всю дѣятельность Карамзина. Отъ начала до конца дѣйствительно соловей рядомъ съ розой и зарей, и гораздо бо-  
льшое, чѣмъ простая рѣчь прозаическаго смертника.

Соловьемъ Карамзинъ началъ и соловьемъ же кончилъ. На протяжении десятковъ лѣтъ не произошло никакого преобразования: сначала роль розы играла Лиза, а потомъ ее смѣнило «любезное отечество». Но ни настроеніе писателя, ни даже его литературная школа и стилистическіе приемы несколько не измѣнились.

Послѣдніе слова, написанныя Карамзинымъ въ его *Исторіи «Орлянекъ не сдавался»*—своего рода роковое изреченіе. Мы могли бы прибавить: «любезный, шлѣпно-образованный юнчикъ» также не сдавался ни предъ какимъ патетическомъ времени, развивающихся общественныхъ идей, нарождающихся государственныхъ и нравственныхъ потребностей Россіи. быстрыхъ успѣховъ научной и критической мысли.

Какая угодно Хлоя въ самомъ преклонномъ возрастѣ могла съ полнымъ спокойствіемъ сердца и съ такой же усладой души чертить «милой Карамзинъ» на страницахъ политической исторіи, съ какой она когда-то орошала слезами жертву Симонова пруда.

Не всѣмъ дается такое постоянство, да притомъ еще столь нѣжное и трогательное. Очевидно, природа писателя обладала особымъ закономъ, чрезвычайно психологически-любопытнымъ. Соловей, съ единственнымъ предметомъ въ груди и въ мысляхъ — розой, оказался сильнѣе всѣхъ житейскихъ терній и тревоженій!

И здѣсь опять типичнѣйшее явленіе, уже не литературное, а культурно-историческое. Существовали, следовательно, условія, допускавшія возмѣтливую непостоянность самыхъ экзотическихъ



чувствъ и эфирной философіи. Конечно, въ нашемъ мірѣ и экзотическое и эфирное непремѣнно должно питаться самыми реальными соками грязной земли, и карамзинская любезность и иѣжность вплоть до второй четверти XIX вѣка требовала, несомнѣнно, особенно богатаго и правильнаго притока этихъ соковъ.

Какъ совершался этотъ притокъ, мы подробностей не знаемъ. Извѣстенъ только поучительный фактъ со словъ самого Карамзина. Авторъ *Флора Силина*, *благодѣтельный* чело<sup>в</sup>ека, проводилъ время въ деревнѣ и выполнялъ свой отеческій долгъ предъ собственными уже реальными «человѣками».

Сначала онъ *скупалъ* и *грустилъ* и «отъ скуки и отъ грусти» писалъ, находя, что это «лучшая польза нашего ремесла»... Потомъ мы узнаемъ иѣчто совершенно другое.

Иѣкій сельскій житель, т. е. помѣщикъ, написалъ своимъ мужикамъ: «добрые земледѣльцы, сами изберите себѣ начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы»...

Прошло нѣсколько времени; оказалось, добрые земледѣльцы въ концѣ развратились. Пришлось переимѣнить политику,—какъ собственно, неизвѣстно, но только весьма скоро стадо погибшихъ опецъ снова превратилось въ счастливое общество «благодѣтельныхъ чело<sup>в</sup>ековъ», вѣроятно, и для себя, и для энергичнаго помѣщика.

Какимъ путемъ сельскій житель достигъ этихъ результатовъ, онъ не объясняетъ, но только «безъ англійскихъ мудростей, безъ всякихъ хитрыхъ машинъ, не усыпая земли ни золою, не известкою, ни толчеными костями». Вся реформа ограничилась «трудолюбіемъ», и крестьяне возблагодарили своего благодѣтеля.

Таковъ разсказъ. Вы думаете, это только безлетристика, плодъ скуки и грусти? Вовсе иѣтъ. Нашъ авторъ именно и тѣмъ замѣчательнѣе, что краснорѣчія не отличаетъ отъ фактовъ, своихъ чувствъ отъ идей, фантастическихъ цѣлѣвъ отъ дѣйствительнаго зла. Именно только что разсказаннымъ анекдотомъ Карамзинъ стремился рѣшить государственный вопросъ, насчетъ участи крѣпостныхъ крестьянъ. Онъ не повѣствовалъ, а доказывалъ, не рисовалъ узоровъ досужаго воображенія, а вносилъ свой голосъ въ законодательные планы.

Воидите въ эту психологію, и вамъ станетъ вполне ясною нравственная и литературная личность Карамзина.

Вы поймете, какую роль играла у него грусть и писаніе отъ бездѣлья, что означалъ для него переходъ отъ Бѣдой Лизы къ

*Исторіи Государства Россійскаго*, въ чемъ могло заключаться движеніе его мысли отъ попріица эстетическихъ чувствительныхъ упражненій до важнѣйшихъ вопросовъ государственной жизни. Вы, наконецъ, проникнете и въ сущность критическихъ и литературныхъ подвиговъ писателя.

Вамъ совершенно ясна слѣдующая мысль.

Если писатель, по натурѣ или по предвѣренному плану, изгоняетъ изъ своихъ произведеній строго фактическую жизнь, если онъ жаждетъ нѣтъ выхвѣта *качествъ* и нѣтъ дѣло съ граціями, а не съ смертными существами, то онъ долженъ неминуче сосредоточиться на формѣ, и существуютъ два орудія у писателя—*содержаніе* и слово, идея и стиль.

Комбинацій можетъ быть много. Переѣзъ того или другого элемента зависитъ отъ преобладанія въ природѣ писателя той или другой способности, чисто литературной или мыслительной. Можно представить, конечно, и совершенную гармонію: идейность, жизненность вмѣстѣ съ художественностью.

Но возможны и крайности: переѣзъ мысли надъ формой, или наоборотъ. Во всѣхъ литературахъ можно указать множество примѣровъ всѣхъ этихъ комбинацій.

Карамзинъ—одна изъ самыхъ краснорѣчивыхъ и самыхъ типичныхъ для дореформенной литературы и крѣпостническаго общества: рѣшительное преобладаніе литературности надъ вдумчивостью и наблюдательностью. Карамзинъ—идеальный *словесникъ*; въ самомъ точномъ смыслѣ, образцовый производитель *словъ* и фразъ, артистъ блестящей внѣшности и бѣднякъ духомъ, нищій сердцемъ—не въ смыслѣ ограниченности и жестокости, а развѣтой общественной мысли и жизненной сознательной гуманности.

### XXXIV.

Карамзинъ первое литературное воспитаніе получилъ въ Дружескомъ обществѣ Новикова. Здѣсь онъ могъ впитать много благороднѣйшихъ идей на счетъ просвѣщенія и человеколюбія, но по части эстетики новиковская школа не отличалась ни основательностью, ни смѣлостью. Мы это знаемъ изъ знаменитаго Словаря. Карамзинъ быстро пріобрѣлъ тѣснѣйшія связи съ нѣкоторыми членами общества, особенно съ Петровымъ, «Агатономъ», но, по видимому, не могъ заручиться опредѣленными взглядами и даже чувствами въ самой важной и увлекательной для него области, въ художественной литературѣ.

Передъ нами одновременно переводъ геснеровской идилліи, гдѣ, конечно, на первомъ планѣ пастухъ, ручей и свирѣль,—упорные планы переводить Шекспира и въ дополненіе картины—уваженіе къ Баттѣ и правиламъ!

Какъ все это согласить?

Никто рѣшительнѣе Шекспира не высмѣялъ идилліи и никто презрительнѣе не относился къ правиламъ. Какъ же онъ могъ попасть рядомъ съ пастушкомъ и пѣтикой?

Очевидно, существовало нѣсколько вліяній на юнаго любителя словесности, и шекспировскоешло отъ нѣмецкаго «бурнаго генія» Ленца. Романтикъ жилъ въ Москвѣ, находился уже на закатѣ своихъ силъ и таланта, даже ума, но не забывалъ священнаго романтическаго культа—Шекспира.

Карамзинъ свидѣтельствуетъ, что Ленинъ «удивлялъ» его иногда и своими пѣтическими идеями, и, конечно, первое мѣсто въ этихъ идеяхъ занималъ геній Шекспира.

Это значило бурное, ничѣмъ не сдерживаемое *воображеніе* и ничего не падающая вѣрность *природы*.

Русскаго юношу увлекли эти *идеи*, именно идеи, а не самая сущность шекспировской пѣтической психологіи. Карамзинъ, какъ идеально чувствительный и *на слова* податливый человекъ, былъ очарованъ такими выраженіями, какъ *свобода, натура*. Съ нимъ произошло то же самое, что съ гоголевскимъ Маняновымъ.

Этотъ шѣкный господинъ безпрестанно попадаетъ въ безвыходный туманъ воображенія, «обвороженный фразой», и никакъ не можетъ выкинуть «въ толкъ самого дѣла». Чичиковъ можетъ лгать и плутовать сколько угодно на глазахъ растроганнаго любителя словъ и фразъ.

Есть и у Карамзина такой же лжецъ и плутъ: его природная и развитая воспитаніемъ склонность къ сентиментальнымъ побрякушкамъ и томной первичной слезливости. Она продѣлываетъ съ его воображеніемъ самые неожиданные опыты, въ то время, когда въ ушахъ звенитъ волшебное словечко *натура!*

(Онъ, очевидно, прямо загнипотизовало впечатлительнаго мечтателя. Карамзинъ примется повторять его и въ прозѣ, и въ стихахъ. Въ предисловіи къ переводу *Юлія Цезаря* Шекспиръ будетъ такъ оцѣненъ: «онъ смотрѣлъ только на натуру, не заботясь, впрочемъ, ни о чемъ».

Одновременно появятся стихи съ энергическимъ началомъ:

Шекспиръ натуры другъ!..

Отдавать ли себѣ критикъ отчетъ, что такое *натура* вообще и въ трагедіяхъ Шекспира въ особенности?

Карамзинъ не признаетъ единства; это въ 1787 году, т. е. на пять лѣтъ раньше *Зрителя*, Вольтеръ прямо обзывается софистомъ и уличается въ плагиатахъ у того же Шекспира. Очевидно, съ классицизмомъ у Карамзина покончены все счеты. А Вольтеръ ему втройней ненавистенъ, какъ человѣкъ во преимуществу расудочный, какъ чрезвычайно запальчивый критикъ жизни и противникъ идиллическаго застоя и, наконецъ, какъ противникъ Руссо, умикаемаго нашимъ писателемъ за чувствительность.

И такъ, одно з  
очень цѣнно. Но его  
дуетъ освободить тала  
шеній и заставить его

дно, и оно теоретически  
Шекспира. Логически слѣ-  
всякихъ книжныхъ стѣс-  
съ реальной жизнью.

Но вотъ именно здѣ

отклонения для Карамзина.

Онъ откажется отъ одной жизни, затѣмъ чтобы поднестъ подъ него другой, не менѣе ядовитой и *противоестественной*.

И произойдетъ это потому, что у Карамзина, какъ истиннаго эстетика, *много чутія оцѣнительности*. Онъ созерцатель и мечтатель. Онъ готовъ признать психологическую силу Шекспира въ изображеніи характеровъ, но доказать ее рѣшительно не въ состоянн. Для этого надо имѣть представленіе о *оцѣнительныхъ* характерахъ, потому что художественная психологическая критика—сопоставленіе поэтическаго образа съ подлиннымъ историческимъ или современнымъ явленіемъ.

Почему по поводу Брута слѣдуетъ воскликнуть: «вотъ характеръ!»—Карамзинъ не объясняетъ, и, насколько можно судить по его характеристикамъ героев русской исторіи, не могъ объяснить. Ему доступенъ только *реторическій* анализъ, т. е. моральные шаблоны. Онъ, характеризуя, непремѣнно проповѣдуетъ какой-нибудь нравственный трюизмъ, не раскрываетъ жизненные основы личности, а при помощи ея отдѣльныхъ чертъ и фактовъ иллюстрируетъ свой тезисъ.

Въ результатѣ, каждый человѣкъ подъ перомъ такого историка и психолога превращается въ илкій заранѣе составленный ребусъ какъ разъ на фразу, находящуюся въ распоряженіи отгадчика.

Такимъ же путемъ Карамзинъ не только будетъ объяснять готовые характеры, но и создавать свои въ собственныхъ произведеніяхъ. *Натуры* ни тамъ, ни здѣсь не окажется, но именно этотъ вопіющий недостатокъ всякой философіи и всякаго искус-

ства и создать славу Карамзина, какъ политическаго мыслителя, проидательнаго моралиста и интереснаго писателя.

Натура нѣчто крайне сложное, и Шекспиръ въ сильнѣйшей степени этой сложности обязанъ своимъ фіаско у французскихъ классиковъ и у всякой другой подобной публики. Понять и оцѣнить Брута—это цѣлая задача по исторіи и философіи. А познакомиться съ Эрастомъ можно буквально съ двухъ словъ.

Въ результатѣ, и для критики, и для искусства Карамзина натура осталась пустымъ, хотя и обворожительнымъ звукомъ. Онъ повторяется и позже, независимо отъ Шекспира: «вездѣ натура есть наставница» человѣка «и главный источникъ его удовольствій».

Да, натура, но только не шекспировская, а развѣ *стерновская*, да и то подправленная и пообчищенная.

«Стернь несравненный», воскликнулъ Карамзинъ, «въ какомъ ученomъ университетѣ научился ты столь нѣжно чувствовать?»

Но этого мало, надо столь же нѣжно и говорить.

Посмотрите, какъ нашъ поклонникъ Шекспира вылащиваетъ стихи, не свои только, а требуетъ исправленій и отъ другихъ.

Слово «парень» для него *отвратительно*: онъ желаетъ «покойнаго селянина, который съ тихимъ удовольствіемъ смотритъ на природу и говоритъ: *вотъ мнѣздо! вотъ ничужечка!*» Онъ не признаетъ также выраженій: *барабаны, потъ, сломилъ, вскричалъ, потупленная голова...*

Но это вѣдь самый послѣдовательный классицизмъ, доходящій до преціозной манерности! Классикъ не имѣлъ права даже комнату называть *комнатой* и солдата *солдатомъ*: чертогъ, воинъ, не иначе. А когда у него дѣйствіе происходило за городомъ, онъ писалъ «мѣстность сельская, но пріятная».

Также и у Карамзина, хотя онъ ненавидитъ одиночество.

У природы онъ беретъ только *цвѣты*, въ человѣческомъ обществѣ только *нѣжныя сердца*, и изъ этого матеріала строить всю свою литературу.

Объявляя объ изданіи *Вѣстника Европы*, онъ цѣлью журнала ставитъ: «указывать новыя красоты въ жизни, питать душу моральными удовольствіями и сливать ее въ сладкихъ чувствахъ съ благомъ другихъ людей».

Подъ этимъ сахарнымъ и медоточивымъ мазкомъ всѣ явленія жизни превращаются въ леденцы и бонбоньерки.

Для всякаго факта и понятія своя особая терминологія, и изъ произведеній Карамзина можно бы извлечь цѣлый словарь новаго

преціознаго тона, ничѣмъ не уступающій фокусничеству мольтеровскихъ героинь.

Что, напримѣръ, означаютъ слѣдующія фигуры?

«Призывай богинь парнасскихъ, онѣ пройдутъ мимо великодушныхъ чертоговъ и посѣтятъ твою смиренную хижину»...

Это ни богѣе, ни менѣе, какъ совѣтъ писателю не изображать «хладную мрачность души» своей, а «возвыситься до страсти къ добру». Переводъ стоитъ оригинала.

«Великіе гении ведутъ людей къ сокровищамъ ума путемъ, усѣянными цвѣтами».

Это просто метафора научныхъ свѣдѣній.

пудризаціи и доступности

Вы чувствуете, съ узору, и чрезвычайная фразами и словами док заглѣтѣе, не въ художествен. Можно изумиться изобилію пи

юстью отдѣлявались эти разнѣна надъ отдѣльными ерновыми рукописями. И

повидимому, простыхъ выдержкахъ, въ фактической разсказѣ... Можно представить, сколько труда у исторіографа уходило на стиль и какъ сравнительно мало оставалось на сущность дѣла!

прои веденіяхъ, а въ Исторіи. іаній, поправокъ въ самихъ,

Никто, конечно, не станетъ подвергать безусловному порицанію подобную работу, и менѣе всего у Карамзина.

Русскій литературный языкъ еще создавался и мы сейчасъ увидимъ, сколько враговъ онъ встрѣчалъ на своихъ самыхъ законныхъ и естественныхъ путяхъ. Карамзинъ своимъ словеснымъ подвигничествомъ оказывалъ ему великія, въ полномъ смыслѣ незабвенныя услуги. Но только всякая благородная цѣль, при всей своей возвышенности, требуетъ разума. Иначе и услуга можетъ стать источникомъ вреда.

Неужели, при всемъ попеченіи о хорошемъ стилѣ, требовалось непременно филолога-педанта именовать «Великимъ мужемъ Русской Грамматики», а ея еще незрѣлое состояніе изображать картиной «богиня въ пеленахъ»? Неужели по поводу дамскаго пожертвованія настоятельно распространяться о «просвѣщенной благотворительности» русскихъ, готовыхъ благотворствовать даже иностранцамъ: «права человечества всего для насъ священнѣе!..» И причежъ здѣсь «прекрасный слогъ и добродѣтельное сердце» жертвовательницы?

Очевидно, не было сознанія мѣры въ благомъ дѣлѣ.

А между тѣмъ, никому, кажется, идеалъ ужѣрсовости не былъ

столь свойственъ, какъ исторіографу, — только не реторической, а практической.

По поводу, напримѣръ, народнаго просвѣщенія онъ разсуждаетъ.

«Глубокомысленный, важный умъ долженъ обуздать нетерпѣливость добраго сердца, которое, плѣняясь намѣреніемъ, хочетъ немедленныхъ плодовъ закона благодѣтельнаго».

Отчего бы этотъ принципъ не прихитить къ краснорѣчію и не обуздать чувствительнаго сердца на поприщѣ фразъ?

Потому что фразы часто буквально убивали мысль и фактъ. Мы это увидимъ изъ критики, направленной современниками противъ *Исторіи Государства Россійскаго*.

Но у эстетика другая цѣль и, главное, другое прочно установленное воззрѣніе на какую бы то ни было литературную работу.

Карамзину удалось, можетъ быть, ненамѣренно, очень вѣрно опредѣлить себя, какъ писателя. Рѣчь идетъ о поэтѣ, но вопросъ въ известной психологіи, а не разновидности таланта, тѣмъ болѣе, что и нашъ авторъ грѣшилъ очень многочисленными стихами.

«Сильный, хорошій стихъ», говоритъ Карамзинъ, «счастливое слово, искусный переходъ отъ одной мысли къ другой, радуютъ поэта, какъ младенца, и нерѣдко на цѣлый день дѣлаютъ веселымъ, особливо если онъ можетъ сообщить свое удовольствіе другу любезному, снисходительному къ его авторской слабости».

Счастливое слово, любезный другъ, удовольствіе, слабость — таковы нравственный и практическій обиходъ писателя, способнаго младенчески быть счастливымъ.

И между тѣмъ, этотъ писатель пустился въ журналистику. Цѣль была самая прозаическая: Карамзинъ желалъ пріобрѣсти состояніе, и остальную жизнь прожить спокойно и въ полномъ эстетическомъ удовольствіи. Но достигнуть цѣли не легко тамъ, гдѣ танцовальный учитель совершенно затмѣвалъ собой профессора философіи.

Карамзинъ рѣшилъ преодолѣть всѣ трудности, и для насъ, разумѣется, самый важный и любопытный вопросъ во всей многосторонней дѣятельности нашего писателя — исторія его журнальных успѣховъ и неудачъ.

Именно эта исторія опредѣляетъ положеніе Карамзина въ русской художественной и публицистической критикѣ.

## XXXV.

Первое періодическое изданіе Карамзина *Московскій журналъ*, крохѣ «сочиненій въ стихахъ и прозѣ», «описанія разныхъ происшествій» и «анекдотовъ», обѣщаль два критическихъ отдѣла—для книгъ и театральныхъ пьесъ. Издатель ручался за безпристрастіе своей критики и напоминалъ публикѣ, что «до сего времени весьма немногія книги были у насъ надлежащимъ образомъ критикованы».

Журналъ выходилъ — — — — —, дѣтъ и нельзя сказать, чтобы блистательно былъ — — — — — ства по части критики. За пьесъ первый годъ д — — — — — одна лишь статья объ *Эмилии Галотти*—Лессе

Разборъ—изложеніе с — — — — — съ одобрительными похвалами и односторонними — — — — — насчетъ естественности событій и характеровъ. Из — — — — —, полезнымъ дѣломъ со стороны Карамзина было у — — — — — одо — — — — — драмы въ то время, когда еще классицизмъ — — — — — своей гибели.

Рецензін о книгахъ—или простыя упоминанія, или изрѣдка пересказъ особенно любопытнаго сочиненія съ заключительнымъ приговоромъ.

Но эти скромные подвиги давались журналу не легко. Ни публика, ни писатели никакъ не могли привыкнуть даже къ самымъ безпристрастнымъ и сдержаннымъ сужденіямъ журналиста.

Критика производила впечатлѣніе личной обиды просто потому, что она не представляла салоннаго панегирика или оды достоинствамъ автора.

Карамзину на первыхъ же порахъ пришлось испытать терніи журналистики.

Нѣкій Туманскій перепелъ греческое сочиненіе по живологій и приложилъ свои примѣчанія. *Московскій журналъ* неодобрительно, хотя и необычайно джентльмэнски, коснулся стили переводчика. По этой части журналъ былъ безусловно консистентенъ и не въ духѣ Карамзина допустить лично-оскорбительную статью.

Но Туманскій не стерпѣлъ критики и отвѣчалъ уже прямо пасквилемъ. За журналистами, какъ частными лицами, отрицалось вообще право на критику. Авторъ утверждалъ, что сужденія ихъ «никогда отъ людей умныхъ уважаемы не были», «известно, что они за подарки истощеваютъ свои хвалы, по пристрастію, самолюбію, личной ссорѣ или зависти выискиваютъ все способы унижить трудъ чуждый».



Еще чувствительнѣе для Карамзина должны были явиться нападки крыловскаго *Зрителя*. На этотъ разъ противникъ говорилъ не мало правды, и *Московский журналъ* врядъ ли могъ вообще побѣдоносно вести борьбу съ упреками чисто-литературнаго характера.

Въ статьѣ *Критикъ Зритель* издѣвался надъ «неусыпнымъ попеченіемъ о русскомъ языкѣ». Это означало указывать на исключительно стилистическую критику Карамзина, т. е. обличать несомнѣнную односторонность. *Зритель* недоволенъ, что новоявленный журналъ не разсматриваетъ ни авторскихъ мыслей, ни плана сочиненій, ни характеровъ дѣйствующихъ лицъ. «Да и хорошо, что не за свое дѣло берется», говоритъ ядовито авторъ, «какъ заниматься такою мелочью!..»

Слѣдовательно, критическія предпріятія Карамзина немедленно натолкнулись на препятствія, и критикъ нашъ отнюдь не отличался такого сорта характеромъ, чтобы пойти на встрѣчу борьбѣ, по крайней мѣрѣ, продолжать идти своей дорогой.

Напротивъ, *Московский журналъ* обнаружилъ всю неспособленность чувствительной натуры къ настоящей журнальной дѣятельности.

Изданіе имѣло 300 «сускрибентовъ», т. е. подписчиковъ, это по времени было успѣхомъ и идеалъ самого издателя не поднимался выше цифры 500. Доходу все-таки журналъ не давалъ, и Карамзинъ издумалъ замѣнить его альманахомъ, сначала вышла *Аллая*, потомъ *Лониды*. Критика въ обоихъ изданіяхъ отсутствовала, да она и не отвѣчала характеру стихотворныхъ сборниковъ.

Но, независимо отъ стиховъ, Карамзинъ, повидимому, утратилъ всякую охоту къ литературной публицистикѣ. Правда, ко второму выпуску *Лонидъ* издатель приложилъ предисловіе—статью о поэзіи и стихотворствѣ.

Здѣсь высказаны дѣльные мысли на счетъ самостоятельности поэтического вдохновенія. Поэту рекомендуется не гоняться за чуждыми, несвойственными ему идеями, а описывать предметы, къ нему близкіе. Но главный совѣтъ—совершенно въ духѣ безоблачнаго чувствительнаго оптимизма. «Молодому питомцу Музъ лучше изображать въ стихахъ первыя впечатлѣнія любви, дружбы, нѣжныхъ красотъ природы, нежели разрушеніе міра, всеобщій пожаръ натуры и прочее въ семъ родѣ».

Карамзинъ даже отказался напечатать въ *Лонидахъ* слишкомъ энергичное стихотвореніе: такъ ему дорогъ покой душевный и розовое созерцаніе даже въ книгахъ!

Очевидно, это не критика, и даже исчезает самая возможность ея существованія. Все равно какъ изъ идиллическаго пастыря не могъ выработаться публицистъ, вообще писатель—съ новыми, сильными идеями, такъ любезный питомецъ музъ никогда не могъ снизойти до хлопотливой борьбы, за какія бы то ни было литературные вопросы.

Карамзинъ это доказываетъ систематически, прежде всего новымъ, важнѣйшимъ своимъ журналомъ и послѣднихъ періодическимъ издаціемъ—*Вѣстникъ Европы*.

Издатель рассчитывалъ попасть въ политическій моментъ. Революція прекратилась, правительства обратились къ мирнымъ задачамъ отечественнаго просвѣщенія, а народы Европы увидѣли необходимость общаго мѣшенія, т. е. печати. И *Вѣстникъ Европы* имѣлъ въ виду удовлетворить общему настроенію, «лучшимъ умомъ, стоящимъ теперь подъ знаменемъ власти».

Въ результатъ, является политическій отдѣлъ,—совершенная новость въ русской журналистикѣ.

Происходитъ это въ 1802 году. Прирожденному оптимизму издателя—полное раздолье. Карамзинъ можетъ съ полнымъ основаніемъ посмѣиваться правительственные планы на счетъ просвѣщенія: они дѣйствительно существовали въ первое время новаго царствованія. Бонапартъ удостоивается многорѣчивой хвалы за умерщвленіе чудовища революціи. Наконецъ, въ журналѣ печатается знаменитая статья *О любви къ отечеству и народной гордости*.

Содержаніе ея не представляетъ ничего новаго послѣ статей *Зрителя*, разница въ тонѣ. Карамзинъ благодаритъ Бога за расположеніе своей души, совѣтъ противное сатирическому духу, а вся сила Крылова именно въ этомъ духѣ.

У Карамзина любовь къ отечеству доказывается патетически, у Крылова,—путемъ безпощадной насмѣлки надъ пасынками Россіи. Карамзинъ крайне недоволенъ подражательностью, пренебреженіемъ русскихъ къ родному языку и роднымъ талантамъ, повторяются буквально мысли Плавильщикова на счетъ богатства русской рѣчи и бѣдности французской. «Хорошо и должно учиться», заканчиваетъ Карамзинъ, «но горе и человѣку, и народу, который будетъ всегдашнимъ ученикомъ».

Это вполне основательно. Но, разъ журналистъ стоитъ за самостоятельные пути развитія, онъ долженъ ихъ указать, и пре-

имушественно, конечно, тамъ, гдѣ недугъ подражательности особенно глубокъ и тлетворенъ, т. е. въ литературѣ.

Помимо патріотическихъ изліяній общаго характера, журналу необходимо было вооружиться критикой, тѣмъ болѣе, что онъ такъ краснорѣчиво изобразилъ достоинства русскаго языка!

Но критиковать, значитъ рисковать на полемику, на утрату прекраснодушнаго *одического* настроенія. Это уже испыталь изда- тель, и теперь онъ просто изгоняетъ критику изъ своего журнала.

«Что принадлежитъ до критики новыхъ русскихъ книгъ», пишетъ онъ, то мы не считаемъ ее истинною потребностію нашей литературы (не говоря уже о непріятности имѣть дѣло съ безпо- койнымъ самолюбіемъ людей). Въ авторствѣ полезнѣе быть суди- мымъ, нежели судить. Хорошая критика есть роскошь литературы: она рождается отъ великаго богатства, а мы еще не крезны. Лучше прибавить что-нибудь къ общему имѣнію, нежели заняться его оцѣнкою. Впрочемъ, не заикаемся говорить иногда о ста- рыхъ и новыхъ русскихъ книгахъ, только не входимъ въ рѣши- тельное обязательство быть критиками». Нечего и говорить, что автору отнюдь не удалось доказать *ненужность* и *бесполезность* критики. Самъ же онъ признаетъ пользу «быть судимымъ», слѣдова- тельно, судъ полезенъ, только не совсѣмъ удобенъ для судьи.

Вообще, Карамзинъ всѣми силами откренцивается отъ всякаго подозрѣнія, какое могло бы возникнуть у русской публики, осо- бенно у будущихъ «сускрибентовъ» на его журналъ, въ серьезности его намѣреній, какъ издателя и писателя.

Въ объявленіи объ изданіи Карамзинъ усиленно подчеркиваетъ свою исключительную заботу на счетъ *удовольствій* читателей. Онъ будетъ «указывать новыя красоты въ жизни», «избирать *пріят- нѣйшіе*» изъ иностранныхъ цвѣтниковъ, «украшать словесность, языкъ», вообще—«не учить публику, а единственно занимать ее пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣже- ствомъ, ни варварскимъ слогомъ».

Очевидно, это особенная *эпикурействующая* публицистика, отъ начала до конца усладительная, рассчитанная прежде всего на пріятное времяпрепровожденіе. Недаромъ, даже по поводу политиче- скаго отдѣла, Карамзинъ спѣшитъ отмѣтить «любопытные и забавные анекдоты»: ихъ издатель будетъ «съ осторожностью» брать изъ англійскихъ газетъ...

Несомнѣнно, былъ смыслъ и въ подобной программѣ. Тамъ, гдѣ едва набиралось триста подписчиковъ на безусловно литера-

турный журналъ, приходилось литературу преподнести въ видѣ самаго легкаго блюда, какого-нибудь безе или экзотическаго фрукта, сочинять трогательные анекдоты и политическія статьи переполнять панвными національнымъ самохвальствомъ и торжественными чувствами на счетъ «счастливаго состоянія Россіи», «спокойствія сердецъ, веселыхъ лицъ, чувствительности русскихъ къ добру».

Все это цѣлесообразно для пріохочиванія публики къ чтенію. Но до такой ли степени?

Самъ Карамзинъ, въ оптимистическомъ освѣщеніи велики и всѣмъ, напечаталъ статью *О книжной торговлѣ и любви къ чтенію въ Россіи*. Въ статіи говорится о развитіи за послѣднія 25 лѣтъ московской книжной торговли, о заслугахъ Ионикопольскаго и сообщены дѣйствительныя факты.

По свѣдѣніямъ Карамзина, знатные дворяне, съ годовымъ доходомъ не болѣе 500 рублей, собирали «библіотечки» и съ величайшимъ почтеніемъ относились къ книгамъ, пересчитывали ихъ по нѣскольку разъ.

Правда, большинство этихъ книгъ—романы, и непрехлѣбно чувствительные. Но разъ существуетъ склонность къ чтенію, читателей можно вести дальше романовъ. Карамзину не приходила на умъ эта простая мысль, и онъ лучше предпочиталъ производить ходкій, уже установившійся товаръ, чѣмъ рисковать неудачою стѣсненнаго читателей.

Да, это не былъ ни учитель общественный, ни даже журналистъ въ смыслѣ общественнаго дѣятеля.

Переживъ эпоху просвѣщенія, хорошо знакомый съ ея литературой, Карамзинъ въ личной дѣятельности представилъ одинъ изъ самыхъ послѣдовательныхъ и цѣльныхъ примѣровъ идеальной копености. На его языкѣ не было простой фразой требовать, чтобы «всѣ смѣлыя теоріи ума» и другія «любопытные произведенія остроумія» остались въ книгахъ. Онъ шелъ дальше: не допускалъ теорій даже и въ книги, ограничиваясь ни къ чему не ведущими чувствами.

Даже самое дорогое дѣло—*стиль*—Карамзинъ предоставлялъ на волю судьбы и на доброе усмотрѣніе другихъ, менѣе опасавшихся «непріятностей» отъ самолюбивыхъ авторовъ. Карамзинъ всѣ силы души своей полагалъ на красоту слога, на выработку русскаго языка, но когда явилась необходимость защищать свой трудъ, писатель отошелъ въ сторону, и послѣдній бой на поприскѣ стилистической критики произошелъ безъ его участія.

Выраженіе *стилистическая критика* для всѣхъ полемикъ старыхъ русскихъ литераторовъ точно. Вопросъ о слогѣ сравнительно второстепенный въ началѣ и ходѣ борьбы. Ея сущность—общественнаго и политическаго содержанія, и грамматика почти для всѣхъ критиковъ является только предлогомъ для раскрытія публицистическихъ принциповъ.

Мы съ этимъ фактомъ пестричались неоднократно, но никогда онъ не являлся въ такомъ эффектномъ освѣщеніи, какъ въ спорѣ карамзинистовъ съ шишковистами.

Прежде всего любопытенъ идейный смыслъ борьбы.

Шишковисты выступили на сцену, какъ защитники церковнаго языка. Русскій языкъ только царѣе славянскаго и долженъ всѣхъ своихъ красотъ искать въ священномъ писаніи, а не сочинять новыхъ словъ и не заимствовать выраженій изъ иностранныхъ языковъ. Изъ русской литературы должны быть удалены такія, напримѣръ, слова: эпоха, религія, трогательный, оттѣнокъ, развитіе. Взамѣнъ предлагались: лепцевать, гобзованіе, умодѣліе, прозябаніе, и давно вошедшія во всеобщее употребленіе слова: аллея, аудиторія, ораторъ, героизмъ, извергъ должны уступить мѣсто—просаду, слушальцу, краснослову, доблестушю, искидку. Это называлось «новыя мысли свои выражать старинныхъ предковъ нашимъ складомъ».

Достаточно этихъ примѣровъ, чтобы книгу адмирала Шишкова—*О старомъ и новомъ слогѣ*—признать неисчерпаемымъ запасомъ комизма и совершенно безцѣльнаго «словоизвитія». Никакія силы не могли заставить людей въ полномъ разсудкѣ и твердой памяти говорить и писать на самодѣльной варварщинѣ оригинальнаго филолога. Естественно, даже публика сразу оцѣнила идеи Шишкова и, по словамъ современника, «вся молодежь, всѣ дамы въ обѣихъ столицахъ ратовали за Карамзина».

Нетрудно было писателямъ сражаться съ такимъ противникомъ при вѣрномъ расчетѣ на успѣхъ, и вся пойна могла бы остаться въ исторіи нашей критики развѣ только образчикомъ смѣхотворнаго педантическаго ристалища, отнюдь не серьезной литературной полемики.

Въ дѣйствительности, вышло совсѣмъ иначе.

Противъ Карамзина, мы видѣли, возставалъ и Крыловъ, но между нападками *Зрителя* и проповѣдями Шишкова нѣтъ ничего общаго.

Высокопоставленный критикъ, съ чисто военной рѣшительностью, обострилъ вопросъ совершенно неожиданно и перенесъ его на такую почву, что, пожалуй, на этотъ разъ малодушие Карамзина извинительно.

Шишковъ вопросу о слогѣ придалъ характеръ государственнаго интереса и ненависть къ «высшему штилю» открыто отождествлялъ съ извѣстной «обычаями, вѣрѣ и отечеству».

Для него преобразования въ языкѣ равнялись нравственному упадку, религіозному отступничеству и политической революціи. Все это выражалось однимъ грознымъ понятіемъ «духъ времени», враждебный правительст-  
аконовъ.

Трудно представить, какъ достигалъ у Шипкова старовѣрческій азартъ. Въ 1813 году, десять лѣтъ спустя по выходѣ своей книги, онъ не только не боялся, но даже поощрялъ пожаръ Москвы приписывая своимъ литературнымъ произведеніямъ: «теперь ихъ я ткнулъ бы въ пепелъ Москвы и громко ихъ сказалъ: вотъ чего вы хотѣли!»

И главный ножакъ этой столь губительной для отечества партіи оказывался иговецъ, Фиглиды, Дезин, Лизы и тому подобныхъ, менѣе всего политическихъ и революціонерныхъ предметовъ!

Но у Шипкова грамматика творила чудеса. Съ безпримѣрной находчивостью адмиралъ, впоследствии одинъ изъ вліятѣльнѣйшихъ государственныхъ людей царствованія Александра I, умѣлъ по буквамъ слова предписывать цѣлую программу внутренней политики по наиважнѣйшимъ вопросамъ.

Напримѣръ, въ государственномъ советѣ обсуждается вопросъ о вѣрноподданномъ правѣ. Въ такихъ случаяхъ Карамзинъ прибѣгалъ къ особеннымъ анекдотамъ; его врагъ поступаетъ несравненно проще, хотя и хитроумнѣе. Онъ беретъ слово *раба* и доказываетъ, что оно происходитъ отъ «работаю», т. е. служу кому-нибудь «по долгу и усердію»... Очевидно, въ Россіи нѣтъ рабства, какъ учрежденія предосудительнаго и для человѣчества оскорбительнаго, а есть только усердные и жизнерадостные слуги отцовъ-патріарховъ!..

Замѣйте, Шишковъ вовсе не представлялъ злостнаго мракобѣсія, тонкаго сознательнаго софиста. Напротивъ, какъ помѣщикъ, это, дѣйствительно, нѣчто въ родѣ патріарха, гуманнаго и на рѣдкость безкорыстнаго. Въ положеніи высшаго чиновника Шишковъ обнаруживалъ иногда мужество, недоступное другимъ, хотя бы и болѣе либеральнымъ государственнымъ мужамъ.

Всѣ вѣрности, фізіологическія и принципиальныя, у Шишкова были движеніями его сердца и искренними убѣжденіями ума. Можно, конечно, представить, что это за умъ и какъ онъ могъ руководить сердцемъ? Но искренность и убѣжденность не подлежатъ сомнѣнію.

Тѣмъ любопытнѣе вліяніе и власть подобнаго мудреца, по истинѣ безсмертна только что рассказанная сцена въ высшемъ законодательномъ учрежденіи великой имперіи!

Естественно, литераторы должны были вполне серьезно относиться къ такому человеку, разъ онъ могъ стоять на вершинѣ государственной лѣстницы и выводы своей филологіи осуществлять въ распоряженіяхъ и циркулярахъ.

И Шишковъ оказывался необходимымъ не только въ высшей администраціи, онъ членъ академіи и даже первостепенный академикъ—по трудолюбію и, пожалуй, даже по учености.

Типичнѣйшіи Карамзинъ такъ характеризовалъ академію, гдѣ блисталъ Шишковъ. Члены ея—большинство плохіе переводчики—«големые претолковники, иже отрѣзають все, еже есть русское и блещають блаженне сіяніемъ славяномудрія».

По предложенію Шишкова, академія съ 1805 года стала издавать *Сочиненія и переводы*, и Шишковъ явился главнымъ вкладчикомъ въ эту сокровищницу славяномудрія.

Но и это не все.

Въ 1811 году Шишковъ основалъ общество — «Бесѣду любителей русскаго слова», съ спеціальнымъ научно-литературнымъ органомъ *Чтенія въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова*. Общество скоро получило официальное значеніе, даже выше чѣмъ академія. Уже по составу членовъ — Державинъ, гр. Завадовскій, Мордвиновъ, гр. Разумовскій, Дмитріевъ, сенаторъ Захаровъ—бесѣда представляла нѣчто въ родѣ литературной палаты пэровъ. А потомъ Шишковъ наканунѣ отечественной войны прочелъ здѣсь свое *Разсужденіе о любви къ отечеству*: оно быстро подвинуло государственную карьеру оратора.

По этимъ даннымъ можно судить, что собственно представляло изъ себя шишковистское движеніе. Это протестъ *всяческаго старовѣрія* и *всесторонней* реакціи или, по крайней мѣрѣ, *неограниченнаго* застоя противъ какого бы то ни было новаго вліянія, преобразования въ идеяхъ и въ жизни русскихъ людей.

Это—сплоченная организація традицій вообще противъ прогресса, и предъ ея культурнымъ и политическимъ смысломъ от-



ступаютъ на задній планъ всѣ чисто-филологическіе вопросы. Они только создали удобный предлогъ, безобидную почву для объединенія страстей и стремленій, часто не имѣвшихъ ничего общаго съ какими бы то ни было стилистическими и литературными направленіемъ.

Карамзинъ, повидимому, понялъ фактъ съ самаго начала и повелъ себя идеально-дипломатически.

Шинковисты, конечно, жѣлили почти исключительно въ издателя *Вѣстника Европы*. Это было ясно рѣшительно для всѣхъ, и даже Дмитріевъ настаивалъ, чтобы Карамзинъ лично отплатилъ Шинкову.

Карамзинъ долго отговаривался, но, наконецъ, обѣщалъ удовлетворить настойчивость — назначилъ даже срокъ.

Въ дѣлѣ недѣли сочинилъ	Карамзинъ привозить его
къ Дмитріеву, начинаеи	вводитъ въ восторгъ слу-
шателя. Дмитріевъ, вполнѣ	Шинковъ, получить отпоръ

отъ самаго талантливаго и наиболѣе оскорбленнаго писателя.

Но по окончаніи чтенія Карамзинъ произноситъ такую рѣчь:

— Ну, вотъ видишь, я сдержалъ свое слово: я написалъ, исполнилъ твою волю. Теперь ты позволь мнѣ исполнить свою.

И съ этими словами авторъ бросаетъ рукопись въ каминъ...

Къ достоинству русской литературы напали сторонники новаго направленія, способные сочинить не менѣе талантливую защиту и иначе ею воспользоваться.

У Карамзина съ самаго начала было не мало послѣдователей и даже сотрудниковъ, въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Вся талантливая литературная молодежь ни минуты не могла колебаться между той и другой партіей. За Карамзина стояла публика, т. е. самая жизненная и вѣрная опора всякаго литературнаго развитія. И этихъ уже вопросъ былъ рѣшенъ.

Карамзинистамъ приходилось стѣять стѣмъ на благодарную почву, но попутно, отстаивая новый слогъ, они съумѣли коснуться многихъ несравненно болѣе важныхъ и спорныхъ вопросовъ и рѣшить ихъ въ интересахъ художественнаго прогресса и національной свободы отечественной литературы.

### XXXVII.

У шинковистовъ было столько комическаго и жалкаго, что ихъ личности и мысли немедленно представляли богатую почву для сатиры. Не слѣдуетъ считать во главѣ карамзинистской оппо-



зиціи. Она достигала цѣли вѣрнѣе, чѣмъ самая талантливая критическая статья.

Ея талантливейшій представитель, Василий Пушкинъ, дядя геніальнаго поэта, своими «посланиями» производилъ настоящій эффектъ среди современныхъ читателей. Александръ Пушкинъ неоднократно упоминаетъ объ его войнѣ съ шишковистами, именую «вкуса образцомъ», «защитникомъ вкуса».

И дѣйствительно, форма пушкинскихъ сатиръ въ высшей степени изящна, стихъ энергиченъ и содержателенъ. Поэтъ умѣетъ коснуться всѣхъ отрицательныхъ сторонъ шишковистской агитаціи и заклеить ихъ бойкимъ, остроумнымъ словомъ.

Въ посланіи къ Жуковскому подвергнута осмѣянію манія Шишкова къ старозавѣтнымъ книгамъ. Авторъ ссылается на французскіе авторитеты—Буало, Паскаля, Боссюэ, но не въ классическомъ смыслѣ. Онъ заимствуетъ изъ чужого источника только подтвержденія своихъ здравыхъ воззрѣній на талантъ и просвѣщеніе. Ему нѣтъ дѣла до единствъ и иныхъ хитростей классицизма: онъ также прославляетъ Гомера, Софокла, Эврипида, Ювенала и Лафонтэна.

Рѣчь сатирика далеко не отличается сдержанностью. Для него старовѣры «безумцы», «соборъ безграмотныхъ славянъ», вождь ихъ именуется Балдусомъ и въ уста ему влагается такая рѣчь:

О братіе мои, зову на помощь васъ!  
Ударимъ на него и первый буду азъ.  
Кто намъ грамматикъ совѣтуетъ учить,  
Во тьму кромѣшную, въ геенну погрузится;  
И еще смѣетъ кто Карамзина хвалить.  
Нашъ долгъ, о люди! Злодѣя истребить.

Пушкинъ отдаетъ должное личной добротѣ Шишкова:

Арестъ душою добръ, но авторъ онъ дурной.

и не только дурной, но и вредный: идеи онъ стремится замѣнить словами и погасить просвѣщеніе.

Это значило бить въ самую больную язву шишковизма, и академикъ не замедлилъ отозваться въ академической рѣчи—прямо обвинилъ своихъ противниковъ въ невѣжествѣ и французскомъ безбожіи.

Обвиненія вызвали посланіе Пушкина къ Дашкову, еще болѣе рѣзкое, чѣмъ первое.

Что слышу я, Дашковъ? Какое ослѣпленье!  
Какое лютое безумцевъ ополченье!

Кто тѣшитъ жизнь свою наукамъ посвящать,  
Раскольниковъ-славянъ держаетъ уличать,  
Кто пишетъ правильно и не парижскимъ слогомъ—  
Не любить русскихъ тотъ и вповать предъ Богомъ!

Авторъ указываетъ, что «благочестію ученость не вредитъ», что невѣжда не можетъ любить отечества, тотъ не патриотъ, кто «бѣдный мыслями печется о словахъ», и не разуметь старословъ, скучный и бездарный, осуждающій на костеръ писателей за любовь къ словесности и наукамъ, *за абы и еще...*

Оба посланія были изданы отдѣльно, но Пушкинъ не ограничился ими. По рукамъ въ январѣ ходила поэма *Опасный сосѣдъ*, напечатанная потомъ за юзмъ, нѣтъ ничего политическаго, но сатира на повѣствованіе. Остроуміе . иронія въ очень ироническомъ ироніи автора.

Онъ и читается съ сосѣдомъ, вымъ, на нѣтъ, и по этому поводу обращается къ Шишкову:

Позволь, Варяго-Россъ, угрюмый нашъ пѣвецъ,  
Славянофиловъ кумъ, нять слово въ образецъ!  
Досель, въ невѣжествѣхъ косьмѣ, утопан.  
Мы нароу *овонку* по-русски называемъ  
Писали для того, чтобъ понимали насъ...  
Ну, къ чорту умъ и вкусъ: пишите въ добрый часъ! \*).

Александръ Пушкинъ былъ въ восторгѣ отъ поэмы; отсюда его обращеніе:

И ты замысловатый  
Булнова пѣвецъ,  
Въ картинатъ столь богатый  
И вкуса образецъ...

Въ другой разъ поэтъ называетъ своего дядю Несторомъ Арзамаса.

Эти данныя знакомятъ насъ съ нѣкоторыми главными врагами шишковистовъ. Въ защиту карамзинскихъ идей возсталъ рядъ журналовъ: *Цѣтникъ* въ лицѣ Даникова, *Московский Меркурій*—при издательствѣ Макарова, *Сѣверный Вѣстникъ*—въ лицѣ Дм. Языкова, *Приятное и полезное препровожденіе времени*—подъ редакціей Подшивалова. Въ противовѣстъ шишковскому литературному обществу въ 1801 году въ Петербургѣ образовалось *Воленое общество любителей словесности, наукъ и художествъ*. Общество, не въ прихѣрь *Бесѣды*, состояло изъ молодежи: украше-

\*) Лейпцигское изданіе 1835 года.

ніемъ его являлись Дашковъ и Василій Пушкинъ. Въ 1815 году возникъ *Арзамасъ* съ участіемъ многихъ членовъ старѣйшаго общества.

Явилась, слѣдовательно, извѣстная организація, въ распоряженіи были періодическія изданія, и борьба закипѣла. Нашлось не мало подражателей Пушкина, шишковисты едва успѣвали читать одну сатиру за другой, во всевозможныхъ формахъ, отъ басни Измаилова до комедіи Дашкова. На ихъ сторонѣ не оказывалось равносильныхъ талантовъ. Они попытались было также основать журналъ *Другъ просвѣщенія* на слѣдующій годъ послѣ выхода книги Шишкова. Но, очевидно, несравненно было удобнѣе и безопаснѣе громить измѣнниковъ и безбожниковъ за священными стѣнами академіи или въ сановитой *Бесѣдѣ*, чѣмъ снѣгаться съ противниками на глазахъ публики. Журналъ представлялъ какое-то богоугодное заведеніе для всего бездарнаго и комическаго. Приспомянутый гр. Хвостовъ, высмѣянный въ современной литературѣ едва ли не больше всѣхъ кунсткамерныхъ рѣдкостей шишковизма, шелъ во главѣ безцѣльнаго представленія. Это вполне характеризуетъ и самый журналъ, и его положеніе въ публикѣ и литературѣ.

Нѣсколько серьезнѣе явился союзникъ въ лицѣ Сергія Глинки, издателя отчаянно-патріотическаго *Русскаго Вѣстника*. Его изданіе началось съ 1808 года исключительно ради «возбужденія народнаго духа» противъ французскаго завоевателя. Глинка предчувствовалъ появленіе Бонапарта въ Москвѣ и, долго «лелея сердце жизнью мечтательной», вздумалъ, наконецъ, путемъ журнала приготовить русское общество къ грядущему испытанію.

*Русскій Вѣстникъ* Глинки одно изъ самыхъ прекраснѣйшихъ явленій добраго стараго времени, какой-то диллѣйся залпъ горячихъ чувствъ, пылкихъ рѣчей и, какъ водится, достаточная безпорядочность въ мысляхъ и доказательствахъ. О критикѣ здѣсь не могло быть и рѣчи. Идеи Шишкова восхвалялись, русская старина ставилась во главу угла міровой мудрости, Симеонъ Полоцкій и Костровъ именовались рядомъ съ Сократомъ и Гомеромъ, а дѣвица Волкова даже превозносилась сравнительно съ «гречанкою Сафо».

Все это дышало безусловной искренностью, но ровно на столько же обличало безсиліе по части логики, исторіи и весьма часто здраваго смысла.

Въ эпоху всеобщаго патріотическаго подъема духа и журналъ

Глипки сослужилъ свою службу, но только не на поприщѣ литературы и критики. Воейкову ничего не стоило убить всю эстетику пламеннаго патріота одной чертой. Она при всемъ шаржі, недалеко отстояла отъ дѣйствительности, и легко представить, сколько нестерпимо-комическаго прибавлялъ Глипка къ шипиковскій фарсъ, и безъ того отлично обставленный по упеселительной части.

Во всемъ воейковскомъ сумасшедшемъ домѣ самые правдивые и самые остроумные стихи направлены противъ московскаго союзника грознаго адмирала.

Померъ ч...  
Истинъ Г...  
Передъ в... ахъ стѣянкѣ  
Не откуп...  
Книга Кя...  
А уста растворены  
Словены деной два перста,  
Очи вверхъ устремлены,  
О Русинъ! откуда слава?  
И тебя дружка поймаютъ!  
Изъ русскаго Стоглава  
Ты Гоголю украсть.  
Чувствъ возвышенныхъ сіянье,  
Выраженій красота,  
Въ Андрюхахъ подражанье  
Потребенію кота!..

Сатиры на шипиковство не уступали и критическія статьи ихъ прагону.

Цѣлѣнникъ находился въ рукахъ трехъ молодыхъ критиковъ—Дашкова, Беницкаго и Никольскаго. Последнихъ двухъ постигла ранняя смерть: Беницкій умеръ на 28 году, Никольскій на 25-мъ. Оба не только подавали надежды, но и успѣли оправдать ихъ. Беницкій обладалъ и безэстетическимъ талантомъ. Оба не пропускали уродливыхъ старовѣрческихъ явленій литературы въ родѣ шипиковскихъ драмъ, романовъ г-жи Радклиффъ и не щадили ни авторитетовъ, ни преданій. Пока это была частная, партизанская война, но смерть пресѣкла дальнѣйшее развитіе молодыхъ свободныхъ талантовъ.

Счастливице Дашковъ.

До сихъ поръ можно съ удовольствіемъ и пользою прочесть его статьи, для своего времени прямо блестящія по остроумію, логичности, полнотѣ свѣдѣній.

Полемику противъ Шишкова Дашковъ велъ въ *Цвѣтникъ* въ 1810 году, два года спустя появился въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ*, органѣ *Общества любителей словесности, наукъ и художествъ*. Дашковъ, первый изъ журналистовъ, во всемъ объемѣ понялъ значеніе литературной критики. По его мнѣнію, она «главная цѣль» періодическаго изданія, она необходимое руководство для молодыхъ писателей при неустановившейся еще русской словесности. Критикъ «долженъ всегда быть умѣренъ и безпристрастенъ, даже недостатки отмѣчать «съ прискорбіемъ и уваженіемъ» къ извѣстнымъ писателямъ, весьма осторожно пользоваться опаснымъ оружіемъ насмѣлки.

Замѣчательнѣйшую статью Дашкова: *О легчайшемъ способѣ возрѣжати на критики* слѣдуетъ считать смертнымъ приговоромъ шишковизму. Авторъ съ изумительной силой и достоинствомъ оцѣнилъ пріемъ Шишкова сливать литературные вопросы съ политическимъ и нравственнымъ, жестоко высмѣялъ шишковское словопроизводство и, можно сказать, похоронилъ «старослова» во мнѣніи всѣхъ, сколько-нибудь сознательныхъ и безпристрастныхъ свидѣтелей спора.

Немалую услугу оказалъ новой литературѣ Макаровъ. Онъ восторженно изобразилъ значеніе Карамзина въ совершенствованіи стили, объяснилъ, на основаніи исторіи, законъ развитія языка одновременно съ развитіемъ идей, доказалъ, что высокій слогъ заключается не въ словахъ, а въ содержаніи, въ мысляхъ и чувствахъ автора. Макаровъ впадалъ даже въ лиризмъ, устанавливая славу своего учителя, но сущность его взглядовъ до сихъ поръ справедлива.

«Пройдетъ время, когда и нынѣшній языкъ будетъ старъ: цвѣты слога вянутъ подобно всѣмъ другимъ цвѣтамъ. Въ утѣшеніе писателю остается, что умъ и чувствованія не теряютъ своихъ пріятностей и достигаютъ до самаго отдаленнаго потомства. Красавицы двадцать третьяго вѣка не станутъ, можетъ быть, нескаты могилы Лизы; но въ двадцать третьемъ вѣкѣ другъ словесности, любопытный знать того, кто за 400 лѣтъ прежде очистилъ, украсилъ нашъ языкъ, и оставилъ послѣ себя имя, любезное отечественнымъ благодарнымъ музамъ, другъ словесности, читая сочиненія Карамзина, всегда скажетъ: «Онъ имѣлъ душу; онъ имѣлъ сердце!».

Макаровъ ссылается на мнѣіе публики о заслугахъ Карамзина: «Онъ сдѣлалъ эпоху въ исторіи русскаго языка».

Это осталось приговоромъ и позднѣйшей критики: Бѣлинскій повторитъ тѣ же слова.

Но борьба съ шишковистами не только выяснила значеніе Карамзинна-стилиста: она устремила мысль молодыхъ критиковъ дальше слога и языка. У защитниковъ автора *Бѣдной Лизы* подчасъ, будто невольно, срысываются идеи, вродѣ ли особенно пріятныя учителю и лестныя для его славы. Даже у Макарова звучитъ нѣкоторая скептическая нотка по поводу могилы *Бѣдной Лизы*. Но это—произведеніе вождя партіи, хотя и не участвующаго въ бою. Иначе отнесется тотъ же критикъ и его товарищи къ мелкимъ карамзинистамъ.

Они упорно будутъ и и языкъ... Но ихъ изощрен-  
ный критическій анали тся грамматическими пере-  
струбками,—они направ пительную силу, хотя на  
первое время и сдержанную, про но содержания литературы,  
обязаннаго существованіемъ тому же преобразователю языка.

Еще не успѣла закончиться борьба съ классицизмомъ, начинаются вылазки противъ чувствительности. Онѣ пока минуяютъ самого Карамзина, но онъ не можетъ не видѣть, что рѣшается участь его прямыхъ дѣтницъ и рано или поздно придетъ очередь и для его «души» и «сердца».

### XXXVIII.

Шишковъ взялся не за свое дѣло, принявшись фанатически преслѣдовать карамзинскую реформу языка. Предпріятіе варяго-росса имѣло бы больше смысла и успѣха, если бы онъ попробовалъ свое оружіе не противъ отдѣльныхъ словъ Карамзина, его изящной отдѣлки стилиа, а противъ чувствительнаго манерничанья, часто карикатурнаго у даровитаго учителя и совершенно нестерпимаго у бездарныхъ учениковъ.

Карамзинъ, наприжиръ, въ письмахъ къ друзьямъ постоянно смѣется надъ Клушинымъ, именуя его Коклюшинымъ, надъ русской вертерьядой подъ заглавіемъ *Несчастный М—ъ*. По сентиментализмъ Клушина и уродства російскаго Вертера—продукты карамзинской школы. Карамзинъ послѣлъ на русской нивѣ чувствительность и соблазнилъ многихъ пицихъ духомъ и еще болѣе пицихъ талантомъ.

Перелистайте одно—два подобныхъ произведенія, и вамъ станетъ страшно за участь русскаго языка и даже русскаго здраваго смысла. Иногда самые заурядные авторы, отнюдь не кри-

тики, наприхѣръ, иѣкій М. С., сочинитель *Россійскаго Вертера*, рѣшались сомнѣваться въ правдивости геснеровскихъ идиллій, считали простой уловкой римотворцевъ воспѣваніе *ручекъ* и *овечекъ* и весьма остроумно разоблачали «стихотворческія басни». Такъ, наприхѣръ, тотъ же М. С. рядомъ писалъ идиллію въ стилѣ *Бѣдой Лизы*: на сценѣ и пастушки, и васильки, и даже аленькія гвоздички, а соотвѣтствующая всему этому вздору реальная картина: «крестьянская баба въ лантяхъ, которая неосторожно рѣзвилась съ большимъ мальчишкой».

Не лучше содержанія и стиль. «Слезы покатались по лицу его подобно бѣлому полотну», «Ангелъ невинности, слезы суть твоя лица»... Это стоило классической «ахинси», возмущавшей Львова. и было вполне законно ополчиться на нее.

Но недугъ шелъ глубже. Послѣ карамзинскаго путешествія въ русской литературѣ поцарилась повальная манія вояжировать по всѣмъ направленіямъ, начиная съ поѣздокъ на богомолье и въ Малороссію и кончая странствіемъ по комматѣ.

И все это изображалось въ книгахъ и журналахъ, читатели могли задохнуться отъ впечатлѣній неутомимыхъ путниковъ, въ дѣйствительности производившихъ всѣ чудеса въ своемъ воображеніи и въ своихъ кабинетахъ.

Столько матеріала, заслужившаго настоящей сатиры и безпощадной критики! Но шинковисты предпочли арену патріотизма и элоквиціи въ духѣ Тредьяковскаго. Изъ той же карамзинской школы вышли и противники ея явныхъ уродствъ.

Макаровъ достойно оцѣнилъ слезливость Паликова, эту нервно-развинченную литературу «розоваго цвѣта», риторическую и безсодержательную. Въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ*, державшемъ сторону Карамзина, напечатана горячая статья противъ увлеченія французскими авторами чувствительнаго направленія.

Статья—предисловіе къ переводной критикѣ на романъ г-жи Стазь *Дельфина* \*). Авторъ до глубины души возмущенъ раздражительностью русскихъ: «Мы довольно походимъ на тѣхъ дикихъ народовъ, которые съ изступленіемъ смотрятъ на провозимые къ нимъ европейцами мелочные и весьма обыкновенные товары, какіе отъ сихъ дѣтей природы принимаются за самыя драгоцѣнныя вещи».

Величайшая язва, на взглядъ автора, *чувствительность*. Она до такой степени ослѣпляетъ дамъ, что онѣ даже не различаютъ неблагопристойности французскихъ книгъ, въ томъ числѣ *Дельфины*.

\*) Отдѣльное изданіе—*Разсужденіе о Дельфинѣ*. Спб. 1803.

Еще любопытнѣе протестъ противъ сентиментализма въ *Журналь русской словесности*, органѣ Вольнаго общества любителей словесности, наукъ и художествъ. Журналъ держался въ особенно твердой политикѣ въ спорѣ шинковистовъ съ карамзинистами, склонялся, пожалуй, скорѣе на сторону новыхъ стилистовъ, но относительно сентиментализма мнѣнiе журнала совершенно определенное.

Къ чувствительнымъ авторамъ обращалась такая рубка:

«Высокопарные педанты! Нужные сезадоны! Какъ бы счастливы были читатели ваши, если бы, не прячя подъ облаками, не напыничаясь какъ Езопона д. . . на козедру для площадной морали, которой вы страницѣ чувствительны орыя возбуждаютъ смѣхъ въ читателяхъ, писали кено!».

Критики журнала из сумасбродствомъ чувствительныхъ воздыхателей, пероу отыскивавшихъ цѣлты и грацій. Издѣвательство не могло не задѣть первостепеннаго поклонника конфетныхъ волшебныхъ замковъ, и Карамзину, по справедливости, слѣдовало бы возстать на защиту сентиментализма.

Но онъ до конца предпочелъ хранить молчаніе и во что бы то ни стало избѣжать «непріятностей».

А между тѣмъ, въ журналистикѣ, враждебной сезаготочивости русскихъ Стерновъ, выставлялись на видъ не только художественныя уродства модной школы. Русская критика и здѣсь осталась вѣрна своей основной стихіи—публицистикѣ. Сентиментализмъ терпѣлъ поражение, какъ источникъ жизненной лжи, какъ словесная призма, совершенно извращавшая дѣйствительность для нравственнаго чувства и умственного взора краснорѣчивыхъ кабинетныхъ путешественниковъ.

Особенно любопытенъ протестъ, вышедшій изъ бывшего карамзинскаго журнала и пропущенный отнюдь не прогрессивнымъ и либеральнымъ редакторомъ, по крайней мѣрѣ, въ области литературной критики.

*Вѣстникъ Европы* послѣ Карамзина, т. е. съ 1804 года переходилъ въ разныя руки; одно время редактировался даже Жуковскимъ, по самой природѣ отнюдь не публицистомъ и даже не издателемъ.

Это немедленно и доказалъ кроткій пѣвецъ Свѣтланы.

Въ руководящей статьѣ романтикъ такъ опредѣлялъ политику и критику:



«Политика въ такой землѣ, гдѣ общее мнѣніе покорно дѣятельной власти правительства, не можетъ имѣть особой привлекательности для умовъ беззаботныхъ и миролюбивыхъ: она питаетъ одно любопытство, и въ такомъ тольکو отношеніи журналистъ описываетъ новѣйшіе и самые важныя случаи міра».

Надо понимать, вѣроятно, «анекдоты», столь близкіе сердцу Карамзина, и «осторожныя» выписки изъ англійскихъ газетъ.

О критикѣ Жуковскій судить также на карамзинскій ладъ, т. е. вполне беззаботно на счетъ литературы и весьма заботливо касательно своего спокойствія.

«Критика, но, государи мои, какую пользу можетъ приносить въ Россіи критика? Что прикажете критиковать? Посредственные переводы посредственныхъ романовъ? Критика и роскошь—дочери богатства, а мы еще не крезы въ литературѣ».

По мнѣнію Жуковского, современные ему писатели даже не желали быть крезами. Не замѣтно дѣятельнаго, повсемѣстнаго усилія умовъ производить или пріобрѣтати, нѣтъ образцовъ, а самая тонкая критика ничто безъ образцовъ...

И это писалось человѣкомъ, наводившимъ литературу переводами, твердилось въ то время, когда царили Жанлисъ, Коцебу, Радклиффъ! И царству ихъ не предвидѣлось конца, разъ журналисты отказывались отъ критики и предоставляли публикѣ самой разбираться въ невѣроятномъ переводномъ хламѣ.

Жуковскій изывалъ: «дадимъ свободу раскрыться нашимъ геніямъ!..» Это означало: дождемся красотъ и тогда воскликнемъ по адресу читателя и автора: «восхищайся, подражай, будь остороженъ!»

Подъ такими идеями могъ бы подписаться самъ Шишковъ.

По поводу статьи московскаго профессора Мерзлякова о классической трагедіи, онъ изывалъ о развращеніи юношества и увѣрялъ, что «истинные таланты никогда не возникнутъ» при существованіи критики.

Правда, Жуковскій никогда не уличалъ своихъ противниковъ ни въ какихъ смертныхъ грѣхахъ, ему случалось даже мимоходомъ признавать пользу критики, но ничто не могло подвинуть его на борьбу и полемику. А безъ этихъ условій самыя благія намѣренія—тушеядный капиталъ.

Другой издатель *Вѣстника Европы*, Каченовскій, докторъ философіи и профессоръ изящныхъ искусствъ, впоследствии ожесточенный врагъ философскаго движенія среди профессоровъ и сту-

дузское просвѣщеніе съ органическимъ отечественнымъ варварствомъ, и естественно, сентиментализмъ, какъ самый пышный и самый искусственный плодъ иноземной моды, попадаетъ на первый планъ именно въ гражданскихъ сатирахъ и проповѣдяхъ современниковъ.

Опять плохо приходилось не только слабымъ дѣтищамъ карамзинской школы, но и самому ея родителю.

Карамзинъ въ эпоху журнальнаго издательства, по своему понималъ народность и національность. Въ *Азѣанъ* онъ задумалъ напечатать богатырскую сказку объ Ильѣ Муромцѣ. Дальше его демократизмъ не простирался, — онъ принялъ самую приятную форму.

Въ русской старинѣ — ахъ еще больше улады, чѣмъ можно найти въ нѣ — ихъ.

Оказывается, до сихъ поръ, ахъ нѣжно-розоваго альманаха изнывалъ надъ прозаической истиной и тяжелой существенностью, только теперь онъ готовится облегчить свое изстрадавшееся сердце:

Ахъ! не все намъ горькой истиной  
Мучить томныя сердца свои!  
Ахъ, не все намъ рѣки слезныя  
Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ!  
На минуту позабудемъ  
Въ чародѣйствѣ красныхъ вымысловъ

Илья Муромецъ остался неоконченнымъ. Очевидно, даже безпощадно разсыропленное народное преданіе не совсѣмъ пришло по сердцу поклоннику Стерна!

### . XXXIX.

Непреодолимая склонность всюду стараться высасывать одинъ медъ не покинетъ Карамзина и наканунѣ его приступа къ *Исторіи Государства Россійскаго*. Онъ многозначительно сообщаетъ читателямъ о своей любви къ русскимъ древностямъ, увѣряетъ, что ему «старая Русь извѣстна болѣе, нежели многимъ изъ согражданъ его...» Откуда же и какъ получилъ Карамзинъ свои свѣдѣнія?

Отвѣтъ слѣдующій:

«Я люблю сіи времена; люблю на быстрыхъ крыльяхъ воображенія летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнью давно истлѣвшихъ вязовъ искать брадатыхъ моихъ предковъ; бесѣдовать съ ними о приключеніяхъ древности, о характерѣ славнаго народа

русскаго, и съ нѣжностью цѣловать руки у моихъ прабабушекъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего почтеннаго правнука, не могутъ наговориться со мною».

Вотъ, слѣдовательно, источникъ историческихъ и бытовыхъ представленій Карамзина: воображеніе и фантастическія бесѣды съ прабабушками!

Мы должны вполнѣ серьезно понимать рѣчь будущаго исторіографа. Недаромъ онъ, намекая читателямъ *Московского журнала* на свою будущую государственную работу именовалъ свой «трудъ» — «памятникомъ души и сердца моего», хотя бы «для малочисленныхъ пріятелей».

*Души и сердца*, это не то, что *ума и критики*. И въ дѣйствительности *Исторія* окажется однимъ изъ художественныхъ и литературныхъ явленій опредѣленной школы.

Это — капитальнѣйшій фактъ въ судьбахъ русской критики.

Мы увидимъ, въ какомъ направленіи вдохновилъ Карамзинъ русскую критическую мысль своимъ «памятникомъ».

Все равно, какъ его послѣдователи быстро довели сентиментализмъ и международный маскарадъ нѣжности до послѣдняго предѣла сжѣхотворности и безсмыслія и этимъ вызвали неизбежный протестъ здраваго смысла и здраваго чувства, такъ самъ Карамзинъ на своей ученой работѣ обнаружилъ съ особенной яркостью несостоятельность своего литературнаго направленія, и его *Исторія* формой и содержаніемъ нанесла такой ударъ реторикѣ и сентиментализму, какой не по силамъ былъ ни одному, самому искусному современному противнику карамзинистовъ.

Мы знаемъ, на чувствительность будто невольно поднимали руку консервативнѣйшіе журналы и благонамѣреннѣйшіе публицисты. Нѣкоторые изъ нихъ даже усиливались спасти классицизмъ, но російская вертеровщина рѣшительно возмущала ихъ уравновѣшенную душу.

И они правы.

Въ сентиментализмъ, при всѣхъ его заслугахъ — освобожденія литературы отъ правилъ и этикета, — по самой его природѣ могло проникнуть больше лжи и неправдоподобія, чѣмъ въ бездарнѣйшую классическую трагедію.

Классицизмъ имѣлъ дѣло съ прошлымъ, съ исторіей, съ давно погибшими героями; его наслѣдникъ настойчиво врывался въ настоящее, въ дѣйствительную жизнь и подмѣнялъ для всѣхъ очевидную осязательную правду полетами воображенія.

Чтобы развѣнчать классицизмъ Дмитрія Донского, требуется все-таки нѣкоторая ученость и извѣстная вдумчивость въ логику и психологію. Но чтобы возстать на «несчастливаго М—ва» достаточно просто твердой памяти и разсудка.

Отсюда—совершенно необходимый публицистическій характеръ почти всей критики, направленной противъ сентиментализма. Онъ только усилится и углубится, когда предъ читателями явится *подлинная отечественная исторія*, изложенная въ духѣ сентиментализма. Контрастъ правды и искусства выйдетъ прямо ослѣпительнымъ, и у Карамзина окажутся самые неожиданные противники — ученые историки Каченовскій и даже Погодинъ, здѣсь же, одновременно съ знаменитыми статьями Арцыбашева въ его журналѣ заявляющій о своемъ преклоненіи предъ исторіографомъ.

Очевидно, трудъ Карамзина *стихийно* толкалъ ученыхъ и журналистовъ на протестъ и часто уничтожающія сомнѣнія.

Такимъ образомъ, независимо отъ какихъ бы то ни было преднамѣренныхъ нападокъ принципиальныхъ враговъ, сентиментализмъ долженъ былъ погибнуть: онъ самъ себѣ вырылъ могилу и самъ себѣ пропѣлъ отходную.

И этой отходной—по волѣ иронической судьбы—явилось самое талантливое и значительное произведеніе Карамзина.

Борьба, вызванная имъ, тянется нѣсколько лѣтъ. Она отнюдь не наполняетъ всецѣло журналистики и не поглощаетъ всей современной критической мысли.

Рядомъ возникаютъ и растутъ еще болѣе могучія и богатые послѣдствіями теченія, чѣмъ война съ отживающими литературными школами.

Все до сихъ поръ изложенное развитіе русской критики—мирная и кроткая исторія не особенно сильныхъ и глубокихъ мыслей, сравнительно покойныхъ и довольно однообразныхъ чувствъ и настроеній.

Въ литературу нѣтъ великихъ творческихъ талантовъ, блестящихъ образцовъ, нѣтъ, слѣдовательно, самыхъ возбуждающихъ явленій для критической работы. Въ обществѣ отсутствуютъ искренніе, широкіе идейные интересы, въ громадномъ большинствѣ оно живетъ на старой, для него непогрѣнимой почвѣ, и самые отважные не рѣшаются порвать своихъ связей съ исторически, установившимися общественными гранями и сословными отношеніями.

Въ результатѣ литературная критика и публицистическая по-

лемика превращаются въ домашній споръ. Только ясновидцу Шишкову могутъ казаться опасными трогательныя упражненія карамзинистовъ и кроткія попользованія другихъ писателей—думать не согласно съ нимъ, стражемъ Синописа. Тотъ же самый *Вѣстникъ Европы* Каченовскаго, очень свободно критиковавшій литераторовъ, защищаетъ вообще цензуру и противопоставляетъ ее «неистовымъ революціямъ». Очевидно, при такомъ строѣ мысли нечего было опасаться ни за развращеніе юношества, ни за гибель отечественныхъ талантовъ.

Это не значитъ, будто старая критика не принесла литературѣ существенной пользы.

Напротивъ. Она успѣла затронуть важнѣйшіе вопросы искусства и даже дѣйствительности. Она — нравственное чувство для жизни и здравый смыслъ для искусства—возстала на классицизмъ за долго до Грибоедова, обнажила язвы чувствительности, когда еще и слуху не было о стихахъ и эпиграммахъ Пушкина, наконецъ, она касалась главнѣйшаго устоя русскаго-европейской словесности и уродливаго экзотическаго «просвѣщенія»—крѣпостного права.

И мы видѣли, подчасъ сильно доставалось одинаково и комедіянтамъ литературы, и деспотамъ жизни.

Но, при всѣхъ добрыхъ намѣреніяхъ критиковъ и публицистовъ, у нихъ не было необходимыхъ опоръ и единственно-надежныхъ условій успѣха: въ литературѣ—произведеній, сильныхъ одинаково и творчествомъ, и правдой, въ жизни—фактовъ и людей, отвѣчающихъ идеямъ. Приходилось жить *одной теоріей*, т. е. пребывать въ некоторомъ туманѣ по части конечныхъ выводовъ и цѣлей критики, существовать почти исключительно *отрицаніемъ*. Для публики—самый неблагоприятный путь къ уясненію новыхъ идеаловъ. Для нея необходима *наглядная иллюстрація* мысли, яркій опредѣленный образъ.

Онъ замѣнитъ собой самыя основательныя логическіе доводы и приведетъ къ желанному выводу самыя тугія и упорныя головы.

Нѣтъ сомнѣнія, журнальная полемика о классицизмѣ и сентиментализмѣ длилась бы еще цѣлые годы, если бы на комоць критикамъ не явились художники и не освѣтили вдохновеніемъ и чувствомъ ихъ идеи.

Справедливо также, что общественная мысль долго еще совершала бы закодированный кругъ въ предѣлахъ карамзинской

любвеобильной мечтательности и крыловской чисто-отрицательной сатиры, если бы въ полемику не ворвались событія и рядомъ съ литераторами не стали дѣятели.

Все это, къ великому выпгрышу русскаго прогресса, произошло одновременно, т. е. событія наши достойныхъ участниковъ и истолкователей, явленія жизни вызвали вполне соотвѣтствующій откликъ въ идеяхъ, и на завосваніе новыхъ порядковъ и новыхъ вѣрованій пошли рядомъ геніальные художники и искренніе энергическіе идеалисты. Таланты быстро наши свою публику, это не удивительно, но также и идеалисты не остались безъ учениковъ и послѣдователей.

Въ этомъ фактѣ основной культурный интересъ преобразовательнаго періода русской критики.

Но главнѣйшимъ всепроникающимъ силамъ великаго прогрессивнаго движенія критической и общественной мысли, его можно точно опредѣлить наименованіемъ *національно-философскаго*.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

### I.

Въ одной французской комедіи прошлаго вѣка, направленной противъ современной модной философіи, изображается въ высшей степени эффектная и, по замыслу автора, ядовитая сцена.

Философы вольтеріанскаго и энциклопедическаго направленія держатъ совѣтъ, какъ вытѣснить отовсюду своихъ противниковъ и дѣлятъ между собой вселенную. Одинъ долженъ возмутить Петербургъ и его академію, другой отправить памфлетъ въ Италію, третій, одаренный исключительной храбростью, разошлетъ двадцать повѣстей по обоимъ полушаріямъ, предсѣдатель совѣта беретъ на себя Англію.

Сцена по смыслу вполнѣ соответствовала дѣйствительности. Французскіе просвѣтители дѣйствительно властвовали надъ просвѣщеннымъ міромъ и могли похвалиться самыми блестящими и въ то же время самыми покорными вѣроподданными. Но, мы видимъ, еще въ самый разгаръ этой власти является протестъ, насмѣшка, хотя и не поражающая особеннымъ талантомъ, но преисполненная злости и одушевленная надеждой на близкій конецъ ненавистнаго деспотизма.

До революціи это только партія, проникнутая самыми разнообразными реакціонными чувствами—религіознымъ фанатизмомъ, политической косностью, духовнымъ мракобѣсіемъ. Со времени переворота картина мѣняется. Философія быстро теряетъ кредитъ даже у вчерашнихъ друзей и усердныхъ проповѣдниковъ, и противниками ея теперь можно считать едва ли не всѣхъ спасшихся и разочарованныхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, повидимому, банкротство полно!

Столько самонадѣянныхъ обѣщаній, такой азартъ критики и



разрушенія всего стараго, и въ результатѣ ужасы террора и тьма бонапартизма.

Некогда разбирать вопроса, дѣйствительно ли философія и критика виноваты въ кровавомъ движеніи революціи. Въ минуты запуганности, вообще сильныхъ нравственныхъ потрясеній логика у людей стремится принять самую упрощенную форму. Изслѣдованіе внутреннихъ, болѣе или менѣе глубокихъ причинъ данныхъ явленій требуетъ спокойствія и вдумчивости, легче рѣшить вопросъ на основаніи внѣшняго сопоставленія фактовъ. Что стоитъ рядомъ, что слѣдуетъ другъ за другомъ во времени, то и связано между собой причинностью.

*Post hoc—ergo propter hoc*, и въ результатѣ—Вольтеръ и его послѣдователи, эти искренніе монархисты и въ большинствѣ еще болѣе открытые враги матеріализма и безбожія, превращаются въ сочинителей-разбойниковъ, въ безудержныхъ отрицателей всего святаго, нравственнаго и даже вообще духовной природы человѣка и принципиальныхъ основъ общественнаго порядка.

Нанаденія начинаются очень рано, еще въ первый періодъ революціи. Во главѣ нападающихъ идутъ рядомъ малодушные отступники въ родѣ «незаконнаго сына философіи» Лагарпа, прирожденные враги просвѣтительной мысли—Деместръ и цѣлый рядъ пророковъ и софистовъ средневѣковой реставраціи. Къ нимъ присоединяются и несравненно болѣе благородные и искренніе искатели душевнаго мира и новой вѣры.

Не въ природѣ человѣческаго духа жить среди развалинъ и пустынь, вносить въ міръ сплошное отрицаніе и сомнѣніе, и всякій разъ непосредственно послѣ стремительнаго натиска на отжившіе идеалы жизни и мысли, у людей поднимается жгучая жажда построить новое зданіе хотя бы даже изъ стараго матеріала. А если этотъ матеріалъ оказывается безнадежно негоднымъ, нѣскоро изготовляется новый, часто призрачный и фантастическій, но дающій хотя бы временное удовлетвореніе неистребимымъ человѣческимъ вожделѣніямъ о гармоніи и положительной истинѣ.

И въ самой Франціи, только-что привѣтствовавшей Вольтера небывалыми восторгами, торжественно хоронившей его прахъ въ Пантеонѣ, поднимаются одинъ за другимъ безпощадные критики вольтеріянства и всего философскаго движенія, завѣщаннаго его эпохой.

Критики на первыхъ порахъ по существу продолжаютъ старое дѣло и ихъ голоса кажутся особенно внушительными и даже ори-

гинальными только потому, что теперь они звучат совершенно ксати и предъ ними такая же обширная и внимательная аудитория, какая еще такъ недавно была у энциклопедистовъ.

Рядомъ съ философами вольтеровскаго толка во французской литературѣ еще до революціи дѣйствовали писатели совершенно другого нравственнаго склада, будто не французскаго національнаго типа. Талантливейшій изъ нихъ Руссо отъ современниковъ стяжалъ наименование *нѣмецкаго автора*.

И дѣйствительно, его можно поставить во главѣ оригинальной породы публицистовъ, писавшихъ на французскомъ языкѣ, но по происхожденію не принадлежавшихъ чистой французской расѣ.

Руссо—женевскій гражданинъ, Швейцаріи будутъ принадлежать также г-жа Сталь, Бенжаминъ Констанъ. Всѣ они потомки гугенотовъ, въ разныя времена оставившихъ Францію, и всѣ они отличаются одной въ высшей степени яркой и важной чертой.

У нихъ не могло быть узкаго національнаго духа, галльскаго часто нетерпимаго идолопоклонства предъ исключительно національными сокровищами ума и искусства. Они несравненно доступнѣе культурнымъ вліяніямъ другихъ націй и весьма часто вносятъ во французскую литературу мотивы, чуждые самой сущности французскаго гевія.

Руссо страстно возставалъ противъ холодной философской разсудочности энциклопедистовъ, противъ ихъ пренебреженія къ другимъ способностямъ человѣческой природы, менѣе опредѣленнымъ и, можетъ быть, менѣе философскимъ, но тѣмъ болѣе глубокимъ и естественнымъ.

Въ противопѣлъ логическому разсудку, онъ взывалъ къ міру безсознательныхъ влеченій человѣческаго сердца, къ «внутреннему свѣту» чувства и свободной игрѣ поэтически-настроеннаго воображенія. Въ порывѣ протеста эту игру Руссо готовъ довести до «необъяснимаго бреда» и предпочесть даже такіа настроенія бездушному резонерству идолопоклонниковъ чистаго ума. Высшихъ истинъ, по мнѣнію философа, слѣдуетъ искать не путемъ резонерства, а при помощи чувства, вдохновеннаго мечтательнаго созерцанія, когда «умъ молчитъ, а сердцу ясно».

На этихъ основахъ Руссо пытался утвердить свою религію и нравственность. Открывая источникъ истинной человѣчности и благородства въ таинственной области инстинктивныхъ движеній чувствительной природы, Руссо не прочь былъ бросить какою угодно жесткимъ обвиненіемъ въ лицо безсердечнымъ эгоистич-

нымъ послѣдователямъ чистой логической мысли, всемогущаго, неизмѣнно яснаго и доказательнаго разума просвѣтителей.

Этотъ разумъ, истинное дѣтище французской расы, вызвалъ у нашего мечтателя столь же рѣшительное порицаніе, какъ и нравы современнаго парижскаго общества. Руссо съ совершенно одинаковыми чувствами отнесся и къ вольтеровской философіи, и къ аристократическому свѣту. Въ философѣ отъ начала до конца жилъ первостепенный сатирикъ своего времени, и какъ разъ съ оружіемъ, направленнымъ противъ основныхъ продуктовъ національнаго французскаго ума, вкуса и тона.

Соотечественники ни на шагъ не отстали отъ своего предшественника и учителя.

Констану въ молодости приходится переживать самый шумный періодъ парижскаго просвѣщенія. Онъ гость философскихъ салоновъ, близкій знакомый популярных *beaux esprits*, самъ отличный говорунъ и интересный кавалеръ. Но, по настроенію и образу мысли, онъ человѣкъ другой планеты.

Онъ успѣлъ побывать въ англійскихъ университетахъ, познакомился съ германской философіей и усвоилъ несравненно болѣе сложный и разносторонній взглядъ на вещи, чѣмъ французо-энциклопедическій.

Для иного парижскаго философа достаточно одного, двухъ фیزیологическихъ открытій, чтобы разгадать всѣ тайны человѣческой природы, какой-нибудь остроумной гипотезы или просто фикціи, чтобы проникнуть въ основу политическихъ обществъ,—Констанъ во всѣхъ этихъ вещахъ находитъ бездну неразрѣшенныхъ или, во всякомъ случаѣ, крайне трудныхъ задачъ.

И здѣсь, какъ у Руссо, вопросъ о религіи стоитъ на первомъ мѣстѣ и создаетъ цѣлую пропасть между салонными мудрецами и «нѣмецкимъ студентомъ».

Лично Констанъ не питаетъ настоящей склонности къ вѣрѣ и еще менѣе—къ религіозному культу. Но онъ крайне осторожно судить о происхожденіи религій, съ изумительнымъ терпѣніемъ допытывается общаго смысла въ каждой религіозной системѣ и считаетъ великой находкой, если ему удастся проникнуть въ нравственную и общественную сущность того или другого культа...

Несоизмѣримая разница съ французскими мыслителями школы Гельвеція и Гольбаха! Для нихъ историческія религіи — сплошь результатъ хитроумія жрецовъ и легковѣрія народа, лишенный всякой почвы въ самой человѣческой природѣ.

до революціи французская литература уже тосковала о зарейнской искусствѣ, и Сталь въ этой области явилась прямой наслѣдницей старыхъ критиковъ и драматурговъ.

Иначе стоялъ вопросъ относительно философіи.

Проникнуть сюда было несравненно труднѣе даже для самыхъ отважныхъ поклонниковъ германской поэзіи. Даже самая простая система нѣмецкой метафизики—иѣчто недостижимое для обыкновеннаго французскаго ума, воспитаннаго на увлекательно-прозрачной философіи Вольтера и Кондильяка. А между тѣмъ, именно въ этой безднѣ тумановъ и заключались настоящія національныя сокровища германскаго генія.

Это чувствовали Константъ и число такихъ людей увеличивалось постепенно съ эпохи революціи. Неудовлетворенность разсудочнымъ эмпиризмомъ естественно приводила къ міросозерпанію, основанному на принципахъ чистаго разума, разочарованіе въ материалистическихъ системахъ вызывало жажду идеализма, и нѣмецкіе философы какъ разъ шли на встрѣчу этимъ исторически-необходимымъ и нравственно-мучительнымъ запросамъ вчерашнихъ признанныхъ наставниковъ всего міра.

Въ самомъ началѣ столѣтія, въ 1804 году, въ Парижѣ основывается журналъ *Archives littéraires de l'Europe*, съ цѣлью установить литературную и философскую связь между Франціей и Европой.

Подъ Европой разумѣлась преимущественно Германія. Журналъ помѣщалъ горячія статьи во славу германской учености, поэзіи и особенно философіи.

Ея высшей заслугой признавалось обсужденіе высшихъ идеальныхъ вопросовъ человечества, и [этимъ самымъ наносился ударъ отечественному легкому философствованію <sup>1)</sup>].

Журналъ просуществовалъ всего три года и былъ закрытъ наполеоновскимъ правительствомъ. Но столь краснорѣчивое умственное движеніе нельзя было подавить никакой внѣшней властью. Скоро Бонапарту пришлось воздвигнуть цѣлое гоненіе на книгу такого же направленія, несравненно болѣе энергичную и искусно написанную. Что въ журналѣ разбрасывалось по разнымъ статьямъ и доказывалось далеко не всегда съ одинаковымъ талантомъ, то въ книгѣ явилось будто снопомъ блестящихъ идей и фактовъ.

<sup>1)</sup> Virgil Kossel. *Histoire des relations littéraires entre la France et l'Allemagne*. Paris 1897. p. 151.

Гоненіє могло только поднять значеніє книги и расширить ея популярность.

## II.

Французы до сихъ поръ не могутъ вполне спокойно говорить о сочиненіи Сталь, посвященномъ Германіи. Всякій критикъ и историкъ непрежѣнно съ особенной тщательностью подчеркиваетъ исключительныя настроенія, руководившія писательницей, и ея односторонній идеалистическій взглядъ на Германію и нѣмецкій національный характеръ. Сталь воображала сплошную идиллію тамъ, гдѣ впоследствии родился Бисмаркъ и всякія другія сопутствующія обстоятельства... Это возмущаетъ французское сердце.

Намъ нѣтъ дѣла до гражданскаго гнѣва современныхъ цѣнителей книги, никакія чувства не могутъ подорвать ея великаго историческаго культурнаго значенія.

Оно велико не только для французовъ и нѣмцевъ—націй, ближе всего заинтересованныхъ. Оно также фактъ для русской литературы и для умственаго развитія одного изъ значительнѣйшихъ поколѣній русскихъ дѣятелей.

Сталь долго оставалась авторитетомъ для русскихъ критиковъ французской философіи. Отдѣльныя главы ея книги переводились въ лучшихъ русскихъ журналахъ<sup>2)</sup>, и наши романтики и философы отчасти французскимъ путемъ пришли къ отрицанію французскаго матеріализма и французскаго искусства. Въ разсужденіяхъ первыхъ русскихъ шеллингянцевъ безпрестанно звучатъ отголоски остроумныхъ наблюденій писательницы надъ нѣмецкой культурой и ея достоинствами сравнительно съ французскимъ поверхностнымъ *esprit*. И когда русскіе критики указывали на владычество германскихъ музъ во французской литературѣ, они могли сослаться прежде всего на примѣръ Сталь.

Ничего, конечно, не могло быть убѣдительнѣе подобной ссылки: нѣмецкая мысль, несомнѣнно, имѣла всѣ права на интересъ русскихъ, разъ ей подчинялись сами французы<sup>3)</sup>.

Сталь, дѣйствительно, изумительно ярко освѣтила особенности германской философіи, какъ разъ соответствовавшія настроенію

<sup>2)</sup> Напримѣръ, въ *Мнемозинѣ* статья о Кантѣ. Ср. Колупановъ *Біографія А. И. Кошелева*. Москва 1889. I. 440.

<sup>3)</sup> Кн. Вяземскій въ статьѣ о *Бахчисарайскомъ фонтанѣ*—Пушкина.

европейскаго общества послѣ революціи и французскаго философскаго господства.

Писательница подвергла критикѣ міросозерцаніе, особенно распространенное Франціей XVIII-го вѣка. Матеріализмъ нанесъ великій вредъ не только уму, и нравственности, но самому характеру французовъ. Онъ поставилъ дѣятельность человека въ исключительную зависимость отъ внѣшняго міра, поработилъ его природу впечатлѣніямъ и обстоятельствамъ, и подорвалъ всякій интересъ къ духовному міру, изъясъ изъ обращенія какъ разъ глубочайшіе вопросы психологіи и нравственности.

Убѣдите человека, что его душа—нѣчто пассивное, необходимое созданіе не зависящихъ отъ нея силъ, ничто иное, какъ результатъ ощущеній удовольствія или страданія,—вы до послѣдней степени сѣзните кругъ умственной энергіи и философскихъ интересовъ.

Напротивъ, выдвиньте на первый планъ нравственную природу человека, докажите ея свободную самодѣятельность, необходимость—въ цѣляхъ познанія истины—изслѣдовать ея законы и ея силы, вы сосредоточите наше вниманіе прежде всего на идеяхъ, на душѣ, на разумѣ и особомъ мірѣ явленій, совершенно недоступныхъ и невѣдомыхъ матеріалистическому философу.

Въ результатѣ, среди французовъ развился и утвердился особый родъ насмѣшливаго скептицизма, пренебреженіе ко всему, что требуетъ особыхъ умственныхъ усилій. Для нихъ метафизика, вообще отвлеченная философія звучитъ необыкновенно забавно, въ родѣ чудовищной фамиліи шмецкаго барона изъ романа Вольтера *Кандидъ*.

Французская публика вполне напоминаетъ анекдотическаго принца, требовавшаго спеціально для себя легкаго пути къ изученію математики. Она—тоже своего рода царственная публика—немедленно поднимаетъ на смѣхъ или презрительно отталкиваетъ все недоступное первому взгляду, не похожее на газетную статью.

Для нея ненавистна мысль—*подумать или изслѣдовать глубину сердца*, чтобы понять идею, художественный образъ.

Сталь, какъ истинная ученица Руссо, обрушивается на Вольтера, главнѣйшаго, по ея мнѣнію, виновника столь печальныхъ фактовъ. Ее особенно возмущаетъ *Кандидъ*, переполненный «адской веселостью», «сардоническимъ смѣхомъ», всѣмъ, что «представляетъ человѣческую природу съ самой плачевной стороны».

Вольтеръ попалъ подъ гнѣвъ писательницы, какъ жертва ис-

купленія. Она сама не можетъ не признать благороднѣйшихъ чувствъ и мыслей, вдохновляющихъ его трагедіи. Она могла бы также сослаться и на біографію писателя; здѣсь много эпизодовъ—особенно касательно практической гуманности—убѣдительно въ всякихъ драмъ и романовъ.

Сардоническій смѣхъ Вольтера являлся не столько плодомъ насмѣшливаго отрицанія, сколько горькаго пессимистическаго чувства при видѣ безконечныхъ многообразныхъ бѣдствій челоуѣчества и многихъ, дѣйствительно презрѣнныхъ свойствъ челоуѣческой природы.

Для насъ любопытно, что Вольтеръ въ изображеніи Сталь долженъ былъ встрѣтить полное сочувствіе у русскихъ противниковъ французской философіи. Наши вольтеріанцы оказали единственную въ исторіи медвѣжью услугу своему учителю,—разславили его философію именно въ смыслѣ грубѣйшаго матеріализма и тупого нравственнаго безразличія къ добру и злу, къ мысли и чувству.

Новымъ русскимъ философамъ естественно приходилось вести борьбу съ первоисточникомъ отечественнаго развращенія, и Сталь только могла ободрить ихъ своей рѣшительностью.

По сущности ея разсужденій не въ частныхъ примѣрахъ, а въ общей характеристикѣ культурнаго состоянія французскаго общества и въ указаніи путей къ спасенію.

Матеріализмъ одинаково извратилъ нравственность, понизилъ умственную жизнь и обезплодилъ литературу и философію. Онъ изуродовалъ челоуѣческую природу и заградилъ живые источники идейнаго и творческаго совершенствованія.

Надо возстановить полноту и цѣльность возрѣвнѣвшей на челоуѣческую природу, возвысить нравственное достоинство челоуѣческаго бытія, и удовлетворить нашей естественной жадѣ идеала и гармоніи.

Именно естественной.

«Сила ума,—говоритъ Сталь,—никогда не можетъ долго оставаться отрицательной, ограничиваться невѣріемъ, непониманіемъ, презрѣніемъ. Нужна философія вѣры, энтузіазма, философія, подтверждающая путемъ разума откровенія чувства»<sup>4)</sup>.

Права энтузіазма Сталь защищала въ особой книгѣ: *О литературѣ*, защищала въ интересахъ поэзіи, не существующей безъ

<sup>4)</sup> *De l'Allemagne. Troisième partie, chapitre VI, Kant.*



свободнаго вдохновенія, безъ лирическихъ волненій сердца. Все это въ изобиліи оказывалось у нѣмецкихъ поэтовъ, и Сталь рѣшилась разъяснить французскимъ читателямъ даже *Фауста*, какъ великое созданіе нѣмецкаго гения.

Теперь она пытается раскрыть тайны нѣмецкой философіи, толкуетъ объ этомъ предметѣ вообще, особенное вниманіе посвящаетъ Канту, не пропускаетъ его послѣдователей и противниковъ.

Никто, конечно, въ настоящее время не станетъ въ книгѣ Сталь искать поучительныхъ свѣдѣній о германскихъ философахъ; дѣло ограничивается изложеніемъ выводовъ различныхъ системъ и даже пространный разговоръ о Кантѣ—ученическій пересказъ очень сложнаго и труднаго предмета. Но ради даже такого предпріятія писательница принуждена напомнить своей публикѣ о предстоящихъ трудностяхъ и объ особенномъ вниманіи, обыкновенно не свойственномъ французскимъ читателямъ, разсказать даже для поощренія анекдотъ о привередливомъ и легкомысленномъ принцѣ.

Во всякомъ случаѣ, объясненія Сталь являлись откровеніемъ не только для парижанъ; ея работа проникнута искреннихъ интересовъ къ предмету, и часто это чувство подсказываетъ писательницѣ въ высшей степени замѣчательныя критическія соображенія. Это чисто сердечное, почти поэтическое проникновеніе въ сущность дорогаго вопроса.

Такъ, напримѣръ, Сталь сравниваетъ Канта съ нѣкоторыми позднѣйшими философами. Кантъ не указалъ единаго принципа, охватывающаго въ себѣ міръ духовный и матеріальный и помирился съ ихъ взаимодействіемъ. Многихъ не удовлетворило это раздвоеніе, и они сочли необходимою продолжить систему Канта и свести идеи и явленія къ цѣльному и единому.

Сталь не считаетъ подобныхъ усилій фактомъ философскаго прогресса. Все равно, какой бы принципъ ни признать объединяющимъ—духовный или матеріальный—онъ не дѣлаетъ міръ понятнѣе. По мнѣнію Сталь, такое воззрѣніе даже противорѣчитъ нашему непосредственному чувству, признающему міръ физическій и нравственный—двумя разными мірами.

Можно спорить, что именно подсказываетъ намъ наше чувство и слѣдуетъ ли полагаться на его внушенія въ вопросахъ философіи, но несомнѣнно одно: поиски абсолюта, наравнѣ съ нѣкоторыми плодотворными вліяніями, принесли философовъ къ безусловно отрицательнымъ результатамъ, по существу враждебнымъ



строгой критической философіи Канта. Мы убѣдимся въ этомъ неоднократно.

Но именно стремленіе къ единому принципу являлось необходимымъ, прежде всего *исторически*.

Если дѣйствительно человечеству послѣ революціи требовалась философія вѣры, такую философію не могла дать чистая критика.

Она по существу продолжала дѣло разрушенія и, слѣдовательно, не вела къ всеобъемлющему единственно успокоительному идеалу.

Кантъ опредѣлилъ границы человеческого разума, разграничилъ, слѣдовательно, міръ познаваемого отъ невѣдомаго. Но не этого искали наслѣдники энциклопедистовъ. Они и отъ своихъ учителей и старшихъ современниковъ достаточно слышали о недоступности истины всѣхъ истинъ. Эта увѣренность и привела многихъ къ рѣшительному отрицанію вообще подобной истины.

Что не познаваемо нашимъ умомъ, того и не существуетъ; отсюда меньше шага до матеріализма и насмѣшливаго скептицизма, столь возмущавшаго Сталя.

Очевидно, во имя спасенія новыхъ высшихъ задачъ человеческого духа, требовалось открытіе высшаго принципа мірозданія, философскій символъ вѣры, логическая система, удовлетворяющая нравственно-религіозному настроенію общества.

Это стремленіе къ единству отнюдь не исключительная черта пореволюціонной эпохи. Оно обнаруживалось всегда и вездѣ, лишь только человечеству предстояло создать новыя положительныя основы личной и общественной жизни.

Въ теченіе того-же столь безпощадно-отрицательнаго XVIII-го вѣка идея единства не умирала вплоть до революціи. Не всѣ философы наслаждались только разрушеніемъ существующаго и общепризнаннаго,—рядомъ шли попытки новыхъ сооруженій въ политикѣ, въ религіи, даже въ наукѣ. Такія понятія, какъ *естественное состояніе, прирожденные права человека, внутренній свѣтъ*—ничто иное, какъ формы абсолюта. Онѣ въ высшей степени произвольны, искусственны и неопредѣленны, но, мы знаемъ,—ихъ практическое дѣйствіе на современниковъ ничѣмъ не уступало позднѣйшимъ философскимъ принципамъ.

Революція поставила было себѣ задачу не только разметать полуразвалившееся зданіе стараго порядка, но и воздвигнуть новое святилище свободы, братства и равенства.

На помощь были призваны самые строгіе принципы единства.

т. е. въ основу грядущаго общества и государства были положены чистѣйшія метафизическія понятія, и на первомъ мѣстѣ.— понятіе человека какъ такого, какъ непосредственнаго продукта совершенной природы.

Задача оказалась невыполнимою, но неудача дискредитировала только опредѣленные принципы и философскія понятія, а не вообще принципальность и философію.

Въ самый разгаръ революціонной бури у нѣкоторыхъ очевидцевъ совершился оригинальный умственный процессъ. видѣніи къ новымъ единствамъ и грозные опыты революціи не только не мѣшали этому процессу, но будто давали ему новую пищу и подсказывали выводы.

### III.

Стазь въ своей негодующей картинѣ французской философіи представила далеко не полную перспективу современнаго развитія французскихъ идей. Она ни однимъ словомъ не коснулась теченія, совершенно противоположнаго вольтеріанству, едва замѣтнаго до революціи, но чреватаго шумнымъ и продолжительнымъ будущимъ.

Въ исторіи человѣчества нѣтъ безусловно одноцвѣтныхъ эпохъ—можно отмѣтить только *преобладающія* настроенія и нельзя всѣ идеалы свести къ одной всеобъемлющей системѣ.

Вѣкъ энциклопедіи по преимуществу, но не исключительно—критическій. Даже у самого главы «философской церкви» Вольтера всю жизнь не изсякали стремленія, совершенно другого характера, чѣмъ его ожесточенная борьба съ католичествомъ. Именно Вольтеръ высказалъ восторженный отзывъ о религіи савойскаго викарія и отлично понималъ неудовлетворительность какой бы то ни было чисто-отрицательной философской системы.

Отсюда попытки Вольтера во что бы то ни стало создать нѣчто въ родѣ религіозныхъ представленій. Трудно давалась подобная работа мефистофелю всякихъ догматовъ, но отдѣлаться отъ нея совершенно, очевидно, не было силъ и воли даже у вольтеровской «адской веселости».

Разсудкомъ не создаются религіи, и Вольтеру менѣе всего къ лицу являться «патріархомъ» какой-бы то ни было церкви, кромя философской. Но, очевидно, вопросъ представлялъ великій жизненный смыслъ, если рѣшать его брался подобный человекъ. А это означало неизбежность и неудачу попытокъ и болѣе счастливыхъ

все зависѣло отъ личной приспособленности проповѣдника къ своему дѣлу. Смена ожидалась безусловно благодарной почвой.

Мы говоримъ не о пережиткахъ католичества, не о безплодныхъ усиліяхъ спасти вѣру отцовъ въ ея дѣйственной чистотѣ и силѣ. Даже и послѣ революціи Римъ напрасно будетъ поднимать голову, вооружаться такими блестящими защитниками какъ Деместръ или Ламеннэ. Дѣло само себѣ произнесетъ проговоръ въ тотъ самый часъ, когда даровитѣйшій изъ рыцарей папства—Ламеннэ—торжественно отречется отъ него и направитъ всея суюй талантъ на своего вчерашняго вдохновителя.

Нѣтъ. Никакіе перевороты и бѣдствія не могли помочь среднему вѣковому католичеству оправиться послѣ удара Вольтера и энциклопедіи. Слуги Рима могли и до сихъ поръ еще могутъ сколько угодно отводить душу въ тщательномъ развѣчиваніи личности Вольтера, въ укоризнахъ его писательской сварливости и тщеславію, легкомысленному всезнайству, рассчитанной лъстивости. предъ глазами и сильными,—все это не возстановитъ кредита ни инквизиціи, ни іезуитовъ, ни всего прочаго шарлатанства и варварства римской церкви, и не притупитъ стрѣлъ *Кандида* и *Философскаго словаря*.

И не даромъ тотъ же Деместръ всю жизнь оставался усерднымъ читателемъ вольтеровскихъ произведеній, ища у него таланта и искусства для борьбы противъ него же самого.

При такихъ условіяхъ не могли имѣть серьезнаго культурнаго значенія чисто-реакціонныя католическія вождельшія.

Раскройте книги Деместра и Бональда, на каждой страницѣ будутъ подвергаться жестокой пыткѣ или ваше нравственное чувство, или человѣческое достоинство и простой здравый смыслъ.

У одного вы прочтете доказательства, что міръ осужденъ на вѣчное кровопролитіе, на повальное страданіе—виновныхъ—за свои преступленія, невинныхъ—за чужіе грѣхи, что, наконецъ, палачъ—красугольный камень общественнаго порядка.

И это вполнѣ послѣдовательно.

Чтобы подчинить человѣчество неограниченной и непогрѣшимой власти римскаго престола и *Index'a*, надо предварительнo отнять у людей нравственное и естественное право самостоятельной мысли, а для этого логически слѣдуетъ дискредитировать самую природу и самыя способности человѣка.

Тѣмъ же путемъ шелъ и Бональдъ: въ лицѣ его Деместръ привѣтствовалъ свое второе я. Но здѣсь движеніе оказалось *эффективнымъ*.

Во имя священныхъ принциповъ, пришлось отрицать шагъ за шагомъ не только науку, философію, но даже техническія открытія—въ родѣ телеграфа—подвергать проклятію. Каковы же могли быть принципы и какое будущее имъ предстояло, если они не уживались съ самыми естественными, вѣдѣмъ не отрицательными результатами научной и умственной дѣятельности даже своихъ современниковъ!

Очевидно, но на сторонѣ новыхъ католиковъ было рѣшеніе великаго вопроса о вѣрѣ, объ единомъ идеальномъ принципѣ, какъ вообще никогда и нигдѣ никакая реакція не излѣчивала недуговъ своего времени и не давала прочнаго, искренняго, нравственнаго утѣшенія ни отдѣльнымъ личностямъ, ни всему обществу.

Живое теченіе пробивалось вдали отъ софистовъ и мракобѣсовъ, тщательно оберегая свой путь отъ гнилого дыханія электризуемаго трупа. Здѣсь задача предстояла неизмѣримо болѣе трудная, чѣмъ даже защита римскихъ догматовъ вольтеріанскими методами. Человѣческій умъ, по своей природѣ конечный и скептический, не могъ собственными силами построить вѣчное зданіе положительнаго идеала. Примѣръ Вольтера навсегда остался убѣдительнымъ, независимо отъ какихъ бы то ни было теоретическихъ соображеній.

Предстоялъ единственный выходъ, указанный Руссо,—*внутренній голосъ*. Онъ не связанъ ни логикой, ни фактами. Это—состояніе поэтическаго восторга, безотчетное и стихійное. Это не объясненіе и доказательство тайнъ, а откровеніе и ясновидѣніе. Восторгъ можетъ перейти въ «необъяснимый бредъ»; опредѣленіе дано самимъ Руссо, часто лично испытывавшимъ этотъ переходъ. Человѣкъ можетъ не понимать образовъ своего *внутренняго свѣта*, но съ тѣмъ болѣе напряженнымъ интересомъ онъ готовъ созерцать. Отсюда преобладающая, часто исключительная роль безсознательнаго, поэтическаго и таинственнаго въ ущербъ разсудку, фактическому знанію и даже здравому смыслу. Такой результатъ неразлученъ съ самой задачей. Мы видимъ его развитіе еще до революціи; въ слѣдующую эпоху онъ налагаетъ свою печать на философскія, политическія и нравственныя системы. И что особенно любопытно: онъ иногда вторгается въ міросозерцаніе мыслителя будто помимо его воли.

Философъ начнетъ строить систему на самыхъ, повидимому, положительныхъ научныхъ данныхъ, по возможности, убѣждать

насть именно въ своемъ безусловномъ уваженіи только къ наукѣ и логикѣ, и дѣйствительно пускаетъ въ ходъ громадный запасъ фактовъ изъ исторіи и естествознанія.

Но судьба искателя единого принципа—неотвратима. Послѣ продолжительныхъ блужданій въ ясныхъ областяхъ самыхъ строгихъ наукъ—въ родѣ математики и физики—философъ попадаетъ въ безпросвѣтное и безвыходное царство мистическихъ представлений и часто дѣло доходитъ до измышленія настоящаго религіознаго культа съ таинствами и пророчествами.

Именно такой путь прои́дла повѣрная позитивистская школа, начиная съ ея основателя Сентъ-Симона и кончая Огюстомъ Контомъ.

Въ этой школѣ мистицизмъ явился послѣднимъ звеномъ движенія. У другихъ съ мистицизма началась вся философія, и именно они были многіе послѣдовательными представителями поколѣнія, жаждавшаго философской вѣры.

Мы только что назвали французскія имена, но тотъ же фактъ—достояніе всей европейской мысли начала XIX вѣка. Въ Германіи, гдѣ, по указаніямъ Сталъ, слѣдовало искать новыхъ умственныхъ горизонтовъ, происходило то же самое смѣтеніе философіи съ мистицизмомъ, потому что и здѣсь съ такимъ же усердіемъ искали всеобъединяющаго и всетворческаго принципа.

Здѣсь также системы начинались близкимъ соприкосновеніемъ съ подлинными науками, воспринимали ихъ идеи и выводы, а кончались проповѣдью созерцанія, экстаза, священнаго безумія. Сентъ-Симону съ полнымъ основаніемъ можно противопоставить Шеллинга. Параллель между французской и германской мыслью можно провести еще дальше: открыть изумительныя совпаденія шеллингианской философіи съ самымъ откровеннымъ мистицизмомъ Сентъ-Мартена.

Такую пеструю и, на первый взглядъ, противорѣчивую картину представляетъ философское развитіе пореволюціонной эпохи. Въ дѣйствительности нѣтъ никакого противорѣчія между Контомъ, творцомъ классификаціи наукъ, закона трехъ стадій культурнаго прогресса и создателемъ «позитивнаго» культа, такъ же, какъ Шеллингъ вѣренъ себѣ и въ восторгахъ предъ открытіями повѣннаго естествознанія и въ провозглашеніи поэтического созерцанія, какъ единственнаго пути къ познанію міровой истины.

Противорѣчіе заключалось не въ развитіи философскихъ системъ, а въ самихъ затѣчахъ философовъ. Они разсчитывали

создать религію изъ матеріаловъ науки, спру слить съ разумомъ и идеальную тоску сердца удовлетворить доводами разсудка. Это значило, непознаваемое по существу пытаться сдѣлать практически доступнымъ и логически убѣдительнымъ.

Естественно, въ разсужденіяхъ философа наступалъ моментъ, когда онъ принужденъ былъ покинуть лочну искренне цѣннаго имъ знанія и логики и, подобно Сея-Симону, обратиться къ помощи *видѣній* или, подобно Шеллингу, къ нестоль откровенному, но не болѣе философіѣому источнику—*исііальному эдохновенному творчеству*.

Такимъ путемъ, въ силу исторической необходимости, мысль начала XIX-го вѣка приняла въ высшей степени своеобразное направленіе и обнаружила крайне разнородное идейное содержаніе.

#### IV.

Послѣ критики предыдущей эпохи и особенно послѣ разрушительныхъ потрясеній революціи, новыя поколѣнія нуждались въ новыхъ положительныхъ основахъ даягѣйнаго нравственнаго и культурнаго развитія. Никакіе перевороты не въ силахъ остановить духовной жизни; напротивъ, они еще больше обостряютъ исконную человѣческую жажду болѣе прочной истины и болѣе цѣлесообразной дѣйствительности.

Отсюда вѣчный изрыгъ религіозныхъ настроеній какъ разъ во времена политическихъ или общественныхъ катастрофъ. Такъ было и на зарѣ нашего вѣка.

Открывалось два выхода: одинъ, простѣйшій, вернуться вспять, собрать изъ обломковъ старое зданіе и зажить въ немъ по старинѣ. Немногихъ могла удовлетворить такая перестройка даже на первыхъ порахъ; о будущемъ не было и рѣчи. Другой выходъ—признать новыя завоеванія мысли и знанія и именно ими воспользоваться для заполнения пропастей, созданной тою же мыслью и тѣмъ же знаніемъ.

Это было, конечно, несравненно разумнѣе, чѣмъ фанатическая война какого-нибудь Бонапарта противъ неотразимыхъ истинъ «скотологін», т. е. естествознанія. Волей-неволей приходилось «скотологию» считать силой, потому что она вступила какъ разъ въ самый блестящій періодъ своего развитія, и не только считать, но и положить ее во главу угла возможнаго сооруженія.

Здѣсь прогрессивный шагъ новой философіи, и мы увидимъ,

какіе плодотворные результаты получились отъ тѣснаго союза философіи съ опытной наукой.

Но не могъ получиться только конечный результатъ, именно самый искомый, по культурнымъ задачамъ эпохи—первенствующій.

Наука давала множество фактовъ и частныхъ идей, но совершенно не упомощивала философа подчинить всѣ эти факты одной силѣ и свести идеи къ одному принципу. Пока дѣло шло объ отдѣльныхъ обобщеніяхъ, о группировкѣ явленій, философъ оставался ученымъ, но лишь только хотѣлъ вывести итогъ, онъ немедленно становился поэтомъ, логика уступала мѣсто фантазіи, разумъ—творчеству, философія—мистицизму.

Впоследствии философы поняли фатальность такого положенія и тщательно постарались разъ навсегда отдѣлать истинную философію отъ опаснаго сосѣдства мнимаго философствованія и простаго фантазерства.

Ученики позитивистской школы оцѣнили по достоинству заблужденія своего учителя, и Милль единодушно съ Литтре требовали отъ философовъ примириться съ темной областью непознаваемого, съ безграничнымъ, но недоступнымъ намъ океаномъ, омывающимъ берегъ нашихъ фактовъ и идей. У насъ нѣтъ ни корабля, ни компаса для путешествія по этой пучинѣ...

Это, въ сущности, возстановленіе кантовскаго возрѣнія, и оно ярко подчеркивало регрессивную черту въ философіи начала XIX-го вѣка. На нее могла указать еще Сталь.

Но регрессъ здѣсь явился неизбежнымъ симптомомъ времени и для своей эпохи, сравнительно съ другими попытками возстановить нравственную и философскую гармонию—представлялъ выигрышъ со стороны разума и науки на счетъ рабства и суевѣрія.

Это видно уже по распредѣленію того и другого теченія въ разныхъ общественныхъ слояхъ.

Деместръ вербоналъ послѣдователей среди «старого» общества, среди обломковъ эмиграціи—во Франціи и вчерашнихъ «смѣшныхъ маркизовъ» въ другихъ странахъ. «Философская вѣра» въ различныхъ системахъ съ энтузіазмомъ воспринималась молодыми поколѣніями, цвѣтомъ просвѣщенія и нравственной силы всюду—отъ Франціи до нашего отечества.

Особенно здѣсь западно-европейская мысль вызвала богатѣйшіе идейные и практическіе результаты. На западѣ съ философией и вѣрой веда жестокою конкуренцію политика. Парламентъ вырывалъ множество даровитыхъ силъ отъ университетской аудиторіи и изъ ученаго кабинета.



Въ Россіи ничего подобнаго. Вся умственная жизнь приуждена была сосредоточиться на литературѣ и наукѣ. Философскіе вопросы получали *исключительное* значеніе въ жизни общества и отдѣльныхъ выдающихся личностей. Въ философіи русскіе люди искали не только нравственнаго утѣшенія и научнаго единства, какъ было на Западѣ, но и отвѣта на всѣ запросы высокоодаренной, заключенной въ себѣ, души.

Отсюда необыкновенная стремительность русской воспримчивости къ философскимъ идеямъ и страстность въ ихъ возможномъ приложеніи къ дѣйствительности. Отсюда также чисто теоретическая отважная прямолинейность выводовъ.

Вѣдь развитіе философской мысли для русскихъ философовъ не ограничивалось и не контролировалось столь же свободнымъ развитіемъ реальной жизни. Напротивъ, именно эта жизнь своими отрицательными явленіями только приподнимала авторитетъ и привлекательность отвлеченнаго идеальнаго міра. Не воспитывая у лучшихъ людей ни сочувствія къ дѣйствительности, ни опытности въ рѣшеніи жизненныхъ вопросовъ, она являлась первой причиной часто фанатическаго поклоненія философской теоріи, первымъ побужденіемъ, усвоить и развить менѣе всего положительное и практически плодотворное міросозерцаніе.

Мы увидимъ это на примѣрѣ самыхъ блестящихъ представителей русскихъ философскихъ поколѣній.

Принято думать, будто эти поколѣнія учились философіи исключительно у немцевъ, будто шеллингизмъ и гегелизмъ начинаютъ и увеличиваютъ философскую полосу въ исторіи нашего общественнаго прогресса.

Дѣйствительно, имена Шеллинга и Гегеля переполняютъ литературу и производятъ впечатлѣніе единодержавной власти германской мысли подъ русской интеллигенціей вплоть до шестидесятыхъ годовъ.

Такъ предполагать тѣмъ естественнѣе, что французская философія послѣ революціи, отчасти даже раньше, утратила свой кредитъ повсюду, и у насъ въ то же время. Мы увидимъ, русскіе юноши даже откренчивались отъ слова *философія* и вводили новый терминъ *любомудріе*. Они боялись, какъ бы ихъ не смѣшали съ поклонниками французскихъ «софистовъ»: они хотѣли быть учениками настоящей мудрости, т. е. германской.

Но именно эти нововводители съ большимъ эффектомъ пользовались французской мудростью, правда, не энциклопедической, но *зависимой* отъ шеллингизма.



Мы имѣемъ въ виду кн. Одоевскаго, его разсужденія о пагубномъ *раздорѣ и разрозненности* науки и жизни, о безплодной спеціализаціи знаній <sup>5)</sup>).

Объ этомъ предметѣ очень краснорѣчиво разсуждалъ Сентъ-Симонъ <sup>6)</sup>, и вотъ его-то слѣдуетъ поставить во главѣ русскихъ учителей по философіи.

Во Франціи впервые для всей Европы было произнесено осужденіе старой философіи, и въ той же самой Франціи, даже на почвѣ той же философіи, возникла новая система со всеми признаками будущаго умственного общеевропейскаго движенія.

Изъ книги Сталя русскіе читатели могли узнать, какъ въ Германіи рѣшается вопросъ объ единомъ философскомъ принципѣ. Брошюры Сентъ-Симона непосредственно отъ XVIII-го вѣка приносили къ тому же вопросу.

Правда, полнота, послѣдовательность и ясность идей были на сторонѣ нѣмецкихъ философовъ, но сущность заключалась въ возбужденіи извѣстной темы, въ постановкѣ извѣстной философской задачи.

Значеніе сентъ-симонизма для русскаго просвѣщенія тѣмъ для насъ любопытно, что онъ могъ прямымъ путемъ тѣхъ же русскихъ философовъ направить къ позитивизму, къ Огюсту Конту, т. е. установить тѣснѣйшую умственную связь между ранними философскими поколѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ дѣятелями шестидесятыхъ.

Изъ школы Сентъ-Симона вышли самые разнообразные элементы: пророки и жрецы новаго религіознаго культа, въ родѣ Базара и Анфантена и подъ конецъ жизни—Конта, но также и величайшіе представители французской положительной науки—Огюстенъ Тьерри, Люттре, Контъ въ наиболѣе сильную пору своей дѣятельности. Съ именемъ Сентъ-Симона связано, кромѣ того, развитіе социальныхъ идей и рѣшительная постановка рабочаго вопроса, а у послѣдователей Сентъ-Симона и вопроса о женской эмансипаціи.

Естественно, отрывки школы въ высшей степени многочисленны и вліянія ея многообъемлющи. Прослѣдить ихъ во всей полнотѣ — задача, до сихъ поръ невыполненная даже въ европейской наукѣ и для европейскаго міра. Мы должны ограничиться освѣщеніемъ тѣхъ идей сентъ-симонизма, какія оставили ясные отголоски въ нашей философско-критической литературѣ.

<sup>5)</sup> Сочиненія кн. В. Ө. Одоевскаго. Спб. 1844. I, 347 etc.

<sup>6)</sup> В. P. L'atlas du Progrès de l'humanité.

## V.

Одинъ изъ самыхъ отзывчивыхъ и критически одаренныхъ сыновъ русской философской эпохи рассказываетъ по личному опыту о впечатлѣніи, какое производили на русскую молодежь сентъ-симонистскія проповѣди.

За Сентъ-Симономъ шли, кого не могъ удовлетворить чисто-философскій идеализмъ, кто по врожденнымъ сочувствіямъ или разумнымъ основаніямъ стремился идею непосредственно переводить въ жизнь и всякую теорію считать значительной и цѣлесообразной по ея приложимости къ дѣйствительности.

Самъ Сентъ-Симонъ именно съ этой точки зрѣнія смотрѣлъ на философію. Ему требовался единый принципъ не для отвлеченной гармоніи міросозерцанія, а для переустройства общества и государства—на совершенномъ устраненіи чисто-отрицательныхъ завлѣтокъ предыдущей эпохи и на величественномъ сооруженіи новаго положительнаго мирового идеала.

Отсюда увлеченіе сентъ-симонизмомъ именно самой энергической и даровитой молодежи начала нашего столѣтія, отсюда въры въ сентъ-симонизмъ, какъ самое могущественное, одновременно научное и пророческое орудіе социальнаго преобразованія.

«Новый міръ», пишетъ русскій молодой публицистъ, «толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сентъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ»<sup>7)</sup>.

Чѣмъ же собственно были тропуты души и сердца русскихъ послѣдователей Сентъ-Симона?

Для нихъ, несомнѣнно, прежде всего была важна преемственная связь ученія Сентъ-Симона съ французской философіей XVIII-го вѣка, столь же важна, какъ рекомендація нѣмецкаго «любому-дрія» именно французской писательницей, г-жеи Сталь.

Русской интеллигенціи не приходилось дѣлать обходковъ и отъививаться на скачки. Они непосредственно отъ учителей своихъ отцовъ могли перейти къ ихъ преемникамъ и умственные впечатлѣнія дѣтства связать съ идеалами молодости.

Сентъ-Симонъ называлъ себя ученикомъ Даламбера, одного изъ главнѣйшихъ представителей *Энциклопедіи*. И дѣйствительно, раннія философскія мечты Сентъ-Симона продолжаютъ замыслы про-

свѣтителей, но съ существеннымъ новымъ мотивомъ. Сентъ-Симонъ и послѣдствіи его ученики вплоть до шестидесятыхъ годовъ будутъ преслѣдовать мысль объ энциклопедическомъ сводѣ научныхъ результатовъ во всѣхъ областяхъ знанія. Сентъ-Симонъ неоднократно будетъ приступать къ плану новой *Энциклопедіи*, но въ то время, когда создатели стараго словаря, съ Вольтеромъ, Дидро и Даламберомъ во главѣ, стремились преимущественно къ разрушенію старыхъ вѣрованій и принциповъ, Сентъ-Симонъ имѣетъ въ виду созиданіе, не критическую, а органическую работу.

Это его собственные термины. Имъ обозначаются разные періоды въ исторіи культуры и Сентъ-Симонъ философовъ XVIII-го вѣка и революціонеровъ считаетъ дѣятелями критическаго момента, самъ онъ и его ученики—организаторы. Эта идея будетъ усвоена всей школой и ляжетъ въ основу книжной и общественной пропаганды сентъ-симонизма.

Но изъ какихъ же матеріаловъ возникнетъ новое зданіе?

(Отвѣтъ очень простой.)

Средніе вѣка имѣли свой объединяющій принципъ, но онъ теперь ни идейно, ни практически неосуществимъ, и Сентъ-Симонъ рѣшительно устраняетъ реакціонеровъ и вообще защитниковъ стараго общественнаго и церковнаго строя.

Но и противники реакціонеровъ не заслуживаютъ одобренія.

Они суетвѣряютъ противопоставляютъ знаніе, деспотизму — свободу, стаднымъ чувствамъ — сознаніе личности и человѣческаго достоинства, но всѣ эти благородныя понятія безсильны и бесплодны. Между ними нѣтъ центральной идеи, науки находятся въ анархическомъ состояніи, не связаны другъ съ другомъ и не приведены въ дѣятельное соприкосновеніе съ жизнью.

Необходимо систематизировать все человѣческое знаніе, а первый шагъ къ этой цѣли—тщательное собраніе его результатовъ. Отсюда—идея энциклопедіи.

Если у людей будетъ въ распоряженіи «хорошая энциклопедія», явится и «совершенная наука», «общая наука» — *la science générale*. Специальныя науки—только матеріалъ и пути къ высшему идеалу, а идеалъ—систематизація научныхъ фактовъ и выводовъ въ одной всеобъемлющей теоріи. А эта теорія, въ свою очередь, должна объяснить тайну мірозданія и въ то же время стать нравственной руководительницей человѣческой дѣятельности.

И Сентъ-Симонъ намѣчаетъ обширный планъ сдѣлканія науки. Путь величественный и въ то же время логическій! Отъ физиче-

Въ Россіи ничего подобнаго. Вся умственная жизнь принуждена была сосредоточиться на литературѣ и наукѣ. Философскіе вопросы получали исключительное значеніе въ жизни общества и отдельныхъ выдающихся личностей. Въ философіи русскіе люди искали не только нравственнаго утѣшенія и научнаго единства, какъ было на Западѣ, но и отвѣта на всѣ запросы высокоодаренной, заключенной въ себя, души.

Отсюда необыкновенная стремительность русской воспримчивости къ философскимъ идеямъ и страстность въ ихъ возможномъ приложеніи къ дѣйствительности. Отсюда также чисто теоретическая отважная прямолинейность выводовъ.

Вѣдь развитіе философской мысли для русскихъ философовъ не ограничивалось и не контролировалось столь же свободнымъ развитіемъ реальной жизни. Напротивъ, именно эта жизнь своими отрицательными явленіями только приподнимала авторитетъ и привлекательность отвлеченнаго идеальнаго міра. Не воспитывая у лучшихъ людей ни сочувствія къ дѣйствительности, ни опытности въ рѣшеніи жизненныхъ вопросовъ, она являлась первой причиной часто фанатическаго поклоненія философской теоріи, первымъ побужденіемъ, усвоить и развить менѣе всего положительное и практически плодотворное міросозерцаніе.

Мы увидимъ это на примѣрѣ самыхъ блестящихъ представителей русскихъ философскихъ поколѣній.

Приято думать, будто эти поколѣнія учились философіи исключительно у немцевъ, будто шеллингизмъ и гегелизмъ начинаютъ и увеличиваютъ философскую позосу въ исторіи нашего общественнаго прогресса.

Дѣйствительно, имена Шеллинга и Гегеля переполняютъ литературу и производятъ впечатлѣніе единодержавной власти германской мысли подъ русской интеллигенціей вплоть до шестидесятыхъ годовъ.

Такъ предполагать тѣмъ естественнѣе, что французская философія послѣ революціи, отчасти даже раньше, утратила свой кредитъ повсюду, и у насъ въ то же время. Мы увидимъ, русскіе юноши даже отворачивались отъ слова философія и вводили новый терминъ *любомудріе*. Они боялись, какъ бы ихъ не счѣтали съ поклонниками французскихъ «софистовъ»; они хотѣли быть учениками настоящей мудрости, т. е. германской.

Но именно эти нововводители съ большимъ эффектомъ пользовались французской мудростью, правда, не энциклопедической, но *независимой отъ шеллингизма*.

Мы имѣемъ въ виду кн. Одоевскаго, его разсужденія о пагубномъ *раздорѣ* и *разрозненности* науки и жизни, о безплодной спеціализаціи знаній <sup>5)</sup>.

Объ этомъ предметѣ очень краснорѣчиво разсуждаютъ Сентъ-Симонъ <sup>6)</sup>, и вотъ его-то слѣдуетъ поставить во главѣ русскихъ учителей по философіи.

Во Франціи впервые для всей Европы было произнесено осужденіе старой философіи, и въ той же самой Франціи, даже на почвѣ той же философіи, возникла новая система со всеми признаками будущаго умственного общеввропейскаго движенія.

Изъ книги Сталя русскіе читатели могли узнать, какъ въ Германіи рѣшается вопросъ объ единомъ философскомъ принципѣ. Брошюры Сентъ-Симона непосредственно отъ XVIII-го вѣка приносили къ тому же вопросу.

Правда, полнота, послѣдовательность и ясность идей были на сторонѣ нѣмецкихъ философовъ, но сущность заключалась въ возбужденіи извѣстной темы, въ постановкѣ извѣстной философской задачи.

Значеніе сентъ-симонизма для русскаго просвѣщенія тѣмъ для насъ любопытно, что онъ могъ прямымъ путемъ тѣхъ же русскихъ философовъ направить къ позитивизму, къ Огюсту Конту, т. е. установить тѣснѣйшую умственную связь между ранними философскими поколѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ дѣятелями шестидесятыхъ.

Изъ школы Сентъ-Симона вышли самые разнообразные элементы: пророки и жрецы новаго религіознаго культа, въ родѣ Базара и Анфантена и подъ конецъ жизни—Конта, но также и величайшіе представители французской положительной науки—Огюстенъ Тьерри, Люттре, Контъ въ наиболѣе сильную пору своей дѣятельности. Съ именемъ Сентъ-Симона связано, кромѣ того, развитіе социальныхъ идей и рѣшительная постановка рабочаго вопроса, а у послѣдователей Сентъ-Симона и вопроса о женской эмансипаціи.

Естественно, отпрыски школы въ высшей степени многочисленны и вліянія ея многообъемлющи. Прослѣдить ихъ во всей полнотѣ — задача, до сихъ поръ невыполненная даже въ европейской наукѣ и для европейскаго міра. Мы должны ограничиться освѣщеніемъ тѣхъ идей сентъ-симонизма, какія оставили ясные отголоски въ нашей философско-критической литературѣ.

<sup>5)</sup> Сочиненія кн. В. О. Одоевскаго. Спб. 1814. I, 347 etc.

<sup>6)</sup> Въ *Lettres au Bureau des Longitudes*

## V.

Одинъ изъ самыхъ отзывчивыхъ и критически одаренныхъ сыновъ русской философской эпохи рассказываетъ по личному опыту о впечатлѣніи, какое производили на русскую молодежь сентъ-симонистскія проповѣди.

За Сентъ-Симономъ шли, кого не могъ удовлетворить чисто-философскій идеализмъ, кто по врожденнымъ сочувствіямъ или разумнымъ основаніямъ стремился идею непосредственно переводить въ жизнь и всякую теорію считать значительной и цѣлесообразной по ея приложимости къ дѣйствительности.

Самъ Сентъ-Симонъ именно съ этой точки зрѣнія смотрѣлъ на философію. Ему требовался единый принципъ не для отвлеченной гармоніи міросозерцанія, а для переустройства общества и государства—на совершенномъ устраненіи чисто-отрицательныхъ завлѣтовъ предыдущей эпохи и на величественномъ сооруженіи новаго положительнаго мірового идеала.

Отсюда увлеченіе сентъ-симонизмомъ именно самой энергической и даровитой молодежи начала нашего столѣтія, отсюда въра въ сентъ-симонизмъ, какъ самое могущественное, одновременно научное и пророческое орудіе соціальнаго преобразованія.

«Новый міръ», пишетъ русскій молодой публицистъ, «толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сентъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ» <sup>7)</sup>.

Чѣмъ же собственно были тронуты души и сердца русскихъ послѣдователей Сентъ-Симона?

Для нихъ, несомнѣнно, прежде всего была важна преемственная связь ученія Сентъ-Симона съ французской философіей XVIII-го вѣка, столь же важна, какъ рекомендація нѣмецкаго «любому-дрія» именно французской писательницей, г-жей Сталь.

Русской интеллигенціи не приходилось дѣлать обходокъ и отъививаться на скачки. Они непосредственно отъ учителей своихъ отцовъ могли перейти къ ихъ преемникамъ и умственные впечатлѣнія дѣтства связать съ идеалами молодости.

Сентъ-Симонъ называлъ себя ученикомъ Даламбера, одного изъ главнѣйшихъ представителей *Энциклопедіи*. И дѣйствительно, раннія философскія мечты Сентъ-Симона продолжаютъ замыслы про-

<sup>7)</sup> Герценъ. *Былое и думы*. Изд. 1878 г. I. 197.

свѣтителей, но съ существеннымъ новымъ мотивомъ. Сентъ-симонъ и послѣдствіи его ученики вплоть до шестидесятыхъ годовъ будутъ преслѣдовать мысль объ энциклопедическомъ свѣдѣніи научныхъ результатовъ во всѣхъ областяхъ знанія. Сентъ-Симонъ неоднократно будетъ приступать къ плану новой Энциклопедіи, но въ то время, когда создатели стараго словаря, съ Вольтеромъ, Дидро и Даламберомъ во главѣ, стремились преимущественно къ разрушенію старыхъ вѣрованій и принциповъ, Сентъ-Симонъ имѣлъ въ виду созиданіе, не критическую, а органическую работу.

Это его собственные термины. Ими обозначаются разные періоды въ исторіи культуры и Сентъ-Симонъ философовъ XVIII вѣка и революціонеровъ считаетъ дѣлателями критическаго момента, самъ онъ и его ученики—организаторы. Эта идея будетъ усвоена всей школой и ляжетъ въ основу книжной и общественной пропаганды сентъ-симонизма.

Но изъ какихъ же матеріаловъ возникнетъ новое зданіе?

Отвѣтъ очень простой.

Средніе вѣка имѣли свой объединяющій принципъ, но онъ теперь ни идейно, ни практически неосуществимъ, и Сентъ-Симонъ рѣшительно устраиваетъ реакціонеровъ и вообще защитниковъ стараго общественнаго и церковнаго строя.

Но и противники реакціонеровъ не заслуживаютъ одобренія.

Они суетвѣрія въ противоставляютъ знаніе, деспотизму — свободу, стаднымъ чувствамъ — сознаніе личности и человѣческое достоинство, но всѣ эти благородныя понятія безсильны и бесплодны. Между ними нѣтъ центральной идеи, науки находятся въ анархическомъ состояніи, не связаны другъ съ другомъ и не приведены въ дѣятельное соприкосновеніе съ жизнью.

Необходимо систематизировать все человѣческое знаніе, а первый шагъ къ этой цѣли—тщательное собраніе его результатовъ. Отсюда—идея энциклопедіи.

Если у людей будетъ въ распоряженіи «хорошая энциклопедія», явится и «совершенная наука», «общая наука» — *la science générale*. Специальныя науки—только матеріалъ и пути къ вѣчному идеалу, а идеалъ—систематизація научныхъ фактовъ и выводовъ въ одной всеобъемлющей теоріи. А эта теорія, въ свою очередь, должна объяснить тайну мірозданія и въ то же время стать нравственной руководительницей человѣческой дѣятельности.

И Сентъ-Симонъ намѣчаетъ обширный планъ единенія наукъ. Путь величественный и въ то же время логическій! Отъ фило-



скихъ тѣхъ къ организмамъ, отъ организмовъ къ животнымъ, отъ животныхъ къ первобытному человѣку, отъ первобытнаго человѣка къ историческому, вплоть до послѣдняго времени.

Философъ очень высокаго мнѣнія о своей системѣ. Это даже не научный методъ, а самъ божественный законъ, физика и мораль вселенной. И Сентъ-Симонъ въ патетическомъ тонѣ взымаетъ къ ученымъ: оставить ученую мастерскую, проникнуться сердечнымъ жаромъ и направить свои усилія на созданіе гармоніи и всеобщаго вездѣсущаго мира <sup>8)</sup>).

Сентъ Симонъ даже знаетъ всѣми признанный принципъ, способный объединить новыхъ организаторовъ, принципъ изъ области естествознанія. Это ни болѣе, ни менѣе, какъ законъ тяготѣнія. На немъ и должна быть основана новая научная философія.

Для насъ можетъ звучать очень странно подобное рѣшеніе труднѣйшаго вопроса. Но на этотъ разъ Сентъ-Симонъ не оригиналенъ. Законъ, открытый Ньютономъ, въ теченіе всего XVIII-го вѣка и долго спустя привлекалъ жгучій интересъ философовъ и ученыхъ.

Законъ поражалъ своей простотой и величіемъ. Онъ подчинялъ строгому единству весь безграничный міръ небесныхъ тѣлъ. Астрономія вмѣстѣ съ открытіемъ Ньютона приобрѣла завидное преимущество надъ всѣми другими науками — всеобъясняющій единый принципъ.

Но нѣтъ ли такого принципа и для другихъ отраслей знанія? Напримѣръ, для философіи и даже для политики и нравственности.

Въ отвѣтъ одни искали такого закона, подходящаго къ той или другой наукѣ, болѣе смѣлые прямо распространяли тяготѣніе на все, что доступно человѣческому вѣдѣнію. Богословамъ и ученымъ пришлось защищать отъ фанатическихъ систематизаторовъ Провидѣніе или науку. Лапласъ, напримѣръ, считалъ необходимымъ вооружиться за астрономію противъ мечтателей и дилеттантовъ. Это, въ свою очередь, вызвало гнѣвъ Сентъ Симона, религіозно вѣровавшаго во всеобщность ньютоновскаго открытія.

Для насъ существенъ фактъ распространенія того или другаго естественно-научнаго открытія до принципіальнаго объединенія, при помощи этого открытія, — всѣхъ явленій жизни. Увлеченіе надолго переживетъ Сентъ-Симона, мы встрѣтимся съ нимъ въ гер-

<sup>8)</sup> Ср. *Histoire du saint-simonisme*, par Sébastien Charléty, Paris 1896,



манской философіи, вообще независимой отъ сенъ-симонизма, но—согласно духу времени—также проникнутой стремленіемъ создать универсальную науку природы и духа.

Для Сенъ-Симона, мы уже знаемъ, такая наука требовалась не для платоническихъ цѣлей, а для «соціальной физики». Краснорѣчивѣйшее выраженіе! Оно точно опредѣляетъ задуманные замыслы философа: свести науку объ обществѣ къ строгимъ законамъ естествознанія и придти къ соціальнымъ выводамъ путемъ тщательнаго научнаго изученія исторіи.

Отсюда ясна роль ученыхъ. Въ сущности, они прирожденные законодатели. Они—люди, способные не только объяснять, но и предвидѣть, и именно этотъ даръ ставить ихъ выше всѣхъ другихъ людей <sup>9)</sup>.

Ученые должны владѣть духовной властью, т. е. устанавливать принципы управленія государствомъ и обществомъ. Они призванные руководители практическихъ дѣятелей, отнюдь не администраторы, а верховные наблюдатели за администраціей и вообще соціальнымъ развитіемъ. Осуществленіе научныхъ выводовъ принадлежитъ другимъ, иначе классъ ученыхъ, при сліяніи духовной и свѣтской власти въ ихъ рукахъ, превратился бы въ метафизиковъ, интригановъ и деспотовъ.

На этомъ соображеніи основано соціальное значеніе *промышленнаго* класса и сенъ-симонистская идеализація матеріальнаго труда наравнѣ съ умственнымъ.

Идеи этого порядка имѣли для французской внутренней политики большое значеніе: благодаря имъ, Сенъ-Симонъ явился родоначальникомъ теоретическаго социализма, такъ же, какъ его понятіе о научномъ построеніи общественныхъ и нравственныхъ идеаловъ поставило его во главѣ позитивизма.

Но есть еще третье, и для насъ важнѣйшее, открытіе сенъ-симонизма. Именно оно отводитъ мѣсто научно-соціальной школѣ въ области литературы и Сенъ-Симонъ налагаетъ не менѣе оригинальную печать своего духа на искусство, чѣмъ на философію и политику.

<sup>9)</sup> Un savant est un homme qui prévoit, c'est par la raison que la science donne le moyen de prédire qu'elle est utile, et que les savants sont supérieurs à tous les hommes. *Lettres d'un habitant de Genève*, Paris 1802, p. 35.

## VI.

Въ трактатахъ по математикѣ и другимъ наукамъ Сень-Симонъ не переставалъ пускать въ ходъ очень своеобразный пріемъ, независимо отъ логическихъ доводовъ, обращался къ сердцу и чувству ученыхъ, говорилъ о своей страсти «успокоить Европу» и «перестроить европейское общество».

Это значило вводить въ философію силу, постороннюю строгой идеѣ и наукѣ, — силу пафоса, поэзіи, вообще творчества и вдохновенія. Сень-Симонъ не только допускалъ подобныя настроенія въ своемъ философско-политическомъ предпріятіи, но настаивалъ на особомъ классѣ людей, обладающихъ нарочито этими силами, т. е. вдохновеніемъ и способностью дѣйствовать на чувство. Сень-Симонъ называетъ этихъ людей *артистами* и считаетъ ихъ третьимъ необходимымъ элементомъ въ политическомъ строѣ.

Это отчасти платоновская идея. Греческій философъ-законодатель поручаетъ поэтамъ и пѣвцамъ распространять среди гражданъ законы и почтеніе къ нимъ. На толпу особенно дѣйствуютъ поэтическія вдохновенныя рѣчи, кажущіяся ей внушеніемъ божества и самъ Платонъ безпрестанно впадаетъ въ патетическіи прорицательскій тонъ, часто совершенно затуманивающіи смыслъ разсужденія <sup>10)</sup>.

Напомнивъ Платона-законодателя республики съ философами-правителями, сенъ-симонизмъ совпалъ съ идеями античнаго мечтателя и въ самой любопытной части своей соціальной организаціи.

Сень-Симонъ далъ тему, его послѣдователи разработали ее съ особенной тщательностью. Разработка шла въ направленіи, совершенно отвѣчавшемъ личности и задачамъ первоучителя. Онъ началъ разсужденіями о культѣ въ одномъ изъ раннихъ своихъ сочиненій <sup>11)</sup> и кончилъ краснорѣчивой рѣчью къ своимъ ученикамъ: «Помните, — чтобы совершать великія дѣла, слѣдуетъ быть энтузіастомъ».

Эти слова одушевили всѣ позднѣйшія теоріи сенъ-симонизма. Ученики подняли силу чувства, симпатическаго воздѣйствія, творческаго вдохновенія на небывалую высоту. Они разсуждали такъ.

Исторія — «соціальная фізіологія», т.-е. должна быть наукой, имѣющей свои законы и уполномочивающей ученыхъ руководить

<sup>10)</sup> Въ діалогъ *Законы*.

<sup>11)</sup> Въ *Lettres d'un habitant de Genève*.

настоящимъ и предсказывать будущее. Наука можетъ привести это будущее въ логическую связь съ прошлымъ, но дальше остается труднѣйшая часть задачи, надо осуществить воспитательную и просвѣтительную, т. е. практическую цѣль науки.

Сама наука этого не въ состояніи достигнуть.

«Научное доказательство можетъ удовлетворить логическимъ основаніямъ такихъ или иныхъ дѣйствій, но у него нѣтъ достаточно силы вызвать эти дѣйствія. Для этого требуется, чтобы оно, доказательство, заставило *полюбить* ихъ. Но это не его роль. Доказательство не заключаетъ въ самомъ себѣ неотразимаго повода дѣйствовать. Наука можетъ указать средства, какъ достигнуть известной цѣли? Но почему именно данная цѣль, а не другая? Почему просто не успокоиться и не остановиться на пути къ какой бы то ни было цѣли? Почему даже не отступить вспять? Чувство, т. е. глубоко ощущаемая симпатія къ намѣченной цѣли, одно только можетъ устранить затрудненія».

На арену долженъ выступить классъ людей, нарочито одаренныхъ отъ природы «симпатической способностью».

По мнѣнію сенъ-симонистовъ, во всѣ времена, во всѣхъ странахъ вліяніе на общество принадлежало людямъ, «говорившимъ сердцу». Разсужденіе, силлогизмъ—только второстепенныя и промежуточныя средства. Общество поддавалось непосредственному увлеченію только благодаря различнымъ формамъ *чувствительнаго воздѣйствія*.

Въ органическія эпохи такое воздѣйствіе совершается *культомъ*, въ критическія—*искусствами*. Правственное воспитаніе общества и заключается въ томъ, чтобы доказанныя истины превратить для него въ идею *доли*, въ предметъ *страсти*.

Отсюда отождествленіе художника и поэта съ жрецомъ, т. е. самое идеальное представленіе о творческомъ талантѣ и художественной дѣятельности. Сенъ-симонизмъ воскресилъ античный образъ поэта-пророка, поэта-философа и поэта-вождя и вознесъ на высреннѣйшую чисто-романтическую высоту геній и вдохновеніе.

Сенъ-симонисты, возставая, подобно Сталь, противъ разсудочности XVIII-го вѣка и его презрѣнія къ энтузіазму, или гораздо дальше писательницы въ защитѣ патетической силы человѣческой природы. Даже точныя науки не могутъ обойтись безъ вдохновенія и творчества.

Обыкновенно думаютъ, будто широкія обобщенія въ какой бы то ни было наукѣ составляются логически, изслѣдователь постепенно

восходить отъ одного факта къ другому и непрерывная цѣпь фактовъ приводитъ его, наконецъ, къ закону. Открыть законъ слѣдовательно, значитъ связать рядъ фактовъ общей идеей, и сама эта идея—непосредственный результатъ наблюденныхъ частныхъ явленій.

По мнѣнію сенъ-симонистовъ, это безусловное заблужденіе. Еще ни одинъ научный законъ не былъ открытъ такимъ путемъ.

Въ дѣйствительности общій принципъ является плодомъ *вдохновенія*. Наличие извѣстныхъ фактовъ *внушаетъ* изслѣдователю идею, но между такой идеей и фактами всегда существуетъ нѣкоторый *промежутокъ, пропасть*, заполняемая *гипотезой*, а отнюдь не строго-научнымъ методомъ <sup>12)</sup>.

Но и этого мало.

Даже всякая наука вообще возможна только не на основаніи строго разсудочныхъ соображеній и неопровержимыхъ удостовѣренныхъ фактовъ, а на основаніи *вѣры*, т. е. силы, противоположной разсудку и наукѣ.

Напримѣръ, почему ученый стремится опредѣлить точное логическое отношеніе двухъ какихъ-нибудь явленій? Вѣдь, по безусловному требованію разума и логики, это опредѣленіе допустимо только въ томъ случаѣ, когда изслѣдователю извѣстны *все* другіе сопутствующіе факты, *все* возможныя комбинаціи ихъ и *все* *условія*, при какихъ совершаются данныя явленія.

Напримѣръ, мы ежедневно съ одинаковой увѣренностью ждемъ восхода солнца и на слѣдующій день. Почему?

Логически мы не имѣемъ никакого права на подобный расчетъ. Извѣстныя намъ астрономическія явленія, касающіяся вопроса, ничто сравнительно съ бездной *неизвѣстныхъ* намъ возможныхъ фактовъ. Мы, слѣдовательно, ждемъ восхода солнца на основаніи нашего *прошлаго* опыта, а вовсе не потому, что мы знаемъ будущее. Мы *вѣруемъ* въ неизмѣнность порядка, мы по природѣ *влюблены въ порядокъ*, по выраженію сенъ-симонистовъ, мы *стремимся* къ нему, т. е. въ свои логическіе выводы вмѣниваемъ силу чувства, паоса, вообще—силу неразсудочную, нелогическую и ненаучную.

Сенъ-симонисты, родоначальники позитивной философіи, съ блестящей проницательностью оцѣнили внутреннее достоинство и научные предѣлы такъ называемаго позитивнаго метода.

<sup>12)</sup> *Doctrine*, p. 132.

Въ сущности, позитивизма, какъ его представляютъ фанатическіе послѣдователи, не существуетъ и именно совершенно прямолинейный позитивизмъ не позитивенъ.

Въ самомъ дѣлѣ,—говорятъ, позитивный методъ состоитъ въ группировкѣ наблюденныхъ фактовъ, независимой отъ какого бы то ни было руководящаго чувства или предубѣжденія. Группировка даетъ изслѣдователю объективный законъ, соподчиняющій факты.

Но на самомъ дѣлѣ процессъ этотъ никогда не осуществляется въ такой идеально-безстрастной формѣ, какъ воображаютъ позитивисты.

Человѣкъ никогда не является безусловно независимымъ, изолированнымъ отъ приходящихъ вліяній. Или внѣшній міръ, среда или собственная личность господствуютъ надъ изслѣдователемъ и онъ или навязываетъ міру формы своего бытія, или уничтожается предъ нимъ, подчиняется ему.

Въ результатѣ изслѣдователя одновременно изобрѣтаетъ и удостоверяетъ, и процессъ удостовѣренія—*vérification* ничто иное, какъ оправданіе предвидѣній, вдохновеній и откровеній, а вовсе не непрерывно послѣдовательный результатъ классификаціи фактовъ.

Отсюда значеніе личной талантливости изслѣдователя: изобрѣтеніе, вдохновеніе и есть то, что мы называемъ *genius*. Безъ него невозможны широкія обобщенія, открытіе законовъ, т. е. прогрессъ даже положительныхъ наукъ. Безъ него наука превращается въ безплодное компиляторство и безжизненный педантизмъ.

Если вдохновеніе и *симпатическія способности* имѣютъ такое значеніе даже въ опытномъ знаніи, естественно, ихъ роль еще выше въ соціальной наукѣ и въ соціальныхъ вопросахъ.

Если всѣ выводы ученаго построены на его инстинктивной любви къ естественному порядку, къ гармоніи, очевидно, дѣятельность общественнаго философа, историка, законодателя, преобразователя возможна только при такой же любви къ соціальному порядку, при энтузіазмѣ и самоотверженіи—*dévouement*—во имя извѣстнаго единого положительнаго принципа.

И сентъ-симонисты берутъ на себя двойную обязанность быть учеными и вдохновителями, людьми разсудка, *raisonneurs*, и людьми страсти, *passionés*, т. е. проповѣдниками и пророками.

Наука и промышленность, умственный и матеріальный трудъ сами по себѣ не имѣютъ цѣны. У сентъ-симонистовъ они только средства создать для человѣка условія, наиболѣе благоприятныя

развитію глубокаго состраданія къ слабымъ, покорности сильнымъ, любви къ соціальному порядку, обожанію всеобщей гармоніи<sup>13)</sup>.

Сильные, на языкѣ сенъ-симонистовъ, означаютъ, конечно, людей духовной силы, людей знанія и особенно людей энтузіазма. Поэты и пророки стоятъ на вершинѣ соціальнаго зданія: они — источники воодушевленія ради общаго дѣла, они — вожди общества по путямъ, открытымъ учеными, они — творцы священнаго огня гуманности и соціальности.

Выводы изъ всѣхъ этихъ разсужденій совершенно очевидны, именно въ вопросѣ, ближе всего занимающемъ насъ.

Творческая способность возведена сенъ-симонистами на недостижимую высоту сравнительно со всѣми другими духовными человѣческими силами. Разъ вдохновеніе — *inspiration* — является виновникомъ даже научныхъ истинъ и естественныхъ законовъ, оно, несомнѣнно, стоитъ выше науки въ строгомъ смыслѣ, оно путейъ энтузіазма и созерцанія, *intuition*, открываетъ тайны мірозданія.

Съ другой стороны, тоже вдохновеніе — рѣшающая положительная сила и въ нравственной и общественной жизни человѣчества, такой же краеугольный камень въ политическомъ зданіи, какъ и въ научномъ. Слѣдовательно, энтузіазмъ и тоже созерцаніе, вообще безсознательное внушеніе выше историческаго изслѣдованія. Оно и въ области исторіи и соціальной политики можетъ подняться до такихъ горизонтовъ, какіе совершенно недоступны чисто-научной исторической работѣ.

Отъ этихъ понятій въ высшей степени легко дойти до крайне своеобразной идеи, съ какой мы встрѣтимся въ германской философіи и у ея русскихъ послѣдователей.

Единственный источникъ высшей истины, вѣрный путь къ тайнамъ природы и жизни — художественный геній, художественное творчество, непосредственное созерцаніе и творческое вдохновеніе.

Это шеллингіанская идея. О связи ея съ сенъ-симоновскими представленіями толковать бесплодно. Первые произведенія Сенъ-Симона не находятся ни въ какой связи съ германской философіей.

Правда, Сенъ-Симонъ побывалъ въ Германіи, но путешествіе произошло послѣ *Писемъ жемчужнаго обывателя* и не оставило у Сенъ-Симона никакихъ положительныхъ впечатлѣній.

Онъ нашелъ, что нѣмцы очень увлекаются отдѣльными науками, но ничего не сдѣлали для всеобщей науки, для *science*

<sup>13)</sup> *Ib. Introduction.*

*générale* и не могутъ, слѣдовательно, представить н  
тельного для соціального преобразователя на почвѣ  
наго знанія.

Совпаденіе сенъ-симонистскихъ воззрѣній съ послѣд  
домъ шеллингянской системы такое же исторически и нр  
необходимое, какъ изумительное сходство идей францу  
стики Сенъ-Мартэна съ основными философскими предст  
того же Шеллинга.

Сенъ-Мартэнъ не находился ни въ какихъ отношен  
германскимъ философамъ, а между тѣмъ дошелъ до идеи а  
наго тождества. Природа ничто иное, какъ проявленіе бо  
осуществленію мысли, слова и творчества Бога. Первый м  
творчества—раздѣленіе твари и творца, второй—слияніе въ  
личіи, въ абсолютѣ<sup>14)</sup>.

Сенъ-Мартэну неизвѣстны терминъ и мѣцель, но мысль не  
жѣнасть своей сущности отъ менте философской формы.

Совершенно ясно поставленъ у Сенъ-Мартэна и вопросъ о  
знаніи абсолютнаго бытія. Путь тотъ же, что у Шеллинга  
Сенъ-Симона, интуиція. У мистика есть свое очень любопытн  
обозначеніе этого субъективнаго источника высшаго вѣдѣнія—  
*la flamme de notre désir*, т. е. тотъ же энту  
зіазмъ, поэтическій восторгъ, вдохновенное созерцаніе. Сенъ-Мар  
тэнъ посвятилъ особое сочиненіе психологій человека стремленій,  
*L'homme de désir*.

Слѣдуетъ помнить, Сенъ-Мартэнъ вовсе не представлялъ изъ  
себя зауряднаго искателя чудесъ и тайнъ, отнюдь не былъ по  
слѣдователемъ особенно распространеннаго мистицизма, весьма  
часто снывающаго шарлатанство съ безуміемъ или слабоуміемъ.

Сенъ-Мартэнъ оставался чуждымъ разнымъ продолжкамъ, маска  
радному культу и теургическимъ операціямъ исповѣдниковъ, марти  
гочисленныхъ сектъ, въ родѣ масоновъ, розенкрейцеровъ, марти  
нистовъ. Для французскаго мистика достаточно было личныхъ  
нравственныхъ стремленій къ совершенствованію и духовному свѣту  
безъ внѣшательства видѣній и чудесъ, вообще внѣшнихъ силъ.

Для него вдохновеніе и откровеніе—естественныя состоянія  
ума. Именно они отличаютъ новаго человека, человека стремленій,  
отъ людей холоднаго разсудка и нравственнаго безразличія.

Эти идеи были высказаны еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, *L'homme*  
<sup>14)</sup> Ср. Matter. S. Martin, *le philosophe inconnu*. Paris.



*de désir* вышло въ 1790 году, одновременно съ сочиненіемъ Вольтера *Ruins*, преисполненнымъ скептицизма, разрушительной критики и отрицанія. Очевидно, самый ходъ умственного развитія французскаго общества подсказывалъ протестъ въ опредѣленномъ направленіи, и во Франціи среди страшнаго переворота мысль доходила до тѣхъ самыхъ выводовъ, какіе легли въ основу германской философіи того же времени.

Мы должны теперь обратиться именно къ этой философіи. Она—первостепенная учительница русскихъ философскихъ поколѣній, но не единственная. Мы видѣли, русскіе искатели новой истины могли не покидать старинной дороги своихъ отцовъ, т. е. могли продолжать интересоваться французской литературой и здѣсь найти путь къ этой истинѣ, а главное, безпощадную критику французской философіи XVIII-го вѣка. Одни писатели указывали прямо на нѣмцевъ, какъ на учителей будущаго, другіе, независимо отъ нѣмецкаго учительства, давали собственные рѣшенія настоятельныхъ современныхъ задачъ, и эти рѣшенія, въ силу исторической логики и основныхъ законовъ человеческой природы, совпадали съ выводами германскихъ философскихъ системъ.

Но, конечно, и во французской мысли, и въ нѣмецкой было свое оригинальное и исключительное достояніе. Прежде всего въ сенъ-симонизмѣ заключался общій источникъ вопросовъ, лежавшихъ за горизонтомъ германскаго идеализма,—вопросовъ политическихъ и социальныхъ. А потомъ общій духъ французской научно-философской школы, неуклонно практической, жизненно-преобразовательный былъ далекъ отъ выспрепныхъ высотъ германской чистой метафизики.

Даже наиболѣе фантастическіе мотивы сенъ-симонизма, въ родѣ пророчествъ и видѣній основателя школы, неизмѣнно направлены на дѣйствительность и когда сенъ-симонисты въ лицѣ поэта рисовали пророка и энтузіаста, они разумѣли мужественнаго социального агитатора словомъ и дѣйствіемъ, т. е. рѣчами, книгами и практическими предпріятіями.

Германскихъ философовъ, по натурѣ и по направленію мыслей, не смущало такое подвижничество, вмѣсто нравственно-политическаго идеала французской философіи, здѣсь предъ нами—нравственно философскій.

Это, сущность германскаго идеализма, но въ дѣйствительности онъ не могъ строго выдержать своего исконнаго національнаго характера,—по могущественнымъ историческимъ условіямъ.



Германія парилъ: со всѣмъ европейскимъ міромъ была вовлечена въ жестокою—вначалѣ, вѣнскую—потомъ внутреннюю, политическую борьбу.

Наполеонъ, постепенно порабощая одно государство за другимъ, поставилъ, наконецъ, грозный вопросъ уже не правительствамъ, а націямъ. Открытъ рѣшалъ не извѣстныя дипломатически-установленныя вассальныя отношенія государствъ, а культурную самостоятельность народовъ.

Дѣло шло не о разгромѣ той или другой арміи, не о военной данн, не о личныхъ униженіяхъ государственныхъ людей, а о самыхъ основахъ государства, о національной цивилизаціи и исторіи.

Вопросъ, очевидно, касался рѣшительно всѣхъ великихъ и малыхъ, просвѣщенныхъ и простыхъ, прямо въ силу ихъ кровной принадлежности къ составу націи.

Правда, и теперь въ Германіи нашлись эстетика и мудрецы, въ родѣ Гёте, ощутившіе только чувство перепуга при странной тучѣ, надвигавшейся на ихъ отечество. Но это—исключительныя явленія, знаменовавшія одновременно и рѣдкостную природную политическую ограниченность и старинную нѣмецкую безпомощность въ великихъ государственныхъ нуждахъ.

Гётевское олимпійство, оригинально уживавшееся съ слѣпымъ культъ Бонапарта, вызвало негодованіе у самихъ нѣмцевъ, и страницю было восполнено и въ то же время отнюдь не лестно отглаголено великимъ воодушевленіемъ прирожденныхъ служителей отринутой мысли—философовъ.

Дыханіе живой жизни немедленно оказалось въ высшей степени плодотворнымъ, и подсказало нѣмецкому профессору одну изъ величайшихъ культурныхъ идей начала нынѣшняго вѣка.

Но и здѣсь, какъ и въ идеѣ объ единомъ философскомъ принципѣ, мы находимъ тѣснѣйшую связь съ предъидущей эпохой, настолько тѣсную, что переходъ къ новой идеѣ—логическое развитіе старой мысли, неоцѣненной въ свое время и ожидавшей соотвѣтствующей общественной атмосферы и воспріимчивой исторической почвы.

## VII.

Въ восемнадцатомъ вѣкѣ, во время борьбы литературы противъ французскаго классицизма, естественно возникла мысль о несостоятельности основныхъ силъ, создавшихъ классическую

школу и поддерживавшихъ ея господство. На первомъ планѣ являлась вѣковая вѣра французовъ въ недостижимое преимущество своей цивилизаціи и, конечно, своего искусства предъ ужасными и художественными созданіями другихъ націй.

Французы привыкли чувствовать себя аиньянами среди европейцевъ, и эта привычка съ примѣрнымъ усердіемъ поддерживалась въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ тѣми же европейцами.

Классицизмъ, національнѣйшее дѣтище французовъ, обнаружилъ изумительное вліяніе на всѣ литературы и способствовалъ міровому блеску французскаго имени въ такой мѣрѣ, какъ ни одинъ французскій завоеватель.

Очевидно, съ правами классицизма на господство неразрывно были связаны вообще исключительныя права французской культуры, и врагамъ расиновской поэзіи логически слѣдовало направить оружіе на аинское самодовольство французовъ и попытаться перемѣнить ихъ взглядъ на заграничныхъ «варваровъ».

Эту тяжелую и неблагодарную роль взялъ на себя прямой предшественникъ новѣйшихъ литературныхъ школъ—Мерсье.

Путемъ драмы онъ рассчитывалъ произвести не только литературную реформу, но и уничтожить культурную пропасть между французами и другими націями Европы.

Рѣчь его и на эту тему звучитъ такой же страстью, какъ и въ защитѣ Шекспира.

Ему ненавистно національное тщеславіе соотечественниковъ, увѣренность въ безусловномъ превосходствѣ французской образованности надъ цивилизаціей всѣхъ другихъ народовъ. Безпристрастное изображеніе характеровъ, нравовъ и образа мыслей чужихъ націй показало бы французамъ, что имъ не достаетъ еще многихъ добродѣтелей. Писатели должны взять на себя эту задачу, помочь развитію своего народа, сгладить предубѣжденія между націями, питающими взаимную ненависть и презрѣніе только по плохому знакомству другъ съ другомъ <sup>15)</sup>).

Сталь какъ разъ послѣдовала совѣту Мерсье, только не въ драматической формѣ, и впала даже въ нѣкоторую крайность, для насъ очень важную. Въ противовѣсъ французскому національному самообольщенію, Сталь снабдила романтически восторженными красками Германію. Что же должно было произойти, когда за критику французской исключительности примутся писатели другихъ

<sup>15)</sup> *Du Théâtre*, Amsterdam 1773, pp. 111—2.

национальностей, и особенно наиболее пренебре-  
дузами?

Одна изъ такихъ, несомненно, иѣмцы, по мнѣнію  
печные даже членораздѣльной рѣчи.

А между тѣмъ, именно пѣмцамъ исторія судила ста-  
национальной идеи. Ихъ отечество подверглось оссбе-  
тельнымъ униженіямъ послѣ побѣдъ французскаго вой-  
же вѣстѣ съ Россіей явилось во главѣ европейской борьбы  
Наполеона. Настала политическая національная борьба  
ная шла уже давно, еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, въ жестоки-  
кахъ Лессинга на Вольтера и на классицизмъ.  
Теперь литературѣ предстояло стать великой историч-  
лой, если только она хотѣла и была способна проявить  
ность и стяжать національную славу.

И она не могла не выполнить этого назначенія.  
Даже въ Россіи, не знавшей ни Шиллеровъ, ни «бу-  
геніентъ», нашествіе Бонапарта вызвало отечественную нар-  
войну и до самыхъ основъ всколыхнуло спокойно и едва за-  
прозябавшую русскую публицистику. Въ Германіи то же яв-  
должно было принять несравненно болѣе обширные размѣры  
на почвѣ политическаго освобожденія страны создать новые  
тивы общественной и даже философской мысли.

Возбужденіе оказалось до такой степени могущественнымъ  
что философія и публицистика совпали, и даровитѣйшимъ предста-  
вителемъ общественнаго мнѣнія и народныхъ чувствъ Германіи  
явился профессоръ университета, философъ.

Когда мы въ настоящее время перечитываемъ знаменитыя  
рѣчи Фихте, мы не перестаемъ чувствовать себя въ самой под-  
ливной атмосферѣ восемнадцатаго вѣка и предъ нами возстаетъ  
типичнѣйшій образъ германской просвѣщенной эпохи—маркизь  
Пола.

Вы помните, шиллеровскій герой умоляетъ испанскаго короля  
почеркомъ пера измѣнить существующій порядокъ вещей и воз-  
родить человѣчество къ новой жизни...

При какомъ настроеніи можно обратиться съ подобной мольбой  
къ деспоту и фанатику и твердо надѣяться на непосредственные  
плоды благотѣльнаго законодательнаго акта?

При единственномъ настроеніи, проникавшемъ лучшими  
дей всей просвѣтительной эпохи, при восторжен-  
человѣческаго разума и человѣч...

Это—чисто религіозное преклоненіе предъ творческимъ геніемъ философскаго слова, безпрепятственно изъ нѣдръ хаоса вызывающаго новый молодой міръ, *весну исторіи*.

Вѣра дожила во всей своей дѣвственной чистотѣ до самой революціи и именно она устремила французскихъ законодателей на трагическій путь не—пресобразованій въ политикѣ или въ общественныхъ отношеніяхъ, а гораздо дальше—на путь коренныхъ передѣлокъ челоука вообще, его природы и его вѣками выросшихъ привычекъ и вѣрованій.

И напрасно нѣкоторые повѣйшіе якобинцы бѣлаго цвѣта, въ родѣ историка Тэна, усиливается заклеить безуміемъ и преступленіемъ героевъ революціи. Они гораздо больше жертвы, чѣмъ герои, жертвы того самаго возрѣнія на ходъ челоуческихъ дѣлъ, какое исповѣдуетъ шиллеровскій идеализмъ.

Вообразите челоука, непоколебимо убѣжденнаго въ торжествѣ своего *естественнаго* и *разумнаго* идеала надъ какой-угодно дѣйствительностью, представьте, однимъ словомъ, не менѣе искренняго и прямолинейнаго послѣдователя *разума*, все равно, въ какомъ угодно смыслѣ, чѣмъ въ средніе вѣка были у католичества и папы, вы непременно съ такимъ прозелитомъ дойдете до фанатизма и жестокости.

Надо только помнить, — отвлеченный разумъ дѣйствительно былъ религіей восемнадцатаго вѣка и въ послѣдствіи революціонеровъ, и историкъ обнаружитъ крайнее неразуміе или партійный политическій расчетъ, если теоретиковъ и идеологовъ смѣшаетъ съ обыкновенными злодѣями и сумасшедшими, если вѣсто тщательнаго психологическаго анализа займется полицейскимъ протоколированіемъ внѣшнихъ фактовъ.

Если ужъ дѣйствительно мы обязаны произнести судебный приговоръ «учредителямъ» и «законодателямъ», мы должны направить свой гнѣвъ прежде всего не на отдѣльныхъ личностей, а на общій нравственный источникъ заблужденій и насилій, на дѣйствительно неосновательную *философію*, на фантастическое представленіе о всемогуществѣ чисто разсудочныхъ понятій и всевозможныхъ художественныхъ идеаловъ.

Сущность этой философіи перешла далеко за предѣлы Франціи—въ среду, гдѣ не было рѣшительно никакой почвы для политическаго якобинства. Лучшее доказательство, что и такая философія по условіямъ времени являлась *историческою* необходимостью, а не произвольнымъ преступнымъ умысломъ нарочитыхъ злодѣевъ.

Это не значитъ *оправдывать* ужасы французскаго переворота, вызвавшаго на сцену несомнѣнно не мало и дурныхъ страстей и годами накипѣвшей личной ненависти и жести, и темныхъ инстинктовъ честолюбія и мести. Это значитъ явленія, фактическіе результаты связывать съ причиною и почвою, т. е. совершать единственно цѣлесообразную и поучительную работу всякаго историческаго изслѣдованія.

Философская вѣра въ непреодолимо-побѣдоносное воздѣйствіе *идеи*, т. е. нравственной человѣческой личности на действительность явилась логическимъ оружіемъ культурной борьбы восемнадцатаго вѣка съ преданіями. Вѣдь у человѣка вообще въ распоряженіи только два пути—установить извѣстный жизненный строй: или воспользоваться общимъ готовымъ матеріаломъ, или въ случаѣ его явной непригодности попытаться извлечь основы бытія изъ собственнаго духовнаго міра, изъ своего я.

Просвѣтительная философія безповоротно порвала съ прошлымъ, и особенно какъ разъ въ самой важной по человечеству необходимой области—съ *духовными идеалами* и вѣрованіями, т. е. съ католическимъ ученіемъ и папскою церковью.

Ясно, единственнымъ прибѣжищемъ осталась та же самая сила, какая со времени реформациі обнажала язвы старины и постепенно разрушала ветхое зданіе.

Это и былъ разумъ, т. е. обобщенная человѣческая личность.

Онъ одновременно велъ разрушительный процессъ противъ преданій и создавалъ свои положительныя понятія, создавалъ очень простымъ путемъ, въ прямую противоположность съ представленіями своего непримиримаго врага.

Самая распространенная идея восемнадцатаго вѣка—идея *естественнаго* человека ничто, иное, какъ логическій полюсъ старому культу традиціоннаго, исторіей освященнаго, будь это вопіющее злоупотребленіе и несправедливость.

Это культурный смыслъ, психологическій еще яснѣе. Свести человека къ естественному состоянію, т. е. оторвать его отъ исторической почвы и всякихъ условій действительности, значитъ провозгласить крайній индивидуализмъ, на мѣсто религіи массы и законовъ жизни поставить религію я и внущенія личности.

Такой результатъ отнюдь не открытіе вольтеровской критики, онъ вообще плодъ всякаго коренного культурнаго протеста, онъ развивался задолго до *энциклопедіи* въ нѣдрахъ лютеровскаго религиознаго движенія. Просвѣтительная философія только сдѣлала

дальнѣйшій шагъ. Протестантизмъ усиливался разумъ и личность привести въ гармонію съ священнымъ писаніемъ, философы отвергли и это ограниченіе и остался на пути такъ-называсмой естественной логики и метафизики. Прямымъ ученикомъ французскихъ просвѣтителей явился Фихте, столь же тѣсно связанный съ философіей и психологіей энциклопедистовъ, какъ Шиллеръ съ ихъ политикой.

### VIII.

Фихте началъ съ восторговъ предъ французской революціей и, следовательно, предъ французской философіей. Ему, какъ и маркизу Позі, казались высшей мудростію «права человѣка» въѣ времени и пространства и онъ путемъ публицистики дѣлалъ то же самое для французскихъ идей среди германской публики, что Шиллеръ путемъ поэзіи.

Идея всепреобразующей философской личности развилась у Фихте подъ прямымъ вліяніемъ французской мысли и практики, и Фихте служилъ этой практикѣ своимъ словомъ, пока она сама служила міровому культурному прогрессу.

Но на сценѣ идеологовъ и законодателей явился скоро Тимуръ XIX-го вѣка, самъ полагавшій свою гордость именно въ этой роли. Такой оборотъ дѣла быстро разочаровалъ и французскихъ и иностранныхъ поклонниковъ революціи. Поэты въ родѣ Бэрнса и Вордсворта, горячо привѣтствовавшіе зарю свободы и правды, теперь настроили свои лиры на совершенно другой тонъ, съ общечеловѣческаго на практическій, съ французскаго на національный.

Буквально то же самое произошло и съ Фихте, и должно было произойти по еще болѣе повелительнымъ обстоятельствамъ.

Наполеонъ только грозилъ Англіи и не могъ пойти дальше континентальной системы, жестоко давившей и собственныхъ подданныхъ оригинальнаго политика. Но Германія совершенно подпала подъ дикое самовластіе завоевателя, и нѣмецкій патріотизмъ никогда еще за все существованіе германской націи не имѣлъ болѣе достойныхъ основаній проявить всю свою «тевтонскую» ярость» и во всемъ блескѣ напомнить времена борьбы Лютера и Гуттена противъ Рима.

Теперь соедините чувство патріотизма, принципъ національности съ идеей личности въ смыслѣ XVIII-го вѣка, и вы получите всю философскую, политическую и культурную систему Фихте.



Все равно какъ сама французская философія—только болѣе рѣшительное проявленіе протестантскаго духа, точнѣе—идейной и нравственной оппозиціи противъ католичества, такъ Фихте прямой наследникъ стариннаго гуттеновскаго гнѣва на враговъ національнаго могущества и культурной независимости Германіи.

Въ началѣ XIX-го вѣка германскому философу пришлось провозвести настоящую революцію въ области національнаго сознанія. Для него это было вполне свойственное предпріятіе. Онъ только что защищалъ чужую революцію, и теперь ему не предстояло даже измѣнять основного принципа, а только перенести его въ другую среду и направить къ другимъ цѣлямъ.

Личность въ философской системѣ Фихте останется на той же высотѣ, на какую поставили ее французскіе просвѣтители, а *внѣшній* міръ снизойдетъ до еще болѣе низкаго уровня, окажется еще призрачнѣе и безсильнѣе въ сравненіи съ человѣческимъ разумомъ, чѣмъ полагали энциклопедисты. Это будетъ результатомъ болѣе строгой систематичности отвѣченной мысли и болѣе напряженныхъ практическихъ стремленій нѣмецкаго профессора.

Ему предстоитъ дѣйствовать на менѣе воспріимчивыхъ слушателей, чѣмъ французская публика XVIII вѣка, и достигнуть болѣе трудныхъ идейныхъ преобразованій и въ несравненно болѣе короткій срокъ, чѣмъ Вольтеру среди давно уже скептическаго и недовольнаго общества вызвать какое угодно отрицательное чувство къ старой церкви и старому общественному строю.

Еще такъ недавно первостепенный умъ Германіи—Лессингъ—считалъ политическіе вопросы исключительнымъ достояніемъ государей и министровъ, первостепенный нѣмецкій поэтъ готовъ бѣжать на край свѣта, лишь бы спастись отъ политики, что же могли думать средніе люди, не гении, а просто бюргеры и ихъ дѣти?

А между тѣмъ государи и министры безнадежно склонялись подъ гнетомъ иноземнаго влестителя, вся надежда оставалась на тѣхъ, кто до сихъ поръ не занимался политикой и шелъ покорно по слѣдъ призваннымъ *оффиціальнымъ* распорядителямъ своихъ судебъ, однимъ словомъ, на бюргеровъ, на народъ, на молодежь.

И Фихте изъ профессора превращается въ трибуна.

«Я не могу просто думать, я хочу дѣйствовать, дѣйствовать выѣ меня!»—восклицаетъ онъ и направляетъ весь свой талантъ, всю свою логику на это *внѣшнее*.

Борьба не особенно трудна, доказываетъ философъ. Что такое

внѣшній міръ? Призракъ, не имѣющій самостоятельнаго бытія. Онъ созданъ нашимъ я, онъ—совокупность нашихъ представлений. Мы не можемъ познать *сущности* явленій вовсе не потому, что она непостижима для нашего разума, а просто потому, что ея не существуетъ. Ихъ творитъ наше я, единственно реальная сущность. Это—высшій единый принципъ, не ограниченная творческая сила, одновременно познающая и создающая все не я.

Очевидно, это я безусловно свободно, неограничено никакими внѣшними законами и условіями ни въ своихъ силахъ, ни въ своихъ цѣляхъ. Я создастъ внѣшній міръ своей внутренней дѣятельностью, то же я указываетъ и цѣли своему созданію. Смыслъ внѣшняго міра заключается въ его соотвѣтствіи нашей воли, его прогрессъ ничто иное, какъ осуществленіе нашей нравственной свободы, и природа существуетъ за тѣмъ, чтобы я могло проявлять свою независимость и свое творчество.

Такимъ образомъ, *непознаваемость* сущности внѣшняго міра превратилась для Фихте въ *небытіе* и духовный міръ, *субъектъ* сталъ единственнымъ источникомъ бытія и его развитія.

Практическіе выводы очевидны: проповѣдь безусловной свободы личности, совершенное устраненіе всякаго внѣшняго авторитета и восторженная вѣра въ творческое воздѣйствіе духа, разума, *идей* на дѣйствительность, политическій и общественный строй, на самый ходъ исторіи.

До сихъ поръ это—понятія XVIII вѣка, и еще составляя критику на сочиненія Кондорсе, Фихте въ глубинѣ человѣческаго духа видѣлъ законъ историческаго прогресса. Но дальше начинались *временныя* приложенія теоріи, подсказанныя философу его личнымъ положеніемъ среди современныхъ событій.

Французамъ культъ разума былъ необходимъ затѣмъ, чтобы сломить иго старой церкви и стараго государства. Фихте принципъ всемогущаго творческаго я требовался, какъ оружіе противъ вообще старой цивилизаціи, господствовавшей надъ нѣмецкими умами, т.-е. противъ французской духовной и политической власти.

Вѣками установился порядокъ считать французовъ привилегированной націей, аристократами и избранными талантами среди всего человѣчества. Это повлекло всѣ европейскіе народы къ постыдному національному самоотреченію, къ умственному рабству, а теперь—и къ политическимъ униженіямъ.

Правы ли французы въ своихъ притязаніяхъ и дѣйствительно *они* столь безнадежные данники чужой силы?



Для Фихте отвѣтъ заранѣе предрѣшенъ.  
Еще до завершенія философской системы Фихте «пробудить отъ усыпленія и нравственно поднять своихъ ственниковъ».

Система давала ему могущественное оружіе. Понятіе наго я на политической почвѣ непосредственно переносило идею національнаго я и все, что Фихте—въ качествѣ философа открывалъ въ области личнаго творчества и поздѣйствія и ній міръ, все это—въ качествѣ политика—онъ неизбѣжно былъ перенести на первоисточникъ возрожденія Геттациональность.

Сами французы XVIII вѣка выразили насмѣшливое сомнѣніе въ исключительныхъ правахъ на міровое господство французской цивилизаціи и литературы; германскій ученикъ французской мысли понесъ гораздо дальше. Въ силу законовъ рѣшительной борьбы одна крайняя идея вызвала другую, и на мѣсто лопскихъ зрѣній французскаго народа на свое провиденціальное назначеніе выросли такія же позрѣнія у ихъ противниковъ.

Отъ общаго принципа национальности Фихте логически перешелъ къ идеализаціи германизма и во имя настоятельныхъ побужденій современности именно на эту цѣль направилъ свое стремленіе дѣйствовать, свою страсть — воодушевить родину на культурную и политическую борьбу.

## IX.

Въ самой натурѣ Фихте жили всѣ задатки довести разъ воспринятую идею до послѣднихъ отвѣченныхъ и практическихъ результатовъ. Какъ у всякаго бойца, да еще чувствующаго себя въ очагѣ всеобщаго возбужденія и сосредоточивающаго на себѣ общественное вниманіе, у Фихте не могло быть чисто-теоретическихъ взглядовъ. Всякая мысль превращалась у него въ возбужденіе—не въ смыслѣ доказанной и безусловно усвоенной истины, а въ смыслѣ непосредственно дѣйствующей, стихійно стремящейся къ осуществленію—идеи.

Отсюда, рѣзкая прямолинейность, даже фанатизмъ міросозерцанія, близкій въ вѣрѣ въ личную непогрѣшимость и не вступающій въ сдѣлки съ разными ограниченіями, частными подробностями, т. е. отдѣльными отвѣченными или жизненными препятствіями.

Этотъ психологическій законъ превосходно выраженъ Сентъ-Симономъ, философскую и научную мысль также ставившимъ во главѣ общественныхъ преобразованій.

«Создать систему — значитъ создать мнѣніе — по самой природѣ — рѣзко-рѣшительное, безусловное, исключительное»<sup>16</sup>).

Такую систему создалъ и Фихте изъ національнаго вопроса.

Онъ родоначальникъ *національной идеи* въ ея безусловномъ смыслѣ, т. е. основатель религіи національности, всякихъ сильныхъ чувствъ и энергическихъ предпріятій на поприщѣ національной политики, національной литературной дѣятельности и національнаго просвѣщенія.

Подробности совершенно очевидны.

Фихте вполнѣ логически перешелъ къ идеѣ народности, самообытности, къ защитѣ всѣхъ основъ національной духовной оригинальности — народнаго языка, народной поэзіи и народныхъ преданій, вѣрованій и вѣнець всего — проповѣдь всеобщаго народнаго просвѣщенія.

Только оно можетъ окончательно освободить націю отъ унижительныхъ чужихъ вліяній, только оно упрочитъ ея самообытный, свободный путь положительнаго и культурнаго прогресса, обезпечитъ ея творческому генію жизненную силу и безсмертную славу.

Естественно, Фихте могъ договориться до народничества въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, превознести собственно народъ, низшіе классы надъ высшими, потому что послѣдніе впитываютъ въ себя чужое просвѣщеніе и даже чужіе нравы, вырываютъ пропасть между своею духовною жизнью и народною нравственною почвою.

Основная язва этого чужебѣсія — усвоеніе чужого языка и пренебреженіе роднымъ, и Фихте прямымъ путемъ отъ своей философской системы подошелъ къ вопросамъ литературы и искусства.

Національное я и значитъ ничто иное, какъ національное *творчество*, т. е. народное — по языку и содержанію.

Фихте неистощимъ на эту тему, и здѣсь его оригинальная заслуга не предъ одною нѣмецкою литературой.

Но философъ не могъ обойти мотива, съ такимъ блескомъ развитаго у сентъ-симонистовъ, о поэтѣ-проповѣдникѣ и общественномъ вождѣ.

<sup>16</sup>) Produire un système, c'est produire une opinion qui est par sa nature tranchante, absolue, exclusive. *Catholicisme politique des Industriels*. Paris 1832. p. 44—5.

Именно Фихте и долженъ былъ особенно увлечься вопросомъ идейности и творческомъ вліянніи слова на людей и жизнь. Онъ самъ въ рѣчахъ къ германскому народу является пророкомъ, то грознымъ и карающимъ, то восторженнымъ и одушевляющимъ. Онъ даже приводилъ изреченія древнихъ израильскихъ пророковъ, имѣя въ виду современную дѣятельность и, конечно, возлагалъ самыя высшія надежды на вдохновенную, прочувствованную рѣчь. Благодаря даромъ онъ просилъ у прусскаго правительства позволенія выступить передъ войскомъ съ патріотической проповѣдью. Фихте готовъ былъ превратиться въ Тиртея и отвлеченную мысль сблизить на паосъ краснорѣчія.

Надо помнить, дѣятельность Фихте падаетъ на самыя тяжелыя времена для германскаго народа, послѣ тильзитскаго мира, когда власть Наполеона, казалось, не имѣла предѣла и философа на каждомъ шагѣ могъ жестоко поплатиться за свое гражданское мужество.

Это положеніе сообщило особый страстный характеръ рѣчамъ Фихте и рѣзко раздѣлило его систему на два момента. Одинъ неразрывно связанъ съ современностью: это — самый принципъ фихтианства, субъективный идеализмъ и въ практическихъ выводахъ культурная исключительность германской націи. Обѣ ипостаси философу борьбой и ея развитіемъ и могли не пережить историческихъ условій, вызвавшихъ къ жизни идеи.

Но другому моменту суждено было остаться прочнымъ капиталомъ въ европейской мысли.

Фихте до такой степени тщательно и полно раскрылъ понятіе національности, его историческое и культурное значеніе, такъ ярко освѣтилъ нравственный и творческій смыслъ самобытности въ жизни народа и государства, такъ горячо защищалъ именно основныя права народа въ политическомъ и умственномъ прогрессѣ страны, что съ этихъ поръ *національное, націонализмъ, народничество* стали аксіомами сами по себѣ, независимо отъ частныхъ историческихъ обстоятельствъ.

Легко, конечно, представить, идея Фихте, въ общей принципальной основѣ одинаково обязательная для писателей и политиковъ всѣхъ націй, являлась различной въ своихъ мѣстныхъ историческихъ опредѣленіяхъ.

Фихте доказывалъ міровое назначеніе германской стихіи, ученики — не германцы — тѣ же доказательства естественно приложили къ своимъ національностямъ.

Почва приложенія въ началѣ XIX-го вѣка повсюду оказывалась не менѣе подготовленной, чѣмъ въ Германіи, и прежде всего въ нашемъ отечествѣ.

Оношло во главѣ грандіозной борьбы противъ бонапартизма, и до такой степени путь этотъ былъ внушительнъ и націоналенъ, что, мы увидимъ впоследствии, именно эти черты отъѣчены прежде всего самими иностранцами.

Вполнѣ послѣдовательно, къ русскимъ умамъ быстро привилось фихтианство, какъ мощная проповѣдь національнаго принципа и, разумеется, германофильство нѣмецкаго философа неизбежно превратилось въ соответствующее *русское* направленіе, впервые посѣяны были идейныя сѣмена *славянофильства*.

Мы отнюдь не должны представлять здѣсь школьническаго прозелитизма, чистокнижныхъ вліяній и еще менѣе модныхъ увлеченій, какъ это было съ русско-французскимъ аристократическимъ просвѣщеніемъ XVIII-го вѣка. Все равно, какъ было бы несправедливо философскій субъективизмъ Фихте считать только пріемъ вообще духа просвѣтительной философіи, такъ и русскую національную мысль начала столѣтія невозможно привязывать къ *внѣшнимъ* заимствованіямъ. Мы увидимъ, русскіе журналисты, на кѣрное не читавшіе произведеній Фихте и вообще не обладавшіе ни малѣйшими философическими наклонностями, съ необычайнымъ азартомъ развивали символъ національной вѣры.

У нихъ только не было логической стройности ни въ основѣ, ни въ подробностяхъ, говорила кровь и страсть, непосредственное чувство патриотизма, но смыслъ оставался тотъ же — *доказывалась* ли и *раскрывалась* идея или только *провозглашалась* и *внушалась*.

Большая культурная сила философскаго періода русскаго общественнаго развитія и заключается именно въ *исторической причинности* явленія, въ его *реальной почвенности*, прозе и точнѣе — въ совпаденіи запросовъ практической, глубоко переживаемой дѣйствительности съ извѣстными выводами философскаго разума.

Только этимъ фактомъ и обуславливается вообще плодотворность всякаго уместеннаго движенія вездѣ и всегда, только при такихъ сопутствующихъ обстоятельствахъ иноземныя вліянія на нашу общественность дѣйствительно являлись положительными, жизненно-производительными.

И мы должны теперь же установить основной законъ русскаго *культурнаго прогресса*. Безусловно просвѣтительная и преобразовательная тенденція въ русской мысли создавалась отнюдь не усвое-

ніемъ тѣхъ или другихъ западныхъ идей, а назрѣвали въ сознаніи самихъ лучшихъ представителей русскаго общества, съ исторической послѣдовательностью и нравственной повелительностью под-сказывались всѣмъ русскимъ людямъ, кто желалъ искренне и глубоко вдуматься въ русскую дѣйствительность,

Если не было этой искренности и вдумчивости, если, незави-симо отъ иностранныхъ книгъ, у русскихъ просвѣщенныхъ чита-телей не болѣло сердце своей родной болью, не проявляло чутко-сти и отзывчивости не къ отвлеченнымъ разсужденіямъ, а къ ре-альнымъ фактамъ, самая гуманная иноземная философія не мѣ-шала разцвѣтать самому дикому эгоизму и варварству какъ разъ среди вольтеріанцевъ и энциклопедистовъ, среди покорнѣйшихъ подданныхъ великой философской республики.

Покорнѣе начала XIX-го вѣка отнюдь не отличалось такой покорностью. Мы встрѣтимся съ изумительной силой критической мысли, съ твердымъ сознательнымъ скептицизмомъ, направленнымъ на самыхъ вліятельныхъ учителей, и между тѣмъ не можетъ быть и сравненія между нравственными и умственными отраженіями германскихъ идей на міросозерпаніи русской молодежи двадцатыхъ и позднѣйшихъ годовъ и вольтеріанскими пошлостями екатери-нинскихъ «орловъ».

Германская философія не служила пищей праздному тупеяд-ному любопытству и не являлась также единственнымъ духовнымъ достояніемъ русскихъ критиковъ и философовъ. Она только да-вала *обобщенія* готовымъ фактамъ и идеямъ, она приводила въ систему понятія и стремленія, внушенныя вовсе не ею, а силой, несравненно болѣе настоящей—русской жизнью, русской полити-ческой и общественной исторіей.

Такъ будетъ повторяться со всѣми дѣйствительно преобразо-вательными отраженіями западныхъ идей въ русской средѣ.

Философское понятіе Фихте о національности для русскаго об-щества начала XIX-го вѣка будетъ такимъ же логическимъ, же-ланнымъ фактомъ, какимъ впоследствии окажутся идеи сороковыхъ и отчасти шестидесятыхъ годовъ.

Здѣсь и заключается величайшій культурный переворотъ, раз-бивающій исторію русскаго прогресса на двѣ эпохи—просвѣщен-наго энциклопедическаго модничанья высшихъ сословій прошлаго вѣка, какъ разъ заинтересованныхъ въ практической безплодности евро-пейскаго просвѣщенія на русской почвѣ, и подлинной нравственно воспринимаемой образованности новыхъ поколѣній начала теку-щаго столѣтія.

Мы говоримъ *нравственно-воспринимаемой*: это значитъ сознательно, свободно, не ради известнаго авторитета, эстетическихъ или умственныхъ пѣлей, а ради настоятельныхъ жизненныхъ потребностей и ради духовной мучительной жажды. А, это значитъ воспріятіе идей будетъ совершаться не въ сплошной, хаотической формѣ, какъ это было съ вольтеріанцами, а въ соответствии съ принципами и причинами, стоящими выше самихъ авторитетовъ и ихъ идей, въ соответствии съ приложимостью понятій къ дѣйствительности.

Отсюда совершенно самостоятельный интересъ русскихъ философскихъ теченій.

Въ каждомъ изъ нихъ заключается зерно той или другой европейской философской системы. но одушевленное и развитое русской средой и русскимъ умомъ.

Въ результатѣ, многое изъ каждой системы отпадаетъ и остается лишь то, что дѣйствительно можетъ служить объединяющимъ принципомъ въ міросозерцаніи русскихъ учениковъ иностранной мысли. И исторія русскихъ философскихъ направлений и просто увлеченій, исторія, разработанная непремѣнно въ подробностяхъ и отгѣнкахъ, исторія, до сихъ поръ совершенно отсутствующая. была бы въ полномъ смыслѣ исторіей русской культуры, по крайней мѣрѣ, до эпохи реформъ.

Фихтианство имѣло у насъ ту же судьбу, какъ и его преемники: отъ него осталась идея національности, необходимая русскому просвѣщенію по русскимъ же историческимъ условіямъ и выросшая изъ русскихъ же историческихъ событій.

Что же касается основнаго принципа философіи Фихте, онъ — принципъ по преимуществу боевой, революціонный, и на родинѣ не могъ пережить соответствовавшей ему эпохи уже въ силу своей философской односторонности и узко-практической преднамѣренности.

Оба эти недостатка одинаково способны вызвать оппозицію, особенно первый. Для этого философу достаточно другой *личной* натуры, чѣмъ у Фихте — агитатора и проповѣдника. Ничего не могло быть легче, какъ появленіе полнаго контраста именно среди нѣмецкихъ философовъ, т. е. новое воплощеніе исконнаго германскаго типа мыслителя: отрѣшеннаго созерцателя, идеально-примирительнаго ума, готоваго пренебречь какой угодно дѣйствительностью во имя цѣльности и гармоніи отвлеченной системы и философію превратить скорѣе въ поэзію и даже религію, чѣмъ въ *политику*.

Не могъ остаться безъ дѣйствія и другой недостатокъ фиктивнаго: его прямолинейная приспособленность къ известнымъ практическимъ нуждамъ. Разъ онъ миновали или даже утрачивали свой острый характеръ, ослаблялось значеніе и самой системы. Тѣмъ болѣе, что она, вся исполненная нервной стремительности и страстныхъ призывовъ, уже сама по себѣ не могла удовлетворить известное намъ основное стремленіе начала XIX-го вѣка къ единому прочному философскому принципу—успокоительному послѣ разрушеній предыдущей эпохи и созидательному послѣ бурь революціи.

Изъ среды учениковъ самого Фихте вышелъ философъ, какъ нельзя болѣе способный на мѣсто *субъективизма* и *политики* выдвинуть объективное созерцаніе.

## X.

Система Фихте могла оказать большую услугу Германіи въ нравственно-общественномъ отношеніи, воодушевить равнодушныхъ и ободрить павшихъ духомъ, но она по существу была безсильна какъ теорія, какъ система. Безусловное отрицаніе внѣшняго міра, какъ сущности и реальной силы, встрѣчалось съ противорѣчіями на каждомъ шагѣ—и въ наукѣ, и въ жизни.

Та самая темная сила, съ какой боролся Фихте,—деспотизмъ Наполеона, являлась нагляднымъ доказательствомъ безсилія философскаго разума и могущества исторической дѣйствительности.

Наполеонъ всю свою нехитрую систему внѣшней и внутренней политики построилъ именно на рѣшительномъ устраненіи идей въ смыслѣ общихъ принциповъ, на эксплуатированіи фактовъ самаго грубого почвеннаго характера—низменныхъ инстинктовъ у отдельныхъ личностей, и чувствъ страха и эгоизма у общества. Цезарь являлъ изъ себя воплощенный *тактъ обстоятельствъ*: тактъ любилъ онъ самъ характеризировать свою философію, и достигъ поразительныхъ успѣховъ, какіе и не грезнились идеологамъ.

Очевидно, въ міровомъ порядкѣ имѣло значеніе нѣчто помимо я—нравственнаго и свободнаго.

А потомъ, независимо отъ возникновенія первой имперіи, права органической жизни политическихъ обществъ, такъ-называемые законы историческаго развитія, т. е. та же дѣйствительность, существующая внѣ нашего я и независимо отъ него, пріобрѣли небывалый кредитъ послѣ разгрома благороднѣйшихъ и теоретически-стройныхъ государственныхъ идеаловъ.



Уже Сентъ-Симонъ жестоко ополчался на адвокатовъ и метафизиковъ революціонныхъ собраній, обзывать ихъ кандидатами въ сумасшедшій домъ за ихъ пренебреженіе къ урокамъ исторіи. Эта идея даже въ такой рѣзкой формѣ нашла не мало сочувственниковъ, и продолжаетъ находить ихъ до сихъ поръ, по сущности ея—признаніе закономѣрнаго развитія общества въ ущербъ неограниченно-героическимъ воздѣйствіямъ личности на действительность—перешла даже къ искреннимъ защитникамъ самой революціи.

И эти защитники, въ родѣ Мицъе, Тьера, Гизо и многочисленныхъ либеральныхъ политиковъ и ученыхъ девятнадцатаго вѣка, нашли единственный надежный путь оправдать революцію—доказать *фактическую* необходимость, связать ее съ неизбѣжнымъ *ходомъ вещей* и оставить возможно меньше мѣста *творчеству отдельныхъ* личностей. Только при такомъ взглядѣ революція пріобрѣтала свои права въ культурной исторіи человѣчества.

Наконецъ, другой вѣнпшій міръ—природа—также съ чрезвычайной настойчивостью заявлялъ о своемъ бытіи какъ разъ въ эпоху фиктіанства. Наивныя мечты Сентъ-Симона распространить законъ тяготѣнія на явленія нравственнаго порядка не могли имѣть никакого серьезнаго значенія и даже логическаго смысла.

Совсѣмъ другой матеріалъ представило естествознаніе философамъ въ сравнительно очень короткій срокъ, въ теченіе двадцатитридцати лѣтъ. За это время сдѣлано множество въ высшей степени важныхъ открытій въ области электричества, и каждое изъ нихъ вызывало сильнѣйшее возбужденіе философской мысли.

Открытіе «животнаго электричества», т. е. гальванизмъ немедленно отразился на судьбѣ «единого принципа». Нашлись рѣшительные люди, готовые всѣ явленія органической и неорганической жизни свести къ электрической силѣ, особаго рода нервной жидкости. Міръ сразу получалъ удивительно стройное и простое единство, и новый принципъ давалъ сколько угодно мотивовъ и поводовъ къ самымъ смѣлымъ выводамъ въ области глубочайшихъ тайнъ бытія.

Физика и химія не остановились на гальванизмѣ. Дальнѣйшія открытія все рѣшительнѣе, казалось, утверждали единство міровыхъ силъ. Была доказана тѣснѣйшая взаимная связь электричества и магнетизма. Становилось очевиднымъ, — вся природа проникнута единымъ органическимъ двигателемъ, *естественной силой*, творящей многообразныя формы по известнымъ неуклоннымъ законамъ.



Вопросъ о неразрывномъ единствѣ всего, подлежащаго изслѣдованію человѣческаго ума, неотразимо ставился не метафизическими соображеніями, а совершенно наглядными открытіями и наблюденіями. Уже Сентъ-Симонъ, пица логического естественнаго закона для созданія новаго общественнаго строя, призналъ за аксіому непрерывную цѣпь развитія отъ неорганическаго міра до соціальныхъ явленій высшаго порядка, исторію называлъ «соціальной физикой» и свое собственное подготовительное поприще проходилъ по строгому плану: началъ съ изученія неорганизованныхъ тѣлъ, перешелъ къ организмамъ и закончилъ новымъ *христианствомъ*, т. е. новымъ законодательствомъ.

Практическіе результаты не соответствовали отвлеченной стройности проекта, но для насъ важно отмѣтить *идею развитія*, объединяющаго, по представленію сентъ-симонистской школы, всѣ явленія физическаго и нравственнаго міра.

При свѣтѣ этой идеи организмы—продуктъ не преднамѣренныхъ цѣлей, лежащихъ въ основѣ мірозданія, а необходимыя проявленія единой естественной творческой силы, дѣйствующей по законамъ, ей безусловно присущимъ.

Такимъ образомъ, всѣ организмы ничто иное, какъ только различныя ступени естественнаго развитія, между ними нѣтъ пропастей и произвольныхъ перерывовъ и скачковъ, такъ же какъ нѣтъ вмѣшательства спеціальной силы въ созданіе организмовъ рядомъ съ неорганической природой.

Этотъ взглядъ одновременно наносилъ удары и старой философіи естествознанія, и старой назидательной метафизикѣ, уничтожалъ теорію витализма и доказывалъ неосновательность узкихъ морализирующихъ телесологическихъ воззрѣній на міръ.

Нечто, при такихъ условіяхъ вѣчная дѣйствительность приобрѣтала сама по себѣ громаднѣйшій интересъ и безусловныя независимыя права не только на опытное изслѣдованіе, но и на чисто-философскія системы.

Именно философское вліяніе новыхъ естественно-научныхъ выводовъ особенно важно и оригинально.

Идея единой естественной силы, проходящей черезъ всѣ формы и явленія и въ силу законовъ создающая столь совершенныя цѣлесообразныя организмы, эта идея, независимо отъ какихъ бы то ни было нравственныхъ и метафизическихъ выводовъ, преисполнена величія и поэзіи, глубины и красоты. Она какъ вѣззъ божье способна увлечь съ одинаковой силой и мысль, и воображеніе, раз-

вернуть заманчивѣйшія перспективы предъ творческими, логическимъ разумомъ и свободной вдохновенной фантазіей.

Въ результатѣ ни въ одной идеѣ не заключается такихъ богатыхъ источниковъ для противоположныхъ наклонностей и запросовъ человеческой природы, для строгой науки и для «патетической силы». Философъ съ одинаковымъ успѣхомъ можетъ пользоваться фактами и образами, доказательствами и лиризмомъ. Видъ понятіе естественной творческой стихіи не даетъ рѣшительнаго отвѣта на высшій вопросъ философіи о первопринципѣ, и здѣсь послѣ какихъ угодно опытовъ и открытій оставалось обширное поле для личнаго творчества философа.

Система, просто стремясь къ возможной полнотѣ и цѣлостности, неизбѣжно сливала въ себѣ разнообразнѣйшіе элементы, чего могло не быть въ фихтѣанской системѣ рѣзко практическаго, нравственно-просвѣтительнаго характера.

Шеллингъ и по внѣшнимъ влусеніямъ, и особенно по разносторонней талантливости своей натуры создалъ оригинальное философское ученіе, изобилующее и плодотворнѣйшими логическими истинами, и въ полномъ смыслѣ романтическимъ творчествомъ.

## XI.

Шеллингъ родился поэтомъ и очень долго дышалъ поэтическимъ воздухомъ современной Германіи. Необыкновенная, очень ранняя талантливость въ философскихъ вопросахъ не мѣшала первому германскому властителю русскихъ думъ до конца сохранять въ себѣ сильную поэтическую закваску. Именно одинъ изъ первыхъ русскихъ прозелитовъ нѣмецкой философіи отъ лекцій Шеллинга вынесъ совершенно опредѣленное и очень богатое послѣдствіями впечатлѣніе: «Шеллингъ поэтъ тамъ, гдѣ даетъ волю естественному стремленію своего ума». И слушатель выражаетъ даже увѣренность, что Шеллингъ писалъ въ молодости стихи <sup>19)</sup>.

Догадка вполне справедливая.

Девятнадцати лѣтъ Шеллингъ блестяще усвоилъ философію Фихте и написалъ нѣсколько произведеній въ духѣ учителя. Но въ то же время молодой философъ воспринималъ обильныя вліянія другой области — романтической поэзіи, лично былъ въ тѣсныхъ отношеніяхъ съ главнѣйшими романтиками — Тикомъ, Августомъ

<sup>19)</sup> Ив. Кирѣевскій въ письмѣ къ А. Кошелеву. *Полное собраніе сочиненій. Москва 1861, стр. 15, 18.*

и Фридрихомъ Шлегелями и фантастичнѣйшимъ изъ нихъ Новалисомъ. Эта среда и вызвала его самого на стихотворчество.

Стихи оказались мимоетнымъ увлеченіемъ; несравненно болѣе глубокіе слѣды въ умственномъ развитіи Шеллинга оставило романтическое міросозерцаніе, особенно романтическія воззрѣнія на искусство.

Романтическая литературная школа и поразительные успѣхи естествознанія—основныя факты въ позникновеніи и въ развитіи шеллингианства. По существу оба факта вели къ совершенно гармонической системѣ, хотя и далеко не ясной и логической во всѣхъ подробностяхъ.

Для романтиковъ поэзія, искусство не только творческія силы, а высшее духовное явленіе, душа міра, сущность человѣческаго развитія. Этотъ взглядъ неуклонно развивался Шиллеромъ, независимо отъ спеціальныхъ романтическихъ теорій. Художественная гениальность и человѣческое совершенство для него тождественны. Эстетическое воспитаніе человечества значитъ идеально-гармоническое развитіе двухъ основныхъ сторонъ нашего нравственнаго міра—чувства и разума, природы и свободы.

Естественно *красота* и—*истина* понятія, совпадающія другъ съ другомъ <sup>20</sup>). Но Шиллеръ такъ думалъ только въ минуты лирическаго восторга и сознательно не совершилъ всего пути къ культу искусства; на долю романтиковъ осталось еще очень многое.

Шиллеръ строго разграничивалъ *красоту* и *мораль*, эстетическую оцѣнку отъ нравственной, указывалъ психологическую основу противорѣчій и приводилъ убѣдительные примѣры <sup>21</sup>). Романтики въ качествѣ бурныхъ гениевъ не желали знать никакихъ оговорокъ и довели идеализацію искусства и генія до всеобъемлющей силы и величія.

Поэзія—истинное откровеніе міра, высшая сущность, вѣдь ся нѣтъ ни религіи, ни философіи, ни познанія.

Геній, т. е. творческая сила—абсолютная личность, а фикціанской системы. Здѣсь романтизмъ шелъ рядомъ съ учителемъ Шеллинга, но отнюдь не ради его цѣлой системы и практическихъ выводовъ, а перенося только его представленіе о субъектѣ на свое

<sup>20</sup>) Шиллеръ. *Художники*.

<sup>21</sup>) Въ статьяхъ *Мысли объ употребленіи поэтаго и низкаго въ искусствѣ* и *О нравственной пользѣ эстетическихъ нравовъ*.

понятіе гениальнаго художника. Это воплощенная личная свобода, могущество внѣ законовъ, границъ и контроля, вполне самодовлѣющій міръ.

Но не единственный, иначе изъ системы получается отвѣчен-ная мораль, слепая практическая тенденція, исчезаетъ художе-ственная гармонія и всякая поэтическая таинственность. Фило-софія въ результатѣ распадается на цѣлый рядъ болѣе или менѣе частныхъ правилъ нравственнаго и политическаго содержанія.

Совершенно другой результатъ, если ж, т. е. *генія* противопоста-вить другому міру, *природѣ*; точнѣе, не противопоставить, а при-вести въ естественную органическую связь.

Потому что гениі, училъ еще Шиллеръ, та же природа. Отли-чительная черта генія—торжество надъ разными хитростями и уловками ума, рѣшеніе самыхъ запутанныхъ задачъ «съ незатѣ-ливою простотою и легкостью», по внушенію природы. Отсюда вѣч-ная наивность, непосредственность генія <sup>22</sup>).

Если вся сила генія въ его безсознательномъ сліянніи съ при-родой, въ голосѣ и внушеніяхъ природы именно ему, генію,—оче-видно творческое вдохновеніе ничто иное, какъ раскрытіе природы, освѣщеніе ея тайнъ, и искусство—единственная истинная *филосо-фія природы*.

Но подлинное опредѣленіе этого процесса не философія, а со-зерцаніе, *интуиція*, вообще нѣчто противоположное логикѣ и опыт-ному знанію, произвольное и таинственное.

Такова романтическая теорія искусства и творчества. Суще-ственная для насъ черта этой теоріи сліяніе искусства и высшего познанія, философіи и поэзіи, идей и вдохновенія.

Все это означало самое высшее превознесеніе искусства и творческаго таланта. Никогда ни одна литературная школа не увеличивала такой славой и блескомъ поэта во имя его дарованія, не отводила такого исключительнаго мѣста въ человѣческой дѣя-тельности поэзіи ради нея самой, какъ романтизмъ.

Сильная художественная даровитость, несомнѣнно, самое яркое свидѣтельство оригинальности личности, и романтики ни на шагъ не отстали отъ Фихте: во имя искусства создавали такой же идеальный субъективизмъ, какой у философа служилъ политикѣ.

Практическіе результаты очевидны.

Сколько бы ни было безпорядочной, часто туманной декламации

<sup>22</sup>) *Наивная и сентиментальная поэзія.*

въ проповѣдяхъ романтиковъ, они первые среди писателей-художниковъ рѣшились установить на общихъ идейныхъ основахъ великое призваніе поэта. Толкуя съ самой возвышенной точки поэтическое творчество, его психологію и его идейное содержаніе, они тѣмъ самымъ создали совершенно новыя общественныя и нравственныя права для писательской дѣятельности.

Но этого мало. Вопросъ имѣлъ и другую сторону, неразрывно связанную съ понятіемъ о поэзіи.

Разъ поэтъ—главнѣйшій высшихъ тайнъ, такое назначеніе налагало на его личность и направленіе его таланта исключительныя нравственныя обязательства.

Романтики путемъ психологіи и эстетики дошли до тѣхъ самыхъ выводовъ относительно значенія «патетическихъ способностей», какіе были высказаны сенъ-симонистами ради практическихъ цѣлей. Это полное совпаденіе романтизма съ одной изъ современныхъ ему философскихъ школъ. Но не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію непосредственное и въ высшей степени глубокое воздѣйствіе романтизма на шеллингянство. Можно сказать даже, вся шеллингянская философія искусства, для насъ особенно цѣнная, прямое наследство романтическаго литературнаго направления.

## XII.

Шеллингъ, въ сущности, не оставилъ единой цѣльной философской системы, онъ нѣсколько разъ вносилъ поправки даже въ основныя положенія своей философіи, до конца находясь въ процессѣ философскаго развитія, принимавшаго съ теченіемъ времени все болѣе смутныя и произвольныя формы.

Первичная склонность къ поэтическому творчеству въ ущербъ логическому процессу довольно легко перешла въ фантазерство, а романтическая идея о всепроникающемъ взорѣ художественнаго таланта выродилась въ самый подлинный мистицизмъ.

Эта разбросанность шеллингянской мысли была ясна даже русскимъ послѣдователямъ философа, и одинъ изъ ученыхъ родоначальниковъ русскаго шеллингянства — Галичъ — отдавалъ себѣ отчетъ въ недостаткахъ излюбленной системы<sup>23)</sup>. Это не мешало Шеллингу набербовать многочисленныхъ восторженныхъ поклон-

<sup>23)</sup> *Исторія философскихъ системъ*. Спб. 1818—1819, кн. 2, стр. 233.

никовъ среди русской молодежи. Впоследствии мы увидимъ, чего искала и что нашла эта молодежь въ шеллингизмъ.

Но очевидно одно: Шеллингъ, при всей сбивчивости и отрывочности своей системы, отвѣтилъ на жгучіе запросы современнаго общества.

Его заслуги начинаются съ того, что онъ въ философіи возстановилъ права природы, внѣшняго міра. Никакого особенно смѣлаго и оригинальнаго шага не требовалось для этого возстановленія.

Естествознаніе совершало блестящія и непрерывныя завоеванія и увлекало за собою философа. Гёте былъ однимъ изъ самыхъ эффектныхъ завоеваній современной могущественнѣйшей и модной науки. Русскому поэту удалось съ удивительной точностью опредѣлить сущность гетевского поэтического таланта и всего міросозерцанія:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ...

Это значило выполнять романтическій идеалъ художественнаго творчества, воплощать генія въ его подлинной природѣ и истинѣ.

И ни у кого правда и поэзія именно *природы* не сливались въ такой гармоніи, какъ у Гёте.

Усердныя занятія естественными науками будто подсказывали поэту все новые поэтическіе мотивы и расширяли его умственный кругозоръ до безграничной увлекательной перспективы пантеистическаго созерцанія дивныхъ «матерей», таинственныхъ, но неотразимо краснорѣчивыхъ стихій бытія.

Гёте явился прообразомъ Шеллинга—болѣе полнымъ, чѣмъ романтики. У автора Фауста, помимо лирическихъ восторговъ предъ природой, былъ большой запасъ чисто-научнаго интереса къ ней и умѣнья даже подробностями естественно-научныхъ открытій пользоваться съ творческими цѣлями.

Изученіе явленій природы, по сознанію Гёте, дисциплинировало его умъ и образовало въ извѣстномъ направленіи его поэтическій талантъ.

«Не занимайся я естественными науками,—говорилъ онъ,—и никогда не узналъ бы, каковы люди. Ни въ какой другой области нельзя до такой степени прослѣдить чистое возрѣніе и мышленіе, ошибки чувствъ и ума, слабость и силу характера. Всюду все болѣе или менѣе шатко и неустойчиво, со всякимъ можно болѣе или менѣе сговориться; но природа не допускаетъ шутокъ, она всегда

правдива, всегда серьезна и строга; она вся—правда: ошибки и заблужденія всегда зависятъ отъ людей» <sup>24</sup>).

При такихъ воззрѣніяхъ Гёте могъ приветствовать систему Шеллинга, какъ философское поясненіе и обоснову своей поэзіи.

Шеллингъ нѣкоторое время изучалъ математику, физику, химию и даже медицину, въ теченіе всей жизни не упускалъ изъ виду ни одного естественно-научнаго открытія и стремился немедленно ввести его въ свою систему.

Итакъ, *природа* должна занять мѣсто рядомъ съ я.

Но въ какихъ же отношеніяхъ находятся между собой эти два міра?

Отвѣтъ опять подсказанъ естественными науками. Это, въ сущности, *единый міръ*, природа осуществляетъ въ своемъ развитіи тѣ же законы, какіе лежатъ въ основѣ нравственнаго міра.

Эта истина ясна изъ самаго простаго соображенія.

Почему мы познаемъ природу, почему даже вообще разсчитываемъ на плодотворность нашихъ наблюденій и опытовъ?

Потому что мы можемъ понять ее. А это мыслимо въ единственномъ случаѣ, когда законы природы соотвѣтствуютъ, точнѣе, совпадаютъ съ законами нашего духа. Иначе книга природы для насъ оставалась бы навсегда недоступной.

Исно, уже существованіе естественныхъ наукъ само по себѣ создавало исходный принципъ шеллингианской философіи. Если люди понимаютъ другъ друга,—единственно потому, что у каждаго изъ нихъ мысль подчиняется тождественнымъ логическимъ законамъ, то же самое необходимо предположить и относительно объекта и субъекта, будь это внѣшній міръ и личность.

Гёте, подчиняясь своей, по преимуществу, поэтической природѣ, задумывалъ создать *поэму природы*, своего рода эпосъ съ героями естественными силами, Шеллингу-философу оставалось развить *философію природы*. И онъ выполнилъ свою задачу, оставаясь на вполнѣ логическомъ послѣдовательномъ пути—даже въ мистическихъ выводахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если я и *природа* представляютъ единство, возникаетъ вопросъ: какъ постигнуть его? Какъ установить *общее начало* духа и внѣшнихъ явленій?

Оно, очевидно, заключаетъ въ себѣ сліяніе двухъ принци-

<sup>24</sup>) *Разговоры Гёте, собранные Эккерманомъ*. Перев. Аверкіева, Спб. 1891. II, 146.



повъ—свободы, т. е. разума и необходимости, т. е. естественнаго развитія.

Природа не подчинена деспотическому закону цѣлесообразности, т. е. въ ея жизнь не вѣлѣивается сила, ей посторонняя и чуждая.

Природа живетъ по законамъ, въ ней самой заключеннымъ, ея развитіе необходимо, но результаты его оказываются въ то же время разумны, цѣлесообразны. Организмы, несомнѣнно, являются воплощеніемъ принципа цѣлесообразности, т. е. разумной свободы.

Органическая жизнь—ступень, гдѣ бессознательное творчество природы переходитъ въ сознательный, цѣлесообразный результатъ.

Итакъ, сліяніе необходимости и свободы, природы и разума, единственно полное представленіе о міровомъ процессѣ.

Вѣкъ этой идеи только два выбора: или матерію отождествить съ разумомъ, или устранить представленіе объ органическомъ развитіи, матерію безусловно подчинить вѣннней силѣ и весь жизненный процессъ такимъ путемъ превратить въ искусственный.

Ни то, ни другое объясненіе, по мнѣнію Шеллинга, не удовлетворяетъ ни логикѣ, ни научнымъ фактамъ.

Логически, слѣдовательно, единство опредѣлено, абсолютный принципъ установленъ. Это ни всепоглощающее и всетворящее я Фихте, ни всенаполняющее себя довлѣющее инертное вещество материалистовъ, это необходимо разумное, естественно-цѣлесообразное.

Остается существеннѣйшая задача: какъ человѣческій умъ можетъ этотъ логическій результатъ сдѣлать достояніемъ своего сознанія, т. е. воспринять его не какъ вѣннній выводъ, а какъ моментъ своего бытія?

Гёте, воснѣвая природу, считалъ сущность ея недостижимой для разсудка.

«Человѣкъ долженъ обладать способностью возвыситься до высочайшаго разума, дабы прикоснуться къ божеству, которое открывается въ первичныхъ явленіяхъ, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ; оно скрывается за ними и они переходятъ отъ него».

И мы знаемъ, этотъ высочайшій разумъ даже для трезваго положительнаго ума Гёте часто значилъ нѣчто для здраваго смысла мало доступное или даже совсѣмъ невразумительное.

Напримѣръ, автору Фауста очень часто приходилось фантазію ставить на недостижимую высоту сравнительно съ умомъ.

«Если бы при помощи фантазіи,—говоритъ Гёте—не создава-



лись вещи, которыя останутся на вѣки загадкой для ума, то фантазія нежного бы стояла».

II поэтъ на личномъ приѣѣ оправдывалъ этотъ взглядъ, допускалъ въ свои произведенія образы и идеи, ему самому, повидимому, неясныя, во всякомъ случаѣ, не поддававшіяся точному толкованію.

Разъ у него спросили: что онъ разумѣлъ въ сценѣ, гдѣ Фаустъ идетъ къ матерямъ.

Въ отвѣтъ, рассказываетъ рассказчикъ, «Гёте, по своему обычаю, закутался въ таинственность и, глядя на меня большими глазами, повторялъ: «матери! матери! какъ это странно звучитъ!»<sup>25)</sup>.

Вопросъ о матеряхъ какъ разъ касался конечнаго вопроса философіи, познанія принципа, управляющаго міромъ.

Шеллингъ этотъ принципъ свелъ къ абсолютному тождеству міра нравственнаго и міра природы. Но самый терминъ ничего не объясняетъ и ничего не доказываетъ. Звучалъ онъ не менѣе «страннымъ», чѣмъ гётевскія матери. Но вопросъ: ясны ли и было ли у Шеллинга болѣе удовлетворительное средство раскрыть тайну, чѣмъ «большіе глаза» и загадочныя восклицанія?

Средства логическаго и научнаго, т. е. доказательнаго, не могло быть, въ силу ограниченныхъ способностей человѣческаго ума. Онъ можетъ только постигать отдѣльныя явленія и частныя законы природы и духа, но охватить единое міровое начало, въ предѣлахъ человѣческаго вѣдѣнія.

Оставался другой путь, по существу тотъ самый, какой Гёте превозносилъ въ ущербъ разсудку,—путь воображенія, фантазіи, поэтическаго вдохновенія, художественнаго творчества, т. е. созерцаніе вмѣсто разсужденія, искусство вмѣсто философіи.

### XIII.

Мы видимъ, какъ мало Шеллингу потребовалось самостоятельныхъ усилій мысли и въ основныхъ положеніяхъ его системы, и въ окончательномъ выводѣ.

За права природы, въ философіи и поэзіи, поднимались первостепенные современные умы и таланты. Если Гёте только ограничился замысломъ, написать эпосу или драму природы, французскій академикъ Ломеьеръ выполнялъ тему. Онъ сочинилъ поэму

<sup>25)</sup> Q. cit. II. 6. 219.

*Атлантиду*, гдѣ вмѣсто греческой мифологіи цариза физика и дѣйствующія лица воплощали *равновѣсіе, тяготѣніе, центробѣжную силу*, разные металлы и даже математическія науки.

Это въ полномъ смыслѣ шеллингянское, хотя и очень грубое произведеніе. Нѣмецкій философъ не могъ дойти до такихъ уродливыхъ результатовъ, но сущность его мысли—прямое достояніе его старшихъ и младшихъ современниковъ.

Заслуга Шеллинга ограничивается талантливою систематизаціей ходячихъ мыслей и фактовъ, искусствомъ отвлеченной идеологіи сообщить привлекательность поэзіи, а фантастическіе выводы сдобрить научнымъ соусомъ.

Это поистинѣ артистическое соединеніе искоши, по мнѣнію Платона, враждебныхъ силъ выгодно отразилось даже на неоригинальныхъ соображеніяхъ и на туманныхъ, чисто-вдохновенныхъ обобщеніяхъ.

Даровитѣйшій нѣмецкій историкъ философіи съ восторгомъ говоритъ о благотворныхъ вліяніяхъ шеллингянства на науку <sup>26)</sup>. И историкъ правъ. Шеллингъ доказалъ абсолютное тождество законовъ духа и природы; въ природѣ развивается и осуществляется духъ, природа реализуетъ законы духа.

Результаты этой идеи для естествознанія очевидны, прежде всего для физики — единство физическихъ силъ, для біологіи — единство развитія организмовъ, т. е. дарвиновская теорія. Шеллингъ устранилъ пропасть между неорганической природой и организмами, т. е. погубилъ витализмъ, съ другой стороны — связалъ низшіе организмы съ высшими необходимой естественной связью, т. е. доказалъ несостоятельность вмѣшательства метафизики въ естествознаніе.

Мы видѣли, на всѣ эти идеи Шеллинга натакивало то же естествознаніе, но никто изъ философовъ не успѣлъ изъ этихъ внушеній создать цѣлое міросозерцаніе, способное вдохновить новыя научныя силы по извѣстному пути изслѣдованій. И мы впослѣдствіи встрѣтимъ среди русскихъ шеллингянцевъ страстную любовь къ естественнымъ наукамъ. и какъ разъ талантливіишіе шеллингянцы будутъ именно по спеціальному образованію — естественники.

Шеллингянство, слѣдовательно, первая философская система, многому научившаяся отъ опытныхъ наукъ, но зато первая же и оказавшая ихъ популярности и развитію величайшія услуги.

<sup>26)</sup> *K. Fischer. Geschichte der neueren Philosophie*, VI Band. Heidelberg 1894.

— 110 —

*Миръ—органическое целое—истина*, ставшая во главѣ всего умственного развитія нашего вѣка. Однимъ изъ первыхъ апостоловъ ея быть и оставался Шеллингъ.

Но чѣмъ шире идея, тѣмъ больше риску она представляетъ въ приложеніяхъ и выводахъ.

Одинъ изъ самыхъ раннихъ русскихъ шеллингианцевъ — Велланскій, оставилъ рядъ сочиненій, прославившихся своей невразумительностью и самыми страшными аналогіями и обобщеніями (будто бы на почвѣ естествознанія <sup>27)</sup>). Но когда русскій философъ производилъ удивительнѣйшія операціи надъ «магнетизмомъ, электризмомъ и химизмомъ», когда мужескій полъ признавалъ типомъ центробѣжнымъ и соотвѣтствующимъ свѣту, а женскій — центростремительнымъ и соотвѣтствующимъ тяжести, и даже гордился такимъ «познаніемъ вещей», — все это являлось подлинными отголосками шеллингианства.

Надо было только допустить въ область философіи фантазію и творчество, и принципъ абсолютнаго тождества немедленно порождалъ самыхъ уродливыхъ дѣтницъ путемъ параллелизма между психологіей и физикой или химіей.

Самъ Шеллингъ, конечно, не могъ ограничиться только усвоеніемъ фактовъ и болѣе или менѣе опредѣленныхъ выводовъ естественныхъ наукъ, онъ прямо устремился къ систематизаціи природы по отвлеченнымъ понятіямъ, т. е. къ насильственной укладкѣ естественныхъ явленій въ разсудочныя рамки, въ интересахъ конечнаго стройнаго вывода.

Легко представить, сколько произвола и фантазерства должно было возникнуть при такомъ философствованіи!

Творчество философа безпрестанно опережало реальную дѣйствительность и независимо отъ познанія самого абсолюта съ помощью вдохновенія и созерцанія, на каждомъ шагу впадало въ мистицизмъ и метафизическую риторику даже при объясненіи частныхъ вопросовъ.

Это, мы уже указывали, вина собственно не лично Шеллинга, а самой задачи. Но увлеченіе философа несомнѣнно. Онъ неуклонно погружался въ непроницаемый туманъ откровеній, не имѣвшихъ ничего общаго съ его ранними наставниками — естественными науками.

---

<sup>27)</sup> Ср. М. Филипповъ — *Судьбы русской философіи*, *Русское Богатство*, 1894, III, 139 etc. Здѣсь довольно подробное изложеніе «философическихъ умозрѣній» Велланскаго.

Такое движеніе шеллингянства можно было предусмотрѣть заранѣе, лишь только философъ назвалъ источникъ высшаго человѣческаго познанія—поэзію, искусство.

Здѣсь опять извѣстная личная заслуга Шеллинга, именно въ остроумномъ сопоставленіи человѣческаго творчества съ творчествомъ природы.

Мы видѣли, жизнь природы развивается по законамъ и въ то же время целесообразно, процессъ одновременно и необходимъ. и разуменъ.

То же самое и поэтическое творчество.

Оно въ совершенной гармоніи сливается въ вдохновеніе и сознаніе, т. е. нѣчто произвольное, стихійное съ требованіями разума.

Художникъ сознательно приступаетъ и ведетъ свое дѣло, по результатъ работы создается при помощи другой силы, чѣмъ разумъ и критика, въ немъ всегда заключается *болыше*, чѣмъ было въ сознаніи художника.

Поэтъ можетъ тщательно контролировать процессъ своей работы, но онъ не можетъ подчинить контролю *плодъ* ся, не можетъ предсказать его содержаніе и охватить его смыслъ. Все это—созданіе бессознательной творческой силы, и истинное произведеніе искусства—воплощеніе такой же гармоніи необходимости и разума, какъ и міровое начало.

Очевидно, творчество единственный путь къ абсолютному тождеству и искусство—высшая ступень человѣческой мудрости. Только благодаря творческой способности, человѣкъ усвоиваетъ смыслъ мірового процесса и познаетъ тайну мірового единства.

На основаніи этого представленія Шеллингъ снабдилъ, конечно, искусство самыми высшими опредѣленіями, совпалъ вполнѣ съ лиризмомъ романтиковъ. И мы имѣемъ неѣ основанія приписать

Шеллингу тѣ же заслуги, какія стяжали романтики провозглашеніемъ самостоятельнаго достоинства и великаго идейнаго значенія искусства.

Но и здѣсь рядомъ съ заслугами не слѣдуетъ забывать безусловна отрицательныхъ результатовъ.

Объявить искусство высшимъ проявленіемъ человѣческой природы, значитъ устранить шиллеровское настоятельное указаніе, насколько различна эстетическая стихія отъ нравственной и до какой степени скользкій путь—слѣдовать внушеніямъ только эстетическаго характера.

Въ области эстетики рѣшительную роль играетъ воображеніе и все, что увлекаетъ его, вызываетъ положительное чувство, на-  
примѣръ, сила. «Самое дьявольское дѣло,—говоритъ Шиллеръ,—  
можетъ намъ эстетически нравиться, какъ скоро обнаруживаетъ  
силу».

И Шиллеръ счелъ нужнымъ подробно оцѣнить «опасность эсте-  
тическихъ нравовъ». Нравственность, основанная на чувствѣ пре-  
краснаго, вообще на художественномъ вкусѣ, не выдерживаетъ  
критики.

Устами Шиллера говорилъ истинный «просвѣтитель», гражда-  
нинъ. Другія рѣчи характеризовали бы чистаго художника. А это  
и былъ бы крайній послѣдователь шеллингіанской теоріи иску-  
ства<sup>29</sup>). Здѣсь *правда* отождествлялась съ *красотой*, заключа-  
лись, слѣдовательно, сѣмена самаго разнузданнаго символизма и  
эстетизма.

И мы, дѣйствительно, встрѣтимся съ цвѣтами, если не съ пло-  
дами этихъ сѣмянъ,—у русскихъ шеллингіанцевъ.

Столько разнороднѣйшихъ элементовъ заключалось въ системѣ  
нѣмецкаго философа, вызвавшего въ Россіи первое глубокое и жиз-  
ненно-вліятельное философское возбужденіе.

Не легко было ученикамъ разобратся въ этомъ сплетеніи идей,  
притомъ еще не всегда разчленинныхъ и уясненныхъ самимъ  
учителемъ.

Трудность увеличивалась не только раннимъ поверхностнымъ  
знакомствомъ русскихъ просвѣщенныхъ людей съ философіей, но  
и культурной и общественной средой, менѣе всего приспособлен-  
ной къ спокойному независимому росту философской мысли.

Наконецъ, именно такая среда вызвала у лучшихъ, благород-  
нѣйшихъ умовъ особенно настоятельные нравственные запросы къ  
философіи, ставила философію въ положеніе единственной учитель-  
ницы жизни—личной и общественной и болѣе всего способствовала  
превращенію школы въ секту, философовъ въ проповѣдниковъ.

Эти неминуемые послѣдствія философскихъ увлеченій на русской  
почвѣ создавали, въ свою очередь, идейную страстность, приподни-  
мали температуру философской среды и вносили въ развитіе и  
смыслъ системъ менѣе всего организующую стихію.

Если мы примемъ во вниманіе всѣ эти условія, окружавшія  
русскія философскія поколѣнія, если оцѣнимъ сопутствующія обстоя-

<sup>29</sup>) Ср. Гаймъ, *Романтическая школа*, Москва 1891, 555.

тельность даже въ самомъ общемъ, съ перваго взгляда ясномъ, смыслѣ, мы отдадимъ справедливость доброй волѣ и талантливости раннихъ русскихъ учениковъ философіи, мы даже признаемъ: врядъ ли гдѣ возвышенныя представленія Сень-Симона, Фихте, Шеллинга о нравственномъ и общественномъ назначеніи философа осуществлялись въ такой полнотѣ, какъ въ русской литературѣ философскаго періода.

#### XIV.

Въ теченіе всего XVIII-го вѣка понятіе *философіи* въ Россіи имѣло два значенія: или нарочито-темнаго царства педантизма и схоластики или чрезвычайно доступной, но ровно настолько же легковѣсной системы энциклопедистовъ. У той и у другой философіи были свои поклонники и враги.

Схоластика издавна пріютилась въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ и внушала не то оторопь, не то брезгливость. такъ называемому просвѣщенному обществу, т. е. аристократической интеллигенціи.

Вольтеріанство производило опустошенія среди этой самой интеллигенціи и вызывало искреннее презрѣніе и ненависть у знатоковъ «настоящей» философіи, требующей исключительныхъ усилій логики и діалектики.

При такихъ условіяхъ не могло быть и рѣчи о замѣтныхъ литературныхъ вліяніяхъ философской мысли.

Философія, какъ предметъ научнаго изученія, до конца XVIII-го вѣка существовала только въ духовныхъ семинаріяхъ и академіяхъ. Этотъ философскій разсадникъ стоитъ во главѣ всей русской академической и профессорской философіи. Отсюда вышли первые учителя философской молодежи, т. е. будущихъ дѣятелей на поприщѣ критики и публицистики. Здѣсь гораздо раньше университетовъ были переведены и тщательно усвоены тѣ самыя системы германскихъ философовъ, какимы предстояло выполнить руководящую роль въ умственномъ развитіи даровитѣйшихъ писателей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Первоисточникъ русской философской жизни—кіевская духовная академія. На сѣверѣ философія стала прививаться одновременно съ основаніемъ московской славяно-греко-латинской академіи, въ 1682 году. Въ программу входило преподаваніе философіи: разумительной, естественной и нравной, т. е. вся область отвле-

ченнаго и нравственнаго мышленія, вмѣстѣ съ философскимъ толкованіемъ результатовъ опытныхъ наукъ.

Это толкованіе съ самаго начала должно было ограничиться крайне скромными предѣлами, по самому духу просвѣщенія, царствовавшему на духовныхъ каюдрахъ. Но, во всякомъ случаѣ, въ теченіе цѣлаго вѣка академическая и семинарская наука не прерывала связей, по крайней мѣрѣ, вообще съ движеніемъ западной философской мысли. Приспосабливая ее даже къ определеннымъ, отнюдь не всегда философскимъ цѣлямъ, пропитывая ее схоластическимъ формализмомъ, она въ известной степени изоцирала мысль своихъ питомцевъ на вопросахъ высшаго порядка и невольно подготавливала умственную почву для будущихъ, болѣе живыхъ и полныхъ воспріятій.

Эта услуга тѣмъ важнѣе въ культурномъ отношеніи, что философія свѣтской наукой является только съ основаніемъ московскаго университета. Но и это начало совершилось не при добрыхъ предзнаменованіяхъ. Въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій университетская философія напоминаетъ экзотическое растеніе, съ трудомъ приживающееся къ неблагодарной почвѣ и ежеминутно угрожаемое крайне суровыми стихіями. А потомъ, и сама по себѣ она долго не можетъ отдѣлаться отъ вѣкового наслѣдства—отъ педантизма, узости и безжизненности идей. Именно стихіи здѣсь занимали первенствующее мѣсто. Безъ ихъ вмѣнательства русская свѣтская философія, повидному, съ самаго начала приняла бы болѣе свѣтлое и широкое направленіе.

По крайней мѣрѣ, у первыхъ студентовъ и ученыхъ не было недостатка ни въ талантиности, ни въ смѣлости.

Профессоръ московскаго университета, Поповскій, ученикъ Ломоносова представлялъ себѣ самыя отрадные перспективы русской философской мысли. Намъ приходится говорить объ его статьѣ въ *Ежемесячныхъ Извѣстіяхъ*; она дышитъ восторженной вѣрой въ предметъ, какъ разъ менѣе всего внушавшій до вѣрія въ половинѣ XVIII-го вѣка. Поповскій возлагалъ блестящія надежды на философскія способности русскаго языка. Считаая философію матерью всѣхъ наукъ и искусствъ, онъ не видѣлъ никакихъ препятствій его успѣшному расцвѣту въ русскомъ университетѣ и въ русской литературѣ.

Близжайшіе факты шли на встрѣчу этимъ надеждамъ.

Со второй половины XVIII-го вѣка русскіе молодые люди, посылаемые за границу, помимо языковъ, литературы, естествен-



ныхъ наукъ, начинаютъ интересоваться и основнымъ оригинальнѣйшимъ явленіемъ германской цивилизаціи—ея философіей, тѣмъ самымъ нѣмецкимъ идеализмомъ, какой впоследствии будетъ проповѣдовать Сталь своимъ соотечественникамъ.

До какой степени быстро и устойчиво къ русскимъ юнымъ душамъ прививались сѣмена этого идеализма, показываетъ краснорѣчивѣйшая художественная характеристика русской идеалистической психологіи.

«Съ душою прямо геттингенской», — говоритъ Пушкинъ о Ленскомъ, — и весьма точно поясняетъ, что значило обладать геттингенской душою.

Одновременно поклоняться Канту и быть поэтомъ, собирать плоды учености и питать вольнолюбивыя мечты... Въ результатѣ, естественно, «духъ пылкій и довольно странный»...

Сліяніе философіи съ поэзіей, посторженныхъ рѣчей съ искренней страстью къ наукѣ,—такъ рисуется юный русскій философъ первой четверти XIX-го вѣка.

Эти черты, съ изумительной проникательностью отмѣченныя поэтомъ, останутся до конца самыми типичными для русскаго философскаго поколѣнія.

Любопытно обозначеніе типа именно геттингенской душою. Это—опять точное отраженіе исторіи.

Геттингенъ, по преимуществу, снабжалъ русскія учебныя заведенія профессорами. За вторую половину прошлаго вѣка въ его спискахъ безпрестанно встрѣчаются имена, увлечавшія себя въ Россіи плодотворной общественной или ученой дѣятельностью.

Геттингенскій университетъ не воспитывалъ исключительно отвлеченныхъ идеалистовъ и мечтателей. Его культурныя вліянія выходили далеко за предѣлы спеціально-нѣмецкаго прекрасноруднія, вполне соответствовали жизненному направленію просвѣтительной эпохи, даже въ самыхъ отважныхъ своихъ идеалахъ ни на минуту не упускавшей изъ виду земныхъ интересовъ человечества.

Въ Геттингенѣ оказывался богатый запасъ умственной пищи и для романтика Ленскаго, и для Николая Тургенева, автора книги о налогахъ, и для Кайсарова, автора первой попытки поставить вопросъ объ отмѣнѣ крѣпостного права на научную почву, и для Куницына—знаменитѣйшаго юриста своего времени, автора перваго русскаго ученаго и въ то же время политически-значительнаго сочиненія объ естественномъ правѣ.



По этимъ примѣрамъ можно судить о богатствѣ умственныхъ капиталовъ, вывозимаго русскими студентами изъ Геттингена. Оно до такой степени разнообразно и полно практическаго смысла, что за весь періодъ философскихъ увлеченій къ раннимъ задачамъ успѣло прибавиться весьма не многое—новое по существу.

Геттингенскія вліянія не могли не захватить и чисто-художественныхъ вопросовъ. Эстетика, стоявшая во главѣ романтической школы, отличалась громадною научною производительностью, давая независимо отъ эстетической религіи шеллингянства.

Еще со времени Ломоносова трактаты немецкихъ эстетиковъ пользовались большимъ уваженіемъ среди русскихъ ученыхъ. Когда философія распространила свою власть на искусство и союзъ съ романтизмомъ стала подрывать царство классиковъ, основныя теченія немедленно перешли и въ русскую науку.

Изъ біографіи Грибоѣдова извѣстна большая популярность профессора Буле среди московскихъ студентовъ, чувствовавшихъ особую склонность къ «искусствамъ творческимъ, прекраснымъ». Вліянію Буле приписывается раннее и глубокое развитіе у Грибоѣдова вкуса къ драматической литературѣ—жизненной и свободной. Къ сожалѣнію, мы не можемъ съ точностью опредѣлить подробности этого вліянія, во всякомъ случаѣ любопытна историческая связь первой національной русской комедіи съ философскимъ направленіемъ эстетики.

Буле превосходно зналъ русскую исторію и написалъ даже сочиненіе о критической литературѣ по исторіи. Въ области искусства онъ могъ быть вполне достойнымъ соперникомъ иностранныхъ учителей-историковъ, въ родѣ Плещера и Миллера. Существеннымъ недостаткомъ учености Буле до конца его дѣятельности оставалось чтеніе лекцій по-латыни. Идеи профессора могли имѣть только ограниченный кругъ послѣдователей.

Малою доступности преподаванія соответствовала и самая неопредѣленность философскихъ ученій, по крайней мѣрѣ, для русскихъ студентовъ. Въ началѣ девятнадцатаго вѣка, въ разцвѣтѣ системъ Фихте и Шеллинга, съ русскихъ кафедръ звучать имена Лейбница, Вольфа, Канта, Якоби и многочисленныхъ *dii minores* германской философіи.

Всякій заграничный профессоръ непременно привозитъ съ собою одну излюбленную систему, дополняетъ и исправляетъ ее по собственнымъ соображеніямъ, и въ результатѣ получается волюнтаріанство Падена и Винклера, шеллингянство Фесслера, кантианство Финера.

повъ—свободы, т. е. разума и необходимости, т. е. естественнаго развитія.

Природа не подчинена деспотическому закону цѣлесообразности, т. е. въ ея жизнь не вѣлиивается сила, ей посторонняя и чуждая.

Природа живетъ по законамъ, въ ней самой заключеннымъ, ея развитіе необходимо, но результаты его оказываются въ то же время разумны, цѣлесообразны. Организмы, несомнѣнно, являются воплощеніемъ принципа цѣлесообразности, т. е. разумной свободы.

Органическая жизнь—ступень, гдѣ безсознательное творчество природы переходитъ въ сознательный, цѣлесообразный результатъ.

Итакъ, сліяніе необходимости и свободы, природы и разума, единственно полное представленіе о міровомъ процессѣ.

Въ этой идее только два выбора: или матерію отождествить съ разумомъ, или устранить представленіе объ органическомъ развитіи, матерію безусловно подчинить внѣшней силѣ и весь жизненный процессъ такимъ путемъ превратить въ искусственный.

Ни то, ни другое объясненіе, по мнѣнію Шеллинга, не удовлетворяетъ ни логикѣ, ни научнымъ фактамъ.

Логически, слѣдовательно, единство опредѣлено, абсолютный принципъ установленъ. Это ни всепоглощающее и всетворящее я Фихте, ни всенаполняющее себя довлеющее инертное вещество материалистовъ, это необходимо разумное, естественно-цѣлесообразное.

Остается существеннѣйшая задача: какъ человѣческій умъ можетъ этотъ логическій результатъ сдѣлать достояніемъ своего сознанія, т. е. воспринять его не какъ внѣшній выводъ, а какъ моментъ своего бытія?

Гёте, воспѣвая природу, считалъ сущность ея недостижимой для разсудка.

«Человѣкъ долженъ обладать способностью возвыситься до *высочайшаго разума*, дабы прикоснуться къ божеству, которое открывается въ первичныхъ явленіяхъ, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ; оно скрывается за ними и они переходятъ отъ него».

И мы знаемъ, этотъ *высочайшій разумъ* даже для трезваго положительнаго ума Гёте часто значилъ нѣчто для здраваго смысла мало доступное или даже совсѣмъ невразумительное.

Напримѣръ, автору Фауста очень часто приходилось *фантазировать* на недостижимую высоту сравнительно съ умомъ.

«Если бы при помощи фантазій—говоритъ Гёте—не создали...

лись вещи, которыя останутся на вѣки загадкой для ума, то фантазія немого бы стоила».

II поэтъ на личномъ примѣрѣ оправдывалъ этотъ взглядъ, допускалъ въ свои произведенія образы и идеи, ему самому, повидимому, неясныя, во всякомъ случаѣ, не поддававшіяся точному толкованію.

Разъ у него спросили: что онъ разумѣлъ въ сценѣ, гдѣ Фаустъ идетъ къ матери.

Въ отвѣтъ, рассказываетъ рассказчикъ, «Гёте, по своему обычаю, закутался въ таинственность и, глядя на меня большими глазами, повторялъ: «матери! матери! какъ это странно звучитъ!»<sup>25)</sup>.

Вопросъ о матеряхъ какъ разъ касался конечнаго вопроса философіи, познанія принципа, управляющаго міромъ.

Шеллингъ этотъ принципъ свелъ къ абсолютному тождеству міра нравственнаго и міра природы. Но самый терминъ ничего не объясняетъ и ничего не доказываетъ. Звучалъ онъ не менѣе «странно», чѣмъ гётевскія матери. Но вопросъ: ясны ли и было ли у Шеллинга болѣе удовлетворительное средство раскрыть тайну, чѣмъ «большіе глаза» и загадочныя восклицанія?

Средства логическаго и научнаго, т. е. доказательнаго, не могло быть, въ силу ограниченныхъ способностей человѣческаго ума. Онъ можетъ только постигать отдѣльныя явленія и частные законы природы и духа, но охватить единое міровое начало, въ предѣлахъ человѣческаго вѣдѣнія.

Оставался другой путь, но существу тотъ самый, какой Гёте превозносилъ въ ущербъ разсудку,—путь воображенія, фантазіи, поэтическаго вдохновенія, художественнаго творчества, т. е. созерцаніе вмѣсто разсужденія, искусство вмѣсто философіи.

### XIII.

Мы видимъ, какъ мало Шеллингу потребовалось самостоятельныхъ усилій мысли и въ основныхъ положеніяхъ его системы, и въ окончательномъ выводѣ.

За права природы, въ философіи и поэзіи, поднимались первостепенные современные умы и таланты. Если Гёте только ограничился замысломъ, написать эпосъ или драму природы, французскій академикъ Ломерсье выполнилъ тему. Онъ сочинилъ поэму

<sup>25)</sup> O. cit. II, 6. 219.

Въ шеллингѣанствѣ съ одинаковымъ правомъ могутъ видѣть своего предшественника два особенно яркихъ и непримиримо противоположныхъ дѣтища нашего вѣка: дарвиновская теорія и мистицизмъ всякаго рода, начиная съ художественныхъ пионическихъ символовъ и кончая религіозно-философскими культами.

Естественно, эта двойственность должна была отразитися и на русскихъ ученикахъ Шеллинга. И можно даже заранее распределить отраженія между различными философскими лагерями.

Ученые-спеціалисты, при слабо развитой русской общественности въ началѣ столѣтія, при почти полномъ отчужденіи отъ «свѣта», весьма долго единственнымъ представителемъ интеллигенціи, непреодолимо погружались въ бездну отрѣшенной учености и выпрежняго идеализма. Русскій философъ-профессоръ съ гораздо большимъ успѣхомъ, чѣмъ его германскій собратъ, могъ въ теченіе всей жизни изображать великана въ своемъ кабинетѣ и растеряннаго ребенка на улицѣ, просто на людяхъ.

А если обстоятельства и заставляли его непременно обнаружить дѣятельность въ непривычной средѣ, онъ немедленно изображалъ зрѣлище человека, долго пребывавшаго въ неподвижномъ состояніи, и теперь безтолково размахивающаго руками, удивляющаго прохожихъ своею походкою, звукомъ и тономъ голоса.

Мы отнюдь не увлекаемся сравненіями. Именно такое впечатлѣніе производятъ на насъ профессорскіе походы въ область журналистики и критики. Ученые публицисты безпрестанно будутъ попадать въ трагико-комическое положеніе людей, никакъ не умѣющихъ взять требуемой ноты въ общемъ хорѣ и пускающихъ свою рѣчь то слишкомъ высоко, то нестерпимо низко, то застающихъ въ область головоломнаго технического жаргона, то обнаруживающихъ въ полномъ смыслѣ дурной, не литературный тонъ.

Очевидно, здѣсь неизбѣжно находило особенно сочувственный отголосокъ все, что было въ шеллингѣанствѣ романтическаго, метафизическаго, нарочито-хитроумнаго и запутаннаго.

Рядомъ съ профессорами у того же источника стояла еще болѣе жаждущая молодежь.

Въ первое время почти вся она принадлежала къ обществу, т. е. къ аристократіи, искони просвѣщавшейся у европейскихъ учителей.

Здѣсь существовала старая культурная почва, мы знаемъ, не глубокая и далеко не всегда лестная для русскаго умственного *жизнѣнія*, но во всякомъ случаѣ стихійно враждебная педагогизму

По условіямъ русскаго просвѣщенія и это чисто отрицательное достоинство большой выигрышъ для здраваго смысла и реализма литературы въ ущербъ схоластики и чистымъ отвлеченіямъ. Съ подобнымъ фактомъ мы уже встрѣчались въ эпоху борьбы школьнаго классицизма съ болѣе живой литературной школой.

Какая участь ожидала шеллингянство въ Россіи, если бы оно превратилось въ исключительное достояніе академической учености, обнаружилось съ самаго начала, на произведеніяхъ первыхъ шеллингянцевъ.

Система Шеллинга, какъ и всѣ другія, появилась прежде въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, а отсюда перешла въ свѣтскія. Надеждинъ, впоследствии профессоръ московскаго университета, обучавшійся въ московской академіи, нашелъ среди студентовъ множество рукописныхъ переводовъ немецкихъ философскихъ сочиненій и, между прочимъ, *Философію религіи* Шеллинга. Это было въ 1810 году. Не отставала по части философіи отъ московской академіи и кievская. Именно ея воспитанникъ Велланскій — историческій родоначальникъ русскаго шеллингянства.

Онъ самъ приписывалъ себѣ эту честь и указывалъ точную хронологію своей первой философской проповѣди.

«Въ 1804 году я первый возвѣстилъ россійской публикѣ, — писалъ Велланскій, — о новыхъ познаніяхъ естественнаго міра, основанныхъ на философическомъ понятіи, которое хотя значилось у Платона, но образовалось и созрѣло въ Шеллингѣ».

Эта фраза довольно точно характеризуетъ философское направленіе самого Велланскаго.

Въ натурѣ и судьбѣ русскаго шеллингянца успѣли развиваться самыя разнообразныя стихіи, какъ нельзя болѣе подѣлить романтической и мистической сторонѣ ученія Шеллинга.

Сынъ мѣщанина, студентъ духовной академіи, онъ въ ранней молодости мечтаетъ то о монашескихъ подвигахъ, то о гвардейской солдатской карьерѣ, наконецъ, ѣдетъ за границу на казенный счетъ, изучаетъ естественныя науки и медицину и является профессоромъ медико-хирургической академіи <sup>29)</sup>.

Последнее обстоятельство, казалось бы, должно было направить философа на путь положительной мысли. Въ дѣйствительности

<sup>29)</sup> О Велланскомъ — *Русск. В.*, 1867, 11. *Р. Архивъ*, 1864, 804. Статьи М. Филиппова, *Р. Бюл.*, 1894, 3. Колупаповъ. *О. cit.* I. 443. Никитенко. *Журналъ Мин. Нар. Просв.* 1869, янв., стр. 18. П. Мплюковъ. *Главныя теченія русской историч. мысли*. М. 1897, 241.

Велланскій увлекся исключительно *творчествомъ*, поэзіей шеллингианства, довелъ до послѣднихъ предѣловъ усилія германскаго философа истолковать міръ при помощи отвлеченныхъ началъ ума.

Устами русскаго философа говорила страсть настоящаго прозелита и въ результатѣ создалась фантастичнѣйшая система «осо-софическаго понятія» явленій природы и духа.

Его главныя работы—*Пролюзія къ медицинѣ и Біологическое изслѣдованіе природы въ творящемъ и творимомъ*—представляютъ цѣль самыхъ неожиданныхъ аналогій, сопоставленій и отождествленій, догматически внушающихъ читателю «познаніе естественнаго міра». Вся игра мысли основана на операціяхъ съ субъектомъ и объектомъ. Шеллингианскій принципъ абсолютнаго тождества даетъ автору право слѣзть міръ физическій и духовный въ самые прихотливые узоры, а открытіе животнаго магнетизма влечетъ къ особымъ теоріямъ и аксіомамъ, объясняющимъ по философіи Велланскаго важнѣйшія явленія органической жизни.

Трудно представить, какое *понятіе* о мірѣ можно заимствовать изъ подобныхъ упражненій?

Но привлекательность разсужденій Велланскаго для русскихъ читателей, искавшихъ философской пицци, заключалась какъ разъ въ недостаткахъ и странностяхъ его сочиненій.

Отъ нихъ вѣетъ глубокой искренностью и истинно-благороднымъ полетомъ мысли, столь свойственнымъ всякому идейному убѣжденію. Очевидно, для автора его фантастическіе полеты въ область таинственнаго—не праздная забава эпикурейски-настроеннаго ума, столь свойственнаго всякаго рода мистикамъ, а результатъ упорныхъ думъ и напряженныхъ поисковъ истины.

Когда Сенковскій поднялъ на смѣхъ теософію Велланскаго, ученый опубликовалъ въ газетахъ вызовъ, кому желательно опровергнуть его хотя бы одну теорію съ помощью науки. Въ случаѣ успѣха оппонента, Велланскій обязывался уплатить 5.000 рублей ассигнаціями.

Вызовъ остался безъ отвѣта, но, несомнѣнно, прибавилъ лишнюю черту къ исторіи всякихъ благородныхъ донкихотствъ.

Велланскій не могъ имѣть послѣдователей въ полномъ смыслѣ слова, т. е. исповѣдниковъ его натурфилософскихъ идей. Для этого требовался исключительный складъ ума и воображенія. Но шеллингианство въ общемъ могло только выиграть даже отъ такой пропаганды.

Восторженный прозелитъ открывалъ безграничныя перспективы

выспнихъ тайнъ. Менѣе всего эта дѣль могла удовлетворить строгій логическій разумъ, но она несомнѣнно должна была чарующе дѣйствовать на всякій смѣлый юный умъ и, если не давала немедленно безупречныхъ отвѣтовъ на его запросы, то могла сулить въ будущемъ великія завоеванія науки и философіи.

Мы вскорѣ познакоимся съ настроеніемъ русской молодежи въ началѣ вѣка и увидимъ, для этихъ настроеній не такъ была важна идеальная разсудочная ясность и безусловно доказательная научность, сколько мощное идейное возбужденіе.

Напротивъ. Чѣмъ больше было романтической таинственности въ идеяхъ, тѣмъ потише, обятезше являлась вся система. Именно романтизмъ и загадочность совершенно не входили въ недавно господствовавшую французскую философію и теперь уже въ силу контраста производили впечатлѣніе новаго и высшаго міросозерцанія.

Мы услышимъ отъ самихъ русскихъ философовъ какъ разъ такія признанія и естественно, теософія Велланскаго, въ настоящее время окончательно погребенная въ пыли вѣкомъ, еще въ тридцатые годы находила усердныхъ читателей. Они въ потѣ лица распутывали затѣйливыя умозрѣнія философа, даже въ дуплѣ не осмѣливаясь протестовать противъ затѣйливости и требовать больше ясности и доказательности для умозрѣній.

Намъ ясно положеніе Велланскаго въ русскомъ шеллингизмѣ. Его проповѣдь—отнюдь не популяризація системы и еще менѣе ея общедоступное практическое истолкованіе. Это скорѣе нечленораздѣльный ободряющій крикъ энтузіаста, увлекающаго насъ въ невѣдомую страну и съ пророческимъ ясновидѣніемъ и паосомъ набрасывающаго предъ нами широкую, хотя и смутную картину ея еще неизслѣдованныхъ сокровищъ.

Сохранились извѣстія о Велланскомъ, какъ о лекторѣ. Онъ, какъ и слѣдовало быть пророку, являлся скорѣе импровизаторомъ и лирикомъ, чѣмъ ученымъ и чтецомъ. Его рѣчь вызывала у слушателей глубокое вниманіе, и, вѣроятно, не всѣ послѣ лекціи могли отдать ясный отчетъ въ ея содержаніи и смыслѣ, но за то врядъ ли кто оставлялъ аудиторію безъ нѣкаго духовнаго просвѣтленія и даже умиленныхъ чувствъ. Все это—обычная законная награда благороднымъ стремленіямъ и твердой вѣрѣ въ истину и человека, столь рѣдкой даже при самомъ свѣтломъ умѣ и самой строгой учености и столь могущественно одушевлявшей русскаго шеллингянца.



Эти свойства, для величайшихъ учителей философіи въ началѣ нашего столѣтія, были гораздо важнѣе и выше, чѣмъ чисто-ученая талантливость. Велланскій воплощалъ типъ именно того артиста, поэта, вообще человѣка съ *симпатическими и творческими способностями*, какой Сентъ-Симонъ ставилъ на вершинѣ своего соціального зданія и какому Шеллингъ приписывалъ высшее вѣдѣніе.

И къ великой славі русскаго философа, это творчество соединялось съ неотъемлемой добродѣтелью всякаго идейнаго учителя, съ рыцарственнымъ личнымъ благородствомъ. Предъ нами не профессиональное занятіе предметомъ, не служба по какому-либо извѣстной науки, а нравственное удовлетвореніе личности, служенію дѣлу во имя неразрывной связи своего я съ судьбой этого дѣла.

Какъ было необходимо именно для русскаго ученаго такое отношеніе къ наукѣ! Произмѣримо плодотвореніе и доблестнѣе, чѣмъ самая объективная и трезвая ученость, дѣйствовало на русскую молодежь это мистическое одушевленіе жадно искомой, отъ вѣка скрытой тайной. И всѣ эти — *объекты, субъекты, хелизмы, миметизмы* въ устахъ учителя звучали подчасъ истиннымъ откровеніемъ, и мы до конца русской философской эпохи будемъ встрѣчать все тотъ же энтузіазмъ къ философскимъ, на нашъ взглядъ, варварскимъ и, пожалуй, безплоднымъ хитростямъ и тонкостямъ.

Была, конечно, и здѣсь своя отрицательная сторона и, мы увидимъ дальше, очень существенная. Увлеченіе философскими откровеніями грозило *философію* замѣнить просто *философствованіемъ*, т. е. діалектикой, а потомъ просто софистикой, словесной и книжной риторикой. Исканіе высшей истины легко могло превратиться въ азартную страсть къ словопреніямъ и призрачно-глубокомысленнымъ ратоборствамъ.

Новая философія ничѣмъ не была обезопасена отъ схоластическаго недуга, если только безусловно не сгнѣнила стать твердо на почву дѣйствительности и тѣнила себя безконечными полетами въ заоблачное царство чистыхъ идей.

Красота и отвага полетовъ на первыхъ порахъ могли имѣть великое нравственное воспитательное значеніе въ средѣ, до сихъ поръ чуждой вышнимъ запросамъ разума и не знавшей серьезныхъ умственныхъ усилій. Но на этой границѣ не могла остановиться философская мысль, если только она рассчитывала выполнить *жизненное назначеніе*.



Мы увидимъ, задача оказалась и должна была оказаться въ высшей степени трудной. Чистая теорія и ученая книга обнаружилъ и въ русскую философскую эпоху свою исконную односторонность, враждебность къ будничной заурядной дѣйствительности, пренебреженіе къ ней во имя своихъ отрѣшенныхъ недостигаемо высшихъ интересовъ.

Въ результатѣ, вся исторія русскаго философскаго движенія сводится къ постепенному *опрощенію* философской мысли, если такъ можно выразиться, къ сближенію ученыхъ съ публикой, науки съ критикой, литературы съ русской жизнью, пока, наконецъ, философская идея, литературная критика и поэзія не придутъ къ общей всеобъединяющей цѣли: къ полному соответствію критической мысли и художественнаго творчества русской дѣйствительности въ прямомъ и всестороннемъ смыслѣ.

Эта цѣль лежитъ пока въ отдаленномъ будущемъ для первыхъ русскихъ философовъ, и предъ нами долженъ пройти еще рядъ идеалистовъ-мечтателей или просто книжниковъ и жрецовъ новой философской церкви.

Младшій современникъ Велланскаго—Галичъ, второй учитель русскаго шеллингянства. Онъ всего нѣсколькими годами моложе Велланскаго, но представляетъ, несомнѣнно, высшую стадію философскаго развитія.

Почва та же—шеллингянство, но изъ нея извлекаются болѣе сочныя сѣмена, а главное, болѣе приспособленныя къ русской нивѣ.

## XVI.

Галичъ—духовнаго происхожденія, учился сначала въ орловской семинаріи, потомъ въ петербургской учительской гимназіи, впоследствии педагогическомъ институтѣ<sup>30)</sup>.

Здѣсь преподавалась философія нисколько не лучше и не свободнѣе, чѣмъ въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ, и во время студенчества Галича, т. е. съ 1803 года, господствовалъ еще Вольтъ и преподаваніе носило характеръ ученическаго вызубриванія разныхъ догматическихъ, официально одобренныхъ положеній.

Но 1808 году правительство задумало учредить университетъ и въ Петербургѣ. Пришлось отправить за границу молодыхъ лю-

<sup>30)</sup> Подробная біографія Галича—вышеуказанная статья Никитенко.

дей для подготовленія къ профессурѣ, и въ числѣ ихъ Галича, по кафедрѣ философіи.

Ему дана была особая инструкція, въ высшей степени любопытная не столько для характеристики официальныхъ воззрѣній на предметъ, сколько по общимъ отзывамъ о современной заграничной философіи.

Инструкція указывала на перемены, постигшія философію «въ послѣднемъ вѣкѣ», и предупреждала насчетъ опасности попасть изучающему новую философію на ложный путь: «быть рассказчикомъ пустыхъ умствованій или безсмысленнымъ распространителемъ мистическихъ заблужденій».

Философу рекомендовалось положительное философское развитіе: онъ «долженъ обозрѣвать и научиться природѣ, не приступая еще къ сужденію о ея законахъ; онъ долженъ изыскивать человека, какъ разумное существо, какъ жителя земного, прежде чѣмъ начнетъ писать о свойствахъ людей».

Особенно замѣчательно мнѣніе инструкціи о методѣ философской мысли: онъ долженъ быть методомъ математическихъ наукъ, т. е. такимъ же точнымъ и научнымъ. А для этой цѣли будущему философу предварительно необходимо «знать естественную исторію, физику, медицинскую антропологію, всемірную исторію, энциклопедію наукъ и всеобщую грамматику».

Послѣдняя наука должна научить философа языку—«величайшему пособію для мысли», иначе его разсужденія могутъ оказаться «только скопищемъ безсмысленныхъ словъ».

Въ порядкѣ философскихъ наукъ психологія ставилась инструкціей на первомъ мѣстѣ, и метафизика увѣличивала философскую ученость.

Метафизика именно и представляетъ особенно много опасностей обиліемъ сектъ и ученій. Требуется тщательная подготовка и строгіи критическій выборъ, чтобы не наброситься на первую попавшуюся систему.

Трудно было внимательнѣе и разумнѣе отнестись къ предмету. Инструкція стремилась дѣйствительно къ научной и логической философіи, свободной отъ мистицизма и софистики.

Умъ и талантъ Галича находились на высотѣ предписаній. Онъ усердно воспользовался заграничнымъ путешествіемъ, ознакомился въ разныхъ университетахъ съ разными школами и остановился на шеллингианствѣ, но отнюдь не загнинотизированный системой и не отдаваясь «истинамъ» съ младенческимъ простодушіемъ Велавскаго.

Шеллингянство привлекло Галича совершенно другимъ содержаніемъ, чѣмъ его предшественника. Галичъ нашелъ въ системѣ всестороннее приженіе различныхъ способностей человека—разума и воображенія, разсудка и чувства. Для него это было здоровой основой философіи, ея жизненнымъ содержаніемъ.

Естественно, теософія Шеллинга, его мистицизмъ не могли овладѣть сочувствіемъ Галича, и онъ не только не поусердствовалъ, подобно Велланскому, въ этомъ направленіи, но старался даже обличить самого Шеллинга отъ укоризнъ критиковъ въ «мистицизмъ и пнтическую мечтательности» <sup>31)</sup>.

Оправданіе нельзя назвать удачнымъ и даже исторически-вѣрнымъ.

Галичъ издалъ свою *Исторію философскихъ системъ* въ 1818 году. Девятью годами раньше Шеллингъ напечаталъ *Философскія розысканія о сущности человѣческой свободы и о предметахъ, связанныхъ съ нею*. Разсужденіе имѣло въ виду доказать возможность логическаго разумѣнія высшихъ чисто-религіозныхъ понятій, излагалась система, тождественная съ извѣстнымъ намъ ученіемъ Сентъ-Мартэна и сближавшая шеллингянство съ древне-христіанскимъ мистицизмомъ. Съ этихъ поръ Шеллингъ не переставалъ идти путемъ аллегорій и вдохновеній и отнюдь нельзя было сказать, будто онъ только «возстановилъ уничиженную и изъ области философіи вытѣсненную фантазію въ прежнихъ ея правахъ».

Галичъ рѣшается упрекнуть Шеллинга въ одномъ сравнительно незначительномъ недостаткѣ: въ «произвольномъ словоозначеніи», т. е. въ смутѣ и неопредѣленности философскихъ терминовъ. Смута шла гораздо далѣе формы и стиля.

Но для насъ важно, что русскій философъ съ самого начала не обнаружилъ склонности къ мечтательности и фантастичности. Онъ только желалъ живой философіи, «свѣтской и житейской, приводящей истинный опытъ въ связь съ разумнымъ вѣдѣніемъ», философіи не «для однихъ кабинетовъ».

Шеллингянство, пользуясь одинаково естествознаніемъ и воображеніемъ, удовлетворяло этому желанію.

Перетерпѣвъ въ личной жизни не мало довольно романтическихъ и юношески-легкомысленныхъ приключеній, Галичъ привезъ изъ-за границы трезвое и свободное міросозерцаніе. Въ диссертациі—первомъ философскомъ трудѣ—онъ обнаружилъ блестящій

<sup>31)</sup> Галичъ. *О. с.*, часть II, стр. 296.

литературный талантъ и въ высшей степени замѣчательный взглядъ на свой предметъ.

Диссертация написана въ необычайной формѣ; она—письмо къ молодому искателю мудрости. Авторъ, между прочимъ, высказывалъ такое соображеніе:

«Здравая натура твоя есть уже рѣдкій даръ мыслить и чувствовать человѣчески; содержать всѣ силы въ естественной ихъ цѣлости и не увлекаться, не попускать себя увлекать другимъ, укрѣплять порывы воображенія разсудкомъ, быть яснымъ въ душѣ и языкѣ, имѣть наипаче практическую цѣль человечества передъ глазами».

Дальше еще любопытнѣе шеллингянскія признанія Галича рядомъ съ оговорками въ пользу свободнаго философскаго изслѣдованія, не подчиненнаго одной системѣ. Авторъ даже такую систему считаетъ—суею надеждою энтузіастовъ. «Разногласіе въ воззрѣніяхъ»—неизбѣжный историческій фактъ человѣческаго развитія.

Уже эти данныя показываютъ, сколько у Галича было свободныхъ и живыхъ стихій, какъ далеко—по натурѣ—стоялъ онъ отъ буквоѣдовъ и кабинетныхъ метафизиковъ.

Оригинальность и жизнь прорывались у Галича будто невольно, въ его профессорской дѣятельности, въ его сочиненіяхъ, въ его личной жизни.

Уже по поводу диссертации одинъ изъ критиковъ—Велланскій—заявилъ, что «способъ представленія» не соответствуетъ «достоинству» предмета. Философъ находилъ стиль диссертации даже соблазнительнымъ для насмѣшниковъ надъ философіей.

Замѣчаніе не принесло плодовъ.

Гораздо позже, въ 1834 году, Галичъ издалъ одно изъ важнѣйшихъ своихъ сочиненій—*Картину человека*, еще болѣе серьезнаго содержанія, чѣмъ диссертация, и еще болѣе исполненное соблазновъ.

Книга имѣла въ виду изученіе духовной и физической природы человека, его умственной и художественной дѣятельности, его добродѣтелей и пороковъ, и авторъ нашелъ на своемъ пути достаточно поводовъ впасть въ тонъ поэта и даже публициста съ недюжиннымъ сатирическимъ талантомъ и съ очень настоячивыми поучительными цѣлями.

«Чувственная связь представленій» вдохновляетъ философа на образную рѣчь о мечтахъ и обстоятельствахъ, имъ благопріят-

ныхъ. Статья о свободѣ заключаетъ сильную защиту свободы мысли. «Какъ бы высоки ни были мнѣнія, догадки, идеи мудреца, онѣ должны выдержать повѣрку общаго ума человѣческаго. Только бореніе мыслей обнаруживаетъ обоюдные ихъ недостатки, только симъ путемъ мы вообще и доходимъ до опредѣлительныхъ истинъ: ибо гдѣ воплощенный разумъ безусловный?»

Не мало также искусства вмѣсто философіи—въ изображеніи любви и страсти и необыкновенно яркая характеристика пороковъ, личныхъ и общественныхъ.

Иная страница изъ книги Галича и теперь сдѣлала бы честь серьезному журналу и сообщила бы кое-какія новыя истины, хотя бы, напримѣръ, ученымъ и всякаго рода фанатикамъ *своего прихода*.

Напримѣръ, къ отдѣлу гордости Галичъ относитъ *чиновную снесь*, т. е. педантизмъ. Она «не только исключительно занимается вещами менѣе существенными, наприм., собраніемъ монетъ, китайскихъ куколъ, фоліантовъ и проч., но и навязываетъ свой односторонній вкусъ всѣмъ и каждому, не сносясь съ общимъ чувствомъ образованнаго человечества... Педантизмъ возможенъ не въ одномъ бытіи ученыхъ или, по выраженію Свифта, *ословъ, навьюченныхъ книгами*; мы встрѣчаемъ его даже въ формѣ довольно чинной и щеголеватой. Общій его признакъ — слабость, особливо разсудка; она-то изъясняетъ погрѣшности на счетъ того, что важно и неважно; люди скудоумные будутъ смѣшивать малое съ великимъ и прилѣплятся къ первому всѣми силами; люди слабаго сердца будутъ чувствительны только къ бездѣлкамъ»... <sup>32)</sup>).

Эти разсужденія не лишены эффекта въ устахъ ученаго философа.

И Галичъ оставался вѣренъ себѣ и въ личныхъ отношеніяхъ. Всѣмъ извѣстны посланія Пушкина, студента царскосельскаго лицея. Галичъ читалъ здѣсь лекціи по латинскому языку, преподавая одновременно философскія науки въ педагогическомъ институтѣ, потомъ въ университетѣ.

Латинскій языкъ находился въ полномъ загонѣ. Галичъ велъ бесѣды съ учениками о чемъ угодно, только не о грамматикѣ и стилистикѣ. Пушкинъ много разъ воспѣлъ любимаго профессора, называя его самыми поэтическими и нѣжными именами, въ родѣ слѣдующихъ:

/ Апостоль нѣги и прохлада,  
Мой добрый Галичъ!..

<sup>32)</sup> *Картины человека*. Спб. 1834, стр. 183, 271, 290, 298.

Галичъ также «другъ мудрости прямой, правдивъ и благороденъ», но, кромѣ мудрости, еще «вѣрный другъ бокала»...

Очевидно, философъ могъ вполне отъ чистаго сердца громить педантизмъ и прямо изъ житейскихъ наблюденій почерпать остроумныя и часто вѣдкія изображенія человѣческихъ пороковъ и слабостей.

Выѣстъ съ Велланскимъ онъ.—представитель ранняго *истер-бургскаго* педантизма. Оно неразрывно связано съ философскими школами въ духовныхъ учебныхъ академіяхъ. Это одинъ источникъ, другой—заграничныя командировки.

Правительство, въ лицѣ Екатерины II и Александра I, заботилось о достойномъ замѣщеніи русскихъ кафедръ и нѣсколько разъ посылало отборныхъ студентовъ въ иностранные университеты.

Мы видѣли, эти посылки утѣчивались весьма значительными результатами въ области науки и общественныхъ вопросовъ. И несомнѣнно, успѣхи съ теченіемъ времени могли только умножаться: это видно на примѣрахъ Галича и Велланскаго.

Почти сверстники по лѣтамъ, они по научному направленію стоятъ далеко другъ отъ друга. Сравнительно съ Велланскимъ, Галича можно назвать настоящимъ положительнымъ ученымъ и общественнымъ просвѣтителемъ. По крайней мѣрѣ, его сочиненія обличаютъ высокопросвѣщенный критическій умъ и благородный независимый характеръ.

Оставалось только развиться этимъ богатымъ силамъ и стремленіямъ и «практическая цѣль человечества», столь озабочивавшая молодого профессора, безъ всякаго сомнѣнія, много выиграла бы отъ его учености и таланта.

Въ дѣйствительности, ни Велланскій, ни Галичъ, по своимъ непосредственнымъ личнымъ вліяніямъ, не вышли изъ своихъ кабинетовъ и аудиторій. Мало этого, даже въ этихъ тѣсныхъ предѣлахъ оба философа не нашли самой необходимой свободы для своего философскаго слова.

## XVII.

Надъ русской философіей гроза собралась издалика, изъ тѣхъ краевъ, откуда явилась въ Россію и сама философія. Собственно, свободой философія въ Россіи не пользовалась и раньше грозы. Еще въ 1813 году, по поводу диссертациі Галича, совѣтъ педагогическаго института вмѣнилъ новому преподавателю въ обязан-

ность—не вводить своей системы, а держаться учебниковъ, одобренныхъ начальствомъ.

Но отъ этого ограниченія было еще далеко до окончательнаго разгрома философіи.

Разгромъ не вызывался никакими отечественными, русскими фактами. Только развѣ Скалозубы и полоумныя московскія кумушки могли кричать о безбожіи петербургскихъ профессоровъ и требовать повального сожженія книгъ.

Реакція явилась европейскимъ отголоскомъ и притомъ болѣе громкимъ и глубокимъ, чѣмъ самый его источникъ.

Мы видѣли, какую роль играла философія Фихте въ національномъ германскомъ движеніи, т. е. университетъ и его питомцы. Молодежь первая восприняла проповѣди профессора-трибуна, но могла забыть ихъ немедленно, лишь только окончилась борьба съ Бонапартомъ. Напротивъ. Германскія правительства, руководимыя священнымъ союзомъ, сдѣлали все, чтобы національному освободительному движенію сообщить демократическое революціонное направление.

Государи въ разгарѣ борьбы издавали конституціонныхъ обѣщаній своимъ народамъ, но когда буря пронеслась, обѣщанія были выполнены немногими государствами, именно: Баденомъ, Баваріей, Саксень-Веймаромъ и Вюртембергомъ. Пруссія отложила вопросъ на неопредѣленный срокъ.

Очевидно, фихтианское движеніе не утратило своей почвы. Университеты по прежнему остаются его очагомъ, особенно іенскій. Онъ организуетъ студенческіе союзы, выпускаетъ циркуляры къ другимъ университетамъ, устраниваетъ патріотическія и либеральныя празднества, жжетъ сочиненія и портреты реакціонеровъ и, наконецъ, одинъ изъ іенскихъ студентовъ убиваетъ нѣкоего Коцебу, нѣмца по происхожденію, русскаго по службѣ, автора ядовитыхъ статей противъ политическихъ агитаторовъ.

Вотъ и вся сущность событій, возмѣвшихъ громадное дѣйствіе далеко за предѣлами Германіи.

Русскіе ученые и особенно русская молодежь не имѣли рѣшительно никакого отношенія къ заграничному университетскому движенію. Даже больше. Галичъ, напримѣръ, путешествовалъ по Германіи въ 1811 году, какъ разъ въ самый разцвѣтъ дѣятельности Фихте, и мы не знаемъ ни малѣйшихъ отзвуковъ этого движенія изъ біографіи русскаго студента.

Но дипломатическій вождь европейскаго политическаго міра.



Меттернихъ, усвоившій нехитрую систему запугиванья и блага террора, призналъ нѣмецкія событія достойными особаго конгресса европейскихъ государей. Программа была старая, бонапартовская, произвести рѣшительное давленіе на мысль и слово, и начать, конечно, съ университетовъ: они сами себя выдвинули на первый планъ.

Все было сдѣлано въ Карлсбадѣ, въ теченіе трехъ недѣль: такъ хвалился Меттернихъ. Жизнь, конечно, необыкновенно быстро все это раздѣлала, но пока тонъ былъ заданъ по всѣмъ направленіямъ; должна наступить эпоха экзекуцій, и прежде всего въ Саксенъ-Веймарѣ съ его іенскимъ университетомъ.

Какое касательство могли имѣть ко всему этому русскіе университеты?

Но нашему отечеству не въ первый и не въ послѣдній разъ было попадать въ чужія теченія по закону инерціи и, какъ водится, въ стремительности опережать даже своихъ руководителей.

Въ Петербургѣ нашелся собственный Меттернихъ въ лицѣ Магницкаго. Сопоставленіе можетъ произвести комическое впечатлѣніе, а между тѣмъ нѣкоторое сравненіе австрійскаго канцлера съ русскимъ чиновникомъ весьма поучительно и вполне естественно. Черты въ сущности психологически совершенно типичныя и общія весьма многимъ усерднѣйшимъ поборникамъ движенія вспять.

Прирожденное и воспитанное легкомысліе въ вопросахъ нравственности, полнѣйшее личное равнодушіе къ религіи и вѣрѣ, презрѣніе ко всякаго рода человѣческой независимости и оригинальности и, слѣдовательно, къ серьезной мысли и благородному искреннему чувству, внѣшнее джентльмэнство и корректность и непреодолимый цинизмъ въ глубинѣ души, эпикурейство рядомъ съ единственнымъ жизненнымъ мотивомъ—эгоизмомъ и во имя его неограниченной безпринципностью: таковъ былъ европейскій стражъ священныхъ традицій Меттернихъ. Еще въ болѣе грубой формѣ тотъ же типъ представлялъ и Магницкій, циническій атеистъ въ тѣсномъ кружкѣ пріятелей и рьяный защитникъ Бога и церкви предъ начальствомъ. Оруженосца онъ нашелъ въ лицѣ Рунича, попечителя петербургскаго университета, а послушное орудіе въ лицѣ министра князя Голицына — человѣка искренне религіознаго, но непроницательнаго и безвольнаго. Именно онъ представлялъ благодарнѣйшую жертву для застраиванія и чисто террористическаго гипноза.

Въ результатѣ, русскіе университеты оказались подъ мечемъ.



палача. Казнь началась съ казанскаго. Цѣлымъ рядомъ инструкцій университетъ былъ превращенъ въ застѣнокъ, на мѣсто «ажениннаго» разума водворилась священная инквизиція по нравственной и религіозной системѣ Магницкаго. Философіи, конечно, не было здѣсь мѣста, и профессора увольнялись за малѣйшее подозрѣніе въ соприкосновеніи даже съ кантіанствомъ, до сихъ поръ официально допускавшимся въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Разгромъ казанскаго университета только первый подвигъ Магницкаго.

Богатѣйшую поживу Магницкій усмотрѣлъ въ петербургскомъ университетѣ. Ему не стоило большихъ трудовъ овладѣть ничтожными, суетливыми карьеристомъ Руничемъ, опутать сѣтями благонамѣренности и благочестія князя Голицына, и въ результатѣ въ ноябрѣ 1821 года произошла приспомянутая исторія.

Въ стѣнахъ университета Руничъ учинилъ допросъ четырехъ профессоровъ, вѣрнѣе, даже не допросъ, а безапелляціонное судъбище, не допускавшее ни объясненій, ни оправданій. Профессорамъ грозили даже жандармами съ обнаженными палашами. Галичъ оказался однимъ изъ четырехъ.

Обвиненіе противъ него Руничъ формулировалъ коротко и ясно. «Вы явно предпочитаете язычество христіанству, распутную философію дѣвственной цепѣи церкви Христовой, безбожнаго Канта Христу, а Шеллинга духу святому».

Ничѣмъ эти грозныя улики не доказывались и доказать ихъ, конечно, не было возможности не только для Рунича, но и для гораздо болѣе искуснаго слѣдователя.

Галичъ не потерялъ духа, и далъ смиренно-ироническій отвѣтъ. Соли Руничъ совершенно не замѣтилъ и привѣтствовалъ новообращеннаго въ громкомъ стилѣ призваннаго насадителя «благодати Божіей».

Галичъ отвѣчалъ:

«Сознавая невозможность опровергнуть предложенные мнѣ вопросы пункты, прошу не помянуть грѣховъ юности и невѣдѣнія».

Руничъ не желалъ удовольствоваться словеснымъ раскаяніемъ и требовалъ отъ профессора переизданія его исторіи философіи съ подробнымъ описаніемъ совершившагося чуда-обращенія.

Требованіе не было выполнено, высшее правительство даже попыталось возстановить жертвъ Рунича въ ихъ правахъ и снова опредѣлило на службу. Но собственно профессорская дѣятельность Галича закончилась навсегда.

Руничъ, несомнѣнно, переусердствовалъ и это было признано его же начальствомъ, но философія и послѣ петербургскаго эпизода ничего не выиграла. Напротивъ. Недовѣріе къ ней, повидимому, еще больше укоренилось. «Обскурантизмъ», по выраженію Велланскаго, «началъ управлять колесницею Русскаго феба».

Результаты вышли многообразные и многозначительные.

Такіе люди, какъ Велланскій, «ужаснулись отъ тучъ» и стали пребывать «въ бездѣйствіи».

И это были лучшіе люди. Нашлись болѣе податливые и вѣсто молчанія и бездѣйствія, сами рѣшились говорить и работать въ требуемомъ направленіи.

Именно этотъ результатъ, неизмѣнно сопровождающій «тучи» внесъ растлѣніе въ русскую университетскую науку и гораздо болѣе всякаго педантизма и бездарности подорвалъ жизненные силы только что посѣянныхъ сѣмянъ философіи.

## XVIII.

Мы видѣли, шеллингѣанство впервые явилось въ Петербургѣ. Когда о немъ услышали въ московскомъ университетѣ—достоверно трудно рѣшить. Можетъ быть, еще Буле познакомилъ студентовъ съ новой системой. Во всякомъ случаѣ московскій профессоръ Давыдовъ родоначальникомъ русскаго шеллингѣанства называлъ Галича, хотя отдавалъ справедливость и философскимъ заслугамъ Буле.

Это не точно. Велланскій предшествовалъ Галичу, его сочиненія были извѣстны, конечно, и въ Москвѣ, философа даже приглашали сюда на курсъ публичныхъ лекцій съ громаднымъ гонораромъ. А потомъ московская духовная академія въ 1810 году обладала блестящимъ преподавателемъ философіи,—Фипперомъ.

Онъ оставилъ по себѣ самую лестную славу среди учениковъ. Надеждинъ захватилъ только поздніе отголоски этой славы, но и онъ могъ изобразить ее въ чрезвычайно сильныхъ выраженіяхъ:

«Я учился у учениковъ Фипшера и знаю, какой энтузіазмъ возбуждало въ нихъ одно воспоминаніе, одно имя великаго учителя. Дѣйствительно, то немногое, что онъ успѣлъ сообщить имъ, было исполнено такой жизни, обито такимъ свѣтомъ, что душа, чувствующая потребность и силу мыслить, естественно должна была покориться непреодолимому магическому очарованію. Въ самой академіи слѣды преподаванія Фипшера невозможно было истребить совершенно».

Надеждинъ явился впоследствии однимъ изъ первыхъ московскихъ послѣдователей шеллингянства, но не первымъ.

Въ московскомъ университетѣ нашлось два профессора, по направленію своихъ ученыхъ занятій представляющихъ нѣкоторую параллель съ петербургскими шеллингянами. Рядомъ съ Велланскимъ можно поставить естествоиспытателя-философа, профессора сельскохозяйственныхъ наукъ, Павлова, съ Галичемъ Давыдова, профессора русской словесности.

Аналогія, конечно, очень поверхностная: Павлову былъ чуждъ теософическій полетъ Велланскаго и Давыдовъ менѣе всего могъ соперничать съ оригинальнымъ и независимымъ авторомъ *Картины человека*. Но одинъ стремился естественнымъ наукамъ придать философское единство и умозрительную глубину, другой на первыхъ порахъ искренне мечталъ о насажденіи исторіи философіи въ московскомъ университетѣ.

Давыдовъ предшествовалъ Павлову. Шаги его на философскомъ поприщѣ не стяжали ему авторитета у современниковъ и почетной памяти у потомства.

Профессоръ присгалъ къ шеллингянству не по внутреннему влеченію и не по твердому убѣжденію въ достоинствахъ системы, а потому, что она стояла на очереди дня, Петербургъ исповѣдовалъ ее, Москва тосковала о ней. Эти настроенія были настолько сильны еще ко времени появленія *Исторіи философскихъ системъ* Галича, что авторъ этой книги долженъ былъ измѣнить ея планъ.

Сначала Галичъ не рассчитывалъ вовсе излагать систему Шеллинга, какъ еще незаконченную и вполне невыясненную. Но потомъ, «склонясь на *требованіе* многихъ почтенныхъ читателей разнаго званія, я доставилъ въ особомъ прибавленіи по крайней мѣрѣ ключъ къ шеллинговой системѣ въ *первоначальномъ* ея видѣ»<sup>33)</sup>.

Естественно, и московскіе профессора должны были отозваться на потребность времени.

Давыдовъ началъ преподавать логику въ 1817 году и тогда же заявилъ свое предпочтеніе Шеллингу, признавъ его своимъ руководителемъ въ предметѣ.

Этого было достаточно для бюстительскаго ока Магницкаго. Въ докладѣ Александру I о бѣсовскомъ революціонномъ духѣ ло-

<sup>33)</sup> О немъ монографія Е. Осоктисова и въ статьѣ Иппитенко, стр. 43 есс.

<sup>34)</sup> *Ист. филос. системъ. Предисловіе* ко второй книгѣ.

гика Давыдова клеймилась какъ одно изъ его проявленій, шеллингянство признавалось вообще волюндуствомъ и развратомъ.

Это происходило въ 1823 году. Давыдову фактъ былъ неизвестенъ, и профессоръ издумалъ расширить философское преподаваніе именно въ духѣ шеллингянства. Въ 1826 году Давыдовъ прочиталъ вступительную лекцію къ новому курсу—*О возможности философіи, какъ науки*.

Лекторъ довольно ясно излагалъ основное положеніе философіи тождества, т. е. «единство и тожество законовъ обоихъ міровъ идеальнаго и вещественнаго».

Это значило прать противъ рожна. Курсъ былъ запрещенъ и сама кафедра философіи упразднена.

На этомъ событіи закончилась исторія русской университетской философіи въ философскую эпоху.

Шеллингянство было окончательно устранено, какъ предметъ преподаванія, и объявлено столь же ядовитой нравственной и политической заразой, какою считалось вольтеріанство.

Разгромъ произвелъ въ высшей степени глубокое впечатлѣніе въ подлежащей средѣ. Быстро былъ усвоенъ известный взглядъ на Шеллинга не только оффиціальными лицами, стоявшими на стражѣ просвѣщенія, но и самими просвѣтителями.

Дѣятельность Магницкаго вызвала обычные нравственные плоды среди людей слабыхъ, малодупныхъ или просто «пекущихся о многомъ». Гдѣ только ни проносился вихрь мракобѣсія и рабства, онъ всюду усѣивалъ свой путь «мертвецами».

Въ петербургскомъ университетѣ Руничъ нашелъ угодниковъ и предателей <sup>35)</sup>. Еще раньше такого же результата достигъ Магницкій въ казанскомъ университетѣ.

Здѣсь водворилось подлинное ипсіонство, превратило храмъ науки въ постыдный темный притонъ наушниковъ и доносителей и вызвало къ нему глубокое чувство омерзѣнія у мѣстнаго общества.

Въ Москвѣ шеллингянство надолго осталось пугаломъ для благонамѣренныхъ профессоровъ. Каченовскій далъ тонъ еще во время преподаванія Давыдовымъ логики. Въ *Вѣстникѣ Европы* онъ выражалъ недоумѣніе, «по какому чудесному обстоятельству Шеллингъ не преподастъ ученія своего въ домѣ сумасшедшихъ!» <sup>36)</sup>.

Естественно, послѣ исторіи съ давыдовскою лекціей, оторопѣ

<sup>35)</sup> Пикитенко. О. с., стр. 51.

<sup>36)</sup> В. Вѣст. 1817. № 20. стр. 259. примѣчанія за подписью Руръ.

еще сильнѣе возрасла и въ 1831 году по поводу сочиненія Надеждина *pro venia legendi* профессора Ивашковскій и Снегиревъ подали въ факультетъ отдѣльное мнѣнiе.

Надеждинъ даже не упоминалъ о Шеллингѣ, но критики усмотрѣли въ диссертациі духъ запретной системы и желали знать: «можетъ ли сіе ученіе быть допущено въ нашемъ университетѣ?..»

Недугъ захватилъ и другія учебныя заведенія, проникалъ всюду одновременно съ экзекуціями и миссіонерскимъ давленіемъ спасителей отечества въ жанръ Магницкаго.

Въ нѣжинскомъ лицѣ въ 1830 году два профессора отличились доносительской доблестью,—одинъ докладывалъ, что студенты читаютъ сочиненія *Александра Пушкина и другихъ подобныхъ*, другой—обвинялъ самого доносчика въ пристрастіи къ запрещеннымъ философскимъ ученіямъ<sup>37)</sup>.

Легко представить, при такихъ условіяхъ философіи вообще и шеллингіанству въ особенности пришлось покинуть университетскія аудиторіи и искать себѣ менѣе виднаго, но болѣе затишнаго пріюта.

Они нашли этотъ пріютъ.

Здѣсь разцвѣло дѣятельное философское направленіе и отсюда оживотворило общественную мысль.

Чтобы оцѣнить по достоинству значеніе внѣакадемической философіи, мы должны сначала подвести итоги общелитературнымъ заслугамъ профессорскаго шеллингіанства, т. е. рассмотреть результаты критической дѣятельности ученыхъ словесниковъ и философовъ.

## XIX.

Изъ двухъ первыхъ шеллингіанцевъ-профессоровъ особенно цѣннаго вклада въ эстетику мы должны ждать отъ Галича. Его личныя наклонности къ публицистикѣ и будничнымъ наблюденіямъ надъ дѣйствительностью, его отзывчивость и разнообразная талантливость, повидимому, заранѣе готовили для него поприще критика.

Оно вѣдь такъ недалеко отъ поэтическаго лиризма и сатирическихъ остротъ, въ изобиліи украшающихъ *Картину человека!*

Что касается Велланскаго, онъ въ качествѣ шеллингіанца не могъ миновать вопросовъ объ искусствѣ, но не могъ также и

<sup>37)</sup> Коллонтаевъ. *О. с. I. 161.*

здѣсь спуститься до земли и обыденныхъ фактовъ, какъ и въ своемъ теософическомъ толкованіи міра.

Эстетическія представленія Велланскаго столь же выспренни, сколь и неуклюжи по формѣ. Имѣть какое-либо практическое значеніе для художественной литературы они врядъ ли могли, уже просто по неудобочитаемости для обыкновеннаго смертнаго произведеній философа. А потомъ общія опредѣленія въ искусствѣ тѣмъ менѣе дѣйствительны въ приложеніи, чѣмъ философичнѣе ихъ содержаніе и обширнѣе охватъ.

Что, напримѣръ, могъ извлечь писатель-художникъ изъ такихъ несомнѣнно, шеллингянскихъ идей?

«Объектъ поэзіи есть представленіе универса идеальнымъ образомъ».

Если даже читатель и понималъ *универсъ* и *идеальный образъ*, онъ менѣе всего могъ целесообразно примѣнить свои свѣдѣнія къ своему дѣлу. Философъ въ своемъ поэтѣ залеталъ на такія высоты «скрытнѣйшихъ происшествій природы», что подлинные объекты поэзіи, объекты, ежеминутно и неотвязно преслѣдующіе творческую фантазію и человѣческое чувство наблюдателя — тонули въ непроницаемомъ туманѣ и, слѣдовательно, сама поэзія становилась чѣмъ-то неуловимымъ и несуществующимъ.

Наконецъ, для самого философа, теософически созерцающаго универсъ, не могутъ представлять насущнаго интереса такія мелочи, какъ русская литература—современница *Промюзіи къ медицине*. Велланскому не могло и на умъ придти сопоставить свою эстетику съ образцами искусства. Этого не дѣлалъ даже Шеллингъ, имѣвшій въ распоряженіи творчество Гёте и Шиллера.

А всякіе художественные принципы достигаютъ дѣйствительной силы и вліянія только путемъ ихъ практическаго выясненія и оправданія.

Эстетика не существуетъ безъ иллюстрацій, и критика превращается въ бесплодное и беспочвенное резонерство, разъ у нея нѣтъ предъ глазами предметовъ суда—все равно, отрицательнаго или положительнаго.

Позднѣйшее шеллингянство—не профессорское и не академическое—тѣмъ и обнаружило высшую стадію русскаго философскаго развитія, что спустилось съ высоты универса до всеѣмъ извѣстнаго міра, въ критикѣ вмѣсто сокровеннѣйшихъ тайнъ заговорило о русской литературѣ, о Державинѣ, о Пушкинѣ.

Это было дѣломъ переворотомъ и немедленно висло множе-

стю новыхъ темъ въ философско-критическія разсужденія. Новыхъ не для шеллингѣанства и германской философіи вообще, а для русскихъ раннихъ шеллингѣанцевъ.

Достаточно назвать одинъ великій вопросъ—*національный*. Для Велланскаго онъ не существуетъ, его эстетика вѣдь даже нашей планеты, не только отдѣльныхъ странъ свѣта и государствъ. Но разъ эстетика иллюстрируется и притомъ въ интересахъ русскаго читателя, *національность* немедленно занимаетъ подобающее ей первостепенное мѣсто.

И между тѣмъ, она скрывалась въ поднебесномъ туманѣ даже для Галича, автора особаго сочиненія о «*наукѣ изящнаго*».

Въ эстетикѣ Галичъ гораздо болѣе точный воспроизводитель идей Шеллинга, чѣмъ вообще въ философій.

Еще въ диссертациі Галичъ впадалъ совершенно въ тонъ Шеллинга, наставляя своего юношу: «рѣшеніе задачи міра не дастся извнѣ; оно совершается во внутреннемъ твоёмъ святилищѣ и притомъ творческимъ актомъ».

Въ *Картинахъ челоѣка* «ощущенія прекраснаго» превознесены сравнительно съ умственными и нравственными силами. «Эстетическія чувствованія», по мнѣнію автора, «роднятъ насъ съ небожителями...» Вообще русскій философъ неистощимъ въ романтическомъ лиризмѣ тамъ, гдѣ заходитъ рѣчь о шеллингѣанскомъ источникѣ высшаго видѣнія.

Въ 1825 году явился *Опытъ науки изящнаго*, на девять лѣтъ раньше *Картины челоѣка*, но выпреенность мысли та же.

Прежде всего, авторъ желаетъ непременно остаться на исключительной высотѣ ученаго философа и заранѣе объявляетъ свое сочиненіе достояніемъ немногихъ избранныхъ. «Нелѣзное было бы легкомысліе требовать *свѣтскаго чтенія* отъ книжки, въ которой начертываются основанія *строгой науки*».

*Судей* предлагаемаго сочиненія можетъ быть еще меньше, чѣмъ читателей. На первомъ мѣстѣ авторъ ставитъ *философовъ* и на послѣднемъ—*поэтовъ*.

Очевидно, вся работа разсчитана по необычайно строгому масштабу, въ смыслѣ исключительной серьезности и малодоступности содержанія. Галичъ не отказывается отъ удовольствія презрительно сопоставить *журнальную статью* съ «прочнымъ зданіемъ науки». И въ то время, когда онъ позже станетъ съ большимъ остроуміемъ изобличать *идеализмъ*, теперь онъ считаетъ нужнымъ указать на сдѣшеніе этого понятія съ *строгой наукой* у людей поверхностнаго



Вообще авторъ постарался всѣми силами возможно величественнѣе изобразить авторитетъ своей науки и до послѣдней степени сѣзуть кругъ читателей своего сочиненія <sup>38)</sup>).

Въ результатѣ явилась книга, довольно удобочитаемая по формѣ: Галичъ даже и въ роли специально серьезнаго ученаго не могъ утратить своего таланта. Но содержаніе ея врядъ ли могло имѣть какое вліяніе на изящное и на науку о немъ.

По времени появленія *Опыта* особенный интересъ должны были представлять разсужденія о романтизмѣ. Въ нихъ ничего нѣтъ ни оригинальнаго, ни яркаго послѣ книги Сталя и многочисленныхъ нѣмецкихъ теорій словесности. Любопытна только ссылка на поэта Жуковскаго: Галичъ приводитъ его стихи *Таинственный посетитель* <sup>39)</sup> съ цѣлью дать понятіе о главныхъ мотивахъ романтической поэзіи.

Что касается основного вопроса о художественномъ произведеніи, отвѣтъ формулированъ вполне ясно и въ духѣ шеллингианской эстетики. Собственно этотъ отвѣтъ только и имѣетъ известное практическое значеніе, какое именно—мы указывали по поводу романтическихъ теорій творчества.

Галичъ «общую» часть своего *Опыта* заключаетъ:

«Прекрасное твореніе искусства происходитъ тамъ, гдѣ свободный гений человека, какъ нравственно-совершенная сила, запечатлѣваетъ божественную, по себѣ значительную и вѣчную идею въ самостоятельномъ, чувственно-совершенномъ, органическомъ образѣ или призракѣ» <sup>40)</sup>).

Это въ высшей степени содержательное, обильное выводами опредѣленіе. Для принципа новой эстетики—свобода художника, какъ творческой личности и высокая идейность его произведенія—подчеркнуты рѣзко, даже, можетъ быть, слишкомъ настойчиво.

Свобода творчества да еще при идеальномъ представленіи о гении, какъ нравственно-совершенной силѣ, могло прямымъ путемъ привести къ эстетическому идолопоклонству, къ эстетизму въ смыслѣ полнѣйшаго равнодушія ко всему прозаическому, земному, будничному. Теорія чистаго искусства таится въ высшемъ и неограниченномъ представленіи о свободѣ творчества и искусство для искусства ничто иное, какъ послѣдній аккордъ лирическаго

<sup>38)</sup> *Опытъ науки изящнаго*. Спб., 1825. Предисловіе.

<sup>39)</sup> *Тб.*, стр. 52—3, 55.

<sup>40)</sup> *Тб.*, стр. 40.



гимна во славу совершенства, божественности и прочих вѣземныхъ доблестей художественнаго таланта.

Но это—крайность и изнашка. Въ разумномъ толкованіи идея художественной свободы и личнаго достоинства художника—великій культурный шагъ сравнительно съ ремесленническимъ словеснымъ кропаніемъ и писательскимъ рабствомъ классической эпохи.

Есть оборотная сторона и въ принципѣ *идейности*. Его можно поднять на такую высоту, что окажутся *нехудожественными* и *неидейными* произведенія великаго нравственнаго и общественнаго смысла и значенія, но только не запечатлѣвающія божественной и вѣчной идеи.

Самъ Галичъ въ *предисловіи* къ *Опыту* предупреждаетъ о возможности подобнаго критическаго результата при руководствѣ его идеей объ изящномъ.

И результатъ не только возможенъ, но даже неизбеженъ.

Мы встрѣтимся съ нимъ въ критическихъ статьяхъ Надеждина; онъ соблазнитъ также и юнаго Бѣлинскаго. Одно за другимъ будутъ «падать въ цѣли», выраженіе Галича, произведенія Пушкина и во имя «божественныхъ» и «вѣчныхъ» идей на многіе годы повиснетъ надъ талантомъ величайшаго русскаго поэта гроза профессорскаго безпощаднаго приговора.

Но это опять только отрицательный моментъ—въ дѣйствительности плодотворной идеи. Надеждинъ такъ и замретъ въ безвоздушныхъ высотахъ своей науки и философіи, Бѣлинскій будетъ спасенъ отъ критическаго омертвѣнія живымъ личнымъ художественнымъ чувствомъ. Но каковы бы ни были частныя послѣдствія увлеченія идейностью, требованіе идейности отъ творческихъ произведеній явилось какъ нельзя болѣе кстати одновременно съ провозглашеніемъ свободы генія. Оно вносило извѣстные ограниченія въ эту теорію и полагало предѣлы художественной свободѣ.

Художникъ долженъ быть свободнымъ и въ то же время идейнымъ. Это значило, подрывать въ корнѣ отпрыски чистаго эстетизма, воплоти возможные на почвѣ исключительной свободы.

Позднѣйшей критикѣ и предстояла сложная, но вполне ясная задача: установить и практически оправдать уже готовые понятія: творческаго свободнаго таланта и идейнаго художественнаго произведенія. Но существу эти два вопроса и исчерпываютъ основное содержаніе и цѣли художественной критики.

Они неразрывно связаны другъ съ другомъ. Критику требуется одновременно и личное художественное дарованіе и совершенный

**тактъ дѣйствительности, т. е. личная отзывчивость на ея многообразныя явленія, умѣнье производить имъ относительную оцѣнку и въ результатѣ цѣлесообразные запросы къ просвѣтительной силѣ искусства.**

Соединить всѣ эти способности для природы, повидимому, не менѣе трудная, можетъ быть, даже болѣе трудная задача, чѣмъ создать первостепенный творческій талантъ. Извѣстная французская банальность, будто «критика — легка, а искусство — трудно», не имѣетъ никакого ни отвлеченнаго, ни историческаго права на серьезную истину. Она примѣнима только къ явленіямъ особаго рода, въ сущности ничего общаго не имѣющимъ ни съ критикой, ни съ искусствомъ.

Галичъ повторяетъ въ своей книгѣ замѣчаніе одного русскаго писателя: Россія бѣдна литературой, но богата критикой. Это было сказано до славы Пушкина и до появленія великой литературы сороковыхъ годовъ. Несомнѣнно, такая критика болѣе чѣмъ легка, и это доказываетъ ея роль въ литературѣ и въ обществѣ. Старая критика, мы видѣли, безпрестанно дѣлала свои владѣнія съ пасквилемъ, клеветой или изводила читателей схоластической отрыжкой.

Отсюда оставалось необозримое пространство до критики, способной подняться хотя бы до уровня современнаго искусства.

Дѣятельность Пушкина почти успѣла закончиться, Гоголь, взошедъ на художественномъ горизонтѣ звѣздой первой величины, а русская критика все еще протирала глаза и металась отъ школьной указки до уличной брани, никакъ не находя достойнаго *литературнаго* пути. Даже Бѣлинскій перетерпѣлъ не мало весьма эффектныхъ крушеній раньше, чѣмъ овладѣлъ настоящимъ рулемъ и компасомъ.

И нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, отъ Бородинскихъ статей до письма къ Гоголю разстояніе несравненно болѣе, чѣмъ отъ *Кавказскаго пленника* до *Евгенія Онегина* или отъ *Сорочинской ярмарки* до *Гевизора*. Мы сравниваемъ не таланты критика и художниковъ, а имѣемъ въ виду трудъ и усилія, идейную работу, вносящую полное преобразование въ міросозерцаніе писателя.

Русской литературѣ оказалось *легче* произвести цѣлый рядъ первостепенныхъ творческихъ талантовъ, чѣмъ хотя бы двухъ равносильныхъ критиковъ. Мы увидимъ впоследствии, съ какой медленностью призывались къ русской критикѣ окончательныя, повидимому, завоеванія Бѣлинскаго. Дѣятельность Добролюбова убѣдитъ.

насъ, какъ *трудна* критика даже послѣ блестящаго и внушительнѣйшаго учителя и руководителя, а публицистика Писарева сразу перенесетъ насъ будто въ легендарную эпоху русской критической мысли...

Итъ, исторія критики тѣмъ и поучительна, что именно она съ поразительной наглядностью раскрываетъ многотрудный, часто тягостный процессъ совершенствованія общественныхъ идей и художественно-литературныхъ воззрѣній и, слѣдовательно, съ особенной настойчивостью подчеркиваетъ заслуги отдѣльных дѣятелей.

Мы только что видѣли, какъ при всей учености, при несомнѣнной доброй волѣ родоначальники русскаго шеллингизма не могли внести новой жизни въ современную художественную литературу. Пребывая въ недосягаемыхъ областяхъ гордой науки и универсальныхъ созерцаній, они для писателей-художниковъ оставались совершенно чуждымъ и чуждымъ явленіемъ. Пушкинъ питалъ самыя нѣжныя чувства къ Галичу, какъ человеку, но намъ совершенно неизвѣстны эстетическія вліянія профессора на своего ученика.

И если они были, цѣнность и сила ихъ не могли идти ни въ какое сравненіе съ личными вдохновенными стремленіями поэта къ инымъ путямъ творчества.

Тотъ же выводъ въ еще болѣе яркой формѣ справедливъ и относительно московскихъ ученыхъ эстетиковъ.

Въ то время, когда общественное мнѣніе вынуждало Галича вводить въ исторію философіи разборъ шеллингизмской системы, когда эта система волновала умы молодежи, съ учителей раздѣляла на враждебные лагери и приводила въ сильнѣйшее безпокойство офиціальную власть, въ это самое время съ кафедры старѣйшаго московскаго университета невозбранно продолжало раздаваться слово «магистровъ» и «докторовъ» словеснаго искусства.

Мы говоримъ прежде всего о профессорѣ Мерзляковѣ.

## XX.

Дѣятельность Мерзлякова входитъ какой-то промежуточной, будто *лишней* полосой въ исторію русской критики.

Онъ по рожденію принадлежитъ классической эпохѣ, по зрѣлому періоду своего университетскаго преподаванія—онъ современникъ Пушкина, его, слѣдовательно, можно назвать представителемъ *переходнаго* времени.

Отвѣтственная задача жить въ такія времена! Самое простое ея разрѣшеніе—умѣть не отстать отъ *перехода*, т. е. не впасть въ раздоръ съ временемъ, но подчиниться ему не пассивно и не противъ воли, а сознательно, съ полнымъ пониманіемъ его стремленій и съ искреннимъ сочувствіемъ новыхъ людей.

У Мерзлякова, повидимому, были всѣ данныя выполнить эту задачу.

Очень даровитый, даже съ поэтическимъ талантомъ, лично—простой и сердечный, сынъ небогатой купческой семьи, слѣдовательно, по прежнимъ условіямъ просвѣщенія, ученый по призванію, Мерзляковъ подавалъ надежды на самую живую и отзывчивую дѣятельность.

Обстоятельства благопріятствовали.

Ученикомъ пермскаго народнаго училища Мерзляковъ обратилъ на себя вниманіе начальства *Одой на заключеніе мира со шведами*. Оду довели до свѣдѣнія Екатерины II и юный поэтъ былъ принятъ на казенный счетъ въ московскую университетскую гимназію.

Дальше слѣдовалъ университетъ и сближеніе съ Жуковскимъ.

Послѣднее обстоятельство имѣло очень большое значеніе не только въ личномъ развитіи Мерзлякова.

Мы впервые встрѣчаемся съ фактомъ первостепеннаго культурнаго смысла въ исторіи русскаго просвѣщенія—съ студенческимъ кружкомъ. Живленіе будетъ развиваться десятки лѣтъ и по временамъ играть исключительную роль въ литературѣ.

Умственные запросы русской молодежи очень рано стали переростать духовную пищу, предлагающуюся въ университетскихъ аудиторіяхъ. Запросы развивались подъ вліяніемъ заграничныхъ путешествій и заграничной литературы. Еще при Екатеринѣ молодые русскіе студенты могли слушать въ германскихъ университетахъ какія угодно лекціи, увлекаться современными европейскими идеалами народнаго блага и общественной свободы, а по возвращеніи въ Россію, попадали въ міръ дѣйствительности, по самымъ своимъ жизненнымъ основамъ враждебный подобнымъ увлеченіямъ, и въ наукѣ встрѣчали или прямую ненависть къ независимой мысли, или неуклонное барствено-эпикурейское стремленіе играть съ огнемъ, не обжигаясь.

Естественно, возникало безвыходное противорѣчіе. Съ одной стороны само правительство отъ запада требовало образованія для своихъ дѣятелей и университетскихъ профессоровъ, съ дру-

гой—немедленно пресѣкало часто даже самыя скромныя попытки осуществить плоды этого образованія. Мы могли видѣть изъ исторіи съ петербургскими профессорами и особенно съ Галичемъ, въ какое ложное положеніе попадали совершенно благонамѣренныя люди, на казенный счетъ ѣздившіе слушать нѣмецкихъ философовъ и искренне желавшіе оправдать расчеты правительства—поднять умственный уровень русской молодежи.

Что общаго между крамолой и безбожіемъ и личностью и учеными трудами Галича? Очевидно, ничего, если Галичъ и послѣ катастрофы могъ состоять на государственной службѣ и печатать свои сочиненія.

И между тѣмъ, катастрофа разразилась и имѣла свои послѣдствія.

У Галича были и предшественники, и преемники.

Въ 1766 году за границу было послано двѣнадцать молодыхъ людей съ научной цѣлью; слушали они лекціи въ лейпцигскомъ университетѣ; надзиралъ за ними гофмейстеръ и монахъ-духовникъ, и результаты получились менѣе всего блестящіе.

Самые даровитые изъ путешественниковъ ничего не достигли въ своемъ отечествѣ и даже выдѣлились изъ своей среды настоящую жертву искупленія—Радищева.

Подобныя исторіи происходили и съ учеными, пріѣзжавшими по приглашенію правительства изъ-за границы. Безпрестанно имъ приходилось не по собственной волѣ отбывать на родину, или, подобно Раупаху, товарищу Галича, отрясать негостепріимный прахъ отъ ногъ своихъ.

Очевидно, всякому, кто питалъ жажду продолжать любимое дѣло и по возвращеніи изъ-за границы въ Россію, приходилось обходиться домашними средствами, т. е. оставить надежду на открытую просвѣтительную дѣятельность и замкнуться въ тѣсномъ кружкѣ единомышленниковъ и вѣрныхъ людей.

Отсюда параллельное существованіе двухъ центровъ высшаго просвѣщенія—университетовъ съ профессорами и кружковъ со студентами. И мы знаемъ, какъ долженъ былъ распредѣлиться умственный свѣтъ, исходявшій изъ того и другого центра.

Университеты, въ качествѣ официальныхъ учрежденій, не могли не подчиниться внѣшнимъ силамъ, въ родѣ предпріятій Манинцкаго и Рунча. Они не только подчинились, но въ лицѣ многихъ своихъ членовъ даже пошли на встрѣчу господствовавшему гасительному направленію и изъ среды профессоровъ вы-

двинули усердныхъ конкурентовъ—гонителей «ажениннаго разума». Мы видѣли факты, увидимъ и дальше, убѣдился, что даже для чисто-литературныхъ отношеній профессорской корпораціи не пропала безслѣдно воспитательная дѣятельность Магницкаго.

Естественно, свѣта и воздуха оставалось искать за стѣнами университета. Для этого молодому человѣку вовсе не требовалось быть даже очень пылкимъ искателемъ, не надо было обладать нарочитыми либеральными наклонностями, а просто—не имѣть способности сегодня сжигать то, чему поклонялся вчера. А именно такъ и ставился вопросъ для русскихъ питомцевъ или заграничныхъ университетовъ, или просто заграничной философіи.

Въ силу вещей на сцену появлялось *западничество*, не какъ фанатическое обожаніе европейскаго въ противоположность русскому, а просто какъ уваженіе къ мышленію и просвѣщенію въ противоположность схоластикѣ и реакціи. И въ этомъ смыслѣ первыя западники явились учредителями первыхъ кружковъ, независимыхъ культурныхъ центровъ.

Членами *Дружескаго литературнаго общества*, основаннаго при дѣятельномъ участіи Жуковскаго, мы не случайно встречаемъ извѣстныя имена Кайсарова и Александра Тургенева. Это имена воспитанниковъ геттингенскаго университета, людей, окунувшихся въ нѣмецкое море и не нашедшихъ пристанища на современномъ политическомъ берегу своего отечества.

Почему—показываютъ самые простые факты. Кайсарова, мы знаемъ, занималъ вопросъ объ отчуждѣннѣ крѣпостного права, и даже Жуковскій—человѣкъ отнюдь не политическій—впослѣдствіи отвѣтилъ на этотъ вопросъ освобожденіемъ своихъ крестьянъ.

Несомнѣнно, и остальные члены кружка должны были подходить подъ это направленіе. А оно не могло ограничиться только общественными вопросами, оно было однимъ изъ членовъ многообъемлющаго символа просвѣщенной кѣры, т. е. и въ литературѣ заявляло соответствующія требованія. Примеръ—тотъ же Жуковскій.

Мы знаемъ цѣну его романтизма—художественную и національную, но, подробно разбирая явленія философскаго періода нашей критики, мы не должны умолчать о связи поэзіи Жуковскаго съ философіей.

На первый взглядъ это звучитъ странно. Жуковскій, несомнѣнно, увлекался мистицизмомъ, даже привидѣніями, вообще «тайнами» и «ужасами» полуночнаго часа, но серьезнаго интереса къ философіи въ немъ не было.

И все-таки, его романтизмъ внесъ свою дань въ распространіе германской философіи среди русской молодежи.

Рядомъ съ духовными учебными заведеніями, съ путешествіями за-границу слѣдуетъ помнить еще одинъ путь, какимъ философія изъ Германіи переселялась въ Россію. Это путь, далеко не столь опредѣленный и прямой, какъ другіе два, но для нѣкоторыхъ онъ могъ быть самымъ легкимъ и даже единственнымъ, по крайней мѣрѣ, какъ вступленіе въ царство новой мысли.

Одинъ изъ учениковъ философской эпохи, обозрѣвая разныя культурныя вліянія на русское общество, такъ опредѣляетъ роль поэзіи Жуковскаго:

«Она передала намъ ту идеальность, которая составляетъ отличительный характеръ нѣмецкой жизни, поэзіи и философіи; и такимъ образомъ, въ составъ нашей литературы входили двѣ стихіи: умонаклонность французская и германская» <sup>41)</sup>).

Слѣдовательно, Жуковскій, по представленію современниковъ, своею поэзіей создалъ совершенно новую умственную почву, развилъ «сторону, идеальную, мечтательную», до него невѣдомую русскому просвѣщенному обществу «французско-карамзинскаго направленія».

Въ такомъ же смыслѣ, только еще рѣзче, выражается другой современникъ Жуковскаго, поэтъ и критикъ.

Жуковскій далъ «германическій духъ русскому языку», ближайшій къ нашему національному духу, какъ тотъ «свободному и независимому» <sup>42)</sup>).

Это слишкомъ сильно. Авторъ самъ одаренъ «германическимъ духомъ» и переопредѣнилъ его сродство съ русскимъ національнымъ. Но для насъ важенъ взглядъ современниковъ на культурное значеніе переводовъ Жуковскаго. Несомнѣнно, они не могли создать философовъ, но они воспитывали почву для стѣмянъ философіи, и въ области эстетики стихи Жуковскаго, мы видѣли, предвосхищали отвлеченныя положенія самыхъ строгихъ русскихъ ученыхъ.

Отъ «идеальнаго и мечтательнаго» въ поэзіи не трудно было, при извѣстномъ настроеніи ума, перейти къ «идеальному и мечтательному» въ теоріи, тѣмъ болѣе, что сама эта теорія вѣн-

<sup>41)</sup> И. В. Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1831 годъ*. Полное собраніе сочиненій, I, 23.

<sup>42)</sup> Кюхельбекеръ, *Взглядъ на нынѣшнее состояніе русской словесности*. Статья, переведенная въ В. Евр. 1817 года изъ *Conservateur impartial*. Ср. Колупацовъ. О. с. II, 25.



Товарищескимъ бесѣдамъ онъ приписываетъ свой интересъ къ русской литературѣ, одну изъ важнѣйшихъ своихъ статей—о *Романѣ* Хераскова—считаетъ результатомъ этихъ бесѣдъ и рассчитываетъ остаться вѣрнымъ тому, что онъ усвоилъ «въ цвѣтъ юности».

Одновременно съ бесѣдами общества Мерзляковъ вспоминаетъ и благотѣльные совѣты Дмитріева, автора сатиры *Чужой толкъ*, возникшей за шесть лѣтъ до основанія кружка.

Сатира возставала противъ популярнѣйшаго классическаго жанра—оды, а Мерзляковъ, съ своей стороны, говоритъ о свободѣ кружка отъ «предразсудковъ, вредныхъ нашей словесности».

Очевидно, при такихъ заявленіяхъ профессоръ не могъ быть защитникомъ классицизма въ старинной сумароковской формѣ.

Но этотъ фактъ отнюдь не могъ считаться особенной заслугой для критика начала XIX-го вѣка, видѣвшаго передъ собой дѣятельность Карамзина и новой литературной школы. А непосредственно за Карамзинымъ слѣдовалъ Жуковскій, потомъ Пушкинъ: все это проходило предъ учеными глазами Мерзлякова, и вопросъ, какъ онъ разглядѣлъ и понялъ современные явленія?

Въ 1804 году Мерзляковъ получилъ степень магистра и каедрю російскаго краснорѣчія и поэзіи. До самой смерти, въ теченіе двадцати шести лѣтъ, онъ руководилъ русскими молодыми поколѣніями въ области науки, повидимому, болѣе всего соотвѣтствовавшей его природѣ.

Еще до появленія на кафедрѣ Мерзляковъ приобрѣлъ литературную извѣстность, какъ поэтъ, сначала какъ искусный подражатель Ломоносова, Державина, Карамзина, сочинилъ, между прочимъ, оду *Непостижимому*, явно рассчитанную на соревнованіе съ державинскимъ произведеніемъ *Богъ*, а *Пѣснь Моисеева по прехожденіи Чермнаго моря* имѣла даже особенный успѣхъ.

Естественно, Мерзляковъ явился далеко не зауряднымъ лекторомъ. Студенты немедленно почувствовали влѣяніе новаго духа и явную силу таланта. По разсказу Погодина, слушатели «со всѣхъ сторонъ бросались въ аудиторію точно на приступъ, спѣша занять мѣста. Медики, математики,—о словесникахъ и говорить нечего,—юристы, кандидаты, жившіе въ университетѣ, всѣ являлись въ аудиторію, которая пополнялась въ минуту пародомъ сверху до низу, по окошкамъ, даже надъ верхними лавками амфитеатра. Мерзляковъ долженъ былъ пробираться черезъ толпу. Какое молчаніе воцарилось, когда онъ сѣлъ, наконецъ, на ка-



цомъ своего зданія полагала ту же поэзію. А именно такимъ и было шеллингіанство.

Жуковскій по своимъ литературнымъ задачамъ могъ быть совершенно неповиновенъ въ такихъ послѣдствіяхъ своего романтизма, но всякое художественное явленіе тѣмъ и значительно, что оно по своимъ жизненнымъ отраженіямъ часто далеко превосходитъ расчеты самого художника. Примерами изобилуетъ всякая литература, и русская въ особенности.

Намъ теперь ясно, какіе общіе настоятельные мотивы могли вызывать частныя литературныя общества, кружки и собранія для литературныхъ и философскихъ бесѣдъ. На западѣ въ ту же эпоху весь континентъ кипѣлъ также союзами и обществами, но преимущественно политическаго направленія. Въ Россіи только въ рѣдкихъ случаяхъ политика входила въ программу кружка. Она ограничивалась чисто-культурными, просвѣтительными задачами. И вполнѣ послѣдовательно.

Эти задачи для Россіи первой четверти XIX-го столѣтія именно и являлись настойчивыми историческими нуждами и самая устойчивость и быстрое развитіе кружковъ показываютъ ихъ *почвенность*, ихъ соотвѣтствіе данному періоду русской общественной жизни.

Будущему историку русской культуры представеть въ высшей степени содержательный и оригинальный вопросъ о явленіи, по-видимому, произвольномъ и часто просто личномъ, въ дѣйствительности знаменующемъ одно изъ самыхъ глубокихъ теченій русскаго просвѣщенія въ высшемъ нравственномъ и общественномъ смыслѣ.

Страницу въ этой исторіи займетъ и *Дружеское литературное общество*, открывшее свою дѣятельность 12 января 1801 года.

## XXI.

Цѣль *Общества* опредѣлялась исключительно литературными задачами: «очищать вкусъ, развивать и опредѣлять понятія обо всемъ, что изящно, что превосходно».

Мы не знаемъ, какъ осуществлялась эта цѣль, но собранія общества оставили глубокіи слѣды въ памяти Мерзлякова.

Четырнадцать лѣтъ спустя, въ письмѣ къ Жуковскому Мерзляковъ восторженно воспоминаетъ о «правилахъ», «которыя пріобрѣлъ» онъ «въ незабвенномъ, можетъ быть, уже невозвратномъ для насъ любознательномъ обществѣ словесности».

Товарищескии бесѣды онъ приписываетъ свой интересъ къ русской литературѣ, одну изъ важнѣйшихъ своихъ статей—о *Романѣ* Хераскова—считаетъ результатомъ этихъ бесѣдъ и рассчитываетъ остаться вѣрнымъ тому, что онъ усвоилъ «въ цвѣтѣ юности».

Одновременно съ бесѣдами общества Мерзляковъ вспоминаетъ и благотѣльные совѣты Дмитріева, автора сатиры *Чужой толкъ*, возникшей за шесть лѣтъ до основанія кружка.

Сатира возставала противъ популярнѣйшаго классическаго жанра—оды, а Мерзляковъ, съ своей стороны, говоритъ о свободѣ кружка отъ «предразсудковъ, вредныхъ нашей словесности».

Очевидно, при такихъ заявленіяхъ профессоръ не могъ быть защитникомъ классицизма въ старинной сумароковской формѣ.

Но этотъ фактъ отнюдь не могъ считаться особенной заслугой для критика начала XIX-го вѣка, видѣвшаго передъ собой дѣятельность Карамзина и новой литературной школы. А непосредственно за Карамзинымъ слѣдовалъ Жуковскій, потомъ Пушкинъ: все это проходило предъ учеными глазами Мерзлякова, и вопросъ, какъ онъ разглядѣлъ и понялъ современные явленія?

Въ 1804 году Мерзляковъ получилъ степень магистра и каѳедру русскаго краснорѣчія и поэзіи. До самой смерти, въ теченіе двадцати шести лѣтъ, онъ руководилъ русскими молодыми поколѣніями въ области науки, повидимому, болѣе всего соотвѣтствовавшей его природѣ.

Еще до появленія на каѳедрѣ Мерзляковъ приобрѣлъ литературную извѣстность, какъ поэтъ, сначала какъ искусный подражатель Ломоносова, Державина, Карамзина, сочинилъ, между прочимъ, оду *Непостижимому*, явно рассчитанную на соревнованіе съ державинскимъ произведеніемъ *Богъ*, а *Пѣснь Моисеева по прехожденіи Чермнаго моря* имѣла даже особенный успѣхъ.

Естественно, Мерзляковъ явился далеко не зауряднымъ лекторомъ. Студенты немедленно почувствовали вѣяніе новаго духа и явную силу таланта. По разсказу Погодина, слушатели «со всѣхъ сторонъ бросались въ аудиторію точно на приступъ, спѣша занять мѣста. Медики, математики,—о словесникахъ и говорить нечего,—юристы, кандидаты, жившіе въ университетѣ, всѣ являлись въ аудиторію, которая попожнялась въ минуту народомъ сверху до низу, по окошкамъ, даже надъ верхними лавками амфитеатра. Мерзляковъ долженъ былъ пробираться черезъ толпу. Какоо молчаніе воцарилось, когда онъ сѣлъ, наконецъ, на каѳедру!...»

Профессоръ одинаково искусно декламировалъ стихи и излагалъ собственныя мысли, артистически владея голосомъ и захватывая аудиторію искреннимъ чувствомъ, часто величественной импровизаціей.

Рѣчь была свободна отъ всякихъ обычныхъ ученыхъ хитростей, діалектическихъ изворотовъ и педантической темноты.

Профессоръ и на кафедрѣ сохранялъ простоту обыкновеннаго русскаго человѣка, страстно любилъ народныя пѣсни, весьма удачно подражалъ имъ и достигъ результата, неслыханнаго для старой поэзіи. Нѣкоторыя пѣсни Мерзлякова, напримѣръ, *Среди долины ровныя*, перешли въ публику, не имѣвшую никакихъ соприкосновеній ни съ наукой, ни даже съ грамотой.

Любовь къ народной поэзіи для Мерзлякова была уваженіемъ къ русской національности вообще, и профессоръ осмѣлился въ лицо высшему русскому обществу сказать горькую правду почти въ тонѣ Чацкаго.

Въ началѣ 1812 года Мерзляковъ открылъ курсъ публичныхъ лекцій. Онѣ быстро стяжали громкую популярность и собирали цвѣтъ литературнаго и аристократическаго міра.

Нашествіе Наполеона прервало чтенія; они возобновились только въ 1816 году и создали своего рода университетскую аудиторію для большой публики.

Она слышала здѣсь далеко не шаблонныя словесныя поученія. Профессоръ часто впадалъ въ рѣзкое публицистическое настроеніе, отъ лица «русскаго писателя» взывалъ къ патріотизму большихъ господъ и даже «прекраснаго пола». Ученый лекторъ предвосхитилъ извѣстный отзывъ Пушкина о «нелюбопытствѣ» русскихъ, только еще рѣшительнѣе укорялъ своихъ соотечественниковъ за холодъ и равнодушіе «къ твореніямъ, имѣющимъ своимъ предметомъ нашу славу».

Не всегда на слушателей могли производить благопріятное впечатлѣніе подобныя лекціи. Профессоръ безпокоилъ самолюбіе своей аудиторіи не только патріотическими укоризнами, но и своими критическими сужденіями. Сергѣй Аксаковъ, слушавшій одну публичную лекцію Мерзлякова, именно о *Дмитріи Донскомъ* Озерова, отмѣтилъ недовольство публики на слишкомъ строгій судъ профессора надъ популярной трагедіей.

Наконецъ, еще въ одномъ отношеніи Мерзляковъ являлся истиннымъ учителемъ современнаго общества. Онъ—самъ плесей и труженникъ мысли,—впервые заговорилъ объ общественномъ зна-

ченіи поэтического дарованія. Онъ призывалъ современниковъ, менѣе всего привыкшихъ уважать писателя, «почтить науку и талантъ стихотворца изъ любви къ самимъ себѣ» и «очистить чрезъ это собственные удовольствія».

Все это выходило за предѣлы и классическихъ традицій, и старинныхъ университетскихъ припычекъ. Личная даровитость профессора дала чувствовать себя и въ содержаніи, и въ направленіи лекцій. Она также заставила его произвести важную реформу въ офиціальному преподаваніи.

До Мерзлякова русская литература преподавалась въ университетѣ нѣстѣ съ древними. Мерзляковъ сообщилъ кафедрѣ отечественной словесности самостоятельное значеніе. Раньше произведенія русской поэзіи разбирались исключительно по латинскимъ реторикамъ, Мерзляковъ выдвинулъ на первый планъ національное содержаніе русскихъ образцовъ и старыя руководства замѣнилъ новыми.

Какими же? Вотъ съ этого вопроса и начинается рядъ минутъ въ столѣ, понидимому, живой и оригинальной дѣятельности профессора.

Когда мы слышимъ отзывы о Мерзляковѣ, какъ лекторѣ, перечитываемъ его критическія статьи въ *Трудахъ Общества любителей Россійской Словесности*, въ журналахъ *Амфіонъ*, *Вѣстникъ Европы*, наши впечатлѣнія безпрестанно дwoятся. Мы ни на минуту не укрѣнены, съ кѣмъ мы имѣемъ дѣло, дѣйствительно ли съ реформаторомъ словесной науки, или съ лекторомъ и литераторомъ, ищущимъ популярности и въ то же время желающимъ спасти историческій престижъ своей ученой степени?

Прочтите разборы *Россиады* Хераскова, *Эдина* Озерова и особенно *Дмитрія Самозванца* — Сумарокова: сколько смѣлыхъ, свѣжихъ идей! Какая отвага въ развѣчиваніи общепризнанныхъ талантовъ и какое краснорѣчіе всюду, гдѣ защищаются интересы естественности, драматизма, психологіи! И даже нѣчто совсѣмъ новое и обѣщающее богатые плоды: профессоръ додумывается до исторической критики.

Онъ усиливается возстановить несправедливо поправшую память Тредьяковского, именуетъ его «просвѣщеннымъ учителемъ литературы», даже *Телемахиду* считаетъ «излишне порицаемою», грубость языка злополучнаго пѣнты приписываетъ не столько самому автору, сколько его времени и въ заключеніе подчеркиваетъ заслугу Тредьяковского въ вопросѣ о стихосложеніи.

По поводу Сумарокова—рѣзкая отвѣдь «ужственному рабству» русскихъ писателей предъ французскими. Ломоносовъ наводитъ критика на упрекъ, зачѣмъ поэтъ сочинялъ преимущественно торжественныя оды,—слѣдовало понизить тонъ лиры и выбрать болѣе будничныи предметъ: «человѣкъ всего занимательнѣе для человѣка». Съ этой же точки зрѣнія восхлѣбается Державинъ за употребленіе простыхъ народныхъ выраженій <sup>43</sup>).

Вообще характеристика Державина, какъ поэта, замѣчательна. Мерзляковъ предвосхитилъ основныя мысли Бѣлинскаго, подмѣтилъ главную силу державинскаго таланта—яркость и свѣжесть красокъ, и въ то же время недостатокъ искусства, изящества, чувства мѣры. Заключение безусловно въ пользу оригинальнаго таланта, какъ бы мало ни было въ немъ «гармоніи и симметріи». Выводъ Мерзлякова могъ навсегда остаться въ русской критикѣ. Онъ продиктованъ подлиннымъ художественнымъ чувствомъ:

«Разсматривая внимательно всѣ превосходства и недостатки Державина, я часто воображаю, что смотрю на открытую, великолѣпную и разнообразную до безконечности природу, во всей видимой и мнимой ея безнечности и свободѣ: она прелестна, величественна и въ своихъ безпорядкахъ, и въ своихъ ужасахъ, и въ своихъ безпрерывныхъ измѣненіяхъ; вездѣ и всегда трогаетъ мои чувства, не смотря на первое упорство строгаго разума, требующаго ближайшихъ и точнѣйшихъ отношеній и связей между предметами» <sup>44</sup>).

Въ учебникѣ, изданномъ для студентовъ, Мерзляковъ рѣшился даже высказать общее положеніе, оправдывающее его восторги предъ природой вопреки разуму.

«Изящное не доказывается по законамъ разума», писалъ профессоръ, «и правила вкуса не извлекаются изъ чистыхъ понятій, а выводятся только изъ опытовъ и повѣряются одною критикою» <sup>45</sup>).

На чемъ же будетъ основана сама критика?

По мнѣнію Мерзлякова, «ее можно назвать матерью и стражемъ вкуса». Очевидно, она должна руководиться какими-нибудь прочными и ясными принципами, иначе ея авторитетъ—стража—можетъ быть одинаково и отвергаемъ, и признаваемъ.

<sup>43</sup>) *Труды* О. Л. Р. С. 1812, I, *Разсужденіе о Россійской словесности въ нынѣшнемъ ея состояніи*.

<sup>44</sup>) *Труды*, 1820, XVIII. *Державинъ*.

<sup>45</sup>) *Краткое начертаніе теоріи изящной словесности*. Москва, 1822. *Вступленіе*.

Профессоръ даетъ въ высшей степени любопытный отвѣтъ:

«Самое понятіе о прекрасномъ чуждо всякихъ законовъ; только критика вкуса имѣетъ здѣсь свой голосъ, болѣе или менѣе определенный».

Мало этого. «Произведенія изящныхъ искусствъ, какъ предметы чувствованія и вкуса, не подвержены строгимъ правиламъ и не могутъ, кажется, имѣть постоянной системы или науки изящнаго».

Выводъ, повидимому, ясенъ: чувство, а не разумъ, вкусъ, а не теорія, впечатлѣнія, а не законы—таковы основы критики.

И если вы сопоставите выводъ съ уничтожающей критикой на классическія трагедіи, съ гражданскимъ негодованіемъ на чужбѣ и на пассивное преклоненіе предъ авторитетами,—предъ вами возстанетъ образъ критика-реформатора, профессора-просвѣтителя.

И у Мерзлякова были всѣ задатки выполнить это назначеніе, и все-таки онъ не выполнилъ, даже больше. На фонѣ талантливости все одолѣвшіе педантизмъ и малодушіе производятъ на насъ несравненно болѣе прискорбное впечатлѣніе, чѣмъ скоропалительное и пустоцвѣтное шellingianство Давыдова, товарища Мерзлякова и его преемника на кафедрѣ словесности.

## XXII.

Никакія независимыя идеи, самыя пылкія импровизаціи не помогали Мерзлякову не только преподавать учебную теорію изящнаго, но даже найти себѣ учителя въ лицѣ нѣмецкаго эстетика.

Два руководства, предложенныя студентамъ, *Краткое начертаніе теоріи изящной словесности* и *Краткая риторика* представляли компиляцію книги Эшенбурга: *Entwurf einer Theorie und Litteratur der schönen Wissenschaften*. Книга—одно изъ дѣтищъ школьнаго классицизма.

Но сущность заключалась не въ достоинствахъ или недостаткахъ нѣмецкой теоріи, а въ томъ, что русскій профессоръ не нашелъ другого средства просвѣщать своихъ слушателей, кромѣ перевода и компиляціи.

При такомъ оборотѣ дѣла всѣ критическія новшества, отрицанія, системы и воззванія къ художественному чувству утрачивали всякое практическое значеніе.

Профессоръ твердо держался разъ принятаго пути—до такой

степени твердо, что за свои компиляторскія наклонности подвергся даже порицанію учебнаго начальства.

Въ концѣ 1827 года Мерзлякову поручили составить для гимназій риторикъ и піитику. Спустя два года, Мерзляковъ представилъ въ Комитетъ учебныхъ пособій рукопись. Отзывъ послѣдовалъ слѣдующій:

«Комитетъ, разсмотрѣвъ рукописи Мерзлякова, нашелъ, что онѣ суть ничто иное, какъ почти буквальный переводъ извѣстной книги Гейнзія *Der Redner und Dichter* и персводъ очень неудачный съ прибавленіемъ авторомъ древнихъ и европейскихъ изъ Эшенбурга и съ присовокупленіемъ русскихъ, весьма недостаточныхъ. Что касается до примѣровъ, то оныя или переведены изъ Гейнзія же, или заимствованы безъ разбора изъ старыхъ нашихъ риторикъ и піитикъ, а потому всѣ почти обветшавшія. Такъ, въ примѣрѣ ироніи приводится: *Счастливы тѣ народы, у коихъ боговъ полны огороды!* Или для показанія слога сатиры приводится сатира Антиоха Кантемира *Къ уму своему*. Даже самыя опечатки старыхъ примѣровъ не исправлены какъ слѣдуетъ».

Рукопись была возвращена автору и замѣнена *Россійской Риторикой* Кошанскаго, основанной «на нынѣшнемъ состояніи нашей словесности» <sup>46)</sup>.

Этотъ фактъ въ высшей степени краснорѣчивъ. Онъ показываетъ, на что сошла дѣятельность Мерзлякова. Жестокому отзыву комитета соотвѣтствовало и отношеніе молодежи къ профессору.

Слава его, какъ лектора, скоро стала преданіемъ. Преподаватель будто съ самаго начала вступилъ на наклонную плоскость и безостановочно шелъ къ полному паденію. Уже въ двадцатыхъ годахъ у Мерзлякова не было благодарной аудиторіи. Импровизации, какъ бы онѣ иногда ни удавались, не могли скрыть страшнаго для профессора порока: Мерзляковъ не слѣдилъ за своею наукою и не вдумывался въ развитіе русской художественной литературы. Вновь возникавшія явленія заставляли его врасплохъ и онъ или подвергалъ ихъ суду съ точки зрѣнія своихъ риторикъ, или обличалъ полную растерянность критической мысли.

Еще въ 1818 году онъ напалъ на баллады и на «духъ германскихъ поэтовъ» на совершенно неожиданномъ основаніи, неожиданномъ послѣ войны съ русскимъ классицизмомъ:

«Что это за духъ, который разрушаетъ всѣ правила піитики,

<sup>46)</sup> Н. Барсуковъ. *Жизнь и труды М. И. Погодина*. III, 166—7.



сжѣшиваетъ всѣхъ роды, комедію съ трагедіей, пѣсни съ сатирой, балладу съ одой и пр. и пр.»<sup>47)</sup>.

Мы должны помнить, эта вылазка явно направлена противъ *Жуковскаго*—основателя того самаго общества, о какомъ Мерзляковъ хранилъ восторженные воспоминанія. Выходило, слѣдовательно, противорѣчіе даже въ личныхъ отношеніяхъ профессора, и не по какимъ-либо причинамъ эгоистическаго характера, а во славу пѣн-тики, ради идеи. Фактъ существенной важности. Правила, будто фатумъ, тяготѣли надъ мыслью ученаго и вынуждали его на поступки, способные произвести на историка весьма двусмысленное нравственное впечатлѣніе. Тѣмъ болѣе, что выходка противъ балладъ явилась отъ *неизвѣстнаго* лица, но имѣвшаго будто никакихъ касательствъ къ бывшему члену *Дружескаго общества*.

Недоразумѣнія, все равно, какъ и ремесленническое компляторство, могли только усиливаться съ годами.

Во имя пѣнтики были осуждены баллады, ради Горація—въ самое странное положеніе пошла лирическая поэзія. Мерзляковъ вообще всю поэзію раздѣлилъ на два рода: эпическій и драматическій, а лирическую включилъ въ разрядъ эпической.

И такъ могъ разсуждать авторъ *тѣсенъ и романсовъ*!

Не только художественное чутье, но простое чувство *самооправданія* должно бы подсказать профессору болѣе эстетическій и уважительный взглядъ на любимый родъ поэзіи.

Послѣ этого не удивительны упражненія Мерзлякова не только въ торжественномъ одописаніи, но и въ переводахъ идиалій г-жи Де-зульеръ. Профессоръ могъ впасть въ преднамѣренное пѣнтическое «пѣяство» и мириться съ приторной сентиментальностью въ панье и въ красныхъ каблучкахъ.

Мерзляковъ имѣлъ несчастіе дожить до молодыхъ произведеній Пушкина. Выходили *Русланъ и Людмила*, *Кавказскій Пльнникъ*, профессору надлежало бы сказать вѣское слово по этому поводу, тѣмъ болѣе, что студенты немедленно были охвачены жгучимъ интересомъ къ событію.

Учителю, оказалось, нечѣмъ было отозваться на увлеченіе молодежи. Блестящій стихъ Пушкина, неисчерпаемая роскошь и ослѣпительная яркость образовъ не могли, конечно, не тронуть *сердца* критика, столь удачно оцѣнивашаго талантъ Державина.

Но это былъ безсознательный трепетъ, невольное и смутное

<sup>47)</sup> *Труды*, XI, *Письмо изъ Сибири*.

впечатлѣніе, слабый отголосокъ настроеній, подсказавшихъ профессору задумчивыя ноты въ его собственныхъ пѣсняхъ.

Мерзляковъ плакалъ, читая *Кавказскаго Пльнника*. «Онъ чувствовалъ,—разсказываютъ очевидцы,—что это прекрасно, но не могъ отдать себѣ отчета въ этой красотѣ и безмолвствовалъ».

Безмолвіе, конечно, въ данномъ случаѣ дѣлало профессору больше чести, чѣмъ рѣчи его товарищей по университету въ родѣ Каченовскаго и Надеждина. Но и безмолвіе при столь краснорѣчивомъ голосѣ самой жизни—явное свидѣтельство безсилія, отсталости, нравственной смерти заживо.

Мерзляковъ до конца оставался дѣятельнымъ членомъ университета и *Общества любителей россійской словесности*, но въ этой дѣятельности не было ни жизненности, ни современности, слѣдовательно, плодотворности, а главное, не было единства, послѣдовательности и строгой принципіальности.

Въ свѣтлые моменты профессоръ отряхивалъ руки отъ всякихъ пѣтическихъ узъ и, указывая на сердце, говорилъ слушателямъ: «Вотъ гдѣ система». И непосредственно за столь эффе́ктнымъ жестомъ могла послѣдовать цѣлая диссертація о правилахъ, длинная ода со всѣми реторическими фигурами и въ самомъ «высокомъ штилѣ».

Естественно, Мерзляковъ еще при жизни, отъ своихъ же учениковъ, слышалъ вопли: справедливый судъ, чрезвычайно скромный по формѣ, но уничтожающій по существу.

Одинъ изъ представителей молодого поколѣнія задумалъ высказать нѣсколько соображеній по поводу сочиненія Мерзлякова *О началѣ и духѣ древней трагедіи*. Критикъ приступилъ къ своей задачѣ съ совершеннымъ уваженіемъ къ профессору, но уваженіе не помѣшало автору понасть не въ бровь, а въ глазъ заслуженному словеснику.

У Мерзлякова оказывались только «искры чувствъ», «разбросанныя понятія о поэзіи, часто облеченныя прелестью живописнаго слова, но не связанныя между собою, не озаренныя общимъ взглядомъ и перебитыя явными противорѣчіями».

Указывался и еще болѣе существенный недостатокъ, столь же неожиданный, какъ и сдѣлки профессора-поэта съ пѣтиками. Исторія происхожденія искусствъ у него «забавныя сказочки», нѣтъ представленія о «постепенности существеннаго развитія искусствъ». Это значило—нѣтъ историческаго метода, т. е. основного условія научности и вѣрности литературныхъ сужденій. А

между тѣмъ, могли же мы отнѣтити вполне историческую оцѣнку дѣятельности Тредьяковскаго!..

Но и она пронеслась «искрой»...

Критикомъ Мерзлякова явился очень молодой, двадцатилѣтній юноша. Мы съ нимъ встрѣтились, какъ съ однимъ изъ даровитѣйшихъ представителей философскаго поколѣнія и въ то же время питомцемъ вѣдуниверситетскаго разсадника знанія и идей. Отсюда, мы видимъ, поднималась неизбежная война противъ официальной академической науки, неспособной, очевидно, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ стать съ вѣкомъ наравнѣ и покончить съ обветшалыми уставами своего цеха.

Мы называемъ благопріятными условіями даровитость Мерзлякова и его природенное стремленіе къ критически независимой, художественно-чуткой мысли.

Только въ исключительныхъ случаяхъ ученая степень и профессура могли соединиться съ поэтическимъ талантомъ, и это соединеніе не повело ни къ какимъ положительнымъ результатамъ.

Мы только-что видѣли отзывъ критика изъ круга современной молодежи, еще рѣзче приговоръ поэта, первостепеннаго художника, болѣе всего заинтересованнаго въ вопросѣ.

Пушкинъ не согласенъ признавать никакихъ заслугъ за критикой Мерзлякова, даже упадокъ славы Хераскова онъ считаетъ независящимъ отъ мерзляковскихъ лекцій. Общее мнѣніе Пушкина о профессорѣ самое отчаянное: «добрый пьяница, но ужасный нечѣжда» <sup>48</sup>).

Послѣднее сужденіе, въ сущности, имѣлъ въ виду и критикъ, обличавшій ученаго въ забавныхъ сказочкахъ.

Но Пушкинъ распространилъ свой взглядъ и не пощадилъ вообще университета. Для него это царство «предразсудковъ и вандализма».

И у поэта есть подлинныя данныя изрекать такой приговоръ. Онъ называетъ еще одно профессорское имя съ не менѣе безпощадными эпитетами: «Каченовскій тупъ и скученъ».

Устами поэта, несомнѣнно, говорили гнѣвъ и страсть: Каченовскій досадилъ Пушкину многообразными путями, и лично, и особенно при посредствѣ своего соратника—Надеждина.

<sup>48</sup>) Письмо къ А. Бестужеву. 21 марта 1825 г. Письмо къ Плетневу 28 марта 1831 г.

Но какъ бы мы ни смягчали форму пушкинскихъ опредѣленій, смыслъ останется непоколебимъ и исторически-справедливъ. Именно въ лицѣ Каченовскаго профессорская «наука» выступала съ самыхъ громоздкимъ арсеналомъ противъ жизни и поэзіи, противъ насущнѣйшихъ стремленій молодыхъ поколѣній и настоятельнѣйшихъ фактовъ новой литературы.

### XXIII.

Литературная дѣятельность Каченовскаго неразрывно связана съ *Вѣстникомъ Европы*. Послѣ Карамзина журналъ этотъ сталъ университетскимъ по сотрудничеству профессоровъ и ихъ ближайшихъ учениковъ. Каченовскій, ставшій во главѣ журнала съ 1805 года, старался придать ему ученый и вполне джентльменскій характеръ. Онъ обѣщалъ читателямъ не помѣщать пасквилей, не нападать на личности и давать только серьезный и вполне литературный матеріалъ.

По части учености обѣщанія были выполнены. Редакторъ, специалистъ въ русской исторіи, давалъ много оригинальныхъ и переводныхъ статей историческихъ, филологическихъ и даже философскихъ.

Далеко не всѣ статьи отличались одинаковыми достоинствами. Каченовскій въ изученіи источниковъ русской исторіи проявлялъ большую критическую пропидательность и отважный скептицизмъ. Гончаровъ, слушавшій его лекціи въ тридцатыхъ годахъ, такъ передаетъ свои впечатлѣнія:

«Когда онъ касался спорнаго въ исторіи вопроса, щеки его обыкновенно блѣдныя, загорались алымъ румянцемъ и глаза блистали сквозь очки, а въ голосѣ слышался задоръ редактора *Вѣстника Европы*. Онъ мысленно видѣлъ предъ собою своихъ ученыхъ противниковъ и поражалъ ихъ стрѣлами своего неумолимаго анализа. И всю исторію такъ читалъ, точно смотрѣлъ въ нее глубоко, какъ въ бездну, сквозь свои критическіе очки».

Несомнѣнно, анализъ и скептицизмъ приносили большую пользу слушателямъ Каченовскаго. Профессоръ, между прочимъ, дерзнулъ поднять руку и на Карамзина, подвергъ строгой критикѣ предисловіе къ *Исторіи Государства Россійскаго*. Еще плодотворнѣе могъ быть ученый анализъ касательно лѣтописныхъ легендъ.

Но отвага и скептицизмъ Каченовскаго имѣли предѣлы, весьма замѣчательные для личной характеристики ученаго.

Прежде всего, Каченовскій рѣшительно не отличался нравственнаго мужествомъ, этимъ основнымъ условіемъ мощныхъ вліяній скептицизма и критики. Когда на него напали сильные люди за отзывы о Карамзинѣ, онъ окончательно растерялся и болѣе не хотѣлъ и слышать о критикѣ на исторіографа. Потомъ, вообще литературную критику ученый редакторъ считалъ дѣломъ второстепеннымъ въ журналѣ и не имѣлъ ни малѣйшаго представленія о животрепещущемъ нервѣ журналистики своего времени. Наконецъ, благонамѣренность скептического историка доходила до умпантельно-услужливой защиты благодѣтельныхъ вліяній цензуры на литературу. Защита звучала очень внушительно, такъ какъ авторъ ссылаясь на французскую революцію.

Въ устахъ журналиста эта рѣчь являлась довольно неожиданной, особенно при старыхъ цензурныхъ порядкахъ.

Но еще важнѣе отношеніе Каченовскаго къ современнымъ направленіямъ мысли и литературы.

Гончаровъ замѣчаетъ, что Каченовскій—скептикъ «кажется, во всемъ». Догадка довольно удачная. Ученый дѣйствительно проявилъ свой неумолимый скептицизмъ въ области искусства и философіи, но только не на счетъ прошлаго и отжившаго, а какъ разъ противъ всего новаго и свѣжаго.

Конечно, и здѣсь сомнѣніе подчасъ оказывалось цѣлесообразнымъ, и мы указывали раньше на удачную отвѣдь *Вѣстника Европы* неразумнымъ выученикамъ карамзинской чувствительности. Но чаще всего скептицизмъ Каченовскаго билъ мимо цѣли и обличалъ въ ученомъ профессорѣ изумительную ограниченность пониманія современности и удручающую притупленность художественнаго вкуса.

Никто изъ ученыхъ педантовъ не доставлялъ такихъ благодарныхъ темъ для всякаго рода издѣвательствъ, какъ редакторъ *Вѣстника Европы*. Поэты, съ Пушкинымъ во главѣ, осыпали его эпиграммами и посланіями, и нѣкоторыя выраженія этихъ эпиграммъ, въ родѣ «во тьмѣ, въ пыли, въ презрѣннѣ послѣдній», невольно припоминаются по поводу многочисленныхъ вылазокъ журнала Каченовскаго въ современную словесность.

Прежде всего, любопытенъ вопросъ касательно философіи. Каченовскій и въ университетѣ, и въ литературѣ жилъ и дѣйствовалъ среди философовъ, но всегда послѣдовательныхъ и устойчивыхъ, но, во всякомъ случаѣ, тронутыхъ господствующими теченіями.

Были и равнодушные, въ родѣ Мерзлякова, не подавшаго голоса ни за, ни противъ новыхъ увлеченій. И умолчаніе въ духѣ этого профессора, покладливаго, противорѣчиваго и далеко не всегда укрѣпленнаго въ своихъ собственныхъ убѣжденіяхъ.

Другое дѣло Каченовскій. Онъ заговорилъ громко и авторитетно, и какъ заговорилъ!

Пушкинъ негодовалъ на «пасквилей томительную тупость» въ *Вѣстникѣ Европы*; философы имѣли всѣ основанія еще выше поднять негодующій тонъ.

Каченовскій неоднократно пытался побить камнями нѣмецкую философію и дѣлалъ это въ чрезвычайно грубой, отнюдь не научной формѣ. Мы знаемъ отзывъ о Шеллингѣ: много наименованія, кромѣ «галиматіи», шеллингіанство въ глазахъ русскаго профессора не заслуживало.

Этого взгляда *Вѣстникъ Европы* держался неуклонно до самой своей кончины, въ 1830 году. Каченовскій, накануне прощанія съ своею публикой, продолжалъ недоумѣвать: «Ничего ради, смѣемъ спросить, изъ германскихъ головъ этотъ весь товаръ, состоящій изъ невразумительныхъ или затѣйливыхъ диковинокъ, желаютъ нагрузить въ головы русскія?»

Любопытно, что профессоръ ограничивался только оригинальными примѣчаніями скептическаго направленія, самыя статьи о философіи переводились съ иностранныхъ языковъ.

Легко представить, на какомъ уровнѣ стояли философскія воззрѣнія Каченовскаго, если даже Давыдовъ счелъ необходимымъ почерпнуть кое-что изъ шеллингіанства и навлекъ на себя начальственное неудовольствіе за германскую «галиматію».

Совершенно такого же достоинства и чисто литературныя идеи Каченовскаго. Онъ оставался неизмѣннымъ защитникомъ классицизма. Здѣсь, очевидно, не хватило у него ни критики, ни простой разсудительной вдумчивости. Для профессора классическая цѣнтрика пребывала сокровищницей «правилъ здраваго смысла» и «Викторъ Гюгонъ» на его взглядъ былъ однимъ только и замѣчательнымъ—«уклоненіемъ отъ подчиненности» этимъ правиламъ.

При такихъ условіяхъ *Вѣстникъ Европы* превратился въ пріютъ всяческаго литературнаго старовѣрія. Мерзляковъ охотно помѣщалъ здѣсь свои статьи, съ профессоромъ дѣлательно конкурировали разные «жители Бутырской слободы», старавшіеся поражать ненавистныя новшества стилемъ болѣе легкимъ и современнымъ.

Одна изъ жертвъ—поэма Пушкина *Русланъ и Людмила*



герой—«житель Бутырской слободы», его впоследствии сменить житель Патриарших прудов и, не смотря на значительное расстояние между этими московскими урочищами, оба критика окажутся самыми близкими соседями по духу и таланту.

«Житель» грохотъ Пушкина во имя «нашихъ стариковъ», между прочимъ, Сумарокова и Петрова, находилъ иронически «очаровательную дикость» въ современной поэзіи и совершенно утрачивалъ терпѣніе при одной мысли о Пушкинской поэзіи. Критика она особенно позмущала своимъ не аристократическимъ содержаниемъ. Она—подражаніе *Круслану Лазаревичу*!.. «Житель», сдѣлавъ нѣсколько цитатъ, обращается къ публикѣ:

«Позвольте спросить: если бы въ московское благородное собраніе какъ-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: *здорово, ребята!* Неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться? Бога ради, позвольте мнѣ, старику, сказать публикѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. Зачѣмъ допускать, чтобы такія шутки старины снова появлялись между нами! Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвѣщеннымъ, отвратительна, а ни мало не смѣшна и не забавна. Dixi».

Бутырскій житель вызвалъ достойную головоломку у современныхъ же читателей. Сынъ Отечества, направляемый Гречемъ, высмѣялъ старческое брюзжаніе московскаго журнала и довольно искусно побилъ его его же авторитетами—древними и новыми классиками—по части свободы въ эпизодахъ и стихѣ пушкинской поэмы.

Но *Вѣстникъ Европы* твердо держался своей линіи. Бутырскій житель отвѣчалъ обширной антикритикой.

Подробности этой полемики даже въ свое время не представляли насущнаго интереса для читателей. Поэтическое произведеніе по существу играло совершенно второстепенную роль въ журнальной перепалкѣ. Споръ шелъ на архивную, только отчасти преобразованную тему—о старомъ и новомъ. И *Вѣстникъ Европы* упорно отстаивалъ преданья старины глубокой.

Но, очевидно, упорство на подобномъ пути само по себѣ преизобильно псевдовозможными неожиданностями и противорѣчіями. Волны ненависти, но сильной жизни поминутно врыпались въ кабинетъ ученаго и подчасъ производили здѣсь удивительный безпорядокъ.

Каченовскому съ своимъ журналомъ приходилось попадать въ



Въ результатъ послѣдовала жестокая борьба теоретиковъ романтизма съ величайшимъ практикомъ современнаго искусства. Борьба по существу выходила сплошнымъ недоразумѣніемъ, свидѣтельствowała о возрожденіи эстетическаго отвлеченнаго деспотизма только на другихъ основахъ, праждебныхъ классикамъ, по столъ же истершимъ и противо-художественнымъ.

Критики романтическаго направленія образовали свою академію въ университетской наукѣ и въ печати, оградили себя формулами и правилами и будто изъ засады принялись гроить современную поэзію, не стоявшую на высотѣ теоретически-выработанной *идейности смысла* и наивно-превознесенной романтической *силы творчества*.

Очевидно, романтизмъ долженъ былъ внести въ критику такой же разладъ, какой былъ созданъ философіей.

Мы видѣли, ученые философы, при лучшихъ наклоненіяхъ, не могли оказать непосредственныхъ вліяній на художественную литературу, съ самаго начала воспарили на такія недосягаемыя вершины созерцанія, что всякая дѣйствительность предъ созерцателемъ превращалась въ ничто, безслѣдно пропадала на неограниченномъ горизонтѣ его орлиного взгляда.

То же самое произошло и съ не менѣе учеными романтиками.

Они съ высоты каедръ взяли столь же выпрепній тонъ и поддались такому же несдержимому полету въ эфирныя высоты идеальнаго искусства, и между ихъ фантазіей и дѣйствительностью легла роковая пропасть. Они, толкуя о романтизмѣ, о вдохновеніи, о поэтической свободѣ, о творческой гениальности, являлись столь же практически-безплодными резонерами, какъ и самыя отвлеченныя метафизики и схоластики.

Въ результатъ, философія и романтизмъ могли стать дѣйствительно жизненными силами только при одномъ условіи: если они окончательно освобождались отъ школьнаго педантизма и отрубшеннаго теоретическаго священнодѣйствія, если философія переставала быть схоластическою игрой въ формулы, опредѣленія и умозаключенія, а романтизмъ—новымъ виномъ для старыхъ мѣховъ, т. е. новымъ матеріаломъ для эстетическихъ рубрикъ и начальническихъ экзекуцій со стороны парнасскихъ стражей въ преобразованныхъ мундирахъ.

Это условіе исполнѣ осуществилось и въ философіи, и въ эстетикѣ. Рядомъ съ университетомъ и оффиціальными учителями философіи возникли и быстро разрослись общества свободнаго любо-

мудрія, рядомъ съ профессорами-журналистами дѣятельно работала молодежь, безпрестанно вступая въ жестокія схватки съ старшимъ поколѣніемъ. Критическая работа долго продолжается идти двумя путями. Они по существу отнюдь не враждебны другъ другу, знамена у того и другого лагеря носятъ одни и тѣ же девизы: философія и романтизмъ. Но разница въ приложеніи этихъ девизовъ къ жизни, въ практическомъ истолкованіи основныхъ принциповъ.

Разница обнаружилась очень рано по всѣмъ направленіямъ—и философскому, и литературному. *Вѣстникъ Европы* Каченовскаго явился любопытнѣйшей сценой перваго столкновенія. Журналъ потерялъ сотрудничество кн. Вяземскаго и пріобрѣталъ новаго критика въ лицѣ *Иванова*.

Почему же одинъ могъ подвизаться на страницахъ профессорскаго органа съ чрезвычайной свободой, а другой—объявить безпощадную войну своему бывшему редактору?

Вопросъ во всѣхъ отношеніяхъ настоящий.

Князю Вяземскому, послѣ разлуки съ Каченовскимъ, вздумалось пріѣхать въ *Кавказскаго пльнника*. И онъ сдѣлалъ это въ *Сынъ Отечества*, но могъ бы сдѣлать и въ *Вѣстникъ Европы*: здѣсь, мы видѣли, Погодинъ напечаталъ не менѣе лестную статью о пушкинской поэзі.

Далѣе, въ статьѣ кн. Вяземскій выступилъ на защиту «поэзіи романтической», и писалъ слѣдующее:

«На страхъ оскорбить присяжныхъ приверженцевъ старой Парнасской династіи, рѣшились мы употребить названіе, еще для многихъ у насъ дикое и почитаемое за хищническое и незаконное. Мы согласны: отвергайте названіе, но признайте существованіе. Нельзя не почесть за непоколебимую истину, что и литература, какъ и все человѣческое, подвержена измѣненіямъ; они многимъ изъ насъ могутъ быть не по сердцу, но отрицать ихъ невозможно или безразсудно. И нынѣ, кажется, настала эпоха подобнаго преобразованія»<sup>51</sup>).

Тѣ же истины, неизбежнаго паденія классицизма, будетъ доказывать и критикъ *Вѣстника Европы*, и между тѣмъ именно онъ вызоветъ неумолимое ожесточеніе у поэтовъ и публицистовъ, безусловныхъ романтиковъ. Даже пушкинскія эпиграммы на Каче-

<sup>51</sup>) Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго. Изд. гр. Шереметева. Спб., 1878. I, 73.

новскаго побѣди́ють предъ нападками на его сотрудника, Надеждина—фигура, одинаково ненавистная и поэту Пушкину, и журналисту Полевому, хотя журналистъ далеко не поклонникъ поэта, напротивъ: Полевой даже нерѣдко совпадётъ въ своихъ сужденіяхъ съ приговорами Надеждина. Но какъ бы далеко ни шло единодушіе и какъ бы по временамъ ни обострялись отношенія Полевого къ Пушкину, критикъ журнала Каченовскаго не встрѣтитъ ни снисхожденія, ни простого признанія ученыхъ или литературныхъ заслугъ даже въ самыхъ ограниченныхъ предѣлахъ.

Фактъ тѣмъ краснорѣчивѣе, что Надеждинъ—даровитѣйшій и дѣятельнѣйшій представитель ученой критики. Мерзлякова онъ превосходилъ знакомствомъ съ философіей, Каченовскаго—литературной талантливостью. У него не было художественной струны, таившейся въ природѣ Мерзлякова, никакимъ поэтическимъ дарованіемъ Надеждинъ не обладалъ, но онъ зато и не прозябалъ въ неисправимомъ компиляторствѣ и кабинетной дѣлѣ.

Германская философія, повидимому, даже ни на мгновеніе не смутила спокойствія Мерзлякова, профессоръ если и видѣлъ чужія увлеченія, то совершенно просматрѣвалъ ихъ смыслъ.

Съ Надеждинымъ не могло этого случиться. Онъ учился философіи, еще не разсчитывая на профессорскую кафедру, и мы знаемъ, съ какимъ приподнятымъ чувствомъ онъ передавалъ свои воспоминанія о старыхъ учителяхъ философіи.

Это чувство ставило Надеждина на значительную высоту сравнительно съ его товарищами-профессорами, возвышало его и надъ петербургскими шеллингианцами, потому что у молодого ученаго очень рано обнаружались живыя публицистическія наклонности. Онъ не могъ молчать, подобно Велланскому, и съ презрѣніемъ говорить о большой публикѣ, подобно Галичу. И если соединеніе поэтическаго таланта съ ученостью ставило Мерзлякова въ особенно благопріятныя условія относительно критической дѣятельности, не менѣе благопріятно сложились условія и для Надеждина, можетъ быть, даже еще благопріятнѣе. Во всякомъ случаѣ, способности журналиста не менѣе важны для критика, чѣмъ талантъ поэта, и Надеждинъ явился очень раннимъ и очень рѣдкимъ примѣромъ ученаго-публициста. Всякому ясно, сколько можно было извлечь цѣннаго матеріала изъ науки для общественной мысли и какимъ свѣтомъ—озарить мысль во имя широкаго просвѣщенія!

Что же въ дѣйствительности извлекъ Надеждинъ изъ своихъ талантовъ?

Когда мы въ настоящее время читаемъ статьи Надеждина, насъ неотвязно преслѣдуетъ одно и то же впечатлѣніе: какія мучительныя усилія долженъ былъ употреблять этотъ человѣкъ, чтобы сочинять цѣлыя страницы непремѣнно сверхъестественнаго краснорѣчія! А если все это давалось автору легко, какъ мало тогда въ немъ жило чувства мѣры и настоящей красоты и правды!

Это какой-то фанатизмъ риторства, дящесся изступленіе въ погонѣ за прекраснословіемъ, нервная лихорадка при одной мысли вдругъ не проявить «стиля» и написать, какъ пишутъ и говорятъ обыкновенные люди. Это было бы посрамленіемъ достоинства ученаго и философа!

Къ чему ведетъ такая стремительность, мы отчасти знаемъ на примѣрѣ Карамзина. Краснорѣчіе можетъ не только затемнять смыслъ рѣчи, но даже извращать факты, создавать небывалое въ дѣйствительности и перетолковывать простѣйшія данныя. Мы увидимъ, какую богатую поживу въ этомъ направленіи представилъ исторіографъ своимъ критикамъ.

То же самое съ Надеждинымъ.

Возьмемъ нѣсколько примѣровъ изъ его докторской диссертациі: они совершенно опредѣленно познакомятъ насъ съ литературной и ученой личностью критика. Идеи его мы пока оставимъ: намъ нуженъ психологическій процессъ, какимъ создавались идеи и форма, въ какой появлялись предъ публикой.

Прежде всего, важнѣйшій вопросъ объ *изящномъ* и объ осуществленіи его въ произведеніяхъ искусства. Профессоръ разсуждаетъ:

«Единое вѣчное и безпредѣльное *изящество* само по себѣ недоступно ни для какого сотвореннаго ока. Оно дозволяетъ только лобызать край ризъ своихъ благоговѣльному чувству въ явленіяхъ, образующихъ величественное царство *природы* или таинственное святилище *духа* человѣческаго».

Не менѣе краснорѣчиво изображеніе античнаго міросозерцанія.

«Въ *древнемъ* мірѣ, прензбыточествующій внутренней полнотою духъ, проторгаясь внѣ себя, естественно долженъ былъ срѣтаться безпредѣльный океанъ бытія, коего неукротенныя волны колышались, вздымаемыя внутреннею непостижимою силою, не вступавшею еще ни въ содружество, ни въ борьбу ни съ какимъ чуждымъ могуществомъ. Это было невѣдомое море, коего безбрежнаго

хребта не разсѣкало еще ни одно дерзновенное кормило, въ коего прозрачныхъ струяхъ не рисовался еще ни одинъ строптивый парусъ, напряженный человѣческой рукою. И чѣмъ слѣдовательно могло быть препинаемо или развлекаемо созерцаніе сего величественнаго океана вещественной жизни, коего безбрежный кристаллъ одвѣтлялся только однимъ чистымъ отраженіемъ свѣтлой лазури небесъ, съ нимъ сливавшихся?» <sup>52</sup>).

Одновременно съ этой статьей въ *Вѣстникъ Европы* появился также отрывокъ изъ диссертациі. Книга была написана на латинскомъ языкѣ, называлась *De origine, natura et satis poeseos quae romantica audit*, и для двухъ московскихъ журналовъ, авторъ перевелъ нѣсколько главъ.

Отрывокъ въ журналѣ Каченовскаго не такъ философиченъ и глубокомысленъ, какъ въ *Атеней*. Профессоръ Павловъ, швейцарецъ, редактировалъ *Атеней* и, вѣроятно, соблазнился высиреннимъ полетомъ ученаго. Но и въ другой статьѣ Надеждинъ остается на высотѣ призванія.

Напримѣръ, онъ преподастъ намъ такое поученіе на счетъ благоразумія и умѣренности чувствъ и настроеній:

«Гражданину настоящаго міра не слѣдуетъ сія неуѣренная расточительность внѣшней жизни, по силѣ коей все классическое бытіе рода человѣческаго было не что иное, какъ веселое пированіе въ роскошномъ лонѣ природы; но, съ другой стороны, онъ не долженъ позволять себѣ и того бурнаго кипѣнія жизни внутренней, коимъ называемый духъ *Романтическаго* міра необузданно скитался по распутіямъ мечтаній и призраковъ» <sup>53</sup>).

Кромѣ такихъ лирическихъ «безпорядковъ», каждая страница у Надеждина пестритъ изумительно замысловатыми выраженіями и словами: «заклеймить себѣ въ собственность», «созвать всеобщее вниманіе», «завидливое черножелчіе», «зажиточное воображеніе».

Три года спустя Надеждину пришлось говорить рѣчь въ торжественномъ собраніи университета на тему той же диссертациі *О современномъ направленіи изящныхъ искусствъ*. Реторическій зудъ будто нѣсколько убавился или ораторъ постарался приноровиться къ аудиторіи, но и здѣсь встрѣчаются рѣдкостіиѣишіе перлы своеобразнаго витіиства, всевозможныя фигуры перепол-

<sup>52</sup>) Различіе между пластическою и романтическою поэзіею, обтѣсняемое изъ ихъ происхожденія. *Атеней*. 1830, январь, стр. 6, 9, 10.

<sup>53</sup>) О настоящемъ злоупотребленіи и искаженіи романтической поэзіи. *В. Евр.*, 1830, янв., 16.

няють рѣчь и намъ подчасъ становится жаль самоотверженно усердствующаго оратора. Тѣмъ болѣе жаль, что могло быть слыш-комъ мало цѣнителей подобнаго усердія и среди современниковъ, и среди потомства.

Профессоръ наносилъ явный ущербъ словесности, сообщая своему стилю холодный, жеманный пафосъ, во времена Пушкина создавая своего рода классическій этикетъ формы, до такой степени странный и даже противоестественный въ новой литературѣ, что именно риторство Надеждина особенно вредило содержанію его лекцій и статей.

Отъ этого содержанія нельзя было ожидать особенной поучительности и свѣтлыхъ взглядовъ. Вся научная подготовка Надеждина такого сорта, что для дѣйствительно поучительной и *дви-жающей* профессорской дѣятельности требовалась исключительная *жизненная* талантливость самой натуры,—тонкая, воспримчивая, художественно-богатая. Ею не обладалъ профессоръ, и въ результатѣ на университетской кафедрѣ и въ журналистикѣ явился новый дѣятель въ общемъ стараго типа, лишій тормазъ для русскаго творчества со стороны схоластики, для русской критики со стороны притязательной, нетерпимой учености.

Это не значить, будто у краснорѣчиваго словесника совсѣмъ не было ни одной положительно полезной мысли и онъ въ теченіе всей своей жизни не сказалъ ни единого прочнаго слова. Нѣтъ. Такой сплошной мракъ просто исторически-немыслимъ въ философскую эпоху. Надеждинъ, какъ и всѣ, стоялъ у источника великихъ идей, и было бы странно, если бы ни одной капли живой воды не попало въ мутныя волны профессорскихъ диссертаций. Этого, конечно, не случилось, и Надеждинъ волей-неволей заимствовалъ не мало хорошихъ мыслей не у опредѣленныхъ учителей, а просто, можно сказать, изъ окружающаго воздуха.

Этимъ хорошимъ профессоръ обязанъ исключительно своему времени, все отсталое, педантически нетерпимое, всѣ недоразумѣнія и сознательная борьба съ лучшими явленіями современной литературы лежатъ на личной совѣсти ученаго.

Его талантъ журналиста только еще рѣзче подчеркнул его грѣхи и будто безповоротно украсилъ врата университетскаго храма науки въ философскій періодъ надписью: *Оставь надежду...*

Мы тщательно выдѣляемъ изъ трудовъ нашего ученаго все, что могло быть сохранено его младшими современниками, и въ чемъ на первый взглядъ можно видѣть его *учительство* въ литературной критикѣ.



Это учительство съ давнихъ поръ ставится на совершенно незаслуженную высоту, съ нимъ неразрывно связывается умственное развитіе и критическая дѣятельность Бѣлинскаго.

Такъ вопросъ представляется ближайшихъ современникамъ и профессора, и его ученика. Въ статьѣ одного изъ товарищей Бѣлинскаго съ полной увѣренностью высказана мысль, совершенно достаточная для увѣличанія ума и таланта Надеждина при какихъ бы то ни было недостаткахъ.

Авторъ статьи отлично зналъ Бѣлинскаго, жилъ даже съ нимъ въ одномъ номерѣ студенческаго общежитія, слушалъ лекціи Надеждина и могъ оцѣнить первыя статьи будущаго знаменитаго критика. Всѣ данныя, повидимому, для вознѣ: компетентнаго рѣшенія вопроса о взаимныхъ идейныхъ отношеніяхъ профессора и студента.

Но историкамъ извѣстно, до какой степени очевидцы оказываются близорукими какъ разъ для распознаванія ближайшихъ къ нимъ явленій. Безчисленное число разъ приходится вносить поправки даже въ фактическія сообщенія свидѣтелей и только въ рѣдкихъ случаяхъ полагаться на ихъ мнѣнія и приговоры.

Какъ въ мірѣ физическомъ, такъ и въ нравственномъ требуется извѣстное разстояніе между наблюдателемъ и предметомъ, чтобы отчетливо рассмотреть и общее, и подробности. Въ вопросахъ нравственныхъ задача усложняется, помимо излишней близости предмета, обиліемъ и напряженностью впечатлѣній и чувствъ въ ущербъ анализу и спокойствію. Въ нашемъ случаѣ товарищъ Бѣлинскаго, одинъ изъ первыхъ виновниковъ легенды объ учительскихъ вліяніяхъ Надеждина на доровитѣйшаго представителя современной молодежи, особенно легко могъ проглядѣть дѣйствительный смыслъ отношеній. Соученику и товарищу такъ естественно принадлежъ на благодѣнія общаго учителя—по отношенію имени къ сверстнику. А для этой цѣли неизбежно приподнимается и прикрашивается значеніе учителя и приривается самостоятельность и оригинальная сила ученика. Онъ—ученикъ—одинъ изъ многочисленныхъ студентовъ, но единственная въ слѣдствіи критическая сила!

Какъ это могло случиться?

Вопросъ можно разрѣшить двоякимъ способомъ: прослѣдить духовную связь Бѣлинскаго съ умственными теченіями времени, остановиться внимательно на совершенномъ отчужденіи будущаго критика отъ казенной университетской науки, направить, слѣдовательно, анализъ на личныя задатки критической мысли и художественнаго чувства студента-неудачника. Это одинъ путь—сложный и отвѣтственный.



Другой—несравненно проще. Онъ искони призывается на помощь всеми простодушными психологами и историками, часто даже не вполне сознательно слѣдующими младенческой логикѣ: *post hoc, ergo propter hoc*.

Особенно эта логика удобна именно при разрѣшеніи вопроса о всевозможныхъ вліяніяхъ. Для утвердительнаго отвѣта достаточно просто нѣсколькихъ механическихъ сопоставленій отдѣльных фактовъ и мыслей. Въ нашемъ случаѣ, напримѣръ, стоитъ взять рѣшѣнія статьи Бѣлинскаго, если угодно, и позднѣйшія, раскрыть одновременно *Вѣстникъ Европы* и діалоги Никодима Наумко: часа можно не сидѣть, и набрать не мало параллельныхъ и аналогичныхъ мѣстъ.

А такъ какъ самъ же молодой авторъ ссылаясь на своего учителя, писалъ, кромѣ того, въ его же журналѣ,—заключеніе вполне убѣдительное. Оно выражено въ слѣдующемъ приговорѣ товарища Бѣлинскаго:

«Сочувствуя вполне восторженному удивленію молодого поколѣнія къ плодотворной дѣятельности Бѣлинскаго, я обязанъ сказать, однако, что онъ въ первые годы своей литературной дѣятельности былъ только сознательнымъ органомъ выраженія идей Надеждина. Какъ редакторъ журнала, Николай Ивановичъ, найдя въ Бѣлинскомъ человѣка, одареннаго эстетическимъ пониманіемъ, вполне способнаго развивать его мысли и излагать ихъ въ изящной формѣ, сообщилъ молодому таланту философско-художественное направленіе для послѣдующей независимой дѣятельности».

Сужденіе въ сущности очень скромное, но оно все-таки превращаетъ Бѣлинскаго-юношу въ компилятора и въ покорнаго воспроизводителя чужихъ уроковъ.

На самомъ дѣлѣ ничего не могло быть, ни по личной натурѣ Бѣлинскаго, ни по содержанію его первой же критической статьи. Впослѣдствіи мы подробно оцѣнимъ это содержаніе и увидимъ, что Надеждину не могли даже и грезиться важнѣйшія идеи молодого критика, именно идеи, оставшіяся съ самаго начала до конца руководящими для Бѣлинскаго и безусловно не пѣдомыя ни Надеждину, ни другимъ университетскимъ словесникамъ.

А какъ легко вообще уличить людей одного и того же поколѣнія въ заимствованія и подражанія, показываетъ дальнѣйшій рассказъ того же товарища Бѣлинскаго. Въ рассказѣ на мѣсто Надеждина будто становится уже самъ рассказчикъ.

Для насъ любопытно, въ сущности, не настроеніе рассказчика,

а роль Бѣлинскаго. Она оставалась совершенно одинаковой по отношенію и къ студенту-товарищу, и къ профессору-редактору.

Бѣлинскій, исключенный изъ университета за неуспѣшность, оказался въ самомъ бѣдственномъ положеніи и ради какого бы то ни было литературнаго заработка принялся переводить романъ Поль-де-Кока.

Разсказчикъ часто навѣщалъ переводчика. «Въ одно изъ этихъ посѣщеній, — повѣствуетъ онъ, — я началъ ему читать свои созерцанія природы, въ которыхъ она разсматривалась, какъ откровеніе творческихъ идей, какъ безпредѣльная пучина зиждительныхъ силъ, вырабатывающихъ изъ вещества художественные образы, и стройными хорородами небесныхъ сферъ возвыщающихъ гармонію вселенной».

«Не успѣлъ я прочесть нѣсколькихъ страницъ, какъ Бѣлинскій судорожно остановилъ меня:

«— Не читай, пожалуйста, — сказалъ онъ, — у меня у самого носятся въ думѣ подобныя мысли о творчествѣ природы, которымъ я не успѣлъ еще дать формы, и не хочу, чтобы кто-нибудь подумалъ, что я занялъ ихъ у другихъ и выдалъ за свои» <sup>54</sup>).

Авторъ разсказа потомъ нашелъ эти мысли въ *Литературныхъ мечтаніяхъ*.

Онѣ, слѣдовательно, никому не принадлежали, какъ исключительная собственность, и были именно тѣмъ богатствомъ, какое Бѣлинскій только и могъ заимствовать изъ лекцій Надеждина-шеллингянца. Кромѣ нихъ, *Литературныя мечтанія* заключали нѣчто другое, не только чуждое профессорской критикѣ «учителя», но прямо уничтожавшее его авторитетъ.

Надеждинъ далъ Бѣлинскому только то, что самъ получилъ отъ германской философіи и что студентъ съ талантомъ и трудолюбіемъ Бѣлинскаго въ эпоху тридцатыхъ годовъ могъ найти во множествѣ другихъ источниковъ, несравненно болѣе свѣтлыхъ, чѣмъ статьи Надеждина.

Мы съ этими источниками познакоимся впоследствии, а пока снова обратимся къ наукѣ и критикѣ профессора.

---

<sup>54</sup>) П. Прозоровъ. *Бѣлинскій и Московскій университетъ въ его время* Библиотека для Чтенія. 1859, декабрь.

## XXVI.

Надеждинъ довольно подробно разскажалъ исторію своего умственнаго развитія <sup>56)</sup>. Но разсказъ все-таки не дастъ намъ многихъ существенныхъ моментовъ какъ разъ изъ литературной дѣятельности ученаго, для насъ особенно любопытной. Приходится дополнять свѣдѣнія изъ другихъ источниковъ, фактически достовѣрныхъ, но далеко не всегда идущихъ въ тонъ автобіографическому разсказу профессора.

Надеждинъ.—сынъ сельскаго дьякона, воспитанникъ рязанскаго духовнаго училища, потомъ семинаріи и, наконецъ, московской академіи. Весь этотъ путь будущій профессоръ университета прошелъ съ блестящимъ успѣхомъ. Въ академіи онъ засталъ большую популярность философіи среди студентовъ и самъ увлекся предметомъ, одновременно занимаясь исторіей; но какая собственно философская система вызывала его исключительное сочувствіе, мы не знаемъ. По окончаніи академическаго курса слѣдовало профессорство въ рязанской семинаріи по русской и латинской словесности.

Было бы очень поучительно знать съ точностью, въ какомъ направленіи шло преподаваніе литературы у будущаго критика. Отъ него самого мы ничего не узнаемъ на этотъ счетъ, и, можетъ быть, потому, что профессору въ эпоху составленія автобіографіи было не особенно лестно вспоминать о своемъ раннемъ учительствѣ.

Дѣло происходило въ половинѣ двадцатыхъ годовъ. Шеллингианство и романтизмъ были уже фактами русской литературы, сочиненія Пушкина вызывали всеобщій интересъ, въ высшей степени горячій, положительный или отрицательный. Даже университетская наука въ лицѣ Мерзлякова успѣла произнести осужденіе отечественному классицизму.

И вотъ въ это-то самое время рязанскіе семинаристы слышали отъ своего профессора самыя допотопныя рѣчи о поэзіи и вообще о литературѣ. Имъ образцами краснорѣчія рекомендовались отрывки изъ св. книгъ и сочиненій Ломоносова. Они предостерегались отъ увлеченій западной литературой. Тамъ, поучалъ профессоръ, господствуетъ «суетное остроуміе и дерзкое вольномысліе, прикрытое оболъстительными прикрасами ложнаго краснорѣчія»

<sup>56)</sup> Н. Н. Надеждинъ. Автобіографія съ дополненіями. П. Савельева. Русскій Вѣстникъ. 1856, мартъ.

Это проповѣдывалось въ 1825 году; годъ спустя Надеждинъ уволился изъ духовнаго званія для поступленія на гражданскую службу и переехалъ въ Москву.

Здѣсь онъ, у своего земляка, профессора медицинскаго факультета, познакомился съ Каченовскимъ, и это знакомство открыло ему одновременно и литературную, и учесую карьеру. Каченовскій явился дѣятельнѣйшимъ воспріемникомъ молодого ученаго.

Этотъ фактъ для насъ достаточно краснорѣчивъ, но желательно было бы отъ самого Надеждина услышать объясненіе рѣшительнаго переворота въ его судьбѣ.

Въ Москвѣ Надеждинъ въ теченіе пяти лѣтъ не имѣлъ никакихъ официальныхъ занятій, состоялъ домашнимъ наставникомъ въ частномъ домѣ, у «большого барина». Въ домѣ была богатая библіотека, преимущественно изъ французскихъ книгъ, между прочимъ, французскій переводъ знаменитой исторіи Гиббона.

Надеждинъ набросился на чтеніе, отъ Гиббона перешелъ къ Гизо, читалъ съ увлеченіемъ, но увлеченіе не разстраивало старой закваски, столь знакомой рязанскимъ семинаристамъ.

Читателя не подкупили ни талантъ, ни идеи западныхъ историковъ. Все это ложилось ровнымъ, спокойнымъ слоемъ, и Надеждинъ былъ очень доволенъ своею уравновѣженностью.

«Не будь положенъ во мнѣ,—говорилъ онъ,—сначала никольный фундаментъ старой классической науки, я бы потерялся въ такъ-называвшихся тогда высшихъ взглядахъ, новыхъ романтическихъ мечтаніяхъ, которыя были à l'ordre du jour. Теперь, напротивъ, эти новыя пріобрѣтенія настигались во мнѣ на прочное основаніе, и дѣло шло своимъ чередомъ».

По обыкновенію, очень удачнымъ для Надеждина.

Каченовскій, очевидно, быстро оцѣнилъ «фундаментъ» своего молодого пріятеля, и поспѣшилъ приспособить его къ своему журналу.

Приспособленіе не представляло никакихъ затрудненій, тѣмъ болѣе, что одновременно съ сотрудничествомъ должна была зайти рѣчь и объ ученомъ будущемъ «магистра священныхъ и гуманитарныхъ наукъ».

Въ какомъ направленіи могъ Надеждинъ принять участіе въ *Вѣстникѣ Европы*? Мы знаемъ, журналъ велъ войну противъ германской философіи и стоялъ за классицизмъ. Успѣха среди публики журналъ не имѣлъ никакого. Ему съ каждымъ годомъ

умеръ. Чисто младенческая растерянность и старческая немощь обнаруживались всякій разъ, когда профессору приходилось серьезно братья за перо журналиста и критика. Ученый впадалъ въ совершенно нелитературный уличшій тонъ полемики, или, чувствуя даже и на этомъ поприщѣ свое безсиліе, обращался съ мольбой къ начальству на журналистовъ и цензоровъ.

Оба «качества» для насъ представляютъ большую важность. Они полностью были усвоены новымъ сотрудникомъ *Дѣстника Европы*. Надеждинъ вполне последовательно выполнялъ программу профессорскаго журнала, насколько вопросъ шелъ о внѣшней писательской политикѣ.

Для примѣра намъ достаточно двухъ фактовъ. Оба они касаются самаго опаснаго противника Каченовскаго, Полеваго, и оба удостоверены документально.

Тщетно уловляя благосклонность читателей въ теченіе многихъ лѣтъ, Каченовскій въ концѣ 1828 года, въ самый разгаръ сотрудничества Надеждина, обратился съ своего рода манифестомъ къ публикѣ.

Онъ обѣщалъ умножить свои труды по издательству журнала. «Предполагаю работать самъ», заявлялъ профессоръ, «не отказывая однакожъ и другимъ литераторамъ участвовать въ трудахъ моихъ».

Фраза—высоко-забавная для всѣхъ, кто имѣлъ представленіе о значеніи *самого* въ журналистикѣ! Ею, конечно, не замедлили воспользоваться, и *Московскій Телеграфъ* напечаталъ жестокую отповѣдь «Бенигны», т. е. самого издателя, старческой фанфаронадѣ ученаго, указывая на безнадежную отсталость его въ литературѣ, неисправимую приверженность къ «смѣшнымъ предразсудкамъ» и полную неспособность научиться чему-нибудь у современнаго умственнаго движенія.

Каченовскій закипѣлъ гнѣвомъ и немедленно въ примѣчаніи подъ статьею Надеждинъ объявилъ, что онъ не станетъ препираться съ Бенигну, а приметъ «другія мѣры ко охраненію своей личности»

И мѣры последовали.

Каченовскій подалъ жалобу въ московскій цензурный комитетъ, прежде всего на цензора, Сергія Глинку, разсматривавшаго журналъ Полеваго.

Оскорбленный статью Бенигны считалъ оскорбительной для мѣста своего служенія, для своихъ «дипломовъ на ученые степени», для своего званія ординарнаго профессора и свои соображенія подтверждалъ пунктами устава о цензурѣ.

Совѣтъ университета дѣятельно принялъ сторону своего со-члена и доносилъ попечителю учебнаго округа: онъ, совѣтъ, «не можетъ оставить безъ вниманія оскорбленіе, нанесенное личности издателя *Вѣстника Европы*, одного изъ достойнѣйшихъ своихъ чиновниковъ, по утвержденію вышаго начальства съ честью въ теченіе многихъ лѣтъ преподававшего при московскомъ университетѣ: риторику, археологію, теорію изящныхъ искусствъ и нынѣ занимающаго кафедру російской исторіи и статистики». Полевой сомнѣвался въ правахъ издателя *Вѣстника Европы* на его исключительныя литературныя притязанія.

Совѣтъ университета перечислялъ эти права: «избраніе вышаго начальства народнаго просвѣщенія въ публичныя преподаватели словесности и законовъ ея въ университетѣ Московскомъ, званіе члена ученаго сословія Императорской російской академіи, всеми достоинствѣнныя награжденія Государя Императора, которыхъ былъ удостоиваема издатель *Вѣстника Европы*, единственно по ученой службѣ своей при университетѣ по предмету словесности и исторіи російской».

Въ заключеніе совѣтъ также ссылался на «пунктъ» и просилъ попечителя «принять начальническія мѣры для учиненія законнаго взысканія и для отвращенія на будущее время подобнаго оскорбленія личности чиновниковъ университета».

Процессъ не имѣлъ успѣха для Каченовскаго. Любопытно, — даже цензоръ Глинка, въ отвѣтъ на жалобу, высказалъ убійственный взглядъ на литературныя заслуги «чиновника университета» и академика.

Глинка предлагалъ перевести, «если только можно перевести на какой-нибудь языкъ», статьи Каченовскаго и посматрѣть: «что скажутъ тогда европейскіе любители словесности, привыкшіе къ соображенію мыслей съ ясностью и точностью словъ, что скажутъ они о семъ туманномъ сбродѣ рѣчей?» «Да и я долженъ прибавить», говорилъ цензоръ уже какъ критикъ, «что если бы у насъ всѣ стали такъ писать, то російская словесность быстрами бы шагами отступила къ тринадцатому столѣтію».

Главное управленіе цензуры оправдало Глинку <sup>36)</sup>.

Эпизодъ превосходно характеризуетъ профессорскую атмосферу философской эпохи и показываетъ, какъ много здѣсь было простору мысли и свободному знанію.

<sup>36)</sup> Подробное положеніе исторіи у Барсукова II, 265.

Обидчивость Каченовского на чужіе отзывы не мѣшала ему самому наѣздничать безъ мѣры и удержу, во вредъ чужой «чести». Статья *Вѣстника Европы* объ *Исторіи русскаго народа* Полеваго, переполнена личной брахью и оскорбленіями<sup>67)</sup>. Такія выраженія, какъ «дохмотья отъявленной нищеты», «уродливости изумительнаго натурой калѣки», «шарлатанство», пестрятъ на каждой страницѣ и все заканчивается такими сравненіемъ *Исторіи*: «сіе море великое и пространное: тамо гады, ихъ же нѣсть числа: животныя малыя съ великими».

Статья принадлежит Надеждину и показываетъ, какъ основательно сотрудникъ вопіелъ въ личные интересы редактора.

Легко представить, какое впечатлѣніе подобныя ученые подвиги могли производить на неученыхъ! Пушкинъ на юридическое предпріятіе Каченовскаго отзывался остроумнымъ *Отрывкомъ изъ литературныхъ лирическихъ*, а въ статьяхъ объ *Исторіи* Полеваго достойно оцѣнилъ и критику Надеждина<sup>68)</sup>.

Эпиграфомъ къ *Отрывку* стоитъ латинская фраза: *Tantae ne animis scholasticis irae!*.. Слова «схоластическія души» и «гнѣвъ» мѣтко выражали не только характеръ рассказываемаго событія и его герою, но и дѣятельности новаго критика *Вѣстника Европы*.

## XXVII.

Пушкинъ посвящалъ эпиграммы и Каченовскому, и Надеждину; оба они представлялись поэту выходцами какого-то темнаго и на редкость тупоумнаго міра, но изъ двухъ—Надеждинъ занималъ первое мѣсто въ сильныхъ чувствахъ Пушкина.

Ему пришлось лично встрѣтиться съ тѣмъ и съ другимъ, и объ встрѣчи рассказаны имъ самимъ. Съ Каченовскимъ у поэта завязался «дружескій» и «сладкій» разговоръ: это—иронія, но разговоръ, очевидно, дѣйствительно былъ, и Пушкинъ свою иронию не сопровождаетъ никакимъ язвительнымъ замѣчаніемъ.

Совершенно другое впечатлѣніе отъ встрѣчи съ Надеждинымъ.

«Онъ,—сообщаетъ Пушкинъ,—показался мнѣ весьма просто-народнымъ, vulgar, скученъ, заносчивъ и безъ всякаго приличія.

<sup>67)</sup> В. Евр. 1830, январь, 37.

<sup>68)</sup> Сочиненія. Спб., 1887, V, 64; Р. С. ко 2-й ст. объ *Исторіи*, стр. 78. Ср. у Сухомлинова. *Полемическія статьи Пушкина. Исследования и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію*. Спб., 1889, II, 249.



Напримѣръ, онъ поднялъ платокъ, мною уроненный. Критики его были очень глупо написаны, но съ живостью, а иногда и съ краснорѣчіемъ. Въ нихъ не было мысли, но было движеніе; шутки были плоски.

Это писалось около пяти лѣтъ спустя послѣ первыхъ статей Надеждина. Негодованіе поэта должно было улечься, тѣмъ болѣе, что статьи Надоумки не принесли ему рѣшительно никакого ущерба. И поэтъ не правъ только въ одномъ: глупостью Надеждинъ не страдалъ, и мысли у него были, хотя и не его собственныя.

Надеждинъ былъ приглашенъ въ *Вѣстникъ Европы* съ очевидной цѣлью дать генеральное сраженіе новой литературѣ и преимущественно, конечно, Пушкину, и онъ съ первой же статьи взялъ необыкновенно развязный тонъ. Это должно было сойти за живость и бойкость пера, но тяжелая схоластическая основа мысли и языка автора—всѣ его старанія быть остроумнымъ и легкимъ—превращала въ какое-то неуклюжее комическое метаніе за хлесткими словечками и головокружительно-хитросплетенными фразами.

Критикъ даже прибѣгъ къ діалогу, сочинилъ «сцену изъ литературнаго балагана», изобрѣлъ нѣкое «сомнѣніе нигилистовъ», пересыпалъ бесѣду драматическими ремарками, латинскими восклицаніями, въ примѣчаніяхъ вслѣдъ даже переписку съ редакторомъ, вообще напрягалъ всѣ усилія сокрушить врага.

Во имя чего собственно поднимался такой шумъ, что отрицалъ отважный критикъ и чего желалъ?

Первая статья Надоумко появилась въ концѣ 1828 года—*Литературныя опасенія за будущій годъ*, вторая—въ началѣ слѣдующаго—*Сомнѣніе нигилистовъ*. Она и представила публикѣ во всемъ блескѣ мысли и талантъ критика.

*Нигилистами* назывались повѣйшіе авторы, лишенные «идей», равнодушные къ «холодному смыслу и размышленію».

Но что значила на языкѣ критика *идея*?

Это понятіе для поэтического творчества дано германской философіей и романтизмомъ. Оно достаточно было превознесено первыми русскими шеллингѣйцами. Не было рѣшительно никакой заслуги толковать объ *идеѣ* художественнаго произведенія, другой вопросъ—опредѣлить понятіе и примѣнить его къ фактамъ.

Надеждинъ уклонился отъ положительной задачи и предпочелъ болѣе легкую—отрицаніе и высмѣиваніе всего, что, по его мнѣнію лишено было идеи. Но отрицаніе—чисто словесное, бездоказатель-

ное уже въ силу того, что не былъ установленъ самый принципъ отрицанія и какого бы ни было приговора.

Критикъ нашелъ благодарный материалъ для своихъ упражненій въ поэмахъ Пушкина, по очень простой причинѣ. Здѣсь на сценѣ самыя простыя вещи, реальные и даже будничныя. Ничего высуреннаго, нарочито-философическаго, сколько-нибудь подходящаго подъ схоластическій масштабъ изящнаго и идеальнаго.

Въ результатъ, поэзія Пушкина ничто, нуль, тѣмъ болѣе, что можно даже скаламбурить по случаю одной изъ поэмъ.

«Литературный хаосъ, оскѣняемый мрачною философією ничтожества, раздражается *Нуллинами*! Неужели бѣдной нашей литературѣ вѣчно жькаться въ мрачной преисподней губительнаго *нигилизма*?»

Фамелія пушкинскаго гороя оказалась неистощимымъ мотивомъ для остротъ и каламбуровъ. Вся статья о поэмѣ въ сущности и состоитъ изъ этихъ упражненій, чередующихся съ французскими, латинскими, итальянскими восклицаніями, съ воспоминаніями объ «Юнійской философической школѣ», о «глубокомысленномъ Кантѣ», о «великомъ Галлерѣ».

Съ поэмою критику рѣшительно нечего дѣлать. «Что тутъ апатомировать?» спрашиваетъ онъ.

«Мыльный пузырь, блистающій столь прелестно всѣми радужными цвѣтами, разлетается въ прахъ отъ малѣйшаго дуновенія... Что же тогда останется?... Тотъ же нуль, но въ добавокъ... безцвѣтный! А эта *цвѣтнoсть* составляетъ все оптическое бытіе его!.. Скажемъ посему только про forma: *Графъ Нулинъ проглотилъ пощечину Натальи Павловны*; геніи поэта переварилъ ее съ творческимъ одушевленіемъ и... разрѣшился *Нуллинъ*. C'est le mot de l'énigme».

У критика есть оригинальныя термины—*нигилистическое изящество*, *пародіальный геній*, *арлекинское величіе*, наконецъ, *прыжки на лицѣ вдовствующей нашей литературы*: все это для характеристики таланта и произведеній Пушкина.

Надеждину особенно непониманіе пристрастіе поэта къ слишкомъ простымъ мотивамъ и жанровымъ картинамъ. На его языкѣ «мастеръ фламандской школы» — презрительнѣйшая брань. Пушкинъ «не переросъ скудной мѣры человечества» и «душа его даже слишкомъ дружна съ земною жизнью».

Въ статьѣ о *Полтавѣ* критикъ безпощаденъ къ усамъ Мазепы, къ «бурлацкому» окрику Карла XII: это каррикатура. «Енсида

наизнанку». Если Петръ Великій царь—онъ не можетъ «держати Мазепу за усы», и ужъ, конечно, объ этомъ писать неприлично!

Эти замѣчанія вводятъ насъ отчасти въ эстетическія тайны критика, намъ давно извѣстныя, еще по *Науку Галича*. Все тѣ же выпрепншія позглашенія о невиданной землей красотѣ, о недосыгаемыхъ идеалахъ.

Изящныя искусства «должны быть отглаженіями вѣчной гармоніи». Гений это—«творческій зиждательный *духъ*, возымающій изъ ифдръ своихъ собственныя, самородныя и самообразныя изящныя формы, для воплощенія вѣчныхъ идей, созерцаемыхъ имъ во всей небесной ихъ лѣпотѣ»...

Такова философія критика! На меньшее онъ не помирится. Все, что не «небесная лѣпота» и не «вѣчная гармонія»—все это «оскорбляетъ человѣческую природу».

Онъ и Байрона допускаетъ не потому, что англійскій поэтъ воспроизвелъ извѣстныя культурныя черты своего времени, создалъ рядъ общечеловѣческихъ образовъ, а потому, что у него все необыкновенно, все, по представленію критика, исполнски-велико.

«*Байроновы* поэмы суть опустѣвшія кладбища, на которыхъ плотоядные кошуны отбиваютъ съ остервенѣніемъ у шипящихъ змѣй полустлѣвшіе черепа. Его міръ есть адъ: и какое исповинское величіе потребно для Поллфема, избравшаго себѣ жилищемъ сію безпредѣльную бездну?..»

Такой полетъ не препятствуетъ критику соперничать съ кѣмъ угодно, не только съ Пушкинымъ, и въ «арлекинскомъ величіи». Это соперничество, при зудящей страсти Надеждина быть оригинальнымъ и остроумнымъ, ставитъ его безпрестанно въ самыя комическія положенія, менѣе всего соотвѣтствующія «небесной лѣпотѣ».

Напримѣръ, критикъ желаетъ въ концѣ доконать поэта и изображаетъ ужасы, къ какимъ можетъ привести реализмъ, «вѣрные снимки съ натуры».

«Да съ какой натуры!»—воскликаетъ эстетикъ.—«Вотъ тутъ-то и заковычка!. Мало ли въ натурѣ есть вещей, которыя совсѣмъ нейдутъ для показу?.. Дай себѣ волю... пожалуй, зайтишь и Богъ вѣсть куда!—отъ спальни недалеко до дѣвичьей, отъ дѣвичьей до передней, отъ передней до сѣней; отъ сѣней дальше и дальше!.. Мало ли есть мѣстъ и предметовъ еще богѣе *вдохновительныхъ*»..

Потомъ критикъ цитируетъ стихи, гдѣ описывается, что лакей принесъ на ночь Нулину:

Сигару, бронзовый свѣтильникъ,  
Щипцы съ пружиною, будильникъ.

Кригикъ снова пускается въ догадки: «Кто не чувствуетъ, что последнее слово есть вставка, заѣхившая другое равно созвучное, но богѣе идущее къ дѣлу слово, принесенное поэтомъ съ истинно героическимъ самоотверженіемъ въ жертву тѣранскому приличію?..»

Естественно, Пушкинъ находилъ шутки своего критика плоскими и даже его статьи глупыми. Не лучшаго мнѣнія были о нихъ и современные журналисты. Сынъ Отечества остроумно воспользовался образцами надеждинскаго остроумія, напечатавъ замѣтку *О чутъ критика Имѣрека, живущаго на Патриаршихъ Прѣдахъ*, съ эпитафиею *Similis simili gaudet*—подобный подобнымъ и любитъ, и безъ большихъ усилій пришелъ къ сравненію критика съ героиней крыловской басни.

Попадавъ Надеумко въ просакъ и въ другихъ случаяхъ, помимо остроумія. Напримѣръ, клеймя растѣвляющее вліяніе Пулина на молодыхъ дѣвицъ, онъ сообщалъ о себѣ: «Завалившись недавно еще за двадцать три года».

Эта метрическая справка и удивительное словечко «завалившись» стоили Надеждину эпиграммы Пушкина и злой замѣтки въ томъ же Сынѣ Отечества.

Взглядъ на творчество Пушкина, какъ на «галантерейную литературу» и «пародію», Надеждинъ сохранить до конца. Единственное исключеніе будетъ сдѣлано только для Бориса Годунова. И произойдетъ это совершенно неожиданно.

По поводу VII-й главы *Евгенія Онегина* Надеждинъ повторялъ прежнія шутки и насмѣшки надъ притязаніями Пушкина быть серьезнымъ поэтомъ, совѣтовалъ ему «разбавронтиться добровольно и добросовѣстно», не признавалъ за нимъ таланта «изображать природу поэтически съ лицевой ся стороны, подъ прямымъ угломъ зрѣнія: онъ можетъ только мастерски выворачивать еѣ наизнанку». Слава Пушкина не богѣе, какъ «молва, скитающаяся по гостинымъ и будуарамъ на крыльяхъ журнальныхъ листковъ, вмѣстѣ съ модами и извѣстіями о *Лебедянскихъ скачкахъ*»...

Стиль и этой статьи ничѣмъ не уступалъ красотамъ прежнихъ «сценъ». Говорилось о «стереотипныхъ пропорціяхъ», «о педантической чиновности и аккуратности природы», въ противоположность «рѣзвому скаканію разгульной фантазіи» Пушкина.

Накопецъ, критикъ давалъ рѣшительный совѣтъ «сжечь *Годунова!*»—произведеніе, очевидно, окончательно негодное.

Статья напечатана въ *Вѣстникъ Европы*. Одновременно выходила въ свѣтъ диссертация автора, наступала смерть журналу Каченовскаго и его притодецъ вступалъ въ составъ профессоровъ московскаго университета.

Почти годъ спустя Надеждину пришлось отвѣчать журналу, пріютившій его первыя критическія дѣтища.

Отвѣчаніе не лишено извѣстнаго интереса для характеристики автора. Надеждинъ, между прочимъ, говорилъ о почившемъ *Вѣстникъ*:

«Онъ начался вѣжными вздохами отроческой чувствительности, провелъ мужество въ шумныхъ бояхъ и окончился старческими суровыми роптаніями. Вѣтреная молодежь не была почтительна къ его преклоннымъ лѣтамъ: она издѣвалась надъ его сѣдинами и ругалась сѣтованіями. Старецъ долго сохранялъ презрительное хладнокровіе; но при дверяхъ гроба собрался съ послѣдними остатками угасающихъ силъ, ополчился на рать супостатовъ и грянулъ грозно. Вѣроятно, сіе чрезмѣрное напряженіе порвало послѣднія нити, коими онъ привязывался къ жизни, и *Вѣстникъ Европы* преставился».

Нельзя, конечно, увидѣть особенной почтительности къ «старцу» въ этой отходной, и что еще любопытнѣе, это—иронія надъ старческими роптаніями и предсмертнымъ напряженіемъ.

Мы знаемъ, кому *Вѣстникъ* обязанъ своею безпокойной агоніей. Единственный критикъ изъ молодежи, пытавшійся электризовать трупъ, говорилъ надъ нимъ послѣднее слово уже въ собственномъ изданіи. Не большимъ уваженіемъ напутствовался здѣсь же и другой профессорскій журналъ *Атеней*, недавно еще напечатанный отрывокъ изъ диссертации Надеждина.

*Атеней* издавался профессоромъ Павловымъ. Съ нимъ мы встрѣтимся, какъ съ главнѣйшимъ насадителемъ педангства въ Москвѣ. Но философія не помѣшала редактору ополчиться на Пушкина и извести публику совершенно непреодолимой ученостью.

О немъ ходила эпиграмма:

Журналъ казенный, философскій,  
Благонамѣренный московскій...

Теперь Надеждинъ припоминалъ эту шутку и говорилъ о покойникѣ: «Онъ надѣялся подлеститься къ публикѣ ученостью—и перепугалъ ее». Но зато *Атеней* сохранилъ «невинную репутацію» и, по словамъ автора, «только при чтеніи его одного позволялось обходиться безъ перчатокъ».

Органъ Каченовскаго, очевидно, требовалъ перчатокъ.

Все это излагалъ публикѣ новый издатель, съ 1831 года, журнала *Телескопъ* и приложенія къ нему—*Моды*, еженедѣльной газеты. Въ ея программѣ первое, даже исключительное мѣсто, занимали: «моды», «картинки», «модные экипажи и мебели», «модные обычаи и изобрѣтенія», «модная издѣлія» и, наконецъ, «острыя слова и забавные анекдоты».

Очевидно, профессоръ желалъ уловить благосклонность публики и не скупился на *приятное*.

Теперь онъ состоялъ ординарнымъ профессоромъ теоріи изящныхъ искусствъ и археологіи. Совершилось это благодаря диссертациі *О такъ-называемой романтической поэзіи*. Она—последнее слово эстетической философіи ученаго и вывѣстѣ съ критикой *Телескона* должна считаться вѣщью его литературной дѣятельности.

### XXVIII.

Сочиненіе Надеждина прошло въ факультетѣ не безъ затрудненій. Мы уже говорили, въ какое смущеніе пришли нѣкоторые профессора отъ шеллингіанскихъ тенденцій автора. Но были и другія, болѣе существенныя замѣчанія, прямо касавшіяся литературнаго таланта и умственныхъ способностей будущаго профессора.

Ученые критики въ своемъ докладѣ писали:

«При взглядѣ на планъ диссертациі г. Надеждина должно сказать, что онъ изложенъ языкомъ запутаннымъ и загадочнымъ, въ чемъ, повидимому, сочинитель полагалъ главное достоинство сочиненія, почему цѣлаго—полноты, надлежащей связи и отношенія между частями, даже при самомъ вѣличайшемъ напряженіи ума, отъ излишней метафизической тонкости выраженій, однимъ взглядомъ обозрѣть весьма затруднительно»<sup>99</sup>).

Если такое впечатлѣніе книга производила на специалистовъ, если они не могли допустить выраженій въ родѣ *людскость*, *рабочная матерія*, на какія же завоеванія могла рассчитывать диссертациія въ большой публикѣ?

Надеждинъ взялъ въ полномъ смыслѣ жгучій вопросъ. Еще въ статьяхъ *Вѣстника Европы* онъ неоднократно проявлялъ страсть и гнѣвъ противъ новаго направленія.

<sup>99</sup>) Н. Поповъ. *И. И. Надеждинъ на службѣ въ Московскомъ университетѣ*. Журналъ Мин. Нар. Просв. 1880, часть CCVII, стр. 12.

Въ автобіографіи онъ рассказываетъ, что его негодование было возбуждено особенно непочтительностью романтиковъ къ «почтеннымъ старикамъ», т. е. къ русскимъ классикамъ, и онъ «сталъ въ дунѣ за классицизмъ».

Читатели, дѣйствительно, слышали о «гробницѣ романтическаго сусловія», о «великомъ Ломоносовѣ». Но это отнюдь не значило, будто у критика было вполне определенное художественное міросозерцаніе. Руководящую идею отыскать въ статьяхъ не менѣе трудная задача, чѣмъ и въ диссертациі, по мнѣнію московскихъ профессоровъ.

Теперь явилась цѣлая книга о романтизмѣ.

Гораздо раньше ея въ журналѣ Измайлова *Благонамѣренный* была напечатана статья *О романтикахъ и о Черной рѣчкѣ*, нападавшая на самозванцевъ романтизма: они пишутъ «всякія пелѣпости», ссылаясь на «романтическій вкусъ». Въ ихъ произведеніяхъ нѣтъ «ни глубокихъ чувствъ, ни прелестей мечтательности, составляющихъ сущность поэзіи романтической» <sup>60</sup>).

Очевидно, критика очень скоро и въ септиментализмѣ, и въ романтизмѣ распознала уродливыя и комическія увлеченія: для этого не требовалось особеннаго художественнаго чутья, а простой здравый смыслъ. На него именно и ссылались критики шаликовской чувствительности и романтической чертовщины.

Если Надеждинъ имѣлъ въ виду ту же цѣль—сразить псевдоромантиковъ, передъ нимъ и рядомъ съ нимъ оказывалось сколько угодно сочувственниковъ, даже болѣе полезныхъ для просвѣщенія публики, чѣмъ онъ съ своимъ краснорѣчіемъ и ученостью.

Повидимому, авторъ диссертациі вступилъ именно на этотъ благодарнѣйшій путь.

Книга переполнена энергичнѣйшими воплями противъ «необузданнаго скаканія *Поэзіи Романтической*», «изгаринъ и поддонковъ *Романческаго духа*», противъ «чернокнижія», «адскихъ мраковъ», вообще «*Дже-Романтическихъ изгребій*», и къ «поэтическимъ мятежникамъ нашихъ временъ» обращается такая рѣчь:

«Пусть предстанетъ даже на судъ сама *Романтическая Поэзія*: она обличитъ и сомнетъ похитительницу, украшающуюся теперь ея именемъ».

Изъ подобныхъ декламаций состоитъ весь отрывокъ, напечатанный въ *Вѣстникѣ Европы*.

<sup>60</sup>) Ср. Колупановъ I. 538.



Въ *Атенеи* изъясняется происхожденіе романтической поэзіи и ея отличіе отъ классической: всѣ изъясненія извѣстны изъ книги Сталь и многочисленныхъ статей и трактатовъ о романтизмѣ на всѣхъ языкахъ. Только врядъ ли кто могъ формой до такой степени затемнить совершенно ясную мысль, какъ этого достигъ русскій ученый.

До сихъ поръ, слѣдовательно, ничего оригинальнаго, и позже, когда мы познакомимся съ критикой молодыхъ шеллингянцевъ, членовъ кружковъ, иди Надеждина утратятъ всякое право на новизну и смѣлость. Профессоръ ни на шагъ не опережалъ студентовъ, во многихъ отношеніяхъ даже отставалъ. Мы убѣдимся въ этомъ изъ простого хронологическаго сопоставленія фактовъ. Въ сущности, нападки на «буѣность и кровожадность» лже-романтизма въ началѣ тридцатыхъ годовъ являлись запоздалыми: для критики и искусства это былъ вполне «завоеванный пунктъ» и профессоръ велъ войну съ призраками.

Но оставался еще одинъ вопросъ, самый существенный: программа будущаго развитія литературы.

Попробуйте извлечь се изъ разсужденій Надеждина.

Вы можете набрать сколько угодно доказательствъ, что онъ не сочувствуетъ классицизму. «Кумирная неподвижность классической поэзіи», «распукленные *Адаммоны*», «рабское ярмо французскаго вкуса, возлагаемое на поэзію, во имя *Аристотеля* и *Буало*, насируетъ ея истинное достоинство и посему отнюдь не можетъ и не должно быть терпимо».

Это проповѣдывалъ съ большимъ краснорѣчіемъ еще Мерзляковъ почти за двадцать лѣтъ до диссертациі, даже больше. Авторъ диссертациі все-таки увѣнчиваетъ Ломоносова-поэта: онъ «не только былъ истинный поэтъ, но еще по превосходству поэтъ *русскій*, въ коемъ сей великій народъ пробудился къ полному поэтическому сознанію самого себя». Мерзляковъ думалъ о поэтическомъ талантѣ великаго ученаго такъ, какъ впоследствии стала думать вся русская критика.

И такъ, классицизмъ упраздненъ?

Не совсемъ. Авторъ диссертациі готовъ предпочесть «работное подражаніе классицизму», «быть снисходительнѣе къ нео-классическому педантизму», выбрать скорѣе «французскій вкусъ», чѣмъ, — вы думаете, — психопатовъ романтизма? Да, — если это Вольтеръ, Байронъ, Шиллеръ, Гёте, Пушкинъ.

Именно въ примѣръ «лже-романтическаго неистовства» приво-

дится поэзія Байрона, а Вольтеръ попадаетъ рядомъ съ нимъ собственно въ качествѣ «кощунъ». Они оба «отсвѣчиваютъ мрачное пламя одной и той же эстетической преисподней». На Байрона сыплются невѣроятные громы: онъ «язва природы, ужасъ человечества, ненавидящій землю, отверженный небомъ», «справедливо величается отъ своихъ соотечественниковъ именемъ *сатанинскимъ*».

Шиллеръ и Гёте—только за отдѣльные пороки, въ родѣ *Чернаго рыцаря* въ *Орлеанской Дѣвѣ* и чертей и вѣдьмъ въ *Фаустѣ*,—унижаются предъ «нео-классическимъ педантизмомъ», но зато Пушкинъ не находитъ пощады! По мнѣнію, критика гораздо охотнѣе можно согласиться перелистать подчасъ *Хорса* и *Димитрія Самозванца* Сумарокова, даже *Рослава* Княжнина, по крайней мѣрѣ отъ бессонницы, чѣмъ губить время и труды на безпутное скитаніе по *цыганскимъ* таборамъ или *разбойническимъ* вертепамъ. Тамъ, «если нечѣмъ полюбоваться, не съ чего и стошниться».

Очевидно, представленія критика какія-то массовыя, не уясненные и не разчлененныя. Онъ будто поддается гипнозу страшныхъ словъ *сатана*, *цыганъ*, *разбойникъ*, *адъ*, *Каннъ*, не отдаетъ отчета ни въ общемъ смыслѣ, ни въ подробностяхъ ужасающихъ его явленій.

Причислить Пушкина къ «мятежникамъ», тиранившимъ «терніиіе здравомыслія» и «на алтарь чистыхъ дѣвъ извергающимъ скверныя уметы руками несовершенными», значило даже для 1830 г. писать величайшія «нехѣныя бредни», стоившія самаго нездравомыслящаго романтизма. Не было никакой надежды изъ подобнаго источника дождаться дѣйствительно поучительныхъ мыслей, лично авторомъ продуманныхъ и доказанныхъ.

Было бы, конечно, совершенно неосновательно становиться на современную намъ почву литературной критики и поражать стараго эстетика новѣйшимъ усовершенствованнымъ оружіемъ. Мы призываемъ Надеждина отнюдь не на экстренный судъ истины, какъ она намъ представляется въ настоящее время. Мы желаемъ остаться въ точно опредѣленныхъ предѣлахъ извѣстной эпохи и судить *сравнительно* и *относительно*, принимая за высшую мѣру современниковъ самого критика.

И вотъ на этотъ-то безусловно законный и справедливый масштабъ Надеждинъ въ общемъ *ниже* своего поколѣнія. Нѣкоторыя идеи онъ довольно прочно усвоилъ отъ своихъ старшихъ современниковъ, хотя и не вполне последовательно. Но это какъ разъ

идей-труизмы, нисколько не стоящіа такой напряженной широко-вѣщательной риторики. Другія, несравненно болѣе жизненныя и по времени спорныя, но явно прогрессивныя и для будущаго литературы vlastныя, не удостоились ни признанія, ни даже долж-наго вниманія со стороны профессора.

Любопытно, — даже самые простые и наглядные выводы со-временной общественной мысли принимали у Надеждина менѣе всего научный и культурный характеръ. Напримѣръ, единствен-ный вопросъ великаго значенія, затронутый диссертацией о народ-ности и національности. Мы увидимъ, съ какой тщательностью онъ разъяснялся теоретически и съ какой стремительностью прилагался къ жизни молодыми философами, все тѣми же членами обществъ и кружковъ. Мы убѣдимся, на какомъ широкомъ историческомъ и философскомъ основаніи воздвигался юными писателями идеаль народнаго творчества и національной мысли. У Надеждина все сводится къ чувству патріотизма, весьма недалекому отъ карам-зинской любви къ отечеству и народной гордости.

Предшественникомъ Надеждина въ этомъ направленіи былъ извѣстный намъ неудавшійся словесникъ-педангъ Давы-довъ. На лекціяхъ этотъ профессоръ изумлялъ слушателей гром-кимъ, самовитымъ, но совершенно не вразумительнымъ краснорѣ-чіемъ, умѣлъ сливать вмѣстѣ Цицерона, Квинтиліана и Гегеля, всю жизнь удовлетворяясь работой компилятора и положеніемъ академическаго метафизика. На философію изглядъ у него выра-ботался вполне соответствующій подобному житію.

Ея основы «святая вѣра наша, мудрые законы изъ истори-ческой жизни нашей, развившіеся въ органическую систему, пре-красный языкъ, представляющій удивительную логику народа въ запечатлѣніи природы своею личностью, дивная исторія славы нашей».

Всѣ эти данныя сами по себѣ полны психологическаго и куль-турнаго значенія, но у профессора вдохновленная ими «философія» превращалась въ самодовольную благонамѣренную рето-рику, отрѣшенную и отъ психологіи, и отъ исторіи, и вообще отъ фактовъ. А если и призывались они на сцену, — исключи-тельно съ тѣми же патріотическими и назидательными цѣлями.

Надеждинъ — превосходный примѣръ.

Въ одной изъ статей *Вѣстника Европы* у него встрѣчается дѣльное замѣчаніе о народности. Она «не состоитъ въ искусствѣ накидывать русскія пословицы и поговорки гдѣ ни попадо... Чтобы

быть народнымъ, надобно уловить духъ народный, а онъ не продается, подобно газамъ, въ бутылкахъ» <sup>61)</sup>).

Это написано въ 1829 году, когда вопросъ о народности и національности волновалъ и ученыхъ, и молодежь. У Надеждина онъ такъ и остался мимолетнымъ.

Въ диссертациі много говорится о «патріотическомъ энтузіасмѣ». Онъ признается «родовымъ непреодолимымъ наслѣдіемъ русской поэзіи», и весь національный характеръ русскихъ сводится къ патріотизму. Будто критикъ какой угодно національности не могъ бы того же самого доказать о своемъ народѣ!

Но Надеждинъ нагромождаетъ цѣлыя горы на своемъ открытіи, и принимается бичевать русскихъ поэтовъ, почему они не воспѣли побѣды русскихъ надъ турками! «Неужели въ груди ихъ не бьется сердце русское?.. Увы! они сдѣлались романтиками и ничѣмъ не захотятъ быть болѣе!»

Такъ ученый понималъ національное содержаніе поэзіи!

Время нисколько не измѣнило этого взгляда, даже упрочило и до послѣдней степени сѣузило. Три года спустя въ университетской рѣчи профессоръ рисовалъ безнадежное положеніе европейскихъ народовъ и быстрый прогрессъ русскаго, долженствующаго во всемъ опередить Западъ. Европейцы «изнурены вѣковой дряхлостью, согбены подъ тяжестью вѣковыхъ предразсудковъ, терзасмы болѣзненными конвульсіями возрожденія» и вообще близки къ вымиранію...

Невольно въ этомъ торжественномъ похоронномъ маршѣ слышались давшишія рѣчи преподавателя словесности, предостерегавшаго рязанскихъ семинаристовъ отъ соблазновъ западной литературы.

Такую же своеобразную форму приняла у Надеждина и другая популярная идея,—правда, очень сложная по своему происхожденію, но представлявшая тѣмъ болѣе интереса для ученаго изслѣдователя.

Русскимъ молодымъ философамъ, искавшимъ прочныхъ культурныхъ основъ для національнаго творчества, естественно представился старый исходный моментъ всякаго художественнаго возрожденія — возвратъ къ классическому міру и къ классическому искусству. Россіи слѣдуетъ сбросить съ себя чужія вліянія, подавляющія ея самообытныя гени, обратиться къ первоисточнику

<sup>61)</sup> Въ ст. о Полтавѣ. В. Евр. 1829, № 8.

европейской цивилизації и выработать самостоятельно содержаніе и форму искусства. Отсюда—классическія тенденціи русских шеллингианцевъ, не во имя самого классицизма, а ради освобожденія русскаго умственного развитія отъ рабства предъ современной европейской и особенно французской образованностью и литературой <sup>62)</sup>).

Съ неменьшимъ усердіемъ ратуетъ за классицизмъ и Надеждинъ, но у него классическая идея просто метательный снарядъ для борьбы съ ненавистнымъ романтизмомъ, и авторъ, ослѣпленный цѣлью, впадаетъ въ безвыходныя противорѣчія съ самимъ собой.

Ему требуется противопоставить античный, языческій міръ новому и христіанскому, и онъ не стѣсняется въ изображеніи эпикурейства и эгоизма классическаго человѣка: «неумѣренная расточительность виѣшней жизни», «веселое пированіе на роскошномъ лонѣ природы», античный патріотизмъ—«чисто матеріальное побужденіе», оно «не возвышалось никогда за предѣлы вещественной природы», ему было невѣдомо «познаніе внутренняго всеобщаго достоинства человѣческой природы»...

Чему же новый человѣкъ можетъ научиться отъ подобнаго міросозерцанія, т. е. отъ *содержанія* античной литературы?

Оказывается, всѣмъ добродѣтелямъ.

По мнѣнію ученаго, «древняя классическая поэзія съ самаго нѣжнѣйшаго дѣтства была наставницею добродѣтели и установительницею благочинія». Даже больше. «Вездѣ и всегда изученіе классической древности поставлялось во главу угла умственного и нравственнаго образованія юношества, какъ первоначальная стихія развиваемой духовной жизни».

Авторъ забылъ, что эпоха самаго восторженнаго культа классической древности—возрожденіе—отличалась чѣмъ угодно, только не нравственностью и не благочиніемъ.

Выводъ Надеждина изъ всѣхъ разсужденій не трудно предугадать. Ему во многихъ отношеніяхъ дорогъ классицизмъ, не можетъ онъ отвергнуть и романтизма, поплющающаго духовную природу человѣка, очевидно, надо «возвести ихъ къ дружественному гармоническому единству». Такъ предписываетъ диссертация.

Въ университетской рѣчи та же мысль нѣсколько опредѣлен-

---

<sup>62)</sup> Веневитяповъ въ статьѣ *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала*. Кирѣевскій. *Деятельный вѣкъ*. Сочиненія I, 78.

нѣе: «соединить идеальное одушевленіе среднихъ временъ съ изящнымъ благообразіемъ классической древности, уравновѣситъ душу съ тѣломъ, идеи съ формами, просвѣтитъ мрачную глубину Шекспира лучезарнымъ изяществомъ Гомера».

Задача—логическая, по существу съ незапамятныхъ временъ сознанная даже классическимъ міромъ въ принципѣ гармоническаго развитія нравственныхъ и физическихъ силъ. Поставить ее для профессора не требовалось никакихъ нарочитыхъ усилій мысли. Другое дѣло—указать пути осуществленія, отмѣтить данныя въ современномъ развитіи искусства, обѣщающія достиженіе великой цѣли, а прежде всего точно и ясно опредѣлить понятія «изящнаго благообразія» и «внутреннее могущество духа», т. е. истинно-художественныя формы искусства и его дѣйствительно-идейное содержаніе.

Безъ этого опредѣленія ученому всегда можетъ представиться искушеніе напасть, подобно Мерзлякову, на поэтическое произведеніе въ родѣ баллады только потому, что оно не вкладывается въ «освященныя древностью» рамки, или, подобно самому Надеждину, произнести смертный приговоръ современному роману, на примѣръ, *Евгенію Онегину*—во имя «небесной глупоты» и «вѣчной идеи».

Надеждинъ, повидимому, понялъ задачу, и постарался ее выполнить въ своемъ журналѣ *Телескопъ* и въ той же рѣчи. Эти старанія—вѣнецъ критическаго таланта профессора и собственно по нимъ можно судить, на сколько могло быть плодотворно и глубоко его вліяніе на младшихъ современниковъ.

## XXIX.

Мы знаемъ желаніе Надеждина видѣть *Годунова* сожженнымъ: оно высказано въ 1830 году въ *Вѣстникъ Европы*, годомъ раньше по поводу *Полтавы* грозно защищались «освященныя древностью и оправданныя вѣковыми опытами правила, составлявшія доселѣ коренное уложеніе критическаго судопроизводства», и вотъ въ только-что народившемся *Телескопѣ* является статья о *Борисѣ Годуновѣ*.

Предъ нами тоже діалогъ старыхъ знакомыхъ, самого автора и его пріятеля Тѣвискаго. Но роли сильно измѣнились: Тѣвскій принужденъ энергично укорять автора за отступничество отъ прежняго «образа мыслей». Раньше Надеждинъ считалъ Пушкина



способнымъ только на каррикатуры, теперь онъ, тотъ же поэтъ, — авторъ оригинальнаго драматическаго произведенія, вполне серьезнаго и полнаго достоинствъ. Они не тускнѣютъ даже отъ невозможности подвести пьесу подъ какой-либо традиціонный титулъ: драмы, трагедіи, комедіи, и критикъ настолько безпристрастенъ и даже чутокъ, что довольно проникательно объясняетъ равнодушіе публики къ новому созданію Пушкина.

Публика «привыкла отъ него ожидать или смѣха, или дикости, оправданной въ прекрасные стихи, которые можно написать въ альбомъ, или положить на ноты. Ему вздумалось теперь переменить тонъ и сдѣлаться постепеннѣе: такъ и перестали узнавать его!... Онъ теперь гудитъ, а не щебечетъ».

Авторъ не ожидалъ этого, и ему самому «странно такое превращеніе». Въ дѣйствительности, конечно, не столь значительно превращеніе «щебетанія», сколько «странность» авторскаго слуха. Раньше ухо критика упорно слышало одинъ фактъ, даже во всемъ *Опытинъ*, теперь оно вдругъ усовершенствовалось.

Откуда такія «чудеса», какъ выражается *Гябискій*?

Критикъ понимаетъ большія тонкости въ пьесѣ, отлично объясняетъ роль юродиваго, какъ единственнаго органа «безмолвствующаго народа», справедливо подвергаетъ сомнѣнію доступность древнему лѣтописцу идей, какія поэтъ влагасть въ уста Пимена.

Не обходится, конечно, дѣло и безъ крушыхъ недоразумѣній: критикъ до глубины души возмущенъ сценой Самозванца съ Мариной: «хитрый Самозванецъ» будто бы не могъ открыть «своей Дульцинеѣ тайну», не доволенъ и смѣшеніемъ языковъ въ сценѣ битвы...

Но что все это въ сравненіи съ недавними упражненіями *Надоумки*!

Очевидно, профессоръ могъ говорить по временамъ вполне осмысленнымъ языкомъ, писать даже сравнительно простымъ и вразумительнымъ слогомъ и, что казалось совершенно неожиданнымъ, обнаруживать художественную чуткость.

Одновременно предъ нами нѣкоторый актъ самоотверженія: критикъ самъ сознается въ переменѣ своихъ воззрѣній на талантъ Пушкина.

Мы должны запомнить эту перемену. Она важнѣе всякихъ другихъ философскихъ идей профессора для его вліянія на сотрудника *Телескопа* *Бѣлинскаго*, если только безусловно отъ *На-*



деждина Бѣлинскій долженъ былъ заимствовать *естественный* взглядъ на первостепеннаго современнаго поэта,—естественный, какъ увидимъ, при великомъ *художественномъ* дарованіи молодого критика.

Но перемены съ Надеждинымъ не ограничились частными вопросами о произведеніяхъ Пушкина. Профессоръ рѣшилъ провозгласить два принципа великаго значенія и силы въ новой литературѣ. Правда, провозглашеніе это состоялось довольно поздно, отнюдь не было новымъ словомъ даже для большой публики. Но оно шло съ университетской кафедрѣ, изъ устъ авторитетнаго ученаго, освящалось, слѣдовательно, наукой и благонамѣреннѣйшей мыслью.

Объявивъ цѣлью новаго творчества единство, сліяніе классицизма съ романтизмомъ, изящества формъ съ могуществомъ духа, Надеждинъ поспѣшилъ раскрыть непосредственные частные результаты этого стремленія.

Главныхъ два: «потребность *естественности* и потребность *народности* въ изящныхъ искусствахъ».

Мы знаемъ, какъ раньше критикъ понималъ естественность. Ему казалось оскорбительнымъ для человѣческой природы все, что не совпадало съ вѣчной гармоніей и небесной глупотой, и именно съ этой точки зрѣнія послѣдовательно уничтожался *Евгеній Онегинъ*: онъ такъ близокъ къ земной жизни и не переросъ скудной мѣры человѣчества! Отсюда изящный каламбуръ: «Для *генія* не довольно смастерить *Евгенія*!»

Теперь совершенно другое теченіе мысли.

«Современное эстетическое направленіе, — говоритъ профессоръ,—требуешь отъ художественныхъ созданій познаго сходства съ природою, равно чуждаясь поддѣльнаго излишества, какъ въ наружныхъ матеріальныхъ формахъ, такъ и во внутренней идеальной выразительности. Оно спрашиваетъ у образа: гдѣ твой духъ? у мысли: гдѣ твое тѣло? Отсюда происхожденіе изящныхъ искусствъ въ сокровеннѣйшіе изгибы бытія, въ мельчайшія подробности жизни, соединенное съ строгимъ соблюденіемъ всѣхъ вещественныхъ условій дѣйствительности, съ географическою и хронологическою истинною физіономіей, костюмовъ, аксессуаровъ».

Это значитъ, критикъ требуетъ отъ художественнаго произведенія мѣстной и исторической вѣрности лицъ и событій. Это основное положеніе реализма, но профессоръ идетъ гораздо дальше.

Онъ желаетъ «всеобъемлющаго взгляда на жизнь», а на этотъ

взглядъ «всѣ черты, изъ коихъ слагается фізіономія бытія», одинаково заслуживаютъ безпристрастнаго вниманія и художника, и критика.

Надеждинъ сравниваетъ старое искусство съ новымъ и находитъ существенную разницу именно тамъ, гдѣ раньше видѣлъ одно «арлекинское величіе». Теперь нидерландская школа—типичная представительница творчества, потому что «миніатюрная живопись дѣйствительности превращается въ господствующую подробность генія».

Профессоръ привѣтствуетъ появленіе «частныхъ сценъ домашней жизни», во всѣхъ искусствахъ, въ музыкѣ Обера, въ скульптурѣ Рауха, въ живописи Шарло, въ романахъ Бальзака, даже водевили Скриба находятъ себѣ мѣсто въ «філософіи современной исторіи».

Терпимость со стороны ученаго эстетика истиннѣ безгранична, и онъ разсужденія объ естественности заключаетъ фразой, уничтожающей всѣ его прежнія издѣвательства надъ «пародіальной» поэзіей Пушкина:

«Все устремляется къ сближенію съ природой, великой во всѣхъ своихъ подробностяхъ, нелицепріятной ко всѣмъ своимъ явленіямъ».

Это совершенно полное уложеніе художественнаго реализма, правда, въ очень общей формѣ, но достаточно опредѣленное. Если бы его послѣдовательно примѣнить на практикѣ, русская литературная критика немедленно стала бы въ уровень съ современнымъ искусствомъ и русское общество не присутствовало бы при многолѣтней ожесточенной журнальной борьбѣ, отравлявшей существованіе величайшимъ художникамъ русскаго слова и ставившей часто въ недостойное положеніе даже искреннихъ поборниковъ общественной мысли.

Надеждинъ, помимо *естественности*, столь энергично отмѣтилъ и другое, «равно могущественное направленіе современнаго генія»—*народность*.

Здѣсь идея привязывается не столько къ исторической и філософской почвѣ, сколько къ чувствительной, внушается патріотическими влеченіями. Такъ и объясняется понятіе народности: это «патріотическое одушевленіе изящныхъ искусствъ».

Профессоръ не замѣчаетъ, что *естественность* жестоко можетъ пострадать отъ подобнаго одушевленія, разъ оно самовластно и исключительно будетъ управлять вдохновеніемъ художника. Про-

фессоръ говорить проникновеннымъ тономъ о «родномъ благодатномъ небѣ», о «родной святой землѣ», о «родныхъ драгоценныхъ преданіяхъ» и, конечно, о «родной славѣ» и «родномъ величїи».

И здѣсь же несмѣленно указываетъ на свободу художника отъ «вліянія предубѣжденій и страстей».

Но вѣдь патріотическое одушевленіе непремѣнно ради родной благодати, святости, драгоцѣнности, въ высшей степени легко можетъ повести къ предубѣжденіямъ, потому что оно имѣетъ такой формѣ явное *пристрастіе*, т. е. страсть въ пользу одушевляющаго предмета.

Какъ же, при такихъ требованіяхъ, критикъ отнесется къ самому національному и народному созданію русскаго искусства—къ сатирѣ? Онъ долженъ будетъ признать ее *нестественной*, такъ какъ изъ ея *естественности* явно вытекаетъ панегирическое отношеніе къ родному. И мы снова впадаемъ въ потокъ краснорѣчивыхъ воззваній диссертациі—писать оды на русскія побѣды!

Очевидно, надлежало критику отдѣлать отъ политики, по крайней мѣрѣ, полага я и утверждая *основы* ся развитія, необходимо было принципъ *народности* выяснить исторически и доказать ради его самого, а не постороннихъ практическихъ цѣлей.

И Надеждинъ приближался къ этой цѣли, но не созналъ всего ея значенія—независимаго, самодовлѣющаго.

Онъ понимаетъ безплодность подражательнаго искусства, стѣснительность чужеземныхъ вліяній для истинныхъ талантовъ, но, устрояя заимствованную внѣшнюю основу искусства, онъ не утверждаетъ національной, внутренней, т. е. не проникаетъ въ художественную и культурную силу *народнаго* творчества.

Онъ готовъ признать право на существованіе за народной поэзіей, говоритъ ей даже довольно лестные комплименты, но это снисходительное благоволеніе ученаго и эстетическаго аристократа къ *дѣтчамъ природы*.

Фактъ въ высшей степени важный! Разсматривая развитіе и идею національности и народности у молодыхъ русскихъ критиковъ, мы снова убѣждаемся въ педантичности и отсталости профессора отъ своихъ современниковъ съ болѣе живой философской мыслью и болѣе глубокимъ художественнымъ чувствомъ.

Надеждинъ восклицаетъ:

«Потеряютъ ли когда свое волшебное очарованіе народныя пѣсни, народныя пляски, народныя басни и преданія, заглазныя намъ младенческими досугами первобытныхъ, необразованныхъ народовъ!»

Отвѣтъ, конечно, благопріятный, но все-таки это не «искусство человѣческое». Всѣ эти пѣсни и басни «равнозначительны съ гармоническою пѣснью соловья, съ затѣйливой архитектурой пчелы, даже съ роскошнымъ великимъ убранствомъ сѣльского крина».

Изящныя искусства начинаются только съ «разсѣломъ мышленія», и «истинное творческое одушевленіе» только тамъ, «гдѣ свободная игра жизни просвѣтлена идеею, покорна цѣли».

Слѣдовательно, за народомъ, какъ поэтомъ, не признается мышленія, и на сцену снова выступаетъ такая идея и цѣль, что, очевидно, извѣстное намъ изображеніе *естественности*, оправданіе мелочей будничной жизни, подрывается въ корнѣ. Потому что, именно народная поэзія какъ нельзя болѣе склонна къ такой *естественности* и несравненно рѣже, чѣмъ водевиль Скриба, можетъ впасть въ тривиальность.

### XXX.

Мы видимъ, главнѣйшіе руководящіе принципы творчества и критики никакъ не могли въ мысляхъ Надеждина принять вполнѣ устойчивыхъ и ясныхъ формъ. Профессоръ безпрестанно сбивался на выспренній эстетическій путь. Его безпрестанныя обмозжки и безсиліе провести разъ воспринятую идею до ея логическихъ послѣдствій производятъ впечатлѣніе менѣе всего самостоятельнаго и убѣжденнаго мышленія. Будто ученый поддавался по временамъ современнымъ теченіямъ, но поддавался не умомъ и сердцемъ, а краснорѣчивымъ словомъ.

Въ результатѣ, сопоставляя лекціи и статьи Надеждина, можно набрать сколько угодно противорѣчій и несообразностей.

Напримѣръ, *естественность* и *народность* разъяснены въ публичной рѣчи 6-го іюля 1833 года. Кажется, на счетъ естественности, по крайней мѣрѣ, не могло быть сомнѣнія, рѣчь составлялась раньше, можетъ быть, даже за нѣсколько мѣсяцевъ и почти совпала съ статьей *Молвы* о журналѣ Курѣвскаго *Европеецъ*.

*Молва* недовольна взглядами *Европейца* какъ разъ на естественность.

«Никто не выдумывалъ взгляда оригинальнѣе и своенравнѣе, какъ новый московскій журналъ... Разбирая стихотворенія Баратынскаго, онъ утверждаетъ, что самыя мелкія подробности жизни являются поэтическими, когда мы смотримъ на нихъ сквозь гармоническія струны его лиры!» При такомъ взглядѣ, по убѣренію

*Европейца*, «балъ, маскарадъ, непринятое письмо, пированіе друзей, неоднородная прогулка, чтеніе альбомныхъ стиховъ, поэтическое имя, однимъ словомъ, всѣ случайности и всѣ обыкновенности жизни тѣсно связываются съ самыми возвышенными минутами бытія и съ самыми глубокими, самыми свѣжими мечтами и воспоминаніями, такъ что, не отрываясь отъ гладкаго паркета, мы переносимся въ атмосферу музыкальную и мечтательно просторную». «Взглядъ чудный и небывалый!» восклицаетъ *Молва*. «Въ отличіе отъ прочихъ журнальныхъ взглядовъ мы, можемъ назвать его сквознымъ, но не въ смыслѣ вѣтра, ибо онъ болѣе удивителенъ, чѣмъ опасенъ» <sup>63</sup>).

*Телескопъ*, въ свою очередь, громилъ *Горе отъ ума* и объявлялъ, что оно «отжило уже почти вѣкъ свой».

Не легко было читателямъ разобратъ въ убѣжденіяхъ редактора и профессора, и еще труднѣе было у подобнаго руководителя заимствоваться идеями и принципами, все равно, въ области философіи или критики.

Надеждинъ, несомнѣнно, тяготѣлъ къ шеллингянству: мы могли это видѣть изъ его широкоформатныхъ разсужденій объ изящномъ, о геніѣ, объ идеалѣ, о вѣчномъ и прекрасномъ. Все это шеллингянскіе полеты, и они давно были извѣстны русской литературѣ по сочиненіямъ самыхъ раннихъ русскихъ философовъ.

Естественно, профессоръ часто достигалъ большой силы краснорѣчія: темы все были въ высшей степени благодарныя для ораторскихъ импровизацій, и аудиторія изъ юношества тридцатыхъ годовъ, какъ нельзя болѣе, приспособлена къ путешествіямъ въ заоблачныя высоты любомудрія.

И предъ нами—восторженные воспоминанія слушателей Надеждина. Одно изъ нихъ мы приведемъ: оно передаетъ и впечатлѣнія слушателей, и средства, какими лекторъ вызывалъ ихъ.

Въ сентябрѣ 1832 года товарищъ министра народнаго просвѣщенія Уваровъ съ многими знатными лицами посетилъ университетъ и явился на лекцію Надеждина. Событіе осталось незабвеннымъ для очевидцевъ.

«Предметомъ лекціи было объясненіе идеи безусловной красоты, являющейся подъ сферою гармоніи жизни, о ея осуществленіи въ Богѣ подъ образомъ вѣчной отчужденной любви къ творенію и проявленіи въ духѣ человѣческомъ стремленіемъ къ безконечному, божествен-

<sup>63</sup>) *Молва*. 1832, № 11.

ныкъ восторгомъ, а въ душѣ художника образованіемъ идеаловъ. Студенты, записывавшіе лекціи, бросили свои перья, чтобъ черезъ записыванье не пропустить ни одного слова, и только смотрѣли на профессора, котораго глаза горѣли огнемъ вдохновенія; одушевленный голосъ сопровождался оживленностью фізіономіи, живостью движеній, торжественностью самой позы; даже посторонніе посѣтители, вмѣсто тяжелой неподвижности, которую соблюдали на лекціяхъ другихъ профессоровъ, невольно обратились къ профессору и смотрѣли на него, какъ будто на оракула» <sup>64</sup>).

При всемъ восторгѣ, Уваровъ все-таки догадался задать оракулу очень прозаическій вопросъ, «понимають ли его студенты?». Надеждинъ отвѣчалъ, разумѣется, утвердительно, но это еще не рѣшало вопроса вообще о цѣлесообразности такого преподаванія.

Другой слушатель Надеждина, отдавая должное его импровизаторскому таланту, заявляетъ печальный фактъ: профессора далеко не всѣ студенты понимали, обзывали даже его лекціи схоластикой, школярствомъ. Правда, это, по словамъ автора, были слушатели, не получившіе философскаго образованія <sup>65</sup>). Но много ли было получившихъ? И могъ ли плодотворно вліять на аудиторію профессоръ, требовавшій—не ради предмета, а ради своего преподаванія нарочитой спеціальной подготовки?

Наконецъ, третій слушатель, Константинъ Аксаковъ, даетъ, повидимому, самыя точныя и реальныя свѣдѣнія объ успѣхахъ профессора.

«Надеждинъ производилъ съ начала своего профессорства большое впечатлѣніе своими лекціями. Онъ всегда импровизировалъ. Услышавъ умную, плавную рѣчь, почувавъ, такъ сказать, воздухъ мысли, молодое поколѣніе съ жадностью и благодарностью обратилось къ Надеждину, но скоро увидѣло, что ошиблось въ своемъ увлеченіи. Надеждинъ не удовлетворилъ серьезнымъ требованіямъ юношей; скоро замѣтили сухость его словъ, собственное безучастіе къ предмету и недостатокъ серьезныхъ занятій».

Мы видимъ, съ какой стремительностью молодежь философской эпохи набрасывалась даже на призракъ мысли. Легко представить, сколько сочувствія вызывала у подобной публики даже способность профессора вызывать у другихъ работу идей. Станкевичъ проститъ

<sup>64</sup>) Прозоровъ. О с., стр. 10—11.

<sup>65</sup>) Максимовичъ. *Москвитянинъ*, 1856, № 3. Дополненія къ воспоминанію о Н. Н. Надеждинѣ, напечаталъ старый слушатель Надеждина, Лавдовскій, въ высшей степени восторженный. *Моск. Вѣд.* 1856, № 81, 7-го іюля.

всѣ недостатки Надеждину за то, что профессоръ «много пробудилъ своими знаніями» въ его душѣ, и если онъ—Станкевичъ—будетъ въ раю, то Надеждину обязанъ за это. Но тотъ же Станкевичъ «чувствовалъ бѣдность преподаванія» своего благодѣтеля<sup>66)</sup>.

Понимали, несомнѣнно, и другіе, и даже больше Станкевича. По крайней мѣрѣ, его товарищъ, Герценъ, съ большимъ сочувствіемъ вспоминающій о другомъ московскомъ индѣйгѣ — профессорѣ Павловѣ, — не считаетъ нужнымъ говорить о философскихъ заслугахъ Надеждина.

Популярность профессора среди студентовъ основывалась, помимо мимолетнаго увлеченія краснорѣчіемъ, на «деликатности» его обращенія: со студентами Надеждинъ «не любилъ никакихъ полицейскихъ пріемовъ». А въ этомъ отношеніи студенты были еще менѣе избалованы, чѣмъ «воздухомъ мысли».

Но далеко не всегда Надеждинъ оставался вѣренъ даже и такому либерализму. По поводу его диссертациіи произошла исторія, напоминающая процессъ Каченовскаго съ цензоромъ Глинкой изъ-за статьи Полевого.

Тотъ же *Московский Телеграфъ* неуважительно отозвался объ отрывкѣ изъ книги Надеждина и въ отвѣтъ «Пряниковъ изъ села Тихомірова» въ *Московскомъ Вѣстникѣ* взымалъ о личномъ оскорбленіи.

Диссертация была представлена на судъ гг. профессоровъ. «Этотъ судъ профессоровъ», увѣрялъ Пряниковъ, «былъ строгій, основанный на правилахъ, предписанныхъ самимъ закономъ и по праву отъ Верховной Власти имъ дарованному. Следовательно, это дѣло было оффиціальное. Какъ же онъ, Полевой, будучи частнымъ человекомъ, могъ вмѣшиваться въ такое дѣло? А тѣмъ болѣе, какъ онъ, не принадлежа собственно ни къ государственнымъ чиновникамъ, ни къ сословію ученыхъ, могъ присвоить себѣ право быть ревизоромъ дѣйствій цѣлаго университета и послѣ одобренія университетомъ оной диссертациіи и удостовѣренія г. Надеждинымъ высшей ученой степени доктора, смѣетъ столь дерзко поносить и сочиненіе, и сочинителя?»

Дальше приводилась статья закона, карающая преступленіе Полевого, угрожало «уголовнымъ порядкомъ», и указывалось на вредное вліяніе «особливо» среди «молодыхъ людей» такихъ критикъ<sup>67)</sup>.

<sup>66)</sup> *День*. 1862, № 40.

<sup>67)</sup> *Барсуковъ*. III, 26—7.



Не разогласить съ подобными справками и пристрастіе профессора—именовать своихъ литературныхъ противниковъ непременно не литературными именами—въ родѣ «литературный Робеспьеръ», и даже террористы. Къ счастью, слово нигилистъ еще не имѣло соотвѣтствующаго значенія. Не лишены страсти въ извѣстномъ направленіи и удивительно яростные нападки Надеждина на восемнадцатый вѣкъ. Даже Демостры и Бональды не достигали такого пафоса. И пафосъ тѣмъ замѣчательнѣе, что онъ увлекать профессора, преподававшего исторію искусствъ, слѣдовательно, обязаннаго владѣть представленіемъ объ историческомъ смыслѣ явленій и менѣе всего располагающаго нравственнымъ правомъ показывать внезапныя стихійныя пропасти и «рѣзкія глубокія межи» на пути человѣческой цивилизаціи.

А между тѣмъ профессоръ въ торжественномъ собраніи университета обращался къ публикѣ совершенно въ тонѣ запальчиваго агитатора на миттингѣ:

«Я вызываю васъ, м.м. г.г., указать мнѣ въ исторіи человѣческаго рода другую подобную эпоху, которая бы въ краткомъ пространствѣ столѣтія сосредоточила столько распутствъ и ужасовъ! Въ тяжкомъ вѣковомъ томленіи Римской Имперіи вы не найдете періода, съ коимъ можно бы было сравнить сей злобѣщій вѣкъ, начавшійся оргіями регентства и заключившійся свирѣпствами терроризма, вѣкъ кощунства и нечестія, разврата и безначалія, вѣкъ шарлатановъ и изувѣровъ, интригановъ и крамольниковъ, сибаритовъ и убійцъ».

Но противорѣчія и несообразности были, очевидно, рокомъ въ жизни Надеждина. Его ученая и литературная карьера прервалась политическими страданіями за напечатаніе въ *Телескопѣ* одного изъ философическихъ писемъ Чаадаева.

*Письма*, какъ извѣстно, крайне сенсационнаго содержанія. Они—самый рѣзкій, почти отчаянный крикъ человѣческаго сердца, надорваннаго нескончаемыми разочарованіями въ себѣ самомъ, въ судьбахъ своей родины, во всемъ человѣчествѣ. Это—лирическій пессимизмъ, въ высшей степени сложнаго и своеобразнаго состава, эффектиѣйшее выраженіе чувства, обуревающаго тургеневскаго Потугина, нераздѣльно слитыхъ любви и ненависти къ Россіи.

Въ *Письмахъ* звучало не мало и вполне современныхъ мотивовъ, прежде всего тоска о культурномъ прогрессѣ Россіи, свободномъ и могучемъ не менѣе европейскаго, страстные поиски причины, почему онъ не осуществился и еще болѣе востребанная жажда источника—его возможнаго осуществленія.

Мы видѣли, одни указывали на связь съ древнимъ міромъ, на возрожденіе античнаго классицизма на русской почвѣ, какъ первоосновы всякой европейской цивилизаціи. Чаадаеву представлялся болѣе краткій путь, мимо Эллады и Византии, прямо католичество и послѣдовательный западный европеизмъ.

Устами автора говорила страсть, своего рода азартъ ясновидящей мысли: это доказывается и складомъ *Писемъ*, и строжайшимъ искусомъ одиночества, сопровождавшимъ возникновеніе *Писемъ*. Но что также въ нихъ было много прочувствованной и выстраданной правды, засвидѣтельствовано отзывомъ Пушкина, совершенно спокойнымъ и безпристрастнымъ.

Поэтъ не согласенъ съ унижительнымъ представленіемъ Чаадаева о русской исторіи, но сужденія о современномъ состояніи Россіи во многомъ казались Пушкину «глубоко справедливыми», и онъ пояснялъ, почему.

«Наша общественная жизнь весьма печальна. Это отсутствіе общественнаго мнѣнія, это равнодушіе ко всякому долгу, къ справедливости и правдѣ, это циническое презрѣніе къ мысли и къ человѣческому достоинству дѣйствительно приводятъ въ отчаяніе. Вы хорошо сдѣлали, что громко это высказали» <sup>68)</sup>.

Но Пушкинъ въ то же время опасался послѣдствій. И опасенія не замедлили оправдаться.

*Телескопъ* былъ запрещенъ, предсѣдателя цензурнаго комитета, ректору Болдыреву, предложено выйти въ отставку, Надеждинъ, редакторъ журнала, исключенъ изъ службы и сосланъ въ Усть-Сысольскъ, Чаадаевъ подвергнутъ временному надзору въ качествѣ сумасшедшаго.

Болдыревъ въ дѣлѣ не причемъ, онъ подписалъ листы, не читая, но Надеждинъ долженъ былъ отдавать себѣ отчетъ въ печатаніи подобной статьи. Что же его заставило рискнуть?

Современникамъ вопросъ представлялся такъ, будто Надеждинъ просто утопилъ цензора, пустилъ статью, не боясь за себя лично и не щадя доверчиваго сослуживца <sup>69)</sup>.

Можетъ быть, редакторъ подцензурнаго изданія и могъ питать такія надежды, но, во всякомъ случаѣ, редакторъ *Телескопа* пострадалъ не за либерализмъ. *Письмо* обѣщало шумъ и шуму, дѣйствительно, произошло даже больше, чѣмъ можно было ожидать. Жур-

<sup>68)</sup> Письмо отъ 19 окт. 1836 на франц. яз. Сочин. VII, 411.

<sup>69)</sup> Барсуковъ. IV, 338.

налъ, конечно, выигрывать, и, естественно, редакторъ подвергся сильному соблазну.

Дальнѣйшая судьба Надеждина, редактора *Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ*, потомъ виднаго чиновника того же министерства, нисколько не соответствовала опрометчивому поступку на поприщѣ журналистики. Даже въ эпоху сороковыхъ годовъ и послѣ 1848 года никому и на умъ не приходила мысль о сомнительности убѣжденій бывшаго профессора.

И его профессорская дѣятельность постепенно отходила въ область преданій. На литературной сценѣ, правда, дѣйствовали одинъ изъ его учениковъ и даже сотрудниковъ, но врядъ ли самый тщательный психологическій и идейный анализъ могъ бы открыть точки соприкосновенія между неистовымъ Виссаріономъ и бывшимъ оракуломъ московскаго университета.

Врядъ ли и съ самаго начала этихъ точекъ существовало особенно много. При подробномъ разборѣ критической дѣятельности Вѣдинскаго намъ само собой представится все общее, что могло быть у него съ Надеждинымъ. Мы могли и теперь предугадать главнѣйшія общія идеи, именно тѣ, какія самого Надеждина ставили въ уровень съ современнымъ умственнымъ движеніемъ.

Но мы ни въ какомъ случаѣ не могли бы взять на себя смѣлость утверждать, будто профессоръ являлся оригинальнымъ обладателемъ этого капитала и онъ первый и единственный подѣлился имъ съ своимъ слушателемъ. Напротивъ. Мы переходимъ къ другому, въуниверситетскому, философскому теченію, и убѣждены, что простая исторія его обозначить законныя мѣста въ умственномъ движеніи тридцатыхъ годовъ, *отцамъ*, т. е. профессорамъ и официальнымъ ученымъ, и *дѣтямъ*, ихъ слушателямъ, но далеко не всегда послѣдователямъ и ученикамъ.

Постоянныхъ, общепризнанныхъ учителей было мало у этой молодежи. Мы уже знаемъ нѣкоторыя черты взаимныхъ отношеній между профессорами и молодыми писателями: Мерзляковъ вызываетъ почтительное, но рѣшительное осужденіе, Надеждинъ сначала увлечаетъ, но скоро разочаровываетъ. Оба профессора, казалось бы, званые и избранные руководители именно писателей: оба — ученые по литературѣ, краснорѣчію, искусству.

Но дѣйствительность не оправдала многообѣщавшихъ предзнаменованій. Истиннымъ учителемъ молодежи по философіи и, слѣдовательно, по литературному и критическому искусству, явился специалистъ совсѣмъ другой науки, не имѣющей ничего общаго ни съ «умозрительными теоріями», ни съ изящными искусствами.

Даже больше. Именно этого профессора современники ставят во главѣ московскаго шеллингiанства, мимо Давыдова и Надеждина, ему приписываютъ переселеніе германской философіи въ среду московскихъ студентовъ и съ его именемъ люди совершенно разныхъ направленій связываютъ начало философскихъ увлеченій будущихъ критиковъ и публицистовъ.

*Исторически* честь не единолично заслуженная, но *нравственно*, несомнѣнно, законная, разъ *сила* вліянія одного человѣка затмила *права* чужой дѣятельности.

### XXXI.

Михаилъ Григорьевичъ Павловъ, студентъ харьковскаго университета, потомъ медико-хирургической академіи, наконецъ, московскаго университета, по окончаніи курса математики, и медикъ, заграницей спеціалистъ по сельскохозяйственнымъ наукамъ.

Это своего рода энциклопедія, только какъ разъ безъ предмета, создавшаго нашему ученому славу, безъ философіи. Она въ германскихъ университетахъ, повидимому, поглощала почти все его время, и потомъ, сочиняя книги по сельскому хозяйству, читая лекціи по физикѣ, Павловъ неизмѣнно оставался усерднымъ апостоломъ шеллингiанства.

Герценъ, одиный изъ его слушателей рассказываетъ:

«Германская философія была привита московскому университету М. Г. Павловымъ. Кафедра философіи была закрыта съ 1826 г. Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физики было мудро поучиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»<sup>10)</sup>

Отвѣты на вопросы Павловъ черпалъ въ шеллингiанской системѣ и умѣлъ излагать ихъ съ «пластической ясностью». Если профессоръ не достигалъ идеала въ этомъ направленіи, вина была въ самой философіи Шеллинга, не законченной и не уясненной во всѣхъ подробностяхъ.

Лекціи Павлова приняты были «съ жаромъ» университетской молодежью. Многіе студенты отважились на самостоятельное изу-

<sup>10)</sup> *Былое и думы*. VII, 119. *Записки К. А. Полеваго*. Спб. 1868, 85—6.

ченіе Шеллинга: такіа увлекательныя перспективы умѣлъ показать профессоръ, самъ воодушевленный истинами поваго «любомудрія».

«Отъ первой лекціи до послѣдней», рассказываетъ одинъ изъ его слушателей, «не было ни одной холодной, ни одной сухой или скучной. Одушевленіе не оставляло профессора ни на мигу. И это одушевленіе переходило въ его слушателей. Мысли Павлова, мало принесшія намъ пользы въ самой наукѣ, послужили однакоже для насъ путеводною нитью въ другихъ, развили или, по крайней мѣрѣ, послужили къ развитію какого-то особеннаго критическаго взгляда на науку вообще, на ея начала и основанія, на ея развитіе и выполненіе»<sup>11)</sup>.

Мы видимъ, отзывы современниковъ о Павловѣ отнюдь не менѣе благопріятныя, чѣмъ о Надеждиѣ или о Галичѣ. Павловъ имѣетъ несомнѣнныя преимущества своей учительской близостью къ молодежи. Мы сейчасъ увидимъ значеніе этого факта, но предварительно мы тщательно должны рѣшить вопросъ, какъ далеко могло идти вліяніе популярнѣйшаго профессора-шеллингианца и какіе вполне осязательные плоды могло принести оно въ критической литературѣ?

Павловъ создалъ у слушателей интересъ къ философіи и лекціями, и сочиненіями. Въ какомъ направленіи развилась собственная мысль профессора, видно изъ его статей, предназначенныхъ для большой публики.

Съ перваго взгляда статьи, повидимому, сильно подрываютъ только что засвидѣтельствованное очевидцами достоинство Павлова, ясность мыслей. Напротивъ, мы прямымъ путемъ попадаемъ въ безвыходныя дебри тѣхъ самыхъ натуръ-философскихъ аналогій, гипотезъ, почти ясновидѣній, знакомыхъ намъ по произведеніямъ Велланскаго.

Очевидно, Шеллингъ у русскихъ мыслителей дѣйствовалъ преимущественно на страсть къ мнимо-научному глубокомыслію, баюкивавшему философовъ одновременно призраками строгаго познанія природы и неограниченнаго пропикновенія въ ея законы и тайны.

Фактъ, вполне естественный.

Если Шеллингъ, въ центрѣ широкаго и блестящаго развитія опытныхъ наукъ, могъ впасть въ мистическое толкованіе ихъ выводовъ и опытному изслѣдованію явленій противопоставить твор-

<sup>11)</sup> Колупановъ I. 475.

чество и созерцаніе,—на русской почвѣ было несравненно больше простора для самыхъ фантастическихъ экскурсій въ область невѣдомаго и непознаваемаго.

Русскіе философы оказывались, приблизительно, въ положеніи древнихъ греческихъ мудрецовъ, до-сократовскихъ временъ. Обладая весьма ограниченными свѣдѣніями о природѣ и человѣческой душѣ, эти мудрецы, именно въ силу свое ограниченности, съ чрезвычайной отвагой пускались въ открытіе причины всѣхъ причинъ, создавали поразительнѣйшіе абсолюты, часто дѣтски-наивнаго содержанія, просто брали какое-нибудь вещество—воду, огонь, воздухъ, и къ нему приурочивали развитіе міровой жизни.

Этотъ размахъ воображенія тѣшилъ незрѣлую мысль, и какой-нибудь Thalész могъ искренне воображать себя носителемъ верховной истины, Пифагоръ вполне серьезно облекать въ непроницаемый туманъ поэтическую игру своей фантазіи и даже дѣлить на разныя степени, будто въ священномъ ордентѣ, своихъ учениковъ, сообразно съ приближеніемъ ихъ къ святилищу высшей мудрости.

Естественно, въ подобныхъ системахъ первое мѣсто занимаютъ элементарнѣйшіе приемы мышленія—сравненіе, аналогія, часто просто—метафора, поэтическая фигура. Въ эллинской философіи, вплоть до Аристотеля лишенной сколько-нибудь значительнаго научнаго основанія, эти упражненія процвѣтаютъ даже послѣ трезвой скептической мысли Сократа, еще Платонъ будетъ сочинять поэмы вмѣсто разсужденій и безъ малѣйшихъ затрудненій самые сложные вопросы философіи и психологіи рѣшать путемъ лирическаго безпорядка, сравненій, уподобленій, аллегорій.

Достаточно вспомнить чрезвычайно размахистую задачу въ діалогѣ *Республика* о «вышемъ благѣ» и результатъ всѣхъ препирательствъ, уподобленіе этого идеала солнцу! Для эллинскаго мудреца рѣшеніе вполне удовлетворительное. Такимъ оно и должно быть для всякаго первичнаго ученическаго философскаго мышленія, не умѣющаго разграничивать логики и поэзіи, идей и образовъ, знанія и воображенія.

То же самое происходитъ съ русскими шеллингианцами.

Они, конечно, неизмѣримо ученѣе древнихъ греческихъ философовъ, но вѣдь и творчество, ихъ соблазняющее, гораздо зрѣлѣе и сложнѣе. Вода или огонь въ качествѣ абсолюта вызовутъ у нихъ улыбку сожалѣнія, но это не значитъ, чтобы они вообще отказались отъ натурфилософскихъ принциповъ. Тѣмъ болѣе что мы



знаемъ, само естествознаніе своими открытіями влекло философовъ на этотъ путь.

Несомнѣнно, «животный магнетизмъ», какъ всеобъемлющая основа жизни, болѣе научно и философски-глубокое представленіе, чѣмъ какая-либо изъ четырехъ стихій, постепенно возподившихся у древнихъ философовъ въ первоисточники бытія. Но *сущность* міросозерцанія та же.

Шеллингъ, на основаніи своей теоріи абсолютнаго тождества, логически могъ дойти до чисто-платоновской идеи: міръ *сльдуетъ* изучать не по фактическимъ даннымъ, а по высшимъ категоріямъ разума, *чистыхъ отвлеченій*. «Мы явленія оставимъ въ сторонѣ,—говоритъ Платонъ,—они не дадутъ намъ настоящаго знанія, а только *мнѣнія, грѣзы*. Единственный источникъ реального вѣдѣнія, совершенной *уверенности*—діалектическій процессъ мысли—*черезъ идеи къ идеямъ*» <sup>12</sup>).

Шеллингянство именно и становилось на этотъ путь, стремясь чисто-философскими обобщеніями предвосхитить данныя опытныхъ наукъ и созидая міръ дѣйствительности изъ міра идей, бытіе изъ мышленія.

Метафизика искои вѣковъ вращается въ однихъ и тѣхъ же предѣлахъ. Все новое, входящее въ ея область, принадлежитъ не ей: это—матеріалъ, заимствованный ею извнѣ, изъ исторіи и естествознанія. Пріемы, путь и цѣли остаются неизмѣнными, и воплнѣ естественно не только у Шеллинга, но и у Гегеля и также у Шопенгауера будутъ звучать самые подлинные голоса древнѣйшихъ разгадчиковъ тайны Изиды, отъ Будды до Платона.

Легко представить, съ какимъ юношескимъ пыломъ должны были наброситься на столь увлекательныя приманки русскіе ученики западной философіи. Уже на примѣрѣ Велланскаго мы видѣли, до какихъ предѣловъ могъ развиваться соблазнительный и безотвѣтственный натурфилософскій азартъ. Павловъ, одаренный гораздо болѣе оригинальной и точной мыслью, остался сыномъ своей эпохи и послѣдователемъ господствующей вдохновенной мудрости.

Мы видѣли, одинъ изъ слушателей Павлова придаетъ большое значеніе простой постановкѣ вопроса: что такое природа?

И Павловъ, дѣйствительно, ставилъ этотъ вопросъ, но какъ отвѣчалъ?

Напримѣръ, въ журнальной статьѣ объяснялось понятіе *веще-*

---

<sup>12</sup>) *Repubblica*, lib. VI.



ства. По мнѣнію философа, вещество—сѣтъ сгущенный и потем-  
ченный тяжестью, при взаимномъ ихъ ограниченіи.

Дальше, что такое самый свѣтъ?

«Свѣтъ есть проявленіе силы расширительной, электричество  
есть тотъ же свѣтъ, но смѣшанный въ предѣлахъ силыгнѣшаго  
ограниченія; отсюда дѣйствія его такъ порывисты, бурны, а  
именно отъ усилія расторгнуть узы, столь противныя его натурѣ».

Потомъ, опредѣленіе животныхъ: они—соединеніе вещества  
съ преобладаніемъ жидкихъ частей <sup>73</sup>).

Можно, конечно, до безконечности изобрѣтать подобныя опре-  
дѣленія, но врядъ ли они сколько-нибудь въ состояніи увеличить  
знаніе и помочь пониманію естественныхъ явленій. Весь смыслъ  
ихъ формальный, діалектический, очень полезный для гимнастиче-  
скихъ упражненій мысли, но безплодный для ихъ содержанія.

Больше пользы было для слушателей Павлова отъ его простыхъ  
сообщеній объ идеяхъ критической философіи. Въ статьѣ: *О спо-  
собахъ изслѣдованія природы* Павловъ знакомилъ публику съ кан-  
товскимъ воззрѣніемъ на познаваемое и непознаваемое, на явленіе  
и сущность. Философъ, конечно, не останавливался на кантов-  
скомъ дуализмѣ и переходилъ на шеллингянскій путь къ всеобъем-  
лющему вѣдѣнію. Но для русской молодежи важно было слышать  
«пластически ясное» изложеніе великой критической системы. Оно,  
при всемъ соблазнѣ шеллингянскихъ откровеній, могло вызвать  
въ умахъ въ высшей степени плодотворную работу и удержати  
ющую мысль отъ головокружительныхъ полетовъ въ царство не-  
вѣдомаго и неизслѣдуемаго.

Несомнѣнно, критической философіи на первыхъ порахъ было  
не подъ силу бороться съ полурелигіозной, полупоэтической систе-  
мой Шеллинга, сулившей дать отвѣты на всѣ запросы идеальпо-  
тоскующаго духа, примирить всѣ противорѣчія человѣческаго ума  
и жизни въ чудной вѣчной гармоніи высшаго разума. Но уже  
весьма существеннымъ фактомъ было знакомство будущихъ кри-  
тиковъ съ философіей, представлявшей своего рода противоядіе  
противъ крайнихъ увлеченій созерцаніемъ и догматизмомъ. Въ  
этомъ большое преимущество Павлова предъ Велланскимъ.

Но оставалась еще самая важная задача, та самая, къ какой  
въ Петербургѣ приступилъ Галичъ съ своей книгой *Наука объ  
изящномъ*. Мы говоримъ о приложеніи философіи къ критикѣ.  
Галичу оно совершенно не удалось; оно даже не стояло въ про-

<sup>73</sup>) *Телескопъ*, 1836, ч. 32 и 36.

граммъ петербургскаго эстетика. Какъ же отнесся къ задачѣ Павловъ?

Онъ выступилъ на поприще журналистики съ журналомъ *Атеней*. Мы видѣли, здѣсь былъ напечатанъ отрывокъ изъ диссертациіи Надеждина. Въ той же самой книгѣ помѣщено «новое опредѣленіе романтизма»: «это—новый родъ словесности, въ которомъ, для краткости, выпускается здравый смыслъ» <sup>74)</sup>.

Слѣдовательно, журналъ враждовалъ съ современнымъ направле-  
ніемъ литературы и стоялъ за классицизмъ?

Отвѣтъ дается утвердительный многочисленными статьями, въ родѣ хвалы *Стихотворной науки* Буало, многочисленныхъ издѣвательствъ надъ романтизмомъ, и особенно критикой на произведенія Пушкина.

По поводу IV и V главъ *Евгенія Онегина* «Атеней» писалъ: «Романтическое вырываетъ стихотвореніе отъ всѣхъ притязаній здраваго смысла и законныхъ требованій вкуса». Роману Пушкина, конечно, произносится смертный приговоръ: «Нѣтъ характеровъ, нѣтъ и дѣйствій. Легкомысленная только любовь Татьяны оживляетъ нѣсколько оное».

Не пощажена и форма, стихи романа. Въ общемъ, они хороши, но «сотни мелочей» «заживо цѣпляютъ людей, учившихся по старымъ грамматикамъ» <sup>75)</sup>.

Можно подумать, журналъ будетъ твердо стоять на стражѣ старой школы и до конца вести войну противъ Пушкина, какъ представится неразумныхъ новшествъ?

Оказалось, *Атеней* повторилъ оригинальную исторію Мерзлякова и Надеждина: одинъ—классикъ—плакалъ надъ стихами Пушкина, другой—врагъ *нигилизма*—отрекся отъ своей вражды къ «нигилисту». Не судьба была профессорамъ выдерживать фронтъ даже на разстояніи весьма скромныхъ періодовъ времени. Всего годъ спустя *Атеней* напечаталъ статью о *Полтавѣ*. Авторъ—Максимовичъ—защищалъ Пушкина отъ упрековъ критики въ искаженіи характеровъ и возстановлялъ безусловно и психологическое, и историческое достоинство поэмы <sup>76)</sup>.

<sup>74)</sup> *Атеней*, 1830, январь, 116.

<sup>75)</sup> *Атеней*, 1828, № 4; ст. подпис. В., принадлежитъ М. Дмитріеву, сотруднику *Вѣстника Европы*, автору статей противъ Пушкина и заслужившему отъ поэта наименование лже-Дмитріева въ отличіе отъ И. И. Дмитріева. Письмо къ А. С. Пушкину, апр. 1825 г. Сочин. VII, 120.

<sup>76)</sup> *Атеней*, 1829, № 6.

Это происходило въ 1829 году, а годъ спустя все-таки явилась статья Надеждина, еще не признававшего Пушкина, и сатирическая замѣтка о романтизмѣ.

Очевидно, у журнала не было твердаго символа критической вѣры, и редакторъ его или не могъ додуматься до этого символа, или считалъ его лишнимъ для своей учености и философской мысли.

Второе объясненіе, пожалуй, вѣрнѣе: при блестящихъ способностяхъ профессора, внимательное отношеніе къ современной литературѣ не могло не привести его къ устойчивымъ и болѣе основательнымъ литературнымъ понятіямъ. Но Павловъ, подобно Галичу, не желалъ снизойти до *поэтовъ* и въ критическомъ отдѣлѣ своего журнала предоставлялъ хозяйничать людямъ самаго разнообразнаго умственного склада.

Повидимому, и современники понимали и цѣнили безучастіе профессора къ самымъ жгучимъ вопросамъ времени. *Атеней* велъ упорную борьбу съ *Московскимъ Телеграфомъ* и статьями, и сатирическими замѣтками. Но это не помѣняло брату Николаю Полевого—постоянной жертвы выходовъ *Атенея*—дать самый вѣстный отзывъ о Павловѣ. Очевидно, профессоръ царствовалъ въ журналѣ, но не управлялъ, по крайней мѣрѣ, насколько дѣло касалось литературной полемики и критики.

Но и собственно философская дѣятельность Павлова продолжалась недолго. Правительство поручило ему устроить земледѣльческій хуторъ, и онъ послѣдніе годы жизни посвятилъ исключительно своей официальной специальности, сельскому хозяйству.

Мы, слѣдовательно, можемъ опредѣлить границы *практическаго* вліянія популярнѣйшаго шеллингiana. Павловъ не былъ руководителемъ молодого поколѣнія, а только возбудителемъ новыхъ умственныхъ интересовъ. Онъ, подобно своимъ современникамъ ученымъ, не могъ стати на одномъ и томъ же *жизненномъ* пути съ будущими дѣятелями литературы и работать съ ними ради общихъ цѣлей—*литературнаго* прогресса.

Онъ, дѣйствительно, «въ дверяхъ» аудиторіи останавливалъ студента, проходилъ съ нимъ даже въ аудиторію, но дальше—пути профессора и студента расходились. Профессоръ шелъ въ свой ученый кабинетъ, а студенту предоставлялось собственными силами разбираться въ явленіяхъ *толпы* и *улицы*, точнѣе—общедоступной и тѣмъ болѣе настоящей дѣятельности.

Большая заслуга, конечно, *призывать* умы къ работѣ, да еще

на новомъ пути, но еще выше назначеніе всякаго учителя *совмѣстно работать* съ своими учениками, рука объ руку съ ними проходить весь намѣченный путь и нравственной чуткостью и умственной терпимостью устранить разстояніе, отдѣляющее одно поколѣніе отъ другого, и тѣмъ спасти юныхъ путниковъ отъ недоразумѣній и ошибокъ. Это единствіе и неразрывная преемственность культурной работы — высшій идеалъ всякаго прогресса, и онъ, повидимому, труднѣе всего осуществимъ въ русскомъ обществѣ. Не осуществился онъ и въ философскую эпоху.

Ея младшее поколѣніе, взявшее впоследствии въ свои руки судьбу литературы и критики, осуждено было на самостоятельную работу именно въ важнѣйшей области практическаго примѣненія философскихъ идей. Мы должны помнить этотъ фактъ: онъ многое объяснить и, если потребуется, многое оправдываетъ.

## XXXII.

При ближайшемъ, не идейномъ и историческомъ, а личномъ сопоставленіи старыхъ русскихъ философовъ и молодыхъ, обрисовывается одна въ высшей степени любопытная черта.

Мы знаемъ, какъ и гдѣ напитывались философіей будущіе профессора, слышимъ даже о большой стремительности ихъ именно къ шеллингизму, но намъ остается неизвѣстнымъ одинъ фактъ. Собственно для общей исторіи философіи онъ не имѣетъ большого значенія, но для характеристики философовъ и для точнаго представленія объ ихъ дѣятельности онъ безусловно необходимъ и поучителенъ, какъ никакая ученая книга.

Что влекло Велланскаго, Галича, Давыдова, Надеждина, Павлова къ системѣ Шеллинга?

Отвѣтовъ, конечно, можно представить не мало и волиѣ основательныхъ: популярность системы, ея особые достоинства. Но что собственно хватало за душу русскихъ студентовъ, слушавшихъ лекціи шеллингизмцевъ, читавшихъ сочиненія Шеллинга? Не было ли болѣе глубокаго *интимнаго* мотива предпочесть шеллингизму другому ученію? Однимъ словомъ, не было ли именно въ этой философій особенной нравственно-притягательной силы для всѣхъ, кто искалъ истины?

Мы знаемъ, было очень многое. Мы видѣли, какими идеями шеллингизмъ шло на встрѣчу тоскѣ своего времени и могло превратиться для своихъ учениковъ въ философскую религію.

Одинъ изъ слушателей Шеллинга намъ рассказываетъ случай, возможный только при дѣйствительно пророческомъ авторитетѣ учителя надъ учениками.

Въ Мюнхенѣ, въ одной изъ лекцій Шеллингъ жестоко напалъ на Гегеля, успѣвшаго уже стяжать европейскую славу. Философъ не поспешилъ ни на презрительную мимику, ни на унижительныя слова, и вся рѣчь вышла сопоставленіемъ его, шеллинговой, непогрѣшимой философіи съ «искусственной филигранной работой» Гегеля.

Аудиторія замерла отъ изумленія и восторга. Когда профессоръ кончилъ, студенты встали съ мѣстъ, и произошла бурная овация Шеллингъ величественно поклонился и ушелъ походкой триумфатора <sup>77)</sup>.

Не существовало ли подобныхъ чувствъ и у русскихъ учениковъ германскаго философа, — чувствъ не по *разсудку*, а по *сердцу*?

Вѣдь отъ этого условія зависитъ энергія отвлеченной мысли и ея практическое направленіе. Ничто не дѣлаетъ умственнаго дѣятеля болѣе послѣдовательнымъ и чуткимъ, какъ личный энтузіазмъ во имя излюбленной идеи.

Былъ ли онъ у старшаго поколѣнія шеллингианцевъ?

Врядъ ли. Мы много слышимъ о краснорѣчіи ученыхъ философовъ, но въ то же время или намъ прямо говорятъ объ ихъ «собственномъ безучастіи къ предмету», или мы сами должны предположить это безучастіе, встрѣчая на каждомъ шагѣ колебанія философа, будто оторопь предъ логическими выводами воспринятаго принципа и даже явное отступленіе отъ провозглашенной системы.

Въ біографіи единственнаго ученаго шеллингианца мы находимъ живой отголосокъ любовнаго проникновеннаго чувства къ избранному философскому воззрѣнію. Легко угадать, кто этотъ философъ. Галичъ, при всѣхъ притязаніяхъ на недоступную толпѣ ученость, единственный изъ русскихъ ученыхъ философовъ обнаружилъ свободный публицистическій талантъ и даже нѣкоторые задатки художественной критики. Онъ именно и примыкаетъ къ молодому поколѣнію своеобразнымъ чувствительно-идейнымъ настроеніемъ.

Разъ одинъ изъ учениковъ Галича обратился къ нему съ такими запросомъ:

<sup>77)</sup> Karl Rosenkranz. *Schelling. Vorlesungen*. Danzig 1843, XXI.

— Скажите, Александръ Ивановичъ, можно ли сказать, что шеллингова философія рѣшаетъ удовлетворительно задачи, составляющія ея программу?

Галичъ улыбнулся своей иронической улыбкой и спросилъ у своего собесѣдника:

— А вы сами какъ думаете? Находите ее удовлетворительною?

— И такъ, и сякъ, — отвѣчалъ онъ. — Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ она меня удовлетворяетъ, въ другихъ нѣтъ.

— Ну, я поставлю вопросъ иначе: чувствуете ли вы, что вамъ съ нею нѣсколько лучше и вы сами, съ помощью ея, не сдѣлались ли немного лучше?

— О, да!

— Ну, такъ и довольствуйтесь этимъ. Тотъ философскій образъ мыслей есть самый для насъ приличный, который наиболѣе содѣйствуетъ намъ къ достиженію мира съ самимъ собою и съ другими. Счастливъ тотъ, чьи убѣжденія ближе къ истинѣ, но безъ убѣжденій жить нельзя <sup>78)</sup>.

Можетъ быть, профессору приходилось неоднократно высказывать этотъ взглядъ. Можетъ быть, именно благодаря такому сердечному толкованію отвлеченныхъ истинъ, Галичъ, опять одинъ изъ всѣхъ профессоръ-шеллингианцевъ, приобрѣлъ, въ своихъ ученикахъ близкихъ, родныхъ друзей.

Когда надъ нимъ разразилось гоненіе, ученики немедленно пришли на помощь и съумѣли оказать ее любимому учителю въ такой формѣ, что Галичъ гордился своими обязательствами по отношенію къ молодежи.

«Отъ нихъ не стыдно принять помощь, — говорилъ онъ, — они мнѣ родные, насъ соединяетъ союзъ идей. И есть же въ идеяхъ какая-нибудь сила, когда вотъ и такой неискусный ловецъ, какъ я, уловляю ими сердца моихъ ближнихъ и становлюсь предметомъ ихъ любви и пощеченій».

Да, сила была въ идеяхъ, и великая, и прочная, какой до философской эпохи не знало русское общество. Самыя понятія *идея*, *убѣжденія* явились во всемъ своемъ духовномъ величій, облаченные властью и чарующимъ свѣтомъ, только въ этотъ періодъ. При переходѣ изъ восемнадцатаго вѣка къ первой четверти девятнадцатаго мы попадаемъ будто въ другой міръ. Онъ не возникъ, конечно, изъ ничего: исторія не знаетъ чудесъ и внезапно-

<sup>78)</sup> Никитенко. О. с., стр. 78.

стей. Даже величайшія катастрофы всегда связаны многочисленными нитями съ прошлымъ, спокойнымъ порядкомъ вещей. Русскіе философы имѣютъ своихъ духовныхъ отцовъ и свои преданія. Отцы—рѣдкія отдѣльныя личности, преданія—скромныя и часто печальныя, но это только лишней яркой чертой отличаетъ энергію дѣтей, отнюдь не устраняя исторической преемственности въ ихъ идеальныхъ стремленіяхъ и умственной работѣ.

Сами дѣятели философской эпохи вполне сознаютъ свои отношенія къ прошлому русской образованности. Они извлекаютъ изъ забвенія своихъ предшественниковъ, поспѣваютъ увѣнчать ихъ хотя бы запоздалыми лаврами и скорѣе готовы будутъ преувеличить ихъ заслуги, чѣмъ пренебречь ими.

Новиковъ явится на первомъ мѣстѣ.

«Память о немъ почти исчезла: участники его трудовъ разошлись, утонули въ темныхъ заботахъ частной дѣятельности, многихъ уже нѣтъ; но дѣло, ими совершенное, осталось: оно живетъ, оно приноситъ плоды и ищетъ благодарности потомства».

Такъ будетъ писать одинъ изъ представителей философскаго направленія и разъ навсегда точно и достойно опредѣлитъ культурное значеніе новиковской дѣятельности: «Новиковъ не распространялъ, а создалъ у насъ любовь къ чтенію»<sup>79)</sup>.

Другой современникъ не согласится даже съ такой оцѣнкой. найдетъ ее несоотвѣтствующей дѣйствительному историческому положенію Новикова въ екатерининскую эпоху. Онъ не станетъ понижать заслугъ просвѣтителя, но посмотритъ на него не какъ на героя и исключительное обособленное явленіе, а какъ на представителя цѣлаго теченія, перваго среди многихъ. Взглядъ въ высшей степени важный. Онъ показываетъ, какой ясный отчетъ люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ отдавали себѣ въ постепенномъ развитіи русской общественной мысли и на какой, следовательно, твердой почвѣ стояли, защищая извѣстныя идеи.

Напѣвъ авторъ съ исторической точностью изобразить смыслъ старой аристократической образованности, исключительнаго достоинства знатныхъ русскихъ учениковъ Европы и совершенно посторонней для русскаго народа и даже русскаго общества въ широкомъ смыслѣ.

Существовали разныя высшія ученныя учрежденія и не было

<sup>79)</sup> Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ. Сочиненія* I, 20—21.



народныхъ школъ, и «когда въ высшемъ обществѣ нашемъ спорили о софистическихъ задачахъ Руссо и Гельвеція, мужики наши не имѣли понятія о необходимѣйшихъ житейскихъ отношеніяхъ. Выснія точки нашего общественнаго горизонта были освѣщены яркимъ пламенемъ европейской образованности, а низшія закрыты густымъ мракомъ вѣкового азіатства».

Такъ продолжалось съ реформы Петра, до самаго конца восемнадцатаго вѣка. Пропастъ казалась непроходимой и именно люди, озаренные европейскимъ свѣтомъ, менѣе всего были расположены устранить ее, разсѣять мракъ азіатства въ народной средѣ. Вѣдь тогда могли бы поколебаться самыя основы благоденствія и тонкаго просвѣщенія «высшихъ точекъ!»

Слѣдовало народиться людямъ, не заинтересованнымъ въ народномъ невѣжествѣ, напротивъ, лично раздѣляющимъ невзгоды существующаго порядка.

Это и была интеллигенція, средній классъ, непричастный словнымъ благамъ высшаго общества, по стоящій также и надъ народной массой и ея темнотой.

Это третье сословіе по въ западноевропейскомъ смыслѣ, это совершенно самобытное явленіе русской культуры, третье сословіе—не политическая сила, а исключительно умственная, точнѣе, просвѣтительная. Составъ его крайне разнообразный, постепенно мѣнявшійся въ зависимости отъ общихъ государственныхъ переи́нъ.

Сначала то же дворянство, только не вельможное, дворянство мелкихъ чиновъ и скромныхъ служебныхъ карьеръ, потомъ «семинаристы», скоро стяжавшіе въ русскомъ обществѣ и въ литературѣ особую репутацію людей ученыхъ и педагоговъ. Но имеемъ «семинариста» будутъ по привычкѣ преслѣдовать и такихъ «педагоговъ», какъ Бѣлинскій: очевидно, въ семинаристѣ было нѣчто помимо затхлой учености и рабьяго школьнаго духа, былъ нѣкій контрастъ легкому, блестящему просвѣщенію господъ благороднаго домашняго воспитанія.

И этотъ контрастъ—дѣйствительное знаніе и самостоятельная мысль. Недаромъ, первоисточникомъ русской философіи явились именно семинаріи и ея первоучителями семинаристы въ буквальномъ смыслѣ.

Съ теченіемъ времени интеллигенція пріобрѣтала новыя силы и классическое наименованіе *разночинецъ*, въ табели о рангахъ, все больше и больше сливалось съ другимъ именемъ новѣйшаго литературнаго происхожденія, но большой исторической давности—

**интеллигентъ.** Реформы шестидесятыхъ годовъ закончили процессъ, но и до послѣднихъ дней можно еще нащупать старую пропасть между «высшими точками» и «средними людьми».

И вотъ этотъ-то процессъ ясно сознавался поколѣніемъ двадцатыхъ годовъ.

*Московскій Телеграфъ*, обозрѣвая путь русской образованности, писалъ:

«Около конца осьмнадцатаго столѣтія, не ближе—началъ образовываться у насъ классъ среднихъ людей между *бариномъ* и *мужикомъ* существъ, то-есть тѣхъ людей, которые вездѣ составляютъ истинную, прочную основу государствъ. Изъ среды сего-то класса вышелъ Новиковъ»...

Но онъ былъ не одинъ. Авторъ не желаетъ упустить ничьихъ заслугъ, не забываетъ даже вспомнить о немногихъ дѣйствительно просвѣщенныхъ меценатахъ, правда, не называя ихъ по именамъ:

«Не Новиковъ, а цѣлое общество людей благонамѣренныхъ, при подкрѣпленіи нѣкоторыхъ всѣмощъ, дѣйствовало на пользу насъ, ихъ потомковъ, распространяя просвѣщеніе. Новиковъ былъ только главнымъ дѣйствующимъ лицомъ».

Его заслуга, по мнѣнію *Телеграфа*, не въ изданіи нѣсколькихъ полезныхъ книгъ и не въ умноженіи читателей *Московскихъ Вѣдомостей*, она гораздо шире и глубже: Новиковъ «первый создалъ отдѣльный отъ свѣтскаго круга образованныхъ молодыхъ людей средняго состоянія».

Все значеніе Карамзина исчерпывается именно его связями съ этимъ кругомъ, тѣмъ, что онъ въ обществѣ Новикова получилъ начатки умственного развитія и даже литературнаго таланта. Не всѣ обладали этимъ талантомъ въ равной степени, но всѣ работали на одномъ пути и съ одинаковыми цѣлями.

«Они-то внесли образованность въ тотъ отдѣлъ нашего общества, гдѣ она производитъ многозначащія, прочныя успѣхи. Въ первый разъ сочиненіями Карамзина и распространеніемъ понятій, общихъ ему и сверстникамъ его, русскіе средняго состоянія стали сближаться съ литературою. Это было начальнымъ основаніемъ общей образованности нашей, и съ сего-то времени такъ-называемый *низшій кругъ людей* сталъ сближаться съ высшимъ, разрушивъ преграды, заслонявшія общество русское отъ академій и большаго свѣта» <sup>80</sup>.

<sup>80</sup>) *Моск. Тел.* 1830, № 2, стр. 206—208.

Но Карамзинъ, литературный и журнальный органъ новиковскаго просвѣщенія, распространялъ понятія французскаго восемнадцатаго вѣка, только безъ его вольнодумства и безбожія. Онъ современникъ «старога порядка», и за французскимъ горизонтомъ онъ не видитъ звѣздъ, или, по крайней мѣрѣ, не понимаетъ ихъ блеска и величины.

Въ *Дисъмахъ русскаго путешественника* онъ много толкуетъ о Кантѣ, о Гѣте, но онъ, въ сущности, равнодушенъ къ нимъ: Гѣте его занимаетъ преимущественно своей внѣшностью, а Кантъ—философскою славой. Но въ чемъ смыслъ этой славы, Карамзинъ не понимаетъ и въ качествѣ свѣтскаго человѣка и француза, повидимому, и понимать не стремится.

«Домикъ у него маленькой», рассказывается о Кантѣ, «и внутри приборовъ немного. Все просто, кромя его метафизики».

Это страшное слово освобождаетъ русскаго путешественника отъ всякаго безпокойства на счетъ нѣмецкой философіи. Его настроеніе вполне подходитъ подъ извѣстное намъ изображеніе французскаго ума у г-жи Сталь. Карамзина гораздо больше интересуетъ Лафатеръ и его фیزیогномическія открытія, чѣмъ Кантъ и его «метафизика». Карамзинъ даже не дошелъ до азбучнаго представленія о философіи Канта, направленной именно противъ метафизики. Очевидно, для русскаго юноши это слово просто «жупелъ» и самъ философъ—куръёзъ или, самое большое, любопытная знаменитость.

Естественно, Карамзинъ счлнитъ отмѣтить столь же знаменитаго соотечественника Канта, не поклонника кантовской метафизики.

Позднѣйшее поколѣніе отлично понимало смыслъ этихъ фактовъ. Карамзинъ «щеголеватый французъ душою», мало того, по природѣ даже не способный развиться до иного культурнаго идеала и до конца дней оставшійся въ предѣлахъ своихъ юношескихъ сочувствій <sup>61)</sup>.

Раздвинуть ихъ съумѣлъ другой писатель, младшій современникъ Карамзина, искренній его почитатель, но по натурѣ совершенно на него непохожій.

Жуковскій—не по разсудочнымъ соображеніямъ, а по врожденнымъ влеченіямъ принялся за нѣмецкую поэзію, и мы указывали,

<sup>61)</sup> Н. Полевой. *Баллады и повѣсти В. А. Жуковскаго. Очерки русской литературы*. Спб. 1839, I, 104.

какое это имѣло значеніе для распространенія вообще германскихъ идей въ русскомъ обществѣ.

Но мы въ то же время объяснили, какъ ограниченъ въ сущности былъ романтизмъ русскаго поэта и какое незначительное мѣсто занималъ въ мечтательной и меланхолической поэзіи Жуковскаго первостепенный мотивъ новой европейской литературы и мысли—*національный*. А потоку, и собственно идеи, т. е. философія, не нашли въ сердцѣ поэта сочувствія, и его современникамъ оставалось обширное поприще для изученія германскаго генія и для преобразованія отечественной литературы въ духѣ новаго умственного и художественнаго направленія.

Все это было ясно самимъ свидѣтелямъ литературной дѣятельности Жуковскаго. Тотъ же Полевой, отдавая полную справедливость таланту Жуковскаго, указывалъ на неподвижность этого таланта, на неизмѣнность поэтическихъ настроеній и мыслей Жуковскаго въ теченіе десятковъ лѣтъ. Не укрылось отъ критика и полное незнакомство поэта съ дѣйствительной русской народностью, и непониманіе западнаго романтизма во всемъ его художественномъ и идейномъ содержаніи.

«Поэтическая мечтательность» — все, что усвоилъ Жуковский, въ сущности—нашелъ въ ней отвѣтъ на тоску своей души. Но это только одинъ изъ лучей романтическаго міра, другихъ поэтъ не призналъ и не схватилъ. Онъ овладѣлъ лишь «первоначальной идеей міра не классическо-французскаго», и остался въ самомъ началѣ новаго пути.

Естественно, въ критикѣ Жуковский не могъ создать ничего значительнаго въ томъ самомъ направленіи, какое представляла его поэзія. Не было сознательнаго проникновенія въ *идеи*, а только сочувственный откликъ на *вдохновеніе*, и романтизмъ и «германическій духъ» могли остаться мимолетными явленіями, если бы за нихъ не всталъ рядъ борцовъ, *убѣжденныхъ и живущихъ убѣжденіями*.

Галичъ своей рѣчью о необходимости убѣжденій для самой жизни подчеркивалъ основную черту современнаго молодого поколѣнія, идейно-последовательнаго и практически-преобразующаго.

Если человѣку «безъ убѣжденій жить нельзя», значитъ убѣжденія приходятъ не извнѣ, а ихъ жадно ищутъ, за нихъ отдаютъ свой покой, ради нихъ готовы на борьбу и растрату силъ.

Не со всѣми, конечно, осуществляется сполна этотъ законъ: часто борьба остается только душевной, незримой и, слѣдовательно, *не празумительной* для общества. Но она непременно существуетъ,

формы ея зависятъ отъ разныхъ внутреннихъ и вѣшнихъ условій, характера и мужества личности. Мы увидимъ многообразные прихѣры, и мыслителей-аристократовъ, не приспособленныхъ къ открытой людской сценѣ и теряющихся при первомъ столкновении ихъ идеальнаго духа съ «духомъ земли»... Но рядомъ съ ними явятся и настоящіе дѣлатели жизни, не отступающіе ни передъ шумомъ и пестротой толпы, ни передъ неудобствами боевой арены. Но и у тѣхъ, и у другихъ будетъ одно общее, дѣлающее ихъ родными по духу и преобразующее силы отдѣльныхъ личностей въ великое движеніе эпохи: отвлеченная мысль, оживотворенная личнымъ горячимъ участіемъ, убѣжденіе, совпадающее съ вѣрой.

Это до такой степени типичныя, всѣмъ одинаково свойственныя черты, что основы міросозерцанія русскаго философскаго поколѣнія мы можемъ разбирать, не разбирая нашего разсужденія по отдѣльнымъ философамъ и ихъ произведеніямъ.

Единодушіе въ частностяхъ недостижимо: на этомъ настаивалъ еще Галичъ. Не было единодушія мыслителей и въ германской мысли какого бы то ни было направленія. Даже больше—не было неуклонной послѣдовательности въ собственномъ философствованіи Шеллинга. Но это не мѣшало существовать вполне опредѣленнымъ принципамъ системы, для всѣхъ одинаково обязательнымъ.

Естественно, у каждаго изъ русскихъ шеллингианцевъ, у Кирѣевскаго, Одоевскаго, Веневитинова явятся свои собственныя соображенія и выводы, особенно касательно практическаго приложенія философскихъ данныхъ. Но всѣ они и для себя самихъ, и для исторіи—исповѣдники одного толка и общественные просвѣтители во имя одного и того же идеала.

### XXXIII.

Перечитывая воспоминанія, записки, сочиненія современниковъ философской эпохи, мы безпрестанно встрѣчаемся съ разсказами на одну и ту же тему, какъ въ былые годы молодежь увлекалась философскими спорами, сколько страсти и увлеченія вносила въ рѣшеніе вопросовъ, повидимому, совершенно безстрастнаго и неличнаго характера. Азартъ начался съ Фихте и Шеллинга и во всей полнотѣ и свѣжести перешелъ на гегельянство.

Много обыкновенно говорятъ о русскомъ равнодушіи, вѣлюбпытствѣ, безъидейности русской жизни, а вотъ предъ нами сцены часто умилительной наивности, самаго подлиннаго донкихотства.

и въ то же время сцены, преисполненные напряженной мысли и безкорыстнѣйшаго увлеченія надеждами на личное и общественное совершенствованіе.

Слово философія для этихъ людей заключаетъ въ себѣ «нѣчто магическое». Оно говоритъ будто о невидимомъ, только что открытомъ мірѣ, зажигаетъ жажду проникнуть въ сію тайну, заставляетъ читателей набрасываться на самыя невразумительныя и запутанныя книги только потому, что въ нихъ идетъ рѣчь о нѣмецкомъ «любомудріи» <sup>82)</sup>.

Спорамъ и разговорамъ нѣтъ конца. Они запяываются всюду, при малѣйшемъ поводѣ, въ университетской аудиторіи, въ квартирѣ товарища, даже на улицѣ при разставаньи юные философы не могутъ окончить бесѣды и способны «всполошить всю улицу» <sup>83)</sup>.

Ни тяжкая болѣзнь, ни даже приближеніе конца не угашаетъ священнаго огня. Друзья приходятъ къ больному, проводятъ цѣлые дни у его постели, но философія не сходитъ со сцены, и, можетъ быть, именно печальное зрѣлище недуга и грядущей смерти еще выше поднимаетъ стремительность юношей къ «задамъ, коихъ разрѣшеніе скрывается въ глубинѣ таинственныхъ стихій, образующихъ и связующихъ жизнь духовную и жизнь вещественную» <sup>84)</sup>. И авторъ этихъ строкъ даетъ подлинное изображеніе нравственной природы своихъ сверстниковъ, изображая неотразимость и неизмѣнность «сея стремленія»:

«Ничто не останавливаетъ его, ни житейскія печали и радости, ни мятежная дѣятельность, ни смиренное созерцаніе; сіе стремленіе столь постоянно, что иногда, кажется, оно происходитъ независимо отъ воли человѣка, подобно физическимъ отправлениямъ».

Никакія историческія перемѣны и перевороты не устраняютъ его. Все исчезнетъ—правы, идеи, привычки, а «чудная задача всплываетъ надъ усопшимъ міромъ». Часто осмѣянная, развѣнчанная сомнѣніями, она у новыхъ поколѣній опять находитъ страстное сочувствіе и снова съ прежней силой волнуетъ умы.

И не только умы избранныхъ, оставляющихъ прочный слѣдъ въ умственномъ движеніи эпохи. Великіе вопросы захватываютъ

<sup>82)</sup> Кирѣевскій, въ ст. о кн. Надеждина *Опытъ науки философіи*. «Москвитянинъ» 1845, кн. II, отд. *Библиографія*, стр. 33 etc., подписано К.

<sup>83)</sup> Одоевскій. *Русскія ночи*. Сочиненія. Спб. 1844, II, 10.

<sup>84)</sup> Такъ происходило во время предсмертной болѣзни Веневитинова. *Воспоминанія Кошелева*. Колупановъ. О. с. II, 120. Одоевскій. *Сочин.* II, III—IV.

людей обыкновенныхъ, среднихъ способностей, и именно они своимъ большинствомъ еще ярче окрашиваютъ извѣстнымъ идейнымъ цвѣтомъ цѣлую эпоху.

Намъ описываютъ не только блестящія сраженія перво-степенныхъ талантовъ, философскій бой идетъ по всей линіи молодежи тридцатыхъ годовъ. Кирѣевскій находитъ достойнаго соперника въ лицѣ будущаго дерптскаго профессора Розберга, отнюдь не блестящаго и многоученаго, но сильнаго общей силой времени, ловкаго діалектика въ популярныя философскія тематъ и неутомимаго подъ вліяніемъ всеобщаго увлеченія.

Очевидецъ рассказываетъ:

«Помню, что разъ, какъ-то вечеромъ, завязался споръ, не кончившійся до глубокой ночи, и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Кирѣевского. На другой день явились тамъ всѣ спорившіе, но жаркое состязаніе длилось, наконецъ, до того, что, наконецъ, Розбергъ, усталый, утомленный, перелѣнившійся въ лицѣ отъ двухъ-дневнаго спора, съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень торжественно произнесъ:

— Я не согласенъ, но спорить больше нѣтъ силъ у меня» <sup>85)</sup>.

Увлеченіе не минуетъ людей съ совершенно положительнымъ практическимъ направленіемъ. Именно это направленіе и открываетъ современныхъ ловителей момента, сообщаетъ ихъ дѣятельности возвышенный идейный характеръ, и достаточно обладать извѣстной культурностью натуры, общественными инстинктами, чтобы въ это столь фанатически-философствующее время превратиться въ серьезнаго работника на пути просвѣщенія и прогресса.

Именно это произошло съ Николаемъ Алексѣвичемъ Полевымъ. Впоследствии мы подробно оцѣнимъ его литературныя заслуги, пока намъ достаточно указать въ немъ одного изъ любопытнѣйшихъ витязей новаго умственнаго движенія.

Полевой явился въ Москву съ большимъ запасомъ энергіи, съ наслѣдственными практическими талантами купеческаго сына, съ рѣшительнымъ желаніемъ пробить себѣ видную и не заурядную дорогу не въ коммерческомъ мірѣ, а въ высшей интеллигенціи.

Очевидно, подобный человѣкъ — наилучшій пробный камень своей современности, точный показатель ея духовныхъ нуждъ и стремленій. И Полевой на первыхъ же порахъ принимается за философію, за шеллингианство.

<sup>85)</sup> Ксеноф. Полевой. О. с., 154.



У него нѣтъ школьной подготовки, онъ самоучка, и если впоследствии Бѣлинскому придется довольно окольными путями доходить до гегельянства, — для Полевого задача еще болѣе усложняется.

Но она должна быть разрѣшена во что бы то ни стало, даже если журналистъ разсчитываетъ на самую обыкновенную публику, просто на подписчиковъ и читателей своего изданія.

Разсчеты Полевого вполне практичны и основательны. Онъ ихъ и не скрываетъ ни отъ кого, разъясняетъ въ своемъ журналѣ, твердо убѣжденный въ ихъ достоинствѣ и цѣлесообразности.

По его мнѣнію, въ журнальной дѣятельности «главное сыскать скользкую дорожку, которая вѣется между излишнею важностью и ничтожною легкостью», не душить читателя длинными сухими статьями, списанными съ огромныхъ книгъ <sup>86)</sup>. Удобочитаемость, общедоступность, новизна и свѣжесть содержанія — идеалъ журнальнаго писателя.

Легко ощутить, какая честь будетъ оказана философіи, если на нее обратитъ вниманіе такой искусный и дѣятельный работникъ литературы. Это значитъ, въ философіи буквально пѣтъ спасенія, какъ бы публика ни любила «легкія какъ пухъ книжечки».

И Полевой быстро превращается въ усерднѣйшаго шеллингианца.

Усердіе, повидимому, практикуется исключительно въ бесѣдахъ съ людьми свѣдущими, пріятелями и даже случайными знакомыми. Эта стремительность вызоветъ насмѣшки многихъ очевидцевъ и въ томъ числѣ Пушкина <sup>87)</sup>. Журналисты будутъ укорять издателя *Телеграфа* въ «неясномъ безпокойствѣ объ одномъ всеобщемъ началѣ», въ «безотчетномъ желаніи дать во всемъ себѣ отчетъ», «въ безсильномъ стремленіи къ неопредѣленнымъ общимъ идеямъ, въ какой-то міръ пустоты абсолютной, пронстекающему не изъ внутренняго убѣжденія, не отъ богатства силъ и знаній, не отъ чтенія идеалистовъ-философовъ, но приобрѣтенномъ по невѣрнымъ слухамъ о германскихъ теоріяхъ» <sup>88)</sup>.

Мы увидимъ, насколько справедливы эти обвиненія и до какой степени серьезно Полевой успѣлъ ознакомиться съ современ-

<sup>86)</sup> Моск. Телеграфъ. 1825, I.

<sup>87)</sup> Дѣтскія сказки. Внутренний мальчикъ. Сочин. V, 107.

<sup>88)</sup> Московскій Вѣстникъ, 1828 г., ср. Веснъ. Очерки исторіи русской журналистики. Спб. 1881, стр. 101.

ными идеями, необходимыми для его критики и публицистики. Для насъ важенъ фактъ, свидѣтельствующій о петербургской жаждѣ популярнѣйшаго журналиста — познать тайны германскаго любознательнаго.

Изъ источника, безусловно благосклоннаго къ Полевому, мы узнаемъ, какъ ловились эти тайны на лету, брались приступомъ съ одного натиска, будто единственное спасеніе для ума и сердца.

Напримѣръ, любопытенъ путь, какимъ шеллингизмъ дошелъ до Полевого. У извѣстнаго намъ проф. Павлова былъ сослуживецъ по земледѣльческой школѣ Андросовъ. Онъ, постоянно встрѣчаясь съ Павловымъ, увлекся философіей Шеллинга. Съ нимъ познакомился Полевой, и въ результатѣ новый прозелитъ. Полевой жадно набросился на новыя для него идеи, по обыкновенію, слѣдовали цѣлые вечера споровъ и этого довольно для «воспріимчиваго» слушателя. «Онъ усвоилъ себѣ нѣкоторыя идеи трансцендентальной философій, — прибавляетъ рассказчикъ, — сталъ читать книги, написанныя въ духѣ ея, и былъ уже приверженцемъ новыхъ взглядовъ, когда судьба сблизила его со многими молодыми людьми, изучавшими нѣмецкую философію» <sup>89</sup>).

Эта простая исторія можетъ считаться типичной. Весьма многіе современники философской эпохи именно такимъ путемъ превратились въ философовъ и горячихъ распространителей философій.

Если извѣстное міросозерцаніе можно усвоить помимо книгъ и лекцій, — явное доказательство, что оно само превратилось въ общественную школу, овладѣло не только умами, но самой жизнью наиболѣе развитыхъ людей и стало насущной духовной пищей цѣлаго поколѣнія.

Это превращеніе и совершалось съ шеллингизмомъ. Оно переполняло атмосферу двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ и неизмѣнно встрѣчало каждаго ученаго и литературнаго дѣятеля въ самомъ началѣ его пути.

Впоследствии гегельянство станетъ рядомъ съ философіей Шеллинга, успѣетъ вытѣснить ее изъ оборота русской молодежи, но та же напряженность философскихъ страстей останется во всей неприкосновенности, пожалуй, даже усилится. Гегель на нѣкоторое время займетъ положеніе непогрѣшимаго учителя и найдетъ послѣдователей среди даровитѣйшихъ русскихъ искателей истины.

<sup>89</sup>) Кс. Полевой, 89.

шихъ идей. Она одинаково необходима и полезна и въ политической жизни, и въ частной, и въ семейной <sup>90)</sup>).

Эти мысли могли быть непосредственнымъ отраженіемъ лекцій Павлова. Но одновременно у пансіонеровъ существовалъ другой, не менѣе глубокій интересъ. Общество словесности дѣйствовало на ихъ глазахъ, они привлекались къ живому участию въ его занятіяхъ и между собой, подъ руководствомъ Давыдова, составляли свои собранія.

Естественно, русскій языкъ и русская литература заняли первенствующее мѣсто въ пансіонскомъ образованіи. Начальство поощряло самостоятельную дѣятельность воспитанниковъ, давало имъ темы для публичныхъ рѣчей, печатало эти рѣчи. Пансіонеры жили въ литературной атмосферѣ, лично безпрестанно сталкиваясь съ представителями современной науки и словесности.

Богѣе цѣлесообразной школы для подготовленія будущихъ литературныхъ дѣятелей трудно и представить, и кн. Одоевскій всецѣло обязанъ пансіону своими авторскими стремленіями.

Но выходѣ изъ пансіона, столь тщательно развитыя склонности не могли заглухнуть. Общія сочувствія невольно единили молодежь, нашелся и человекъ, какъ нельзя богѣе способный быть центромъ единенія.

Раичъ, сохранившій въ исторіи литературы извѣстность какъ переводчикъ *Освобожденнаго Иерусалима*, глѣтами былъ много старше университетской молодежи, по душой стоялъ одномъ уровнѣ съ ея идеалистическими стремленіями, може. . . . . , даже многихъ превосходилъ отрѣшенной мечтательной поэтичностью натуры. Современники называютъ Раича поэтомъ-младенцемъ, добродушнѣйшимъ человекомъ, безкорыстнымъ, чистымъ, олицетворенной буколичкой. Страстная преданность литературѣ соединялась въ немъ съ серьезной ученостью <sup>91)</sup>. Лучшаго объединителя молодежь не могла желать.

Въ кружкѣ съ самаго начала встрѣчаются имена съ будущей громкой литературной извѣстностью: кн. Одоевскій, братья Кирѣевскіе, Полевой, Погодинъ, кн. Вяземскій, Веневитиновъ, Кюхельбекеръ. Цѣли преслѣдовались исключительно литературныя. Общество собиралось по два раза въ недѣлю и члены читали свои произведенія и переводы. Общество выпустило нѣсколько альма-

<sup>90)</sup> Сумцовъ. *Кн. В. О. Одоевскій*. Харьковъ. 1884, стр. 5.

<sup>91)</sup> Барсуковъ, I, 161—2.

наховъ съ избранными стихотвореніями современныхъ поэтовъ, и естественно пало на мысль объ изданіи журнала.

Какіе же планы представлялись начинающимъ писателямъ и во имя какихъ идей они готовились выступить на путь публицистики, столь неблагодарный и многотрудный въ ихъ время?

Мы знаемъ, какъ Полевому рисовалась дѣятельность журналиста и въ чемъ издатель *Телеграфа* полагалъ свои нравственныя обязанности и общественное просвѣщеніе. Основная цѣль — доступность и свѣжесть мыслей и фактовъ, популяризація въ совершеннѣйшемъ смыслѣ слова. Журналистъ долженъ вмѣшаться въ толпу, приноровиться къ ея пониманію и языку, потому что его идеалъ — быть понятымъ и создать своей дѣятельностью не избранный кружокъ сочувственниковъ, а публику, аудиторію, охватывающую, по возможности, всѣхъ читателей.

И мы увидимъ, съ какимъ успѣхомъ Полевой достигъ своей цѣли.

Его журналъ не только не отрещивался отъ философіи, но, напротивъ, полагалъ ее въ основу своей критики. Съ самаго начала изданія журналъ переполненъ шеллингянскими идеями, но предлагались онѣ публикѣ въ самыхъ изящныхъ и привлекательныхъ уборахъ: ни бойкость пера, ни ясность мысли не измѣняли писателямъ *Телеграфа*, все равно, описывали они моды или вводили читателя въ таинство абсолюта.

Въ результатѣ выходило очень искусное практическое и въ то же время безусловно литературное предпріятіе. Полевой обнаружилъ истинный талантъ общественнаго дѣятеля совершенно исключительнымъ умѣньемъ слить культурныя задачи журналистики съ ея широкимъ вліяніемъ. И мы раздѣляемъ похвалу хотя бы очень заинтересованнаго лица политикѣ *Телеграфа*: его философія «беззамѣтно усвоивалась читающей публикой» <sup>92</sup>).

Нѣчто другое на томъ же пути произошло съ молодыми современниками Полевого и его сотоварищами по кружку Ранча.

Полевой, при столь ловкомъ приложеніи своихъ не особенно глубокихъ и обширныхъ философскихъ познаній, сохранилъ большой запасъ сдержанности и трезвости въ увлеченіяхъ шеллингянствомъ. Онъ ни на минуту не питалъ намѣренія журналъ свой сдѣлать исключительнымъ органомъ нѣмецкой философіи и душу свою положить за «любомудріе». Онъ сумѣлъ удержаться на

<sup>92</sup>) Ксеноф. Полевой, 158.

средиѣ между простой эксплуатаціей модныхъ идей и беззавѣтной рыцарскою преданностью имъ. Недаромъ, говорятъ, его любимымъ присловіемъ была французская фраза, означавшая: «это сообразно съ обстоятельствами», «это глядя по дѣлу»... Большой секретъ уловить *относительное* значеніе вопроса въ кругу другихъ и разрѣшать его въ данномъ направленіи!

Полевой именно такъ воспользовался философіей.

«Журнальная смѣтливость издателя», говоритъ его ближайшій сотрудникъ была такова, «что онъ никогда не увлекался въ однообразное направленіе всегда имѣя въ виду общность своихъ читателей»<sup>93</sup>).

Товарищи Полевого также выступили впоследствии на поприще издательствъ, и не имѣли тѣхъ успѣха сравнительно съ Полевымъ.

Дѣло объясняется просто, изъ *психологій* философскихъ увлеченій издателя *Телеграфа* и его конкурентовъ.

Прежде всего, даровитѣйшіе изъ нихъ—Одоевскій, Кирѣевскій, Веневитиновъ—по происхожденію благородные юноши, изящнаго и даже тонкаго воспитанія, въ высшей степени культурные и просвѣщенные, но въ такой же степени удаленные отъ *дѣйствительности* и *толпы*.

Эти два термина для двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, и даже позже, въ полномъ смыслѣ техническіе, означаютъ особый міръ, противоположный другому.—не дѣйствительности и не толпы, міру идей и исключительныхъ существъ, міру философіи и поэзіи.

Мы очень часто можемъ слышать отъ молодыхъ шеллингянцевъ слова дѣйствительность, народъ, но мы не должны поддаваться сладкимъ звукамъ. Мы должны помнить, дѣйствительность имѣетъ многообразныя значенія, и впоследствии, въ періодъ гегельянства, именно это понятіе принесетъ величайшія бѣдствія русской критикѣ.

Вопросъ, что разумѣть подъ дѣйствительностью? Вѣдь, и профессора-шеллингянцы, въ родѣ Галича и Надеждина, твердили о ней, и это не помѣшало одному гордо парить въ заоблачныхъ высотахъ «изящнаго», а другому—уничтожать какъ разъ самыя дѣйствительныя произведенія отечественной поэзіи и возмущаться ихъ излишнею близостью къ землѣ.

То же самое понятіе народъ, нація.

Эти слова съ большимъ эффектомъ произносились еще Карамзинымъ, ихъ постоянно повторяли теоретики романтизма, и тотъ

<sup>93</sup>) *Тб.*, 157.

же Надеждинъ изъ основу литературнаго прогресса полагалъ, между прочимъ, *народность*.

Но мы знаемъ, чего стоило народолюбіе чувствительныхъ сочинителей, видѣли также, до какихъ предѣловъ доходило народничество московскаго профессора. Онъ все-таки аристократъ книги и кабинета, онъ для себя самого единственно взрослый и *сознательно-творящій* человекъ, а народъ — лепечущій младенецъ или даже свистящій соловей.

Молодые шеллингянцы будутъ одарены слишкомъ развитымъ художественнымъ чувствомъ, органической и принципиальной гуманностью, — они уйдутъ далеко сравнительно съ профессорами въ идеяхъ о дѣйствительности и народѣ. Но это будетъ преимущественно *теоретическое* движеніе.

Наши философы, въ ближайшихъ своихъ намѣреніяхъ, живо напоминаютъ намъ «старенькихъ романтиковъ» Тургеневъ.

Они вполне искренно стремились и сблизиться съ народомъ, и благодѣтельствовать ему, принимались даже за предпріятія на пользу народа по самымъ послѣднимъ словамъ науки, и результаты далеко не соответствовали ни планамъ, ни дѣламъ. И вы помните, въ какое трагико-комическое положеніе попадаетъ Павелъ Кирсановъ съ своими фермами и комитетами.

Такой неистощимый запасъ доброй воли, такая бездна благороднѣйшихъ идей и такіе жестокие уроки дѣйствительности!

Очевидно, нѣтъ, — въ самой природѣ романтиковъ нѣтъ силъ одолѣть эту дѣйствительность, потому что отвлеченныя идеи о ней не стоятъ на уровнѣ съ ея жизненнымъ смысломъ.

Эти замѣчанія потребуются намъ на каждомъ шагѣ при точной оцѣнкѣ философскихъ и критическихъ идей русскихъ шеллингянцевъ, и въ результатѣ, рядомъ съ великими заслугами, предъ нами откроется и великій изъянъ. Мы поймемъ, на сколько для Полевого оказалось нѣлесообразнѣе быть меньше философомъ и больше публицистомъ, а Пушкину даже мало интересоваться теоріями и слѣдовать внушеніямъ своей творческой природы — запускать руку въ самую подлинную дѣйствительность и класть на свои картины самые яркіе фламандскіе штрихи.

### XXXV.

«Въ началѣ XIX вѣка Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христофоръ Колумбъ въ XV. Онъ открылъ человеку неизвѣстную

часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія—его *душу*».

Таковъ смыслъ шеллингіанства, по мнѣнію Одоевскаго <sup>94)</sup>. Мы знаемъ, то же самое писала Сталь о всей германской философіи. Если русскій философъ приписываетъ заслугу только Шеллингу, очевидно, это плодъ исключительнаго увлеченія извѣстной системой.

И тотъ же Одоевскій объясняетъ, почему Шеллингъ удостоился привилегіи.

«Для счастья человѣка необходимо одно: свѣтлая, обширная аксіома, которая обняла бы все и спасла бы его отъ муки сомнѣнія: ему нуженъ свѣтъ незаходимый и неугасаемый, живой центръ для всѣхъ предметовъ, словомъ, ему нужна истина, но истина полная, безусловная».

Авторъ отличительной чертой своего времени считаетъ «желаніе выйти изъ скептицизма, чему-либо вѣрить».

И предметъ вѣры, несомнѣнно, существуетъ. «Потребиость свѣтлой истины свидѣтельствуетъ о существованіи сей истины». Даже больше. Сомнѣнія противны человѣческой природѣ, именно вѣра, истина, аксіома—не только возможны, но законы и естественно необходимы.

Но истина недостижима для наукъ и особенно для современныхъ, разрозненныхъ, мелочныхъ, сплошь скептическихъ. Вѣрный путь указанъ Шеллингомъ, и русскій авторъ, объясняя идеи германскаго философа, почти буквально повторяетъ упомянутое нами выше разсужденіе Платона о совершенномъ знаніи, превосходящемъ даже математику. Она связана съ чертежами, т. е. ви́шними явленіями, а совершенное знаніе должно достигаться *внутреннимъ* путемъ, у Платона—діалектическимъ, у Шеллинга—созерцательнымъ.

Шеллингъ, по мнѣнію Одоевскаго, поставилъ задачу всему девятнадцатому вѣку, и разработка этой задачи «должна наложить на него характеристическую печать, и гораздо вѣрнѣе выразить его внутреннее значеніе въ эпоху міра, нежели всѣ возможные паровики, винты, колеса и другія индустріальныя игрушки».

Сравненіе въ высшей степени краснорѣчивое, когда мы дальше узнаемъ смыслъ задачи. Практическая дѣятельность вѣка въ глазахъ русскаго шеллингіанца блѣднѣетъ предъ отвлеченнымъ вопросомъ и притомъ не разсудочнымъ и не логическимъ, а безусловнымъ и таинственнымъ.

<sup>94)</sup> Сочиненія. I, 15.



Шеллингъ «отличилъ безусловное, самобытное, свободное самовозрѣніе души отъ того возрѣнія души, которое подчиняется, напримѣръ, математическимъ, уже построеннымъ фигурамъ: онъ призналъ основу всей философіи во внутреннемъ чувствѣ, онъ назвалъ первымъ знаніемъ знаніе того акта нашей души, когда она обращается на самую себя и есть въѣстъ и предметъ, и зритель».

Эта дѣятельность можетъ быть возбуждена отнюдь не логическимъ путемъ, не при помощи силлогизма или факта, потому что силлогизмомъ можно доказать, но не *уверить*.

Обратите вниманіе на это точное различіе: доказательство не есть увѣренность и научная истина не есть истина, достойная вѣры. Къ такой истинѣ единственный путь — *эстетическій*, т. е. *вдохновеніе* <sup>25)</sup>.

Во всѣхъ этихъ разсужденіяхъ для насъ ничего нѣтъ новаго, и Одоевскій самъ приводитъ цитаты изъ сочиненій Шеллинга.

Любопытно другое: русскій шеллингiанецъ съ восторгомъ идетъ за учителемъ и, признавъ эстетическую способность высшей, впадаетъ въ самый подлинный *символизмъ*.

Слово получило громкую популярность только въ наше время, но всѣ данныя для символической теоріи искусства заключались въ романтизмѣ и шеллингiанствѣ, именно въ ихъ общей идеализаціи творчества, какъ откровенія совершенныхъ истинъ.

Отсюда послѣдовательно вытекаетъ, во-первыхъ, крайне выпренное представленіе объ избранникахъ, обладающихъ даромъ творчества, а потомъ — благоговѣйное отношеніе къ самому творчеству.

Вся философская литература тридцатыхъ годовъ переполнена апофеозами поэта, поэтического таланта, геніальной личности. А такъ какъ всякій апофеозъ, естественно, требуетъ контраста для своего блеска, этимъ контрастомъ явится толпа, будничная дѣйствительность, и аристократическое настроеніе проникнетъ въ литературную дѣятельность именно тѣхъ благородныхъ юношей, которые менѣе всего способны были питать сословные предразсудки: по происхожденію и страдать цеховой нетерпимостью — по своей учености.

Веневитиновъ, краснорѣчивѣйшій ораторъ философскаго кружка, очень ярко выразилъ ходячее понятіе своихъ сверстниковъ о поэтѣ въ слѣдующемъ стихотвореніи:

---

<sup>25)</sup> *Ib.* I, 283 etc.

О, если встрѣтишь ты ею  
 Съ раздумьемъ на челѣ суровомъ,  
 Пройди безъ шума близъ него,  
 Не нарушай холоднымъ словомъ  
 Его священныхъ тихихъ сновъ:  
 Вглянись съ слезой благоговѣнья  
 И молви: это сынъ боговъ,  
 Любимецъ музъ и вдохновенья.

Другіе поэты не отставали отъ Веневитинова въ усердіи воз-  
 пеличивать свое назначеніе среди смертныхъ и даже бессмерт-  
 ныхъ. Насъ безпрестанно увѣряютъ во всемогуществѣ поэтического  
 таланта, въ родствѣ поэта съ ангелами, звуки лиры отождествля-  
 ются съ перунами Зевса, а чародѣй, ихъ извлекающій — имѣетъ  
 свободный доступъ къ тайнамъ ада и рая.

Журналы печатаютъ статьи О достоинствѣ поэта, студенты,  
 съ одобренія профессоровъ, говорятъ рѣчи на тѣ же темы съ  
 университетской кафедрой въ присутствіи высшаго начальства <sup>96)</sup>.

Можно ли, послѣ этого, укорять Пушкина, если онъ — дѣйстви-  
 тельный поэтъ цѣлой эпохи — заявить о преимуществахъ поэта  
 надъ толпой? Пушкинъ могъ имѣть безчисленные поводы къ лич-  
 ному гнѣву на современную ему толпу — и читателей, и болѣе всего  
 критиковъ. Но и безъ этого гнѣва онъ имѣлъ право въ своей  
 поэзіи дать мѣсто идеѣ, считавшейся философской общепризнан-  
 ной истиной.

Но разъ поэзія не только литература, а своего рода божествен-  
 ное откровеніе, она далеко не всегда можетъ быть доступной,  
 понятной во всей своей глубинѣ, т. е. не всегда можетъ найти  
 соотвѣтствующую форму. Все равно, какъ не научный опытъ  
 даетъ истину, а только созерцаніе, такъ и слова не въ силахъ  
 выразить идеи, а только развѣ намекнуть на нее, навести на  
 мысль, но отнюдь не представить ее во всей полнотѣ и точности.

Душа невыразима рѣчью, и Одоевскій ссылается на Бетхо-  
 вена. Геніальный музыкантъ сѣтовалъ, что онъ никогда не могъ  
 передать бумагѣ своихъ чувствъ и своего воображенія. Онъ въ  
 исполненіи своей музыки слышалъ не то, что чувствовалъ, даже  
 не то, что написалъ.

То же самое творческія идеи: онѣ никогда не могутъ быть  
 переданы словами.

Каждая рѣчь обманъ и для насъ, и для нашихъ собесѣдни-  
 ковъ. Каждому слову мы прибавляемъ понятіе, не выражаемое сло-

<sup>96)</sup> Ср. Весниъ, 176. Прозоровъ. О. с., стр. 13.

вами и созданное не вѣшнимъ предметомъ, а «самобытно и безусловно испедшее изъ нашего духа». Единственная возможность для двухъ даже единомышленниковъ людей понять другъ друга— «говорить искренно и отъ полноты душевной». Надо, такъ сказать, взаимно сблизить души, установить связь бессознательную, непосредственную, и тогда идеи собственно будутъ не выясняться, а внушаться, не передаваться, а инстинктивно восприниматься.

Въ бесѣдѣ можетъ не быть видимой логической связи и стройности, а между тѣмъ именно этотъ процессъ передачи идей и будетъ самымъ философическимъ. Мы его должны имѣть въ виду, особенно при объясненіи философическихъ понятій: они, выраженные словами, простые звуки и могутъ имѣть тысячи произвольныхъ значеній, но одно настоящее достижимо только путемъ внутреннего проникновенія въ смыслъ понятія.

Отсюда — необходимость аналогій и сопоставленій, т. е. *символовъ*.

«Ты знаешь мое неизмѣнное убѣжденіе, — говоритъ Фаустъ у Одоевского, — что человѣкъ, если и можетъ рѣшить какой-либо вопросъ, то никогда не можетъ вѣрно перевести его на обыкновенный языкъ. Въ этихъ случаяхъ я всегда ищу какого-либо предмета во вѣшной природѣ, который по своей аналогіи могъ служить хотя приблизительнымъ выраженіемъ мысли».

Когда мы читаемъ эти разсужденія, мы чувствуемъ себя въ самой современной атмосферѣ символизма. Совпаденіе доходитъ до тождественности старыхъ шеллингянскихъ идей съ «откровеніями» новѣйшихъ авторовъ.

У Метерлинка, напримѣръ, есть въ высшей степени любопытная статья *Le Réveil de l'âme — Пробужденіе души*. Начинается она заявленіемъ, что наступитъ и уже наступаетъ удивительное время: наши души будутъ сообщаться другъ съ другомъ безъ посредства физическихъ чувствъ. Произойдетъ освобожденіе нашей духовной стихіи и люди приблизятся другъ къ другу, взаимно проникая въ думы и чувства, безъ помощи словъ и вѣшнихъ выраженій. Знаки и слова утратятъ значеніе, все будетъ рѣшаться таинственнымъ воздѣйствіемъ *присутствія* одного человека на другого. И уже теперь люди стали неизмѣримо болѣе чуткими къ психической жизни другъ друга, уже теперь многое угадывается и невольно понимается, что раньше требовало внимательства рѣчи<sup>97)</sup>.

<sup>97)</sup> Maurice Maeterlinck. *Le Trésor des Humbles*. Paris. 1896. p. 29 etc.

Несомненно, отъ этихъ соображеній не отказались бы и наши философы тридцатыхъ годовъ: такъ мало новаго подъ солнцемъ!

Кирѣевскій идетъ еще дальше. Онъ прямо защищаетъ права *интерлоического* знанія, невыразимаго. По его мнѣнью, слово не только не въ силахъ охватить содержаніе идеи, но оно въ сущности убиваетъ жизненную силу идеи. Мысль и чувство тогда только могущественны, пока они не *воочию* высказаны. Разъ они совершенно уяснились для разума и нашли выраженіе въ словѣ,—они превратились въ цвѣтокъ, изображенный на бумагѣ: онъ не растетъ и не пахнетъ. Такъ и совершенно изъясненная мысль утрачиваетъ свою власть надъ душой человѣка. «Она рождается тайнѣ и воспитывается молчаніемъ» <sup>98</sup>).

Опять поразительное совпаденіе съ мечтаніями того же современнаго символиста. Метерлиникъ въ похвалу *Молчанію* написалъ цѣлую поэму въ прозѣ. Здѣсь, между прочимъ, говорится: «лишь только уста засыпаютъ, души просыпаются и принимаютъ за дѣло; потому что молчаніе—стихія, полная неожиданностей, опасностей и счастья; въ этой стихіи души пріобрѣтаютъ совершенную свободу» <sup>99</sup>). И здѣсь же настоятельно подтверждается, что слова никогда не въ силахъ выразить дѣйствительныхъ отношеній между двумя существами. Поэтому *молчаніе любви* краснорѣчивѣе всякихъ любовныхъ *рѣчей*, и именно въ немъ заключена глубина и сила чувства.

Для насъ эти сопоставленія любопытны въ одномъ отношеніи, отяудъ не для исторіи символическихъ идей, а для полнаго освѣщенія философскихъ настроеній русской молодежи. Система Шеллинга, мы видимъ, дѣйствовала чрезвычайно энергично въ направленіи эстетическихъ теорій. Основной принципъ—художественное творчество, высшая ступень познанія—былъ цѣликомъ усвоенъ русскими шеллингианцами со всѣми послѣдствіями, вплоть до мистическаго углубленія въ человѣческую душу и таинственнаго самоислѣдованія путемъ созерцанія и вдохновенія.

Фактъ вполне естественный. Русскіе шеллингианцы ясно поняли господствующее идейное направленіе своего вѣка и лично восприняли это направленіе со всею страстью мятущейся молодости, и погрузились въ неотразимо влекущую даль полупредчувствуемыхъ, полусознаваемыхъ истинъ. Какою жалкой въ сравненіи съ этимъ

<sup>98</sup>) Кирѣевскій къ Хомякову. Письма. Сочиненія, стр. 90—1.

<sup>99</sup>) О. с. *Le Silence*, p. 17.

необъятнымъ міромъ должна была казаться старая французская философія!

И русскіе писатели, начиная съ сотрудниковъ *Телеграфа* и кончая тѣмъ же Кирѣевскимъ, въ порывѣ увлеченія германской мыслью произнесутъ смертный приговоръ «французскому направленію».

Гельвеція и Гольбахъ можно называть философами только развѣ «въ насмѣшку». Вся французская литература XIX вѣка живетъ исключительно чужимъ вдохновеніемъ. Кузэнъ, Виллеманъ, даже Гизо—всѣ усердные ученики и подражатели нѣмецкихъ философовъ<sup>100</sup>).

Очевидно, для русскихъ нѣмецкая философія должна быть также источникомъ просвѣщенія, и русскіе читатели шеллинговыхъ сочиненій не отступятъ предъ самымъ рискованнымъ путешествіемъ въ туманное, для самого Колумба не вполне изслѣдованное царство «абсолютнаго тождества».

II мы только-что видѣли диковинныя рѣдкости, вывезенныя иными путешественниками изъ своего странствія.

Но мы знаемъ, въ самомъ шеллингіанствѣ заключались не одни поиски за высшими тайнами. Даже эти поиски были въ сильной степени вдохновлены совершенно опредѣленными фактами, быстрыми и поразительными открытіями естественныхъ наукъ. Можно думать, именно успѣхи естествознанія возбудили ревность философіи и она посѣшила развернуть свои силы въ томъ же направленіи, но только съ большей смѣлостью: открыть не законы, обобщить не факты, а весь міръ духовный и матеріальный заключить въ стройную, разумную систему.

Русскіе ученики Шеллинга прекрасно поняли исходную точку шеллингіанства и оцѣнили ея значеніе при новѣйшемъ развитіи положительныхъ наукъ. Не отказываясь отъ всеобъемлющей аксіомы, они не упустили изъ виду и историческаго положенія новой системы въ ряду другихъ философскихъ системъ.

Положеніе это наши шеллингіанцы опредѣлили крайне просто, какъ могла сдѣлать таже Сталь, дававшая бѣглый очеркъ исторіи германской философіи.

Шеллингъ совмѣстилъ въ своемъ міросозерданіи всѣ предше-  
ствовавшія системы, вообразъ въ свою философію и матеріализмъ

---

<sup>100</sup>) Ксеноф. Полевой, 158. Кирѣевскій. *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ*. Сочин. I, 34.

и идеализмъ, т. е. утвердилъ единство двухъ міровъ. А это значить идею слить съ дѣйствительностью, философію съ жизнью, и, слѣдовательно, литературу превратить въ практическую силу.

Этотъ выводъ, логически вытекающій изъ принципа тождества, въ своемъ развитіи, повидимому, совершенно расходится съ основной задачей шеллингянства созерцательной и мистической. И мы указывали на эту двойственность системы, съ одной стороны неразрывно связанной съ положительной наукой, съ другой, въ качествѣ философской религіи своего времени, стремящейся къ верховной истинѣ.

Теперь предстоялъ вопросъ, какая изъ этихъ основъ шеллингянства пользуется у русскихъ послѣдователей системы? Увлекаются ли они безповоротнo неизглаголаннѣми тайнами и «полуподозрѣнными» чувствами, падаютъ ли они ницъ предъ нестерпимо величественнымъ образомъ поэта-пророка и тайнамъ принесутъ въ жертву жалкую земную жизнь, а ради поэта пренебрегутъ толпой и всѣмъ зауряднымъ и будничнымъ?

Если бы вопросъ рѣшился въ такомъ смыслѣ, въ ту же минуту отлетѣлъ бы отъ русской литературы геній свѣта и правды, и она заполнилась бы безплоднымъ фантазерствомъ и отрѣшеннымъ кабинетнымъ священнодѣйствіемъ брезгливыхъ эпикурейцевъ. Результаты вышли бы вполнѣ сходные съ ограниченными практическими воздѣйствіями академическаго шеллингянства на литературу и критику.

Молодыхъ философовъ спасла известная намъ нравственная сила философскихъ увлеченій, напряженный личный интересъ къ новымъ истинамъ; именно на этой психологіи и выросла побѣда жизненныхъ задачъ шеллингянства надъ чисто отвлеченными и мечтательными.

### XXXVI.

Какъ бы высоко ни стоялъ авторитетъ Шеллинга въ глазахъ его русскихъ послѣдователей, какими бы восторженными наименованіями ни награждали они и самого философа и его систему, мы безпрестанно встрѣчаемъ оговорки, ограниченія и даже возраженія. Фактъ новый послѣ безусловно вѣрнопопданнической преданности германскому философу Велланскаго и даже Галича.

Старые шеллингянцы обнаруживали гораздо меньше расположенія критиковать и анализировать, чѣмъ вѣрить и создавать. Мы

видѣли, Велланскій и Павловъ самоотверженно пустились вслѣдъ за своимъ учителемъ въ безбрежное море натурфилософскихъ теорій и загадокъ, Галичъ усиливался оправдать Шеллинга отъ обвиненій въ мистицизмъ и излишнемъ произволѣ воображенія въ ущербъ логикѣ. Ничего подобнаго у молодыхъ шеллингианцевъ.

Они, конечно, охвачены общимъ интересомъ къ естественнымъ наукамъ. Кн. Одоевскій занимается химіей и педетъ длинныя рѣчи о систематизаціи положительныхъ знаній. Но мы не знаемъ откуда это стремленіе? Оно могло быть внушено сенъ-симонизмомъ еще усиленнымъ, чѣмъ шеллингианствомъ, и мы склонны думать, что именно французскій источникъ долженъ занять первое мѣсто.

Выше мы указывали на совпаденіе нѣкоторыхъ идей у князя Одоевскаго съ разсужденіями Сенъ-Симона, въ раннюю эпоху его дѣятельности. Еще любопытнѣе мысли русскаго философа о научномъ методѣ въ исторіи, т. е. о самомъ рѣшительномъ приложеніи принциповъ опытныхъ наукъ.

Уже въ одной изъ статей Мерзлякова встрѣчается неожиданное для классика выраженіе—«умственная химія»<sup>101</sup>), т. е. анализъ психологическихъ явленій. Очевидно, даже стараго словесника коснулись соблазны времени,—у его учениковъ не случайныя обмолвки, а дѣйствительно въ высшей степени отважныя планы.

Одоевскій отказывается понять, почему никто не догадался къ исторіи примѣнить «аналитическую методу», ту самую, какую «употребляютъ химики при разложеніи органическихъ тѣлъ».

Слѣдуетъ описаніе «методы»: оно будто заимствовано изъ какого-нибудь самаго отчаяннаго позитивистскаго трактата, въ родѣ философскихъ статей Тэнна, или изъ его руководящей книги о французской философіи XIX-го вѣка. Тотъ же разговоръ о столь же строгомъ и послѣдовательномъ анализѣ нравственныхъ явленій, какъ и физическихъ.

«Химики,—пишетъ Одоевскій,—сначала доходятъ до ближайшихъ началъ тѣла, каковы, на примѣръ, кислоты, соли и проч., наконецъ, до самыхъ отдаленныхъ его стихій, каковы, на примѣръ, четыре основныя газа... Для этого рода историческихъ изслѣдованій можно было бы образовать прекрасную науку съ какимъ-нибудь звучнымъ названіемъ, на примѣръ, *аналитической этнографіи*. Эта наука была бы въ отношеніи къ исторіи тѣмъ же,

<sup>101</sup>) Труды Общ. Люб. Росс. Словесности. 1812, I., стр. 59, въ Разсужденіи о Росс. Словесности въ нынѣшнемъ ея состояніи.



чѣмъ химическое разложеніе и химическое соединеніе въ отношеніи къ простому механическому раздробленію и механическому смѣшенію тѣмъ».

Автору рисуется удивительное будущее химіи. Она теперь задыхается въ удушливой атмосферѣ, ее давитъ «технологическій соръ», но она все-таки приближается къ своей настоящей цѣли: «навести ученыхъ на химію высшаго размѣра».

«Она должна заниматься внутренними, сокрытыми элементами природы», она не создана для «узды матеріалистовъ», ея назначеніе—*испытывать глубину*.

И русскій философъ не отступаетъ предъ крайнимъ предѣломъ испытанія, въ сущности, вполне шеллингянскимъ. Если на основаніи философіи тождества можно весь міръ построить по законамъ разума, вновь создать его по началамъ духа, отчего же въ результатѣ *аналитической этнографіи* не *возстановитъ исторію*? Это значитъ, «открытъ анализомъ основные элементы народа, по нимъ элементамъ систематически построить его исторію».

При такомъ воссозданіи исторія дѣйствительно стала бы наукой, а теперь она только романъ, исполненный прежалкихъ и неожиданныхъ катастрофъ <sup>102</sup>).

Дальше идти невозможно въ увлеченіи наукой и положительнымъ мышленіемъ. Позднѣйшіе прямолинейные позитивисты не открыли другой высшей цѣли, чѣмъ разложеніе сложнѣйшихъ нравственныхъ и соціальныхъ явленій на простѣйшіе факты и *логическое* воссозданіе ихъ, вполне совпадающее съ *дѣйствительностью*.

Такимъ путемъ шеллингянецъ приходитъ къ точной наукѣ и къ фактамъ. Онъ до конца оставался въ границахъ своей системы, весь вопросъ заключался только въ его преимущественномъ сочувствіи *натурѣ* или *философіи*, т. е. естественно-научной стихіи шеллингянства или его метафизикѣ. Увлеченія въ обѣ стороны, повидимому, одинаково сильны: тамъ чистѣйшій символизмъ, здѣсь—позитивистскія надежды на химическій анализъ нравственнаго міра человека.

И та, и другая перспектива безгранична и соблазнительна, и естественно въ разсужденіяхъ нашихъ философовъ безпрестанно чередуются идеи того и другого порядка, тѣмъ болѣе, что всѣ онѣ могли одинаково тѣшить молодое воображеніе и давать неистощимый матеріалъ возбужденной юношески-энергической мысли.

<sup>102</sup>) *Иб.* 370—373.

И мы не должны смущаться, встрѣчая столь, повидимому, непримиримыя теченія рядомъ. Мы уже неоднократно могли отмѣтить чрезвычайно близкое сосѣдство философіи и мистики въ началѣ XIX-го вѣка, строгой науки и поэтического фантазерства. Мы указали и на исторически-повелительную причину этого сосѣдства—всобщую нравственную потребность въ цѣльности міросозерцаніи при условіи чрезвычайно внушительнаго наступательнаго развитія естествознанія.

Заслуга русскихъ шеллингянцевъ состояла въ томъ, что они на первыхъ же порахъ обняли все многообразное содержаніе излюбленной системы, и даже отдали ясный отчетъ въ несоотвѣстствіи ея теоретическихъ задачъ съ дѣйствительными результатами.

Одоевскій, при всѣхъ своихъ восторгахъ предъ идеями Шеллинга, призналъ неисполнимость вызванныхъ философомъ надеждъ. Изъ чудной роскошной страны, открытой Шеллингомъ, «одни вынесли много сокровищъ, другіе лишь обезьянъ да попугасовъ». Авторъ не объясняетъ подробно своей аллегоріи, но ему, несомнѣнно, была ясна обманчивость безграничныхъ завоеваній человѣческой мысли, ослѣпившихъ нѣкоторыхъ учениковъ философа. И именно поэтому Одоевскій снова заговорилъ о фактахъ и опытахъ изслѣдованія и горячо привязался къ естествознанію <sup>103</sup>).

Кирѣевскій еще яснѣе опредѣлилъ неудовлетворительную, по его мнѣнію, черту нѣмецкой философіи. Есть одно качество, ставящее французскую литературу выше всѣхъ другихъ: «это тѣсная связь литературы съ жизнью» <sup>104</sup>).

Шеллингъ наполнилъ этотъ пробѣлъ, но не до такой степени, чтобы могли получиться выводы русскихъ философовъ.

«Стремленіе къ существенности», «сближеніе духовной дѣятельности съ дѣйствительностью» —таковы основныя черты новой литературы. «Часъ для поэта жизни наступилъ», говоритъ Кирѣевскій, узаконяя, очевидно, безусловный реализмъ искусства. Мало этого.

Разъ мысль должна сблизиться съ дѣйствительностью, все направленіе умственнаго развитія должно быть *практическимъ*. А это значитъ, «общее мнѣніе» должно достигнуть уровня высшихъ

<sup>103</sup>) Биографъ приписываетъ кн. Одоевскому даже совершенно неосновательную заслугу. будто «онъ предсказалъ дарвиновскую теорію развитія органической жизни». Сумцовъ, стр. 40. Мы видѣли, эта теорія логически вытекала изъ шеллингянскаго воззрѣнія на природу и русскому философу оставалось только навѣсчъ ее лавъ сочиненій своего учителя.

<sup>104</sup>) Сочиненія I, 34, прим.

современныхъ идей, иначе жизнь разоидется съ успѣхами ума. Отсюда необходимость широкаго общественнаго развитія и просвѣщенія, необходимость неограниченной и глубокой цивилизаціи <sup>105</sup>).

Во главѣ движенія должна стать литература, писатели будутъ просвѣтителями народа. Еще въ школѣ у юныхъ философовъ всѣ интересы сосредоточены на русской литературѣ; съ теченіемъ времени они растутъ и находятъ твердую опору въ той же философіи.

Германская мысль была всецѣло пропитана національными инстинктами. Учитель Шеллинга всю свою систему приспособилъ къ этимъ инстинктамъ и создалъ теорію германизма, какъ міровой культурной стихіи. О фихтианскихъ идеяхъ мы очень рѣдко слышимъ отъ русскихъ философовъ тридцатыхъ годовъ, имя Фихте исчезаетъ въ лучахъ шеллинговой славы, но не можетъ быть сомнѣнія, что тотъ же Шеллингъ ввелъ своихъ учениковъ въ систему своего учителя. По крайней мѣрѣ, понятіе о культурномъ прогрессѣ въ связи съ развитіемъ національностей—прямое наслѣдство Фихте. Естественно, это понятіе у русскихъ философовъ должно преобразоваться въ другомъ, также національномъ направленіи, и съ самаго начала одновременно съ исповѣданіемъ германской философіи мы слышимъ настойчивое провозглашеніе *русского* просвѣщенія. Собственно идея національности явилась неизбежнымъ выводомъ изъ принципа *практическаго сближенія ума съ жизнью*. Сама жизнь требовала этой идеи и даже предупредила философовъ фактами, не особенно глубокомысленными и значительными, но, тѣмъ не менѣе, шумными и въ высшей степени популярными.

### XXXVII.

Исторія всегда была и будетъ лучшей учительницей народовъ. Ея уроки всегда отличаются ясностью и непререкаемой авторитетностью. Понять ихъ могутъ даже многіе изъ «малыхъ сихъ» и порывомъ взволнованнаго чувства предвосхитить глубокія и трудныя думы великихъ и сильныхъ.

Одинъ изъ такихъ уроковъ былъ данъ всѣмъ европейскимъ народамъ въ началѣ XIX вѣка, и посмотрите, въ какомъ удивительномъ единодушіи оказываются люди совершенно различнаго образованія и литературныхъ вкусовъ!

Мы упоминали о Русскомъ Вѣстникѣ Глинки. Въ 1808 году

<sup>105</sup>) *Иб.*, 69—70.

у будущаго издателя заговорило «сердце вѣщунъ» и онъ рѣшилъ издавать журналъ именно противъ французскаго просвѣщенія XVIII вѣка, «нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ» противопоставить чужеземному растлѣвающему вліянію. Много лѣтъ позже съ не менѣе горячимъ чувствомъ заговорятъ противъ «софистовъ» и молодые философы, чуждые всякой національной нетерпимости и патріотической воинственности.

Четыре года спустя у Глики является послѣдователь—Гречъ, издатель *Сына Отечества*. Внуку нѣмецкаго выходца, онъ теперь проникнутъ стремительнымъ желаніемъ служить русскому отечеству, изъ своего журнала сдѣлать «народный вѣстникъ русскій» и иноземнымъ заиматься исключительно только въ связи съ отечественнымъ.

И *Сынъ Отечества*, по свидѣтельству самого издателя, стяжалъ огромный успѣхъ, поддерживался «вельможами патріотами» и сочувствіемъ обширной публики. И успѣхъ этотъ Гречъ приписывалъ настроенію общества, «обстоятельствамъ».

Они до такой степени соотвѣтствовали расчетамъ и чувствительныхъ, и просто ловкихъ предпринимателей печати, что и тѣ, и другіе могли ссылаться даже на восторги иностранцевъ предъ патріотизмомъ русскихъ. Рѣчь короля прусскаго о высокихъ подвигахъ русскаго мужества, о русскомъ народѣ, какъ примѣръ для всѣхъ другихъ, была переведена и встрѣтила, конечно, всеобщую признательность. Патріотическая волна захватила и науку. Мы знаемъ горячія рѣчи Мерзлякова, одновременно Павловъ и Давыдова внушали пансіонскимъ воспитанникамъ любовь къ родному языку, и Павловъ потомъ эти внушенія перенесъ въ свой журналъ.

Въ *Атенѣ* о народной поэзіи высказывались идеи, несравненно болѣе послѣдовательныя, чѣмъ извѣстныя намъ разсужденія Надеждина. Въ первой же книгѣ журнала появилась статья *О направленіи поэзіи въ наше время* съ необычайно смѣлой и редактору-шеллингянцу даже несвойственной проповѣдью реализма и народности искусства.

Статья напечатана въ самомъ началѣ 1828 года, но, несомнѣнно, мысли ея могли одушевлять и раннія лекціи Павлова въ пансіонѣ.

Авторъ статьи возстаетъ противъ *идеаловъ* въ поэзіи, т. е. слишкомъ повышеннаго, не реальнаго содержанія. «Вѣкъ ихъ, кажется, минулъ безвозвратно. Мы требуемъ теперь человѣка дѣйствительнаго, съ его слабостями, страстями, заблужденіями, странностями. Новыя потребности указали и на новые источники».

современныхъ идей, иначе жизнь разоидется съ успѣхами ума. Отсюда необходимость широкаго общественнаго развитія и просвѣщенія, необходимость неограниченной и глубокой цивилизаціи <sup>102</sup>).

Во главѣ движенія должна стать литература, писатели будутъ просвѣтителями народа. Еще въ школѣ у юныхъ философовъ всѣ интересы сосредоточены на русской литературѣ; съ теченіемъ времени они растутъ и находятъ твердую опору въ той же философіи.

Германская мысль была всецѣло пропитана національными инстинктами. Учитель Шеллинга всю свою систему приспособилъ къ этимъ инстинктамъ и создалъ теорію германизма, какъ міровой культурной стихіи. О фихтианскихъ идеяхъ мы очень рѣдко слышимъ отъ русскихъ философовъ тридцатыхъ годовъ, имя Фихте исчезаетъ въ лучахъ шеллинговой славы, но не можетъ быть сомнѣнія, что тотъ же Шеллингъ ввелъ своихъ учениковъ въ систему своего учителя. По крайней мѣрѣ, понятіе о культурномъ прогрессѣ въ связи съ развитіемъ національностей—прямое наслѣдство Фихте. Естественно, это понятіе у русскихъ философовъ должно преобразоваться въ другомъ, также національномъ направленіи, и съ самаго начала одновременно съ исповѣданіемъ германской философіи мы слышимъ настойчивое провозглашеніе *русскаго* просвѣщенія. Собственно идея національности явилась неизбежнымъ выводомъ изъ принципа *практическаго* сближенія ума съ жизнью. Сама жизнь требовала этой идеи и даже предупредила философовъ фактами, не особенно глубокомысленными и значительными, но, тѣмъ не менѣе, шумными и въ высшей степени популярными.

### XXXVII.

Исторія всегда была и будетъ лучшей учительницей народовъ. Ея уроки всегда отличаются ясностью и непререкамою авторитетностью. Понять ихъ могутъ даже многіе изъ «малыхъ сихъ» и порывомъ взволнованнаго чувства предвосхитить глубокія и трудныя думы великихъ и сильныхъ.

Одинъ изъ такихъ уроковъ былъ данъ всѣмъ европейскимъ народамъ въ началѣ XIX вѣка, и посмотрите, въ какомъ удивительномъ единодушіи оказываются люди совершенно различнаго образованія и литературныхъ вкусовъ!

Мы упоминали о *Русскомъ Вѣстникѣ* Глинки. Въ 1808 году

у будущаго издателя заговорило «сердце въпунъ» и онъ рѣшилъ издавать журналъ именно противъ французскаго просвѣщенія XVIII вѣка, «нравы и добродѣтели праотцевъ нашихъ» противопоставить чужеземному растлѣвающему вліянію. Много лѣтъ позже съ не менѣе горячимъ чувствомъ заговарятъ противъ «софистовъ» и молодые философы, чуждые всякой національной нетерпимости и патріотической воинственности.

Четыре года спустя у Глинки является послѣдователь—Гречъ, издатель *Сына Отечества*. Внукъ нѣмецкаго выходца, онъ теперь проникнутъ стремительнымъ желаніемъ служить русскому отечеству, изъ своего журнала сдѣлать «народный вѣстникъ русскій» и иноземнымъ заниматься исключительно только въ связи съ отечественнымъ.

И *Сынъ Отечества*, по свидѣтельству самого издателя, стяжалъ огромный успѣхъ, поддерживался «вельможами патріотами» и сочувствіемъ обширной публики. И успѣхъ этотъ Гречъ приписывалъ настроенію общества, «обстоятельствамъ».

Они до такой степени соотвѣтствовали разсчетамъ и чувствительныхъ, и просто ловкихъ предпринимателей печати, что и тѣ, и другіе могли ссылаться даже на восторги иностранцевъ предъ патріотизмомъ русскихъ. Рѣчь короля прусскаго о высокихъ подвигахъ русскаго мужества, о русскомъ народѣ, какъ примѣръ для всѣхъ другихъ, была переведена и встрѣтила, конечно, всеобщую признательность. Патріотическая волна захватила и науку. Мы знаемъ горячія рѣчи Мерзлякова, одновременно Павловъ и Давыдова внушали пансіонскимъ воспитанникамъ любовь къ родному языку, и Павловъ потомъ эти внушенія перенесъ въ свой журналъ.

Въ *Атенѣ* о народной поэзіи высказывались идеи, несравненно болѣе послѣдовательныя, чѣмъ извѣстныя намъ разсужденія Надеждина. Въ первой же книгѣ журнала появилась статья *О направленіи поэзіи въ наше время* съ необычайно смѣлой и редактору-педлингіанцу даже несвойственной проповѣдью реализма и народности искусства.

Статья напечатана въ самомъ началѣ 1828 года, но, несомнѣнно, мысли ея могли одушевлять и раннія лекціи Павлова въ пансіонѣ.

Авторъ статьи возстаетъ противъ *идеаловъ* въ поэзіи, т. е. слишкомъ возвышеннаго, не реальнаго содержанія. «Вѣкъ ихъ, кажется, миновалъ безвозвратно. Мы требуемъ теперь человѣка дѣйствительнаго, съ его слабостями, страстями, заблужденіями, странностями. Новыя потребности указали и на новые источники».



Нѣмецкая философія, слѣдовательно, только переходная ступень отъ французской софистики къ настоящей умственной работѣ. Кирѣевскій превозноситъ благотѣянія германскаго вліянія на русскую литературу, но онъ преисполненъ патріотическихъ чувствъ. Подчасъ его можно признать за подлиннаго славянофила, даже въ молодые годы: до такой степени близко къ сердцу онъ принимаетъ всякое малѣйшее посягательство со стороны иностранцевъ на достоинство русскаго имени и на такой высочайшей высотѣ ему рисуется цивилизаторская миссія его родины!

За границей онъ попадаетъ въ среду «первоклассныхъ умовъ Европы», начиная съ Шеллинга и Гегеля и кончая звѣздами второй величины, но тоже въ высшей степени яркими, для русскаго взора,—ослѣпительными. Кирѣевскій дѣятельно посѣщаетъ лекціи профессоровъ, завязываетъ личныя знакомства, но ни на минуту не поддается гипнозу, столь часто подчинявшему въ старое время разныхъ русскихъ путешественниковъ предъ лицомъ той или другой европейской знаменитости.

Это не ученикъ, а просто любопытный слушатель, всегда способный распознать дѣйствительное золото отъ призрачнаго блеска. Онъ внимательно слѣдитъ за лекціями Шеллинга и сейчасъ же отмѣчаетъ несоотвѣтствіе возбужденныхъ надеждъ и осуществившихся фактовъ. То же самое, на что указывалъ и Одоевскій, только его сверстникъ дошелъ до истины у самаго ея источника.

«Гора родила мышь», пишетъ Кирѣевскій своему вѣстнику Клагину, усердному шеллингианцу. Клагинъ первый познакомилъ съ философіей своего пасынка и, очевидно, интересовался его заграничными успѣхами въ любимомъ предметѣ. Кирѣевскій долженъ пересылать ему философскія новости и, конечно, новыя лекціи Шеллинга, и вотъ оказывалось, — философъ два года подрядъ читалъ одинъ и тотъ же курсъ. Съ такой основательной подготовкой явился русскій студентъ въ заграничную аудиторію! Сравнивая настроенія Кирѣевского съ рассказами Карамзина о Кантѣ, мы попадаемъ будто въ двѣ разныя и чрезвычайно отдаленныя другъ отъ друга эпохи.

Естественно, Кирѣевскій еще осторожнѣе относится къ нѣмцамъ въ философіи. Онъ возмущается ихъ неуважительными отзывами о русскихъ по вопросу, повидимому, довольно сомнительному: есть ли у русскихъ энергія? Наконецъ, онъ переходитъ въ наступательное положеніе и общій типъ нѣмцевъ изображаетъ въ самыхъ безнадежныхъ краскахъ: и склонность къ «нелѣпому



восторгу», и тупость, и бездушіе, и въ заключеніе рѣшительный: возгласъ: «Германіей ужъ мы сыты по горло!»

Возгласы, по формѣ, могутъ быть плодомъ минутнаго возбужденія, столь понятнаго у русскаго путешественника за границей. Но у Кирѣевскаго нѣтъ цѣлая система культурныхъ воззрѣній. Они заслуживаютъ всего нашего вниманія, потому что такой цѣльности и по истинѣ философскаго безпристрастія и разносторонности русская общественная мысль могла достигнуть только въ отдаленномъ будущемъ, отчасти по винѣ самого Кирѣевскаго.

Онъ безпрестанно возвращается къ историческимъ судьбамъ Россіи. Мы знаемъ, вопреку рѣшенъ на общихъ философскихъ основахъ: «просвѣщеніе — условіе и источникъ *всѣхъ* благъ» и «судьба Россіи заключается въ ея просвѣщеніи». Но гдѣ же его источникъ?

*Въ Европѣ.* Это настойчивый и постоянный отвѣтъ нашего автора, *въ Европѣ*, а не въ Московіи, не въ допетровской Руси.

Кирѣевскій въ важнѣйшей своей статьѣ: *Двадцатый вѣкъ* подвергъ жестокой критикѣ патріотовъ славянофильскаго толка.

Они обвиняютъ Петра, будто онъ далъ ложное направленіе русской образованности, заимствовавъ ее изъ просвѣщенной Европы, а не развилъ «*внутри нашего быта*».

Въ отвѣтъ Кирѣевскій прежде всего указываетъ на *заимствование чужихъ мыслей* со стороны самихъ пророковъ самобытности.

«Стремленіе къ національности есть ничто иное, какъ непонятное повтореніе мыслей чужихъ, мыслей европейскихъ, занятыхъ у французовъ, у нѣмцевъ, у англичанъ, и необдуманно примѣняемыхъ къ Россіи. Дѣйствительно, лѣтъ десять тому назадъ стремленіе къ національности было господствующимъ въ самыхъ просвѣщенныхъ государствахъ Европы: всѣ обратились къ своему народному, къ своему особенному. Но тамъ это стремленіе имѣло свой смыслъ: тамъ просвѣщеніе и національность одно, ибо первое развилось изъ послѣдней. Потому, если нѣмцы искали чисто нѣмецкаго, то это не противорѣчило ихъ образованности; напротивъ, образованность ихъ такимъ образомъ доходила только до своего сознанія, получала болѣе самобытности, болѣе полноты и твердости. Но у насъ искать національнаго, значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній, значитъ изгонять просвѣщеніе. Ибо не имѣя достаточныхъ элементовъ для внутренняго развитія образованности, откуда возьмемъ мы

ее, если не изъ Европы? Развѣ самая образованность европейская не была послѣдствіемъ просвѣщенія древняго міра? Развѣ не представляетъ она теперь просвѣщенія общечеловѣческаго? Развѣ не въ такомъ же отношеніи находится оно къ Россіи, въ какомъ просвѣщеніе классическое находилось къ Европѣ?» <sup>107)</sup>).

Это напечатано въ началѣ 1832 года; тѣ же идеи были выказаны въ статьѣ *Обозрѣніе русской словесности за 1829 годъ* напечатанной въ сборникѣ Максимовича *Денница* на 1830 годъ. Подъ статьей въ первый разъ подписано имя автора.

### XXXVIII.

Кирѣевскій очень трезво цѣнилъ русскую литературу, даже отрицалъ ея существованіе и приводилъ этотъ печальный фактъ въ связь съ другимъ: «у насъ еще нѣтъ полнаго отраженія жизни народа». Что же есть?—«Надежда и мысль о великомъ назначеніи нашего отечества».

Но это назначеніе неразрывно связано съ европейской цивилизаціей и безъ нея немыслимо и неосуществимо.

Критикъ пользуется западной мыслью о періодической смѣнѣ европейскихъ народовъ, какъ представителей просвѣщенія человѣческаго, и доходитъ до убѣжденія, что такая роль рано или поздно выпадетъ русскимъ. Западъ подготовилъ нашу образованность, онъ—ея колыбель, и когда европейскіе народы закончатъ кругъ своего умственного развитія, начнетъ Россія.

Авторъ договаривается до идеи, напоминающей извѣстную намъ похоронную пѣсню Надеждина,—но только напоминающей. У Кирѣевского пока на первомъ планѣ не патріотическое идолопоклонство, а философія исторіи съ сильнымъ вмѣшательствомъ національнаго чувства.

Каждый изъ европейскихъ народовъ, по мнѣнію Кирѣевского, «совершилъ свое назначеніе», т. е. закончилъ самобытное развитіе и изжилъ «отдѣльную жизнь». Всѣ частныя государства поглощены цѣлой Европой.

Но въ этомъ цѣломъ нѣтъ стройнаго, органическаго тѣла, нѣтъ средоточія и потому, что нѣтъ господствующаго народа политически и умственно. А между тѣмъ это господство—законъ исторіи: «всегда одно государство было, такъ сказать, столицей другихъ.

<sup>107)</sup> Сочиненія. I, 82--3.

было *сердцемъ*, изъ котораго выходитъ и куда возвращается вся кровь, всѣ жизненныя силы просвѣщенныхъ народовъ».

И автору, разумѣется, не трудно различныя историческія эпохи свести къ преобладанію различныхъ народовъ. Въ настоящее время на вершинѣ европейскаго просвѣщенія Англія и Германія. Но ихъ власть недолговѣчна, ихъ внутренняя жизнь закончила кругъ живого развитія и совершенствованія, и вся Европа цѣпнѣетъ и превращается въ болото, «гдѣ цвѣтутъ однѣ незабудки, да изрѣдка блеститъ холодный блуждающій огонекъ» <sup>108</sup>).

Выраженія очень смѣлыя, но, снова повторяемъ, это отнюдь не приговоръ надъ европейской культурой. Напротивъ, она должна быть безусловно и сознательно усвоена Россіей ради историческаго будущаго. Кирѣевскій неистовымъ на критику русской самобытности, независимой отъ европейскаго просвѣщенія.

Грибоѣдовская комедія даетъ ему благодарный мотивъ въ этомъ направленіи. Онъ недоволенъ Чацкимъ за его слишкомъ рѣшительныя нападки на русскую подражательность. Она смѣшна, но не сама по себѣ, а по своей неловкости и непоследовательности. Подражать слѣдуетъ *вполнѣ*, повсе не опасаясь за цѣлость русскаго національнаго характера.

«Наша религія, наши историческія воспоминанія, наше географическое положеніе, вся совокупность нашего быта столь отличны отъ остальной Европы, что намъ физически невозможно сдѣлаться ни французами, ни англичанами, ни нѣмцами».

Вѣра Кирѣевскаго въ устойчивость русской стихіи безгранична и онъ готовъ даже помириться съ уродствомъ отечественнаго чужебсѣя, лишь бы дать большій просторъ европеизму на русской почвѣ.

«До сихъ поръ,—говоритъ онъ,—національность наша была національность необразованная, грубая, китайски неподвижная. Просвѣтитъ ее, возвыситъ, дать ей жизнь и силу развитія можетъ только вліяніе чужеземное. И какъ до сихъ поръ все просвѣщеніе наше заимствовано извнѣ, такъ только извнѣ можемъ мы заимствовать его и теперь, и до тѣхъ поръ, покуда поропняемся съ остальною Европою. Тамъ, гдѣ *обще-европейское* совпадется съ нашею *особенностью*, тамъ родится просвѣщеніе истинно-русское, образованно-національное, твердое, живое, глубокое и богатое благодѣтельными послѣдствіями. Вотъ отчего наша любовь къ ино-

странному можетъ иногда казаться смѣшною, но никогда не должна возбуждать негодованія; ибо богѣе или менѣе, посредственно или непосредственно, она всегда ведетъ за собою просвѣщеніе и успѣхъ, и въ самыхъ заблужденіяхъ своихъ не столько вредна, сколько полезна<sup>109)</sup>.

Авторъ самъ подалъ примѣръ желательнаго для него совпаденія *общеевропейскаго* съ *національнымъ*, и не онъ одинъ, а всѣ русскіе шеллингианцы. Идея попережняго культурнаго главенства народовъ—открытіе германской философіи, и очень нехитрое: оно должно было устранить галломанскій періодъ и провозгласить диктатуру германизма. Шеллингъ указывалъ на признаки этой диктатуры: общеевропейское увлеченіе германской философіей. У русскихъ публицистовъ не было своихъ Шеллинговъ, не было вообще самостоятельныхъ философскихъ и научныхъ системъ, но зато много *вѣры* и *надежды*. Кирѣевскій откровенно указалъ именно на эти опоры русскаго національнаго самосознанія.

Указаніе по существу мало убѣдительно: все достовѣрное и реальное принадлежало будущему, насколько вопросъ касался Россіи. Но вѣра оказалась великой и вполне дѣйствительною силой. Она вызвала *дѣла*, была оправдана вполне сознательной работою своихъ исповѣдниковъ.

У молодежи тридцатыхъ годовъ двѣ идеи—о всемірномъ предназначеніи Россіи и о личномъ просвѣтительномъ призваніи ея юныхъ сыновъ—слились въ одинъ символъ и сообщили ихъ литературной дѣятельности своеобразный идеалистическій характеръ оставшійся въ исторіи русскаго просвѣщенія неотъемлемымъ достояніемъ философской эпохи. Несомнѣнно, разъ первенствующую роль играла *вѣра*, т. е. чувство, идея легко переходила въ экстазъ и утрачивала разумную сдержанность и даже логичность.

Кирѣевскій съ теченіемъ времени додумался до открытаго и безпримѣснаго славянофильства. Задатки заключались еще въ раннихъ произведеніяхъ: стоило только мысль о болотномъ оцѣпенѣніи Европы отгнать контрастомъ русской жизненности и свѣжести. Это уже было сдѣлано Надеждинымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, дѣлалось и неучеными публицистами, изъ породы Глинки, авторами съ вѣщими сердца.

Очень эффектное, наприимѣръ, сопоставленіе тлетворнаго европеизма съ неисчислимыми богатствами русской натуры, выходило

<sup>109)</sup> *Иб.* I, 109.

въ статьяхъ Свинына, дѣятельнаго сотрудника *Сына Отечества*, и издателя *Отечественныхъ Записокъ* съ 1820 года.

Свининъ недоволенъ былъ скромностью русскихъ «къ достоинству своему», и вознамерился познакомить ихъ съ національными героями. Журналъ неустанно прославлялъ русскихъ самоучекъ и поэтовъ. Одновременно печатались и цѣнные матеріалы для русской исторіи, но собственно не ради науки, а во имя все той же славы и «народной гордости»: «добрые ремесленники и смышленные мужички» въ глазахъ издателя стояли выше всякаго просвѣщенія, особенно европейскаго.

Не миновали такой «любви къ отечеству» и просвѣщенные шellingianцы.

«Западъ гибнетъ», провозгласилъ Одоевскій въ тѣхъ же *Русскихъ ночахъ*, гдѣ Шеллинга именовалъ Колумбомъ XIX-го вѣка. На западѣ все одряхлѣло и все опровергнуто: вѣра, наука, искусство. Дѣло цивилизаціи долженъ взять народъ «юный, свѣжій, непричастный преступленіямъ стараго міра», и, конечно, это русскій народъ. «Девятнадцатый вѣкъ принадлежитъ Россіи!»... <sup>110)</sup>

Опять, *вѣра и надежда*, по существу тѣ самыя настроенія, какія нашихъ авторовъ въ области эстетики приводили къ тайнамъ символизма. Культурные идеалы переживаютъ у нихъ такое же превращеніе, и послѣ справедливой просвѣщенной оцѣнки европейскаго прогресса перерождаются въ романтическое народничество, философъ исторіи становится пророкомъ-ясновидцемъ.

Кирѣевскій испыталъ жестокое разочарованіе въ литературной дѣятельности. Его страстно-любимое дѣтище, журналъ *Европеецъ* на третьемъ номерѣ былъ запрещенъ за статью самого издателя *Девятнадцатый вѣкъ*. Подверглась оффиціальному порицанію и статья о *Горѣ отъ ума*. Усмотрѣна была политика, выраженія Кирѣевского *просвѣщеніе, дѣятельность разума* гр. Бенкендорфомъ переведены какъ *свобода и революція*, открыты и конституціонныя возжеланія мирнаго шellingianца.

Журналъ погибъ и Кирѣевскій замолчалъ, подавленный и разочарованный. Благонамѣреннѣйшіе современные люди—въ родѣ Никитенко, Погодина, возмущались карой и не видѣли въ статьѣ ничего преступнаго. Правда, Погодинъ не одобрялъ статьи за ея европейскія сочувствія. Онъ былъ убѣжденъ, что «Россія особый

<sup>110)</sup> Сочин. I, 314.

міръ», и что «всей Европы надежда должна быть на Россію», а Кирѣевскій вздумалъ мѣрить ее на европейскій аршинъ! <sup>111)</sup>).

Но и Погодину не могли придти въ голову проикновенія Бенкендорфа, а Никитенко воскликнулъ: «Тьфу! Да что же мы, наконецъ, будемъ дѣлать на Руси? Пить и буянить? И тяжело, и стыдно, и грустно!»

Максимовичъ, близко стоявшій къ Кирѣевскому, свидѣтельствуешь объ его глубокомъ огорченіи: столь горячо желанныя надежды на литературную дѣятельность рушились и вмѣстѣ съ ними въ корнѣ подорвано страстное желаніе—служить родинѣ.

Кирѣевскій замолчалъ на долго, на цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ. Явилось нѣсколько небольшихъ статейкъ безъ имени, и за это время міросозерцаніе безвременно подшибленнаго журналиста круто мѣнялось и выразилось, наконецъ, въ знаменитомъ письмѣ къ гр. Комаровскому, въ началѣ 1852 года. Оно носитъ названіе: *О характеръ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи*, напечатано въ московскомъ сборникѣ Ивана Аксакова.

Другія времена и другія пѣсни! У кирѣевского совсѣмъ испарился европеецъ и остался славянофилъ чистѣйшей крови. Письмо относится къ позднѣйшей эпохѣ и намъ не представляется необходимости разбирать его подробно. Достаточно въ общихъ чертахъ указать на перемену въ авторскихъ взглядахъ.

Теперь и рѣчи нѣтъ о европейскомъ просвѣщеніи, какъ неизбѣжной основѣ русскаго. Западъ и Россія противопоставляются другъ другу, какъ два совершенно различныхъ культурныхъ міра, и все сопоставленіе идетъ къ вящей славіи Россіи.

Европа заимствовала религію и цивилизацію у Рима, односторонне-разсудочнаго, холодно-логическаго, но знавшаго полноты и цѣльности умозрѣнія, всесторонняго развитія нравственной жизни. Въ результатѣ—на западѣ вся культура и бытъ сложились разсудочно, искусственно, безъ всепроникающей внутренней связи и гармоніи, безъ разумнаго и духовнаго единства: государство и съ насильемъ завоеванія, законодательство изъ логическихъ разсужденій юрисконсультовъ и собраній и внѣшнихъ воздѣйствій на массу.

Россія получила религію и образованность отъ Византіи и къ ней перешла глубокая, нравственно-свободная мудрость древнихъ отцовъ церкви, ищущая внутренней цѣльности разума, а не внѣшней связи логическихъ понятій. Восточный созерцатель, это—безмя-

<sup>111)</sup> Сочиненія Кирѣевскаго. I, стр. 80, ср. Барсуковъ, IV, 8—9.

тежность внутренней деятельности духа, глубина самосознания, западный схоластикъ—безпокойный диалектикъ, «всегда суетливый, когда не театральный».

Раньше нѣкоторыя мысли Кирѣевскаго о спасительной силѣ европеизма и о варварствѣ русской старины и самобытности на-поминали *Философическія письма Чаадаева*, теперь все наоборотъ.

Авторъ въ прошломъ русской исторіи открываетъ блестящія картины цивилизаціи, затмевающія европейское просвѣщеніе: богатѣйшія бібліотеки у нѣкоторыхъ русскихъ князей XII и XIII вѣковъ, изумительная образованность монаховъ и тѣхъ же князей: они занимались такими «глубокомысленными писаніями» отцовъ церкви, какія «даже въ настоящее время едва ли каждому нѣмецкому профессору любознудія придутся по силамъ мудрости».

Въ столь же идеальномъ свѣтѣ рисуется автору и древнерусская семья и вообще вся нравственная личность и даже внѣшнее поведеніе русскаго человѣка. Увлеченіе доходитъ до идеализаціи, совершенно неожиданной послѣ извѣстныхъ намъ юношескихъ заявленій Кирѣевскаго о необходимости *общее мнѣніе* возвышать до уровня *ума людей просвѣщенныхъ*.

Теперь выхваляется именно личное самоотреченіе русскаго характера. Русскій человѣкъ никогда не стремился «выставить свою самородную особенность», у него единственное желаніе «быть правильнымъ выраженіемъ основного духа общества».

(Отсюда недалеко до прославленія вообще пассивныхъ добродѣтелей, даже страданія и примиренія съ какими бы то ни было внѣшними условіями общественной жизни.

И Кирѣевскій, дѣйствительно, прибавляетъ такую параллель: «Западный человѣкъ искалъ развитіемъ внѣшнихъ средствъ облегчить тяжесть внутреннихъ недостатковъ. Русскій человѣкъ стремился внутреннимъ возвышеніемъ надъ внѣшними потребностями избѣгнуть тяжести внѣшнихъ нуждъ». И русскій человѣкъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, даже не понялъ бы, въ старину, политической экономіи: такъ идеально было его міросозерцаніе!

Не смотря на неуклюжесть и туманность выраженій, смыслъ ясенъ: у русскаго человѣка, подъ покровомъ «внутренняго возвышенія», изумительная приспособляемость къ обстоятельствамъ и нестоимое терпѣніе.

И вотъ къ этимъ-то основамъ просвѣщенія Кирѣевскій призываетъ своихъ читателей! Онъ, конечно, не мечталъ о возстановленіи старины во всей ея неприкосновенности, но, въ то же время,



«въ прежней жизни отечества». «изъ самобытныхъ началахъ» указывалъ единственный источникъ науки. Какъ собственно указанные выше начала могутъ развить науку и затѣмъ вообще ее развивать, если еще писанія XV вѣка превосходили мудростью современныхъ философовъ и если древній русскій человѣкъ достигалъ идеала «внутренней цѣльности самосознанія», «внутренней справедливости» въ законахъ, «единодушной совокупности» въ сословныхъ отношеніяхъ и «твердости семейныхъ и общественныхъ связей?»<sup>112)</sup>»

Что-нибудь изъ двухъ: или русскій человѣкъ не такое ужъ совершенство, какъ онъ рисуется автору, или никакая новая образованность не имѣетъ ни цѣли, ни смысла. Эта дилемма до конца не исчезнетъ изъ славянофильской философіи, и именно она будетъ внутреннимъ разъѣдающимъ недугомъ всей системы, какъ бы искренни и благородны ни были ея защитники.

Но въ тридцатыхъ годахъ дилеммы еще не существовало, по крайней мѣрѣ, для молодыхъ шеллингянцевъ. Всѣ они приблизительно въ духѣ Кирѣевского рѣшали вопросъ объ отношеніи европейскаго просвѣщенія къ русскому и, твердо стоя на почвѣ національности, часто даже впадая въ патріотическій лиризмъ, они не забывали своихъ учителей и ни на минуту не сомнѣвались въ великой силѣ западной цивилизаціи и въ ея благотвѣніяхъ русской литературѣ и русскому народу.

Эта идея нашла полное осуществленіе въ критикѣ и въ учено-литературной дѣятельности молодежи. Философія и народность уживались рядомъ и пролагали пути истинно идейному и національному искусству.

### XXXIX.

Мы видѣли, журналъ Павлова ставилъ въ неразрывную связь изслѣдованіе народнаго творчества и проникновеніе въ литературу реализма. Молодые дѣятели съ точностью принялись выполнять эту вполне логическую программу.

Братъ Кирѣевского, Петръ Васильевичъ, первый изъ современныхъ поклонниковъ русской старины, началъ собирать народныя пѣсни, внесъ въ это дѣло необыкновенное чутье народнаго духа, величайшее усердіе и представилъ, такимъ образомъ, на-

<sup>112)</sup> Сочиненія. II, стр. 229, etc.

глядныя иллюстраціи для художественной критики новаго направления.

Достоиннымъ соперникомъ Кирѣевского явился Максимовичъ, авторъ известной намъ статьи о *Полтавѣ*.

Максимовичъ, специалистъ по ботаникѣ, по слушатель Павлова и Давыдова, рано пристрастился къ философiи и словесности, философiи давалъ полный просторъ въ своихъ ботаническихъ разсужденіяхъ, а словесность разрабатывалъ въ журналахъ. Малороссъ по происхожденію, онъ естественно современныя національныя увлеченія перенесъ на малорусскую поэзію и издалъ три сборника украинскихъ пѣсенъ.

Первый сборникъ вышелъ въ 1827 году и предисловіе къ нему одинъ изъ краснорѣчивѣйшихъ образцовъ критики двадцатыхъ годовъ въ ея основныхъ принципахъ. Тонъ статьи показываетъ, что принципы эти еще новостъ, и тѣмъ важнѣе было одновременное появленіе и теорiи, и примѣровъ, превосходно пояснявшихъ теорію.

«Наступило, кажется, то время,—писалъ издатель пѣсенъ,—когда познають истинную цѣну народности; начинается желаніе: да создастся поэзія истинно-русская! Лучшіе наши поэты уже не въ основу и образецъ своихъ твореній ставятъ произведенія иноплемennыхъ, но только средствомъ къ полнѣйшему развитію самобытной поэзіи, которая зачалась на родимой почвѣ, долго была заглушаема пересадками иностранными и только изрѣдка сквозь нихъ пробивалась».

Максимовичъ лично обладалъ поэтическимъ талантомъ и художественнымъ чувствомъ. Его сборникъ имѣлъ не только научное значеніе, онъ настоящій художественный памятникъ, одинаково цѣнный и для поэта, и для историка. Пушкинъ и Гоголь восторженно привѣтствовали трудъ Максимовича, и этотъ фактъ краснорѣчивѣе всѣхъ статей засвидѣтельствовалъ вѣрность направленія, принятаго молодыми критиками. Для старыхъ шекспировцевъ такое единеніе оказалось недостижимой задачей, здѣсь же мы заранее ждемъ возможно тщательной и разумной оцѣнки современныхъ поэтическихъ талантовъ, въ томъ числѣ Пушкина.

Максимовичъ уже доказалъ это; его товарищи и равные, и позже его статьи шли тѣмъ же путемъ, искренне стремясь философскій идеализмъ сблизить съ дѣйствительностью, преклоненіе предъ европейской культурой съ основами русской національности. Если цѣль оказалась не вполне достигнутой, причина отнюдь не

въ недостатокъ доброй воли и еще менѣе — въ ошибочномъ пониманіи задачи.

Въ кружкѣ Рачина съ самаго начала не умирала мысль о журналѣ. Членовъ кружка связывала совѣстная служба при Московскомъ архивѣ иностранныхъ дѣлъ. Всѣ упомянутые нами писатели братья Кирѣевскіе, кн. Одоевскій, Веневитиновъ — «архивные юноши». Столь тѣсныя отношенія естественно внушали мысль объ общей литературной работѣ.

Вопросъ обсуждался долго и внимательно. Участіе принимали и Полевой, будущій издатель *Телеграфа*, и кн. Вяземскій, главный его сотрудникъ въ началѣ изданія. Въ проектахъ, конечно, не оказалось недостатка, но въ обществѣ немедленно выяснилось два теченія, въ высшей степени для насъ любопытныхъ.

Соображенія Полевого на счетъ журнала не встрѣтили одобренія «архивныхъ юношей», философовъ и аристократовъ. Къ Полевому, очевидно, примкнулъ и кн. Вяземскій. Оба остались при особомъ мнѣніи, а другой проектъ былъ представленъ Веневитиновымъ въ формѣ статьи *Нѣсколько мыслей въ планъ журнала*.

Это было моментомъ разъединенія среди русскихъ критиковъ. Оно основывалось не на рѣзкой разницѣ общественныхъ и литературныхъ взглядовъ: всѣ одинаково признавали романтизмъ, философію, вообще германское вліяніе. Были, конечно, степени къ увлеченіямъ, но принципы для всѣхъ оставались признанными и прочными.

Вопросъ заключался въ практическомъ приложеніи этихъ принциповъ.

Здѣсь «архивные юноши» оказывались будто людьми другой планеты сравнительно съ Полевымъ, типичнымъ журнальнымъ бойцомъ, и даже сравнительно съ кн. Вяземскимъ.

Мы знаемъ, какія цѣли, по мнѣнію Полевого, долженъ былъ преслѣдовать русскій публицистъ: это неограниченная популяризація фактовъ и идей, неустанная забота о новизнѣ и занимательности матеріала, въ общемъ самоотверженное служеніе публикѣ, хотя и вполне культурное и просвѣтительное. А разъ публика занимаетъ такое мѣсто въ предпріятіи журналиста, онъ естественно превращается въ ловца сочувствій, т. е. въ литературнаго борца, въ полемизатора съ соперниками и противниками. Гдѣ же собственно предѣлы борьбы и до какой температуры дол-

къ тѣмъ или другимъ явленіямъ міра физическаго и нравственнаго» <sup>114</sup>).

Всѣ эти идеи, конечно, не представляютъ ничего неожиданнаго: всѣ онѣ свободно могли возникнуть на почвѣ шеллингіанской идеализаціи поэта. Ничего нѣтъ поразительнаго и въ разсужденіи (Доевскаго о «поэтическомъ магизмѣ», т. е. о способности поэтовъ предвосхищать историческія изысканія ученыхъ и *проницать тайны* прошлаго независимо отъ разработки источниковъ <sup>115</sup>).

Достигнуть подобнаго успѣха, конечно, не могутъ простые стихотворцы съ безотчетными чувствами и мимолетными настроеніями, и мы поймемъ, почему молодые шеллингіанцы поспѣшати объявить Пушкина *поэтомъ-философомъ*. Это означало—выдѣлать его изъ сонма всѣхъ современныхъ сладкопѣвцевъ и ремесленниковъ <sup>116</sup>).

Веневитиновъ до конца своей краткой жизни останется настоящимъ подвижникомъ мысли и, скончавшись двадцати двухъ лѣтъ, оставитъ русской критикѣ почетное и богатое наследство.

Но этимъ вопросъ не рѣшался. Смыслъ всякаго богатства заключается не въ количествѣ, а въ оборотѣ, въ практической широкой производительности богатства. Выполнялось ли это условіе дѣятельностью Веневитинова и его друзей?

Всѣ они съ глубокой убѣжденностью работали надъ личнымъ умственнымъ развитіемъ, всѣ горѣли истинно-гражданскимъ желаніемъ—сдѣлать участниками своихъ сокровищъ и русское общество, даже народъ. Насколько же удалось имъ осуществить свою столь трудную и высокую задачу?

Въ сущности, отвѣтъ въ общихъ чертахъ мы предвосхитили даже отрывочной характеристикой даровитѣйшихъ русскихъ философовъ. Факты только полнѣе объясняютъ намъ уже извѣстное и окончательно устанавливаютъ значеніе философской молодежи въ исторіи нашего общественнаго просвѣщенія. Мы отъ начала до конца пребудемъ въ области необыкновенно развитой мысли, искренняго энтузіазма, и въ то же время насъ неотступно будутъ преслѣдовать «сердечъ возвышенныхъ печали».

<sup>114</sup>) *Русскія ночи*. Соч. I, 172.

<sup>115</sup>) *Иб.*, стр. 387.

<sup>116</sup>) Кирѣевскій. Въ ст. *Ничто о характерѣ поэзіи Пушкина*.

## XL.

*Планъ*, представленный Веневитиновымъ, ясно опредѣлялъ литературное направленіе будущаго журнала. Авторъ совершенно поканчивалъ съ французскимъ вліяніемъ: въ обществѣ *любомудрія*, т. е. германской философіи, — это былъ вопросъ рѣшенный. Но устранить французскія правила не значитъ отдаться полному произволу, а именно это, по мнѣнію Веневитинова, и произошло въ русской литературѣ.

Послѣ освобожденія отъ классицизма явилась всеобщая страсть къ стихотворству и совершенное пренебреженіе къ умственной работѣ, къ систематической подготовкѣ основы для новой литературы.

Такую подготовку можетъ создать только философія, какъ наука. Она вызоветъ самостоятельную дѣятельность русской мысли и упрочитъ ея *самобытное* развитіе. Философія разовьетъ въ русскомъ обществѣ и народѣ *самопознаніе*, т. е. способность отдавать себѣ отчетъ въ своемъ прошломъ и въ «своемъ предназначеніи», — и въ результатѣ русскіе люди направятъ свои нравственные усилія къ цѣлямъ дѣйствительно-національнымъ, исторически и разумно-необходимымъ.

Ясно, начала философіи должны стать доступными русской публикѣ, и въ этомъ заключается цѣль журнала.

Тождественныя идеи исповѣдывалъ и Одоевскій. Параллельно съ нападками Веневитинова на безотчетное стихотворство, онъ въ *Вѣстникѣ Европы* нападалъ на пустоту, безсмысліе и невлѣжество такъ называемаго просвѣщеннаго русскаго общества, большаго свѣта. Очевидно, апостолы *любомудрія* совершенно ясно поняли, гдѣ таятся жесточайшіе враги серьезной умственной работы и идейной литературы.

Результатомъ всѣхъ этихъ разсужденій и явился альманахъ *Мнемозина*.

Цѣль журнала заключалась въ борьбѣ съ французскою легкоувѣсною философіей, съ заграничными бездѣлками. Издатели хотѣли обратить вниманіе русскаго общества на истинную философію, «распространить нѣсколько новыхъ мыслей, блеснувшихъ въ Германіи».

Такъ объясняли издатели свое предпріятіе уже въ то время, когда оно отживало свои дни, — но программа дѣйствительно выполнялась неуклонно. Правда, выполнять пришлось очень недолго:

вышло всего четыре книги и все издание продолжалось годъ съ небольшимъ.

Успѣха оно не имѣло: у *Мнемозины* оказалось всего 157 подписчиковъ, какъ разъ изъ того самаго большого свѣта, какой громилъ кн. Одоевскій. Объ общественномъ вліяніи не могло быть и рѣчи. И между тѣмъ, его слѣдовало бы желать по всѣмъ даннымъ.

Издатели заручились сотрудничествомъ первостепенныхъ литературныхъ силъ: Пушкинъ, Грибоедовъ стояли во главѣ поэзіи, кн. Вяземскій и женой другъ Пушкина—Кюхельбекеръ должны были украсить критическій отдѣлъ, Памловъ и Одоевскій заведывали философіей.

Что могъ проповѣдывать альманахъ по части философіи мы знаемъ: важнѣйшимъ произведеніемъ здѣсь были статьи кн. Одоевскаго—*Афоризмы изъ различныхъ писателей, по части современнаго германскаго любомудрія*. Любопытнѣе критика; здѣсь пальма первенства принадлежитъ статьѣ Кюхельбекера *О направленіи нашей поэзіи, особенно лирической въ послѣднее десятилетіе*.

Еще до изданія *Мнемозины* Кюхельбекеръ приобрѣлъ извѣстность въ качествѣ критика, и кн. Одоевскій счелъ необходимымъ заручиться его сотрудничествомъ.

Товарищъ Пушкина по лицю, сынъ нѣмецкой семьи, Кюхельбекеръ еще въ школѣ числился страстнымъ поклонникомъ литературы, преимущественно германской и романтической. Ему не требовалось философскихъ изысканій, чтобы вознегодовать на классицизмъ и своими художественными сочувствіями совпасть съ шеллингианцами.

Кюхельбекеръ дѣйствительно и не причастенъ любомудрію. Онъ принадлежитъ къ чистымъ романтикамъ, романтикамъ по инстинктивнымъ влеченіямъ и поэтическому складу натуры, какимъ былъ и современный ему критикъ и романистъ Бестужевъ-Марлинскій. Мы упоминали съ этой нефилософской породѣ молодежи двадцатыхъ годовъ; она, независимо отъ философіи и даже дѣятельнѣе самихъ философовъ, защищала новое искусство и являлась будто переходнымъ звеномъ отъ критиковъ къ художникамъ, отъ отвлеченной мысли къ творчеству, отъ теоріи къ практикѣ.

Немедленно по выходѣ изъ лицея Кюхельбекеръ напалъ на французскій классицизмъ во имя «германическаго духа», по его мнѣнію, «ближайшаго къ нашему національному духу», и развѣнчивалъ русскихъ классиковъ, ссылаясь, между прочимъ, на критику Мавлянова о Херасковѣ.

Двѣ статьи такого содержанія были напечатаны въ 1817 году, въ петербургской французской газетѣ *Conservateur impartial*, издававшейся при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ <sup>117</sup>).

Съ тѣхъ поръ взгляды Кюхельбекера на «германическій духъ» измѣнились. Его статья въ *Мнемозинѣ* основана на самобытныхъ принципахъ. Съ ними вполне былъ согласенъ Пушкинъ и это обстоятельство, вѣроятно, и вызвало приглашеніе Кюхельбекера въ *Мнемозину*.

Перемена въ воззрѣніяхъ Кюхельбекера такъ же, вѣроятно, произошла подъ вліяніемъ Пушкина. Теперь онъ ратовалъ противъ «наносныхъ, нѣмецкихъ цѣпей» и вообще противъ всякихъ иноземныхъ, и могъ вполне заслужить наименованіе *перво славянофила*, какое дали ему впоследствии <sup>118</sup>).

Кюхельбекеръ, какъ поэтъ, впадетъ въ еще болѣе восторженный лиризмъ, чѣмъ произошло впоследствии съ Кирѣевскимъ.

«Да создается,—воскликаетъ онъ,—для славы Россіи поэзія истинно-русская, да будетъ святая Русь не только въ гражданскомъ, но и въ нравственномъ мірѣ: первою державою во вселивной! Вѣра праотцевъ, нравы отечественные, лѣтописи, пѣсни и сказанія народныя—лучшіе, чистѣйшіе, важнѣйшіе источники для нашей словесности».

Великія надежды авторъ возлагаетъ на Пушкина, какъ представителя новой національной литературы. Кюхельбекеръ очень проникательно раскрываетъ *ненародное* содержаніе поэзіи Жуковского, разъясняетъ психологію литературнаго *подражателя*, всегда лишеннаго силы, свободы и вдохновенія, «необходимыхъ трехъ условій всякой поэзіи». Выводъ точный и ясный: «всего лучше имѣть поэзію народную» <sup>119</sup>).

Одновременно Кюхельбекеръ напечаталъ въ *Мнемозинѣ* пылкое стихотвореніе—*Проклятіе*. «Гнусному оскорбителю» поэта сулились всевозможныя кары, а поэтъ превозносился какъ исключительное, божественное явленіе на землѣ...

Альманаху нельзя было отказать ни въ критической талантливости, ни въ литературности, ни еще менѣе—въ серьезности содержанія. Но всѣ эти достоинства оказались втунѣ.

Нѣкоторые тонкіе цѣнители и отзывчивые юноши съ лю-

<sup>117</sup>) Ср. Колупановъ. II, 24.

<sup>118</sup>) *Русск. Стар.* 1875, XIII, 337. В. К. Кюхельбекеръ. Сообщ. Ю. Косова и М. Кюхельбекера.

<sup>119</sup>) *Мнемозина*. М. 1824, часть II.



бовую читали статьи сборника и особенно сочиненія Одоевскаго: объ этомъ свидѣтельствуешь Бѣлинскій, но для большой публики такая умственная пища была слишкомъ тонкой, а философія въ формѣ афоризмовъ—прямо утомительной.

*Мнемозина* явилась слишкомъ аристократичной и ученой для своихъ современниковъ—и не только читателей, но и для журналистовъ. Мы впоследствии познакомимся съ приемами журнальной полемики въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ: исторія *Московского Телеграфа* дастъ намъ избытокъ матеріала, а такія фигуры, какъ Булгаринъ и Сенковскій, освободятъ насъ отъ всякихъ разъясненій. Кн. Одоевскому и его сотрудникамъ уже пришлось бороться съ подобными героями, и легко представить, борьба оказалась не по силамъ.

Полевой и кн. Вяземскій—люди другого типа: они превосходно справлялись съ журнальной тлѣй и Булгаринымъ, въ жуткія минуты приходилось прибѣгать къ другимъ своимъ талантамъ—не литературнымъ. *Мнемозина* пришлось сложить оружіе, и не столько потому, что для нея страшенъ былъ Булгаринъ, сколько по несоотвѣстнiю ея тона и содержанія вкусамъ и умственному уровню публики. Та же исторія произойдетъ и съ *Московскимъ Вѣстникомъ*, дѣтищемъ той же передовой философской и литературной молодежи.

Бѣлинскій очень жѣтко объяснилъ его кончину и его слова цѣлкомъ можно примѣнить къ *Мнемозинѣ* и вообще ко всѣмъ литературнымъ предпріятіямъ благородныхъ Любомудровъ.

«*Московскій Вѣстникъ*,—говоритъ Бѣлинскій,—имѣлъ большія достоинства, много ума, много таланта, много пылкости, но мало, чрезвычайно мало смѣтливости и догадливости и потому самъ былъ причиною своей преждевременной кончины. Въ эпоху жизни, въ эпоху борьбы и столкновенія мыслей и мнѣній, онъ вздумалъ наблюдать духъ какой-то умѣренности и отчужденія отъ рѣзкости въ сужденіяхъ».

Одоевскій, приблизительно, въ томъ же смыслѣ объяснял неудачу и своего альманаха. Онъ несравненно рѣзче, чѣмъ Бѣлинскій, изображаетъ «жизнь» и «борьбу». Это понятно, Бѣлинскій самъ жилъ и лично боролся, на него явленія той и другой области не могли производить эстетически-удручающаго впечатлѣнія. А кн. Одоевскій именно какъ эстетикъ судить о бурной сценѣ дѣйствительности.

«И мои товарищи,—пишетъ онъ,—были въ совершенномъ

заблужденіи. Мы воображали себя на тонкихъ философскихъ диспутахъ портика или академіи, или по крайней мѣрѣ въ гостиной; въ самомъ же дѣлѣ мы были въ райкѣ: вокругъ пахнетъ сазомъ и дегтемъ, говорятъ о цѣнахъ на севрюгу, браются, поглаживаютъ нечистую бороду и зисучиваютъ рукава; а мы выдумываемъ вѣжливыя насмѣшки, остроумные намеки, діалектическія тонкости, пишемъ въ Гомерѣ или Виргиліи самую жестокую эпиграмму противъ враговъ нашихъ, боимся расшевелить ихъ деликатность.

Пораженіе неизбежное, и оно имѣло для кн. Одоевскаго тѣ же послѣдствія, какія гибель *Европейца* для Кирѣевскаго. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ Одоевскій молчалъ и занялся службой.

Такова судьба даровитѣйшихъ шеллингянцевъ. Они дурно справляются съ превратностями литературнаго поприща и еще неудачнѣе ведутъ себя какъ просвѣтители публики. Они не понимаютъ и не знаютъ своихъ читателей. Они слишкомъ аристократичны, не по убѣжденіямъ и еще менѣе сословнымъ предразсудкамъ, а по пріемамъ дѣятельности. Они—господа, говорящіе толпѣ умныя рѣчи съ балкона и способные придти въ ужасъ при одной мысли спуститься на улицу и сойтись лицомъ къ лицу съ своими слушателями.

Естественно, слушатели остаются совершенно равнодушными и къ рѣчамъ, и къ самимъ ораторамъ. Судьба жестокая, несправедливая, но законная и неотразимая!

Послѣ *Мнемозины* дѣятельность товарищей и единомышленниковъ Одоевскаго не прекратилась немедленно. Они пошли пріютъ въ другихъ журналахъ, хотя ихъ скоро поразила страшный ударъ: смерть вырвала изъ ихъ среды едва ли не самую блестящую надежду русской философской критики двадцатыхъ годовъ.

## XLI.

Веневитиновъ, кромѣ *Плана*, успѣлъ написать еще нѣсколько статей—незначительныхъ по размѣрамъ, но въ высшей степени содержательныхъ. Отголоски ихъ будутъ встрѣчаться намъ вплоть до самаго зрѣлаго періода критики Бѣлинскаго.

Мы знаемъ негодованіе Веневитинова на поэтическій произволъ новой литературы, на понятіе о романтизмѣ, какъ о полномъ отсутствіи какихъ бы то ни было руководящихъ идей для поэтического творчества.

Эго понятіе составилось вполне естественно: романтизмъ устра-

нѣтъ классическую школу, т.-е. системы, формулы, правила, очевидно, онъ самъ—полная неограниченная свобода, капризная игра фантазіи и невозможныя прихоти поэтической личности. Подтвержденіе этой теоріи не трудно было найти и въ западномъ романтизмѣ: бурные германскіе гошн могли служить безукоризненными образцами *натиска* въ какомъ угодно *нелогическомъ* направленіи. Страстная протестующая поэзія Байрона не противорѣчила тому же представленію. Надеждинъ имѣлъ основаніе напасть на *лже-романтизмъ*, на разнузданность наичисто своевольнаго воображенія и преднамѣренныя оскорбленія здравому смыслу и осмысленной красотѣ.

Надеждинъ могъ бы сослаться даже на теорію, не только на практику современныхъ романтиковъ, напримѣръ, на произведеніе Ореста Сомова *О романтической поэзіи*. Здѣсь романтизмъ опредѣлялся какъ «прихоть своенравной поэзіи, которая отбрасываетъ все обыкновенное, требуя новаго и небывалаго».

Но московскій профессоръ не представлялъ ясно цѣли своихъ нападеній, а главное, не имѣлъ для собственнаго сбихода точнаго представленія о романтизмѣ и могъ громить однимъ ударомъ и уродливыя упражненія бездарныхъ фантазеровъ, и Пупкина выѣсть съ Байрономъ.

А между тѣмъ настоятельно было освободить новую литературу отъ упрековъ въ безпринципности, указать и на новомъ пути принципы, по достоинству отнюдь не уступающіе старымъ правиламъ.

Эту цѣль и имѣлъ въ виду Веневитиновъ.

Защищая необходимость научнаго философскаго просвѣщенія, онъ требовалъ отъ литературы «болѣе думать, нежели производить». Молодой критикъ отвергалъ самодовлѣющее искусство, и общественное значеніе поэта опредѣлялъ въ такихъ выраженіяхъ, какія Бѣлинскій повторилъ только въ послѣдніе годы своей дѣятельности.

«Для общества, — писалъ Веневитиновъ, — бесполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль внѣ себя ничего не ищетъ и, слѣдовательно, уклоняется отъ цѣли всеобщаго совершенствованія».

Полемизируя съ Полевымъ изъ-за *Евгенія Онегина*, Веневитиновъ настаивалъ на «исторической точкѣ зрѣнія въ искусствѣ», и на «одной основной мысли» критическихъ воззрѣній. Исторія научить насъ, что романтическая поэзія вовсе не заключается

только «въ неопредѣленномъ состояніи сердца», и что «поэты не летаютъ безъ цѣли и какъ будто единственно на зло пѣтикахъ». Въ самой поэзіи имѣются свои постоянныя правила, каковыя имъ должна сткрыть философія и исторія.

И на этомъ основаніи Веневитиновъ требовалъ отъ поэтовъ «философіи времени», т.-е. умственного развитія, стоящаго на уровнѣ эпохи, отъ критиковъ—руководящихъ идей, отъ профессоровъ, вродѣ Мѣрзлякова, — признанія «постепенности существеннаго развитія искусства».

Настъ часто поражаетъ *буквальное* совпаденіе идей Веневитинова и Бѣлинскаго, и уже этотъ фактъ свидѣтельствуетъ, по какому пути направилась бы критика молодого автора.

Напримѣръ, въ статьѣ объ *Евгеніи Омигнѣ* Веневитиновъ признаетъ единственно разумный способъ цѣнить явленія словесности—«степенью философіи времени, а въ частяхъ по отношенію мыслей каждаго писателя къ современнымъ понятіямъ о философіи». И съ этой точки зрѣнія, прибавляетъ Веневитиновъ, и «Аристотель не потеряетъ правъ своихъ на глубокомысліе».

Бѣлинскій въ 1842 году писалъ:

«Искусство подчинено какъ и все живое и абсолютное процессу историческаго развитія... Искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія, современной думы о значеніи и цѣли жизни, о нуждахъ человѣчества, о вѣчныхъ истинахъ бытія.

Веневитиновъ въ разгаръ ожесточеннѣйшихъ нападокъ *Вѣстника Европы* на *Руслана и Людмилу*, на основаніи этой поэмы предсказывалъ *національное* значеніе пушкинской поэзіи и народность опредѣлялъ такъ, какъ ее впоследствии объясняли Гоголь и вмѣстѣ съ нимъ Бѣлинскій въ статьяхъ о Пушкинѣ.

«Народность отражается не въ картинахъ, принадлежащихъ какой-либо особенной странѣ, но въ самыхъ чувствахъ поэта, напитаннаго духомъ одного народа и живущаго, такъ сказать, въ развитіи, успѣхахъ и отдѣльности его характера».

Правда, понятіе *духа народа* весьма неопредѣленно, и мы увидимъ, самого Веневитинова оно не навело на вѣрное представленіе о пушкинскомъ романѣ. Пришлось другому критику того же направленія, исправить недоразумѣніе. Мы видѣли, нѣчто подобное произошло и съ Надеждинымъ, четыре года спустя опредѣлявшимъ народность словами Веневитинова. Ему также мелькомъ брошенная фраза о народности не помѣшала уничтожить *Евгенію*

**Омнина.** Но, помимо частной ошибки, Веневитиновъ совершенно кначе понять самый талантъ Пушкина и его будущее развитие, чѣмъ ученый сотрудникъ *Вѣстника Европы*.

Именно о статьѣ по поводу первой главы *Евгенія Омнина* Пушкинъ отзывался, что только ее одну прочелъ съ любовью и вниманіемъ: «все остальное или брань, или переслащенная дичь».

Поэтъ простеръ свое вниманіе дальше благосклонныхъ заявленій. Онъ читалъ у Веневитинова *Бориса Годунова*. Когда потомъ сцена Пимена съ Григоріемъ была напечатана въ *Московскомъ Вѣстникѣ*, Веневитиновъ приветствовалъ ее статьей, написанной для *Journal de St.-Petersbourg—Analyse d'une scène détachée de la tragédie de M. Pouchkin*. Статья появилась въ печати только въ полномъ собраніи сочиненій Веневитинова, но содержаніе ее не могло остаться тайной и мы указывали на странный поворотъ во мнѣніяхъ Надеждина о Пушкинѣ именно при появленіи *Бориса Годунова*. Мы не въ состояніи установить фактической связи между критикой Веневитинова и покаяніемъ профессора, но не должны упускать изъ виду и хронологическаго отношенія фактовъ.

Веневитиновъ въ трагедіи видѣлъ освобожденіе Пушкина отъ байроническихъ вліяній, рѣшался даже признать «поэтическое воспитаніе» поэта «законченнымъ». «Независимость его таланта—вѣрная порука его зрѣлости и его муза, являвшаяся только въ очаровательномъ образѣ граціи, принимаетъ двойной характеръ Мельпомены и Кліо».

Несомнѣнно, дальнѣйшее освобожденіе Пушкина и русской литературы отъ западнаго романтизма, ее переходъ къ національному реальному искусству также встрѣтилъ бы сочувствіе критика.

Но смерть прервала всѣ надежды, и идеи Веневитинова,—исторической, философской и общественной критики—должны были ждать полнаго своего воплощенія въ лицѣ Бѣлинскаго. А пока, непосредственно послѣ кончины Веневитинова раздались вопли Никодима Надоумки...

Смерть Веневитинова глубоко поразила не только его ближайшихъ друзей. Едва ли не перваго критика оплакивали поэты. Дельвигъ и Пушкинъ видѣли въ немъ чуткаго, художественно-одареннаго цѣнителя искусства.

Самъ поэтъ и въ то же время мыслитель, Веневитиновъ стремился слить въ идеальной гармоніи творчество и идею. Любопытно его доказательства философскаго содержанія гомеровскихъ поэмъ. Оно

заключается въ ясномъ и простомъ отраженіи природы. Слѣдовательно, всякое правдивое и реальное творчество въ то же время глубоко-идейно, стоитъ на уровнѣ философскаго мышленія. Веневитиновъ не успѣлъ обобщить всѣхъ выводовъ изъ своихъ общихъ положеній, не могъ даже выяснитъ съ должною полнотой и самыя положенія, но, несомнѣнно, въ его умѣ бродили начала плодотворнѣйшей художественно-идейной критики.

Это чувствовалось даже тѣмъ, кто врядъ ли могъ понимать всю точность философски-развитой натуры Веневитинова. Погодинъ, не находившій въ самомъ себѣ искреннихъ созвучій съ современнымъ философскимъ движеніемъ, фигура московскаго склада и славянофильской окраски, много лѣтъ спустя послѣ смерти молодого критика трогательно вспоминалъ объ его нравственной красотѣ.

«Дмитрій Веневитиновъ былъ любимцемъ, сокровищемъ всего нашего кружка. Всѣ мы любили его горячо. Точно такъ предшествовавшее поколѣніе, поколѣніе Жуковскаго, относилось къ Андрею Тургеневу, а слѣдующее, забредшее на другую дорогу, къ Николаю Станкевичу. Въ Карамзинскомъ кружкѣ это мѣсто занималъ Петровъ. И всѣ четыре поколѣнія лишились безвременно своихъ представителей, какъ будто принося искупительныя жертвы. Двадцать пять лѣтъ собирались мы остальные въ этотъ роковой день 15 марта въ Симоновъ монастырь, служили панихиду, и потомъ обѣдали вмѣстѣ, оставляя одинъ приборъ для отбывшаго друга» <sup>120</sup>).

Веневитиновъ очень скоро былъ оцененъ и въ литературѣ. Это понятно. Послѣ него оставалось не мало его единомышленниковъ, но крайней мѣрѣ, въ основныхъ принципахъ новой критики. Веневитинова оценили именно въ томъ смыслѣ, какъ онъ этого самъ желалъ бы. Въ немъ признали поэта-философа, писателя, обѣщавшаго съ великимъ блескомъ оправдать единодушные расчеты молодежи на просвѣтительную службу отечеству.

Критикъ, давшій такую характеристику таланту и уму Веневитинова, нѣкоторое время оставался дѣйствующимъ лицомъ на литературной сценѣ, и въ отзывѣ о покойномъ poetѣ излагалъ точную программу своей собственной критической дѣятельности.

Въ *Обзрѣніи русской словесности за 1829 годъ* Кирѣевскій указывалъ на Веневитинова, какъ на самаго даровитаго поэта—по-

<sup>120</sup>) Барсуковъ, II, 92—3.

сѣдователя германской мысли и литературы. Онъ «созданъ былъ дѣйствовать сильно на просвѣщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ быть, создателемъ его философіи».

Это назначеніе видно изъ поэзіи Веневитинова. Предъ нами философъ, проникнутый откровеніемъ своего вѣка, поэтъ глубокій и самообытный, такъ какъ у него чувство освѣщено мыслью и каждая мысль согрѣта сердцемъ, «мечта не украшается искусствомъ, но сама собою рождается прекрасная». Такое творчество, ничто иное, какъ свободное развитіе собственной души поэта, не ума разукрашенное пренамѣренно и навязанное извнѣ. Это «созвучіе и сердца», отсюда содержательность и глубина веневитиновскихъ стиховъ: философія ему еще болѣе сродна, чѣмъ поэзія.

Видѣть въ подобныхъ качествахъ идеальное достоинство поэта, значитъ сознательно и безповоротно въ основу литературной критики полагать свободное вдохновеніе поэта и нравственное богатство его личности. Очевидно, теоріи сами собою становятся неприжизненными, и идейность обуславливаетъ цѣнность творчества.

Этимъ понятіямъ и руководился Кирѣевскій въ своей, къ великому ущербу русской критики, непродолжительной критической дѣятельности.

## XLII.

Первая статья Кирѣевскаго, за подписью цифръ 9. 11, напечатана въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Журналъ явился отчасти взамѣну погибшей *Мнемозины*, по крайней мѣрѣ, въ составѣ сотрудниковъ и новаго журнала входили представители философской молодежи, Веневитиновъ, Кирѣевскій. Пушкинъ и здѣсь стоялъ на первомъ планѣ среди поэтовъ, даже больше, горячо интересовался вообще судьбой журнала.

*Вѣстникъ* возникъ въ результатѣ союза Погодина и Пушкина. Въ этомъ заключалась его новая отличительная черта отъ прежняго органа передовой литературѣ, хотя оба журнала были дѣтищами одного и того же кружка. Но во главѣ *Мнемозины* сталъ философъ и мечтатель, Одоевскій; редакторомъ *Вѣстника* былъ выбранъ Погодинъ, а Пушкинъ смотрѣлъ на журналъ, какъ на свой личный органъ, долженствующій притомъ одолѣть *Телеграфъ* Полевого.

Эти факты въ высшей степени важны и могли быть богаты послѣдствіями, если бы у сотрудниковъ Погодина оказалось больше энергіи и практическихъ талантовъ.



Погодинъ не имѣлъ никакихъ нравственныхъ касательствъ къ философіи. Именоватъ се галиматъей, подобно Улченевскому, онъ, конечно, не имѣлъ духу при повальномъ увлеченіи «сока умной молодежи», германскимъ любомудріемъ, но это любомудріе совершенно не входило въ его самобытную душу. Сочувствіе равнодушнѣе къ высокимъ матеріямъ онъ могъ усмотрѣть и въ красно-рѣчивомъ замѣчаніи Пушкина: «за вами смотрѣть надо».

Замѣчаніе высказано по поводу намѣренія Погодина «опе-лю-мать» альманахъ *Старые цвѣты* «чѣмъ-нибудь капитальнымъ». Великій поэтъ не считалъ такихъ подвиговъ доблестными и въ журнальномъ дѣлѣ цѣлесобразными. Можно думать даже, Пушкинъ успѣхи поэзіи, особенно близкой его сердцу, ставилъ внѣ зависимости отъ философіи, смотрѣлъ на вопросъ совершенно практически. Если у поэта нѣтъ дарованія, не помогутъ ни философія, ни гражданственность.<sup>121)</sup>

Пушкинъ, конечно, имѣлъ всѣ основанія рѣшать въ такомъ простѣйшемъ смыслѣ въ высшей степени сложный вопросъ. Его самого дѣйствительно одинъ талантъ провелъ между всевозможными подводными камнями современной словесности, въ открытое море свободного творчества.

Поэтъ, руководясь внушеніями своей исключительной природы, отдалъ только мимолетную дань романтизму и даже байронизму, соблазнительнѣйшему изъ всѣхъ искушеній, и сумѣлъ оцѣнить по достоинству и властителей своего юношескаго вдохновенія, и твердо стати на своемъ собственномъ пути.

Но совершенно иная судьба могла быть у другихъ, слабѣйшихъ, не только по таланту, сколько по личности, по неспособности даже и большими силами пользоваться по своей программѣ, независимо отъ мнѣній большинства и даже вопреки имъ.

Пушкинъ считалъ своимъ правомъ идти наперекоръ вкусамъ публики, отчасти имъ же самимъ воспитаннымъ. И дѣйствительно шелъ, даже заранѣе предвидя непониманіе и вражду, могъ искренно удивляться сочувствію нѣкоторыхъ избранныхъ *Борису Годунову* и самоотверженно смѣяться надъ *Кавказскимъ пленникомъ*, популярнѣйшимъ произведеніемъ его музы среди читателей.

Многіе ли способны на такую роль?

И вотъ здѣсь же развитіе философіи и гражданственности

<sup>121)</sup> Критическія замѣтки. По поводу VII главы *Евг. Онегина*. Сочин. VII, 130.

являлось незамѣнимымъ подспорьемъ для поэта, сколько-нибудь перероставшаго умственный и художественный уровень поклонниковъ классицизма и обожателей романтической школы въ духѣ Жуковского.

Пушкинъ на примѣрѣ Веневитинова могъ оцѣнить эту истину, и не одного только Веневитинова.

Другой критикъ вызвалъ у поэта еще болѣе сочувственный отзывъ, и какъ разъ за статью, встрѣтившую залпъ насмѣшекъ въ современной журналистикѣ. Очевидно, философія могла быть соперницей поэзіи и именно такія представлялось ей назначеніе любомудрамъ шеллингянскаго толка.

Первая статья Кирѣевскаго *Ничто о характеръ поэзіи Пушкина* еще рѣшительнѣе разсужденій Веневитинова знаменовала этотъ союзъ: недаромъ нѣсколько позже авторъ съ такой настойчивостью подчеркивалъ у самого Веневитинова органическую связь идеи и чувства.

Это первая статья, посвященная оцѣнкѣ вообще таланта Пушкина. Только въ 1828 году и отъ писателя молодой философской школы поэтъ дождался вдумчиваго и дѣйствительно литературнаго суда надъ своими произведеніями.

Авторъ дѣлитъ на три періода дѣятельность Пушкина, повторяя отчасти мысль Веневитинова, именно считая *Бориса Годунова* однимъ изъ знаменій *поэзіи русско-пушкинской*, т. е. безусловно самостоятельной, національной.

Но только однимъ изъ знаменій. Здѣсь существенное преимущество идеи Кирѣевскаго надъ критикой Веневитинова.

Кирѣевскій съ самаго начала убѣжденъ въ глубокой оригинальности пушкинскаго таланта, не исчезающей даже предъ могучимъ вліяніемъ Байрона, и не обнаруживающей своей силы развѣ только въ первый періодъ—*итальянско-французскій*.

Критикъ понимаетъ достоинства *Руслана и Людмилы*, чисто поэтическія, художественныя. Пушкинъ пока—исключительно поэтъ, «передающій чисто и вѣрно внѣшенія своей фантазіи».

Во второмъ байроническомъ періодѣ онъ является *поэтомъ-философомъ*. Во главѣ произведеній этого направленія стоитъ *Кавказскій пленникъ*. Изъ всѣхъ поэмъ, по мнѣнію Кирѣевскаго, она менѣе всего удовлетворяетъ требованіямъ искусства, но «богаче всѣхъ силою и глубиной чувства».

Поэтъ становится мыслителемъ и, слѣдовательно,—болѣе оригинальнымъ, чѣмъ просто поэтъ-художникъ. Онъ въ самой поэзіи

стремится выразить «сомнѣнія своего разума», т. е. процесс своей мысли, а это естественно сообщаетъ предметамъ «общія краски особеннаго воззрѣнія». Въ результатѣ—близость поэзіи къ дѣйствительности: Кавказскій плѣнникъ и Онѣгинъ—люди нашего времени съ ихъ пустотою и прозою.

Сходныхъ чертъ съ произведеніями Байрона можно найти не мало, но сходство обусловлено вовсе не механической случайной подражательностью русскаго поэта, а именно особыми достоинствами лиры Байрона, какъ «голоса своего вѣка». Эта жгучая современность байронической поэзіи и захватила Пушкина.

Ясно,—при такихъ условіяхъ подчиненія русскій поэтъ могъ сохранить особенности своего таланта, свое природное направленіе. И все это дѣйствительно сохранилось.

Веневитиновъ былъ не согласенъ съ критиками, обвинявшими Пушкина почти въ плагіатахъ,—но онъ не развилъ своей мысли, не показалъ пушкинской стихіи даже въ байроническихъ отголоскахъ, и можно думать онъ представлялъ себѣ весьма неясно — до *Бориса Годунова*.

По крайней мѣрѣ, *Евгеній Онегинъ* — въ первой главѣ — лишень, по мнѣнію Веневитинова *народности*. Критикъ даже возражалъ Полевому въ этомъ смыслѣ, нарочито опровергая статью *Телеграфа* о пушкинскомъ романѣ. Полевой, рѣшительно не признававшій серьезнаго значенія за новымъ произведеніемъ Пушкина, видѣлъ много «своего», «родного» въ легкомысленномъ *cariccio*. Веневитиновъ отвѣчалъ, что не слѣдуетъ «приписывать Пушкину лишнее» и не видѣлъ въ романѣ ничего народнаго, кромѣ именъ петербургскихъ улицъ и ресторацій.

Кирѣевскій понялъ *національность* самого характера Онѣгина. Правда, предъ Кирѣевскимъ было пять главъ романа, Веневитиновъ говорилъ только объ одной, но московское чайльд-гарольдство вполне выяснялось съ самаго начала. На этомъ настаивалъ и самъ авторъ, отвергая сходство своего героя съ другимъ байроновскимъ лицомъ — Донъ-Жуаномъ. На этотъ счетъ пришлось опровергать Марлинскаго, критика — не философа, но тѣмъ не менѣе предубѣжденнаго противъ безусловной оригинальности Пушкина. Кирѣевскій поставилъ вопросъ на настоящую почву, и въ *психологіи* пушкинскаго творчества, въ его манерѣ изображать дѣйствительность—указалъ свидѣтельство независимаго національнаго дарованія.

*Борисъ Годуновъ* вызываетъ у Кирѣевскаго восторгъ — вѣр-

ностью исторіи и народному складу характеровъ. Критикъ ждетъ отъ трагедіи «чего-то великаго» и считаетъ Пушкина «рожденнымъ для драматическаго рода».

Для насъ важна послѣдовательность, усмотрѣнная критикомъ въ постепенномъ ростѣ самобытности и народности пушкинскаго таланта. *Бориса Годунова* признавалъ и Надеждинъ, — но для него трагедія явилась сюрпризомъ и должна была произвести катастрофу во взглядахъ критика. Даже Веневитиновъ не умѣлъ провести связующей нити чрезъ всѣ произведенія Пушкина. Кирѣевскій имѣлъ въ виду именно эту задачу. Въ первой статьѣ она не выполнена съ необходимыми поясненіями и частными при-  
мѣрами, но важно, что авторъ созналъ ее и не упускалъ изъ виду и въ дальнѣйшихъ своихъ статьяхъ. Это было зарожденіемъ критики психологической и исторической. Въ идеѣ она не новостъ: ее требовалъ Веневитиновъ. Но осуществлять практически пришлось Кирѣевскому.

Въ слѣдующей статьѣ *Обзоръ русскаго словесности за 1829 годъ* — критикъ попытался представить общую историческую картину русскаго литературнаго развитія.

### XLIII.

Кирѣевскій во главѣ новѣйшаго умственнаго развитія ставитъ современную господствующую философію. Онъ не называетъ имени Шеллинга, но вполне точно опредѣляетъ основы его системы и искусно приводитъ ихъ въ связь съ научнымъ и нравственнымъ направленіемъ XIX-го вѣка.

Оно можетъ быть выражено двумя словами — *уваженіе къ дѣйствительности*. Это уваженіе политиковъ заставило обратиться къ исторіи и въ ней искать уроковъ для настоящаго и будущаго. Поэзія также приблизилась къ фактамъ и къ жизни, философія сосредоточила свои силы на изученіи развитія природы и человѣка.

Кирѣевскій считаетъ это стремленіе высшей ступенью европейскаго просвѣщенія. Философія Шеллинга утвердила гармоническое міровоззрѣніе, объемлющее духъ и бытіе, идеи и дѣйствительность. Авторъ довольно искусственно — въ цѣляхъ стройности своего представленія — изображаетъ раннія ступени умственнаго прогресса. Они характеризуются французскимъ и нѣмецкимъ вліяніемъ. Одно пренебрегало «лучшей стороною нашего бытія — стороною идеальной и мечтательною», другое — полная противопо-

ложность: «идеальность, чистота и глубокость чувства», стремленіе къ темному, равнодушіе ко всему обыкновенному, ко всему, «что не душа, что не любовь».

Одно вліяніе было воспринято Карамзинныхъ, другое—Жуковскимъ.

Можно многое возразить противъ этихъ разсужденій. Прежде всего автору, очевидно, новѣйшая германская философія представляется результатомъ примиренія французскаго и стараго германскаго міросозерданія. А между тѣмъ, ни самъ авторъ, ни кто другой не могъ бы открыть отраженій французскаго матеріализма XVIII-го вѣка въ шеллингіанствѣ, и мы видѣли, Шеллингъ дошелъ до признанія права дѣйствительности какъ разъ подъ вліяніемъ научныхъ фактовъ и историческихъ событій, не имѣвшихъ ничего общаго съ дореволюціоннымъ просвѣщеніемъ. Это признаніе явилось въ полномъ смыслѣ симптомомъ новаго столѣтія, революціонной эпохи. И сбивчивость мысли Кирѣевскаго тѣмъ любопытнѣе, что онъ указываетъ на исключительно-высокое положеніе исторіи среди современныхъ наукъ: «направленіе историческое обнимаетъ все». А этотъ фактъ менѣе всего можно привязать къ тому направленію, какое авторъ называетъ «французско-карамзинскимъ». Потомъ, неизвѣстно, какимъ образомъ Карамзина можно приурочивать къ «жизни дѣйствительной»: напротивъ, болѣе фантастической «словесности» съ притязаніями на «идеальность, чистоту и глубокость чувствъ» — наша литература не знаетъ. Очевидно, авторъ не позаботился ни для читателей, ни даже для себя самого разъяснить свою философію исторіи русской литературы. Но существеннымъ фактомъ остается признаніе исторической и культурной неудовлетворительности карамзинской и романтической школы. Отсюда логически вытекалъ принципъ національнаго реализма.

Именно на основаніи этого принципа *Полтава* признается лучшей поэмой Пушкина: она—*историческая* въ истинномъ смыслѣ слова; она посвящена не мечтательности, а существенности, т. е. не порывамъ воображенія, а дѣйствительности. Критикъ находитъ и нѣкоторые недостатки, т. е. противорѣчія истинъ—положительной, жизненной правдѣ, напримѣръ, романтическая чувствительность Мазепы, когда онъ узнаетъ хуторъ Кочубея. «Эта сцена изъ Корнеля, влетѣнная въ трагедію Шекспира».

Уже такое сравненіе показываетъ, чего критикъ искалъ у Пушкина и какъ высоко ставилъ его талантъ. По его мнѣнію.

словесность русская еще не доросла до направлення Пушкина, и поэма не могла имѣть видимаго вліянія на литературу.

Это совершенно вѣрный взглядъ, подтвержденный исторіей. Естественно, Пушкинъ привѣтствовалъ статью Кирѣевскаго, называя ее «краснорѣчивой и полной мыслью». Но ему пришлось считаться съ злопозучившимъ выраженіемъ, въ недобрую минуту сѣтѣвшимъ съ пера критика.

Фраза сдѣлала настоящую карьеру и долгое время не сходила со страницъ журналовъ, не согласныхъ со взглядами Кирѣевскаго или вообще считавшихъ личными всякіе взгляды, особенно философскіе.

Характеризуя одного изъ подражателей-поэтовъ, барона Дельвига, Кирѣевскій пустился въ фигуральныя словоизвитія и нарисовалъ такую картину:

«Его муза была въ Греціи; она воспиталась подъ теплымъ небомъ Аттики; она наслушалась тамъ простыхъ и полныхъ, естественныхъ, свѣтлыхъ и правильныхъ звуковъ лиры греческой; но ея нѣжная краса не вынесла бы холода мрачнаго Сѣвера, если бы поэтъ не прикрылъ ее нашею народною одеждою; если бы на ея классическія формы не набросилъ душегрѣлку новѣйшаго ушныя: и не къ лицу ли гречанкѣ нашъ сѣверный нарядъ?»

Эта «душегрѣлка» съ восторгомъ была встрѣчена современною печатью, и журналы немедленно воспользовались дешевой потѣхой. Но не одобрили душегрѣлки и такіе читатели, какъ Жуковскій и Пушкинъ. Совершенно основательно можно было опасаться за судьбу самыхъ здравыхъ критическихъ идей среди большой публики изъ-за подобной игры стила.

Но мы уже могли не разъ замѣтить даже по краткимъ образцамъ, что критики-философы далеко не отличались мастерствомъ формы. Одоевскій, повидимому, безпрестанно ощущалъ сердечную тоску по выпренности и загадочности философическаго діалекта; Веневитиновъ, стремившійся къ идеальной ясности, не достигъ ее въ своихъ статьяхъ, а Кирѣевскій вдавался въ аллегорію и лирическія фигуры сомнительнаго достоинства. Мы вспомнимъ всѣ эти изъяны философской критики, когда сопоставимъ съ нею произведенія менѣе ретивыхълюбомудровъ и болѣе искусныхъ публицистовъ, — вродѣ Полевого. Пробѣлы произведутъ на насъ тѣмъ болѣе прискорбное впечатлѣніе, что бойкой публицистикѣ недоставало, въ свою очередь, многихъ положительныхъ качествъ философской критики, и только совмѣстная и единомышленная работа



433

представителей одного въ сущности критическаго направленія, но разныхъ типовъ, могла бы спасти русскую критику отъ безплодныхъ метаній въ разныя стороны и утвердить ее на прочномъ пути послѣдовательнаго развитія.

Эти метанія очень энергично осуждены тѣмъ же Кирѣевскимъ, въ его послѣдней большой статьѣ о современной литературѣ—*Обозрѣніе русской словесности за 1831 годъ*.

Кирѣевскій сѣтуетъ на отсутствіе опредѣленныхъ идей въ русской критикѣ: это еще было горемъ Веневитинова. И напѣ авторъ указываетъ тотъ же источникъ смуты: у русскихъ критиковъ нѣтъ самообытности вкуса, всѣ они поддаются тѣмъ или другимъ иноземнымъ влеченіямъ. Они не успѣли воспитаться на образцахъ отечественныхъ, и появленіе талантливыхъ произведеній застаётъ ихъ врасплохъ.

Замѣчаніе въ высшей степени уместное!

Привычка XVIII вѣка сравнивать русскихъ писателей непременно съ иностранными классиками и именовать ихъ «россійскій Вольтеръ», «нашъ Лафонтенъ» и даже «россійская Сафо» долго не вывѣтривалось ни подъ какими новыми вліяніями. Мѣста французскихъ классиковъ заняли англійскіе и нѣмецкіе, и мы увидимъ, что на языкѣ Полевого означало: «гуморъ Шекспировъ», «исполнскія остроты Гюго», «многостороннія творенія Гёте»... Ни боже, ни менѣе, какъ рѣшительные приговоры Пушкину и Гоголю.

А между тѣмъ Полевой считалъ себя и былъ въ дѣйствительности однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ и независимыхъ критиковъ своего времени.

Безикаго труда стоило русскимъ людямъ дойти до самой, повидимому, простой мысли: разъ русскіе—особая національность, имѣютъ свою исторію и создали свои нравы и свое міросозерцаніе, естественно среди нихъ появиться и особымъ писателямъ, не похожимъ ни на Гёте, ни на Гюго и сильнымъ своими силами и красивымъ своими чертами.

Первая половина этого разсужденія была легко усвоена подъ многообразными воздѣйствіями фактовъ и идей, но вторая давалась крайне медленно. И не только критикамъ, имѣвшимъ личные и литературные счеты, напримѣръ, съ Пушкинымъ, но даже друзьямъ поэта и далеко не послѣднимъ величинамъ въ художественной литературѣ и въ критикѣ.

Будто оправдывалась старая истина, что русскіе особенно неохотно признаютъ отечественные таланты и въ культурномъ



отношеніи такъ мало развиты и такъ мало терпимы и вдумчивы, что скорѣе согласятся не понять и осудить, чѣмъ радушно и любовно приглядѣться къ новому лицу и привѣтствовать его истинныя достоинства. Во всякомъ случаѣ, Кирѣевскому удалось напасть на самый болѣзненный недугъ русской критики и пояснить свой діагнозъ чрезвычайно удачнымъ примѣромъ.

Появился *Борисъ Годуновъ*, и посмотрите, что произошло среди русскихъ Аристарховъ!

«Иной критикъ, помня Лагарпа, хвалить особенно тѣ сцены, которыя болѣе напоминаютъ трагедію французскую, и порицаетъ тѣ, которыми не видитъ примѣра у французскихъ классиковъ. Другой, въ честь Шлегеля, требуетъ отъ Пушкина сходства съ Шекспиромъ, и упрекаетъ за все, чѣмъ поэтъ нашъ отличается отъ англійскаго трагика, и восхищается только тѣмъ, что находитъ между обоими общаго... И эта привычка смотрѣть на русскую литературу сквозь чужіе очки иностранныхъ системъ до того ослѣпила нашихъ критиковъ, что они въ трагедіи Пушкина не только не замѣтили, въ чемъ состоятъ ея главныя красоты и недостатки, но даже не поняли, въ чемъ состоитъ ея содержаніе».

Кирѣевскій приглашалъ читателей взглянуть на трагедію «глазами не предубѣжденными системою», «отказаться отъ многихъ школьныхъ и ученыхъ предразсудковъ», вообще судить Пушкина, какъ поэта независимаго, оригинальнаго, не обязаннаго непременно находиться въ вѣрнопопданствѣ у теорій и у образцовъ.

Это разсужденіе ничто иное, какъ признаніе *свободы художника*, какъ о ней заявилъ Грибоѣдовъ, и повтореніе истины, высказанной Пушкинымъ по поводу грибоѣдовской комедіи: «Драматическаго писателя должно судить по законамъ, имъ самимъ надъ собою признаваемымъ».

Пушкинъ написалъ эти слова одновременно съ заявленіемъ Грибоѣдова, т. е. глѣтъ на шесть раньше Кирѣевскаго. Такъ медленно *идеи* критики совпадали съ *инстинктами* художниковъ! Но совпаденіе все таки происходило, и именно у молодыхъ шеллингианцевъ, ярко подчеркивая всю жизненность и глубину ихъ литературно-философскихъ стремленій.

Кромѣ того, и *смѣлость* стремленій. Кирѣевскій, сравнивъ разъ поэму Пушкина съ шекспировскими, теперь дѣлаетъ еще болѣе отважный шагъ: рѣшается *Бориса Годунова* сопоставить съ *Прометеемъ* Эсхила. Это классическое общепоежаемое произведеніе также не трагедія, а стихотвореніе, и въ «ней еще

женіе *ощутительной* связи между сценами», и въ ней также «развивается воплощеніе мысли».

Выводъ давно намъ извѣстный: «въ *Годуновѣ* Пушкинъ выше своей публики», какъ онъ былъ выше и въ *Полтавѣ*. Не стояли въ уровень съ нимъ и отечественные Лагарпы и Шлегели. При такихъ условіяхъ настоящей и по истинѣ спасительной являлась дѣятельность критиковъ, умѣвшихъ отрѣшиться и отъ классическихъ и романтическихъ предразсудковъ, смотрѣть глазами безъ очковъ и судить русскихъ поэтовъ безъ справокъ съ какими бы то ни было авторитетами.

Но будто злой рокъ тяготѣлъ надъ молодыми критиками-философами. Одинъ за другимъ они быстро сходили со сцены и, оставаясь въ цвѣтѣ силъ, очищали поприще «сорокамъ низовскимъ», по выраженію Пушкина. Вместе съ *Мнемозиной* ушелъ изъ святилища отрѣшенной мысли Одоевскій, съ *Европейцемъ* замолчалъ Кирѣевскій, почти одновременно постигла безвременная кончина и *Московский Вѣстникъ*. Нива русской критики окончательно поросла бы плевелами, если бы нѣкоторое, правда, непродолжительное время не оставался на стражѣ литературы и литературной публицистики журналъ Полевого «*Московский Телеграфъ*».

#### XLIV.

Полевой явился наследникомъ и продолжателемъ не только критиковъ-философовъ. При одномъ этомъ условіи его журналу врядъ ли удалось бы сыграть такую шумную, даже блестящую роль, какая отмѣтила все время его существованія. Вѣроятно, участь *Телеграфа* напомнила бы «естественныя» кончины *Мнемозины* и *Московского Вѣстника*, если бы его руководитель вздумалъ, подобно своимъ благороднымъ современникамъ, воспарить въ высшія сферы германскаго любомудрія и съ неуклоннымъ усердіемъ послѣднія слова философіи прикидывать къ явленіямъ литературы и даже общественной жизни.

Этого не случилось съ *Телеграфомъ*: журналъ, помимо философіи, усвоилъ еще другое направленіе современной критической мысли, далеко не столь громкое и внушительное, какъ философское, но имѣвшее свои особые достоинства. Они то и оказались исключительно цѣнными въ рукахъ талантливаго публициста.

Мы неоднократно, на основаніи подлинныхъ данныхъ, могли отмѣтить основныя измѣненія философской критики послѣднѣйшаго

направленія. Въ высшей степени ярко и только развѣ отчасти преувеличенно изобразилъ эти изъяны одинъ изъ современниковъ нашихъ философъ. Судья—безусловно надежный и добросовѣстный, такъ какъ его самого увлекала таже германская философія, хотя въ лицѣ другого учителя. Разница между этимъ судьей и знакомыми намъ любомудрыми—въ чрезвычайно развитомъ дѣятельномъ общественномъ инстинктѣ, въ страстной стремительности теорію видѣть осуществленною дѣйствительностью, идею и принципъ живыми силами человѣческаго бытія.

Мы знаемъ, эти возненія только въ слабой степени могли быть доступны большинству педангическихъ. Они, несомнѣнно, мечтали о разнообразныхъ плодотворныхъ и исполнѣ жизненныхъ результатахъ своего философствованія, но на уровнѣ мечтаній не стояла ни личная энергія, ни практическое искусство. Естественно, мечтатели, при всей своей благонамѣренности, должны были вызвать суровую отповѣдь у всѣхъ, кто по натурѣ не чувствовалъ себя способнымъ успокоиться на «прекрасныхъ дняхъ Аранжуса».

Указать на извѣстные намъ стилистическіе пороки философско-критическихъ трактатовъ, нашъ очевидецъ продолжаетъ:

«Молодые философы испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманіе; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманіе вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, наворачивавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»<sup>123)</sup>.

Нѣкоторыя выраженія этой добродушной сатиры показываютъ, что авторъ мѣтилъ и въ гегельянцевъ, въ позднѣйшее поколѣніе

<sup>123)</sup> Герпенъ *Былое и думы*. VII. 123.

русско-германскихъ философовъ. Сущность вопроса, дѣйствительно. одинакова въ теченіе всей философской эпохи. Крайняя выпренность чувствъ и настроеній, чисто религіозное пристрастіе къ формуламъ и обобщеніямъ подрывали жизненную силу и здоровую чуткость часто самой вдумчивой и, несомнѣнно, глубокой мысли. Мы видѣли, какъ этотъ подрывъ отражался на самыхъ благородныхъ и практически - настоятельныхъ идеяхъ философской критики.

Ея неотъемлемой заслугой останется по истинѣ рыцарственное представленіе о литературѣ и о личности писателя, какъ художественнаго таланта. Именно философская критика покончила съ старымъ барственнымъ отношеніемъ русскаго общества къ искусству, какъ къ ремеслу, и къ литераторамъ, какъ къ немнымъ увеселителямъ.

Но увѣличивая творчество лаврами и окружая художниковъ ореоломъ исключительности, та же философія доводила процессъ до крайности и готова была впасть въ противоположный культъ поэта-жреца, какъ контраста презрѣнной толпѣ. И вина заключалась въ теоретической прямолинейности мыслителей, всегда и вездѣ развивающейся въ ущербъ *такту дѣйствительности* и даже здравому смыслу.

Слѣдовало бы поменьше философін, побольше непосредственного художественнаго чувства и болѣе устойчиваго и энергическаго интереса къ обыденной современности. Пушкину безпрестанно приходилось напоминать критикѣ объ этихъ неотъемлемыхъ качествахъ литературнаго судьи, и мы знаемъ недоумѣніе поэта къ философін и профессиональной учености. Ему болѣе цѣнными казались простота и искренность художественныхъ впечатлѣній и волюнѣ реальный, не теоретическій и безпредразудочный взглядъ на его произведенія.

Естественно, этому требованію могли удовлетворить гораздо успѣшнѣе просто образованные читатели, чѣмъ усердные слушатели философскихъ курсовъ. У этихъ читателей не оказывалось широкихъ эстетическихъ принциповъ, не было глубины въ пониманіи таланта и творческаго процесса, но о частныхъ явленіяхъ литературы, они волюнѣ способны были сказать дѣльное и мѣткое слово. Тѣмъ болѣе, что сама литература, въ лицѣ того же Пушкина, обнаруживала непреодолимое стремленіе окончательно спуститься на землю, покинуть не только облака, но даже Кавказскія горы, и сосредоточиться на невзрачныхъ жанрахъ бѣдной красками будничной жизни.

Впоследствии, хотя сравнительно очень не скоро, поэтъ найдетъ всестороннихъ цѣнителей своего фламандскаго искусства и эти цѣнители стремятъ подыскать и принципы, и идеи, освящающія новую поэзію. Это будетъ однимъ изъ величайшихъ завоеваній русской критики, но и теперь, на глазахъ поэта, кое-гдѣ мелькаютъ проблески истины.

Они весьма неярки и неустойчивы. Случайность и какая-то нервная разбросанность—таково наше первое впечатлѣніе. Полная противоположность статьямъ философской школы: тамъ все строго согласовано, соподчинено руководящимъ идеямъ, здѣсь вихрь эффектныхъ фразъ, блестящихъ, мимолетныхъ замѣчаній, импрессионистскихъ вдохновеній. Противорѣчій можно найти сколько угодно, но въ то же время нельзя не почувствовать нѣкоего духа, носящагося надъ этимъ хаосомъ. Этотъ духъ—прирожденное эстетическое чувство критика, никогда неизмѣняющая чуткость къ истинной красотѣ и дѣйствительной правдѣ жизни.

Но эти свойства необходимы также и для поэта. И нашъ типъ критиковъ, несомнѣнно, долженъ состоять въ тѣсномъ духовномъ родствѣ съ любимцами музъ. Вдохновеніе здѣсь столь же привычное оружіе, какъ и анализъ, даже еще болѣе острое и сильное. И мы дѣйствительно въ лицѣ каждаго критика встрѣчаемъ прежде всего поэта. Творческая способность замѣняетъ здѣсь философскую діалектику и подеты воображенія преобладаютъ надъ послѣдовательнымъ разсудочнымъ изысканіемъ.

Мы отчасти знакомы съ этимъ родомъ критики по разсужденіямъ Кюхельбекера. Мы могли опѣнить лиризмъ критика во славу русской національной поэзіи, замѣтить отсутствіе спокойныхъ логическихъ доказательствъ безусловно основательной мысли и въ то же время указать, сколько было брошено мѣткихъ замѣчаній юнымъ энтузіастомъ по адресу такихъ признанныхъ свѣтилъ литературы, какъ Жуковский.

Кюхельбекеръ не особенно высоко цѣнился современниками. Самый почетный отзывъ далъ о немъ Пушкинъ, хотя онъ же не отказывалъ себѣ въ удовольствіи посмѣяться надъ пламеннымъ буршемъ словесности.

«Онъ человекъ дѣльный съ перомъ въ рукахъ,—писалъ Пушкинъ,—хоть и сумасбродъ» <sup>124</sup>). Поэта, несомнѣнно, радовали искры настоящаго художественнаго чувства, освѣщавшія статьи Кю-

---

<sup>124</sup>) Письмо къ кн. Вяземскому 10 авг. 1825 г.

хельбекера, но въ то же время онъ не могъ забыть, какъ критикъ вздумалъ драться съ нимъ на дуэли за знаменитый стихъ: «и кюхельбскерно, и тошно».

Другіе были менѣе снисходительны къ романтическимъ выходкамъ Кюхельбекера, и Гречъ, напримѣръ, далъ ему уничтожающую характеристику, налегая преимущественно на его пошуміе и другія, еще менѣе приглядныя нравственныя качества, вродѣ неблагодарности къ благодѣтелямъ <sup>125</sup>). Но во всемъ отзывѣ звучитъ явная желчь и въ нашихъ глазахъ никакія чувства болгаринскаго пріятеля и союзника не понизятъ хотя бы и очень скромныхъ заслугъ несчастнаго товарища Пушкина предъ русской критикой.

Къ той же породѣ поэтическихъ цѣнителей литературы принадлежало еще два писателя, — Рылѣевъ и Бестужевъ-Марлинскій. Эти имена въ литературной исторіи неразрывно связаны другъ съ другомъ и въ теченіе двадцатыхъ годовъ представляютъ едва ли не самый идейный и рыцарственный союзъ на поприщѣ журналистики. Недаромъ дѣятельности этого союза неизмѣнно принадлежало горячее сочувствіе Пушкина и только благодаря Рылѣеву и Марлинскому на короткое время установилась была гармонія и воистинѣ сознательное взаимное дружеское между критикой и искусствомъ. А между тѣмъ до потомства если и дошла литературная слава двухъ друзей, то отнюдь не въ критикѣ: Рылѣевъ — поэтъ, Марлинскій — романистъ, одинъ незабвенный авторъ посланія *Ко Временщику*: оно, несомнѣнно, останется столь же бессмертнымъ въ нашей общественной исторіи, какъ и имя Аракчеева, другой когда-то жегъ сердца стремительно-романтическими повѣстями и едва ли не первый изъ русскихъ прозаиковъ явился своего рода властителемъ думъ, по крайней мѣрѣ, двухъ поколѣній.

Но что сдѣлано этими авторами на самомъ трудномъ и смутномъ пути русской словесности, остается забытымъ, хотя можно смѣло сказать, двѣ-три оригинальныхъ мысли въ критикѣ семьдесятъ лѣтъ тому назадъ стоили дороже какого угодно стихотворенія и повѣсти.

<sup>125</sup>) *Записки о моей жизни*. Спб. 1886, стр. 381 etc.

Мысль о періодическомъ изданіи въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ лелѣялась Марлинскимъ. Еще въ 1819 году онъ добивался разрѣшенія на изданіе журнала, но не имѣлъ успѣха. Три года спустя идея, наконецъ, осуществилась. Марлинскій привлекъ къ своему плану Рылѣева, и съ 1823 года началъ выходить альманахъ *Полярная Звѣзда*.

Предпріятіе задумали очень серьезно. Издатели не намѣрены были печатать книжки для собственнаго удовольствія и ограничиваться наслажденіемъ видѣть свои произведенія въ печати въ собственномъ изданіи. Цѣль ставилась несравненно шире, совершенно такъ, какъ впоследствии ее понялъ Полевой для своего *Телеграфа*.

«Полярные господа», какъ называлъ новыхъ издателей Пушкинъ, желали произвести переворотъ въ литературѣ и въ положеніи русскаго писателя, во что бы то ни стало добиться успѣха изданія и литературный трудъ превратить въ почетную доходную статью. Всѣмъ сотрудникамъ были предложены гонорары—фактъ, безпримѣрный для того времени и даже для позднѣйшаго. Пушкинъ стоялъ во главѣ приглашенныхъ и съ нетерпѣніемъ ждалъ осуществленія предпріятія.

Надежды немедленно оправдались. *Полярная Звѣзда*, по своей судьбѣ среди читателей, дѣйствительно создала эпоху въ исторіи русской журналистики. Въ теченіе трехъ недѣль было раскуплено 1.500 экземпляровъ, успѣхъ совершенно безпримѣрный на современномъ книжномъ рынкѣ. Только *Исторія* Карамзина могла соперничать съ *Полярной Звѣздой*, ни одинъ же журналъ не могъ и мечтать о подобномъ торжествѣ. Издатели не только возмѣстили расходы, но получили даже прибыли до 2.000 рублей <sup>126</sup>).

Альманахъ выходилъ въ теченіе трехъ лѣтъ, закончился 1825 годомъ. Рылѣевъ дѣлилъ свое время между заботами по издательству и собраніями тайнаго общества... Четырнадцатое декабря положило конецъ всѣмъ дѣламъ и надеждамъ: издатель *Полярной Звѣзды* и политическій мечтатель окончилъ жизнь на эшафотѣ.

Близкій свидѣтель событій дастъ очень простую, но очень мѣт-

<sup>126</sup>) Воспоминанія о Рылѣевѣ—кн. Е. Оболенскаго. Полное собраніе сочиненій К. У. Рылѣева. Лейпцигъ—Врокхауза. 1861, стр. 57.



кую характеристику Рылѣева: она вполне совпадаетъ и съ его литературной личностью, и критическимъ талантомъ.

«Рылѣевъ былъ не краснорѣчивъ и овладѣвалъ другими не тонкостями риторики или силою силлогизмовъ, но жаромъ простого и иногда несвязнаго разговора, который въ отрывистыхъ выраженіяхъ изображалъ всю силу мысли, всегда прекрасной, всегда правдивой, всегда привлекательной. Всего краснорѣчивѣе было его лицо, на которомъ являлось прежде словъ все то, что онъ хотѣлъ выразить, точно, какъ говорилъ Муръ о Байронѣ, что онъ похожъ на гипсовую вазу, снаружи которой нѣтъ никакихъ украшеній, но какъ скоро въ ней загорится огонь, то изображенія, изваянныя внутри хитрою рукою художника, обнаруживаются сами собою. Истина всегда краснорѣчива, и ея любимецъ, окруженный ея обаяніемъ и ею вдохновенный, часто убѣждалъ въ такихъ предположеніяхъ, которыхъ ни онъ дѣтскимъ лепетаньемъ своимъ не могъ еще объяснить, ни другихъ довольно вразумить; но онъ провидѣлъ ихъ и заставлялъ провидѣть другихъ»<sup>127</sup>).

Это—довольно точное опредѣленіе именно вдохновляющагося, а не анализирующаго критика. Таковъ именно Рылѣевъ во всѣхъ своихъ немногочисленныхъ и краткихъ разсужденіяхъ о поэзіи и искусствѣ. Собственно подобіе критической статьи имѣютъ только *Нѣсколько мыслей о поэзіи*, да и эти мысли отрывокъ изъ письма. Но равноправное мѣсто съ этимъ разсужденіемъ должны занимать и другія письма Рылѣева, именно письма къ Пушкину. Они чрезвычайно содержательны и часто стоятъ длинныхъ разсужденій.

Въ отрывкѣ Рылѣевъ рѣшаетъ самый модный и жгучій вопросъ современной критики: о романтической и классической поэзіи. Мы можемъ предугадать отвѣтъ автора, зная общее направленіе его художественной натуры. Для Рылѣева не существуетъ теоретическихъ опредѣленій поэзіи: нѣтъ, слѣдовательно, ни романтизма, ни классицизма,—это споръ о словахъ, а существуетъ и будетъ существовать «одна истинная, самобытная поэзія» и правила ея всегда будутъ одни и тѣ же. Только духъ времени, степень просвѣщенія общества, условія страны создаютъ для нея различныя формы. И совершенно безцѣльно само стремленіе вообще опредѣлить поэзію. Она ничто иное, какъ осуществленіе «идеаловъ

<sup>127</sup>) *Воспоминаніе о Кондратіи Федоровичѣ Рылѣевѣ*. Н. Бестужева. О. с. стр. 23—24.

высокихъ чувствъ, мыслей и высокихъ истинъ, всегда близкихъ человеку и всегда недовольно ему извѣстныхъ». Сущность ея въ оригинальности и независимости, величайшее зло—въ подражательности. Въ этомъ смыслѣ романтиками можно назвать и древнихъ самобытныхъ поэтовъ,—Гомера, Эсхила, Пиндара.

Критикъ не пытался развить своихъ мыслей и пояснить ихъ примѣрами. Его перомъ управляла истина, но у его ума не хватало ни выдержки, ни глубины, чтобы истину всесторонне объяснить и утвердить на общепубличныхъ основахъ. Это не критика, а развѣ только критическія впечатлѣнія и наброски. Но, несомнѣнно, они коренились въ такомъ прочномъ чувствѣ, пожалуй, даже инстинктѣ, что сужденія о частныхъ явленіяхъ поэзіи заранее были установлены и критикъ не могъ впасть ни въ одно изъ педантическихъ недоразумѣній старовѣровъ словесности или проглядѣть живую искру непосредственной поэзіи въ погонѣ за философскою доктриной.

Письма къ Пушкину и представляютъ приложение общаго критическаго настроенія Рылѣева.

Они дышатъ страстнымъ преклоненіемъ предъ гениемъ великаго поэта. Это—сплошная любовная объясненія и восторженные гимны, только изрѣдка прерываемые сомнѣніями и оговорками. Общій смыслъ отношенія Рылѣева къ пушкинскому таланту ясенъ изъ слѣдующаго поистигъ романтическаго воззванія:

«Пушкинъ! ты приобрѣлъ уже въ Россіи пальму первенства: одинъ Державинъ только еще борется съ тобою, но еще два, много три года успѣй и ты опередишь его. Тебя ждетъ завидное поприще: ты можешь быть нашимъ Байрономъ, но, ради Бога, ради Христа, ради твоего любезнаго Магомета не подражай ему Твое огромное дарованіе, твоя пылкая душа могутъ вознести тебя до Байрона, оставивъ Пушкинымъ. Если бы ты зналъ, какъ я люблю, какъ я цѣню твое дарованіе! Прощай, чудотворецъ».

Въ такомъ же тонѣ и отзывы объ отдѣльныхъ произведеніяхъ Пушкина. Они не всегда безупречны на нашъ современный взглядъ. Рылѣевъ, напримѣръ, упорно ставитъ *Евгенія Онегина* ниже *Бахчисарайскаго фонтана* и *Кавказскаго пленника* и «готовъ спорить объ этомъ до второго пришествія». Противъ *Онегина* былъ и Марлинскій, но по соображеніямъ, чуждымъ Рылѣеву. Марлинскій находилъ самую тему романа и его содержаніе слишкомъ мелкими, недостойными поэзіи, т. е. онъ стоялъ противъ реализма и будничности.

Пушкинъ въ письмѣ къ Рылѣеву защищалъ свое дѣтище и доказывалъ, что «легкое» и «веселое», вообще «картины свѣтской жизни» входятъ въ область поэзіи.

Рылѣевъ соглашался съ Пушкинымъ и признавалъ за его «чертовскимъ дарованіемъ» способность втолкнуть въ поэзію даже свѣтскую жизнь. Очевидно, романъ страдалъ, по его мнѣнію, другими недостатками. Собственно первая глава. И легко догадаться, какими именно. Критикъ усмотрѣлъ ненавистную ему подражательности, заподозрилъ Пушкина въ копированіи Байрона. Это казалось ему нестерпимо-унизительнымъ для русскаго поэта и онъ, не вдумавшись въ сущность самаго типа московскаго Чайльдъ-Гарольда, ополчился на призрачный смертный грѣхъ поэта.

Вообще, пушкинскіи байронизмъ для Рылѣева настоящее бѣдѣ-мо въ глазу. Онъ уличаетъ поэта въ подражаніи, Байрону еще по другому, болѣе серьезному поводу. Здѣсь рѣзкая отповѣдь Рылѣева, своего рода гражданскіи подвигъ.

Дѣло коснулось аристократизма Пушкина. Поэтъ имѣлъ слабость подчиняться тону современнаго общества, а крохѣ того, чувствовалъ по временамъ естественную необходимость бороться съ чванствомъ и вызывающимъ варварствомъ этого общества его же оружіемъ.

Общество выше всякаго генія и всякой умственной дѣятельности ставило происхожденіе и чины и съ этой позиціи считало себя въ правѣ смотрѣть на потомка Ганнибала сверху внизъ. Тогда Пушкинъ припоминалъ свою родню съ другой стороны и бросалъ въ лицо своимъ врагамъ «пятисотлѣтнее дворянство» рода Пушкиныхъ.

Рылѣевъ не могъ стерпѣть этихъ комическихъ и недостойныхъ счетовъ геніальнаго поэта съ высокородными попіяками.

Онъ усиленно объяснял Пушкину его личныя права на высокое положеніе. «Чванство дворянствомъ — непростительно, особенно тебѣ,—писалъ онъ.—На тебя устремлены глаза Россіи, тебя любятъ, тебѣ вѣрятъ, тебѣ подражаютъ. Будь поэтъ и гражданинъ».

Рылѣевъ искренне смѣется надъ герольдическими разсчетами поэта и умоляетъ его, ради Бога, «быть Пушкинымъ»: «ты самъ по себѣ молодецъ».

Будущій декабристъ не желаетъ допустить даже мысли о покровительствѣ литературѣ со стороны власти. Онъ всѣми силами души возстаетъ противъ придворнаго и оффиціальнаго мценат-

ства. Вполнѣ достаточно, если правительства просто не будутъ стѣснять талантовъ и предоставлять ихъ свободнымъ внушеніямъ ихъ вдохновенія. Истинный талантъ, при такихъ условіяхъ, не останется безъ пропитанія. Онъ самъ по себѣ сила вполнѣ до- влѣющая и не нуждается ни въ пенсіяхъ, ни въ орденахъ, ни въ ключахъ камергерскихъ.

Мы видимъ, какое значеніе имѣло для Рылѣева близкое уча- стіе въ общественныхъ интересахъ современной передовой моло- дежи. Если онъ шелъ противъ литературныхъ школъ и политиче- скихъ теорій подъ вліяніемъ врожденнаго художественнаго чув- ства, высокія права личности художника и его таланта онъ за- щищалъ, какъ политикъ и публицистъ. Нечего и говорить, — всѣ эти идеи прекрасно развивались и критиками-философами на основаніи шеллингианской эстетики. Но у Рылѣева тѣ же идеи явились не доктриной учителя, не внушеніемъ авторитета, а жи- вымъ и дѣятельнымъ инстинктомъ, горячей рѣчью въ полномъ смыслѣ практическаго дѣятеля, убѣжденнаго въ своей вѣрѣ безъ всякихъ философскихъ категорій и, слѣдовательно, свободно за- являющаго о ней всѣмъ простымъ и непосвященнымъ.

И результаты немедленно сказываются, на первый взглядъ едва замѣтно, будто мимоходомъ, но по существу чрезвычайно сильно. Критикъ поэта ставитъ рядомъ съ гражданиномъ: эти понятія для него равнозначущія, точнѣе, поэтическій талантъ самъ по себѣ налагаетъ извѣстныя гражданскія обязательства: на него устремлены глаза его родины!

Философы также мечтали о народномъ просвѣщеніи, но до этой цѣли довольно далеко отъ вершинъ шеллингианства. Конечно, поэтъ пророкъ, но, пожалуй, его пророческому сану будетъ до- стойнѣе пребывать гдѣ-нибудь въ пустынѣ или въ надземныхъ высотахъ, чѣмъ среди толпы. Вопросъ весьма трудный, особенно если сообразить всю его божественную исключительность самой при- роды поэта.

Но замѣните пророка гражданиномъ, и перспективы совер- шенно преобразовываются. Общаго много между гражданиномъ и пророкомъ въ духовномъ смыслѣ, но въ практическомъ можетъ быть громадная разница. Гражданинъ—это работникъ на общемъ житейскомъ попришѣ нуждъ, страданій, часто мелкихъ трево- неній. Ему требуется и соответствующая рѣчь, и образъ мыслей. Онъ менѣе всего можетъ углубляться въ неизрѣченныя чувство- ванія и въ неизглаголаемыя грезы; отъ всего этого не прочь

были юные философы. Ему необходимо говорить вразумительно и общедоступно: не даромъ онъ, пишетъ нашъ авторъ, «не будетъ безъ денегъ и, слѣдовательно, безъ пропитанія». За тайны любомудрія находилось крайне мало охотниковъ платить, хотя любомудріе таило въ себѣ множество высокихъ истинъ и благороднѣйшихъ идеаловъ. *Мнемозина* отпѣла, не успѣвши раздѣлѣть, вся обвѣянная небесными лучами философіи и эстетики.

*Полярная звезда* до конца горѣла ярко и властно, именно потому, что слово «гражданинъ» не было звукомъ пустымъ на языкѣ ея издателя. Она дѣйствительно стремилась свѣтити всѣмъ и на всѣхъ путяхъ, не брезгуя сильнымъ голосомъ страсти, непосредственнаго чувства, злой ироніи и лирическаго пафоса.

Рылѣевъ еще сравнительно скромнѣе въ этихъ пріемахъ, его товарищъ съ самаго начала отвергъ всякій тонъ и профессиональное жеманничество, столь процвѣтавшее у современныхъ архаистовъ, и самъ же откровенно сознался въ этомъ. Другого пути къ побѣдѣ надъ читателемъ не было. «Чтобы быть прочтену,—заявлялъ онъ публикѣ,—я былъ принужденъ писать коротко, ново и странно».

И Марлинскій, дѣйствительно, голаясь за новизной, безпрестанно впадалъ въ странности. Но форма не наносила ущерба идеѣ, а между тѣмъ намѣченная цѣль достигалась. И мы, познакомившись съ публицистикой автора, готовы отпустить ему даже еще больше прегрѣшеній по части преднамѣренной оригинальности.

## XLVI.

Марлинскій искони считается однимъ изъ самыхъ подлинныхъ русскихъ романтиковъ. Причина—его повѣсти, не менѣе статей изобилующія новизнами и странностями. И все-таки—романтизмъ Марлинскаго нѣчто совершенно другое, чѣмъ классическій романтизмъ Жуковского.

Этотъ поэтъ явился излюбленной жертвой нашихъ союзниковъ. Мѣткій ударъ нанесъ ему Кюхельбекеръ, еще больнѣе поразилъ Рылѣевъ,—за мистицизмъ, мечтательность, неопредѣленность и туманность. Всѣ эти пороки «растали многихъ и много зла надѣлали». Это указаніе для своего времени не малая заслуга: такъ полно и ясно даже Пушкинъ не представлялъ творческаго вліянія поэзіи Жуковского на русскую словесность. И, несо-

мѣнно, лишій ударъ по адресу мистицизма и мечтательности былъ новымъ успѣхомъ реального искусства и здравомыслящей критики.

Марлинскій пошелъ дальше Рытѣва и на своемъ «странномъ» языкѣ произнесъ чрезвычайно эффектный приговоръ старымъ школамъ.

Критику было это очень удобно: онъ писалъ преимущественно обзорѣнія литературы за отдѣльные годы, первый ввелъ ихъ въ обычай и могъ свободно дѣлать какія угодно отступленія, какъ впоследствии будетъ поступать Бѣлинскій. У Марлинскаго эта манера пошла въ привычку и онъ по поводу частныхъ вопросовъ писалъ цѣлые трактаты общаго содержанія, — напримѣръ, въ статьѣ о романѣ Полевого *Клятва при гробѣ Господнемъ*.

Никто, ни раньше, ни позже нашего критика, не подвергъ такой экзекуціи французское вліяніе на русскую литературу, какъ это сдѣлано въ только-что упомянутой статьѣ.

Авторъ не пощадилъ ни одной эпохи, ни одного классическаго героя, ни одного театральнаго мотива. «Мраморная челядь Олимпа», «стриженные въ видѣ грибовъ аллен Лепотра», «тираны желудка и терпѣнія въ четырехъ лицахъ» — разумѣются, произведенія французской кухни наравнѣ съ трагическими героями, безпощадное неодоброваніе на невѣжественныхъ гувернеровъ-эмигрантовъ, на ихъ «душегубныя книжонки», злая иронія подъ смѣсью гасконскаго съ нижегородскимъ, — и все это съ цѣлью напавъ сразить «сухую позолоту» очаковскихъ временъ, оставить въ глупцахъ старичковъ, вздыхающихъ о старинѣ и завѣщавшихъ своимъ дѣтямъ долги и болѣзни...

Такъ еще никто не воевалъ съ классицизмомъ. Автора, очевидно, гораздо меньше занимаетъ чисто литературный вопросъ, чѣмъ идейный и культурный. Онъ почти готовъ совсѣмъ миновать критику ради общественной сатиры. Въ результатѣ предъ нами одинъ изъ самыхъ раннихъ примѣровъ публицистической критики, управляемой безусловно просвѣщеннымъ міросозерцаніемъ и чрезвычайно широкими принципами.

Они обнаруживаются тѣмъ яснѣе, чѣмъ ближе авторъ подходитъ къ современности. Чувствительная школа Карамзина, смѣнившая классицизмъ, подвергается не менѣе жестокой критикѣ. Марлинскій издѣвается надъ увлеченіемъ русской публики *Бѣдной Лизой* и чувствительнымъ путешествіемъ ея автора: «всѣ завздыхали до обморока, всѣ кишулись ронять алмазныя слезы на лав-



дыши, надъ горшкомъ палеваго молока, топиться въ лужѣ. Всѣ заговорили о матери-природѣ—они, которые видѣли природу только съ просоика изъ окна кареты»...

Слѣдующая школа—романтизмъ—подвергается той же участи. Марлинскій, подобно Рылѣеву, понимаетъ отрицательные плоды туманной музыки Жуковского и полонъ негодованія на «собачій вой балладъ», на «бѣсовъ, пахнущихъ кренделями, а не сѣрою». Даже Пушкинъ, по наблюденіямъ критика, успѣлъ вызвать на свѣтъ божій цѣлую вереницу незаконныхъ дѣтищъ гяуризма и донъ-жуанизма. «Житѣя не стало отъ толстоцѣковой безнадежности, отъ самоубійствъ шампанскими пробками, отъ злодѣевъ съ биноклями, въ перчаткахъ glacés»...

Помимо школъ, русская словесность наплодила не мало и самобытныхъ уродствъ... Подъ вліяніемъ пробужденія національных идей на Западѣ, она пожелала также быть національной и даже народной. Цѣль оказалась чрезвычайно простой, достижимой съ одного натиска. Требовалось только въ изобиліи снабдить романы и повѣсти разными терпкими принадлежностями русскаго простонароднаго быта. — русскимъ квасомъ, прибаутками и пословицами, лубочными картинками и правовъ, по возможности гуще размазанными.

Эго одинъ сортъ народности.

Другой еще забавнѣе, такъ какъ притязаетъ поэтическое изящество соединить съ національными чертами русской жизни. Иванъ Горюнь поэтому долженъ играть на свирѣлкѣ Дафниса и Меналка, русскіе пѣсенники блистать купидонами и нимфами.

Во всѣхъ подобныхъ напряженныхъ вымыслахъ рабскаго воображенія нѣтъ ни капли ни поэзіи, ни народности. А между тѣмъ эти понятія — неразрывны: народъ всегда живетъ въ мірѣ поэзіи. Она одушевляла его обряды, его вѣрованія, даже его наивныя суевѣрія. Именно народъ сохранилъ для насъ неисчерпаемый источникъ поэтическихъ мотивовъ, мы должны вернуться къ нему. «Лучше потѣшаться у горъ на масленицѣ, чѣмъ зѣвать въ обществѣ греческихъ боговъ, или съ портретами своихъ напудренныхъ предковъ».

Марлинскій страстно защищаетъ даже равноправность русской исторіи съ западноевропейской—по части разнообразія и занимательности. Онъ будто предвосхищаетъ жалобы Чаадаева на безцвѣтность и безжизненность русской старины. Авторъ не считаетъ ни русскихъ князей, ни русскихъ крестьянъ менѣе интересными и



меньше культурными, чѣмъ европейскихъ владѣтелей и европейскій народъ. На Руси не было только крестовыхъ походовъ и реформаци: все остальное, что переживала Европа, пережито и нашими отечествомъ. Даже больше. Характеры древнихъ русскихъ людей должны быть ярче, самобытнѣе, рѣшительнѣе, потому что на Руси шла борьба и съ природой, и съ врагами, болѣе жестокая, чѣмъ гдѣ-либо. Естественно, сколько можно почерпнуть здѣсь благодарнаго матеріала для поэзіи, какихъ можно извлечь героевъ и съ какими правомъ можно создать національную драму и повѣсть!

Если этого нѣтъ, вина русской тщедушной подражательной образованности. «Мы всосали съ молокомъ безнародность и удивленіе только къ чужому». У насъ нѣтъ народной гордости. Въ восторгѣ предъ чужими гешіями, мы вмѣсто того, чтобы соревновать имъ, создать свое, столь же сильное и талантливое, стараемся унижить даже и то, что есть у насъ. И авторъ не находитъ словъ заклеить русскую общественность, русскій свѣтъ и такъ-называемыхъ просвѣщенныхъ людей.

У насъ нѣтъ склонности къ серьезной умственной дѣятельности. Русскій юноша привыкъ учиться прииѣваячи, на лету схватывать кое-какія знанія, басы и увеселенія мѣшать съ наукой и всю жизнь оставаться самонадѣяннымъ недоучкой.

Въ результатѣ—правственное ничтожество, тупеядство, «безлюдье сильныхъ характеровъ», всеобщій сонъ и апатія. «Наша жизнь безтѣнная китайская живопись, нашъ свѣтъ,—гробъ похороненный».

Отсюда удручающая бѣдность и безсодержательность литературы. У русскихъ людей «мало творческихъ мыслей», и въ результатѣ ницета художественнаго творчества. Чудный русскій языкъ—будто усыпленный младенецъ. Ему недоступна ясная и сильная рѣчь. Слышатся только сквозь сонъ нѣкіі гармоническій лепетъ и неопредѣленные стоны. «Лучъ мысли рѣдко блуждаетъ по его лицу». А между тѣмъ, какая мощь таится въ этомъ младенцѣ! Только когда онъ стряхнетъ съ себя сонъ!

Критикъ не указываетъ дѣлительныхъ средствъ, не предписываетъ литературѣ никакихъ правилъ, но его безпрестанныя необыкновенно стремительныя публицистическія отступленія вполне ясно опредѣляютъ его идеалы.

Марлинскій восторженно рисуетъ образъ новаго независимаго гордаго поэта въ противоположность старымъ цѣнтамъ, угодынкамъ и слугамъ меценатовъ. Онъ настаиваетъ на совершенномъ отчуж-

Самъ критикъ не могъ удержаться отъ весьма энергичныхъ наставленій и усиленныхъ поправленій. И это невольное, по неизбежное нарушение собственной воли могло принести только пользу современнымъ талантамъ.

Лишний разъ поднять вопросъ о правахъ русской старины и дѣйствительности имѣть свое мѣсто въ поэзіи, выдвинуть на первый планъ оригинальный складъ русскаго характера и подчеркнуть въ немъ драматическія и лирическія черты—значило работать въ томъ самомъ направленіи, въ какомъ шелъ Пушкинъ—одинокій и непризнаваемый признанными знатоками литературы. Недаромъ поэтъ по поводу одного изъ обзрѣній Марлинскаго писалъ ему: «Предвижу, что буду согласенъ съ тобою въ твоихъ мнѣніяхъ литературныхъ»<sup>128</sup>). Фактъ—безпримѣрный, если не считать издателя той же *Полярной звезды*—Рыльева и нѣкоторыхъ счастливыхъ исключеній, въ родѣ статьи Веневитинова. Но несмотря и на эту статью, сердце Пушкина, несомнѣнно, больше лежало къ поэту-публицисту, чѣмъ къ философу-поэту.

Отсутствіе философіи, конечно, имѣло и свою отрицательную сторону, — Марлинскій писалъ очень длинныя разсужденія и ни разу не додумался до необходимости представить свои взгляды въ цѣльной, строго обоснованной формѣ. Ему приходилось касаться существеннѣйшихъ теоретическихъ вопросовъ, напримѣръ, о реализмѣ въ поэзіи, объ отношеніи искусства къ природѣ. Эти темы требовали тщательнаго и всесторонняго разрѣшенія, имъ предстояло въ теченіе цѣлыхъ десятилѣтій занимать русскую критику, плодить ожесточеннѣйшую полемику и пребывать во главѣ угла всѣхъ разнообразныхъ теченій эстетики и публицистики. Какой плодотворный толчокъ далъ бы вопросу краснорѣчивый романтикъ, если бы попытался остановить на немъ свое вниманіе!

Ничего подобнаго не произошло.

Толкуя о возможности для истиннаго таланта открыть интересъ и поэзію даже въ «старыхъ предметахъ», критикъ рѣшается заявить: «всякой горшокъ тогда найдетъ свою поэзію». Это выраженіе могло бы стать достойной параллелью желчному стиху Пушкина о черни, не цѣнящей художественной красоты Аполлона Бельведерскаго.

Печной горшокъ тебѣ дороже:

Ты пицу въ немъ себѣ варишь...

<sup>128</sup>) Письмо отъ 21 марта 1825 г., по поводу статьи *Взглядъ на Русскую словесность въ теченіе 1824 и начала 1825 годовъ*.

Эти слова написаны на пять летъ раньше статьи Марлинскаго, въ 1828 году, и критикъ, можетъ быть, имѣлъ въ виду именно ихъ. Это значило вносить поправку въ минутное настроеніе поэта и напоминая ему его же собственную теорію фламандскаго искусства.

Но все дѣло ограничилось одной фразой: мысль, чреватая великими выводами, осталась неразвѣтой и даже точно не объясненной.

Одновременно Марлинскій написалъ нѣсколько горячихъ строкъ противъ фанатическихъ поклонниковъ реализма, — впоследствии натуралистовъ. Онъ не признаетъ рабскаго фотографированія природы. «Развѣ простота пошлость?.. Природа! Послѣ этого, тотъ, кто хорошо хрюкаетъ поросенкомъ, величайшій изъ виртуозовъ, а фелдшеръ, снявшій алебастровую маску съ Наполеона, первый нятель!! Искусство не рабски передразниваетъ природу, а создаетъ свое изъ ея матеріаловъ».

Опять — зерно великой истины, но только зерно: авторъ бросилъ его, немедленно умчался дальше, предоставивъ его собственной участи.

И эта молниеносность мыслей, точнѣе настроеній перѣдко головой выдастъ критика. Роковая судьба всякихъ импрессионистскихъ сужденій — запутывать автора въ противорѣчія и двусмыслицы.

Сочувствіе Марлинскаго реализму, кажется, достаточно энергично, но оно не жѣлаетъ ему написать фразу, вызвавшую отпоръ Пушкина: Майковъ «оскорбилъ образованный вкусъ своею поэмой *Елисей*».

Пушкинъ въ письмѣ къ Марлинскому припомнилъ какъ разъ самыя реалистическія мѣста изъ забракованной поэмы и находилъ ихъ «уморительными», совершенно не оскорбляясь въ своемъ поэтическомъ вкусѣ <sup>129</sup>).

Попадалъ въ просакъ Марлинскій и по поводу произведеній самого Пушкина. Въ *Онегинѣ* онъ не желалъ терпѣть изображенія свѣтской пустоты, романъ считалъ подражаніемъ *Донъ Жуану*. Последняя мысль еще не особенно смертный грѣхъ, но устранять поэтическое творчество отъ будничныхъ явленій хотя бы высшаго общества, значило опять наносить ущербъ реальному искусству и служить столь торжественно признанныя права поэта — все дѣлать достояніемъ поэзии.

<sup>129</sup>) Письмо отъ 13 іюня 1823 года.

Въ результатѣ -- критика Марлинскаго переполнена лучами разсѣянной истины, но сама истина — полная и побѣдоносная — такъ и осталась недоступной для талантливаго писателя. Его отрицательные приговоры надъ школами, его восторженные отзывы о народности басенъ Крылова и грибоѣдовской комедіи — неотъселемая завоеванія здороваго художественнаго чувства, но всѣ попытки затронуть область принциповъ и основъ, неизмѣнно сопровождались недоговоренностью, неясностью и противорѣчивостью мысли. Правда, эти недостатки нерѣдко выкупались живой идейно-общественной отзывчивостью Марлинскаго, его несомнѣннымъ талантомъ публициста, вѣрнымъ инстинктомъ культурнаго и просвѣщеннаго гражданина. Но всѣ эти достоинства оказывались безсильными, когда приходилось рѣшать чисто-эстетическіе вопросы: о реализмѣ, объ отношеніи творчества къ природѣ и дѣйствительности.

## XLVII.

При всѣхъ мѣткихъ сужденіяхъ, высказанныхъ Марлинскимъ о разныхъ литературныхъ вопросахъ, оригинальнѣйшей и въ то же время благороднѣйшей чертой его статей слѣдуетъ признать его отношеніе къ опаснѣйшему сопернику по ремеслу — къ Полевому. Появленіе *Московскаго Телеграфа* критикъ встрѣтилъ не особенно дружелюбно: мы увидимъ, — это значило пѣть хоромъ съ большинствомъ современныхъ литераторовъ. Отзывъ Марлинскаго приобрѣлъ даже классическую извѣстность и онъ дѣйствительно остроумно, хотя и каррикатурно, схватилъ характеръ журнала.

*Телеграфъ* «заключаетъ въ себѣ все; извѣщаетъ и судитъ обо всемъ, начиная отъ безконечно малыхъ въ математикѣ до пѣтушнихъ гребешковъ въ соусѣ или до бантиковъ на новомодныхъ баншичкахъ. Перовный слогъ, самоувѣренность въ сужденіяхъ, рѣзкій тонъ въ приговорахъ, вездѣ охота учить и частое пристрастіе — вотъ знаки сего телеграфа, а смысломъ владѣетъ Богъ, — его девизъ».

Это писалось въ 1825 году. Восемь лѣтъ спустя взглядъ критика совершенно перемѣнился. Марлинскій — восторженнѣйшій поклонникъ талантовъ Полевого и его журнала. Онъ отказывается даже говорить подробно о главнѣйшихъ русскихъ поэтахъ, находя свою рѣчь бесполезной послѣ дѣльныхъ, безпристрастныхъ и увлекательныхъ статей *Телеграфа*. Этими журналомъ «возжигая гор-

даться Россія, который одинъ стоитъ за нее на стражѣ противъ старовѣрствъ, одинъ для нея на ловлѣ европейскаго просвѣщенія».

Но это, сравнительно, скромно съ рѣшительностью Марлинскаго—пестать на защиту *Исторіи русскаго народа*. Злополучнѣйшій трудъ Полевого вызвалъ единодушный натискъ; во главѣ нападавшихъ стояли: Пушкинъ—первый представитель поэзіи и Погодинъ—ученый историкъ. О Надеждинѣ и Каченовскомъ нечего и упоминать: они прямо отводили душу...

И среди этой попальной травы Марлинскій возвысилъ голосъ, и, притомъ, въ самомъ рискованномъ направленіи: онъ Полевому отдавалъ предпочтеніе предъ Карамзинымъ. У того исторія—«златопернатый рассказъ», у Полевого—«повѣствованіе, пернатое свѣтлыми идеями».

Дальше слѣдовалъ горячій панегирикъ широтѣ взглядовъ автора, его мужеству и «неумытному суду» надъ грѣшниками и праведниками. Припоминались имена Баранта, Тьерри, Мибура, Савиньи, и Полевой провозглашался историкомъ, достойнымъ своего времени. Естественно, восторгамъ предъ трудомъ Полевого должны были соответствовать чувства и рѣчи по адресу его противниковъ, и Марлинскій не пожалѣлъ словъ для достойной отповѣди «университетскому колокольчику», «кислымъ щамъ пузыршымъ»...

Отзывъ относится къ 1833 году, когда журнальная дѣятельность Полевого стояла въ зенитѣ своего развитія и надъ ней уже висѣла правительственная гроза. Любопытно, что именно Марлинскій отчасти способствовалъ оффиціальнымъ врагамъ Полевого. Статью объ издателѣ *Телеграфа* онъ напечаталъ въ самомъ *Телеграфѣ* и самая эффектная цитата изъ нея не преминула попасть въ матеріалы къ обвинительному акту, составленному Уваровымъ. Но не только одна цитата, вообще въ составѣ обвиненія играли большую роль «Марлинскаго отзывы, въ *Телеграфѣ* помѣщаемые»<sup>120</sup>).

Это понятно.

Марлинскій, одинъ изъ главныхъ участниковъ декабрьской исторіи, избѣжавшій казни только благодаря рыцарственному самоотверженному признанію своего грѣха, но все-таки сосланный въ Якутскъ, не могъ считаться благонамѣреннымъ писателемъ.

<sup>120</sup>) Сухомлиновъ. *Исследования и статьи по русской литературѣ и словесности*. Спб. 1889. Н. А. Полевой и его журналъ *Московскій Телеграфъ*, стр. 421, 425.

А между тѣмъ, статью о Полевомъ онъ написалъ въ Дагестанѣ, гдѣ продолжалъ отбывать вторую степень своего искупленія. Въ русской публикѣ не могли забыть издателя *Полярной Звѣзды* и достаточно, напримѣръ, познакомиться съ восторженными воспоминаніями Греча, совершенно не сочувствовавшего политикѣ Марлинскаго, чтобы одѣлать почти исключительное положеніе блестящаго свѣтскаго льва и литератора <sup>131)</sup>).

И сочувствія такого человѣка, оказывалось, безусловно принадлежали Полевому и его журналу: это стоило какой угодно рекомендаціи и ярко подчеркивало духъ и цѣли *Телеграфа*.

Для насъ фактъ существенно важенъ. Онъ безъ всякихъ подробныхъ изслѣдованій съ совершенной точностью опредѣляетъ мѣсто журнала, смѣнившаго *Полярную Звѣзду*. Альманахъ прекратился какъ разъ въ первый годъ изданія *Телеграфа*, и мы можемъ впервые установить преемственность направленія въ русской періодической печати.

*Полярная Звѣзда* была кратковременной свѣтлой полосой на горизонтѣ петербургской журналистики, за ней слѣдовала монополія Греча и Булгарина. Въ томъ же 1825 году Гречъ, издававшій *Сынъ Отечества*, вошелъ въ союзъ съ Булгаринымъ, издателемъ *Сѣвернаго Архива*, и немедленно началась чисто биржевая спекуляторская дѣятельность компаніи. Главную роль игралъ Булгаринъ, и Гречъ единолично, вѣроятно, не довелъ бы своего изданія до позорнаго положенія, стяжавшаго безсмертіе въ исторіи русской журналистики. Но благонамѣренности Греча хватило на очень короткое время.

Мы упоминали о возникновеніи *Сына Отечества*, какъ спеціально-патріотическаго органа въ эпоху двѣнадцатаго года. Помимо патріотизма, Гречъ умѣлъ на первыхъ порахъ обнаружить извѣстную смѣтливость и даже талантливость критика. Онъ явился предшественникомъ Марлинскаго въ годичныхъ обзорѣніяхъ литературнаго движенія. Статьи Греча не идутъ ни въ какое сравненіе съ эффектными «взглядами» издателя *Полярной Звѣзды*, но для своего времени [они были] полезной новостью. Еще важнѣе другая черта журнала Греча: грамотность и возможная правильность языка. Это достоинство впоследствии отмѣтилъ Марлинскій, признавая заслуги Греча предъ русской грамматикой и русскимъ стилемъ. Наконецъ, и самые отзывы Греча, пока онъ дѣйстви-

<sup>131)</sup> Гречъ, О. с. стр. 393 etc.

валъ самостоятельно, не грѣшили пристрастіемъ и разными не-литературными настроеніями.

Его критику цѣнилъ Пушкинъ, именуя «любезнымъ нашимъ Аристархомъ», Марлинскій заявлялъ: «на пламени его критической лампы не одинъ литературный трутень опалилъ себѣ крылья». Полевой, по свидѣтельству его брата, воспитывалъ себя на статьяхъ *Сына Отечества* и дружественное сближеніе съ авторомъ «считалъ однимъ изъ пріятнѣйшихъ событій въ жизни своей».

Но положеніе Греча общественное и литературное совершенно измѣнилось, лишь только онъ связалъ свою дѣятельность съ болгарскими промыслами. И замѣчательно, связалъ уже послѣ того, какъ основательно узналъ продѣлки Булгарина и могъ вполнѣ оцѣнить его нравственную физіономію.

Мы впоследствии еще встрѣтимся съ этимъ дуумвиратомъ и Булгаринъ займетъ свое мѣсто въ нашей исторіи. Въ настоящее время для насъ достаточно опредѣлить литературную обстановку, при какой возникалъ журналъ Полеваго.

Тотъ же Гречъ избавилъ насъ отъ труда рыться въ темной біографіи Булгарина и съ компетентностью близкаго пріятеля подвелъ итогъ его дѣламъ и добродѣтелямъ въ началѣ его издательскаго поприща.

По происхожденію полякъ, офицеръ русскаго гвардейскаго полка, онъ предъ войной двѣнадцатаго года вышелъ въ отставку, перешелъ во французскую службу, участвовалъ въ походѣ Наполеона и въ сраженіяхъ противъ русскихъ. Гречъ по достоинству оцѣниваетъ эти подвиги—«по суду совѣсти и по общему закону чести». Булгаринъ «былъ русскимъ подданнымъ и дворяниномъ, воспитанъ въ казенномъ заведеніи на счетъ правительства, носилъ гвардейскій мундиръ и перешелъ подъ знамена непріятельскія».

Послѣ войны Булгаринъ основался въ Петербургѣ, вошелъ въ милость къ такимъ людямъ, какъ «гниусный Магницкій и съумазбродный Рушчъ», велъ какой-то чрезвычайно кляузный процессъ. Гречъ именно этимъ процессомъ объясняетъ окончательное паденіе Булгарина. До 1823 года Булгаринъ почти не занимался литературой.

Она выступила на сцену уже послѣ неудачъ на другихъ поприщахъ. Началось дѣло съ плагіата, съ изданія *Оды Горация* съ чужими объясненіями, потомъ явился *Сѣверный Архивъ*. Гречъ даетъ безнадежный отзывъ и объ этомъ изданіи.

«Набравъ нѣсколько историческихъ матеріаловъ, сталъ онъ издавать *Сѣверный Архивъ*, печаталъ въ немъ статьи интересныя,



но впадалъ въ страшные промахи, особенно по недостаточному знанію иностранныхъ языковъ, коверкалъ имена собственные, смѣшивалъ событія, и если бы издавалъ теперь, то не избѣжалъ бы обличеній и насмѣшекъ, но въ тѣ блаженные времена, когда «печатный каждый листъ казался намъ святымъ», и не то сходило съ рукъ».

Какъ разъ около этого времени Гречъ, раньше увлекавшійся либерализмомъ, «вытрезвился отъ либеральныхъ идей волею и неволею». Особенно сильное впечатлѣніе на него произвела семеновская исторія, онъ быстро превратился въ совершенно подходящий матеріалъ для болгаринскихъ воздѣйствій и закрылъ глаза на всѣ «недоразумѣнія» въ жизни и характерѣ пестраго авантюриста.

Союзъ заключенъ, и *Сынъ Отечества* немедленно измѣнилъ даже свою программу. Обстоятельный библиографическій отдѣлъ былъ уничтоженъ, собственно литературная критика устранена. времена, когда въ этомъ отдѣлѣ могъ сотрудничать даже Марлинскій, а въ стихотворномъ являться Пушкинъ, Жуковскій, Баратынскій, Рылѣевъ, прошли безвозвратно. На страницахъ журнала водворился особый жанръ публицистики—смѣсь памфлета, инсинуаціи, личной брани и юридическихъ бумагъ. Поставщикомъ этого матеріала былъ преимущественно Булгаринъ, но Гречъ стоялъ рядомъ съ нимъ и, повидимому, не страдалъ ни чувствомъ гнѣва, ни презрѣнія. Онъ правда удерживалъ «сарматскіе порывы Булгарина», т. е. его доносительскій зудъ, но продолжалъ развивать компанейскую дѣятельность. Съ января 1825 года союзники начали третье изданіе, газету *Сыскную Пчелу*, и окончательно заполонили литературу. *Пчела* на долгіе годы осталась истинной язвой русской журналистики и оказала неисчислимыя растлѣвающія вліянія на публику и писателей.

Издатели съ цинической откровенностью восхваляли взаимно другъ друга. Произведенія Булгарина объявлялись классическими и бессмертными, рядомъ писались торговые рекламы товарамъ купцовъ, имѣвшихъ счастье заслужить предъ знаменитымъ литераторомъ, до небесъ превозносился и литературный товаръ людей пріятныхъ и приверженныхъ, но зато не было пощады чужимъ.

Пріятельскія критики писались въ такомъ тонѣ: «Покупайте, гг. покупатели! Не скупитесь, напеченьки! Да это раскупятъ, какъ конфекты, да и какъ не купить того, что полезно, хорошо и дешево»

<sup>132)</sup> Кс. Полевой. О. с. стр. 117.

<sup>133)</sup> *Сыскная Пчела* 1830. № 30.

Критики *Съверной Пчелы* и *Сына Отечества* не стѣснялись никакими «переоборотами», по выраженію Пушкина: все зависѣло отъ перемѣны въ личныхъ отношеніяхъ. Никакого смысла и значенія не имѣли ни талантъ, ни популярность писателя. Пушкинъ отъ начала до конца оставался неизмѣнной мишенью для отборныхъ болгаринскихъ заповѣй, Гоголь прямо не существовалъ на страницахъ газеты и журнала. Исчезла безслѣдно даже грамотность, основное достоинство прежняго *Сына Отечества* и статьи писались на какомъ-то международномъ неосмысленномъ языкѣ. Совершалось сложное издѣвательство надъ формой и содержаніемъ литературы, и между тѣмъ монополія держалась чрезвычайно прочно.

Союзники стужали обезпечить себя не только со стороны цензуры и власти, но производили настоящую панику среди самихъ литераторовъ. И, что особенно оригинально и краснорѣчиво для цѣлаго періода русской литературы, эти факты находятся въ непосредственной связи.

Даже Пушкину и его друзьямъ пришлось испытать нѣкоторую оторопь предъ разнообразными путями болгаринской мести.

Булгаринъ, раздраженный неодобродительной статьей объ его романѣ *Самозванецъ* въ *Литературной газетѣ* и приписавшій ее Пушкину: авторомъ ея былъ Дельвигъ—напечаталъ въ *Съверной Пчелѣ* *Анекдотъ*, т. е. пасквиль на «французскаго стихотворца» Пушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ похвалышную аттестацію самому себѣ, подъ именемъ Гофмана.

*Анекдотъ*—типичнѣйшее произведеніе болгаринскаго пера и нѣсколько строкъ подлинника освободятъ насъ на будущее время отъ подробныхъ некрологическихъ экскурсій въ челоѣческую и литературную душу автора.

Гофманъ обращается къ одному почтенному французскому литератору съ такимъ письмомъ:

«Дорожа вашимъ мнѣніемъ, спрашиваю у васъ, кто достоинъ болѣе уваженія изъ двухъ писателей. Предъ вами предстаетъ на судъ, во-первыхъ, природный французъ, служащій усердіемъ Бахусу и Плутусу, нежели Музамъ, который въ своихъ сочиненіяхъ не обнаружилъ ни одной высокой мысли, ни одного возвышеннаго чувства, ни одной полезной истины, у котораго сердце холодное и нѣжное существо, какъ устрица, а голова—родъ побрякушки, набитой гремучими рюмами, гдѣ не зародилась ни одна идея, который бросаетъ рюмами во все священное, чванится предъ черною волюдумствомъ, а тишкомъ ползаетъ у ногъ сильныхъ, чтобъ позволили ему чаря-

даться въ шитый кафтанъ, который мараетъ бѣлые листы на продажу, чтобъ спустить деньги на крапленыхъ листахъ. и у котораго одно господствующее чувство—суетность. Во-вторыхъ, иностранецъ, который во всю жизнь не измѣнилъ ни правиламъ своимъ, ни характеру, былъ и есть въреть долгу чести, любилъ свое отечество до присоединенія онаго къ Франціи и послѣ присоединенія любить вмѣстѣ съ Франціею, который за гостепріимство занялъ Франціи собственною кровью на полѣ битвы, а нынѣ платитъ ей дань жертвою своего ума».

Пушкинъ отвѣчалъ статьей *О запискахъ Видока*, оцѣнивавшей по достоинству патріотизмъ и литературные пріемы Булгарина. Статья страшно обезпокоила друзей Пушкина и онъ рѣшилъ обратиться съ письмомъ къ гр. Бенкендорфу, предупреждая его о возможныхъ шагахъ Булгарина. Бенкендорфъ отвѣтилъ поэту въ успокоительной формѣ, но фактъ достаточно внушителенъ, чтобы представить исключительное положеніе удивительнаго журналиста <sup>134</sup>).

Можно привести и еще болѣе эффектные случаи. Наприамѣръ, двумя годами позже исторіи съ Пушкинымъ въ Москвѣ появилось сатирическое стихотвореніе *Двадцать спящихъ будочниковъ*, направленное противъ «Выжигиныхъ», т. е. Булгарина, автора романа *Иванъ Выжигинъ*. Въ *Сѣверной Пчелѣ* въ библиографическомъ отдѣлѣ выписали полное заглавіе баллады и вмѣсто рецензіи напечатали: *Ни слова!* Но для властей и этого оказалось достаточно: цензоръ Аксаковъ, пропустившій балладу, былъ отставленъ отъ должности <sup>135</sup>).

Легко понять, какое раздолье открывалось при такихъ условіяхъ «патріотическимъ» талантамъ Булгарина и съ какой стремительностью онъ пользовался обстоятельствами!

На эти именно годы, на періодъ перваго безудержнаго разгула пасквильнства и доноительства, падаетъ многотрудная и неожиданно успѣшная дѣятельность Полевого. Въ атмосферѣ, насыщенной булгаринскимъ духомъ, обыкновеннымъ людямъ нелегко было просто дышать,—Полевой сумѣлъ не только жить, но дѣйствовать на свой единоличнѣйшій страхъ, съ единственнымъ оружіемъ—глубокой вѣрой въ свои силы и въ благородство своихъ цѣлей.

<sup>134</sup>) Барсуковъ. III. 18—19.

<sup>135</sup>) Барсуковъ. IV. 12.

## XLVIII.

Судьба Николая Алексеевича Полевого, какъ писателя, представляетъ одну изъ самыхъ благодарныхъ иллюстрацій къ известной классической истинѣ: современники рѣдко по достоинству оцениваютъ талантливыхъ дѣятелей, и только потомство произноситъ правый судъ и отводитъ крупнымъ и мелкимъ героямъ надлежащее мѣсто въ галлерей исторіи.

Относительно Полевого это правило осуществилось въ самой рѣзкой прямолинейной формѣ. Приговоръ потомства совпалъ съ итогами, какіе самъ писатель успѣлъ подвести своей дѣятельности. И произошло это послѣ того, какъ знаменитымъ журналистомъ былъ пройденъ въ высшей степени бурный, отъ начала до конца воинственный путь идейной и личной борьбы съ подавляющимъ большинствомъ современниковъ.

За семь лѣтъ до смерти Полевой издавалъ собраніе своихъ критическихъ статей и писалъ предисловіе, болѣе похожее на исповѣдь, чѣмъ на обычное вступленіе къ книгѣ. Писатель говорилъ о себѣ не только какъ о критикѣ и публицистѣ, но совершенно открыто и искренне рисовалъ свой нравственный портретъ. И то и другое было вскорѣ подписано людьми, еще весьма недавно состоявшими, повидимому, въ непримиримой враждѣ съ авторомъ исповѣди.

Полевой писалъ:

«Немногіе изъ русскихъ литераторовъ, говоря вообще, писали столь много и въ столь многообразныхъ родахъ, какъ я. Едва ли какой-нибудь современный предметъ, сколько-нибудь волновавшій умы и сердца моихъ современниковъ, не обращалъ на себя моего вниманія, какъ критика и журналиста. Изученіе и разборъ всего, что мелькало передъ нами, въ минувшія 15, 20 лѣтъ, увлекали меня непрерывно и постоянно. Осмѣливаюсь думать, что въ томъ, что было мною писано, и не одни современники найдутъ поводъ къ размышленію».

Переходя къ вопросу, какъ онъ относился къ предметамъ своихъ сужденій, авторъ торжественно заявляетъ:

«Кладу руку на сердце и дерзаю сказать вслухъ, что никогда не увлекался я ни злобою—чувствомъ для меня презрительнымъ, ни завистью—чувствомъ, котораго я не понимаю, никогда то, что говорилъ и писалъ я, не разногласило съ моимъ убѣжденіемъ, и никогда сочувствіе добра не оставляло сердца моего; оно всегда

сильно билось для всего великаго, полезнаго и прекраснаго. Сябю думать, что самые враги мои, если они и въ состояніи сказать обо мнѣ очень многое, въ тайнѣ сердца своего не станутъ противорѣчить симъ словамъ моимъ.» <sup>136</sup>).

И они, дѣйствительно, не противорѣчили.

Среди современныхъ литераторовъ Полевой, несомнѣнно, имѣлъ всѣ основанія считать своими «врагами» Бѣлинскаго и Надеждина, и перваго особенно опаснымъ и безпощаднымъ. Братъ и ближайшій сотрудникъ издателя *Телеграфа* съ глубокой грустью и негодованіемъ говоритъ о нападкахъ Бѣлинскаго на Полевого въ послѣдній періодъ его жизни и приписываетъ ихъ «страстямъ низкимъ и ничтожнымъ»: столько, по мнѣнію автора, было желчи и несправедливости въ гоненіяхъ знаменитаго критика! <sup>137</sup>).

Въ дѣйствительности, конечно, Бѣлинскому были чужды чисто личные побужденія къ какой бы то ни было литературной борьбѣ, и противъ Полевого въ особенности. Дѣло шло прежде всего о Полевомъ-драматургѣ. Это была дѣятельность, менѣе всего достойная ранней славной карьеры журналиста, дѣятельность—ремесленника и дешеваго лубочнаго патріота. Именно «квасной патріотизмъ», когда-то жестоко осмѣянный *Телеграфомъ*, теперь сталъ вдохновителемъ автора *Дюдишки русскаго флота*, *Июлкина*, *Парашки Сибирячки*. Одинъ изъ современныхъ критиковъ, независимо отъ Бѣлинскаго, такъ характеризовалъ содержаніе драмъ Полевого: «Русская рука! русское сердце! не бѣлы-то снѣги! русская баба! русскіи штыки! русскіи моряки! русскіи флаги! русское ура! урра! уррра!» Этими мотивами соотвѣтствовали и эпизоды, и личности героевъ, надѣленные, ради ихъ російскаго народнаго званія, всевозможными доблестями и сверхъестественной удачливостью <sup>138</sup>).

Усердіе автора, конечно, находило соотвѣтствующее поощреніе въ высшихъ сферахъ, но отнюдь не могло подкупить болѣе или менѣе независимую и литературно-просвѣщенную критику.

Несомнѣнно, данничество предъ «кваснымъ патріотизмомъ» свидѣтельствовало и о другихъ, болѣе важныхъ отгѣнкахъ, возникшихъ въ литературной работѣ Полевого въ послѣдніе годы жизни. Врядъ ли можно было съ уваженіемъ отнести къ сов-

<sup>136</sup>) *Очерки русской литературы*, т. I. Сиб. 1839. Нѣсколько словъ отъ сочинителя, стр. VIII, IX.

<sup>137</sup>) Кс. Полевой. О. с., стр. 460—1.

<sup>138</sup>) Статья о Полевомъ, какъ драматургѣ, г. Вл. Боцяновскаго. Въ *Ежегодникъ Императорскихъ театровъ*. 1894—1895, прилож., кн. 3-я.

мѣстному труду Полевого съ Булгаринымъ надъ романомъ, къ сотрудничеству въ такихъ органахъ, какъ *Библіотекъ для Чтенія*. Правда, Полевой въпослѣдствіи публично отказался отъ статей, напечатанныхъ подъ его именемъ въ этомъ журналѣ: Сепковскій, оказывалось, передѣлывалъ критическіе отзывы Полевого съ невероятной безцеремонностью, прибавлялъ «брань» на неугодныхъ ему писателей, уснащая всевозможными размышленіями отъ себя... Вообще, говоритъ Полевой, «я хотѣлъ разсуждать, а меня заставляли браниться» <sup>140</sup>).

Но, во-первыхъ, эти факты до авторскаго объясненія оставались редакціонной тайной, а потомъ Полевой ихъ терпѣлъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе двухъ лѣтъ по 1837 годъ и, слѣдовательно, не могъ рассчитывать на полное снисхожденіе своихъ противниковъ.

Позже слѣдовало издательство *Русскаго Вѣстника*, и жестокая война противъ таланта и произведеній Гоголя. *Ревизоръ* являлся безцѣльнымъ и бессмысленнымъ «фарсомъ», *Мертвыя души* вызывали у критика совѣтъ автору перестать лучше писать, чѣмъ «постепенно болѣе и болѣе падать». И все это по поводу клеветы, возведенной, будто бы, Гоголемъ на Россію въ его сатирахъ и особенно крайне неприличнаго языка, не допустимаго «въ порядочномъ обществѣ» <sup>141</sup>).

Все это очень мало напоминало прежняго Полевого, по пріемамъ критики и особенно по руководящимъ идеямъ: основная демократическая струя, ярко прорѣзывавшая энергическія страницы *Телеграфа*, обмелѣла и будто исчезла.

Естественно было наблюдателямъ со стороны заговорить о старческомъ упадкѣ таланта, о попятномъ движеніи идей, о небрежности и незитературности работы.

Для всего этого существовало въ высшей степени смягчающее обстоятельство—страшная нужда, угнетавшая Полевого. Буквально разгромленный и подавленный катастрофой съ *Телеграфомъ*, онъ принужденъ былъ биться какъ рыба объ ледъ изъ-за многочисленныхъ долговъ и насущнаго пропитанія семьи. Его письма за послѣдніе годы жизни—моменты настоящей мученической агоніи. Мимолетныя проблески надежды, безпрестанно смѣняющіяся отчаяніемъ, предъ нами все время утопающій, готовый ухватиться за

<sup>139</sup>) Кс. Полевой, стр. 567.

<sup>140</sup>) *Очерки*. Пѣск. словъ, стр. XVI, XVII, XVIII.

<sup>141</sup>) *Русскій Вѣстникъ*, 1842 годъ.

первый спасительный предмет. И, несомненно, случись Бѣлинскому прочесть одно изъ этихъ писемъ, онъ смягчилъ бы свои удары и пощадилъ бы идейную немощь во имя добраго чувства къ собрату-писателю <sup>142)</sup>).

Но Бѣлинскій видѣлъ только литературные внѣшніе факты.

Послѣ сотрудничества въ *Библиотекѣ для Чтенія* Полевой взялся редактировать *Сынъ Отечества*, превратилъ его изъ еженедѣльнаго изданія въ ежемѣсячный и на первыхъ порахъ, по старой памяти о *Телеграфѣ*, возбуждалъ напряженные ожиданія и надежды у публики.

Въ результатѣ, оказалась полная солидарность по направленію съ *Библиотечкой для Чтенія* и неуклонная война съ *Отечественными Записками*, гдѣ первымъ критикомъ состоялъ Бѣлинскій. И онъ, по поводу духа и запальчивости *Сына Отечества*, давалъ слѣдующую фактически-справедливую характеристику новаго пути стараго журналиста:

«Не странное ли зрѣлище представляеть собою человекъ, который съ силою, энергіею, одушевленіемъ, вооруженный смѣлостью и дарованіемъ, явился на литературномъ поприщѣ рьянымъ поборникомъ новаго и могучимъ противникомъ стараго, а сходитъ съ поприща, на которомъ подвизался съ такимъ блескомъ, съ такою славою и такимъ успѣхомъ, сходитъ съ него—противникомъ всего новаго и защитникомъ всего стараго?..»

И дальше перечисляются великія заслуги издателя *Телеграфа* предъ русской критикой: онъ убилъ авторитетъ Корнелей и Расиновъ, онъ привѣтствовалъ Пушкина великимъ поэтомъ, ратовалъ противъ безвкусія, вычурности, натянутости, а теперь его боги—классики и романики низшаго разбора, и онъ же во главѣ противниковъ Пушкина <sup>143)</sup>).

Сопоставленія вполне основательныя и изъ нихъ видно, какъ мало было у Бѣлинскаго желанія развѣщать всю литературную карьеру Полевого и вычеркнуть изъ исторіи литературы его положительныя заслуги.

Но при всѣхъ оговоркахъ и часто именно благодаря имъ, укоризны критики являлись особенно чувствительными и Полевой умеръ, не доживъ до болѣе яснаго и мирнаго горизонта. Умеръ, и «потомство» въ лицѣ тѣхъ же современниковъ, устами того же

<sup>142)</sup> Письма напечатаны у Кс. Полевого, особенно трагиченъ періодъ *Русскаго Вѣстника* (письмо отъ 21 марта 1842 года. стр. 543 etc.).

<sup>143)</sup> Сочиненія, III, 105—6.



Бѣлинскаго заговорило, и въ такомъ тонѣ, о какомъ Полевой не могъ и мечтать.

Полевой теперь сразу занималъ первое мѣсто среди литературныхъ героевъ Россіи, его имя ставится рядомъ съ именами Ломоносова и Карамзина, оно, слѣдовательно, знаменуетъ нѣкую эпоху. И какую эпоху! Полагающую основу дальнѣйшему неуклонному прогрессу русской общественной мысли и русского просвѣщенія. Даже самыя шумныя предпріятія Полевого, вызвавшія противъ него исключительное ожесточеніе во всѣхъ лагеряхъ—науки, литературы, интеллигенціи,—объясняются критикомъ съ обычнымъ искусствомъ и полнымъ благоволеніемъ къ почившему бойцу.

Бѣлинскій восхищается статьей Полевого о Карамзинѣ, но за статьей слѣдовала жестокая брань почти всей печати. Брань раздражила автора, и его *Исторія Русскаго народа* вышла переполненной нетерпѣливыми и чрезвычайно пространными нападками на Карамзина... Бѣлинскій говоритъ: «пожалѣемъ о слабости замѣчательнаго человѣка, оказавшаго литературѣ и общественному образованію великія заслуги; но не будемъ оправдывать его слабости или называть ее добродѣтелью».

Но, несомнѣнно, самый существенный фактъ, какой подчеркивалъ Бѣлинскій, полемическіе приемы *Телеграфа* сравнительно съ современной печатью. Полевой «умѣлъ сохранять свое достоинство въ жару самой запальчивой полемики»: это много значило въ двадцатыя и тридцатыя годы, гораздо больше, чѣмъ мы можемъ представить въ настоящее время.

Въ общемъ статья Бѣлинскаго—достойный надгробный памятникъ человѣку и писателю, дѣлающій одинаковую честь и автору, еще вчерашнему противнику покойнаго, и самому покойнику <sup>144</sup>).

Десять лѣтъ спустя память Полевого увѣличалъ и другой его врагъ—Надеждинъ, врагъ въ самомъ рѣзкомъ смыслѣ слова. Даже въ посмертномъ вѣнкѣ бывшая вражда сказалась нѣсколькими терніями, но результатъ—тожественный съ выводомъ Бѣлинскаго.

«Въ 1829 году, — пишетъ Надеждинъ, —въ Москвѣ выходило не мало журналовъ, изъ которыхъ шесть были чисто-литературные. Странное было то время! Характеръ журналистики былъ тогда по преимуществу полемическій. Живѣе всѣхъ дѣйствовалъ или, по

---

<sup>144</sup>) Отдѣльное изданіе статьи. Спб. 1816.

крайней мѣрѣ, громче всѣхъ кричалъ—*Телеграфъ*, журналъ, издававшійся покойнымъ Н. А. Полевымъ, московскимъ гражданиномъ, при участіи и сочувствіи всѣхъ почти тогдашнихъ литературныхъ знаменитостей. Полевой былъ въ то же время и частнымъ дѣйствителемъ по всѣмъ отраслямъ литературной дѣятельности. Онъ издавалъ книги, судилъ и рѣшилъ обо всемъ и умѣлъ снискать себѣ такой авторитетъ, какимъ рѣдко кто пользовался въ русской словесности. Известна главная тенденція этого весьма талантливаго и во всякомъ случаѣ замѣчательнаго русскаго писателя. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ разрушителемъ всего стараго, и въ этомъ отношеніи дѣйствовалъ благотворно на просвѣщеніе, пробуждалъ застои, который болѣе или менѣе обнаруживался всюду»<sup>143</sup>).

Всѣ эти отзывы представляютъ намъ довольно точную картину писательской судьбы Полеваго. Начало—полное блеска и энергіи, конецъ—нѣчто въ родѣ медленной нравственной агоніи... Естественно возникаетъ вопросъ, чѣмъ создано было такое заключеніе жизненнаго пути одного изъ талантливейшихъ русскихъ журналистовъ? И вопросъ становится тѣмъ поучительнѣе, чѣмъ богаче результаты удачливаго періода жизни Полеваго.

По словамъ Бѣлинскаго, они создали эпоху въ исторіи русской литературы. Подобная похвала—исключительный фактъ въ нелицепріятныхъ приговорахъ критика. Но онъ дѣйствительно во многомъ соответствуетъ исторической истинѣ. Для Бѣлинскаго, писавшаго непосредственно послѣ кончины Полеваго, для читателей—личныхъ свидѣтелей его успѣховъ и паденія—не предстоало необходимости подробно расчленять многообразные идейные и практически просвѣтительные пути критика и публициста. Для насъ эта именно задача является настоятельной. Среди этихъ путей многое въ настоящее время можетъ представлять только историческій интересъ, но рядомъ съ этимъ «архивнымъ матеріаломъ» многое до нашихъ дней сохранило жизненный насущный смыслъ.

#### XLIX.

Полевой переселился въ Москву изъ далекой провинціи, изъ Курска, отнюдь не съ литературными цѣлями. Его отецъ сначала велъ торговля дѣла въ Сибири, потомъ короткое время наканунѣ наполеоновскаго нашествія въ Москвѣ, наконецъ въ Курскѣ—родинѣ Полевыхъ. Въ Москву онъ отправилъ сына съ цѣлью устроить

<sup>143</sup>) *Русск. Вѣстн.*, мартъ 1856, стр. 57.

сбытъ для своихъ водочныхъ продуктовъ. Это произошло въ началѣ 1820 года. Николаю Алексѣвичу шелъ двадцать четвертый годъ. Раньше изъ Сибири онъ уже былъ въ Москвѣ; также съ торговыми порученіями отъ отца девять лѣтъ назадъ, выполнилъ порученія крайне всудачно, но зато дѣятельно посѣщалъ театръ, читалъ книги безъ счета, пробрался даже въ университетъ и слушалъ Мерзлякова, вообще яростно набросился на умственную пищу, какую только могла предложить столица пятнадцатилѣтнему провинціалу съ свободными матеріальными средствами. Одновременно шло дѣятельное сочинительство. Отцу при первомъ свиданіи пришлось сдѣлать строгій выговоръ и сжечь кипу бумагъ новаго писателя.

Но природная, чрезвычайно упорная стремительность къ авторству должна была взять верхъ. До первой поѣздки въ Москву будущій критикъ страстно поглощалъ весь книжный матеріалъ, какой только попадался подъ руки. Самъ онъ такъ характеризуетъ свое умственное образованіе до путешествія въ Москву: «я прочиталъ тысячу томовъ всякой всячины, помнилъ все, что прочиталъ, отъ стиховъ Карамзина и статей *Вѣстника Европы* до хронологическихъ чиселъ и Библии, изъ которой могъ пересказывать наизусть цѣлыя главы. Но это былъ какой-то хаосъ мыслей и словъ, когда самъ я едва начиналъ мыслить».

Одновременно проходила въ высшей степени содержательная практическая школа, велись дѣла съ откупщиками, шла конторская работа, завязывалось множество знакомствъ и подлинная русская жизнь широкой волной входила въ воспріимчивый духовный міръ юноши.

При такихъ условіяхъ естественно науку приходилось хватать урывками, по счастливымъ случайностямъ и встрѣчамъ. Италиянецъ, пьяный цирюльникъ, отбившійся отъ наполеоновской арміи, показываетъ произношеніе французскихъ буквъ, музыкальный учитель научаетъ нѣмецкой азбукѣ. Николай Алексѣвичъ усваиваетъ все это съ чрезвычайной быстротой и передаетъ свою только что пріобрѣтенную ученость брату Ксенофонту, будущему своему сотруднику. И теперь уже обнаруживаются зачатки журнальных талантовъ: Полевой безпрестанно измышляетъ и издастъ тетрадки въ формѣ журналовъ, наполняя ихъ собственными статьями и стихотвореніями <sup>146)</sup>. Къ 1817 году появляется первая его статья

---

<sup>146)</sup> Кс. Полевой, стр. 15.

уже въ настоящемъ журналѣ,—въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, описаніе пребыванія въ Курскѣ императора Александра I. Въ 1818 году въ *Вѣстникѣ Европы* печатается переводъ изъ сочиненій Шато-бріана, два года спустя Полевой заводитъ личныя знакомства съ петербургскими и московскими литераторами и издателями, вызываетъ у нѣкоторыхъ даже сильныя чувства, какъ самоучка, и путь къ давно взлелѣянной цѣли, повидимому, открывается широкій и свободный.

На первыхъ порахъ Полевому едва ли не всякій литераторъ и ученый кажется достойнымъ всяческаго почтенія. Онъ съ замѣраніемъ сердца присутствуетъ на засѣданіи Общества любителей руссійской словесности, каждого члена описываетъ потомъ самыми лестными эпитетами, дрожитъ отъ восторга только при видѣ каталога классическихъ европейскихъ писателей,—однимъ словомъ переживаетъ медовый мѣсяцъ, своего рода праздникъ своихъ литературныхъ влеченій и мечтаній.

Но вскорѣ приходится охладить чувства и поразнообразить эпитеты. Москва изобилуетъ литературными обществами. Полевой является всюду и вездѣ съ неизмѣнной идеей объ изданіи журнала. Эта же идея волновала другихъ, но, очевидно, въ совершенно другомъ направленіи, чѣмъ планы Полевого. По крайней мѣрѣ, будущій издатель *Телеграфа* не имѣлъ успѣха въ самомъ просвѣщенномъ современномъ обществѣ литераторовъ, въ рачковскомъ. Мы знаемъ, единственный изъ крупныхъ представителей литературы выразилъ ему сочувствіе, кн. Вяземскій и, по рассказамъ князя, именно ему обязанъ *Телеграфъ* возникновеніемъ. Именно онъ ободрилъ своимъ участіемъ «юношу» и закабалилъ себя новому изданію <sup>147)</sup>.

Братъ Полевого также называетъ кн. Вяземскаго «главнымъ одушевителемъ редакціи», который ободрялъ издателя въ началѣ борьбы, обильно снабжалъ журналъ своими статьями и руководилъ даже авторствомъ самого Полевого <sup>148)</sup>.

Но всякое внѣшнее руководство должно было играть второстепенную роль при энергіи и поразительномъ публицистическомъ талантѣ новаго журналиста. Задачи были поставлены самыя широкія, какія только допускались условіями времени. Въ официальной программѣ, представленной въ министерство народнаго

<sup>147)</sup> Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, I, XLVШ—XLIX.

<sup>148)</sup> Кс. Полевой, стр. 126, ср. Сухомяиновъ. П. А. Полевой и его журналъ *Московский Телеграфъ*. Исследования и статьи, II, 370—1.

просвѣщенія, Полевой отказывался быть поставщикомъ «легкаго, поверхностнаго и забавнаго чтенія», имѣлъ въ виду «пользу» читателей, даже въ стихотвореніяхъ обѣщалъ соблюдать строжайшій выборъ, за критическими статьями обезпечивалось безпристрастіе и литературность.

Съ 1825 года началъ выходить журналъ—по двѣ книги въ мѣсяць. Въ руководящей статьѣ въ первомъ номерѣ издатель на первый планъ выдвигалъ литературную критику. Она—пробный камень дарованій и добросовѣстности журналиста, и не должна гоняться за вкусами литературной черни.

Критика дѣйствительно заняла первенствующее мѣсто въ *Телеграфѣ* и Полевой имѣлъ полное право заявлять: «никто не оспоритъ у меня чести, что первый я сдѣлалъ изъ критики постоянную часть журнала» <sup>149)</sup>.

Но критикой далеко не ограничились замыслы издателя. Журналъ предназначенъ носить «энциклопедическій характеръ». Онъ будетъ «знакомить читателей съ новыми идеями и важнѣйшими предметами, обращающими на себя вниманіе современной Европы». Это можно сказать всеобъемлющая программа, и ее *Телеграфъ* выполняетъ съ безкорыстной энергіей.

Политики онъ касаться не можетъ, но онъ дѣлаетъ политику при всякомъ удобномъ случаѣ, и мы увидимъ, съ какой находчивостью пріемовъ и смѣлостью позрѣній.

Въ журналѣ съ каждымъ мѣсяцемъ расширяются и разнообразятся многочисленные отдѣлы. Въ «Библіографіи» издатель намеренъ давать отчеты обо *всѣхъ* русскихъ книгахъ, помѣщаетъ самостоятельныя рецензіи объ иностранныхъ, чрезвычайно широко пользуется заграничными журналами съ тою же цѣлью, не стѣсняется отчетами даже о такихъ сочиненіяхъ, какъ армянская грамматика, работа по теоріи вѣроятностей на французскомъ языкѣ, въ рецензіяхъ о художественныхъ произведеніяхъ приводятся цитаты иногда на шести языкахъ, не исключая латинскаго и испанскаго <sup>150)</sup>. Вообще для редактора нѣтъ препятствій ни въ предметахъ, ни въ способахъ доказывать идеи и просвѣщать читателей: былъ бы только матеріалъ свѣжъ, поучителенъ и общедоступенъ. Въ интересахъ солидности и основательности журналъ не прочь блеснуть

<sup>149)</sup> Очерки, стр. XIV.

<sup>150)</sup> М. Тел., томъ XIV, 56—7.

<sup>151)</sup> М. Т., XIX, 111; XXII, 365, 416—7.

ученостью и особенно энциклопедичностью, но отнюдь не педагогической и не мертвенно-школьной.

Сотрудники *Телеграфа* превосходно знают русскую литературу. Отъ ихъ глазъ не скроется самый ловкій литературный хищникъ и компиляторъ. При журналѣ существуетъ специальный «сыщикъ» — гроза современныхъ микробовъ поэзіи и журналистики, и улыбки журнала всѣ въ высшей степени остроумны и всегда убѣдительно. Булгаринская продѣлка съ одами Горация, компилятивное сочиненіе француза о Россіи, списанное съ книги русскаго писателя, безчисленные подражанія Пушкину, часто до наивнаго переложенія его стиховъ, особенно изъ *Кавказскаго пленника* и *Евгенія Онегина* — все это попадаетъ въ неисчерпаемый багажъ русскаго журналиста. Онъ безпощаденъ къ иностранцамъ, присваивающимъ себѣ трудъ русскаго, и печатаетъ всякій разъ нарочитыя и обширныя статьи ради вящей улыбки. Къ отечественнымъ хищникамъ онъ снисходительнѣе, но его пропія всегда убійственна и всегда строго обоснована <sup>152</sup>).

У издателя богатѣйшій запасъ бойкихъ заглавій для критическихъ вылазокъ въ современный литературный хаосъ. Предъ нами «литературныя пріски» — для разоблаченія заимствованій Надеждина у нѣмецкихъ эстетиковъ, *Литературныя и журнальныя рѣдкости* — для улыбки *Отечественныхъ Записокъ*, въ перепечаткѣ подъ видомъ новаго оригинальнаго произведенія — старой переводной повѣсти <sup>153</sup>). Кроме того, существуетъ постоянное приложеніе *Новый живописецъ общества и литературы* — сатирическое обозрѣніе книгъ и людей, подробные обзоры журналистики, русской и иностранной, и авторъ до такой степени стремителенъ въ этой работѣ, что желалъ бы знать «всѣ журналы, выходящіе нынѣ въ цѣломъ свѣтѣ» <sup>154</sup>).

Вообще журналистика — его задушевиѣйшее дѣтище. *Телеграфъ* печатаетъ исторію русскихъ газетъ и журналовъ «съ самаго начала до 1828 года» съ главной цѣлью доказать культурное и общественное значеніе журналистики и указать «русскимъ отличными литераторамъ» на ихъ равнодушіе къ журналамъ, между тѣмъ какъ на Западѣ въ журналистикѣ принимаютъ участіе первостепенные таланты <sup>155</sup>).

<sup>152</sup>) М. Т., XII, 45; XVIII, 35; XIX, 21; XXIX, 368—9; XXIII, 361.

<sup>154</sup>) XXXI, 345; XXXV, 295—7.

<sup>155</sup>) XX, 519.

Въ другой разъ рѣчь *Телерафа* поднимется до настоящаго паюса горечи и гнѣва, и по предмету, на нашъ современный взглядъ менѣе всего заслуживающему подобнаго настроенія.

Редакторъ въ исторгѣ отъ англійской журналистики и желаетъ ее возможно шире распространить въ своемъ отечествѣ. Въ Россіи пока невозможна такая печать. Русская публика «требуешь отъ журналистовъ цестроты, разнообразія газетнаго, антикритикъ, сказокъ, стиховъ, мелочей. Она хочетъ играть журнальными книжками, а не читать ихъ... Мы еще не знаемъ общественной литературной жизни: всякій у насъ работаетъ въ своемъ умѣ, про себя» <sup>156</sup>).

*Телерафъ* восхищается не одной содержательностью европейской журналистики, но ея бойкостью—«звучностью и привлекательностью». Для доказательства онъ готовъ даже привести изъ французской газеты объявленіе о помадѣ, дѣйствительно написанное съ ловкостью и вкусомъ <sup>157</sup>).

II журналъ приближается къ своему идеалу, и именно на томъ попринцѣ, гдѣ труднѣе всего было стяжать успѣхъ въ двадцатые и тридцатые годы.

*Телерафъ* до неуловимости разнообразенъ и находчивъ въ погонѣ за интересомъ читателей. Бесѣдуя о календаряхъ, онъ умѣетъ сдѣлать любопытныя цитаты и коснуться первостепеннаго вопроса о значеніи тѣхъ же календарей въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія <sup>158</sup>). Кажется, на что неблагодарнѣе темы—критиковать дурныхъ переводчиковъ, сличать подлинникъ съ оригиналомъ, но и здѣсь *Телерафъ* умѣетъ представить зрѣлище большаго общаго интереса.

Въ одномъ случаѣ онъ лишній разъ нанесетъ рядъ неизлѣчимыхъ ранъ невѣжеству и тупоумію *Вьстника Европы* Каченовскаго, а въ другомъ дастъ блестящую страницу изъ исторіи русскихъ нравовъ.

Онъ изобразить типъ аристократическаго переводчика съ французскаго, барища-недоросля, мужа богатой жены, тупеяднаго почитателя клубовъ, вздумавшаго отъ бездѣлья и фанфаронства запоевать славу литератора при помощи «замушечныхъ и забостонныхъ пріятелей»... <sup>159</sup>). Это цѣлая сатира, и только по поводу перевода мольеровскаго «Скупого».

<sup>156</sup>) XVIII, 179, 181, 191.

<sup>157</sup>) XX, 251.

<sup>158</sup>) XXV, 132—3.

<sup>159</sup>) XIX, 124—5.



Эта манера говорить «по поводу», впоследствии чрезвычайно широко усвоенная Бѣлинскимъ, открыта *Телеграфомъ* II вполне понятно, почему. Издатель заданъ цѣлью всяческими путями распространять идеи и знанія среди публики, привыкшей забавляться литературой. Онъ неамѣрно идетъ дорогой французскихъ пресвитеровъ XVIII-го вѣка, «украшаетъ разумъ», дѣлая его доступнымъ одинаково «канцлеру и сапожнику». Читатель неожиданно для самого себя проглатываетъ большое количество «невещественнаго капитала» — собственное выраженіе Полевого. — проглатываетъ среди живой, увлекательной бесѣды. II великій выигрышъ учителя заключается въ искусствѣ замаскировать свою учительскую роль легкостью стиля, будто случайно вызванной вереницей идей, тонкимъ умѣньемъ «поводъ» связать съ проповѣдью.

Въ результатѣ едва ли не всѣ принципы литературной критики, какъ её понималъ Полевой, множество воззрѣній нравственнаго и общественнаго содержанія, перѣдко личная исповѣдь писателя высказаны и объяснены «по поводу» какого-нибудь мелкаго книжнаго, театральнаго или житейскаго факта. Эти объясненія, — наприимѣръ, тотъ же портретъ высокороднаго литератора, — случалось, увлекали критика далеко за предѣлы поставленнаго вопроса и на его долю приходилось развѣ нѣскольکو заключительныхъ замѣчаній. Но читатель не могъ чувствовать себя разочарованнымъ: ничтожество повода достаточно иллюстрировалось этими замѣчаніями, а сама статья всегда оставляла глубокое впечатлѣніе пріятнаго и поучительнаго сюрприза.

## L.

Мы знаемъ, надъ журналомъ Полевого издѣвались за несбываемую въ русской журналистикѣ пестроту содержанія, особенно доставалось издателю за модныя картинки. Положимъ, модныя картинки издавались при самыхъ серьезныхъ журналахъ и десятки лѣтъ спустя, и, наприимѣръ, герои Глѣба Успенскаго испытывалъ при этомъ фактѣ отнюдь не приливъ юмористическаго настроенія, а нѣчто близкое къ драмѣ и горючимъ слезамъ. Его «точно вараомъ обдало» при одной мысли, что для нѣкоторыхъ русскихъ читателей надо писать о модахъ, въ какія бы то ни было времена... <sup>160</sup>).

<sup>160</sup>) На старомъ переплетѣ.

Но Поленой поступалъ совсѣмъ иначе, чѣмъ описатель модъ тридцать лѣтъ спустя. Можетъ быть, уловки редактора не лишены наивности, но всѣ онѣ направлены къ одной, менѣе всего наивной цѣли и извѣстный характеръ пріема зависѣлъ всецѣло отъ аудиторіи, внимавшей публицисту.

Напримѣръ, по поводу украшеній дамскихъ шляпокъ и платьевъ совершается экскурсія въ область естественной исторіи и предлагаются свѣдѣнія о птицѣ мармобу. Та же бесѣда о модахъ уподобочиваетъ журналиста лишній разъ выступить на защиту просвѣщенія, и только потому, что приходится сообщать о туалетахъ парижскихъ дамъ, посѣтившихъ *засѣданіе академіи* <sup>161)</sup>.

Не выше модъ, конечно, вопросъ о балетѣ, именно о четырехактномъ балетѣ *Рауль синяя борода*. Но какъ разъ этотъ балетъ наводитъ автора на воспоминанія о добромъ старомъ времени французскаго классицизма и о жестокихъ гоненіяхъ классиковъ на романтизмъ. А эти воспоминанія, въ свою очередь, вызываютъ автора на разсужденія о необходимости прогресса, о естественной снѣжкѣ стараго и новаго. Это ни болѣе, ни менѣе какъ, основной одухотворяющій принципъ всей публицистической дѣятельности Полевого, какъ ее представляетъ Бѣлинскій: «мысль о необходимости умственного движенія, о необходимости слѣдовать за успѣхами времени, улучшаться, идти впередъ, избѣжать неподвижности и застоя, какъ главной причины гибели просвѣщенія, образованія, литературы». Бѣлинскій прибавляетъ, что эта истина, теперь общее мѣсто, была принята въ свое время «за опасную ересь» <sup>162)</sup>.

Но, пожалуй, опасныя ереси безопаснѣе проповѣдывать въ легкой бесѣдѣ о модахъ и балетахъ, чѣмъ въ нарочито важныхъ рѣчахъ, и *Телеграфъ* по случаю *Рауля* пишетъ слѣдующее:

«Никто не ропщетъ на немолчаливое время за то, что оно ежеминутно дѣлаетъ человека старѣе и старѣе, одно поколѣніе замѣняетъ другимъ; никто не слѣдуетъ о томъ, что дѣти, сохраняя нѣкоторыя черты родителей, не совершенно похожи на нихъ, а имѣютъ собственные фizioноміи. Итакъ, если сама природа столь неутомимо производитъ новое и новое, истребляя все устарѣвшее, то почему же намъ хотѣть положить преграды дѣятельности ума человѣчества?»

И дальше слѣдуетъ живая жанровая картина—старушки, когда—

<sup>161)</sup> XIX, 275; XXXI, 399.

<sup>162)</sup> (XIX, 275; XXXI, 399).

то красавицы и чаровательницы, теперь одинокой и осужденной на одни воспоминанія рядомъ съ прелестными внуками... <sup>163</sup>). Картинка сжівляется остроумной пародіей проповѣдей русскихъ классиковъ съ ископаными словечками подлинныхъ статей Каченовскаго, и на долю балета остается всего четыре строчки, но зато устроена лихая атака на ненавистный старовѣрческій лагерь.

Къ тому же вопросу критикъ *Телеграфа* возвращается и по поводу игры Мочалова въ *Гамлетъ*, мимоходомъ рассказывается вкратцѣ цѣлая исторія сценической игры въ Россіи. По поводу представленія на московской сценѣ *Школы мужей* обзрѣвается драматическая дѣятельность Мольера, развитіе мѣщанской драмы и судьба театра въ эпоху революціи <sup>164</sup>). Критикъ убѣжденъ, что «и водевилъ играетъ свою роль въ жизни нашего просвѣщенія», и принимается «философствовать» «ради» водевиля <sup>165</sup>).

Легко представить, по случаю болгаринскаго *Димитрія Самозванца*, важнаго литературнаго факта своего времени, пишется цѣлая диссертация о классицизмѣ и романтизмѣ, наравнѣ съ классиками жестоко достается неистовымъ романтикамъ <sup>166</sup>).

Мы вполне можемъ оцѣнить эту находчивость и бойкость пера по матеріалу, обильно разсѣянному въ статьяхъ *Телеграфа*, по цитатамъ чужихъ упражненій. *Телеграфу* приходилось разбирать профессорскія пѣтки, оригинальныя или переводныя, написанныя такимъ стилемъ:

«Изъ соннаго искусства изсѣкателѣй извели для наслажденія сладкомечтающихъ художниковъ одну соединенную дѣйствительность». Это изъ переводной книги, обязанной своимъ существованіемъ, между прочимъ, Шевыреву.

Въ журналѣ другого московскаго ученаго, Каченовскаго, печаталась «изящная словесность» на такомъ языкѣ:

«Цыганообразный прибыль, какъ продолженіе разговора пока-

<sup>163</sup>) XIX, 150, XXIII, 140.

<sup>164</sup>) XXVIII, 116. Статья принадлежитъ Василю Ушакову дѣятельному театральному критику *Телеграфа*. Сначала онъ, подобно Марлинскому, выступилъ врагомъ *Телеграфа*, но потомъ сталъ сотрудникомъ журнала. О немъ Кс. Полевой, стр. 137—139 и 267—269. Статьи Ушакова въ *Телеграфѣ* подписаны В. У.

<sup>165</sup>) XXIX, 271, 517.

<sup>166</sup>) XXXII, 232. Статья того же Ушакова, состоявшаго въ близкомъ знакомствѣ съ Булгаринымъ. Этимъ фактомъ объясняются слишкомъ горячія похвалы роману, хотя *Телеграфъ*, въ исключеніемъ ранняго періода, не стѣсняясь въ самыхъ лестныхъ отзывахъ о произведеніяхъ Булгарина.

зало, изъ Кларенбурга, гдѣ покойная моя бабушка провела послѣднюю половину своей жизни; влекомый потокомъ болтливости, скоро и ея самой коснулся онъ своимъ рассказомъ». Или дальше: «Мы встали; я же нырнулъ въ боковую комнату».

Мы знаемъ, не менѣе оригинальна была рѣчь и третьяго московскаго профессора Надеждина, какъ автора диссертациі. Онъ вмѣстѣ съ своимъ покровителемъ Каченовскимъ доставлялъ «сыщикамъ» *Телеграфа* богатѣйшую наживу <sup>167</sup>). Даже словари давали *Телеграфу* возможность писать презабавные отчеты и, чтобы убить одно изъ подобныхъ изданій, достаточно было, по его выраженіямъ, составить слѣдующію фразу: «Я взялъ *абшитъ* и теперь живу какъ *безмолвникъ*, но *безмрачный*, ибо *безмятежіе* даетъ *доброгласіе* моимъ чувствамъ. Мнѣ *нужна* теперь только *добродѣйка* для *благосчастія* въ жизни». Наконецъ, кн. Шликовъ, комическій воздыхатель и притязательный знатокъ тона и французскаго діалекта, одними только опечатками во французскихъ словахъ вдохновляетъ *Телеграфъ* на убійственную сатиру <sup>168</sup>).

Очевидно, подобные таланты и умы невольно внушали критику пародіи и ими *Телеграфъ* пользовался весьма охотно. Напримѣръ, въ «Отрывкахъ изъ новаго альманаха «Литературное зеркало» напечатаны сцены изъ трагедіи *Стенька Разинъ*, превосходно пародирующія таланты и произведенія Демишиллеровыхъ, т. е. псевдоромантиковъ. Сатира не минуетъ, конечно, злополучной «душегрѣйки», одной изъ самыхъ излюбленныхъ мишеней *Телеграфа*. Но здѣсь же направлень и вполне цѣлесообразный ударъ въ философско-романтическую выперенную поэтику. Демишиллеровъ убѣжденъ: «только тѣ минуты жизни поэтовъ, которыя выдаются изъ жизни вседневной, имѣютъ право входить въ закодированный кругъ ихъ мечтаній» <sup>169</sup>).

Эта воинственность, конечно, не оставалась безъ возмездія. *Телеграфъ*, и въ самомъ началѣ встрѣтившій немного друзей, съ каждымъ мѣсяцемъ пріобрѣталъ все больше враговъ. Стрѣлы направлялись на самый, по мнѣнію противниковъ, уязвимый пунктъ—прежде всего на общественное положеніе заносчиваго редактора.

<sup>167</sup>) XII, 255; XIX 274—5, XXXI, 353—4.

<sup>168</sup>) XIV. 129, 197. Еще забавнѣе исторія съ отзывомъ *Revue encyclopédique* о *Дамскомъ журналь* Шаликова. Князь жаловался, почему *Телеграфъ* не привелъ этого отзыва. *Телеграфъ* въ отвѣтъ перепечаталъ статью французскаго журнала и она оказалась менѣе всего лестной для чувствительнаго редактора. XIV, 99.

<sup>169</sup>) XXXII, 74.

Полевой—*купецъ* и даже торговецъ водкой: въ глазахъ Каченовскаго, Пазникова и вообще патентованныхъ педантовъ и благородныхъ литераторовъ—это клеймо и въ нѣкоторомъ родѣ лишеніе правъ. Даже Пушкинъ присоединилъ свой голосъ къ аристократической критикѣ. Сначала поэтъ доволенъ *Телеграфомъ* и «остренькими сидѣльцами». Но довольство, повидимому, поддерживалось исключительно посредничествомъ кн. Бяземскаго, по крайней мѣрѣ, таковъ смыслъ писемъ Пушкина къ князю. Во всякомъ случаѣ, при всѣхъ нападкахъ на Полевого за невѣжество и даже безграмотность, Пушкинъ цѣнилъ его отзывы и «съ истерическимъ» ждалъ ихъ о произведеніи Гоголя<sup>170</sup>).

Раздраженіе Пушкина было вызвано крайне рѣзкими нападками *Телеграфа* на «литературную аристократію». Полевой понималъ, какъ его принимали въ литературныхъ салонахъ, судьба аристократическихъ изданій отнюдь не отличалась блескомъ и силой, и, естественно, *Телеграфъ* не пропускалъ случая посягнуть надъ привилегированными словесниками. Пушкинъ отвѣчалъ въ *Литературной Газетѣ*.

Поэтъ, какъ часто бывало съ нимъ, пересолилъ въ своемъ гнѣвѣ и статью закончилъ такой исторической справкой:

«Эпиграмма демократическихъ писателей XVIII-го вѣка приуготовила крики: *Аристократовъ къ фонарю* и ничуть не забавные куплеты съ припѣвомъ: *Повѣсимъ его, повѣсимъ. Avis au lecteur*»<sup>171</sup>).

Любопытно было, что въ числѣ столь опасныхъ враговъ аристократіи оказывались, кромѣ полевого, Гречъ и Булгаринъ.

Полевой отвѣчалъ достойной отповѣдью «литературной недобросовѣстности», и, конечно, не думалъ прекратить своей войны съ «аристократами».

Въ отместку, на него сыпались сатиры за плебейство. Въ 1830 году въ Москвѣ вышелъ «нравственно-сатирическій романъ»: *Купеческій сынокъ или слѣдствіе неблагоразумнаго воспитанія*: стихи романа должны были пародировать мѣщанскій жаргонъ<sup>172</sup>).

Вопросъ вдругъ принялъ высоко официальный характеръ. Графъ Бенкендорфъ остался недоволенъ статьей *Литературной Газеты* и потребовалъ объясненія у цензуры. Та отвѣчала въ высшей степени краснорѣчивымъ соображеніемъ, очевидно, за свой

<sup>170</sup>) Письма въ июнѣ и отъ 15 септ. 1825 года. Письмо къ Гоголю отъ 25 авг. 1831 года.

<sup>171</sup>) *Литературная Газета*, 1830, № 45.

<sup>172</sup>) Барсуковъ, III, 232.

счетъ вступая въ литературно-политическую полемику съ журналистомъ-плебеемъ. Здѣсь какъ бы слышатся первые отголоски надвигающейся грозы. Цензоръ доноситъ о «стремленіи *Московского Телеграфа* выставить съ дурной стороны русское дворянство, чрезъ осмѣливаніе онаго почти въ каждой книжкѣ журнала разными критическими пьесами». А это стремленіе, по мнѣнію цензора, заслуживало «сильнаго опроверженія», какъ дѣло неблагонамѣренное.

Шаликовъ, чрезвычайно дорожившій своимъ титуломъ грузинскаго князя, клеймилъ Полевого «мюжжикомъ» и отрицалъ у него тонкія чувства <sup>173</sup>). Аристократы, какъ видно, не стѣснялись въ эпитетахъ. Особенно отличалась *Галатея*, издававшаяся Раичемъ. Даже кн. Вяземскій, самъ любившій чернильныя войны, возмущался тономъ журнала и находилъ одно объясненіе: Раичъ «спился. Трезвому невозможно такимъ образомъ и такъ скоро опомниться» <sup>174</sup>).

У Полевого, слѣдовательно, оказывалось два принципиальныхъ врага—литературная аристократія и академическая наука. И замѣчательно, оба врага шли однимъ путемъ, очевидно, вполнѣ соответствовавшимъ духу времени. Если Пушкинъ договорился до революціонныхъ эпизодовъ, Надеждину и Каченовскому было несравненно легче дойти уже прямо до юридическихъ бумагъ.

Въ *Молотѣ*, среди многочисленныхъ уликъ и критикъ, было представлено такое историческое соображеніе:

«Если находятся еще въ Россіи квасные патріоты, которые, наперекоръ Наполеону, почитаютъ Лафайэта человекомъ мятежнымъ и пронырливымъ, то пусть они заглянутъ въ № 16 *Московского Телеграфа* (на страницѣ 464) и увѣрятся, что «Лафайэтъ—самый честный, самый основательный человекъ во французскомъ королевствѣ, чистѣйшій изъ патріотовъ, благороднѣйшій изъ гражданъ, хотя вмѣстѣ съ Мирабо, Сіссомъ, Баррасомъ, Барреромъ и множествомъ другихъ былъ однимъ изъ главныхъ двигателей революціи; пусть сіи квасные патріоты увидятъ свое заблужденіе и перестанутъ

Презрѣнной клеветой злословить добродѣтель» <sup>175</sup>).

Мы оцѣнимъ вполнѣ эту справку, встрѣтивъ ее въ обвинительномъ актѣ Уварова противъ Полевого: официальный документъ буквально воспроизведетъ домыслъ журналиста <sup>176</sup>).

<sup>173</sup>) Кс. Полевой, 261.

<sup>174</sup>) Барсуковъ, II, 329.

<sup>175</sup>) *Молотъ*, 1831 года, № 48.

<sup>176</sup>) Сухомалповъ. О. с., стр. 418.

Ученые шли еще дальше: они не желали допускать Полевого даже въ свою среду. Когда Общество исторіи и древностей российскихъ выбрало автора *Исторіи русскаго народа* въ свои члены, Арцыбашевъ—одинъ изъ жестокихъ критиковъ Карамзина—заявлялъ свое глубокое негодованіе Погдину. Оно особенно любопытно въ устахъ сравнительно самостоятельнаго и свѣдущаго изслѣдователя русской исторической науки.

«Состояніе Полевого,—писалъ онъ,—укоризна не ему, но тому ученому обществу, которымъ онъ удостоенъ, безъ всякихъ заслугъ, членскаго званія. Купца 3-й гильдіи можетъ судебное мѣсто высѣчь плетью и—кто знаетъ будущее?—можетъ быть, со временемъ высѣкутъ Полевого».

Арцыбашева приводитъ съ отчаяніе эта возможность, но не ради Полевого, а ради чести ученаго общества. «Есть и крѣпостные люди съ ученостію,—продолжаетъ онъ,—лучшею, нежели Полевой, такъ неужели же и ихъ производить въ члены ученаго общества, состоящаго при университетѣ?»<sup>177)</sup>.

Съ теченіемъ времени эта учено-аристократическая атака на удачливаго журналиста плелея перешла даже на театральныя подмостки и московская сцена увидѣла небывалое зрѣлище: полемику драматическаго автора съ критикомъ путемъ веселыхъ куплетовъ.

А. И. Писаревъ, очень плодовитый, талантливый стихотворецъ и драматургъ, обидѣлся отзывомъ Полевого еще въ *Отечественныхъ Запискахъ*, издалъ цѣлую брошюру *Анти-Телеграфъ* и въ водевилѣ *Три десятки* вставилъ куплеты, долженствовавшіе поразить невѣжество Полевого:

Журналистъ безъ просвѣщенья  
Хочетъ публику учить,  
Самъ по кончивши ученья,  
Всѣхъ собирается учить;  
Мертвыхъ и живыхъ тревожить.  
Не пора ль ему шепнуть:  
«Готъ другихъ учить не можетъ.  
Кто учился какъ-нибудь!»

Въ театрѣ поднялся страшный шумъ: сторонниковъ Полевого среди публики нашлось больше, чѣмъ враговъ, и водевилъ скоро былъ снятъ со сцены<sup>178)</sup>.

<sup>177)</sup> Барсуковъ, III, 45.

<sup>178)</sup> Подробности о Писаревѣ въ *Литературныхъ и театральныхъ воспоминаніяхъ* С. Т. Аксакова. Эпизодъ съ водевилемъ, Гс. Полевой, стр. 141, ср. *Кодюпановъ*, I (2), стр. 300, прим. 72.



Наконецъ, были у Полевого противники богѣе, для него чувствительные и опасные, чѣмъ профессора и поэты—современная университетская молодежь. Журналистъ, естественно, очень дорожилъ ся расположеніемъ, но безпрестанно между ними и студентами обнаруживались недоразумѣнія, и по очень простой причинѣ.

Мы знаемъ, Полевой, по строго-практическому складу своего ума, менѣе всего былъ способенъ увлечься чистыми отвлеченностями или даже реальными, но слишкомъ отдаленными умозрительными перспективами. И мы слышали отзывъ философской молодежи о смутѣ философскаго міросозерцанія Полевого. Одинъ изъ представителей этой молодежи отмѣчаетъ еще болѣе существенный недостатокъ: недоступность для Полевого идей, не шеллинегіанства и сентъ-симонизма, идей рѣзкой политической и жизненной окраски. Полевой, очевидно, за нѣкоторыми дѣйствительно слишкомъ поэтическими и мечтательными идеалами Сентъ-Симона, не могъ различить преобразовательнаго и особенно критическаго зерна школы.

«Для насъ», писалъ много лѣтъ позже оппонентъ Полевого, «сентъ-симонизмъ былъ откровеніемъ, для него безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію»<sup>179</sup>).

Можно представить, какой богатый матеріалъ накоплялся въ современной журналистикѣ на тему *Анти-Телеграфа*. Уже въ половинѣ 1825 года издатель могъ составить «особенное прибавленіе» къ своему журналу, состоявшее исключительно изъ критическихъ статей противъ *Телеграфа*<sup>180</sup>).

Это предпріятіе, конечно, должно было только еще болѣе расплодить возраженія и брани, и Полевой, повидимому, начиналъ чувствовать усталость и охлажденіе къ непрерывнымъ стычкамъ, и въ концѣ 1826 года объявлялъ публикѣ о своемъ рѣшительномъ намѣреніи — болѣе не печатать антикритикъ<sup>181</sup>). Но эта политика осталась въ проектѣ, журналъ по прежнему продолжалъ воевать и даже прямо заявлялъ о необходимости полемики, «журнальная брань» то же, что «уголовныя слѣдствія въ государственномъ управленіи»<sup>182</sup>).

Но *Телеграфъ* «бранилъ» не личности, а дѣла и произведенія, между тѣмъ какъ противъ него велась почти исключительно личная

<sup>179</sup>) *Былое и думы*, VI, 198.

<sup>180</sup>) Кс. Полевой, стр. 134.

<sup>181</sup>) XII, 247—8.

<sup>182</sup>) XXXI, 417.

война. Краснорѣчивѣйшее доказательство безсилія противниковъ въ литературной борьбѣ, и въ то же время большихъ талантовъ и чрезвычайныхъ успѣховъ Полевого. Даже Уваровъ совѣтовалъ журналистамъ прекратить «дерзкія личности», отнюдь, конечно, не изъ сочувствія къ Полевому, а чтобы «облагородить изданія» <sup>183</sup>).

Замѣчательно, самъ Булгаринъ воздѣлалъ о чемъ-то подобномъ и въ предисловіи къ своимъ *Воспоминаніямъ* укорялъ критику въ неблагородныхъ побужденіяхъ <sup>184</sup>).

Но мы все-таки не должны думать, что хотя бы и въ жалобахъ Булгарина заключалось одно лицемеріе. Журналы просто не могли быть иными и содержаніе ихъ не становилось благороднѣе, отнюдь не по исключительной винѣ издателей.

Мы знаемъ мнѣніе Полевого о современной журнальной публикѣ. Онъ не стѣснялся это мнѣніе высказывать и въ болѣе откровенной формѣ. Большая часть публики любитъ перебранки литераторовъ, запальчивое остроуміе предпочитаетъ какой угодно критикѣ. Въ умственномъ развитіи она едва доросла до творчества Булгарина, и *Телеграфъ*, одобряя *Ивана Выжигина*, отлично сознаетъ секретъ его успѣха, — Вальтеръ Скоттъ не вполне понятенъ для русскихъ читателей, а Булгаринъ «наклоняется до публики» <sup>185</sup>).

Автору и журналисту приходится «угождать» и «услуживать», какъ мы читаемъ въ одной статьѣ *Телеграфа* <sup>186</sup>), не смотря на твердое рѣшеніе издателя не заискивать предъ чернью. Но гдѣ же пзять читателей помимо этой черни?

Въ высшемъ обществѣ русскихъ книгъ не читаютъ, тамъ думаютъ и говорятъ на чужихъ языкахъ, и тотъ же Булгаринъ оплакивалъ судьбу русскаго писателя, являющагося ниже иностранца въ своемъ отечествѣ. Даже классическія произведенія распродавались крайне медленно, напримѣръ, *Исторія* Карамзина, сочиненія Батюшкова, Жуковскаго <sup>187</sup>). Въ журналахъ, мы знаемъ, не платили гонорара вплоть до появленія *Телеграфа*: исключеніе сдѣлала на короткое время *Полярная звезда*, потомъ съ 1825 года примѣру ея послѣдовалъ *Гречъ* <sup>188</sup>).

Такія условія менѣе всего могли поднять достоинство литера-

<sup>183</sup>) Барсуковъ, IV, 99.

<sup>184</sup>) Предисловіе къ IV-й части, изд. 1848 года.

<sup>185</sup>) XII, 247; XXVIII, 78.

<sup>186</sup>) XIX, 180.

<sup>187</sup>) Въ *Русскомъ Архивѣ*. Ср. Весниъ, *Очерки исторіи русской журналистики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ*. Спб. 1881, стр. 223, 165.

<sup>188</sup>) К. Полевъ, 202. 4

турнаго труда и журнальных сотрудниковъ. Въ результатѣ, помимо угожденія публикѣ, ихъ тонъ, по самой обстановкѣ, выдавалъ въ крайности, и непрежѣнно мелочныя и личныя. Тотъ же Уваровъ, желавшій облагородить русскіе журналы, энергично настаивалъ на ихъ «опасномъ направленіи», требовалъ, чтобы они прекратили «дерзкое сужденіе о предметахъ, лежащихъ внѣ ихъ круга». Позже мы увидимъ, что это значило практически и что въ глазахъ министра считалось нестерпимой дерзостью... Можно подивиться таланту Полевого въ теченіе цѣлыхъ лѣтъ говорить о «предметахъ» среди многообразнѣйшихъ Сциалъ и Харабдъ. Близинскій былъ правъ, отличающае прежде всего литературность полемики *Телеграфа*: мы видимъ, это элементарное качество всякой культурной журналистики превращалось въ подвигъ во времена Полевого.

## LI.

Уже по отрывочнымъ примѣрамъ мы могли судить о богатствѣ талантовъ нашего журналиста, и на первомъ планѣ стоитъ публицистическій талантъ. Полевой много заботился о критикѣ, но и въ ней онъ оставался политикомъ очень яркой окраски. Сравнительно съ его заслугами, какъ общественнаго мыслителя, его критическая дѣятельность является второстепенной. Въ критикѣ онъ становился вполне сильнымъ и свободнымъ, когда приходилось рѣшать общественный или нравственный вопросъ, а не эстетическій, не чисто художественный.

Мы видѣли, «Телеграфъ» ратовалъ за романтизмъ. Здѣсь ничего не было ни смѣлаго, ни оригинальнаго. *Телеграфъ* только не поскунилъ на энергію и на остроуміе въ нападкахъ на классиковъ. Защищая, напримеръ, Мицкевича отъ классическихъ зоиловъ, *Телеграфъ* уподобляетъ ихъ «гаду, перегрызть пилу тщившемуся», при другомъ случаѣ сравниваетъ съ «совами», просиживающими «всю жизнь въ одномъ дуплѣ, не заботясь о мірѣ» и потерянными къ чужой жизни и ко всей вселенной внѣ ихъ гнѣзда<sup>109)</sup>. Вообще «педанты» и диктаторы не находятъ пощады у критиковъ *Телеграфа*. Журналъ очень мѣтко опредѣляетъ основную литературно-общественную разницу между классиками и романтиками: одни сидятъ въ крѣпости изъ древнихъ книгъ, другіе увлекаютъ публику, и побѣда ихъ несохнѣнна. Критикъ

<sup>109)</sup> XXII, 305; XXIX, 4, 5, 109, 265.

*Телеграфъ* умѣетъ забавно изложить драматическіе приемы классиковъ съ не меньшимъ остроуміемъ, чѣмъ когда-то дѣлали то же самое враги классицизма во Франціи XVIII вѣка <sup>190)</sup>. Но съ особенной жестокостью уничтожены классики и ихъ ученость по поводу *Горя отъ ума*. Статья безъ подписи и, можетъ быть, принадлежитъ самому издателю: въ прочувствованной рѣчи невольно слышится личное наболѣвшее чувство «самоучки» и «невѣжды».

«Наши ученые,—пишетъ критикъ,—жестоко возстаютъ противъ всего новаго, даже противъ новыхъ понятій, для коихъ необходимы новыя слова. Усердіе ихъ простирается до того, что нынѣ они стараются осмѣять даже высшіе взгляды, ибо горько разставаться имъ съ своими низменными взглядами. Самою лучшею сатирою на русскую ученость было бы то сочиненіе, въ которомъ кто-нибудь собралъ бы все, что осмѣивали и преслѣдовали наши ученые отъ временъ Тредьяковского до нашихъ. Тредьяковскій язвилъ Ломоносова, Ломоносовъ шпіалъ Миллеру, Сумароковъ перечилъ Ломоносову, а тамъ, а тамъ... можно досчитаться и до нашихъ дней. И все за новые взгляды, за новыя ученія, за новыя слова, за новыя новости. Тредьяковскій думалъ, что Ломоносовъ роняетъ руссійскую ученость; Ломоносовъ говорилъ, что Миллеръ оскорбляетъ русскихъ, выводя ихъ отъ шведовъ, а Сумарокову не нравилось все, что было не его, или не господина Расина и не господина Вольтера». Именно повизгъ характеровъ и драматическаго развитія *Горе отъ ума* обязано жестокой враждой классиковъ <sup>191)</sup>.

Естественно, *Телеграфъ* отрицалъ вообще всякія попытки подчинить поэзію правиламъ. Ихъ не существуетъ для искусства всѣхъ временъ, такъ же какъ и для «дѣйствій человѣчества». «Поэзія—самое свободное, неуловимое изъ всего проявляющагося въ человѣчествѣ» <sup>192)</sup>.

Этотъ взглядъ *Телеграфъ* съ большимъ успѣхомъ примѣнилъ въ театральной критикѣ, именно въ сравнительной оцѣнкѣ двухъ знаменитѣйшихъ трагиковъ—Мочалова и Каратыгина. Журналъ отдавалъ преимущество московскому артисту: онъ «больше говоритъ душѣ и сердцу зрителю». Каратыгинъ «весь—искусство» Мочаловъ «весь—чувство»; «одинъ какъ будто говоритъ публикѣ

<sup>190)</sup> Напр., Grimm, *Corresp. littéraire*, XV, 238. *М. Тел.*, XXIX, 494.

<sup>191)</sup> XXXVIII, 128—9.

<sup>192)</sup> XIV, 289.

смотри и удивляйся! другой заставляет ее невольно раздвигать съ нимъ его чувство и принимать малѣйшее участіе въ лицѣ, имъ представляемомъ» <sup>193</sup>).

Любопытна тонкость и проницательность, съ какими *Телеграфъ* предсказалъ торжество Мочалова въ роли *Гамлета*. Каратыгинъ, по мнѣнію критика, превосходилъ Мочалова, исполняя роль по искаженному переводу, т. е. по нешекспировскому тексту. Но въ настоящемъ шекспировскомъ *Гамлетѣ* Мочаловъ, навѣрно, превзошелъ бы всѣхъ другихъ исполнителей. Предсказаніе исполнилось посемь лѣтъ спустя, когда Мочаловъ привелъ Блиискаго въ восторгъ ролью *Гамлета* по переводу Полевого <sup>194</sup>).

Всѣ эти идеи о свободѣ творчества, о безцѣльной полемикѣ романтиковъ и классиковъ были продолженіемъ дѣла, начатаго другими. Полевой внесъ въ вопросъ больше послѣдовательности, яркости и чисто-публицистической страсти. Для него романтизмъ являлся торжествующей школой во имя практической жизненности, свободы и прогресса, а не философскихъ и эстетическихъ соображеній. *Телеграфъ* поэтому не отказался напечатать въ статьѣ кн. Вяземскаго суровый запросъ русскимъ философамъ, подвизавшимся въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Дѣло началось изъ-за сочиненій Вальтеръ-Скотта.

Критикъ требовалъ «практической рецензіи», столь же ясной и положительной, какъ творчество романиста. Только при такихъ условіяхъ можно «дѣйствовать на умы» русскихъ читателей.

«Русскій умъ любить, чтобы ему было за что держаться, а не любить плавать въ туманахъ и влажной мглѣ, въ стихіи неопредѣленной, въ которой нѣмцу раздолье, какъ рыбѣ въ прохладной рѣкѣ» <sup>195</sup>).

Но это не значило, будто *Телеграфъ* вообще отрешивается отъ философіи. Напротивъ, онъ усвоилъ вполне современный европейскій взглядъ на нее, какъ на положительную науку. Авторитетъ *Телеграфа*—французская философія въ лицѣ Кузэна.

Ксенофонтъ Полевой жестоко напалъ на Кирѣевскаго, когда тотъ непочтительно отозвался о французскомъ философѣ, обвинилъ

---

<sup>193</sup>) XXIX, 107.

<sup>194</sup>) Ст. о Мочаловѣ—В. У., XXIX, 275. О переводѣ *Гамлета* и первомъ представленіи трагедіи въ переводѣ Полевого — Кс. Полевой, 365. Особенно любопытенъ рассказъ автора о помощи, какую К. А. Полевой оказалъ Мочалову при изученіи роли *Гамлета*.

<sup>195</sup>) XXII, 136.

въ заимствованіяхъ у нѣмцевъ. И замѣчательно, даже по этому случаю *Телеграфъ* не забываетъ указать на развитіе литературной и политической жизни Франціи и, повидимому, этотъ именно фактъ заставляетъ критика французскую философію предпочитать всякой другой <sup>196</sup>).

Естественно, журналъ не преминулъ затронуть очень щекотливый вопросъ о философіи XVIII-го вѣка. Мы знаемъ, какъ его рѣшали профессора московскаго университета, въ родѣ Каченовскаго и Надеждина, и, по условіямъ времени, поступали вполне цѣлесообразно. *Телеграфъ* занимаетъ противоположное положеніе.

Онъ прежде всего энергично возражаетъ автору, обвинившему просвѣщеніе въ гибели Франціи XVIII-го вѣка. А потомъ даетъ подробное изображеніе борьбы «эсологической школы» противъ того же просвѣщенія. Эта школа не возбуждаетъ въ насъ никакого благороднаго сочувствія, она руководилась почти исключительно «своекорыстіемъ и предразсудками» и возставала противъ просвѣтительной философіи не потому, что она была «чувственная», но потому, что она была «свободномыслящая», враги, слѣдовательно, ненавидѣли ее за то, «что въ ней было лучшаго».

*Телеграфъ* идетъ дальше. Онъ отдѣляетъ революцію отъ философіи XVIII-го вѣка, считаетъ философію столь же мало виноватой въ ужасахъ революціи, какъ христіанство въ Варооломеевской ночи и въ тридцатилѣтней войнѣ <sup>197</sup>).

Сотрудники *Телеграфа* не одобряли ни матеріализма, ни якобинства, и ихъ заслуга состояла именно въ стремленіи выдѣлить, по ихъ мнѣнію, здоровое зерно критицизма и свободы въ философіи прошлаго вѣка и снять съ нея огульное поношеніе реакціонеровъ и мракобѣсовъ <sup>198</sup>).

Это пристрастіе ко всему жизненному и свободному легло въ основу лучшихъ критическихъ статей Полевого.

*Телеграфъ* съ самаго начала сталъ на сторону Пушкина, провозглашалъ его, не въ примѣръ современному просвѣщенному русскому обществу и даже русскимъ писателямъ, «великимъ знатокомъ языка русскаго». Титулы «великій поэтъ», «человѣкъ гениальный» безпрестанно сопровождаютъ имя Пушкина. Но эти отзывы касались

---

<sup>196</sup>) XXXI, 219.

<sup>197</sup>) XII, 253; XXIII, *Нынѣшнее состояніе философіи во Франціи*, стр. 50 etc

<sup>198</sup>) Кс. Полевой о Гольбахѣ и Гельвеціи и о философской пропагандѣ *Телеграфа*, — *Записки*, стр. 157—159, ср. Колупановъ, I (2), стр. 64—5.

<sup>199</sup>) XXI, 513—7; XXIX, 109.

преимущественно «прекестныхъ стихотвореній» поэта. Похвалы понизились въ тонѣ по поводу *Евгенія Онегина*, но не сразу. Начало романа приветствовалось восторженно; только съ выходомъ дальнейшихъ главъ критикъ видѣлъ слишкомъ мало разнообразія въ содержаніи, «краски и тѣни одинаковы», «картина все та же». Критикъ, очевидно, не успѣлъ распознать психологической стихіи въ романѣ и, что еще удивительнѣе, чисто-русского реализма въ замыслѣ поэта.

Опъ прикидываетъ «чувствованія» Пушкина къ байроническимъ и находитъ, что первыя «не достигають высоты» вторыхъ. Въ результатѣ советъ поэту—«перейти въ русскій міръ, углубиться въ отечественное, родное ему»<sup>200</sup>).

Три года спустя Полевой давалъ отчетъ о *Борисѣ Годуновѣ* и называлъ Пушкина «первымъ изъ современныхъ русскихъ поэтовъ», «полнымъ представителемъ русскаго духа своего времени», но одновременно подчеркивались два изъяна въ поэзиі Пушкина: карамзинское образованіе въ дѣтствѣ и подчиненіе Байрону. Даже *Евгеній Онегинъ*, по мнѣнію Полевого, «русскій снимокъ съ лица Донъ-Жуанова».

Мы знаемъ, это взглядъ, довольно распространенный въ ранней критикѣ пушкинскаго таланта. И все недоразумѣніе было создано не заблужденіемъ поэта, а извѣстнымъ типомъ его героя. *Евгеній Онегинъ*, какъ личность, дѣйствительно, копія байроническихъ фигуръ, такъ его именуетъ и самъ поэтъ. Эта подражательность жизни была перенесена критиками на произведеніе автора, и даже Полевой, при всей своей чуткости къ живой дѣйствительности, не распозналъ истины.

А между тѣмъ, въ той же статьѣ вѣрно оцѣнены недостатки романтической нѣмецкой и французской драмы. Въ *Эмонтъ* Гёте и *Донъ-Карлосъ* Шиллера критикъ не находитъ строго-исторической истины и жизненной простоты. То же самое и въ драмахъ Гюго, созданныхъ подъ вліяніемъ систематическаго протеста противъ старой теоріи и построенныхъ непременно на странныхъ противоположностяхъ.

Полевой рѣшительно отрицаетъ эстетическія системы. О Шекспирѣ онъ такъ выражается: «его система въ душѣ, его философія въ сердцѣ, его тайна въ великой идее, которую угадалъ его гений». Ничего преднамѣреннаго и напряженнаго. Критикъ возстаетъ осо-

---

<sup>200</sup>) XXXII, 243, № 6, мартъ 1830 года.



бенно противъ «напряженія», предвосхищая любимый терминъ Писемскаго и всюду ища свободнаго раскрытія природы и таланта поэта.

Полевой идетъ дальше. Онъ готовъ защищать популярнѣйшую идею критики шестидесятыхъ годовъ, о преимуществахъ дѣйствительности надъ творчествомъ. «Никогда фантазія никакого поэта не превзойдетъ поэзіи жизни дѣйствительной».

Слѣдовательно, полная свобода вдохновенной личности художника и реальная жизнь, какъ источникъ вдохновенія. Эти принципы, совершенно установленные Полевымъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, въ первое время изданія *Телеграфа* должны были бороться съ юношескими пристрастіями къ романтизму, хотя бы и въ умѣренной дозѣ по части грандіознаго и чрезвычайнаго.

Напримѣръ, въ статьѣ о сочиненіяхъ Шиллера *Телеграфъ* не признавалъ трагедій, взятыхъ изъ будничной жизни. Такія трагедіи не могутъ «возбудить высокихъ ощущеній». На основаніи этого соображенія въ *Коварствѣ и любви* Шиллера критикъ отрицалъ трагическій интересъ <sup>202</sup>).

Впослѣдствіи наклонѣлъ и въ упадкѣ литературной энергіи и таланта Полевой снова вернется къ призракамъ молодости и выступить противъ Гоголя, какъ поэта слишкомъ низменной дѣйствительности. Къ таланту русскаго сатирика будетъ прикинута мѣрка «высокаго гумора Шекспирова» и «исполинскихъ остротъ Виктора Гюго»...

Это возвращеніе къ стародавнимъ наивностямъ краснорѣчивѣе всѣхъ патріотическихъ драмъ свидѣтельствовало о нравственномъ шатаніи критика. Но по статьямъ этого періода никто и не станетъ судить Полевого, какъ критика. Ему не суждено было—мы увидимъ какой судьбой—неуклоннаго и неутомимо бодрого литературно-общественнаго прогресса, какъ онъ осуществился въ жизни его прямого наследника—Бѣлинскаго...

Но въ лучшія времена личной энергіи и публицистическаго таланта Полевой стоялъ на высотѣ, не только недоступной, но даже едва понятной большинству его соперниковъ.

Блестящій примѣръ, тотъ же разборъ «Бориса Годунова», къ сожалѣнію, не дождавшійся окончанія.

Правда, надо имѣть въ виду, что тонъ статьи былъ разгоряченъ

<sup>201</sup>) XIV, 229, № 8, 1827 года.

<sup>202</sup>) Статьи о Пушкинѣ въ *Очеркахъ русской литературы*, I.

въ сильнѣйшей степени полемическимъ настроеніемъ противъ Карамзина, но это обстоятельство не только не повредило истинѣ, а даже помогло критику подчеркнуть ее съ нарочитою яркостью.

Карамзинъ безъ всякой критики принялъ рассказъ летописей о преступленіи Бориса и создалъ изъ его судьбы мелодраму. Поэтъ перенесъ съ буквальной точностью этотъ замыселъ на свою сцену.

Полевой спрашиваетъ: «что могъ извлечь Пушкинъ, изображая въ драмѣ своей тяжкую судьбу человѣка, который не имѣетъ ни силъ, ни средствъ свергнуть съ себя обвиненіе передъ людьми и потомствомъ!.. Выѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу человѣка съ судьбою, мы видимъ только приготвленія его къ казни и слышимъ только стоны умирающаго преступника».

Въ этой же статьѣ дано краткое и краснорѣчивое опредѣленіе романтической, новой драмѣ. У нея есть также законы, прежде всего строгое единство дѣйствія. Она не похожа на классическую только тѣмъ, что «условія не безобразятъ истину и жизнь» классическая говоритъ, а она дѣйствуетъ...

Неудача Пушкина въ *Борисъ Годуновъ*, слѣдовательно, исключительно вина Карамзина, слѣдовательно, внѣшняго отрицательнаго вліянія на поэта. Собственный же талантъ его, на взглядъ Полевого, всегда стоялъ на высотѣ правды и жизненной силы. Немедленно послѣ кончины Пушкина Полевой предлагалъ воздвигнуть ему памятникъ, «достойный его славы и русской чести».

Помимо таланта и дѣятельности Пушкина, *Телеграфъ* безпрестанно обращался и къ другимъ первостепеннымъ русскимъ писателямъ, неизмѣнно стремясь произнести надъ ними судъ принципиальный, всеобъемлющій, истинно-литературный и прочный.

Статьи Полевого о Державинѣ и о Жуковскомъ—цѣлые трактаты, какихъ не знала раньше русская журналистика. Полевой не только попытался опредѣлить поэтическій геній Державина по всѣмъ его произведеніямъ, но отдалъ себѣ ясный отчетъ въ исключительности этого генія для его эпохи. Мы знаемъ, Мерзляковъ уже понималъ поэтическую силу Державина; но это скорѣе было инстинктивнымъ чутьемъ художественной природы критика, чѣмъ подробной и всесторонне развитой идеей. Восторги предъ Державинымъ не помѣшали профессору пользоваться въ своей наукѣ пѣтиками, Полевой именно примѣромъ Державина воспользовался ради лишней атаки на теорію эстетики. Можетъ быть, статья написана даже съ несумѣреннымъ энтузіазмомъ и

подчасъ очень фразисто, что вообще не въ духѣ Полевого, но, какъ и всегда, критика непосредственно переходила въ воинственную публицистику противъ ученаго педантизма и его претензій сковать разсудочными узами свободный полетъ гевія.

Отъ проицательности критика не ускользаетъ основной изъянъ державинскаго вдохновенія — идеализація русской старины вопреки исторической правдѣ. Не будь этого наивнаго увлеченія, Державинъ началъ бы истинно-національный періодъ русской поэзіи. Въ талантѣ поэта было достаточно національных русскихъ стихій, но Державину не доставало яснаго пониманія предмета и даже своего гевія. Державинъ легко соблазнился почестями, и чиновничьей дѣятельностью, пошелъ въ всѣможи и сановники, а подъ конецъ жизни вздумалъ даже сочинить классическую трагедію.

Всѣ эти недоразумѣнія снова даютъ Полевому поводъ, къ страстнымъ нападкамъ на его жесточайшихъ враговъ — свѣтъ и классицизмъ. Критикъ одновременно говоритъ гражданскимъ голосомъ даровитаго разночинца и сильнаго литератора и лирической рѣчью романтика.

Статья о Жуковскомъ прежде всего блестящая сатирическая характеристика меценатскаго періода русской литературы. Его смѣнили англійскія и германскія вліянія. Жуковскій явился даровитѣйшимъ романтикомъ, но отнюдь не на почвѣ всего европейскаго романтизма. Въ его поэзіи нѣтъ народности, нѣтъ и живой дѣйствительности. Эти замѣчанія были сдѣланы и другими, но у Полевого они принимаютъ болѣе рѣзкую форму: народности и дѣйствительность означаютъ чуткое отношеніе поэта къ общественной и политической жизни своего отечества.

У Жуковскаго не было этой гражданской чуткости, и Полевой очень тонко даетъ читателямъ понять основной порокъ прекраснодушнаго романтизма пѣвца «Свѣтланы».

Критикъ не желаетъ прослыть хулителемъ таланта Жуковскаго. «Нѣтъ! — продолжаетъ онъ, — мы сами благоговѣемъ предъ младенческою чистотою этой души, ровною струею переливавшейся черезъ страшную долину событій съ 1803 до 1833 года, переливавшейся постоянно съ гармоническимъ журчаніемъ, не смотря на то, по какимъ бы скаламъ, падавшимъ въ нее со всѣхъ сторонъ, ни текла дума поэта».

Благоговѣніе, врядъ ли искреннее въ устахъ критика и попало оно среди въ высшей степени вѣскихъ укоризнъ, ради только законнаго чувства почтенія къ заслуженному литературному имени дѣйствительно добраго человека.

Могъ ли Полевой благоговѣть предъ поэтомъ, «не знающимъ національности русской», — Полевой, произнесшій одновременно въ статьѣ о Мерзляковѣ жестокою отвѣдь переслагателямъ русскихъ народныхъ пѣсень? Для критика именно въ просторѣ и грубости народныхъ думъ заключаются «красоты необыкновенныя», и сотрудничество толко-просвѣщенныхъ стихотворцевъ съ народомъ онъ считаетъ театральными плясками съ *на* и *антраша*: «крестьяне въ маскарадѣ... ошибка страшная и нестерпимая!».

И въ доказательство Полевой подробно разлагаетъ Мерзляковскія пѣсни на составные элементы — чисторусскіе и иноземные... Но и послѣ этой критики онъ призывалъ читателей къ снисходительности. «Иначе, хваля и презирая безъ отчета, мы будемъ несправедливы».

Эта сдержанность — характерная черта Полевого, какъ критика, и особенно относительно старыхъ, въ свое время значительныхъ литературныхъ именъ. Только одно оказалось исключеніемъ, и по обстоятельствамъ въ высшей степени любопытнымъ и въ исторіи идейнаго развитія Полевого, и въ судьбахъ всей русской критики. Это имя Карамзина.

## ЛII.

Бѣлинскій, мы видѣли, сѣтовалъ на безтактную запальчивость Полевого относительно Карамзина въ *Исторіи русскаго народа*. Критикъ могъ высказать и болѣе существенный упрекъ — въ прямой непослѣдовательности мнѣній.

*Телеграфъ* въ первые годы изданія, повидимому, искренне раздѣлялъ «карамзинолятрію», царствовавшую въ нѣкоторыхъ литературныхъ кружкахъ. Это выраженіе принадлежит Гречу, очень сильно изображающему исключительное положеніе «исторіографа» въ послѣдній періодъ его жизни. «Изступленные фанатики, — пишетъ Гречъ, — требовали не только признанія таланта въ Карамзинѣ, уваженія къ нему, но и самаго слѣплого языческаго обожанія. Кто только осмѣливался судить о Карамзинѣ, выбрать въ его твореніяхъ малѣйшее пятнышко, тотъ въ ихъ глазахъ становился злодѣемъ, извергомъ, какимъ то безбожникомъ» <sup>203</sup>).

*Телеграфъ* не противорѣчилъ этимъ настроеніямъ.

---

<sup>203</sup>) Гречъ, О. с., стр. 409, 413.

Журналъ готовъ сопровождать одами даже такія происшествія въ жизни Карамзина, какъ его отъѣздъ за границу. Напримѣръ, въ 1826 году печатается такое воззваніе къ «Дельфійскому богу»:

Вѣнецъ тобою данъ

Историкъ, философу, поэту!

О! будь его вождемъ! Пусть, странствуя по свѣту,

Онъ возвратится здоровъ для славы Россіянъ! <sup>204)</sup>

По смерти Карамзина журналъ восклицалъ:

«Поэты русскіе! усыпьте могилу его цвѣтами скорби! Вы, которымъ Провидѣніе вручило рѣзецъ исторіи и вручило даръ высокаго краснорѣчія! Вздвигните ему памятникъ celestialнаго сердечнаго слова!» <sup>205)</sup>.

*Телеграфъ* очень хлопоталъ о біографіи, достойной Карамзина, желалъ бы имѣть даже «постоянный журналъ разговоровъ его», изъ иностранныхъ источниковъ собиралъ уважительные отзывы «о первомъ и величайшемъ историкѣ Россіи». Карамзинъ, по мнѣнію *Телеграфа*, «единственный въ слогѣ», представилъ также въ великой и вѣрной картинѣ нашей старины мелкія историческія событія, и журналъ считаетъ долгомъ взять на себя защиту исторіографа предъ иностранцами, ихъ недоразумѣніями, ихъ невѣдѣніемъ русскаго подлинника и дѣйствительнаго положенія русской исторической науки.

*Телеграфъ* не пропускаетъ случая сослаться на Карамзина, даже какъ философа, указываетъ, какъ удачно русскій историкъ предвосхитилъ нѣкоторыя мысли Кузэна—величайшаго авторитета сотрудниковъ *Телеграфа* <sup>206)</sup>.

Изъ всѣхъ этихъ славословіи для насъ особенно важна чрезвычайно высокая оцѣнка историческаго труда Карамзина. Этого мало. *Телеграфъ* взялъ на себя роль оберегателя карамзинской славы, роль очень хлопотливую.

Не всѣ русскіе журналисты оказались зараженными идолопоклонствомъ предъ талантами исторіографа, и на противоположныхъ чувствахъ сошлись самые несходные литераторы и разнообразныя изданія.

Голосъ сомнѣнія раздался въ *Сѣверномъ Архивѣ*, слѣдовательно, изъ устъ Булгарина, еще въ 1825 году, по поводу исторіи Бориса Годунова.

<sup>204)</sup> VIII, 84—стих. В. Пушкина.

<sup>205)</sup> IX, 80.

<sup>206)</sup> XV, 70; XVIII, 214, 217—8; XXV, 303.

Критикъ упрекалъ историка въ погонѣ за краснорѣчіемъ, за небрежностью въ «доказательствахъ» и изслѣдованіяхъ, и, что еще важнѣе, въ равнодушіи къ бытовой исторіи русскаго народа, развитію его учрежденій, его образованію <sup>207</sup>).

Булгаринъ не могъ идти далеко въ своихъ разсужденіяхъ на подобныя темы, по невѣроятному, анекдотическому невѣжеству, засвидѣтельствованному Гречемъ <sup>208</sup>). Въ Москвѣ вышелъ болѣе освѣдомленный журналъ *Московскій Вѣстникъ*, редактируемый Погодинымъ. Онъ открылъ генеральную атаку на *Исторію Государства Россійскаго* статьями И. С. Арцыбашева.

Это былъ «регистраторъ русской исторіи», по выраженію Погодина, до своихъ статей о Карамзинѣ въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ занимался «сводомъ лѣтописей», напечаталъ нѣсколько работъ историко-археологическаго содержанія, и въ глазахъ Погодина, очевидно, обладалъ извѣстнымъ авторитетомъ <sup>209</sup>).

Статьи объ *Исторіи* Карамзина появились въ 1828 году и съ самаго начала обнаружили большую запальчивость и даже безпощадность автора.

Арцыбашевъ прежде всего напалъ на слогъ Карамзина, болѣе провозглашательный, нежели историческій, на стремленіе историка истиной жертвовать «суесловію», прельщать «любителей легкаго чтенія». И критикъ нерѣдко очень удачно подбираетъ факты для подтвержденія своихъ укоризнъ.

Напримѣръ, гибель Аскольда и Дира.

«Несторъ дастъ знать просто: убили или убили Аскольда и Дира; для чего же написано здѣсь, что они пали *подъ мечами къ ногамъ Олговымъ*? Такія украшенія въ слогѣ бытописательномъ вредятъ истинѣ и могутъ произвести ненужные споры: иной, обнадѣявшись на слова г. исторіографа, будетъ въ самомъ дѣлѣ утверждать, что Аскольдъ и Диръ убиты *мечами* и пали *къ ногамъ Олега*. Сверхъ того, что значить *умолчаніе*, которое историкъ намъ означилъ тремя точками?»

Арцыбашевъ, очевидно, не отступалъ и предъ мелочными придирками, но въ общемъ онѣ давали вѣрное представленіе о наивно торжественномъ велерѣчии исторіографа. Карамзинъ, оказывалось, даже не оправдалъ своей собственной программы, какъ бы она ни была рассчитана на внѣшнія украшенія исторической истины.

<sup>207</sup>) *Сиб. Архивъ*, 1825 г., часть XIII.

<sup>208</sup>) О. с., стр. 452—3.

<sup>209</sup>) Біографія Арцыбашева и отношенія къ Погодину. Барсуковъ, II, 135 etc.

Въ предисловіи историкъ признавалъ непозволительнымъ «для выгодъ своего дарованія обманывать добросовѣстныхъ читателей», «мыслить и говорить за героевъ, которые уже давно безмолвствуютъ въ могилахъ», и послѣ этихъ разсужденій все-таки сочиняется рѣчь Святослава.

Заключение—критика: «довольно красиво, да только не очень сираведливо», распространяется на весь трудъ Карамзина и всюду подтверждается самыми наглядными примѣрами: сличеніемъ карамзинскаго разсказа съ лѣтописнымъ <sup>210)</sup>.

Подобная критика не могла отличаться самостоятельной новизной и широтой идей, но, несомнѣнно, во многихъ случаяхъ поражала высуреннаго исторіографа въ самые чувствительные изъяны его таланта и способа писать исторію на манеръ беллетристики чувствительно проповѣдническаго жанра.

Годъ спустя противъ Карамзина выступилъ Полевой. У него, какъ видимъ, были предшественники, и *Телеграфъ* очень ихъ не жаловалъ. Онъ смѣялся надъ попытками Каченовскаго критиковать исторіографа, съ пренебреженіемъ говорилъ объ Арцыбашевѣ и Погодинѣ, объявившемъ историческій трудъ Карамзина «только памятникомъ краснорѣчія», пишется, наконецъ, спеціальная статья *Антикритика и хладнокровныя замѣчанія на толки и. критиковъ Исторіи государства російскаго и ихъ сопричетниковъ*. Арцыбашевъ, Строевъ, Погодинъ находятъ достойную, отповѣдь, и особенно достается Погодину, какъ болѣе видному ученому <sup>211)</sup>.

И въ томъ же году, въ самомъ скоромъ времени, въ томъ же *Телеграфѣ* является статья самого издателя <sup>212)</sup>.

Начинается статья очень смѣлыми похвалами *Исторіи* и попутно бросаются укоры по адресу критиковъ въ родѣ Арцыбашева. Вообще Карамзинъ ставится на крайне возвышенный пьедесталъ, наравнѣ съ Ломоносовымъ, но немедленно слѣдуетъ оговорка: значеніе Карамзина, какъ писателя, историческое, сравнительное. И дальше рядъ замѣчаній касательно *Исторіи*.

Она «неудовлетворительна», «какъ философъ историкъ, Карамзинъ не выдерживаетъ строгой критики». Полевой видитъ только «прекрасныя фразы», въ «реторическомъ» карамзинскомъ опредѣленіи исторіи, чрезвычайно ограниченное пониманіе ея цѣлей

<sup>210)</sup> *Московскій Вѣстникъ*, 1828, часть XI, стр. 290—292; часть XII, стр. 73, 87—8, 267—8.

<sup>211)</sup> *М. Т.*, XXIII, 488, 492; ст. О. Сомова о критикахъ Карамзина, XXV, 238.

<sup>212)</sup> *М. Т.*, 1829 года, XXVII; перепечатана въ *Очеркахъ*, т. II.



удовольствіе, нима читателей, красота повѣствованія. Общей руководящей идеи нѣтъ у Карамзина. Ему не доступно представленіе о «духѣ народномъ», вѣсто исторіи, у него выходитъ галерея портретовъ. Притомъ безъ всякой исторической перспективы и безъ критическаго анализа.

Полевой не забываетъ поразить едва ли не самый слабый пунктъ карамзинскаго творенія, — превратное чувство любви къ отечеству. У патріотически-настроеннаго, но не мыслящаго историка, даже варвары являются облагороженными, чрезвычайно доблестными, мудрыми, даже художественно-развитыми, только потому, что Рюрикъ, Святославъ—русские князья.

У Карамзина нѣтъ ни малѣйшаго представленія объ исторической связи событій, и критикъ, между прочимъ, приводитъ весьма любопытный примѣръ подобнаго же близорукаго историческаго смысла. «Даже въ наше время,—говоритъ онъ,—повѣствуя о французской революціи, развѣ не полагали, что философы развратили Францію, французы, по природѣ истреники, одурѣли отъ чада философіи и вспыхнула революція».

Это «наше время», благодаря историкамъ, въ родѣ Тэна, не сошло со сцены до послѣднихъ дней и, конечно, историческій смыслъ Карамзина долженъ былъ потерпѣть совершенный разгромъ предъ столь простой, но, повидимому, чрезвычайно трудно осуществимой точкой зрѣнія. Естественно, Полевой считалъ возможнымъ «на каждую главу» исторіи Карамзина написать «огромное опроверженіе, усиленное замѣчаніи г. Арцыбашева».

Статья не многословная, но поразившая славу Карамзина во всѣхъ существенныхъ источникахъ ея свѣта, патріотическаго чувства и историческаго таланта и разума.

Немедленно поднялась буря. «Идолопоклонники» инстинктивно должны были почувствовать въ Полевомъ несравненно болѣе сильнаго врага, чѣмъ во всѣхъ другихъ зоидахъ Карамзина. Самая сдержанность тона, энергичныя похвалы сообщали особенно рѣзкую соль исторически-сравнительной оцѣнкѣ значенія Карамзина. И во главѣ оскорбленныхъ оказались первостепенные представители современной литературы.

Пушкинъ написалъ рядъ статей объ *Исторіи русскаго народа* и раньше Бѣлинскаго отмѣтилъ будто преднамѣренное совпаденіе критики и творчества. Полевой, казалось, за тѣмъ уничтожалъ Карамзина-историка, чтобы самому стать на его мѣсто. Поэтъ говорилъ сдержанно и въ литературномъ тонѣ. Онъ негодовать

на *Вѣстникъ Европы* и *Московскій Вѣстникъ*, на статьи Надеждина и Погодина, на «непростительнѣйшее забвеніе обязанности» критика. Но, очевидно, Пушкинъ, вдохновившійся именно *Исторіей* Карамзина въ *Борисъ Годуновъ*, не могъ простить Полевому посягательства на геній исторіографа.

Кн. Вяземскій поступилъ гораздо энергичнѣе: отказался отъ сотрудничества въ *Телеграфѣ*, прервалъ даже личныя отношенія съ издателемъ и составилъ о немъ самое удручающее мнѣніе, какъ литераторѣ. Полевой, будто бы, «родоначальникъ литературныхъ наѣздишковъ, какихъ-то кондотьеры, низвергателей законныхъ литературныхъ властей. Онъ изъ первыхъ приучилъ публику смотрѣть равнодушно, а иногда и съ удовольствіемъ, какъ кидаютъ грязью въ имена, освященные славою и общимъ уваженіемъ, какъ, напримѣръ, въ имена Карамзина, Жуковского, Дмитріева, Пушкина»<sup>213</sup>).

Негодовалъ и третій корифей современной литературы — Жуковскій. Такимъ подвигомъ оказалось довольно скромное и безусловно справедливое сужденіе о нѣкоей «литературной власти!». Полевой, ограничившись статьей, въ сущности не отступилъ отъ своихъ прежнихъ чувствъ къ Карамзину, за исключеніемъ разнѣ только нѣкоторыхъ неосторожныхъ раннихъ похвалъ *Телеграфа* фактической вѣрности карамзинской *Исторіи*. Весь вопросъ сводился къ исторически-относительной оцѣнкѣ Карамзина и ся-то не желали признать ни идолопоклонники, ни даже такіе журнальные бойцы, какимъ съ гордостью заявлялъ себя кн. Вяземскій.

Естественно, у Полевого заговорила желчь и обида. Съ этихъ поръ Карамзинъ становится для него своего рода кошмаромъ. Помимо двойного текста къ *Исторіи русскаго народа*, *Телеграфъ* безпрестанно метаетъ камни въ огородъ исторіографа и его неразумныхъ почитателей.

До какой степени чувства Полевого были возбуждены нападками на его безусловно искреннюю и литературную попытку опредѣлить мѣсто Карамзина въ русской литературѣ, показываетъ удивительная статья *Телеграфа* о двухъ обзорѣніяхъ русской словесности въ «Делниці» и «Сѣверныхъ цвѣтахъ». Статья имѣла въ виду Кирѣевскаго и Сомова, но не упустила и вопроса *pro domo sua*.

Статья упоминаетъ о злополучной критикѣ *Телеграфа* на Ка-

<sup>213</sup>) Полное собр. сочиненій кн. Вяз., 1884 года, IX, 211.

рамзина и заявляетъ: «Авторъ сего разбора, въ качествѣ чело-  
вѣка, могъ ошибиться, но, какъ гражданинъ и писатель, испол-  
нилъ свой долгъ безукоризненно».

II въ доказательство слѣдуетъ ссыла на иностраннаго кри-  
тика, во всемъ согласнаго съ русскимъ <sup>214</sup>).

Иностранцы и позже оказываютъ услугу «Телеграфу». Напри-  
мѣръ, Брокгаузъ понизилъ цѣны на нѣкоторыя книги, и въ числѣ  
ихъ оказался нѣмецкій переводъ *Исторіи* Карамзина. Книги эти  
уступались за полтины. «Видно, что худо покупаютъ ихъ въ Гер-  
маніи» <sup>215</sup>).

Въ статьяхъ о разныхъ писателяхъ Полевой не пропускаетъ  
случая указать на неразумный патріотизмъ Карамзина, на его  
поверхностное французское отношеніе къ Шекспиру, Канту, Гѣте  
и даже на утомительность его искусственно-красиваго стиля <sup>216</sup>).

Все это несомнѣнные отголоски скорѣе личныхъ настроеній,  
чѣмъ настоятельной необходимости—добивать величіе Карамзина.  
Но, соглашаясь съ Бѣлинскимъ касательно патетическаго проис-  
хожденія отзывовъ Полевого объ исторіографіи въ эпоху *Исторіи*  
*русскаго народа*, мы не должны упускать изъ виду цѣлесообраз-  
ности и въ общемъ полной основательности критики Полевого.  
Онъ, даже и въ порывѣ сильныхъ чувствъ, приносилъ несомнѣн-  
ную пользу здравому смыслу и критической правдѣ, не оставляя  
въ покоѣ лжей и наивностей своего соперника. Полевой, при всемъ  
полемическомъ азартѣ, именно по отношенію къ карамзинской  
исторической школѣ, выполнялъ долгъ гражданина и писателя  
гораздо «безукоризненнѣе», чѣмъ его жертва со всѣмъ своимъ  
краснорѣчіемъ и національной гордостью.

Тѣмъ же путемъ шелъ Полевой и въ другихъ общественно-  
литературныхъ вопросахъ своего времени.

### LIII.

Мы отчасти знакомы съ демократическими тенденціями Поле-  
вого: они—основной символъ его идейной вѣры. *Телеграфъ* въ  
русской печати явился первымъ органомъ третьяго сословія, т. е.  
интеллигенціи, разночинцевъ, всего просвѣщеннаго изъ низшихъ  
сословіи въ противоположность *свѣту* и *баричамъ*. Полевой съ

<sup>214</sup>) XXXI, 214.

<sup>215</sup>) XXXVIII, 289.

<sup>216</sup>) Въ статьяхъ о Державинѣ, Жуковскомъ, *Очерки*, I, 78, 104, 140.

гордостью заявлялъ о своемъ происхожденіи изъ купеческаго званія и не остановился предъ самыми презрительными выходками по адресу *боярскихъ дѣтокъ*.

Эти взгляды находились въ совершенно логической связи съ принципами Полевого въ литературной критикѣ. Тамъ *Телеграфъ* неустанно защищалъ талантъ противъ привилегій, т. е. учности, здѣсь—личность противъ правъ рожденія и положенія. Одна и та же идея личной свободы и личнаго достоинства водила перо публициста и эстетика.

Орестъ Сомовъ, при всемъ своемъ романтизмѣ, былъ поклонникомъ свѣта и его влияній на искусство; кн. Вяземскій, при всей своей публицистической воинственности, также не прочь былъ сдѣлать набѣгъ на несвѣтскихъ литераторовъ. *Телеграфъ* достойно отвѣтилъ тому и другому.

«Большой свѣтъ,—заявлялъ журналъ,—никогда не былъ разсадникомъ дарованій, а, напротивъ, много разъ убивалъ самыя счастливыя надежды». И примѣровъ приводится длинный рядъ—все писателей изъ демократической среды и демократическаго развитія таланта. Особенно эффектно сопоставленіе Шекспира съ его покровителемъ, графомъ Соутгамптономъ, и дальше сравненіе литературныхъ вкусовъ людей знатныхъ и народа.

«Они всегда смотрѣли и будутъ смотрѣть на литераторовъ, какъ на ремесленниковъ, болѣе ихъ искусныхъ въ своемъ дѣлѣ, но чуждыхъ имъ во всѣхъ отношеніяхъ. Они покупаютъ книгу такъ же, какъ покупаютъ лампу, кресло, рояль, какъ удобство, но не какъ произведеніе безсмертнаго духа».

Совершенно иначе, по наблюденіямъ *Телеграфа*, относятся къ литературѣ «низшіе классы». Для нихъ «литература есть та стихія, которою они сближаются съ человѣчествомъ. Она просвѣтитъ ихъ умъ, образуетъ ихъ чувства и покажетъ имъ обязанности ихъ къ Богу, къ царю, къ отечеству» <sup>217</sup>).

Отсюда горячая защита литературы, какъ «потребности жизни», «невещественнаго капитала» наравнѣ съ «вещественнымъ». Это сопоставленіе, заимствованное Полевымъ изъ иностранной политико-экономической литературы, вызвало смѣхъ у завистниковъ и противниковъ *Телеграфа*, но идея отъ этого не утрачивала ни своего достоинства, ни своего практическаго значенія именно для русскаго общественнаго сознанія.

<sup>217</sup>) XXXI, 229.

<sup>218</sup>) XXIII, 241.

Только при одновременномъ и одинаково дѣйствующемъ развитіи промышленности и литературы «государство является въ полнотѣ народнаго бытія» <sup>219</sup>).

Народъ, какъ основа государственной жизни и литературы, какъ просвѣтительная сила—двѣ могучія стихіи прогресса и благоденствія политическаго общества, *Телеграфъ* поэтому неустанно стоитъ на стражѣ писательскаго достоинства и народнаго просвѣщенія путемъ литературы.

«Словомъ литераторомъ есть одно изъ полезнѣйшихъ въ просвѣщенномъ государствѣ. Оно составляется изъ людей благомыслящихъ, которые съ хорошимъ образованіемъ соединяютъ пламенную любовь къ наукамъ и отважную вражду къ невѣжеству».

Прежде всего къ невѣжеству народа. *Телеграфъ* внушаетъ писателямъ идти съ талантами въ народъ, писать для него. *Телеграфъ* собиралъ свѣдѣнія у книгопродавцевъ, и тѣ охотно замѣнили бы сказки и прочіи вздоръ, фабрикуемый для народа, «истинно полезными сочиненіями». И журналъ обращается къ подложавшимъ силамъ съ такимъ воззваніемъ:

«Кто изъ литераторовъ захочетъ посвятить себя полезному, но не славному труду: сочиненію для простаго народа книгъ, разнообразныхъ цѣли ихъ изданія? Пора бы, однакожъ, подумать объ этомъ! Каждый истинный сынъ отечества, конечно, съ большимъ удовольствіемъ увидѣлъ бы появленіе полезной для простаго народа книжки, нежели десяти стихотвореній къ Лидѣ, къ Лизѣ, къ Манѣ, къ Сапѣ—этой воды, которая потопляетъ наши альманахи и журналы» <sup>220</sup>).

И снова слѣдуетъ любимое доказательство *Телеграфа*, ссыла на западные культурные порядки. Въ Англіи, напримѣръ, цѣлая обществу для изданія простонародныхъ книгъ. Почему, въ Россіи это дѣло совершенно заброшено? А между тѣмъ народу читать нечего, кромѣ старыхъ и заказныхъ книгопродавческихъ книгъ. И *Телеграфъ* предлагаетъ на первое время воспользоваться календарями для распространенія среди народа положительныхъ знаній и здравыхъ понятій <sup>221</sup>).

Полевой оставался вѣренъ себѣ и по «внѣшней политикѣ». Мы знаемъ его недовольство младенческимъ патріотизмомъ Карамзина. Эта тема лежала близко сердцу журналиста. Онъ непре-

<sup>219</sup>) XXXI, 416.

<sup>220</sup>) XII, 56.

<sup>221</sup>) XIX, 125.

станно возвращается къ ней,—и однажды далъ удивительно мѣткое, ставшее знаменитымъ наименованіе извѣстному сорту «любви къ отечеству».

«Многіе признають за патріотизмъ безусловную похвалу всему, что свое. Тургенъ называлъ это *лакейскимъ патріотизмомъ, du patriotisme d'antichambre*. У насъ его можно бы назвать *кваснымъ патріотизмомъ*. Я полагаю, что любовь къ отечеству должна быть слѣпа въ пожертвованіяхъ ему, но не въ тщеславномъ самодовольствѣ: въ эту любовь можетъ входить и ненависть» <sup>222</sup>).

Нельзя не замѣтить любопытнаго совпаденія нѣкоторыхъ разсужденій Полевого съ идеями первостепеннаго русскаго гуманиста—просвѣтителя Тургенева. Основной принципъ «внутренней политики» — требованіе отъ интеллигенціи работы на пользу народа—скромной, незамѣтной, менѣе всего героической. Во «внѣшней политикѣ» — страстная любовь къ славѣ отечества и жгучая ненависть ко всему, что безславить его, приснопамятное потугинское чувство любви и вражды къ родинѣ.

Полевой на каждомъ шагу будетъ напоминать намъ благороднѣйшіе и культурнѣйшіе завѣты нашей литературы.

Унизивъ квасной патріотизмъ, Полевой возсталъ противъ славянофильскаго ученія о гниломъ Западѣ. Онъ соглашался съ Кирѣевскимъ насчетъ «великаго предназначенія» Россіи, но совершенно не вѣрилъ, будто государства Европы отжили свой вѣкъ: «новый вѣкъ для нихъ только начинается» <sup>223</sup>).

И въ доказательство «Телеграфъ» не уставалъ перечислять успѣхи Европы въ XIX-мъ столѣтіи во всѣхъ областяхъ творчества и мысли. Именно въ тщательномъ изученіи этихъ успѣховъ, въ усвоеніи культурной энергіи европейцевъ Полевой видѣлъ задачу русскаго просвѣщенія.

Отсюда безпримѣрное усердіе *Телеграфа* сообщать публикѣ литературныя и ученныя новости Европы. Нѣтъ рѣшительно ни одной литературы, какой бы *Телеграфъ* не коснулся, ни одного знаменитаго европейскаго имени въ наукѣ первой четверти XIX-го вѣка, не упомянутого журналомъ Полевого.

Этотъ «самоучка» приходилъ въ страстное негодованіе на русскую ученую косность и умственную безжизненность. И негодова-

<sup>222</sup>) XV, 232.

<sup>223</sup>) XXXI, 230—1.

<sup>224</sup>) XXVI, 438—9.

ніе оказывалось пошлѣ праведнымъ, Полевому приходилось высказывать такіе упреки:

«Равнодушіе русскихъ литераторовъ и ученыхъ людей непостижимо. Твореніе Нибура будто и не существуетъ для нихъ. Ни въ одной русской книгѣ не увидите и слѣда, что автору или переводчику знакомъ Нибуръ. У насъ переводятъ нѣмецкую дрянъ пропалаго вѣка, подъ именемъ исторій, исторій, юридическихъ книгъ, — и въ голову не придутъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, ни Савиньи. Мы все еще твердимъ о Ролленѣ, Шренкѣ, Аренвилѣ, Гуго Гроціи и въ Клюбери думаемъ видѣть великаго человека»<sup>225</sup>).

II *Телеграфъ* имѣлъ право гордиться, что онъ познакомилъ русскую публику съ Нибуромъ, Савиньи.

Но Полевой отнюдь не былъ слѣпымъ поклонникомъ европейскихъ авторитетовъ. Напримѣръ, онъ признавалъ полное невѣжество иностранцевъ относительно Россіи и въ *Телеграфѣ* появлялись убійственные статьи противъ западныхъ путешественниковъ, изучавшихъ Россію въ гостиныхъ или изъ коляски. Особенно доставалось французамъ — за ихъ національное самодовольство, «площадный патріотизмъ», и дѣйствительно, расовое невѣжество въ культурѣ и нравахъ другихъ народовъ<sup>226</sup>). Вообще, — «галломанія» одинъ изъ спеціальныхъ враговъ *Телеграфа* и онъ настаиваетъ на необходимости учиться русскимъ у англичанъ — практическимъ свѣдѣніямъ, наукѣ, общественности, у нѣмцевъ — философіи, литературѣ, а поэзію англійскую журналъ даже и не осмѣливался сравнивать съ французскою<sup>227</sup>). Только Кузнецъ стоялъ для *Телеграфа* вѣкъ критики, и нѣкоторыя произведенія Виктора Гюго.

Но для насъ особенно любопытна полемика *Телеграфа* въ области политической экономіи съ И. Б. Сэемъ. Журналъ противъ неограниченной свободы торговли, потому что всякое государство рано или поздно должно развить собственные производства во всѣхъ областяхъ промышленности.

Государствъ исключительно земледѣльческихъ или промышленныхъ нѣтъ. «Время, въ которое государство довольствуется земледѣліемъ, показываетъ, что сіе государство ниже другихъ по своему

---

<sup>225</sup>) Сочиненіе Савиньи *Geschichte des römischen Rechts in Mittelalter*, изложено *Телеграфомъ* подробно, томъ XXVIII.

<sup>226</sup>) XV, 231; XXII, 144.

<sup>227</sup>) XV, 237, XX, 252.



образованію гражданскому». II *Телеграфъ* смѣло перечислялъ рядъ производствъ, дѣйствительно позже развившихся въ Россіи,—напримѣръ, свекловичный сахаръ, и рисовалъ для Россіи будущее всесторонней промышленной дѣятельности. Только она, по мнѣнію журнала, ведетъ къ богатству и просвѣщенію <sup>228</sup>). Статьи по экономическимъ вопросамъ писались въ *Телеграфѣ* очень горячо и популярно: издатель, можетъ быть по своей прежней коммерческой дѣятельности, чувствовалъ себя сильнымъ въ этой области. Во всякомъ случаѣ, политическая экономія открывала издателю запретный путь вообще въ политику и лишній разъ доказывала находчивость и энергію Полевого.

Естественно, *Телеграфъ* стоялъ за самое тѣсное сближеніе русскихъ съ родственнымъ племенемъ, поляками. Въ журналѣ усердно писались статьи о Мицкевичѣ, неизмѣнно восторженные и проникнутыя горячимъ желаніемъ сближенія двухъ народовъ.

*Телеграфъ* горько сѣтовалъ на незнакомство русскихъ съ польской литературой и языкомъ, ставилъ журналамъ польскимъ и русскимъ въ обязанность «изготовить предварительныя мѣры семейнаго сближенія» и создать обоюдную пользу для словесностей русской и польской. Полевой открываетъ даже постоянный отдѣлъ *Новости польской литературы* <sup>229</sup>). И здѣсь на сценѣ все та же культурность идей и гуманность стремленій.

II все это разнообразіе предметовъ являлось отнюдь не результатомъ одной практической бойкости издателя. Полевой усилывалъ серьезно учиться и набирать множество свѣдѣній по всѣмъ предметамъ общепросвѣтительнаго характера. Въ критикѣ на историческія сочиненія онъ обнаруживалъ поразительную эрудицію и библиографическія познанія настоящаго ученаго <sup>230</sup>). Литературныя статьи, часто написанныя наскоро и при полномъ отсутствіи разработки матеріала въ этой области, оказывали большія услуги даже специалистамъ ученымъ.

Фактъ въ высшей степени краснорѣчивый и онъ засвидѣтельствованъ академикомъ Н. К. Гротомъ.

«Я сталъ читать Державина,—пишетъ Гротъ—по смиренному изданію тридцатыхъ годовъ, съ помощью отдѣльныхъ къ нему объясненій, напечатанныхъ Остолоповымъ и Львовымъ. При

<sup>228</sup>) XXIII, 243.

<sup>229</sup>) Статьи о Мицкевичѣ, XIV, 192; XXV, 233; XXIX, 3, etc.

<sup>230</sup>) Напр., ст. о сочиненіяхъ Берха, Бергмана и Сумарокова. *Очерки* 77 02

этомъ позволю себѣ небольшое отступленіе, чтобы отдать справедливость слишкомъ забытому нынче писателю, въ свое время принесшему великую пользу литературѣ, именно Полевому. Его критическія статьи о русскихъ авторахъ, помѣщавшіяся сначала въ *Московскомъ Телеграфѣ*, а потомъ составившія книгу *Очерки русской литературы*, при всемъ несовершенствѣ своемъ съ точки зрѣнія ученыхъ требованій, имѣли, однакожъ, очень благотворное дѣйствіе, распространяя въ обществѣ историко-литературныя знанія и возбуждая любознательныхъ къ дальнѣйшимъ занятіямъ. Ему былъ я обязанъ первымъ моимъ знакомствомъ съ названными двумя комментаріями къ Державину» <sup>231</sup>).

Способности Полевого шли дальше, чѣмъ распространеніе свѣдѣній и понятій въ литературной исторіи. «Самъ онъ не былъ ученымъ,—говоритъ современный ученый,—но умѣлъ понять всю важность новыхъ изслѣдованій». Полевой, не въ примѣръ заграничнымъ и отечественнымъ ученымъ въ родѣ Каченовскаго, одѣлилъ литературно-археологическія изслѣдованія Казаѣдовича <sup>232</sup>).

Подобные факты можно бы умножить, и они свидѣтельствуютъ о совершенно исключительномъ явленіи въ исторіи русской періодической печати, не только временъ Карамзиныхъ и Каченовскихъ, но и позднѣйшей эпохи. Неустанная страсть издателя къ самообразованію, по истинѣ вѣнасытная жажда знанія—живого, практически дѣйствительнаго, и поразительное искусство пріобщать къ своему умственному капиталу обширную публику. Еще вчера подписчики журналовъ угощались или идиллическими стишками чаще всего на самомъ дикомъ пѣтическомъ нарѣчій, или уличной перебранкой ученыхъ и критиковъ, нерѣдко далеко оставившей за собою схватку моэеровскихъ педантовъ, или изслѣдованіями о кунныхъ мордкахъ и словесныхъ теоріяхъ, одинаково требовавшими перевода на общедоступный языкъ.

Самымъ литературнымъ и отраднымъ явленіемъ приходилось считать диссертациі немалингіанцевъ. Но философы слишкомъ рѣдко спускались на землю и возвышенныя идеи осуществляли на одѣикѣ современной художественной дѣйствительности. Немалингіанство постигло много плодотворныхъ, преобразовательныхъ сѣмянъ въ эстетикѣ, но оказалось безсильнымъ одушевить ее публицистической энергіей и буднично-настоятельными идеалами.

<sup>231</sup>) У Сухомлинова. О. с., стр. 368.

<sup>232</sup>) Пыпинъ, *Меценаты и ученые Александровскаго времени*, Вѣстн. Европы, 1888, V, 720.

Публика по достоинству оценила и подантовъ, и фаустовъ: тѣ умирали естественной смертью отъ худосочія и маразма, эти тщетно усиливались дотянуть до своихъ высотъ толпу.

Явился Полевой, и картина мгновенно измѣнилась.

Журналистъ заговорилъ простой обыденной рѣчью, но о вещахъ важныхъ и поучительныхъ. Идея ни на минуту не утрачивала своего достоинства, и выигрывала въ доступности и простотѣ. Успѣхъ *Телеграфа* быстро доказалъ цѣлесообразность такой политики, и фактъ засвидѣтельствованъ со стороны, соперникомъ и конкурентомъ.

Среди воинственного натиска на *Телеграфъ* со стороны его собратіи, *Отечественныя Записки* Свиныина писали о врагахъ московскаго журналиста:

«Что бы они ни дѣлали, какъ ни напрягались, а публика сама видитъ ревность издателя *Телеграфа* ознакомить Россію съ ходомъ наукъ и словесности европейской; публика давно признала журналъ сей лучшимъ литературнымъ журналомъ, великодушно прощаетъ ему нѣкоторую небрежность въ переводахъ, нѣкоторую рѣзкость въ приговорахъ и сужденіяхъ, искупаемая, впрочемъ, благонамѣренностью цѣли и слишкомъ, можетъ быть, пламенной любовью къ истинѣ и совершенству, и вопреки гонителей и подражателей подписка на *Телеграфъ* увеличивается ежегодно».

Братъ Полевого приводитъ цифры, показывающія изумительный ростъ популярности *Телеграфа*. Первое изданіе, не много меньше тысячи, разошлось до выхода второй книжки, третью книжку пришлось печатать почти въ двойномъ количествѣ экземпляровъ и доходъ издателя съ каждымъ годомъ увеличивался<sup>233</sup>).

Успѣхъ ободрялъ издателя на дальнѣйшее расширеніе и совершенствованіе дѣла, но тотъ же успѣхъ собиралъ все больше тучъ надъ головой удачливаго журналиста и гроза должна была разразиться надъ *Телеграфомъ* въ полный разгаръ его блеска и жизни.

#### LIV.

Полевой не намѣренъ былъ ограничиться однимъ изданіемъ и его мечты росли одновременно съ популярностью *Телеграфа*. Уже черезъ два года съ половиной онъ задумываетъ газету *Компасъ*

<sup>233</sup>) Кс. Полевой, 112, ср. Колупановъ, I (2), 554.

и ученый журналъ *Энциклопедическія лѣтописи отечественной и иностранной литературы*. Въ іюлѣ 1827 года въ московскій цензурный комитетъ былъ представленъ планъ этихъ изданій.

Издатель свидѣтельствовалъ о серьезныхъ успѣхахъ *Телеграфа* въ такой средѣ, какъ ученая обществу и иностранная журналистика. Эти успѣхи обязываютъ издателя «распространить полезную цѣль» журнала, но его размѣры—непреодолимое препятствіе. Приходится откладывать множество дѣльных и любопытныхъ статей. А между тѣмъ издателю желательно «составить полное обзорѣніе современнаго просвѣщенія и настоящія лѣтописи современной исторіи».

Съ этою цѣлью предлагается газета, выходящая по два раза въ недѣлю, и трехъ-мѣсячный журналъ «совершенно ученаго содержанія». Газета должна имѣть два отдѣла — политическій и литературный.

Цензура не находила препятствій удовлетворить ходатайство Полевого, считала только необходимымъ запросить министра народнаго просвѣщенія, въ коего вѣдомствѣ состояла цензура, насчетъ политическихъ извѣстій и статей о театрѣ. Министръ касательно политики, въ свою очередь, направилъ вопросъ въ министерство иностранныхъ дѣлъ, но сужденія о театральныя пьесахъ и объ игрѣ актеровъ — запретилъ безъ всякихъ справокъ. Все прочее Полевому разрѣшалось.

Но пока велось дѣло, шефъ жандармовъ Бенкендорфъ получилъ три обвинительныхъ акта противъ *Московского Телеграфа* и дальнѣйшихъ намѣреній его издателя.

Въ запискахъ указывалось на крайнюю опасность политической газеты: она даже своимъ молчаніемъ можетъ «волновать умы и посѣвать неблагопріятныя ощущенія въ читателяхъ». Потомъ вообще «духъ» *Телеграфа* «есть оппозиція», уже потому, что Полевой принадлежитъ къ среднему сословію, а это сословіе «всегда болѣе склонно къ нововведеніямъ», а потомъ самая Москва вообще центръ неблагонамѣренныхъ мыслей и поступковъ писателей. Тамъ отъ времени Павликова до послѣднихъ дней печатаются всѣ запрещенныя и вредныя книги, тамъ и о политикѣ судятъ по своему, не соображаясь съ петербургскими внушеніями. Авторы записокъ обнаруживали рѣдкостный талантъ читать между строкъ. Естественнo, Полевой уличался въ примѣшиваніи политики къ рецензіямъ о поэзіи, обвинялся въ «самомъ явномъ карбонаризмѣ» и всѣ москвичи, «замѣченные въ якобинизмѣ», сотрудники *Теле-*

*графа*. Авторы, оказывается, подробно знали личные знакомства этих опасных людей, съ кѣмъ кто «водится» и подкрѣпляли свои домыслы напоминаніемъ о декабрьской исторіи. Сочувственные намеки на декабристовъ добровольцы открывали въ *Телеграфѣ* повсюду и даже кн. Вяземскій попалъ въ авторы «катехизиса декабристовъ», за стихотвореніе *Изсѣдованіе*.

Цѣль была вполнѣ достигнута. Полевой на верху нашелъ единственнаго защитника—И. С. Мордвинова, но защита не принесла никакой пользы. Петербургскіе литераторы и многіе москвичи, по свидѣтельству очевидца, торжествовали побѣду. Полевой не только получилъ отказъ въ своихъ ходатайствахъ, но съ тѣхъ поръ на него обратили особенное вниманіе и ему приходилось теперь дѣйствовать подъ сугубымъ наблюденіемъ.

Неудача не испугала журналиста.

Въ 1831 году онъ является съ новымъ проектомъ расширенія программы и объема *Телеграфа* путемъ приложений. Программа заканчивалась торжественнымъ изъявленіемъ благонадежности—религіозной и политической. Императоръ Николай не согласился съ этими завѣреніями и на докладѣ министра написалъ: «Не позволять, ибо и нынѣ ничуть не благонадежныѣе прежняго».

Рѣшеніе состоялось въ ноябрѣ 1831 года, и вскорѣ министромъ народнаго просвѣщенія явился Уваровъ, злѣйшій врагъ *Телеграфа* и его издателя. Новый министръ немедленно представилъ государю докладъ о запрещеніи *Телеграфа*, государь отказалъ; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣдовало второе ходатайство министра, и на этотъ разъ онъ былъ удовлетворенъ.

Что побуждало Уварова къ столь энергическимъ дѣйствіямъ?

Ксенофонтъ Полевой вражду министра къ *Телеграфу* объясняетъ негодобрительными отзывами журнала объ академическихъ изданіяхъ. Но этого обстоятельства врядъ ли было бы достаточно для гоненій министра на журналъ. Уваровъ, несомнѣнно, гораздо важнѣе считалъ «неблагонамѣренность» Полевого касательно другихъ дѣйствій правительства,—не академическихъ изданій. А потомъ, ему не давали покоя все тѣ же добровольцы.

Уваровъ, какъ глава цензурнаго вѣдомства, безпрестанно получалъ жалобы на распущенность цензуры. Самолюбіе начальника, естественно, уязвлялось и онъ принялся собирать матеріалы, подтверждающіе жалобы <sup>234</sup>).

<sup>234</sup>) По словамъ Пушкина, эту работу велъ Бруновъ, по совѣту Блудова Сочин., V, 201.—Исторія запрещенія «Телеграфа» у Сухомлинова. О. с.

Въ результатѣ составилаь толстая тетрадь изъ выписокъ за все время изданія *Телеграфа* <sup>235</sup>).

Это въ высшей степени любопытный и содержательный документъ. Начинается онъ съ идей Полевого о назначеніи журнала и журналиста: журналъ долженъ имѣть въ себѣ *душу*, т. е. цѣль, а журналистъ, являясь *колонновожатымъ*. Это, по мнѣнію составителя обвинительнаго акта, означало возвѣщать о необходимости преобразованій и восхвалять революцію. Въ подтвержденіе приводился отзывъ *Телеграфа* о французской революціи, какъ фактъ *европейскомъ и необходимомъ*, презрительное мнѣніе о «большомъ свѣтѣ» старой Франціи.

Тотъ же революціонный характеръ приписывался и демократическимъ взглядамъ Полевого. Приводились дѣйствительно эффектные мѣста изъ статей *Телеграфа*, наприимѣръ, о торжествѣ «чернаго человека», купца и раба надъ «феодалистомъ» при помощи «правительснаго ядра». Эти слова подчеркивались обвинителемъ. Слѣдовали дальше цитаты и насчетъ «могущественнаго и сильнаго средняго сословія» Россіи, въ Москвѣ, и особенно такое стремительное заявленіе: «Первый печатный листъ былъ уже прокламація побѣды прискѣпленныхъ *разночинцевъ* надъ *невъждими-дворянчиками*. Латы распались въ прахъ».

Удостоилась отмытки и слѣдующая программа общественной литературной дѣятельности: «Мы должны помогать правительству, *создавая русскую промышленность, русское воспитаніе, русскую литературу, словомъ, внутреннее образованіе*».

Актъ былъ готовъ, составъ преступленія опредѣленъ, требовался только поводъ къ процессу. Полевой создалъ его—рецензіей на драму Кукольника *Рука Всевышняго отечество спасла*.

Драма съ пераго представленія попала въ разрядъ высокооффиціозныхъ поэтическихъ произведеній. Патріотизмъ автора одобрилъ государь, избранная публика наполняла театръ, сомнѣваться въ достоинствахъ пьесы — значило не признавать русской славы и обнаруживать духъ возмущенія.

Полевой въ Москвѣ, не зная подробностей объ этихъ триумфахъ драмы, написалъ статью, безусловно неодобрительную и даже ядовитую, пріѣхалъ въ Петербургъ, увидѣлъ собственными глазами и услышалъ отъ другихъ «влиятельныхъ особъ», какому риску подвергалась его чисто-литературная критика, немедленно по-

<sup>235</sup>) Напечатана у Сухомлинова.

сказъ въ Москву распоряженіе вырѣзать статью. Но распоряженіе пришло поздно, успѣли уничтожить статью только въ нѣсколькихъ экземплярахъ...

Драма признавалась крайне неудачнымъ произведеніемъ, по обилію отступленій отъ исторической истины, по мелодраматическимъ эффектамъ, она «исчала» критика въ то время, когда ея восторгъ былъ признанъ обязательнымъ для всякаго истиннаго патріота.

Гроза нагрѣла и разразилась.

Никитенко, въ дневникѣ подъ 5 апрѣля 1834 года, даетъ любопытныя подробности. Государь хотѣлъ сначала очень строго поступить съ Полевымъ, но потомъ призналъ вину правительства въ долготерпѣніи и ограничился запрещеніемъ изданія.

Фактъ вызвалъ «сильныя толки». «Одни горько сътуютъ, что единственный хорошій журналъ у насъ уже не существуетъ. По дѣломъ ему, говорили другіе, онъ осмѣливался бранить Карамзина. Онъ даже не пощадилъ моего романа. Онъ либераль, якобинецъ,—известное дѣло».

Уваровъ въ разговорѣ съ Никитенко точнѣе опредѣлилъ политическую программу *Телеграфа*: это—органъ декабристовъ.

При всей важности офиціозныхъ воззрѣній на дѣятельность Полевого и настроеній публики, для насъ еще поучительнѣе впечатлѣніе первостепенныхъ современныхъ литераторовъ. Вопросъ шелъ не только о безпримѣрно вліятельномъ органѣ печати, но и о самой участи русскаго писателя, его положеніи предъ обществомъ и властью.

Былъ ли понятъ лучшими современниками этотъ вопросъ во всемъ его дѣйствительномъ значеніи?

## LV.

Мы знаемъ, какую помощь могъ оказать политическимъ обвинителямъ Полевого проф. Надеждинъ. До такой роли не могли снискать ни Цупкинъ, ни кн. Вяземскій, но именно они привѣтствовали бѣду Полевого.

По какимъ соображеніямъ и подъ давленіемъ какихъ чувствъ?

О кн. Вяземскомъ вопросъ несложенъ: послѣ известной намъ исторіи по поводу Карамзина, мы не можемъ удивляться знакомому намъ негодованію князя на непозволительную смѣлость и вольность *Телеграфа* въ критическихъ пріемахъ.



Князь жалѣеть, что противъ *Телеграфа* пришлось употребить «усиленную мѣру». Журналъ просто слѣдовало раньше держать въ предѣлахъ цензуры и «онъ упалъ бы самъ собою».

«Все достоинство *Телеграфа* въ глазахъ многихъ,—говоритъ князь,—было его *franc parler*, въ хвостъ и въ голову. Цензура, дѣйствуя на него, какъ на прочихъ, показала бы ничтожество его, ибо онъ бралъ не талантомъ, а грудью. Запрещеніемъ онъ въ глазахъ многихъ дѣлается жертвою, и во всякомъ случаѣ заплатившіе подписчики его становятся жертвами. Теперь я полагаю, что онъ молить Бога, чтобы запретили *Исторію* его: это было бы лучшее средство для него покончиться съ публикою».

Чувства автора этихъ строкъ вполне опредѣлены, но основанія не вполне ясны и совершенно недоказательны. Вопросъ объ издательской лояльности Полевого долженъ бы остаться постороннимъ при сужденіяхъ о катастрофѣ, поразившей журналиста. Оцѣнка талантности Полевого не зависитъ отъ настроеній его личныхъ недруговъ, но вотъ относительно «груди» кн. Вяземскій обмолвился вѣрнымъ словомъ, неожиданно лестнымъ для своей жертвы.

Полевой дѣйствительно умѣлъ при случаѣ постоять за себя передъ цензурою — дерзость, невысказанная для его журнальных соискателей.

Поучительна, напримѣръ, исторія съ статьей *Утро у знатнаго барина князя Беззубова*. Цензура усмотрѣла въ ней намекъ на московскаго сановника, кн. Юсупова. Цензоръ Глинка потребовалъ нѣкоторыхъ передѣлокъ въ статьѣ; Полевой отвѣчалъ, что онъ не намѣренъ исключать ни одной буквы, и цензоръ пропустилъ статью <sup>236</sup>).

Это дѣйствительно значило стоять грудью за свое дѣло... Но сужденія кн. Вяземскаго до такой степени очевидный результатъ извѣстныхъ настроеній, что они характерны скорѣе для судьи, чѣмъ для подсудимаго.

Сложивъ вопросъ съ Пушкинымъ,

Поэтъ сообщаетъ въ своемъ дневникѣ прежде всего о радости Жуковскаго запрещенію *Телеграфа*. Но прекраснодушный поэтъ въ то же время жалѣеть о фактѣ. Пушкинъ думаетъ иначе. «*Телеграфъ*» достоинъ былъ участи своей. Мудрено съ большей наглостью проповѣдывать якобинизмъ передъ носомъ правительства. Но Полевой былъ баловень полиціи. Онъ умѣлъ увѣрить ее, что его либерализмъ пустая только маска».

<sup>236</sup>) Барсуковъ, III, 21.

Это очень сильно и именно противъ либерализма.

Источникъ намъ извѣстенъ. Пушкинъ, какъ публицистъ, не могъ выносить демократическихъ выходокъ Полевого. Его идеалъ складывался въ совершенно противоположномъ направленіи, чѣмъ гимны Полевого среднему сословію, купцу, черному человѣку.

Пушкинъ желалъ въ дворянствѣ видѣть высшую общественную силу, возлагалъ на него историческое назначеніе—быть представителемъ народныхъ нуждъ и народного просвѣщенія. Отсюда—идея сословной независимости дворянства и отрицательная критика всѣхъ мѣропріятій правительства, подрывавшихъ привилегированное положеніе родоваго дворянства. Цетръ I, конечно, стоялъ во главѣ этой «революціи», сдѣлавъ въ своей личности Наполеона и Робеспьера <sup>237</sup>).

Въ основѣ всѣхъ этихъ крайне смѣлыхъ и вдохновенныхъ соображеній лежала политическая мечта, близко напоминающая философію реакціонныхъ идеологовъ начала XIX-го вѣка—Деместра и Бональда.

Они также воздѣлывали о дворянствѣ, какъ независимой основѣ государственнаго строя, фантазировали о «патриціатѣ», нигдѣ никогда не существовавшемъ и безусловно невозможномъ въ дѣйствительности, о патриціатѣ, свободномъ отъ кастоваго эгоизма и сословныхъ предразсудковъ, патриціатѣ, всецѣло живущемъ идеалами общаго блага и стоящемъ на стражѣ народного благоденствія.

Разница между Пушкинымъ и французскими пророками регресса въ искренней заботливости русскаго поэта о крѣпостномъ народѣ. Онъ до идей дворянскаго государственнаго авторитета дошелъ не путемъ тоски по «старому порядку», а руководимый глубокимъ чувствомъ состраданія къ участи жертвъ крѣпостническаго произволя. Много способа исцѣлить вѣковую язву Пушкинъ не видѣлъ въ окружающей жизни.

Изъ того же стремленія родилась и программа Пушкина издавать политическую руководящую газету. Но поэтъ скоро испыталъ во всей прелесть тернія даже журнальных замысловъ, не только уже осуществленнаго издательства, и на своей судьбѣ могъ убѣдиться, какъ просто было, въ глазахъ полиціи и цензуры тридцатыхъ годовъ, попадать въ якобинцы или, во всякомъ случаѣ, въ люди неблагонадежные и бунтовщики.

<sup>237</sup>) Ср. Анненковъ. *Общественные идеалы А. С. Пушкина. Воспоминанія и критическіе очерки*, отдѣлъ третій. Спб., 1881.

Намъ теперь ясна основная *идейная* причина негодовація Пушкина на Полевого и радость по случаю гибели *Телсграфа*. Оказывалось столкновение двухъ непримиримыхъ политическихъ міросозерцаній, и намъ излишне пускаться въ объясненія, какому изъ нихъ принадлежало будущее и какое, слѣдовательно, обнаруживало въ авторѣ болѣе глубокой практической смыслъ.

Пушкинъ долго не забывалъ «востренькаго снѣдьца», какъ врага «боярскихъ дѣтокъ», и безумно запалячиваго демократическаго и либеральнаго агитатора. Въ статьѣ о Радищевѣ, написанной въ 1836 году, Пушкинъ совершенно порываетъ съ своими юношескими чувствами къ автору *Путешествія изъ Петербурга въ Москву*. Тринадцать лѣтъ назадъ онъ жестоко укорялъ Марлинскаго за то, что онъ забылъ въ обзорѣ русской словесности Радищева. Тотъ же грѣхъ допустилъ и Гречъ въ «Опытѣ исторіи русской литературы».

«Кого же мы будемъ помнить?—спрашиваетъ Пушкинъ.—Это молчаніе непростительно ни тебѣ, ни Гречу: я отъ тебя сего не ожидалъ» <sup>238</sup>).

Теперь Радищевъ просто крайне неискusstный подражатель французскихъ философовъ XVIII вѣка.

Пушкину особенно не нравится у Радищева «слѣпое пристрастіе къ новизнѣ» и недостатокъ опыта и свѣдѣній. Дальше читаемъ:

«Отымите у него честности, — въ остаткѣ будетъ Полевой. Онъ какъ будто старается раздражить верховную власть своимъ горькимъ злорѣчіемъ: не лучше ли было бы указать на благо, которое она въ состояніи сотворить? Онъ поноситъ власть господъ, какъ явное беззаконіе: не лучше ли было представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ?»

Въ такомъ духѣ долго продолжаетъ Пушкинъ. Онъ недоволенъ и войной Радищева съ цензурой: слѣдовало просто «публиковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель» ..

Смыслъ этихъ поправокъ ясенъ. Пушкинъ искренне воображалъ, что Радищева или кого-либо другого изъ литераторовъ допустили бы дѣлать указанія верховной власти и сочинять проекты касательно основныхъ государственныхъ вопросовъ. Почему же тогда для самого Пушкина эта цѣль оказалась запретной, при всѣхъ красно-

<sup>238</sup>) Сочиненія, VIII, 50.

рѣчивыхъ свидѣтельствахъ поэта о своемъ укрощенномъ духѣ и о благихъ намѣреніяхъ служить правительству талантомъ писателя?

Очевидно, вся критика Пушкина, направленная и противъ Радищева, и противъ Полевого, явилась результатомъ совершенно естественныхъ запросовъ къ литературѣ по части зрѣлости сужденій и основательности свѣдѣній. Но только эти запросы были столь же не ко двору и могли припести къ не менѣе печальнымъ практическимъ результатамъ, чѣмъ, по мнѣнію Пушкина, безцѣльная и безразсудная запальчивость Полевого.

А между тѣмъ, эта запальчивость въ сущности обманъ зрѣнія. Полевой просто обладалъ несравненно болѣе живымъ публицистическимъ талантомъ, чѣмъ современные ему журналисты. Бойкости пера было не мало и въ статьяхъ Булгарина и Сенковского, но цѣли этихъ журналистовъ отъ начала до конца оставались такими мелкими, часто пошлыми, что рядомъ съ дѣятельностью подобныхъ журналистовъ дѣйствительно общественно-просвѣтительная публицистика Полевого рѣзко бросалась въ глаза. Все несчастье *Телеграфа* заключалось именно въ неуклонномъ стремленіи жить насущными запросами современности и по мѣрѣ силъ рѣшать ихъ независимо отъ официальныхъ внушеній и усмотрѣній.

Полевой первый изъ русскихъ издателей додумался до идеи руководящаго *общественнаго* органа, первый возмечталъ въ талантѣ журналиста явить практическую силу и въ русскомъ обществѣ открыть самостоятельныя идейныя теченія. Уже такое представленіе о назначеніи журналиста и періодической печати ставитъ Полевого на недостижимую высоту сравнительно съ Каченовскими, Надеждиными, Гречами и даже съ критиками-философами. Потому что издатель *Телеграфа* не только мечталъ, но умѣлъ и осуществлять свои мечтанія. Съ его имени русская періодическая печать должна начинать свою исторію общественныхъ идеаловъ и общественнаго просвѣщенія. А именно этой исторіи принадлежитъ самое оглашенное будущее, и Бѣлинскій, отмѣчая именемъ Полевого эпоху въ развитіи русскаго самосознанія, отдалъ законную честь своему непосредственному предшественнику и истинному учителю.



# ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ

# МІРЪ БОЖІЙ.

Выходитъ 1-го числа каждого мѣсяца съ разнырь отъ 25 до 27  
меч. лншюсъ.

Въ 1898 году журналъ будетъ издаваться по той же программѣ и при томъ же составѣ редакціи и сотрудниковъ, причемъ для напечатанія предполагается, между прочимъ, слѣдующее:

**Беллетристика.** «Два счастья», романъ И. Потапова; «Равнодушные», романъ К. Сталкохиза; рассказы Ив. Букина, В. Некрасова-Далека, Ю. Безредки; «Христианинъ», Холмъ Кеса, романъ, перев. съ англ.; «Омидъ», Вейхтъ романъ, перев. съ англ.; «Насмшокъ итка», ром., перев. съ финск. «Новый Тангейзеръ», ром., перев. съ шведск.

**Научныя сочиненія и статьи:** «Страна чудесъ на рѣкѣ Еловстонъ», проф. А. Павлова; «Физиологія растений и рациональное земледѣліе», проф. Тихирязевъ; «Юмъ и Саксъ» (критико-біографическій очеркъ), проф. Тихирязевъ; «Самокалѣченіе и борьба за существованіе у животныхъ», проф. Фаусекъ; «Очерки общественной гигиены и государственнаго врачевствѣнія», проф. Н. А. Вельяминовъ; «Рудольфъ Вирховъ», монографія д-ра Ю. Г. Малева; «Популярныя обзоры уснѣховъ биологіи и медицины», академика И. Р. Тарханова; «Очерки по исторіи роскоши», «Исторія классической системы въ Германіи», Н. Сперанскаго; «Исторія русской критики», ч. III, отъ Бѣлинскаго до Писарева включительно, Ив. Ивлюза; «Изъ дневника Н. В. Щеглова», издательскія переписки и дневники; «Адамъ Мицкевичъ» (къ столѣтней годовщинѣ рожденія); «Классификація ремесленнической промышленности» Людвигъ Брехманъ; «Современное естествознаніе и психологія», академика А. О. Фавжинска; «Методы психологическаго изслѣдованія въ современной психологіи», проф. Г. И. Челпанова; «Сниженіе и его міросозерцаніе», популярный очеркъ канд. философ. В. Вельбекъ; «Забитый степи», О. Аксаго; «Изъ домъ народа»; «Культура и народное хозяйство Финляндіи», В. Сперсова; «Общественная унесленія въ Америкѣ», П. Тьерского; «Положеніе труда въ Лондонѣ», Д. Давидовой; «Нищенствующія деревни въ Россіи», С. Сперанскаго; «Равнительная литература», Макс-Фел-Поскель, перев. съ англ. Д. Давидовой; «Основы ягика», Мажонъ, перев. съ англ. подъ редак. проф. Г. И. Челпанова; «Чудеса воздуха» (очерки по метеорологіи), перев. съ франц. В. Агафова.

**Постоянные отдѣлы:** 1. Научное Обзоріе. Дополненіемъ къ этому отдѣлу должны служить «РЕКУПЦІЯ НАУЧНЫХЪ НОВОСТЕЙ». Въ отдѣлѣ «НАУЧНОЕ ОБЗОРІЕ» общими приняты участіе господа: В. К. Агафоновъ и докторъ берлинской «Урании» Н. Bügel, профессора; Павловъ, Тархановъ, Тихирязевъ, Хвольсонъ, Холодковскій, Челпановъ и Фаусекъ. 2. Критическія замѣтки. Очерки болѣе или менѣе выдающихся произведеній русской и переводной литературы. 3. Изъ западной культуры. Критическій разборъ выдающихся иностранныхъ произведеній. 4. НАРОДНИКЪ. Слѣдія о различныхъ сторонахъ русской жизни. 5. ЗАГРНИЦЕЙ. ИЗЪ ИНОСТРАННЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ. 6. Библиографія. Рецензіи о русскихъ и иностранныхъ книгахъ. НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

**УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:** Съ доставкой и пересылкой по всѣмъ городамъ Россіи на годъ—8 руб. Безъ доставки на годъ—7 руб. За границу на годъ—10 руб. Вѣсто разсрочки допускается подписка: По полугодію: Съ доставкой и пересылкой по всѣмъ городамъ Россіи на полгода 4 р. За границу 5 р. Безъ доставки по соглашенію съ конторой. По третью года: Съ доставкой и пересылкой по всѣмъ городамъ Россіи въ январѣ—3 р., въ маѣ—3 р., въ сентябрѣ—2 р., За границу: въ январѣ—4 р., въ маѣ—3 р., въ сентябрѣ—3 р. Адресъ: С.-Петербургъ Лигонка 25.

Подписавшіеся НА ПОЛГОДА ИЛИ НА ТРЕТЬ ГОДА продолжаютъ подписку безъ возмѣщенія подписной цѣны.

Легуши съ подписной цѣны книжку за дѣлаютъ.

Издательство А. Павлова

Редакторъ Викторъ Островскій

## **ТОГО ЖЕ АВТОРА:**

**Политическая роль французскаго театра въ связи съ философіей XVIII-го вѣка.** Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

**Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество.** С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

**Шекспиръ.** С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

**Писемскій.** С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

**Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей.** (Бичеръ-Стоу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.











13

13

13

13

PG  
2949  
I86  
1898a  
v.1

Stanford University Libraries  
3 6105 004 705 385

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOX APR 27 1994

APR 27 1994

DOX FEB 7 1995  
FEB 24 1994

28D MAR 07 1995

FEB 1994

